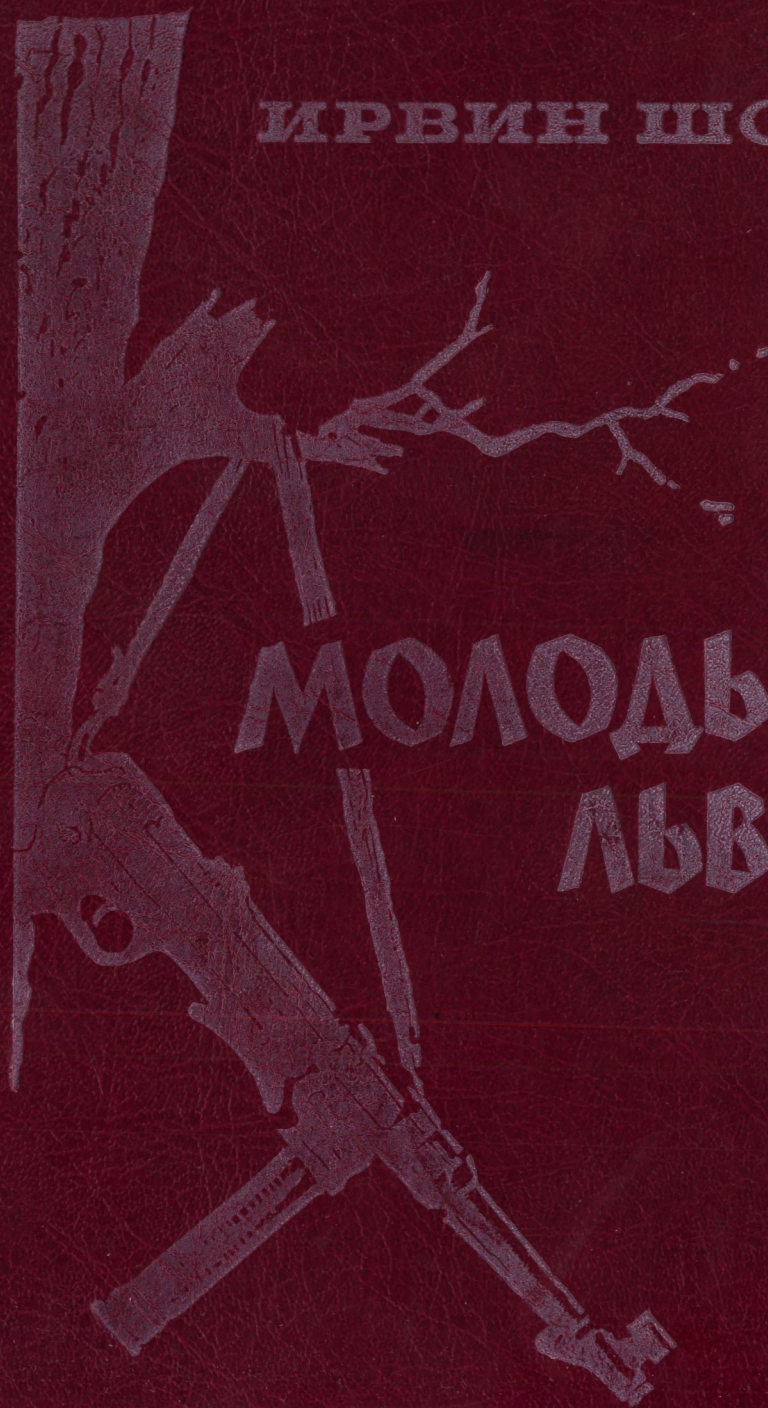


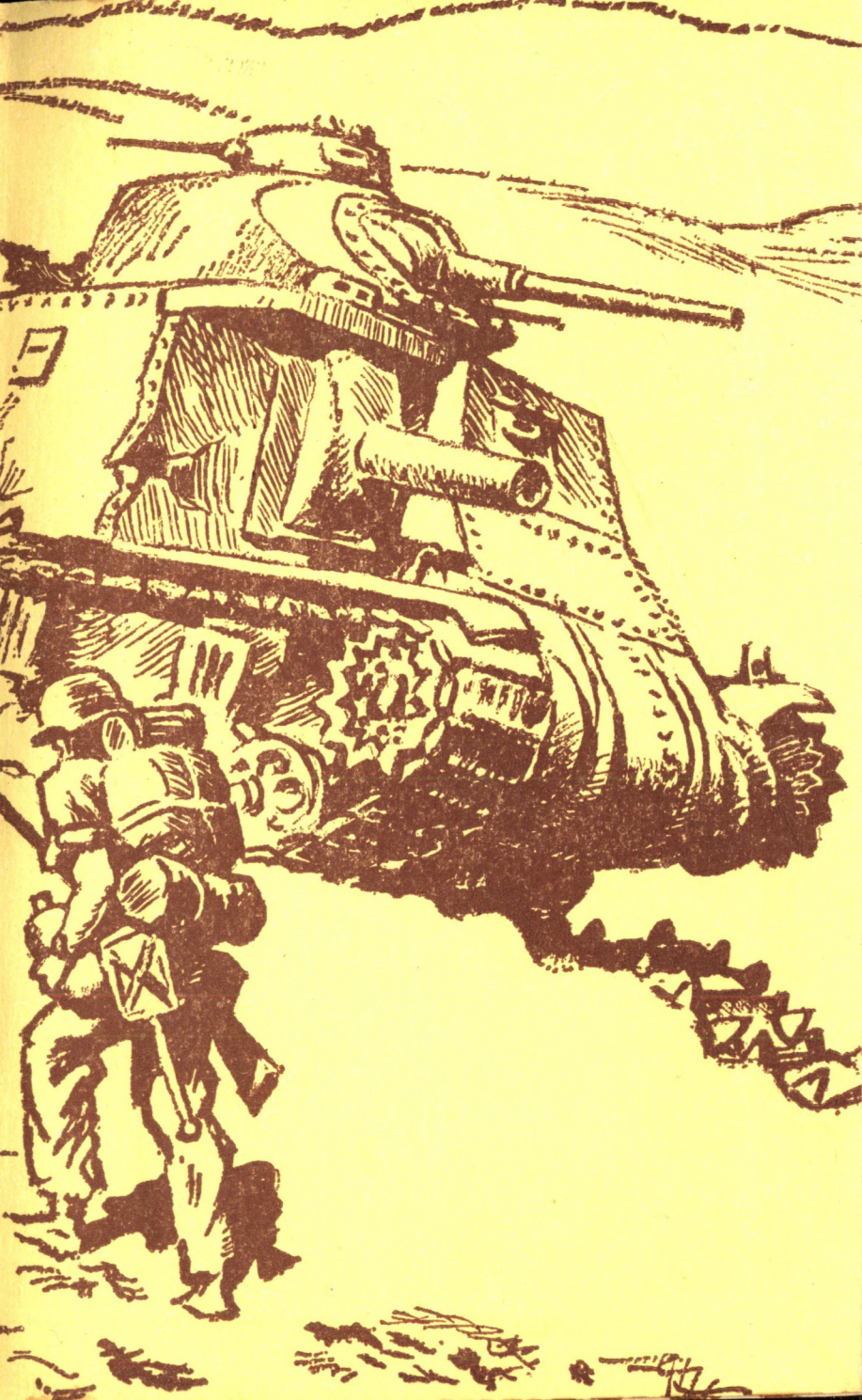
ИРВИН ШОУ МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ

ИРВИН ШОУ

МОЛОДЫЕ
ЛЬВЫ







ИРВИН ШОУ

**МОЛОДЫЕ
ЛЬВЫ**



РОМАН

Кишинев «Лумина» 1988

ББК 84.7США-44
Ш 81

Перевод с английского

А. Громова, Р. Тулиновой, П. Куцобина

Печатается по изданию: Ирвин Шоу. Молодые львы. М., Военное издательство Министерства обороны СССР, 1965.

Ш 470300000 — 261
М752(10)—88 Издат. новинки № 17—2—87

ISBN 5—372—00212—3

© Оформление. Издательство «Лумина», 1988.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Городок, раскинувшийся у подножия заснеженных вершин Тироля, сиял в белом полумраке веселыми огоньками электрической железной дороги, словно витрина магазина в дни рождественских праздников. На засыпанных снегом улицах нарядно одетые люди — туристы и местные жители обменивались при встречах приветливыми улыбками. Белые и коричневые фасады домов были украшены гирляндами зелени в честь нового, 1938 года, с которым связывалось так много надежд.

Взбираясь на гору, Маргарет Фримэнтл прислушивалась к хрусту плотного снега под лыжными ботинками. И белые сумерки, и доносившееся снизу, из деревни, пение детей вызывали у нее невольную улыбку. Сегодня утром, когда она уезжала из Вены, моросил дождь, и, как всегда бывает в больших городах в такие непогожие дни, все куда-то торопились, у прохожих был какой-то унылый, озабоченный вид. А здесь — величественные горы, ясное небо, ослепительный снег, здоровое, патриархальное веселье. Все это казалось ей особенно милым потому, что она была молода и красива и еще потому, что дни отдыха сулили ей немало удовольствий.

Дорогу местами перемело, и, шагая по неглубокому снегу, Маргарет чувствовала, как сладко ноют ее уставшие ноги. После лыжной прогулки она выпила две рюмки вишневого ликеру, и теперь приятная теплота разливалась по всему ее телу.

Dort oben am Berge,
Da wettet der Wind¹...

— отчетливо и громко звучали в чистом горном воздухе голоса детей.

¹ Там вверху на горе,
Где бушует вьюга... (нем.)

Da sitzt Maria,
Und wieget ihr Kind,

— тихо пропела Маргарет. Ее радовала не только красивая мелодия этой нежной песни, но и собственная смелость: плохо зная язык, она отважилась петь по-немецки.

Маргарет была высокая, стройная, изящная девушка с тонкими чертами лица и зелеными глазами. Ее лоб у самой переносицы покрывали типично американские, как утверждал Йозеф, веснушки. При мысли о том, что Йозеф приезжает завтра утренним поездом, Маргарет улыбнулась.

В дверях гостиницы девушка остановилась и бросила прощальный взгляд на величественные вершины и россыпь мигающих огоньков. Потом она с жадностью вдохнула свежий сумеречный воздух, толкнула дверь и вошла в дом.

Холл маленькой гостиницы, украшенный ветками остролиста, наполнял сильный приятный запах обильной праздничной стряпни. Простая комната, обставленная массивной дубовой мебелью, обитой кожей, сверкала той особенной чистотой, которую так часто можно встретить в горных деревушках, где она является столь же неотъемлемой принадлежностью каждого жилья, как столы и стулья.

Через холл как раз проходила фрау Лангерман. С сосредоточенным выражением на круглом пунцовом лице она осторожно несла в руках огромную хрустальную чашу для пунша. Увидев Маргарет, фрау Лангерман остановилась и, широко улыбаясь, поставила чашу на стол.

— Добрый вечер,— сказала она по-немецки своим сладким голосом.— Как покатались?

— Чудесно!

— Надеюсь, вы не слишком устали? — Фрау Лангерман лукаво прищурилась.— Сегодня у нас маленькая вечеринка с танцами. Соберется много молодых людей, и будет очень жаль, если вы придете чересчур усталой.

— Ну, потанцевать-то у меня хватит сил, если меня, конечно, научат,— засмеялась Маргарет.

— Уж вы скажете! — Фрау Лангерман протестующе всплеснула руками.— Это вас-то учить? Да наши ребята танцуют кто во что горазд. Вот увидите, как они обрадуются, когда вы придете.— Она окинула Маргарет критическим взглядом.— Правда, не мешало бы вам быть чу-

¹ Там Мария сидит

И дитя качает... (нем.)

точку попопнее, но тут уж ничего не поделаешь — мода. Всему причиной американские фильмы. В конце концов, дойдет до того, что только чахоточные женщины будут пользоваться успехом.

Раскрасневшееся и приветливое, словно огонь домашнего очага, лицо фрау Лангерман снова расплылось в улыбке. Она взяла со стола чашу и хотела было уйти, но остановилась.

— Будьте осторожны с моим сынком Фредериком. Уж больно он охоч до девушек! — Она хихикнула и скрылась в кухне.

Маргарет с наслаждением втянула сильный аромат специй и масла, внезапно донесшийся оттуда, и, тихонько напевая, стала подниматься по лестнице в свою комнату.

Вначале гости держались очень степенно. Старшие чинно сидели по углам, а молодые люди, еще не преодолев неловкости, то собирались кучками, то снова рассыпались по комнате, с серьезным видом попивая пунш, обильно сдобренный специями. Девушки, как правило крупные, с сильными руками, одетые в пышные праздничные наряды, тоже чувствовали себя неловко. Был и аккордеонист. Он дважды брался за инструмент, но, так как никто не стал танцевать, музыкант с унылым видом пристроился к чаше с пуншем, предоставив собравшимся развлекаться под патефон с американскими пластинками.

Среди гостей преобладали местные жители: горожане, фермеры, торговцы, родственники семьи Лангерман. С красно-бурыми, загоревшими под горным солнцем лицами, все они в своих аляповатых костюмах выглядели удивительно здоровыми и крепкими. Казалось, они вечно останутся такими, словно их закаленный горным климатом организм не подвластен никаким болезням, никакому разложению, а под их дубленую кожу никогда не проникнет ничто, хотя бы отдаленно напоминающее о приближении смерти. Большинство постояльцев гостиницы Лангермана, выпив из вежливости по чашке пунша, отправились в места повеселее, в более крупные отели, и в конце концов из приезжих осталась одна Маргарет. Пила она немного, потому что решила пораньше лечь спать и хорошенько выспаться: поезд приходил в половине девятого утра, а Маргарет хотела встретить Йозефа бодрой и свежей.

Общество постепенно становилось все оживленнее. Кажется, уже не оставалось молодых людей, с которыми бы Маргарет не прошла в вальсе или фокстроте. Часам к

одиннадцати, когда в душную, заполненную шумной компанией комнату внесли третью чашу пунша, а на потных, потерявших естественные краски лицах не оставалось и следа недавней робости, Маргарет вздумала обучить Фредерика танцевать румбу. Остальные окружили их плотным кольцом и принялись шумно аплодировать девушке, когда она закончила свой урок. Тут и старик Лангерман вдруг выразил непреклонное желание потанцевать с ней. Полный, приземистый, с розовой лысиной, он страшно потел, пока Маргарет под взрывы хохота на плохом немецком языке пыталась растолковать ему тайны замедленного такта и нежного карибского ритма.

— Боже мой! — воскликнул Лангерман, как только смолкла музыка. — И зачем только я потратил все свои годы в этих горах!

Маргарет рассмеялась и поцеловала старика. И снова гости, образовавшие вокруг них тесный круг на натертом до блеска полу, стали громко аплодировать, а Фредерик, ухмыльнувшись, вышел вперед и поднял руку.

— Учительница, а нельзя ли еще раз повторить урок со мной?

Кто-то поставил ту же пластинку. Маргарет заставили выпить еще одну чашку пунша, и они вышли на середину круга. Фредерик отнюдь не отличался изяществом и с трудом поспевал за Маргарет в быстром и живом танце, но девушке приятно было прикосновение его сильных, надежных рук.

Но вот пластинка кончилась, и тотчас заиграл аккордеонист. Развеселившись после доброй дюжины стаканов пунша, он принялся подпевать себе, и вскоре к бархатным, протяжным звукам аккордеона, взлетая к самому потолку высокой, освещенной светом камина комнаты, один за другим стали присоединяться голоса столпившихся вокруг музыканта гостей. Маргарет с раскрасневшимся лицом тихонько подпевала. Рядом, обнимая ее одной рукой, стоял Фредерик.

«Как милы и добродушны эти люди, воспевающие наступление Нового года! — думала она. — Как они стараются приспособить свои огрубевшие голоса к нежной музыке! И как они по-детски дружелюбны, как хорошо относятся к посторонним!»

Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heide...¹

¹ Розочка, розочка, розочка,
Красная розочка на лугу... (нем.)

— пели гости. Из общего хора выделялся голос старика Лангермана, то похожий на рев быка, то до смешного заунывный. Маргарет пела вместе с другими. Обводя взглядом лица присутствующих, она заметила, что только один из них не поет. Это был Христиан Дистль — высокий, стройный юноша с рассеянно-серьезным выражением загорелого лица и коротко остриженными черными волосами. В его светлых, отливающих золотом глазах мелькали желтые искорки, похожие на огоньки, появляющиеся иногда в глазах животных. Маргарет заметила его еще во время прогулки, на склонах гор, где Дистль с мрачным видом обучал новичков ходьбе на лыжах, и позавидовала его легкому, длинному шагу. Сейчас Дистль, совершенно трезвый, стоял в стороне со стаканом в руке и с задумчивым, рассеянным видом наблюдал за поющими. На нем была рубашка с открытым воротом, казавшаяся ослепительно белой на его смуглой коже.

Перехватив его взгляд, Маргарет улыбнулась и крикнула:

— Пойте!

Он ответил печальной улыбкой, поднял стакан и покорно запел, но в общем шуме Маргарет не слышала его голоса.

По мере того как приближалась торжественная минута, гости под влиянием крепкого пунша становились все развязнее. В темных углах уже обнимались и целовались парочки. Все громче и свободнее звучали голоса. Теперь Маргарет с трудом понимала смысл песен, наполненных жаргонными словечками и двусмысленностями, от которых пожилые женщины хихикали, а мужчины принимались дико гоготать.

Незадолго до полуночи старик Лангерман взгромоздился на стул, призвал гостей к молчанию и, сделав знак аккордеонисту, заплетающимся языком, но с пафосом заявил:

— Как ветеран войны, трижды раненный на Западном фронте в пятнадцатом — восемнадцатом годах, я предлагаю спеть всем вместе.— Он махнул аккордеонисту, и тот заиграл «Deutschland, Deutschland über alles»¹.

Маргарет знала эту песню, но в Австрии слышала ее впервые. Она выучила ее еще в пятилетнем возрасте от прислуги-немки и помнила слова до сих пор. Теперь она пела вместе с остальными, чувствуя себя пьяной, все понимающей и не связанной никакими национальными пред-

¹ «Германия, Германия превыше всего» (нем.).

рассудками. Довольный Фредерик еще крепче прижал девушку к себе и поцеловал ее в лоб, а старик Лангерман, не слезая со стула, поднял стакан и предложил тост: «За Америку! За молодых дам Америки!» Маргарет выпила пунш, раскланялась и чинно ответила:

— От имени молодых дам Америки разрешите сказать, что я в восторге!

Фредерик снова поцеловал Маргарет, на этот раз в шею, но прежде чем она успела решить, как отнестись к этому, аккор еонист заиграл какую-то примитивную, пронзительную мелодию, и ее тут же подхватили хриплые, торжествующие голоса. Вначале Маргарет не поняла, что это за песня. Правда, она слышала ее обрывками раз или два в Вене, но там ее открыто не пели. Маргарет и теперь почти не разбирала путаных немецких слов, выкрикиваемых пьяными мужскими голосами.

Фредерик, выпрямившись во весь рост, стоял рядом, продолжая прижимать к себе Маргарет, и она чувствовала, как песня заставляет напрягаться его мускулы. Прислушавшись, девушка в конце концов поняла, что это за песня.

Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen
S. A. marschier ih ruhig festen Schritt...¹

— орал Фредерик так, что у него на шее вздувались жилы. И чем дальше слушала Маргарет, тем сильнее вытягивалось ее лицо. Она закрыла глаза и, почувствовав, что слабеет, что ее душит эта режущая слух мелодия, попыталась вырваться из объятий Фредерика, но он крепко сжимал ее талию, и ей волей-неволей пришлось слушать дальше. Взглянув на Дистля, Маргарет заметила, что он молча наблюдает за ней. В его глазах она прочла беспокойство и понимание.

Воинственная, исполненная угроз песня о Хорсте Весселе² подходила к концу, и голоса поющих становились все громче. Когда были допеты последние слова, мужчины застыли в напряженных позах, свёркая глазами, гордые и грозные, а присоединившиеся к хору женщины склонились перед ними, словно монахини в опере перед распятием. Только Маргарет и смуглый молодой человек с желтыми искорками в глазах так и простояли молча, прислушиваясь, как замирают в комнате последние раскаты песни.

¹ «Сомкнув ряды, подняв высоко знамя, штурмовики идут, чеканя шаг...» (нем.).

² Излюбленная песня немецких фашистов. Хорст Вессель — проходец, которого гитлеровцы сделали национальным героем.— Прим. ред.

Послышался тонкий, радостный перезвон церковных колоколов — отраженное горами эхо далеко разнесло его в ночном морозном воздухе. Фредерик все еще не отпускал Маргарет, и девушка вдруг заплакала безудержными, жалкими слезами, ненавидя себя за слабость.

Старик Лангерман поднял бокал. Багровый, как свекла, покрытый потом, обильно струившимся с его лысины, он сверкал глазами так же, наверное, как и в 1915 году, когда только что прибыл на Западный фронт.

— За фюрера! — провозгласил он с глубоким благоговением.

— За фюрера! — Жадные разгоряченные рты прильнули к блеснувшим в пламени камина бокалам.— С Новым годом! С новым счастьем! Да благословит вас бог!

Патриотический экстаз рассеялся. Гости обменивались рукопожатиями, смеялись, хлопали друг друга по спине, целовались — и все это так дружески, по-семейному, совсем не воинственно.

Фредерик повернул Маргарет к себе и попытался поцеловать ее, но она быстро наклонила голову. Не сдерживая рыданий, она вырвалась из рук парня и побежала по лестнице в свою комнату на втором этаже.

— Ох, уж эти мне американские девицы! — услышала она смех Фредерика.— А еще делают вид, что умеют пить!

Маргарет долго не могла успокоиться. Она понимала, что вела себя, как глупая слабонервная девчонка. Стараясь не замечать струившихся слез, она тщательно почистила зубы, причесалась и старательно промыла холодной водой покрасневшие глаза. К утру, к приезду Йозефа, она хотела выглядеть хорошенькой и веселой.

Комната Маргарет с выбеленными стенами сверкала чистотой. Над кроватью висело коричневое деревянное распятие. Маргарет разделась, выключила свет, открыла окно и взобралась на большую кровать. За окном, слетая с заснеженных, залитых ярким лунным светом вершин, завывал ветер. Она вздрогнула от прикосновения холодных простыней, но вскоре согрелась под пуховой периной. Как в детстве в доме у бабушки, простыни пахли свежестью, а в окне шелестели, задевая за раму, накрахмаленные занавески. Внизу играл аккордеонист, и через несколько дверей чуть слышно доносились мягкие, тоскливые звуки осенних мелодий разлуки и любви. Вскоре она уснула. В холодном полумраке комнаты ее лицо казалось по-детски спокойным и в то же время серьезным и кротким.

Часто бывают такие сны: вас мягко касается чья-то

рука, рядом темнеет силуэт человека, вы чувствуете на своей щеке его дыхание, кто-то сжимает вас в сильном объятии.

Маргарет проснулась.

— Тихо! — сказал человек по-немецки. — Я тебе не сделаю ничего плохого.

«Он пил коньяк, — совсем некстати подумала Маргарет. — От него пахнет коньяком».

Несколько мгновений она лежала неподвижно, всматриваясь в глаза человека, горевшие как огоньки в темноте глазных впадин. На нем был костюм из грубой, колючей ткани. Маргарет резко отодвинулась к противоположному краю кровати и хотела сесть, но человек оказался ловким и сильным и снова заставил ее лечь.

— Ах ты зверек, — сказал он, хихикнув и зажимая ей рот рукой. — Маленькая юркая белочка!

Маргарет узнала голос.

— Да это же я, — говорил Фредерик. — Всего-навсего коротенький визит, не бойся. — Он попробовал убраться руку. — Ведь ты же не будешь кричать? — зашептал он с той же насмешкой в голосе, словно забавлялся с ребенком. — Да оно и бесполезно. Во-первых, все пьяны. Во-вторых, я скажу, что ты сама позвала меня, а потом, должно быть, передумала. Мне, конечно, поверят, все знают, что я пользуюсь успехом у девушек, а ты к тому же иностранка.

— Пожалуйста, уйдите, — прошептала Маргарет. — Прощу вас. Я никому не скажу.

Фредерик засмеялся. Он был немного пьян, но не настолько, как хотел казаться.

— Ты милая, очаровательная девочка. Ты самая хорошенькая из всех, кто приезжал в этом сезоне.

— Но почему именно я нужна вам? — с отчаянием спросила Маргарет. — Ведь здесь много других девушек, которые будут рады вам.

— А я хочу тебя. — Фредерик поцеловал ее в шею, как ему казалось, с неотразимой нежностью. — Ты мне очень нравишься.

— А я не хочу! — крикнула Маргарет. — Не хочу!

Она вдруг испугалась, что ее может подвести плохое знание немецкого языка, что она забудет нужные слова и выражения и что какая-нибудь ученическая ошибка станет для нее роковой.

— Это даже интереснее, — продолжал Фредерик, — когда девушка вначале делает вид, что не хочет. Все равно как благородная дама.

Маргарет поняла, что он уже не сомневается в своей победе и просто подсмеивается над ней.

— Многие девушки так себя ведут,— добавил Фредерик.

— Клянусь, я все расскажу вашей матери,— пригрозила Маргарет.

Фредерик тихонько рассмеялся, и смех его в тишине комнаты прозвучал уверенно и непринужденно.

— Можешь рассказать. А как ты думаешь, почему она всегда помещает хорошеньких девушек именно в эту комнату, куда так легко попасть через окно с крыши сарая?

«Нет, это невозможно! — подумала Маргарет.— Невозможно, чтобы эта маленькая, полная, румяная, всегда улыбающаяся женщина, такая аккуратная, такая трудолюбивая и религиозная, развесившая распятия во всех комнатах... А впрочем...— Маргарет вдруг вспомнила неистовый, упорный взгляд и выражение чувственного наслаждения грубой музыкой на потном лице фрау Лангерман там внизу, в холле, когда все они были захвачены пением.— Нет, нет, все возможно, этот глупый восемнадцатилетний мальчишка ничего не выдумывает...»

— Вы часто...— поспешно спросила она, отчаянно пытаясь отсрочить развязку,— вы часто пробирались сюда таким путем?

Фредерик ухмыльнулся, и Маргарет увидела, как сверкнули его зубы. Немного помолчав, он самодовольно ответил:

— В общем, частенько. Но сейчас приходится быть разборчивым: крышу сарая замело снегом, ноги скользят, забираться трудно. Я иду на риск только тогда, когда девушка уж очень хорошенькая, вроде тебя.— Мягкая, опытная, настойчивая рука снова заскользила по ее телу. Ее руки были прижаты к постели. Она пыталась освободиться, но не могла. Фредерик держал ее крепко и улыбался, наслаждаясь слабым, усиливающим желание сопротивлением.

— А ты такая хорошенькая,— шептал он,— у тебя такая фигурка!

— Я сейчас закричу, предупреждаю вас.

— Но ты же себя поставишь в глупое положение,— ответил Фредерик.— Мать осрамит тебя перед всеми гостями и потребует, чтобы ты немедленно уехала, потому что ты заманила ее маленького восемнадцатилетнего сына в свою комнату, а потом устроила скандал. А завтра, когда приедет твой друг, об этом будет говорить весь город...— Тон Фредерика был одновременно насмешливым и доверительным.— Я бы посоветовал тебе лучше не кричать.

Маргарет закрыла глаза и несколько минут лежала молча, удерживая подступившие к глазам слезы. Перед ней промелькнули лица всех этих людей, собравшихся вчера на вечеринку, ухмыляющиеся лица злобных заговорщиков, скрытых под личиной чистых и здоровых горцев, строящих против нее козни в своей снежной крепости. Но вот она почувствовала, что Фредерик выпустил ее руки, и мгновенно вцепилась ему в лицо. Маргарет ощущала, как ее ногти раздирают кожу и слышала противный царапающий звук. Она торопилась, пока он не успел снова захватить ее руки.

— Стерва! — яростно вскрикнул Фредерик. Больно сжав ее руки одной рукой, он наотмашь ударил ее другой по губам. Рот девушки окрасился кровью.— Стерва американская! — Она лежала неподвижно, с окровавленным ртом и глядела на него торжествующим и вызывающим взглядом. Низко над горизонтом стояла луна, заливая комнату мирным серебристым светом. Фредерик еще раз ударил ее тыльной стороной кисти. Несмотря на острую боль, Маргарет все же успела почувствовать, как отвратительно пахнут кузней его руки.

— Если вы сейчас же не уйдете,— внятно, преодолевая противное головокружение, произнесла она,— я завтра убью вас. Обещаю вам, что я и мой друг убьем вас.

Фредерик сидел в прежней позе, все еще сжимая руки девушки, и, склонившись над Маргарет, молча смотрел ей в лицо. Из царапин на его лице сочилась кровь, длинные светлые волосы упали ему на глаза, он тяжело дышал. Потом он нерешительно отвел глаза в сторону и пробормотал:

— Да меня и не интересуют девчонки, которым я не нужен. Овчинка выделки не стоит.

Он выпустил ее руки, с яростью ткнул ее в лицо и слез с кровати, намеренно ударив ее коленом. Потом отошел к окну, облизывая кровоточащие губы, и стал приводить в порядок свою одежду. В холодном свете луны он казался растерянным, жалким и неуклюжим мальчишкой.

Тяжело ступая, Фредерик пересек комнату.

— Я уйду через дверь,— заявил он.— В конце концов, я имею на это право.

Маргарет лежала неподвижно, уставившись в потолок.

Фредерик топтался у двери, не желая уходить побежденным. Маргарет чувствовала, как он лихорадочно подыскивает в своем крестьянском уме какие-нибудь уничтожающие слова, чтобы бросить их ей перед уходом.

-- Убирайся к своим евреям в Вену! — крикнул он и скрылся, оставив дверь открытой.

Маргарет встала и осторожно закрыла дверь. Она слышала, как Фредерик, грузно ступая, спустился по лестнице в кухню, и эхо его шагов, отражаясь от старых деревянных стен, казалось, заполнило весь спящий в зимней тишине дом.

Ветер успокоился. В комнате было тихо и холодно. Маргарет дрожала: на ней была только измятая пижама. Она поспешно закрыла окно. Луна скрылась, и ночная мгла начала медленно бледнеть. Подернутые серой дымкой небо и горы казались мертвыми и таинственными.

Маргарет посмотрела на постель. Все белье было скомкано и измято, одна из простыней была порвана, на подушке виднелись кровавые пятна, наталкивавшие на мысль о чем-то темном и загадочном. Все еще не в силах унять дрожь, чувствуя себя беспомощной и опозоренной, девушка принялась торопливо одеваться. Ноющими от холода руками она натянула свой самый теплый лыжный костюм, две пары шерстяных носков и надела поверх костюма пальто. И все же ей не сразу удалось согреться. Не переставая дрожать, Маргарет уселась в маленькую качалку у окна и стала смотреть на горы, бледные вершины которых, тронутые первыми зеленоватыми лучами рассвета, будто выплывали из ночной темноты.

Затем зеленую краску рассвета сменила розовая; она стекала вниз по склонам, пока снег не вспыхнул, словно приветствуя наступление утра. Маргарет поднялась и, не взглянув на постель, вышла из комнаты. Она осторожно спустилась по лестнице и проскользнула через тихий дом, в углах которого еще таились последние ночные тени, а в холле витали запахи вчерашнего торжества. Открыв тяжелую дверь, она вышла в сонное голубовато-белое утро нового года.

Улицы были безлюдны. Маргарет бесцельно шла по тропинке между сугробами, чувствуя, как ее легкие наполняются живительным утренним воздухом. Дверь одного из домиков распахнулась, и оттуда выглянула кругленькая, краснощекая, жизнерадостная женщина в домашнем чепце и фартуке.

— Доброе утро, фрейлейн, — сказала она. — Ну разве не замечательное сегодня утро?

Бросив на нее мимолетный взгляд, Маргарет быстро прошла мимо. Женщина озадаченно посмотрела ей вслед и с выражением обиды и гнева на лице захлопнула за собой дверь.

Маргарет свернула с улицы и направилась по дороге в горы. Машинально переставляя ноги и опустив голову, она медленно взбиралась по сверкавшему в первых лучах солнца склону, широкому и безлюдному в этот ранний час. Затем она сошла с дороги и по укатанной поверхности склона направилась к очаровательному, словно детская игрушка, домику для отдыха лыжников, сложенному из толстых бревен. На его невысокой остроконечной крыше толстым слоем лежал снег.

Перед домиком стояла скамья, и Маргарет, внезапно почувствовав себя обессиленной и опустошенной, устало опустилась на нее. Так она сидела, устремив неподвижный взгляд на заснеженные склоны, отлого поднимающиеся к недоступным скалам на вершине горы; залитые багровым светом, они четко вырисовывались на фоне голубого неба.

«Не надо думать об этом, не надо! — твердила она, устремив неподвижный взгляд в уходящую высь гору, и, чтобы отвлечься, пыталась представить, в каких местах она сделала бы тот или иной поворот, спускаясь с горы. — Не думай об этом, — приказала она себе и провела кончиком языка по распухшей губе, на которой запеклась кровь. — Может быть, потом, когда совсем успокоюсь... Особенно опасен глубокий снег там справа вдоль края ущелья. Преодолев вон тот холмик и делая широкий разворот, чтобы обогнуть обнажившиеся камни, придется двигаться вслепую, и можно потерять самообладание...»

— Доброе утро, мисс Фримэнтл, — сказал кто-то рядом.

Маргарет резко повернула голову. Перед ней стоял инструктор-лыжник — тот самый, стройный, дочерна загоревший молодой человек, которому она улыбалась на вечеринке, приглашая петь вместе со всеми под звуки аккордеона. Не отдавая себе отчета, Маргарет вскочила со скамейки и хотела уйти, но Дистль шагнул вслед за ней.

— У вас какая-нибудь неприятность? — вежливо спросил он. У него был звучный и в то же время мягкий голос. Маргарет остановилась, вспомнив, что накануне вечером, когда вокруг нее ревели гости господина Лангермана, а рядом, прижимая ее к себе, орал Фредерик, только этот человек хранил молчание. Она припомнила также, как он взглянул на нее, когда она расплакалась, и как робко пытался показать, что сочувствует ей и разделяет ее огорчение.

— Простите, пожалуйста, — проговорила Маргарет, поворачиваясь к молодому человеку и пытаясь улыбнуться. — Я задумалась, и ваше появление испугало меня.

— Так что же с вами случилось? — Дистль стоял перед Маргарет с непокрытой головой и показался ей еще более молодым и робким, чем на вечеринке.

— Ничего,— Маргарет села.— Я просто наслаждаюсь видом ваших гор.

— Может быть, вы хотите остаться одна? — спросил он и даже сделал было шаг назад.

— Нет, нет, что вы! — воскликнула Маргарет. Она внезапно поняла, что ей нужно с кем-то поговорить о случившемся, сделать какой-то вывод из того, что произошло. Рассказать обо всем Йозефу невозможно, а Дистль вызывал доверие. Он даже походил немного на Йозефа — такой же интеллигентный и серьезный и такой же смуглый.

— Пожалуйста, не уходите! — попросила Маргарет.

Христиан стоял перед ней, слегка расставив ноги, — стройный и собранный, в плотно облегающем фигуру лыжном костюме. Несмотря на холодный ветер, он ходил с расстегнутым воротом и без перчаток. У него был здоровый цвет лица и оливковая от загара кожа.

Вынув из кармана пачку сигарет, он протянул ее Маргарет. Она взяла сигарету, и Христиан поднес ей зажженную спичку, умело прикрыв ее ладонью от ветра. Совсем рядом Маргарет увидела его уверенные и по-мужски решительные руки.

— Спасибо,— поблагодарила Маргарет. Христиан кивнул и, закурив, сел рядом. Удобно откинув голову на спинку скамейки и прищутив глаза, они молча любовались видом вздымавшейся перед ними горы. Извилистой струйкой поднимался дымок, и первая в это утро сигарета показалась Маргарет крепкой и вкусной.

— Как чудесно! — воскликнула она.

— Что именно?

— Горы.

— Это враг! — пожал плечами Христиан.

— Что, что? — переспросила Маргарет.

— Враг.

Маргарет взглянула на него. Глаза его сузились, губы были крепко сжаты. Она снова стала рассматривать открывавшуюся ее взгляду картину.

— Почему вам не нравятся горы?

— Это же тюрьма,— ответил он, переставляя ноги, обутые в изящные, высоко зашнурованные ботинки с пряжками.— Для меня, конечно.

— Почему вы так говорите? — удивилась Маргарет.

— А вы не думаете, что это идиотизм — растрчивать

вот так свою жизнь? — зло усмехнулся Христиан.— Мир рушится, человечество борется, чтобы выжить, а я тем временем учу всяких толстухек, как скатываться с горы, чтобы не свалиться вниз лицом.

«Ну и страна! — несмотря на отвратительное настроение, мысленно улыбнулась Маргарет.— Даже у спортсменов Weltschmerz¹».

— Но если вам не нравится,— вслух продолжала она,— почему вы тут живете?

Дистль ответил невеселым беззвучным смехом.

— Я прожил семь месяцев в Вене: здесь я уже не в силах был оставаться. Я думал, что найду там какую-нибудь разумную, полезную работу, пусть даже очень трудную. Мой совет вам — не пытайтесь в наше время получить в Вене работу по душе. Что касается меня, то я в конце концов устроился помощником официанта в ресторане — подавать тарелки туристам. Вот я и вернулся сюда, домой. Тут по крайней мере вы можете прилично заработать на жизнь. Вот вам и Австрия — за чепуху платят хорошие деньги.— Дистль покачал головой.— Простите меня,— неожиданно закончил он.

— Простить? За что?

— За такие разговоры. За то, что я жалуюсь. Мне стыдно за себя.— Он бросил сигарету, засунул руки в карманы и слегка сгорбился от смущения.— Не понимаю, что на меня нашло. Всему причиной, должно быть, раннее утро и еще то, что мы одни с вами бодрствуем здесь, на горе. Не знаю... Мне почему-то показалось, что вы поймете меня... Ну что здесь за люди! — Он снова пожал плечами.— Ско-ты! Едят, пьют, наживаются. Вчера вечером мне так хотелось поговорить с вами...

— Жаль, что не поговорили,— ответила Маргарет. Сидя рядом с ним, прислушиваясь к его ровному, звучному голосу,— она понимала, что это специально для нее он так старательно выговаривает каждое немецкое слово,— Маргарет понемногу успокаивалась и уже не чувствовала себя такой оскорбленной.

— Вы вчера так внезапно исчезли,— снова заговорил Дистль.— И плакали, когда уходили.

— Все это глупости,— решительно заявила Маргарет.— Видимо, дело в том, что я еще не совсем взрослый человек.

— Но ведь можно быть взрослым и все же плакать — часто и горько.

¹ Мировая скорбь (нем.).

«Видно, он хочет дать мне понять,— подумала Маргарет,— что и сам иногда плачет».

— Сколько вам лет? — внезапно спросил он.

— Двадцать один год.

Христиан кивнул с таким видом, словно Маргарет сообщила ему что-то очень важное.

— А что вы делаете в Австрии?

— Не знаю,— нерешительно протянула Маргарет. — Мой отец умер и оставил мне кое-какие средства. Немного, правда, но достаточно. Я решила, что, прежде чем осесть окончательно, нужно немножко посмотреть мир...

— Но почему вы остановили свой выбор именно на Австрии?

— Тоже не знаю. Я училась в Нью-Йорке на театрального художника. Один из моих знакомых побывал в Вене и рассказал, что здесь есть замечательная школа и что тут ничем не хуже, чем в других местах. Во всяком случае, здесь все иначе, чем в Америке, а это очень важно.

— И вы посещаете эту школу в Вене?

Да.

Хорошая школа?

— Нет.— Маргарет засмеялась.— Все школы одинаковы. Они, должно быть, хороши для всех, только не для тебя. Дистль повернулся к Маргарет и серьезно взглянул на нее.

— И все же вам нравится наша страна?

— Да. Я люблю Вену, люблю Австрию.

— Но вчера вечером вы не очень-то восхищались Австрией.

— Нет,— ответила Маргарет.— Я говорю «нет» не об Австрии,— откровенно призналась она,— а о тех людях. Не могу сказать, что они мне понравились.

— На вас подействовала песня,— сказал он.— Песня о Хорсте Весселе.

— Да,— подтвердила Маргарет после короткой паузы.— Я никогда не думала, что здесь, в таком чудесном месте, так далеко от всего...

— Ну, не так уж далеко мы живем. Совсем даже недалеко... Вы еврейка?

«Вот он, этот вопрос, разделяющий людей в Европе»,— подумала Маргарет.

— Нет,— ответила она.

— Конечно. Я так и знал.— Христиан сжал губы и перевел взгляд на горы. На его лице появилось обычное для него испытующее, озадачивающее выражение.— А вот ваш друг...

— То есть?!

— Господин, который должен приехать сегодня утром...

— Как вы узнали об этом?

— Спрашивал кое у кого.

Наступило короткое молчание.

«Станный он все-таки человек! — решила про себя Маргарет. — То дерзкий, то робкий, то сухой и мрачный, то деликатный и внимательный...»

— Он, как видно, еврей, — заметил Дистль. В его серьезном вежливом тоне не чувствовалось ни предвзятости, ни враждебности.

— Видите ли, — принялась объяснять Маргарет. — Если рассуждать по-вашему, то, пожалуй, да, еврей. Он католик, но мать у него еврейка и, вероятно...

— Что он за человек?

— Он врач, — медленно продолжала девушка. — Конечно, старше меня. Он очень красивый, немного похож на вас. Очень остроумный: людям в его обществе всегда весело. Но вместе с тем он серьезный человек. Он дрался против солдат у дома Карла Маркса и покинул баррикады одним из последних¹... Я беру свои слова обратно, — вдруг спохватилась Маргарет. — Глупо рассказывать каждому встречному подобные истории — того и гляди накличешь неприятности.

— Да, да, — согласился Христиан. — Больше ничего не говорите... Но все же он вам нравится? Вы собираетесь выйти за него замуж?

Маргарет пожала плечами.

— Мы говорили об этом. Но... пока не решили. Посмотрим.

— Вы расскажете ему о прошлой ночи?

— Да.

— И о том, как вы рассекли губу?

Маргарет машинально дотронулась до разбитой губы и покосилась на Дистля. Тот сосредоточенно рассматривал горы.

— Вчера ночью у вас побывал Фредерик, не так ли?

— Да, — тихо отозвалась Маргарет. — Вы знаете о Фредерике?

— О Фредерике знают все, — резко ответил он. — Вы не первая выходите по утрам из этой комнаты с синяками.

— Но разве ничего нельзя было сделать?

¹ Имеется в виду вооруженное выступление венских рабочих и шувендовцев (членов военизированной социал-демократической организации) против фашистской диктатуры Дольфуса в феврале 1934 года. — *Прим. ред.*

Христиан хрипло рассмеялся.

— «Милый, живой юноша!» Если верить сплетням, то многим девушкам это нравится, даже тем, кто поначалу сопротивляется. Маленькая деталь, придающая пикантность гостинице фрау Лангерман. Фредерик — местная знаменитость. Здесь все к услугам лыжников: фуникулер, пять ручных буксиров, пятиметровый слой снега и... изнасилование по местному способу. Видимо, Фредерик не решается заходить слишком далеко, если девушка сопротивляется по-настоящему. Ведь вас он оставил в покое, правда?

— Да.

— Но в общем-то вы провели отвратительную ночь. И это в доброй, старой Австрии называется радостной и счастливой встречей Нового года!

— Боюсь, это лишь небольшая деталь общей картины,— заметила Маргарет.

— Что вы имеете в виду?

— Песню о Хорсте Весселе, нацистские разговоры, избивание женщин, в комнаты которых врываются силой...

— Чепуха! — громко, с неожиданной злостью оборвал ее Дистль.— Не смейте так говорить!

— А что особенного я сказала? — удивилась Маргарет и почувствовала, что к ней вновь, без особых, казалось бы, причин, начинает возвращаться беспокойство и страх.

— Фредерик пробрался в вашу комнату не потому, что он нацист.— Христиан снова перешел на спокойный и терпеливый тон педагога, каким он разговаривал с ребяташками в группе для начинающих.— Фредерик поступил так потому, что он свинья. Он плохой человек, который по случайности стал нацистом, и в конечном счете настоящего нациста из него никогда не выйдет.

— А вы нацист? — спросила Маргарет. Она сидела неподвижно, уставившись в землю.

— Я? Конечно, нацист. Вас это шокирует? Ничего удивительного. Вы читались этих идиотских американских газет. Ведь мы едим детей, сжигаем церкви, малюем губной помадой и человеческой кровью на спинах монахинь непристойные рисунки и водим их нагишом по улицам, выращиваем людей на специальных фермах и так далее и тому подобное. Это было бы смешно, если бы не было так серьезно.

Наступило молчание. Маргарет захотелось немедленно встать и уйти, но прежняя слабость вновь охватила ее, и она побоялась, что тут же свалится в снег, если попробует подняться. Она испытывала жгучую боль в глазах, ноги налились тяжестью, словно она не спала несколько суток

подряд. Жмурясь, она посмотрела на спокойные белые горы; сейчас, после восхода солнца, они как бы отодвинулись на задний план и уже не казались такими внушительными.

«Какая ложь! — подумала она. — И даже первое впечатление от этих мирных, чудесных гор оказалось ложным, когда взошло солнце».

— Поймите меня правильно. — В голосе Дистля зазвучали печальные, просительные нотки. — Там, в Америке, вам легко осуждать все подряд. Вы богаты и можете разрешить себе любую роскошь: терпимость, так называемую демократию, моральные принципы. А мы здесь, в Австрии, не можем. — Дистль умолк, как будто ждал возражений, но девушка промолчала, и он снова заговорил — негромко и равнодушно:

— Конечно, вы понимаете все по-своему, и я не виню вас. Ваш друг — еврей, вы боитесь за него, и это заслоняет от вас более важные вопросы. Да, да, более важные вопросы, — повторил он, словно эти слова для него самого звучали особенно убедительно и приятно. — И один из таких вопросов — судьба Австрии и немецкого народа. Нелепо делать вид, будто мы вовсе и не немцы. Так может думать американец, живущий за восемь тысяч километров от нас, но не мы. Что сейчас представляет собой наша нация? Семь миллионов нищих, людей без будущего, зависимых от всех, живущих, как содержатели отелей, на чаевые туристов и иностранцев. Американцам этого не понять. Люди не могут вечно жить в унижении. Они сделают все, что от них зависит, только бы вновь обрести чувство собственного достоинства. Эту проблему мы решим лишь тогда, когда Австрия станет нацистской и войдет в состав великой Германии. — Дистль оживился, его голос зазвучал с новой силой.

— Это не единственный путь, — прервала его Маргарет, хотя и понимала, что спорить бесполезно. Но он казался таким разумным, рассудительным и симпатичным. — Ведь должны же быть иные пути, кроме лжи, убийств и обмана.

— Дорогая моя, вы говорите чепуху, — ответил Христиан, печально покачав головой, и терпеливо продолжал объяснять: — Вряд ли вы с такой же уверенностью повторите свои слова, если поживете в Европе лет десять. Послушайте, что я скажу вам. До прошлого года я был коммунистом. Пролетарии всех стран, мир всем, торжество разума, каждому по потребностям, братство, равенство и так далее и тому подобное. — Дистль засмеялся. — Чушь! Я не знаю Америки, но я знаю Европу. В Европе ничего не добьешься,

если руководствоваться разумом. Братство людей... Да ведь это не больше, чем дешевая болтовня второразрядных демагогов, которой они занимаются в перерывах между войнами. Насколько я понимаю, то же самое можно наблюдать и в Америке. Вы обвиняете нас во лжи, убийствах и обмане. Что же, возможно, вы правы. Но в Европе нельзя действовать иначе, если хочешь добиться нужных результатов. Мне не очень приятно говорить подобные вещи, но только глупец может рассуждать иначе. Если вы слабы, вы ничего не добьетесь, позор и полуголодное существование будут вашим уделом; став сильным, вы приобретете все. Ну, а теперь о преследовании евреев.— Христиан пожал плечами.— Досадная случайность. Кто-то почему-то решил, что это единственный путь к власти. Я вовсе не утверждаю, что мне по душе такой путь. Больше того, с моей точки зрения, всякая расовая дискриминация — дикость. Я знаю евреев, которые ведут себя, как Фредерик, но среди них есть и такие, которые ничем не хуже меня. И все же, если для создания новой, организованной Европы нет иного пути, кроме уничтожения евреев, мы должны пойти по этому пути. Маленькая несправедливость ради большой справедливости. Цель оправдывает средства. Неприятно, конечно, усваивать подобную истину, но в конце концов, по-моему, ее усвоят даже американцы.

— Но это ужасно! — воскликнула Маргарет.

— Моя дорогая юная леди! — с чувством проговорил Дистль. Его лицо оживилось, на нем вдруг заиграл румянец. Он повернулся к Маргарет и взял ее за руки.— Я говорю отвлеченно, поэтому нарисованная мною картина кажется более отвратительной, чем действительность. Вы должны простить меня. Я обещаю вам, что в действительности так никогда не будет. Можете передать это своему другу. Год, другой ему придется терпеть маленькие неприятности, возможно, он будет вынужден отказаться от своих обычных занятий и даже вообще куда-нибудь уехать. Но пройдет некоторое время, и ему возвратят все, чего он лишится, его жизнь пойдет по-старому, как только будет достигнута поставленная цель и маневр увенчается успехом. Преследование евреев — не самоцель, а средство достижения цели. Как только все наладится, ваш друг займет подобающее ему место. И не верьте американским газетам. В прошлом году я был в Германии, и должен сказать, что в воображении журналистов все обстоит значительно хуже, чем на улицах Берлина.

— Ненавижу! — крикнула Маргарет.— Я ненавижу все это!

Христиан взглянул ей в глаза с печальным, расстроенным видом, пожал плечами и, медленно отвернувшись, задумчиво посмотрел на снежные вершины.

— Жаль,— снова заговорил он.— Вы показались мне такой рассудительной и понятливой. Я решил было, что встретил американку, которая замолвит за нас доброе словечко, когда вернется домой, американку, которая сумеет хоть немного понять нас.— Он встал.— Но видимо, я ждал слишком многого... Позвольте, в таком случае, дать один совет: возвращайтесь домой, в Америку. Боюсь, что в Европе вы будете очень несчастливы.— Христиан попробовал ногой снег.— Сегодня будет довольно скользко,— сухим, деловитым тоном сообщил он.— Если вы со своим другом собираетесь покататься на лыжах, я могу спуститься вместе с вами по западному маршруту. Сегодня это будет наилучший маршрут, однако не советую вам отправляться туда одним.

— Благодарю вас.— Маргарет тоже поднялась.— Но я думаю, что мы здесь не останемся.

— Ваш друг приезжает утренним поездом?

— Да.

— Ему придется пробыть здесь по крайней мере до трех часов дня: раньше поездов не будет.— Он пристально посмотрел на нее из-под густых, чуть выгоревших на солнце бровей.— Так вы не хотите больше здесь оставаться?

— Нет.

— Из-за того, что произошло прошлой ночью?

— Да.

— Понимаю. Одну минуту.— Он вынул из кармана клочок бумаги и карандаш и что-то написал.— Этот адрес может вам пригодиться. Очаровательный маленький отель, всего километров тридцать отсюда. Трехчасовой поезд делает там остановку. Прекрасные горные склоны и очень милые люди. Политикой они не интересуются, Фредериков среди них нет.— Христиан улыбнулся.— Они не так ужасны, как мы, и будут очень рады и вам, и вашему другу.

Маргарет взяла бумажку, положила ее в карман и поблагодарила. «Несмотря ни на что,— подумала она,— он все же очень порядочный и хороший человек».

— Вот туда, видимо, мы и поедем.

— Ну и прекрасно. Желаю приятно отдохнуть. Ну, а потом...— Дистль улыбнулся и протянул Маргарет руку.— А потом уезжайте в Америку.

Маргарет пожала ему руку и направилась вниз к городу. У подножия склона она остановилась и посмотрела назад. Дистль уже начал занятия с младшей группой и,

нагнувшись, со смехом поднимал упавшую в снег семилетнюю девочку в красной шерстяной шапочке.

Йозеф приехал жизнерадостный и веселый. Он поцеловал Маргарет и вручил ей коробку с пирожными, которые со всяческими предосторожностями вез от самой Вены, и новую лыжную шапочку голубого цвета — он не мог удержаться, чтобы не купить ее. Затем он снова принялся целовать девушку, приговаривая:

— С Новым годом, дорогая! Боже, какие у тебя веснушки! Я люблю тебя!.. Ты самая красивая девушка на свете!.. А как насчет завтрака? Я умираю с голоду.

Не выпуская Маргарет из объятий, он жадно вдыхал свежий воздух, потом обвел взглядом горы и с гордостью собственника воскликнул:

— Ты только взгляни! Нет, ты только посмотри и посмей сказать, что в Америке есть что-нибудь подобное.

И тогда Маргарет тихонько и беспомощно заплакала. Мгновенно помрачнев, Йозеф принялся поцелуями осушать ее слезы.

— Что случилось? Что это значит, дорогая? — спрашивал он своим низким голосом, в котором звучала неподдельная тревога.

Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, в уголке маленькой станции, укрытые от взглядов людей, толпившихся на платформе, и Маргарет, всхлипывая и запинаясь, рассказала ему о том, как накануне вечером в отеле распевали фашистские песни и провозглашали фашистские тосты. О Фредерике она не сказала ни слова. Закончив свой рассказ, она заявила, что больше не останется здесь ни на один день.

Йозеф рассеянно поцеловал ее в лоб и погладил по щеке. От его веселого настроения не осталось и следа.

— Так, — пробормотал он. — И здесь то же. Дома, на улице, в городе, деревне... — Йозеф покачал головой. — Милая Маргарет! По-моему, тебе лучше уехать из Европы. Уезжай домой. Уезжай в Америку.

— Нет, — не задумываясь, возразила Маргарет. — Я хочу остаться здесь. Я хочу выйти за тебя замуж и остаться здесь.

Йозеф покачал головой. На его мягких, коротких, тронутых сединой волосах поблескивали капельки воды от растаявших снежинок.

— Я должен побывать в Америке. Я должен посетить страну, откуда приезжают такие девушки, как ты.

— Но я же сказала, что хочу выйти за тебя замуж,— повторила Маргарет и крепко сжала его руку.

— Мы поговорим об этом потом,— с нежностью ответил Йозеф.— Обсудим в другой раз.

Но «другой раз» так и не наступил.

Они возвратились в гостиницу Лангермана и, сидя у окна, из которого открывался вид на величественные, искрящиеся на солнце Альпы, молча поглощали обильный завтрак — яичницу с ветчиной и картофелем, блины и кофе по-венски с густыми взбитыми сливками. Им прислуживал вежливый и скромный Фредерик. Он любезно подставил стул Маргарет, когда она садилась за стол, быстро наполнял чашку Йозефа, как только она пустела.

После завтрака Маргарет уложила свои вещи и заявила фрау Лангерман, что должна уехать вместе со своим другом.

— Ах, как жаль! Ах, как жаль! — закудахтала фрау Лангерман. Впрочем, она тут же представила счет. В нем, среди других пунктов, упоминались какие-то девять шиллингов.

— А это за что? — спросила Маргарет, указывая на аккуратную запись чернилами. Она стояла в холле, у лакированного дубового стола. Фрау Лангерман, чистенькая, накрахмаленная, вскочила из-за стола, наклонила голову и близорукими глазами уставилась на счет.

— Ах, это! — Она окинула Маргарет ничего не выражающим взглядом.— Это за порванную простыню, Liebchen!¹

Маргарет оплатила счет. Фредерик помог ей перенести чемоданы, и она дала ему на чай. Затем он усадил ее в экипаж и, поклонившись, сказал:

— Надеюсь, вы хорошо провели у нас время.

Оставив свои чемоданы на вокзале, Маргарет и Йозеф до прихода поезда бродили по улицам, рассматривая витрины магазинов.

Когда поезд медленно уходил от станции, Маргарет показалось, что она видит Дистля. Он стоял в конце платформы и наблюдал за ними. Маргарет помахала рукой, но он не ответил. Маргарет почему-то подумала, что только Дистль мог поступить так: прийти на станцию, не поздороваться и молча наблюдать за их отъездом.

Рекомендованная Дистлем гостиница оказалась маленькой и уютной, а ее обитатели необыкновенно приятными людьми. Несколько ночей подряд шел снег, каждое утро

¹ Милочка (нем.).

заново засыпая тропинки. Маргарет никогда еще не видела Йозефа таким веселым и жизнерадостным. Чувствуя себя в безопасности в его объятиях, она спокойно спала по ночам в огромной кровати с теплой пуховой постелью, казалось предназначенной специально для тех, кто проводит медовый месяц в горах. Они не говорили ни о чем серьезном и о женитьбе больше не упоминали. Целыми днями в ясном небе над горными вершинами сверкало солнце, а воздух был пьянящий, как вино. Вечером перед камином Йозеф приятным, вкрадчивым голосом пел для гостей романсы Шуберта. В доме все время пахло корицей. Оба они покрылись темным загаром, и веснушек на носу у Маргарет стало еще больше.

Наконец наступил день отъезда. По дороге на станцию Маргарет вдруг расплакалась. Каникулы кончились.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нью-Йорк тоже праздновал наступление Нового года. По мокрому асфальту буфер к буферу, непрерывно гудя, сплошным потоком двигались такси. Длинная вереница машин напоминала какое-то неведомое животное из железа и стекла, загнанное в гигантскую каменную клетку. В центре города миллионы людей серыми волнами лениво и бесцельно перекатывались взад и вперед. Освещенные ослепительным сиянием реклам, они напоминали арестантов, на которых в момент попытки к бегству тюремная стража внезапно направила лучи прожекторов. В световой газете, огни которой лихорадочно металась на здании «Нью-Йорк таймс», к сведению веселящихся внизу людей сообщалось, что во время урагана, пронесшегося над Средним Западом, погибло семь человек и что Мадрид в канун Нового года (к удобству читателей «Таймс» он наступал там на несколько часов раньше, чем в Нью-Йорке) двенадцать раз подвергался артиллерийскому обстрелу.

Полицейским Новый год не сулил ничего, кроме дальнейшего роста числа краж, насилий и дорожных катастроф со смертельным исходом, кроме жары и холода. И хотя они своим добродушным видом хотели показать, что не чужды общего веселья, но в действительности с холодной насмешкой устало взирали на стада резвящихся животных, двигавшиеся по Таймс-скверу.

А веселящаяся публика нескончаемой лавиной катилась

по улицам, покрытым смешавшимися с грязью обрывками бумаги, швырялась конфетти, насыщенным миллионами бактерий большого города, трубила в рожки, дабы поведать миру, как она счастлива и бесстрашна. Гуляющие с напускным добродушием, которому предстояло испариться еще до наступления утра, хрипылыми голосами поздравляли друг друга с Новым годом. Ради этого некогда покинули они туманную Англию и подернутые зеленой дымкой луга Ирландии, песчаные холмы Ирака и Сирии и цепенеющие в вечном страхе перед погромами гетто Польши и России, виноградники Италии и тресковые отмели Норвегии; ради этого они приехали сюда с далеких островов и континентов, из многих городов земли. Потом они стали приезжать из Бруклина и Бронкса, Ист-Сент-Луиса и Тексарканы и из никому неведомых местечек вроде Бимиджи, Джеффри, Спирита. Все они выглядели так, словно постоянно недосыпали и никогда вдоволь не пользовались солнцем, словно их костюмы были с чужого плеча; они выглядели так, будто попали в эту холодную каменную клетку на чужой, а не на свой праздник; будто они чувствовали всем своим существом, что зима никогда не кончится, и будто, несмотря на веселые звуки рожков, смех и это торжественное, как религиозная процессия, шествие по улицам, они знали, что новый, 1938 год принесет им еще больше забот, чем прошедший.

По-настоящему радовались только карманники и проститутки, картежники и сводницы, жулики и водители такси, официанты и хозяйева гостиниц; они неплохо поживились в эту новогоднюю ночь. Не могли пожаловаться и владельцы театров, торговцы шампанским, нищие и швейцары ночных клубов. То там, то здесь слышался звон стекла: это из номеров отелей (сегодня они сдавались за пять долларов в сутки вместо двух в обычное время) в тесные задние дворы, снабжавшие обитателей гостиниц светом, воздухом и видом на мир, летели бутылки из-под виски. В шуме скоротечного веселья провожали люди старый год. На 50-й улице девушке перерезали горло, и вой сирены скорой помощи на секунду властно ворвался в симфонию празднества. На улицах потише из полуоткрытых, освещенных желтым светом окон доносился визгливый, притворный женский смех. Это был обычный для субботних и праздничных вечеров отвратительный голос пресыщенного развлечениями города, голос, который почему-то можно слышать только в темноте, незадолго до наступления холодного рассвета.

Несколько позднее, вдыхая вечно влажный воздух под-земки, дрожащей от грохота пригородных поездов, молчаливые, шатающиеся от усталости люди с ввалившимися глазами и измятыми лицами, пропахшие всеми запахами улицы — дешевыми цветами и чесноком, луком и гуталином, духами и потом, снова разъединенные перегородками купе, начнут растекаться по своим убогим жилищам. Но пока не наступит этот час, они до изнеможения будут бродить под оглушительный шум рожков, трещоток и жестяных свистков по ярко освещенным улицам, упрямо празднуя наступление Нового года, потому что, плохо ли, хорошо ли, они протянули еще один год и, быть может, протянут следующий.

Пробираясь через толпу, Майкл Уайтэкр ловил себя на том, что он, сам того не замечая, отвечает на каждый толчок фальшивой, натянутой улыбкой. Он опаздывал, а достать такси было невозможно. Ему пришлось задержаться в театре и выпить несколько рюмок в одной из артистических уборных. От наспех выпитого вина у него шумело в голове и жгло желудок.

Вечер в театре прошел сумбурно. Зрители не интересовались пьесой и отчаянно шумели; роль бабушки пришлось играть дублерше, потому что Патриция Ферри так напилась, что ее нельзя было выпустить на сцену. Пытаясь поддержать порядок, Майкл совсем измучился. Он был режиссером пьесы «Поздняя весна», в которой было занято тридцать семь участников, в том числе трое вечно простуженных детей. По уходу спектакля приходилось пять раз менять декорации, причем на каждую смену отводилось двадцать секунд. Когда кончился этот сумасшедший день, Майклу страстно хотелось одного: уйти домой и завалиться спать. Но сегодня еще предстоял этот проклятый вечер на 67-й улице, и Лаура была уже там. В конце концов, в канун Нового года и не полагалось ложиться спать.

Майкл кое-как протолкался через густую толпу, быстро дошел до Пятой авеню и свернул на север. Тут было не так людно, а из Центрального парка долетал свежий, бодрящий ветерок. На узкой полоске темного неба, видневшейся между крышами высоких зданий можно было даже рассмотреть маленькие бледные звезды.

«Надо будет купить домик, недалеко от Нью-Йорка,— подумал Майкл, быстро и бесшумно шагая по асфальту.— Недорогой домик, тысяч за шесть или семь. Денег как-

нибудь наскребу — придется перехватить займы. Время от времени буду уезжать туда на несколько дней. Там будет тихо, по ночам можно будет видеть все звезды, а когда захочу, ничто не мешает мне лечь спать часов в восемь. Да, хватит мечтать, надо обязательно купить такой домик».

В полуосвещенной витрине магазина он увидел свой силуэт. Отражение было неясным и расплывчатым, но, как всегда, собственный вид привел его в раздражение. Почти бессознательно он расправил плечи.

«Когда только ты перестанешь сутулиться! — выругал он себя.— И не мешало бы похудеть фунтов на пятнадцать. Ни дать ни взять — толстый лавочник».

На одном перекрестке около него остановилось такси, но он сделал отрицательный жест. «Физические упражнения и воздержание от вина — по крайней мере на месяц. Выпивка-то и доводит людей до такого состояния. «Пиво, «Мартини», еще рюмочку!» А с какой головой ты встал сегодня утром! До полудня ни за что не мог взяться, потом пошел завтракать и снова пил. Сейчас начинается Новый год — самое подходящее время бросить пить. Сегодня на вечере представится прекрасная возможность испытать свой характер. Не нужно делать из этого сенсации. Просто не пить — и все. А в загородном доме не держать и капли вина».

Майкл сразу почувствовал себя гораздо лучше. Ему казалось, что он полон решимости и сил, и хотя брюки его вечернего костюма по-прежнему были тесноваты в поясе, он широко зашагал мимо роскошных витрин к 67-й улице.

Когда Майкл вошел в переполненную комнату, только что пробило двенадцать. Люди пели и обнимались; в одном из углов он заметил мертвецки пьяную девицу из числа тех, кого обязательно встретишь на каждой вечеринке. Среди гостей Уайтэкр увидел свою жену — она целовала какого-то низенького мужчину, по всем признакам имеющего отношение к Голливуду. Кто-то сунул Майклу бокал с вином, а высокая девушка испачкала ему плечо картофельным салатом. «Какой прекрасный салат!» — воскликнула она и небрежно смахнула его узкой, выхолощенной рукой с длинными, дюйма в полтора ногтями, покрытыми вишневым лаком. Затем протолкнувшись через толпу, к нему подошла Кэтрин, одетая в платье с очень большим декольте.

— Майкл, дорогой! — воскликнула она, целуя его в затылок.— Что ты делаешь сегодня вечером?

— Вчера приехала из Лос-Анжелоса моя жена.

— Да? Печально. Ну, с Новым годом! — И она поплыла дальше, приводя в трепет трех одетых во фраки студентов с младших курсов Гарвардского университета — родственников хозяйки, приехавших в город на каникулы.

Майкл поднял бокал и отпил до половины. Это, видимо, было виски, в которое кто-то налил лимонаду. «Брошу пить с завтрашнего дня,— подумал он.— Все равно я уже выпил сегодня три стакана и этот вечер потерян».

Майкл подождал, пока его жена не кончила целовать маленького лысого человека с пышными кавалерийскими усами, потом пробрался сквозь толпу гостей и встал у нее за спиной. Он услышал, как жена, не выпуская руки маленького человека, говорила:

— Сценарий отвратительный, Гарри, но ты, пожалуйста, никому об этом не говори.

— Ты же знаешь меня, Лаура. Разве я болтун?

— С Новым годом, с новым счастьем, дорогая! — сказал Майкл и поцеловал Лауру в щеку.

Она обернулась, все еще не выпуская руки лысого, и улыбнулась. Даже здесь, где пьяный шум и сутолока не располагали, казалось, к проявлению нежных чувств, Лаура приветствовала Майкла с тем выражением ласки и теплоты во взоре, которое всякий раз поражало и волновало его. Она протянула свободную руку и привлекла к себе Майкла, чтобы поцеловать его. В тот момент, когда их лица сблизились, Майкл почувствовал, что Лаура с подозрением прихихивается к его дыханию. Отвечая на поцелуй жены, он не мог сдержать раздражения и помрачнел. «Вечно она нюхает,— мелькнуло у него.— Старый сейчас год или новый — ей все равно».

— Перед тем как уйти из театра,— насмешливо сказал Майкл, отстраняясь от жены,— я вылил на себя два флакона духов «Шанель № 5».

Веки Лауры обиженно дрогнули.

— Не будь таким скверным хоть в новом году,— попросила она.— Почему ты так поздно?

— Зашел по пути пропустить пару бокалов вина.

— С кем? — Лаура посмотрела на него подозрительным собственническим взглядом, который так портил нежное и открытое выражение ее лица всякий раз, когда она допрашивала мужа.

— Кое с кем из приятелей.

— И только? — Лаура говорила тем игривым и легкомысленным тоном, какой был принят среди женщин ее круга,

когда они подшучивали над своими мужьями в обществе.

— Нет,— в тон ей отвечал Майкл.— Я забыл сказать, что с нами были шесть полуобнаженных полинезийских танцовщиц — мы оставили их в ночном клубе «Сторк».

— Ну не забавен ли он? — воскликнула Лаура, обращаясь к лысому.— Он ужасно потешный, не правда ли?

— Начинается семейная сценка,— усмехнулся лысый,— а когда дело доходит до семейных сцен, я исчезаю. Пока, дорогая.— Он помахал рукой Уайтэкрам и скрылся в толпе.

— У меня есть великолепная идея,— заявила Лаура.— Давайте не будем сегодня говорить женам гадости.

Майкл допил вино и поставил бокал.

— Кто этот усатый?

— А, Гарри?

— Тот, кого ты целовала.

— Да это Гарри. Я знаю его уже много лет. Он бывает на всех вечерах.— Лаура легким движением рук поправила прическу.— И здесь, и на Западном побережье. Я не знаю, чем он занимается. Возможно, он антрепренер. Сегодня Гарри подошел ко мне и сказал, что в последнем фильме я была очаровательна.

— Он так и сказал — очаровательна?

— Ага.

— Ага? Это что, так теперь говорят в Голливуде?

— Возможно.— Лаура улыбалась ему, но глаза ее все время бегали по комнате. Впрочем, она всегда была такой, когда они находились в обществе.— Как, по-твоему, я сыграла в последнем фильме?

— Очаровательно,— ответил Майкл.— Давай выпьем.

Лаура встала, взяла его за руку и нежно потерлась щекой о его плечо.

— Ты рад, что я приехала? — спросила она.

— Очарован,— ухмыльнулся Майкл.

Они засмеялись и рука об руку направились к буфету, пробираясь мимо столпившихся в центре комнаты гостей.

Буфет находился в соседней комнате под абстракционистской картиной с нарисованным фуксином подобием женщины о трех грудях, восседающей на параллелограмме. Здесь они застали седеющего, полного Уоллеса Арни с чайной чашкой в руках. Рядом с ним стоял приземистый, могучего сложения человек в синем сержевом костюме. Он выглядел так, словно зим десять подряд пошел на открытом воздухе. Тут же болтали две девицы с хорошенькими, но невыразительными личиками и узкими, как у манекенщиц, бедрами. Они пили неразбавленное виски.

— Он приставал к тебе? — услышал Майкл голос одной из девушек.

— Нет,— ответила другая, встряхнув светлыми блестящими волосами.

— Но почему?

— Потому что он сейчас йог.

Девушки задумчиво заглянули в свои бокалы, допили вино и удалились — величаво и грациозно, как пантеры в джунглях.

— Ты слышала? — спросил Майкл.

— Да,— засмеялась Лаура.

Майкл попросил у буфетчика две рюмки виски и улыбнулся Арни, автору «Поздней весны». Тот продолжал молча смотреть прямо перед собой, время от времени элегантным движением трясущейся руки поднося к губам чашку.

— Нокдаун,— заметил человек в синем сержевом костюме.— Потерял сознание, но устоял на ногах. Судья должен прекратить схватку, иначе она превратится в простое избивание.

Арни ухмыльнулся, украдкой посмотрел по сторонам и протянул буфетчику свою чашку с блюдцем.

— Пожалуйста, налейте мне еще чайку.

Буфетчик налил в чашку хлебной водки, и Арни, прежде чем взять ее, снова осмотрелся вокруг.

— Здорво, Уайтэкр! — приветствовал он Майкла.— Здравствуйте, миссис Уайтэкр. Ведь вы ничего не скажете Филис, правда?

— Нет, нет, Уоллес,— отозвался Майкл,— не скажем.

— Слава богу. У Филис что-то с желудком,— пояснил Арни.— Уже час, как она вышла. Она не разрешает мне пить даже пиво.— Он был пьян, и в его хриплом голосе прозвучали нотки жалости к самому себе.— Вы можете себе представить? Даже пива! Вот поэтому-то я держу чайную чашку. Даже в двух шагах никто не догадается, что я пью. В конце концов,— вызывающе воскликнул он, отхлебывая из чашки,— я взрослый человек! Она хочет, чтобы я написал новую пьесу,— другим, огорченным тоном продолжал он.— Она жена человека, финансирующего постановку моей пьесы, и на этом основании считает, что имеет право запретить мне пить. Это унижительно! Нельзя так унижать человека моего возраста.— Он повернулся к мужчине в сержевом костюме.— Мистер Пэрриш, например, пьет, как рыба, а ведь его никто не пытается унижить. Все говорят: «Посмотрите, как трогательно Филис заботится об

этом пьянчужке Уоллесе Арни!» Но меня это не трогает. Мы с мистером Пэрришем знаем, почему она так делает. Так я говорю, мистер Пэрриш?

— Так, так, дружище! — ответил человек в сержевом костюме.

— Экономика! Как везде и всюду. — Арни внезапно взмахнул чашкой и пролил виски на рукав Майкла. — Мистер Пэрриш — коммунист, уж он-то знает. В основе всех действий людей лежит жадность. Жадность, и больше ничего. Если бы они не надеялись получить от меня еще одну пьесу, то пусть бы даже я поселился на винокуренном заводе, они не стали бы возражать. Я мог бы купаться в спирте, и они только сказали бы: «Поцелуй меня в... Уоллес Арни!..» Прошу прощения, миссис Уайтэкр.

— Ничего, — сказала Лаура.

— У тебя хорошенькая жена, — продолжал Арни. — Очень хорошенькая. Я слышал, как тут ей восхищались. — Он лукаво взглянул на Майкла. — Да, да, восхищались! Среди гостей есть несколько ее старых друзей. Не так ли, миссис Уайтэкр?

— Правильно.

— У каждого из нас здесь найдутся старые приятели, — продолжал Арни. — И так сейчас на каждом вечере. Современное общество! Клубок змей во время зимней спячки. Возможно, это и будет темой моей следующей пьесы, хотя, конечно, я так и не напишу ее. — Он сделал большой глоток. — Какой чаек! Не проговоритесь Филис.

Майкл взял Лауру под руку и повел было ее к выходу.

— Не уходи, Уайтэкр, — попросил Арни. — Я знаю, что тебе скучно со мной, но не уходи. Я хочу с тобой поговорить. О чем тебе хочется? Об искусстве?

— Как-нибудь в другой раз, — ответил Майкл.

— Я понимаю, ты серьезный молодой человек, — упрямо продолжал Арни. — Давай поговорим об искусстве. Как сегодня прошла моя пьеса?

— Хорошо.

— Нет, я не хочу говорить о своей пьесе. Я сказал — искусство, но я знаю, что ты думаешь о моей пьесе. Об этом знает весь Нью-Йорк. Ты кричишь об этом на всех перекрестках, и я давно выгнал бы тебя из театра, если бы мог. Сейчас я настроен дружески, но вообще-то я бы тебя уволил.

— Ты пьян, Уолли.

— Я недостаточно умен для тебя, — продолжал Арни; его светло-голубые глаза слезились, а нижняя губа, толстая и мокрая, тряслась. — Доживи до моих лет и попробуй остаться умным, Уайтэкр!

— Я убеждена, что Майклу очень нравится ваша пьеса, — сказала Лаура ясным, успокаивающим голосом.

— Вы очень милая женщина миссис Уайтэкэр, и у вас много друзей, но сейчас лучше помолчите.

— А почему бы тебе не полежать где-нибудь? — обратился Майкл к Арни.

— Давай не уклоняться от темы. — Арни неуклюже, с воинственным видом повернулся к Майклу. — Я знаю, что ты болтаешь обо мне на вечерах: «Старый дурак Арни исписался; Арни пишет стилем, от которого отказались еще в тысяча восемьсот двадцать девятом году, о людях, интерес к которым пропал в тысяча девятьсот двадцать девятом году». Это даже не смешно. У меня и так достаточно критиков. Почему, ты думаешь, мне приходится платить им из своих денег? Я терпеть не могу сопляков, вроде тебя, Уайтэкэр. Кстати, ты уже не так молод, чтобы считать тебя сопляком.

— Послушайте, дружище... — начал человек в сержевом костюме.

— Вы сами поговорите с ним, — повернулся Арни к Пэрришу. — Он тоже коммунист, вот почему я для него недостаточно умен. А прослыть умником в наше время нетрудно — надо только раз в неделю покупать за пятнадцать центов «Нью мэссис»¹. Арни нежно обнял Пэрриша. — Вот какие коммунисты мне по душе, Уайтэкэр! Как мистер Пэрриш Опаленный солнцем мистер Пэрриш. Он загорел в солнечной Испании. Он был в Испании, воевал в Мадриде, а теперь снова едет в Испанию, чтобы его там убили. Верно, мистер Пэрриш?

— Конечно, дружище, — отозвался Пэрриш.

— Вот какие коммунисты мне нравятся, — громко повторил Арни. — Мистер Пэрриш приехал сюда собирать деньги и вербовать добровольцев для поездки в солнечную Испанию, где они погибнут вместе с ним. Почему бы тебе, Уайтэкэр, вместо того чтобы умничать на этих роскошных вечерах в Нью-Йорке, не поехать с мистером Пэрришем в Испанию и не проявить свою мудрость там?

— Если ты не замолчишь... — начал было Майкл, но в эту минуту между ним и Арни оказалась высокая седая женщина с величественным выражением на смуглом лице. — Не говоря ни слова, она спокойно выбила чашку из рук Арни. Послышался звон осколков. Арни гневно взглянул на женщину, но вдруг робко заулыбался и, опустив голову, устоялся в пол.

¹ Прогрессивный журнал, близко примыкавший к компартии. Существовал с 1926 по 1948 год. — *Прим. ред.*

— А, это ты, Филис! — пробормотал он.

— Убирайся прочь от буфета,— приказала Филис.

— Да ведь я чаек пью,— ответил Арни, но послушно повернулся и отошел, шаркая ногами, грузный, стареющий, с растрепанными седыми волосами, прилипшими к высокому потному лбу.

— Мистер Арни не пьет,— заявила Филис буфетчику.

— Слушаюсь, мэ.

— Боже милосердный! — обратилась женщина к Майклу.— Я готова растерзать его. Он сводит с ума. А ведь в общем-то Арни такой милый человек!

— Да, да, чудесный человек,— согласился Майкл.

— Он безобразничал? — озабоченно спросила Филис.

— Что вы!

— Боюсь, что его никуда больше не будут приглашать уже и сейчас все его избегают,— пожаловалась Филис.

— Не вижу причин,— пожал плечами Майкл.

— Даже если вы и правы, все равно Арни очень тяжело. Он сидит в своей комнате мрачный как туча и всем, кто готов его слушать, твердит, что исписался. Я привела его сюда в надежде, что ему будет полезно побыть на людях и я смогу присмотреть за ним...— Филис пожалала плечами, провожая взглядом удаляющуюся неряшливую фигуру Арни.— Кое-кому из мужчин следовало бы обрубить руки, как только они потянутся за первой рюмкой вина.

Старомодным изысканным жестом Филис подобрала юбки, и, шурша тафтой, направилась вслед за драматургом.

— Пожалуй, я не прочь выпить,— сказал Майкл.

— И я тоже,— поддержала Лаура.

— Ну, и я за компанию,— согласился Пэрриш.

Они молча стояли у стойки, глядя, как буфетчик наполняет бокалы.

— Злоупотребление алкоголем,— торжественным тоном проповедника провозгласил Пэрриш, протягивая руку за бокалом,— это одна из черт, отличающих человека от животного.— Все рассмеялись. Прежде чем выпить, Майкл знаком показал Пэрришу, что поднимает тост за него.

— За Мадрид! — ровным и спокойным голосом сказал Пэрриш.

— За Мадрид! — вполголоса отозвалась Лаура.

Майкл почувствовал, что к нему возвращается прежнее беспокойство. Он заколебался, но все же сказал, как и остальные:

— За Мадрид!

Все выпили.

— Когда вы возвратились? — спросил Майкл, ощущая какую-то неловкость.

— Четыре дня назад, — ответил Пэрриш, снова поднося бокал к губам. — У вас в Америке очень хорошие напитки, — добавил он с улыбкой. Он пил непрерывно, каждые пять минут снова наполняя бокал, но не обнаруживал никаких признаков опьянения — только лицо его становилось краснее.

— А когда выехали из Испании?

— Две недели назад.

«Две недели назад он еще бродил по замерзшим дорогам, — подумал Майкл, — с винтовкой, в полувоенной форме; над его головой проносились самолеты, а по обочинам дорог виднелись свежие могилы. А сейчас он стоит здесь в синем костюме, как шафер на своей свадьбе, и встряхивает ледяные кубики в бокале вина. Окружающие болтают о своем последнем кинофильме и о том, что говорят о нем критики, и почему ребенок закрывает во сне кулачком глаза. В углу комнаты гитарист распевает нелепые баллады, якобы сложенные на Юге. Все это происходит в богатой, устланной коврами, переполненной гостями квартире, на одиннадцатом этаже дома, которому ничто не угрожает. Из высоких окон открывается вид на парк, а над буфетом висит фуксиновая девица с тремя грудями. Пройдет еще немного времени, и он отправится на пристань — ее можно видеть из этих окон, — сядет на пароход и уедет обратно в Испанию. По его лицу трудно сказать, что он пережил, а его добродушно-грубоватая манера держаться не позволяет судить, знает ли он, что его ждет.

Люди, — продолжал размышлять Майкл, — удивительно легко приспособляются. Ведь Пэрриш значительно старше его и, несомненно, прожил более трудную жизнь, и все же он отправился в Испанию и участвовал в длинных переходах по залитой кровью земле. Он убивал и рисковал быть убитым, а сейчас возвращается туда продолжить ту же жизнь...»

Майкл тряхнул головой. Он понял, что ему неприятно присутствие этого краснолицего человека с огрубевшими руками: он торчит здесь, на этом вечере, как вежливый жандарм, приставленный к совести Майкла. Подумав об этом, он тут же возненавидел себя за такие мысли.

— ...Нам очень нужны деньги, — продолжал Пэрриш, обращаясь к Лауре, — деньги и политическая поддержка. Желающих драться мы найдем сколько угодно. Но англий-

ское правительство конфисковало все золото республиканцев в Лондоне, а Вашингтон помогает Франко. Мы вынуждены отправлять своих людей нелегально, а это требует денег — для взяток, для оплаты проезда и так далее. Однажды в окопах под Университетским городком, когда стоял такой холод, что, клянусь богом, у кита отмерзли бы соски на брюхе, ко мне обратились мои друзья. «Вот что, дружище Пэрриш,— сказал один из них,— ты все равно зря тратишь здесь патроны — мы еще не видели, чтобы ты убил хоть одного фашиста. Зато у тебя хорошо повешен язык, и мы решили послать тебя обратно в Штаты. Расскажи там несколько душераздирающих, красочных историй о героях бессмертной Интернациональной бригады, сражающихся с фашистами. Поезжай и возвращайся с полными карманами денег». Ну вот я и приехал. Я выступаю на собраниях и даю полную волю своему красноречию. Не успеешь опомниться, как публика загорается энтузиазмом и становится необычайно щедрой. Глядя на этих восторженных девушек и видя, как стекаются денежки, я начинаю думать, что нашел свое истинное призвание в борьбе за свободу.— Пэрриш ухмыльнулся, радостно сверкнув белоснежными вставными зубами, и протянул буфетчику пустой бокал.— Вы тоже хотите послушать страшные рассказы о кровавой борьбе за свободу измученной Испании?

— Ну уж нет,— запротестовал Майкл.— Особенно после такого вступления!

— А таким людям правда и не нужна.— Пэрриш сразу отрезвел, с его лица исчезла улыбка. Он повернулся и обвел глазами комнату. И впервые в его холодном, суровом, оценивающем взгляде Майкл уловил, как много пережил этот человек.

— Беженцы...— снова заговорил Пэрриш.— Юноши, которые приехали в Испанию за пять тысяч миль и с удивлением узнали, что тут можно, оказывается, погибнуть от фашистской пули... Грязные французские таможенные чиновники, вымогающие взятки за то, чтобы в разгар зимы пропустить босых людей с кровоточащими ногами через границу в Пиренеях...

Повсюду вымогатели, жулики и комбинаторы: в портах, в учреждениях... Даже в батальоне, в роте, рядом с тобой на передовых позициях можно встретить маменькиных сынков, которые, видя, как падают их товарищи, внезапно заявляют: «Я, должно быть, ошибся. Это выглядит совсем не так, как казалось в Дартмуте».

К буфету подошла маленькая полная блондинка лет

сорока в девичьем розовом платье и взяла Лауру за руку.

— Лаура, дорогая,— сказала она.— Я искала тебя. Твоя очередь.

— Да?! — воскликнула Лаура, поворачиваясь к ней.— Прости, пожалуйста, что я заставила тебя ждать, но мистер Пэрриш так интересно рассказывает.

Услышав слово «интересно», Майкл слегка поморщился, а Пэрриш улыбнулся женщинам.

— Я вернусь через несколько минут,— пообещала Лаура Майклу.— Синтия гадает женщинам, и сейчас как раз моя очередь.

— Спросите, не суждено ли вам встретиться с сорокалетним ирландцем со вставными зубами,— громко сказал Пэрриш.

— Обязательно спрошу,— рассмеялась Лаура и ушла под руку с гадалкой.

Майкл видел, как Лаура прямой и чуть вызывающей походкой шла по комнате. За ней наблюдали двое мужчин — высокий, симпатичный Дональд Уэйд и некий Тэлбот. Оба они принадлежали к числу тех людей, которых Лаура называла своими «бывшими поклонниками». Кажется, их всегда приглашают на те же самые вечера, что и чету Уайтэкров. Майкл порой с беспокойством задумывался над выражением «бывший поклонник». Он не сомневался, что в свое время с каждым из них у Лауры был роман, а теперь она хотела заставить его поверить, что все это дело прошлое. Такое ложное положение раздражало Майкла, но он понимал, что уже бессилён что-либо изменить.

— Выпьем? — предложил Майкл.

— Охотно,— согласился Пэрриш.

Они пододвинули бокалы буфетчику.

— Когда вы возвращаетесь? — спросил Майк.

Пэрриш осмотрелся вокруг, и на его открытом честном лице появилось хитрое выражение.

— Трудно сказать,— шепотом ответил он,— да и глупо говорить об этом. Вы же знаете — госдепартамент... Везде фашистские шпионы. А я ведь формально уже утратил американское гражданство, после того как вступил в иностранную армию. Но если между нами... по всей вероятности, я уеду через месяц-полтора...

— Вы поедете один?

— Не думаю. Вместе со мной, очевидно, отправится небольшая группа хороших ребят.— Пэрриш дружески улыбнулся.— Двери Интернациональной бригады широко откры-

ты. Это растущее предприятие.— Он задумчиво взглянул на Майкла, и тот понял, что ирландец оценивает его и задает себе вопрос: что делает этот человек в модном костюме здесь, в фешенебельной квартире, почему он не лежит за пулеметом, а торчит у буфета?

— Вы хотите и меня включить в эту группу?

— Нет.

— А деньги вы возьмете? — хрипло спросил Майкл.

— А деньги я возьму даже из святых рук самого папы

Пия.

Майкл вытащил бумажник, в котором еще оставалось семьдесят пять долларов (он сегодня получил наградные), и отдал их Пэрришу.

— Оставьте себе на такси,— сказал Пэрриш, небрежно опуская деньги в боковой карман, и похлопал Майкла по плечу.— Мы убьем для вас пару фашистских ублюдков.

— Спасибо,— ответил Майкл, пряча бумажник. Ему не хотелось больше разговаривать с Пэрришем.— Вы останетесь здесь?

— Да.

— Ну, мы еще встретимся. Я хочу кое-кого повидать.

— Пожалуйста.— Пэрриш холодно поклонился.— Спасибо за деньги.

— Чепуха.

Майкл направился через комнату к группе стоявших в углу гостей. Еще издали он увидел Луизу — она посматривала на него и вопросительно улыбалась. Луиза была, как сказала бы Лаура, его «бывшей приятельницей», хотя, по правде говоря, они и сейчас поддерживали интимные отношения. Луиза вышла замуж, но получалось как-то так, что время от времени то ненадолго, то на более длительный срок они вновь становились любовниками. Майкл понимал, что когда-нибудь их связь будет открыта. Однако маленькая, смуглая, умевшая прятать концы в воду Луиза, ласковая и нетребовательная, слывшая одной из самых хорошеньких женщин Нью-Йорка, по-своему была дороже Майклу, чем жена. Иногда в зимний день, лежа рядом с ним в чужой квартире, Луиза вздыхала и, уставившись в потолок, говорила:

— Ну не чудесно ли, а? Но все же наступит время, когда нам придется расстаться.

Правда, ни она, ни Майкл всерьез никогда над этим не задумывались.

Луиза стояла рядом с Дональдом Уэйдом. У Майкла мелькнула было неприятная мысль о превратностях жизни,

но тут же исчезла, как только он поцеловал Луизу и поздравил ее с Новым годом.

Затем Майкл степенно пожал руку Уэйду, как всегда удивляясь, почему мужчины считают необходимым соблюдать такую вежливость с бывшими любовниками своих жен.

— Здравствуйте,— сказала Луиза.— Давно вас не видела. Вам очень идет этот костюм. А где миссис Уайтэкр?

— Гадалка предсказывает ей судьбу,— ответил Майкл.— Лаура не жалуется на прошлое и теперь решила побеспокоиться о будущем... А где ваш муж?

— Не знаю. Где-то здесь.— Луиза неопределенно махнула рукой и улыбнулась серьезно и многозначительно, как она улыбалась только ему.

Уэйд слегка поклонился и отошел.

— Он, кажется, ухаживал за Лаурой? — спросила Луиза, посмотрев ему вслед.

— Не будь сплетницей.

— Я только из любопытства.

— Эта комната битком набита людьми, которые ухаживали за Лаурой.— С внезапным неудовольствием он оглядел гостей. Уэйд, Тэлбот, а вот появился еще один — долговязый артист по фамилии Морен, снимавшийся с Луизой в одной из кинокартин. Их фамилии упоминались вместе в одной газетной заметке, излагавшей голливудские сплетни. После появления этой заметки Лаура однажды рано утром специально позвонила Майклу в Нью-Йорк и принялась уверять его, что она и Морен всего лишь побывали вместе на официальном приеме, устроенном студией, и так далее и тому подобное.

— Эта комната,— в тон Майклу ответила Луиза,— полна женщин, за которыми когда-то ухаживал ты. А может, слово «когда-то» не совсем точно передает то, что я имею в виду?

— Теперешние вечера становятся очень уж многолюдными,— заметил Майкл.— Больше меня на них не заманишь. Нет ли здесь какого-нибудь местечка, где мы могли бы спокойно посидеть и поболтать?

— Попробуем найти.

Луиза взяла его за руку и повела мимо гостей в задние комнаты. Подойдя к одной из дверей, она приоткрыла ее и заглянула внутрь. В комнате было темно, и Луиза знаком предложила Майклу следовать за ней. Они вошли на цыпочках, осторожно прикрыли дверь и устало опустились на маленькую кушетку. После ярко освещенных комнат, которые они только что миновали, Майкл в первые секун-

ды ничего не видел и с наслаждением закрыл глаза. Луиза уютно устроилась рядом с ним и ласково поцеловала его в щеку.

— Ну, здесь лучше? — спросила она.

У противоположной стены закрипела кровать. Глаза Майкла уже начали привыкать к полумраку, и он увидел, как на кровати неуклюже приподнялась какая-то фигура и стала шарить на столике. Послышалось дребезжание чашки о блюдце; человек поднес чашку ко рту и отпил.

— Уни... — последовал долгий глоток из чашки, — ...зительно, — слышался второй глоток. Майкл узнал голос Арни. Драматург сидел на кровати, свесив ноги, потом нагнулся, едва не свалившись при этом, и уставился на соседнюю кровать.

— Томми! — окликнул он. — Эй, Томми, ты не спишь?

— Нет, мистер Арни, — ответил сонный голос десятилетнего мальчика, сына Джонсонов, владельцев квартиры.

— С Новым годом, Томми.

— С Новым годом, мистер Арни.

— Я не хочу беспокоить тебя. Но мне осточертело общество взрослых, вот я и пришел сюда поздравить молодое поколение с Новым годом.

— Большое спасибо, мистер Арни.

— Томми!..

— Да, мистер Арни? — Томми окончательно проснулся и заметно оживился. Майкл чувствовал, что Луиза с трудом сдерживает смех. Ему же было и смешно и вместе с тем неприятно, что из-за темноты, он попал в такое положение и вынужден молчать.

— Томми, — продолжал Арни. — Рассказать тебе одну историю?

— Я люблю слушать истории, — отозвался Томми.

— Погоди... — Арни снова отпил из чашки и со стуком поставил ее на блюдце. — Погоди... А я ведь не знаю ни одной истории, подходящей для детей.

— А я люблю всякие истории, — успокоил его Томми. — На прошлой неделе я даже прочитал неприличный роман.

— Ну хорошо, — величественно согласился Арни. — Я расскажу тебе, Томми, одну историю, отнюдь не предназначенную для слуха детей, — историю моей жизни.

— А вас когда-нибудь сбивали с ног рукояткой револьвера? — неожиданно поинтересовался Томми.

— Не погоняй меня! — с раздражением ответил драматург. — Если меня и сбивали с ног рукояткой револьвера, то ты узнаешь об этом в свое время.

— Прошу прощения, мистер Арни.— Хотя Томми по-прежнему говорил вежливо, в его голосе на этот раз прозвучала обида.

— До двадцативосьмилетнего возраста,— начал Арни,— я был подающим надежды молодым человеком...

Майкл беспокойно зашевелился. Ему было стыдно, он чувствовал себя неловко, слушая этот разговор. Однако Луиза предупредительно сжала ему руку, и он снова застыл на месте.

— Как говорится в романах, Томми, я получил хорошее образование, учился прилежно и мог безошибочно сказать, кому из английских поэтов принадлежат те или иные строфы. Томми, хочешь выпить?

— Нет, спасибо.— Томми теперь и думать забыл о сне и, усевшись на кровати, весь превратился в слух.

— Ты, вероятно, еще слишком мал, Томми, чтобы помнить рецензии на мою первую пьесу «Длинный и короткий». Сколько тебе лет, Томми?

— Десять.

— Слишком мал.— Снова звякнула чашка, поставленная на блюде.— Я мог бы процитировать некоторые отзывы, но тебе это покажется скучным. Однако без ложного тщеславия скажу, что меня сравнивали со Стриндбергом и О'Нейлом¹. Ты когда-нибудь слышал о Стриндберге, Томми?

— Нет, сэр.

— Черт возьми! И чему только сейчас учат детей в школах! — с раздражением воскликнул Арни. Он еще раз отпил из чашки.— Так вот моя биография,— продолжал он, несколько смягчаясь.— Меня приглашали в лучшие дома Нью-Йорка, я пользовался кредитом в четырех самых дорогих тайных кабаках. Мои фотографии нередко появлялись в газетах, меня часто приглашали выступать в различных комитетах и художественных обществах. Я перестал разговаривать со своими старыми друзьями, отчего сразу почувствовал себя лучше. Я уехал в Голливуд и в течение долгого времени получал там три с половиной тысячи долларов в неделю. А ведь это было еще до введения подоходного налога. Я научился пить, Томми, и женился на женщине, владевшей виллой в Антибе, во Франции и пивоваренным заводом в Милуоки. В тридцать первом году я изменил

¹ Стриндберг, Йухан Август (1849—1912) — шведский писатель демократического направления. О'Нейл (О'Нил), Юджин (1888—1953) — американский писатель-драматург, автор ряда мистико-символических пьес. На советской сцене шли его пьесы «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами». — *Прим. ред.*

ей с ее лучшей приятельницей и, конечно, просчитался, потому что дама оказалась костлявой, как горная форель.

Арни снова шумно отпил из чашки. Майкл понимал, что ему не остается ничего другого, как сидеть в темноте и надеяться, что Арни не обнаружит его.

— Говорят, Томми, что я потерял свой талант в Голливуде,— тихо, словно декламируя, с нотками грусти в голосе продолжал Арни.— Что и говорить, Голливуд — самое подходящее для этого место, если уж человеку суждено потерять талант. Но я не верю этим людям, Томми, не верю. Я исписался, и все теперь избегают меня. Я не хожу к врачам, зачем? Они скажут, конечно, что я не протяну и шести месяцев. В любом порядочном государстве не разрешили бы поставить мою последнюю пьесу, но другое дело — в Голливуде. Я слабохарактерный интеллигент, Томми, а мы живем в такие времена, когда подобным людям нет места. Послушайся моего совета, Томми: расти глупым. Сильным, но глупым.

Арни тяжело заворочался на кровати и встал. В полумраке, на фоне окна, Майкл увидел его качающийся силуэт.

— И, пожалуйста, не думай, Томми, что я жалуюсь,— громко и воинственно заявил Арни.— Я старый пьяница, и надо мной все смеются. Я разочаровал всех, кто знал меня. Но я не жалуюсь. Если бы мне пришлось начать жизнь снова, я прожил бы ее так же.— Он взмахнул руками; чашка упала на ковер и разбилась, но Арни, по-видимому, ничего не заметил.— Но вот в одном случае, Томми,— торжественно добавил он,— в одном случае я поступил бы иначе.— Арни помолчал, размышляя о чем-то.— Я бы...— снова было заговорил он, но опять умолк.— Нет, Томми, ты еще слишком мал.

Арни величественно повернулся, прошел по захрустевшим осколкам и направился к двери. Томми не шевельнулся. Арни распахнул дверь и в хлынувшем из соседней комнаты свете увидел притаившихся на кушетке Майкла и Луизу.

— Уайтэкр,— кротко улыбнулся он.— Уайтэкр, дружище! Ты бы не мог оказать услугу старику? Пойди на кухню, старина, и принеси оттуда чашку с блюдцем. Какой-то сукин сын разбил мою чашку.

— Пожалуйста,— ответил Майкл и встал. Вместе с ним поднялась и Луиза. Майкл остановился в дверях и сказал: — Томми, тебе пора спать.

— Слушаюсь, сэр,— сонным голосом смущенно ответил мальчик.

Майкл вздохнул и отправился выполнять просьбу Арни.

О заключительной части вечера у Майкла остались самые сумбурные впечатления. Позднее он смутно припоминал, что как будто договорился с Луизой о свидании во второй половине дня во вторник, что Лаура рассказывала ему, как гадалка предсказала им развод. Но одно он помнил отчетливо: в комнате вдруг появился Арни. Драматург слабо улыбался, а изо рта у него стекали на подбородок капельки виски. Слегка наклонив голову набок, словно он застудил шею, не обращая внимания на гостей, Арни довольно твердо прошел по комнате и остановился около Майкла. Несколькими секундами стоял, покачиваясь, перед высоким французским окном, затем распахнул его и хотел перешагнуть через подоконник, но зацепился пиджаком за лампу. Освободившись, он снова полез в окно.

Все это происходило на глазах у Майкла. Он понимал, что надо сейчас же броситься к Арни и схватить его, но вдруг почувствовал, что его руки и ноги стали ватными, как во сне. Он очень медленно двинулся вперед, хотя и знал, что, если не поторопится, Арни успеет шагнуть в окно, вниз, с одиннадцатого этажа.

Позади себя Майкл услышал быстрые шаги, какой-то мужчина бросился к Арни и обхватил его руками. Несколько мгновений, ежесекундно рискуя выпасть, обе фигуры раскачивались на самом краю окна, освещенные темно-красным заревом неоновых реклам. Затем кто-то с силой захлопнул окно, и оба человека оказались в безопасности. Только тут Майкл увидел, что драматурга спас Пэрриш. Он успел добежать с другого конца комнаты, где находился буфет.

Лаура, пряча глаза, рыдала в объятиях Майкла. Ее беспомощность, необходимость утешать ее в такой момент вызвали у Майкла раздражение. И вместе с тем он был рад, что может сердиться на нее: это отвлекало его от мысли о том, как он опозорился. Впрочем, Майкл сознавал, что ему все равно не отделаться от этой мысли.

Вскоре комната опустела. Все были очень веселы, бесцеремонны и делали вид, что Арни просто-напросто сыграл шутку со своими друзьями. Арни спал на полу. Он отказался лечь в постель, а когда его пытались уложить на кушетку, всякий раз сползал с нее. Пэрриш, улыбающийся и счастливый, снова стоял у стойки, расспрашивая буфетчику, в каком тот состоит профсоюзе.

Майклу хотелось домой, но Лаура заявила, что проголодалась. Они оказались в какой-то шумной компании, втиснулись в чью-то машину, причем некоторых пришлось усадить на колени. Майкл вздохнул с облегчением, когда вы-

брался из переполненного автомобиля у большого, с крикливой вывеской ресторана на Мэдисонавеню. Все расселись в столь же крикливо обставленном зале, стены которого были выкрашены в оранжевый цвет и почему-то украшены картинами, изображающими индейцев. Наспех набранные по случаю праздника неопытные официанты с грехом пополам обслуживали шумно веселящихся посетителей.

Майкл был пьян и чувствовал, что у него упорно слипаются глаза. Он молчал, так как убедился, что язык у него начинает заплетаться, едва он пытается что-нибудь сказать. Скривив рот в надменном, как ему казалось, презрении ко всему окружающему, он сидел и поглядывал по сторонам. Внезапно Майкл обнаружил, что здесь же за столом сидит Луиза с мужем, Кэтрин с тремя студентами из Гарварда и Уэйд, причем последний держит Луизу за руку. Майкл начал медленно трезветь и сразу же почувствовал головную боль. Он заказал себе рубленый шницель и бутылку пива.

«Как все это противно! — с отвращением подумал он — Бывшие возлюбленные, бывшие любовницы, бывшие никто... Но когда — во вторник или в среду — он должен встретиться с Луизой? А когда Уэйд встречается с Лаурой?.. Арни говорил о клубке змей, впавших в зимнюю спячку. Арни глупый, разочаровавшийся в жизни человек, но тут он прав. В подобном прозябании нет ни смысла, ни цели... Коктейли, пиво, коньяк, виски, еще рюмочку... — и все исчезает в тумане алкоголя: приличие, верность, мужество, решительность... И надо же было именно Пэрришу броситься через комнату к Арни. Возникла опасность, и он не стал раздумывать ни секунды. А Майкл стоял рядом с Арни и едва пошевелился, только вяло и нерешительно топтался на месте. Он стоял, чересчур полный и пьяный, обремененный слишком многими привязанностями, женатый на женщине, которая, в сущности, стала совершенно посторонним ему человеком. Иногда она прилетает сюда на неделю из Голливуда, напичканная всякими сплетнями. А пока она бог знает чем занимается там с мужчинами в эти душистые, напоенные ароматом апельсиновых деревьев калифорнийские вечера, он растрчивает здесь по пустякам свои лучшие годы, покорно плывет по течению, довольный тем, что зарабатывает немножко денег и что ему не приходится принимать никаких смелых решений... Только что начался тысяча девятьсот тридцать восьмой год. А ему тридцать лет. Ему нужно теперь же взять себя в руки, если он не хочет дойти до такого же состояния, как Арни, когда останется только выброситься из окна».

Майкл встал, пробормотал извинение и через переполненный ресторан направился в туалетную комнату. «Возьми себя в руки,— твердил он.— Разведись с Лаурой, начни суровую жизнь без всяких излишеств, живи так, как ты жи. десять лет назад, когда тебе было двадцать, когда все было ясным и честным, а встречая новый год, ты не испытывал горького стыда за прожитый».

Спускаясь по ступенькам лестницы в туалетную комнату, Майкл решил, что новую жизнь следует начать сейчас же. Минут десять он подержит голову под краном. Вода смое с его лица нездоровый пот и болезненный румянец, он причешется и заглянет в новый год прояснившимся взором.

Майкл открыл дверь в туалетную комнату, подошел к умывальнику и с отвращением посмотрел в зеркало на свое дряблое лицо, бегающие глаза и слабый, безвольный рот. Он вспомнил, каким был в двадцать лет — крепким, стройным, энергичным, отвергающим всякие компромиссы. Лицо того человека все еще сохранилось, скрытое под отвратительной маской, которую он сейчас видел в зеркале. Он восстановит свое прежнее лицо, очистит его от всего дурного, что наложили на него прожитые годы.

Майкл подставил голову под струю ледяной воды, промыл глаза и умылся. Вытираясь полотенцем, Майкл ощутил приятное покалывание в коже. Освеженный и отрезвевший, он поднялся по лестнице и снова подсел к компании за большой стол в центре шумного зала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На Западном побережье Америки, в приморском городе Санта-Моника с его ровными, разбегающимися во все стороны улицами, обрамленными пальмами с широкими и неровными, словно рваными, листьями, тоже заканчивался старый год. Казалось, он медленно растворяется в мягком сером тумане, который клубился над маслянистой поверхностью океана и над пышной пеной прибоя, неровной линией окаймляющего мокрые пляжи, обволакивая заколоченные на зиму ларьки для продажи горячих сосисок, и виллы кинозвезд, и прибрежную дорогу, ведущую в Мексику и Орегон.

Окутанные туманом улицы города как будто вымерли. Можно было подумать, что новый год сулит всеобщее бедствие, и жители города предусмотрительно отсиживаются

в своих домах, переживая неведомую опасность. Кое-где сквозь мутную влажную пелену тускло светились огни; кое-где туман был озарен тем багровым светом, который давно уже стал символом ночной жизни американских городов, — красным пульсирующим светом неоновых вывесок ресторанов, кафе, кинотеатров, гостиниц и заправочных станций. Во мгле этой тихой и печальной ночи он производил зловещее впечатление. Казалось, будто человечеству представлялась возможность взглянуть украдкой за серые колеблющиеся драпировки и увидеть свое последнее пристанище — неведомую пещеру, залитую кроваво-красным светом.

Неоновая вывеска гостиницы «Вид на море», из которой даже в самый ясный день нельзя было увидеть ни клочка океана, окрашивала волны редкого тумана, проплывавшего за окном комнаты, где сидел Ной, в мертвящий, безрадостный тон. Свет от вывески проникал в темный номер, скользил по серым, выбеленным стенам и висевшей над койкой литографии с видом Йосемитских водопадов. Красные пятна падали на подушку и на лицо спящего старика, отца Ноя, освещаая крупный, хищный нос с глубоко вырезанными раздувающимися ноздрями, запавшие глаза, высокий лоб, пышную белую шевелюру, выхоленные усы и эспаньолку, как у «полковников» в ковбойских кинофильмах, — такую нелепую и неуместную здесь, у еврея, умирающего в чужой комнатушке.

Ною хотелось почитать, но он не решался: свет мог разбудить отца. Он пытался уснуть на единственном жестком стуле, но ему мешало тяжелое дыхание больного, хриплое и неровное. Врач и та женщина, которую отец отослал от себя в канун рождества, эта вдова, как бишь ее?.. — Мортон, сообщили ему, что Джекоб умирает, однако Ной не поверил им. Он приехал по телеграмме, которую миссис Мортон по требованию отца послала ему в Чикаго. Чтобы купить билет на автобус, Ною пришлось продать пальто, пишущую машинку и старый большой чемодан. Ной очень торопился, за всю дорогу ни разу не вышел из автобуса и в Санта-Монику приехал страшно усталый, с головной болью, но как раз вовремя, чтобы присутствовать при трогательной сцене.

Джекоб причесался, привел в порядок свою бородку и сидел на койке, словно Иов во время спора с богом. Он поцеловал миссис Мортон, которой было уже за пятьдесят, и отослал ее, заявив своим раскатистым, театральным голосом:

— Я хочу умереть на руках у своего сына. Я хочу умереть среди евреев. А сейчас прощай...

Ной впервые узнал, что миссис Мортон не еврейка. Все было как во втором акте еврейской пьесы в театре на Второй авеню в Нью-Йорке: миссис Мортон расплакалась, но Джекоб был неумолим, и ей пришлось уйти. По настоянию замужней дочери рыдающая вдова уехала к себе в Сан-Франциско. Ной остался наедине с отцом в маленькой комнатухе с единственной койкой, в дешевой гостинице на окраинной улице в полумиле от зимнего океана.

Каждое утро на несколько минут заглядывал доктор. Кроме него, Ной никого не видел, да он никого и не знал в этом городе. Отец настойчиво требовал, чтобы сын ни на шаг не отходил от него, и Ной спал тут же, на полу у окна, на жестком тюфяке, который скрепя сердце дал ему хозяин гостиницы.

Ной прислушался к тяжелому, прерывистому дыханию отца, наполнявшему пропитанную запахом лекарств комнату. Ему почему-то показалось, что отец не спит и умышленно дышит так тяжело, полагая, что коль скоро человеку предстоит переселиться в иной мир, то каждый его вздох должен напоминать об этом прискорбном событии.

Ной стал пристально рассматривать старчески красивую голову отца — она неподвижно покоилась на темной подушке, а рядом на столике тускло поблескивали пузырьки с лекарствами. Он снова почувствовал, что его раздражают и густые, неподстриженные брови, и волнистая, театрально взлохмаченная копна жестких волос, которые отец, по глубокому убеждению Ноя, тайком обесцвечивал, и его импозантная седая борода на худом, аскетическом лице. Почему отец, раздраженно думал Ной, хочет выглядеть как иудейский царь, прибывший в Калифорнию со специальной миссией? Другое дело, если бы он действительно вел праведную жизнь... Отец пытался изображать из себя Моисея, спустившегося с Синая с каменными скрижалями в руках, но это была лишь злая шутка над окружающими, если вспомнить, сколько женщин он переменил за свою долгую бурную жизнь, вспомнить все его банкротства, бесконечные долги, которые он никогда не возвращал, всех его кредиторов, разбросанных от Одессы до Гонолулу.

— Поторопись, боже,— заговорил Джекоб, открывая глаза.— Поспеши, владыко, взять меня. Подай мне руку помощи...

Это была еще одна привычка отца, всегда приводившая Ноя в бешенство. Джекоб знал библию наизусть и по-еврейски и по-английски и, хотя не верил ни в бога, ни в черта, постоянно уснащал свою речь длинными и напыщенными библейскими цитатами.

— Освободи меня, мой владыка, из рук нечестивых, неправых и злых.— Джекоб отвернулся к стене и снова закрыл глаза.

Ной встал со стула, подошел к кровати и плотнее укутал отца одеялами. Джекоб, казалось, даже не заметил этого. Ной посмотрел на отца, прислушался к его тяжелому дыханию и отошел. Он распахнул окно и жадно вдохнул сырой, пропитанный острым запахом моря воздух. Между раскидистыми пальмами на бешеной скорости промчалась машина, приветствуя праздник гудками сирены, но уже через мгновение и сама машина, и ее гудки потонули в тумане.

«Ну и местечко! — совсем некстати промелькнуло у Ноя. — Как это люди могут праздновать здесь наступление Нового года!» Он поежился от холода, но оставил окно открытым.

Ной работал клерком на заказах в одной из посылочных фирм Чикаго. Самому себе он честно признавался, что был рад предлогу съездить в Калифорнию, хотя бы даже для того, чтобы присутствовать при смерти отца. Обласканный солнцем берег, раскаленный песок пляжей, сады, где деревья купаются в ярком солнечном свете, хорошенькие девушки...

Ной посмотрел вокруг и мрачно улыбнулся. Целую неделю шел дождь. А отец бесконечно затягивал свое пребывание на смертном ложе. У Ноя оставалось всего семь долларов, к тому же, как он узнал, кредиторы уже наложили арест на фотоателье отца. Даже в лучшем случае, если удастся все распродать по наивысшим ценам, они смогут получить лишь центов по тридцать за доллар. Ной побывал у маленькой, запущенной студии недалеко от берега океана и заглянул внутрь через закрытую на замок застекленную дверь. Его отец специализировался на художественных, щедро подретушированных портретах молодых женщин. Через грязное, давно не протиравшееся стекло на Ноя смотрели томные, густо подведенные глаза бесчисленных местных красоток, задрапированных в черный бархат, с эффектно освещенными лицами. Подобные ателье отец открывал то в одном конце страны, то в другом, и его профессия преждевременно свела в могилу мать Ноя. Такие ателье часто появляются во время сезона в жалких домишках приморских городков. Кое-как просуществовав несколько месяцев, они исчезают, оставив после себя лишь рваные бухгалтерские книги, долги да груды выцветших фотографий и рекламных листовок — весь тот мусор, который потом сжигают на заднем дворе новые арендаторы.

За свою жизнь Джекоб перепробовал много профессий.

Он торговал местами для могил на кладбищах и противозачаточными средствами, земельными участками и священным вином, подержанной мебелью и свадебными нарядами; доводилось ему и собирать объявления, а одно время он даже содержал лавочку для матросов в Балтиморском порту. Но ни одно из этих занятий не давало ему средств для безбедного существования. И все же, благодаря хорошо подвешенному языку, с которого так и сыпались библейские изречения, благодаря своему старомодному красноречию, а также выразительному, красивому лицу и бьющей через край энергии, он всегда ухитрялся находить женщин, и они восполняли разницу между тем, что Джекоб добывал в поте лица своего в борьбе за существование, и тем, что ему в действительности требовалось на жизнь. Его единственный ребенок Ной был вынужден вести бродячую, беспорядочную жизнь. Он часто оставался один, то подолгу жил у каких-то дальних родственников, то, преследуемый и одинокий, прозябал в захудалых школах-интернатах.

— Язычники сжигают в печи брата моего Израиля...

Ной вздохнул и открыл окно. Джекоб лежал, вытянувшись во весь рост, и широко раскрытыми глазами смотрел в потолок. Ной зажег единственную лампочку, прикрытую розовой, местами прогоревшей бумагой, и в пропахшей лекарствами комнате появился легкий запах гари.

— Я могу тебе чем-нибудь помочь, отец? — спросил Ной.

— Я вижу языки пламени, — ответил Джекоб. — Я чувствую запах горящего мяса. Я увижу, как трещат в огне кости брата. Я покинул его, и сегодня он умирает среди иноверцев.

Ной снова почувствовал прилив раздражения. Джекоб не видел своего брата тридцать пять лет. Уезжая в Америку, он оставил его в России помогать отцу и матери. Из разговоров отца Ной знал, что он презирал своего брата и что они расстались врагами. Однако года два назад отец каким-то путем получил от брата письмо из Гамбурга, куда тот перебрался в 1919 году. Это было отчаянное письмо, настоящий вопль о помощи. Ной должен был признать, что отец сделал все возможное, — без конца писал в бюро по делам иммигрантов и даже побывал в Вашингтоне. Старомодный, бородатый, не то раввин, не то шулер с речных пароходов, он, как видение, появлялся в коридорах государственного департамента и вел разговоры со сладкоречивыми, но неотзывчивыми молодыми людьми — воспитан-

никами Принстонского и Гарвардского университетов, рассеянно, с презрительным видом перебиравшими бумаги на своих полированных столах. Так ничего у него и не вышло. После единственного отчаянного призыва о помощи наступило зловещее молчание. Немецкие чиновники не отвечали на запросы. Джекоб вернулся в залитую солнцем Санта-Монику к своей фотостудии и дебелой вдовушке миссис Мортон. О брате он больше не вспоминал. И вот сегодня вечером, когда за окнами колыхался окрашенный багровыми отблесками туман, когда близился конец старого года, а вместе с ним и его собственный конец, Джекоб снова вспомнил о своем покинутом и застигнутом столпотворением в Европе брате, и его пронзительный вопль о помощи вновь прозвучал в затуманенном сознании умирающего.

— Плоть,— заговорил Джекоб раскатистым и сильным даже на смертном одре голосом,— плоть от плоти моей, кость от кости моей, ты несешь наказание за грехи тела моего и души моей.

«О боже мой! — мысленно воскликнул Ной, взглянув на отца.— И почему он всегда должен разговаривать белыми стихами, как мифический пастырь, диктующий стенографистке на холмах иудейских?»

— Не улыбайся.— Джекоб пристально смотрел на сына, и его глаза в темных впадинах были удивительно блестящими и понимающими.— Не улыбайся, сын мой. Мой брат за тебя сгорает на костре.

— Да я и не думаю улыбаться,— успокоил Ной отца и положил ему руку на лоб. Кожа у Джекоба была горячая и шершавая, и Ной почувствовал, как легкая судорога отвращения свела его пальцы.

Лицо Джекоба исказилось презрительной гримасой присяжного оратора.

— Вот ты стоишь здесь, в своем дешевом американском костюме, и думаешь: «Да какое отношение имеет ко мне брат отца? Он для меня посторонний человек. Я никогда его не видел, и что мне до того, что он умирает в пекле Европы! В мире ежеминутно кто-нибудь умирает». Но он вовсе не посторонний тебе. Он всеми гонимый еврей, как и ты.

Джекоб в изнеможении закрыл глаза, и Ной подумал: «Если бы отец говорил простым, нормальным языком, это трогало бы и волновало. Кого, в самом деле, не тронул бы вид умирающего отца, такого одинокого в последние минуты своей жизни, терзаемого думами о брате, убитом за пять тысяч миль отсюда, скорбящего о трагической судьбе своего народа». И хотя Ной не воспринимал смерть своего неведо-

мого дяди как личную трагедию, тем не менее, будучи здравомыслящим человеком, он не мог не чувствовать, как давит на него все то, что происходит в Европе. Но ему так часто приходилось выслушивать разглагольствования отца, так часто приходилось наблюдать его театральные, рассчитанные на внешний эффект манеры, что теперь никакие ухищрения старика не могли бы его растрогать. И стоя сейчас у его постели, всматриваясь в посеревшее лицо и прислушиваясь к неровному дыханию, он думал лишь об одном: «Боже милосердный! Неужели отец будет играть до последнего своего вдоха!»

— В тысяча девятьсот третьем году,— заговорил отец, не открывая глаз — при расставании в Одессе Израиль дал мне восемнадцать рублей и сказал: «Ты ни на что не годен, с чем тебя и поздравляю. Послушайся моего совета: всегда и во всем полагайся на женщин. Америка в этом отношении не исключение — женщины там такие же идиотки, как и повсюду, и они будут содержать тебя». Он не пожал мне руки, и я уехал. А ведь он, несмотря ни на что, должен бы пожать мне руку, ведь правда, Ной?

Его голос внезапно упал до еле внятного шепота и уже не вызывал у Ноя мысль о спектакле.

— Ной...

— Да, отец?

— А ты не думаешь, что он должен был пожать мне руку?

— Думаю, отец.

— Ной...

— Да, отец?

— Пожми мне руку, Ной.

Поколебавшись, Ной наклонился и взял сухую широкую руку отца. Кожа на ней шелушилась, ногти, обычно так тщательно наманикюренные, успели отрасти и были обкусаны; под ними чернели каемки грязи. Ной почувствовал слабое, беспокойное пожатие его пальцев.

— Ну, хорошо, хорошо...— вдруг проворчал Джекоб и отдернул руку, словно под влиянием какой-то неожиданно возникшей мысли.— Хорошо, довольно.— Он вздохнул и устался в потолок.

— Ной...

— Да.

— У тебя есть карандаш и бумага?

— Есть.

— Пиши, я буду диктовать...

Ной сел за стол и взял лист тонкой белой бумаги с изобра-

жением гостиницы «Вид на море», окруженной просторными лужайками и высокими деревьями. Ничего общего с действительностью это изображение не имело: на бумаге отель выглядел подлинным райским уголком.

— «Израилю Аккерману,— сухим деловым тоном начал Джекоб,— 29, Клостерштрассе, Гамбург, Германия».

— Но, отец...— начал было Ной.

— Пиши по-еврейски,— перебил Джекоб,— если не можешь по-немецки. Он не очень грамотный, но поймет.

— Слушаю, отец.— Ной не умел писать ни по-еврейски, ни по-немецки, но не нашел нужным признаться в этом отцу.

— «Мой дорогой брат...» Написал?

— Да.

— «Мне стыдно, что я не написал тебе раньше, но ты легко можешь себе представить, как я был занят. Вскоре после приезда в Америку...» Написал, Ной?

— Да,— ответил Ной, нанося на бумагу ничего незначающие каракули.— Написал.

— «Вскоре после приезда в Америку,— с усилием продолжал Джекоб, и его низкий голос глухо звучал в сырой комнатухе,— я устроился в одну крупную фирму. Я очень много работал (знаю, что ты мне не поверишь), и меня все время продвигали с одного важного поста на другой. Через полтора года я стал самым ценным работником фирмы, а затем компаньоном и вскоре женился на дочери владельца фирмы фон Крамера, выходца из старинной американской семьи. Я понимаю, как тебе приятно будет узнать, что у меня пятеро сыновей и две дочери — гордость и утешение престарелых родителей. Мы живем на покое в фешенебельном пригороде Лос-Анжелоса — большого, постоянно залитого солнцем города на побережье Тихого океана. В нашем доме четырнадцать комнат. По утрам я встаю не раньше половины десятого и каждый день езжу в свой клуб, где провожу время за игрой в гольф. Я уверен, что ты с интересом прочтешь все эти подробности...»

Ной почувствовал, что к его горлу подступает комок. Он опасался, что расхохочется, едва откроет рот, и отец умрет под неудержимый смех своего сына.

— Ной,— ворчливо спросил Джекоб,— ты все записываешь?

— Да, отец,— с трудом пробормотал Ной.

— «Правда, ты старший брат,— продолжал успокоенный Джекоб,— и привык давать советы. Но сейчас понятия «старший» и «младший» потеряли свое прежнее значение.

Я много путешествовал и думаю, что некоторые мои советы будут для тебя полезны. Еврей ни на минуту не должен забывать, как себя вести. В мире так много людей, которых гложет зависть, и их становится все больше. Взглянув на еврея, они говорят: «Фи, как он себя держит за столом!» или: «А брильянты-то на его жене фальшивые!», или: «Как он шумно ведет себя в театре!», или: «Весы-то у него в лавке с фокусом. Он всегда обвешивает». Жить становится все труднее, и еврей должен вести себя так, словно жизнь всех остальных евреев зависит от каждого его поступка. Вот почему есть он должен бесшумно, изящно орудуя ножом и вилкой; он не должен позволять своей жене носить брильянты, особенно фальшивые; его весы должны быть самыми точными в городе, а ходить он должен, как ходит солидный, знающий себе цену человек...» Нет! — внезапно спохватился старик. — Вычеркни все это, а то он еще рассердится.

Джекоб глубоко вздохнул и долго молчал. Казалось, он совсем перестал шевелиться, и Ной с беспокойством взглянул на него, но убедился, что отец еще жив.

— «Дорогой брат,— заговорил наконец Джекоб прерывающимся и до неузнаваемости изменившимся, хриплым голосом,— все, что я написал тебе,— ложь. Я жил отвратительно, всех обманывал и вогнал в могилу свою жену. У меня только один сын, и нет никакой надежды, что из него выйдет толк. Я банкрот, и все, о чем ты меня предупреждал, действительно сбылось...»

Он захлебнулся, попытался добавить еще что-то и умолк. Ной дотронулся до груди отца, пытаясь услышать биение его сердца. Под сухой, сморщенной шелушащейся кожей резко выступали хрупкие ребра. Сердце под ними уже не билось.

Ной сложил руки отца на груди и закрыл ему глаза — он не раз видел в кинофильмах, что именно так принято поступать. Лицо Джекоба с открытым ртом было как живое, на нем застыло такое выражение, словно он собирался произнести речь. Ной больше не прикоснулся к отцу, он не знал, что полагается делать дальше в подобных случаях. Взглянув на лицо мертвого, он понял, что испытывает чувство облегчения. Итак, все кончилось. Никогда уже он не услышит властного голоса отца и никогда не увидит его геатральных жестов.

Ной прошелся по комнате, механически отмечая, что в ней осталось ценного. Собственно, ценного не было ничего. Два поношенных довольно безвкусных двубортных костюма,

библия в кожаном переплете, фотография семилетнего Ноя на шотландском пони, вставленная в серебряную рамку, коробочка с булавкой для галстука и запонками из стекла и никеля да перевязанный бечевкой потрепанный красный конверт. Ной обнаружил в нем двадцать акций радиофирмы, обанкротившейся в 1927 году.

На дне шкафа Ной нашел картонную коробку. В ней лежал большой старинный портретный фотоаппарат с сильным объективом, тщательно завернутый в мягкую фланель. Это была единственная вещь в комнате, с которой обращались любовно и заботливо. Ной мысленно поблагодарил отца за то, что он сумел укрыть фотоаппарат от бдительного ока кредиторов. Теперь, кажется, можно будет раздобыть денег на похороны. Поглаживая потертую кожу и отполированную линзу аппарата, Ной сначала подумал, что стоило бы, пожалуй, оставить эту вещь у себя, как единственную память об отце, но тут же понял, что не может позволить себе такую роскошь. Он тщательно завернул фотоаппарат, снова уложил его в коробку и спрятал в углу шкафа под грудой старой одежды.

Потом он направился к двери, но на пороге оглянулся. В тусклом свете лампочки лежащий на постели отец казался несчастным и страдающим. Он выключил свет и вышел из комнаты.

Ной медленно шел по улице. После недели затворничества в тесной комнатухе свежий воздух показался ему необыкновенно приятным, а прогулка восхитительной. Дыша полной грудью и ощущая, как расправляются его легкие, он мягко ступал по влажному тротуару, прислушиваясь к своим шагам, и чувствовал себя молодым и здоровым. Чистый морской воздух в эту безлюдную ночь был пропитан каким-то особенным запахом. Ной направился к нависшей над океаном скале, и чем ближе он подходил к ней, тем сильнее чувствовал этот резкий солоноватый запах.

Откуда-то из темноты донеслась музыка. Она то усиливалась, подхваченная ветром, то замирала, когда затихали его порывы. Ной пошел на эти звуки и, дойдя до угла, понял, что музыка слышится из бара на противоположной стороне улицы. В дверь то и дело входили и выходили люди. Над дверью висел плакат:

В праздник цены обычные.
Встречайте Новый год у нас!

Из радиолы-автомата, установленной в баре, слышались звуки новой пластинки, и низкий женский голос запел: «И днем и ночью — только ты, и под луною и под солнцем — лишь ты один...» Сильный, полный страсти голос певицы плыл в тихой и влажной ночи.

Ной пересек улицу, толкнул дверь и вошел в бар. В дальнем углу сидели два моряка в обществе какой-то блондинки. Все трое созерцали пьяного, который бессильно уронил голову на отделанную под красное дерево стойку. Буфетчик взглянул на Ноя.

— У вас есть телефон? — спросил Ной.

— Вон там. — Буфетчик показал на будку у противоположной стены комнаты. Ной направился к телефону.

— Будьте с ним повежливее, ребята, — услышал он обращенные к морякам слова блондинки, когда проходил мимо. — Приложите ему к затылку лед.

На лицо женщины падал зеленоватый свет от радиолы. Она широко улыбнулась Нюю. Он кивнул, вошел в телефонную будку и вынул из кармана визитную карточку, полученную от доктора. На ней был записан телефон похоронного бюро, открытого круглые сутки.

Ной набрал номер. Прижав трубку к уху и прислушиваясь к гудкам, он подумал о другом телефоне, который стоит там, в похоронном бюро, на полированном письменном столе из темного дерева, освещенный единственной лампочкой под абажуром, и своими звонками возвещает о наступлении Нового года.

Ной уже собирался повесить трубку, когда услышал голос на другом конце провода.

— Алло, — не очень внятно ответил кто-то издалека. — Похоронное бюро Грейди.

— Я бы хотел навести справки о похоронах, — сказал Ной. — У меня только что умер отец.

— Имя усопшего?

— Я бы хотел справиться о ценах. Денег у меня не так много и...

— Мне нужно знать имя, — перебил сухой, официальный голос.

— Аккерман.

— Уотерфилд? — переспросил голос, и в нем внезапно слышались бархатистые нотки. — Как его зовут? — Ной услышал, как его невидимый собеседник шепотом добавил: — Да перестань же Глэдис! — и снова заговорил в телефон, с трудом подавляя смех: — Как его зовут?

— Аккерман... Аккерман.

— Это имя?

— Нет, фамилия. Имя — Джекоб.

— Я бы попросил вас,— с пьяным высокомерием произнес голос,— говорить яснее

— Мне нужно знать,— громко сказал Ной,— сколько вы берете за кремацию.

— За кремацию? Да, да. Ну что ж, для желающих мы организуем и кремацию.

— Сколько это будет стоить?

— А сколько будет экипажей?

— Что, что?

— Сколько потребуется экипажей? Сколько будет присутствовать гостей и родственников?

— Один,— ответил Ной.— Один гость, он же родственник.

Пластинка «И днем и ночью» с треском и шумом подошла к концу, и Ной не расслышал, что сказал человек из похоронного бюро.

— Мне нужно, чтобы все было обставлено как можно скромнее,— в отчаянии заговорил Ной.— У меня мало денег.

— Понимаю, понимаю... Позвольте еще один вопрос. Умерший был застрахован?

— Нет.

— В таком случае вам придется, сами понимаете, уплатить наличными. И вперед.

— Сколько? — крикнул Ной.

— Вы хотите, чтобы прах был помещен в простую картонную коробку или в посеребренную урну?

— В простую картонную коробку.

— Самая дешевая цена у нас, дорогой друг,— человек из похоронного бюро внезапно заговорил солидно и отчетливо,— самая дешевая цена — семьдесят шесть долларов пятьдесят центов.

— Вам придется заплатить еще пять центов за дополнительные пять минут разговора,— прервала их телефонистка.

— Сейчас.— Ной опустил в автомат монету; и телефонистка поблагодарила его.

— Хорошо, я согласен, семьдесят шесть долларов и пятьдесят центов,— продолжал Ной и подумал, что как-нибудь наскребет эту сумму.— В таком случае послезавтра в полдень,— добавил он, быстро сообразив, что сможет второго января побывать в городе и продать фотоаппарат и другие вещи.— Адрес — гостиница «Вид на море». Вы знаете, как ее найти?

— Да,— ответил пьяный голос,— договорились. Гостиница «Вид на море .Завтра я пришло к вам своего человека, и вы сможете подписать контракт.

— Хорошо,— согласился вспотевший Ной и собирался было повесить трубку, но оказалось, что человек из похоронного бюро не кончил.

— Еще один вопрос, любезный,— сказал он.— Как с надгробной службой?

— А что именно?

— Какую религию исповедовал покойный?

Джекоб был атеистом, но Ной не нашел нужным информировать об этом похоронное бюро.

— Он был еврей.

— Гм...— наступило молчание, затем Ной услышал веселый голос пьяной женщины: — Давай, Джордж, хлопнем еще по рюмочке!

— К сожалению,— снова заговорил человек из похоронного бюро,— мы не в состоянии организовать надгробную службу по еврейскому обряду.

— Да какая вам разница! — крикнул Ной.— Он не был религиозным, и никакой службы ему не нужно.

— Это невозможно,— хрипло, но с достоинством ответил голос.— Евреев мы не обслуживаем. Я не сомневаюсь, что вы найдете другие... много других похоронных бюро, которые берутся кремировать евреев.

— Но вас рекомендовал доктор Фишборн! — в бешенстве заорал Ной. Он чувствовал, что не в состоянии снова вести этот разговор с другим похоронным бюро; он был ошеломлен и сбит с толку.— Разве вы не обязаны хоронить людей?

— Примите мои соболезнования в постигшем вас горе, любезный, но мы не видим возможности...

Ной услышал какую-то возню, затем женский голос произнес:

— Джорджи, дай-ка я с ним поговорю!

После короткой паузы женщина заплетающимся языком, но громко и нагло сказала:

— Послушай, ну что ты привязался? Мы заняты. Ты разве не слышал? Джорджи ясно сказал, что жидов он не хоронит. С Новым годом!

На том конце провода повесили трубку.

Трясущимися руками Ной с трудом нацепил на рычаг телефонную трубку. Все его тело покрылось испариной. Выйдя из будки, он медленно направился к двери — мимо радиолы, из которой теперь доносился джазовый вариант

«Баллады о Лох-Ломонде», мимо моряков, развлекавшихся в обществе блондинки, и мертвецки пьяного человека.

— Что случилось, старина? — улыбнулась блондинка. — Ее нет дома?

Ной промолчал. Едва передвигая от слабости ноги, он подошел к незанятому концу стойки и сел на высокий стул.

— Виски! — бросил он буфетчику. Он выпил вино, не разбавляя, и тут же заказал новую порцию. Два стакана, выпитые один за другим, немедленно оказали свое действие. В затуманенном вином сознании и сам бар, и музыка, и люди казались Ною приятными и милыми. И когда к нему, преувеличенно вихляя полными бедрами, подошла блондинка, затянута в узкое желтое платье с цветами, в красных туфлях и маленькой шляпке с фиолетовой вуалькой, он добродушно ухмыльнулся ей.

— Ну вот, — сказала блондинка, мягко прикасаясь к его руке, — так-то лучше.

— С Новым годом, — приветствовал ее Ной.

— Милый... — Блондинка уселась рядом и, ерзая на сиденье, обитом красной искусственной кожей, терлась коленом о его ногу. — Милый, у меня неприятность. Я присмотрелась к людям в баре и решила, что могу положиться только на тебя... Коктейль, — сказала она неторопливо подошедшему буфетчику. — Когда у меня неприятность, — продолжала она, взяв Ноя за локоть и озабоченно поглядывая на него через вуалетку маленькими голубыми подведенными глазами, серьезными и зовущими, — меня так и тянет к итальянцам. У них сильный характер, они вспыльчивы, но отзывчивы. По правде сказать, милый, мне нравятся вспыльчивые мужчины. Мужчина, которого нельзя вывести из себя, не может дать женщине счастья даже на десять минут в год. Я ищу в мужчине две вещи: отзывчивый характер и полные губы.

— Что, что? — переспросил озадаченный Ной.

— Полные губы, — серьезно повторила блондинка. — Меня зовут Джорджия, миленький, а тебя?

— Рональд Бивербрук, — ответил Ной. — И должен тебе сказать... я не итальянец.

— Да? — разочарованно протянула женщина, одним глотком отпивая половину коктейля. — А я была готова поклясться, что ты итальянец. А кто же ты, Рональд?

— Индеец. Индеец племени сиу.

— И все равно держу пари, что ты можешь сделать женщину очень счастливой.

— Давай-ка выпьем, — предложил Ной.

— Голубчик,— обратилась блондинка к буфетчику, — два двойных коктейля... А мне и индейцы нравятся,— снова повернулась она к Ною.— Единственно, кто мне не нравится,— это обыкновенные американцы. Они не умеют обращаться с женщинами. Получат свое — и скорее к женам... Золотце,— продолжала она, допивая первый коктейль,— а почему бы тебе не подойти к этим двум морякам и не сказать им, что ты проводишь меня домой? Ихвати с собой пивную бутылку на случай, если они начнут спорить.

— Ты пришла с ними? — спросил Ной. У него слегка кружилась голова, ему было весело. Разговаривая с женщиной, он гладил ее руку, заглядывал ей в глаза и улыбался. Руки у блондинки были огрубелые, мозолистые, и она стыдилась их.

— Это от работы в прачечной,— печально пояснила она.— Не вздумай, котик, наниматься на работу в прачечную!

— Хорошо,— согласился Ной.

— Я пришла вот с этим.— Женщина кивнула на пьяного, голова которого покоилась на стойке бара. От этого движения ее вуалетка затрепетала в зелено-багровом свете радиолы.— Получил нокаут в первом же раунде. Слушай-ка, я тебе кое-что скажу.— Она наклонилась к Ною, обдавая его сильным запахом джина, лука и дешевых духов, и зашептала: — Эти моряки, хотя и военные, сговариваются ограбить его, а потом пойти за мной и в каком-нибудь темном переулке отобрать у меня сумочку. Возьми пивную бутылку, Рональд, и пойди поговори с ними.

Буфетчик принес коктейли. Женщина вынула из сумки десятидолларовую бумажку и протянула ее буфетчику.

— Плачу я,— сказала она.— Этот бедный парень так одинок в канун Нового года.

— Ты не должна за меня платить,— запротестовал Ной.

— За нас, котик! — Блондинка подняла бокал и через вуаль нежно и кокетливо взглянула на Ноя.— Для чего же нам деньги, милый, если не угощать друзей?

Они выпили, и женщина погладила Ною колено.

— Какой у тебя бледный вид, мой хороший,— сказала она.— Надо тобой заняться. Давай уйдем отсюда. Мне здесь больше не нравится. Пойдем ко мне, в мою квартирку. У меня припасена бутылочка виски «Четыре розы», и мы вдвоем отпразднуем Новый год. Поцелуй меня разок, моя радость.— Она наклонилась и решительно закрыла глаза. Ной поцеловал ее. У нее были мягкие губы, и помада на них

отдавала не только джином и луком, но еще и малиной.— Я не могу больше ждать.— Блондинка довольно твердо встала на ноги и потянула за собой Ноя. С бокалами коктейля они направились к морякам, которые не спускали с парочки глаз. Оба они были молоды, их лица выражали озадаченность и разочарование.

— Поосторожнее с моим другом,— предупредила их женщина и поцеловала Ноя в затылок.— Он индеец сиу... Я сейчас вернусь, котик. Пойду освежусь, чтобы больше тебе понравиться.

Блондинка хихикнула, сжала ему руку и, с коктейлем в руке, все так же жеманно виляя затянутыми в корсет бедрами, направилась в дамскую комнату.

— Что она там болтала тебе? — поинтересовался моряк помоложе. Он сидел без шапочки, его волосы были подстрижены так коротко, что казались первым пушком на голове младенца.

— Она говорит,— заявил Ной, чувствуя себя сильным и готовым на все,— она говорит, что вы собираетесь ее ограбить.

Моряк постарше фыркнул.

— Мы — ее?! Ну и ну! Как раз наоборот, братишка.

— Она потребовала двадцать пять долларов,— вмешался первый моряк.— По двадцать пять с каждого. Она говорит, что никогда раньше этим не занималась, что она замужем, а потому ей надо добавить за риск.

— И вообще, что она о себе воображает? — возмутился моряк в шапочке.— А сколько она с тебя запросила?

— Нисколько,— ответил Ной, ощущая прилив какой-то нелепой гордости.— Мало того, она еще обещала бутылку виски.

— Как тебе нравится? — с горечью сказал старший моряк, повернувшись к своему приятелю.

— Ты пойдешь с ней? — завистливо спросил молодой.

— Нет.— Ной отрицательно покачал головой.

— Почему?

— Да так,— пожал плечами Ной.

— Э, парень, тебя, видно, хорошо обслуживают.

— Знаешь что? — обратился моряк в шапочке к своему приятелю.— Пойдем-ка отсюда. Тоже мне, Санта-Моника! — Он укоризненно взглянул на своего друга.— Уж лучше бы мы сидели в казарме.

— Откуда вы? — поинтересовался Ной.

— Из Сан-Диего. Вот он,— моряк постарше зло и насмешливо кивнул на приятеля с пушком на голове,— он

обещал, что мы хорошо позабудемся в Санта-Монике. Две вдовушки в отдельном домике... Чтоб я еще когда-нибудь поверил тебе!..

— А я-то при чем? — огрызнулся молодой моряк. — Откуда я знал, что они меня разыгрывают и что адрес липовый.

— Мы часа три бродили в этом проклятом тумане, — подхватил его товарищ, — все разыскивали этот самый отдельный домик. Вот так встретили Новый год! Да я лучше встречал его на ферме в Оклахоме, когда мне было семь лет... Пошли... Я ухожу.

— А как же с ним? — Ной дотронулся до мирно спавшего пьяного.

— Пусть о нем позаботится твоя дама.

Моряк помоложе решительно нахлобучил на голову свою белую шапочку и вслед за приятелем вышел из бара, с силой стукнув дверь.

— Двадцать пять долларов! — донесся голос старшего.

Ной подождал несколько минут, потом дружески хлопал пьяного по спине и тоже вышел из бара. Он постоял на улице, вдыхая мягкий влажный воздух, приятно освежавший его разгоряченное лицо. Вдали под колеблющимся, неровным светом фонаря он увидел две исчезающие в тумане унылые фигуры в синей форме. Ной повернулся и пошел в другом направлении. Вздурораженная вином кровь мелодично и приятно стучала в висках.

Ной осторожно открыл дверь и тихо вошел в темную комнату, в которой упорно держался прежний запах. Он уже успел забыть о нем. Спирт, лекарства и что-то приторно-сладкое... Ной ошупью начал искать выключатель. Все больше нервничая, он шарил по стене, опрокинул стул и наконец зажег свет.

Отец лежал на кровати вытянувшись и открыв рот, словно собирался беседовать с лампочкой. Ной посмотрел на него и покачнулся. Глупый, неискренний старик с нелепой бородкой, крашеными волосами и библией в кожаном переплете.

«Поспеш, владыко, взять меня»... «Какую религию исповедовал покойный?..» У Ноя на мгновение закружилась голова. Он не мог сосредоточиться, мысли, разрозненные и сумбурные, обгоняя друг друга, пронеслись у него в голове. Полные губы... Двадцать пять долларов с моряков и ни цента с него. С женщинами ему никогда особенно не везло, а такого, как в этот вечер, вообще не случалось. А может, женщина почувствовала, что у него неприятности,

и просто хотела утешить его? Конечно, она была страшно пьяна... Рональд Бивербрук... А как колыхались цветы на ее платье, когда она шла в туалетную комнату... Если бы он задержался в кафе, то сейчас, вероятно, уже лежал бы в ее постели под теплым одеялом, уютно пристроившись рядышком с ней,— такой полной, мягкой, белой,— и снова слышал бы запах лука, джина и малины. Ной почувствовал острое сожаление при мысли, что вместо этого он оказался вот тут, в голой комнате, наедине с мертвым стариком... Если бы дело обстояло наоборот, если бы он, Ной, был мертв, а старик жив и получил подобное предложение, он, конечно, нагрузился бы виски «Четыре розы» и уже давно лежал бы в постели с этой блондинкой... Но разве можно так думать! Ной тряхнул головой. Ведь это же его отец, человек, который дал ему жизнь! Боже мой, неужели, старея, он будет превращаться в такого же болтуна, как Джекоб?

Усилием воли Ной заставил себя взглянуть на мертвого отца и с минуту не спускал взгляда с его лица. Он думал, что в новогоднюю ночь покинутый всеми человек имеет право ожидать, что хотя бы его единственный сын прольет над ним слезу. Ной попытался заплакать, но не смог.

С тех пор как он стал достаточно взрослым, Ной редко думал об отце, а если иногда и думал, то с озлоблением. Но сейчас, глядя на бледное, морщинистое лицо, смотревшее на него с подушки, гордое и благородное, похожее на каменное изваяние (таким и представлял себя Джекоб на смертном одре), Ной заставил себя сосредоточиться на мысли об отце.

Многое довелось испытать Джекобу, прежде чем он оказался в этой тесной комнатухе на берегу Тихого океана. Покинув грязные улицы Одессы, он пересек Россию, Балтийское море, океан и попал в суматошный, грохочущий Нью-Йорк. Ной закрыл глаза и представил себе отца молодым, гибким, стремительным, с красивым лбом и хищным носом. Он легко и свободно, с блеском прирожденного оратора изъяснялся по-английски. Его живые глаза вечно что-то искали; бродя по многолюдным улицам, он постоянно улыбался. У него всегда была наготове дерзкая улыбка — и для девушек, и для партнеров, и для клиентов.

Ной представил себе отца во время его блужданий по югу, в Атланте, в Таскалузе. Уверенный в себе, нечестный и нечистый на руку, Джекоб, в сущности, никогда особенно не интересовался деньгами: он добывал их всякими сомнительными путями и тут же без сожаления транжирил. По-

смеиваясь и дымя дешевой сигарой, он появлялся то в одном конце страны, то в другом, то в Миннесоте, то в Монтане. Его хорошо знали в кабаках и в игорных домах. Он мог рассказать неприличный анекдот и тут же процитировать что-нибудь из библии. В Чикаго, после женитьбы на матери Ноя, Джекоб некоторое время был нежным и ласковым, серьезным и заботливым. Возможно даже, что в то время, заметив пробивающуюся на висках седину и прощаясь с молодостью, он всерьез подумывал остепениться, стать порядочным человеком...

Ной вспомнил и о том, как некогда Джекоб, сидя после обеда в обставленной плюшевой мебелью гостиной, сочным баритоном напевал ему: «Как-то раз, в веселый полдень мая, проходил я через парк гуляя...»

Ной встряхнул головой. Где-то глубоко в его сознании зазвучал молодой и сильный голос: «...в веселый полдень мая», и он не сразу смог его заглушить.

По мере того как Джекоб старел, он опускался все ниже и ниже. Его убогие предприятия становились все более жалкими, его очарование поблекло, росло количество врагов. Казалось, весь свет ополчился против него. Неудача в Чикаго, неудача в Сиэтле, неудача в Балтиморе и, наконец, неудача здесь, в Санта-Монике, в его последнем жалком прибежище... «Я жил отвратительно, всех обманывал и вогнал в могилу жену. У меня только один сын, и нет никакой надежды, что из него выйдет толк. Я банкрот...» Мысль об обманутом брате, испускающем последний вздох в пламени печи, преследовала Джекоба через годы и океаны.

Ной уставился на отца сухими глазами. Он увидел, что рот старика открыт, словно он вот-вот заговорит. Шатаясь, Ной подошел к отцу и попытался закрыть ему рот. Но Джекоб, упрямый старик, всю жизнь противоречивший своим родителям, учителям, брату, жене, компаньонам, сыну, любовницам, и на этот раз остался верен себе и упорно не хотел закрывать рот.

Ной отошел от кровати. Бледные, жалкие губы старика под свисающими седыми усами так и остались полураскрытыми.

И впервые после смерти отца Ной разрыдался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Восседая с каской на голове в маленьком открытом разведывательном автомобиле, Христиан испытывал чувство неловкости, словно он не тот, за кого себя выдает. Они

весело мчались по обсаженной деревьями дороге. Небрежно положив на колени автомат, он ел вишни, набранные в саду около Мо. Где-то впереди, за невысокими зелеными холмами, лежал Париж. Христиан понимал, что в глазах французов, которые, должно быть, рассматривали их из-за закрытых ставень каменных домов, стоящих у дороги, он выглядел завоевателем, суровым воином, сокрушающим все на своем пути. Между тем ему пока еще не довелось услышать ни одного выстрела, а война в этих местах уже кончилась.

Христиан повернулся к сидевшему позади Брандту, намереваясь завязать разговор. Брандт, фотограф одной из рот пропаганды, пристроился к их разведывательному отряду еще в Меце. Этот болезненный, интеллигентного вида человек до войны был захудалым живописцем. Христиан подружился с ним в Австрии, куда Брандт приезжал однажды весной покататься на лыжах. Лицо Брандта покрылось ярко-красным загаром, глаза слезились от ветра, а каска делала его похожим на мальчишку, играющего во дворе в солдатики.

Взглянув на него, Христиан ухмыльнулся. Брандт сидел, скорчившись на узком сиденье, прижатый в угол огромным ефрейтором из Силезии. Этот дегина блаженно растянулся на куче фотопринадлежностей, привалившись к ногам Брандта.

— Чего ты смеешься? — спросил Брандт.

— Над твоим носом.

Брандт осторожно прикоснулся к своему обожженному солнцем, шелушащемуся носу.

— Уже седьмая кожа сходит, — пояснил он. — С моим носом лучше не высовываться на улицу... Поторопись, унтер-офицер, мне нужно поскорее попасть в Париж. Я хочу выпить.

— Терпение! — ответил Христиан. — Немножко терпения. Разве ты не знаешь, что идет война?

Ефрейтор-силезец громко расхохотался. Это был веселый, наивный и глупый парень, всегда старавшийся угодить начальству. С той минуты, как он попал во Францию, его не покидало восторженное настроение. Накануне вечером, лежа рядом с Христианом на одеяле у обочины дороги, он с полной серьезностью выразил надежду, что война закончится нескоро: ведь он должен убить хотя бы одного француза. Его отец потерял ногу под Верденом в 1916 году. Краус (так звали ефрейтора) хорошо помнил, как в семилетнем возрасте, вернувшись в сочельник из церкви, он

вытянулся во фронт перед одноногим отцом и заявил: «Я не смогу спокойно умереть, пока не убью француза».

Это было пятнадцать лет назад. Сейчас в каждом новом городе он нетерпеливо посматривал по сторонам в надежде найти наконец французов, готовых оказать ему такую услугу. В Шанли он испытал глубочайшее разочарование, когда перед кафе появился французский лейтенант с белым флагом и без единого выстрела сдался в плен вместе с шестнадцатью солдатами. Каждый из них мог бы помочь Краусу выполнить его давнишнее обещание.

Христиан отвел глаза от смешного, пылающего лица Брандта и посмотрел назад, где, строго соблюдая интервал в семьдесят пять метров, по гладкой прямой дороге шли две другие машины. Лейтенант Гарденбург, командир Христиана, передал под его командование три машины, а сам с остальной частью взвода направился по параллельной дороге. Они получили приказ двигаться на Париж, который, как их заверили, обороняться не будет. Христиан улыбнулся. У него немного кружилась голова от гордости: впервые ему доверили командование таким подразделением — три машины, одиннадцать солдат, десять винтовок и автоматов и тяжелый пулемет.

Христиан повернулся на сиденье и стал смотреть прямо перед собой. «Красивая страна! — думал он. — Как тщательно обработаны эти поля, обсаженные тополями и покрытые ровными рядами зеленеющих июньских всходов...»

«Все получилось так неожиданно и прошло так гладко, — вспоминал Христиан, — долгое зимнее ожидание, а затем внезапный блестящий бросок через Европу — всеокрушающая, могучая, превосходно организованная лавина. Были продуманы все детали, вплоть до таблеток соли и ампул с сальварсаном. (В Аахене, перед походом, каждому солдату выдали в неприкосновенном пайке по три ампулы; Христиан подивился тогда предусмотрительности медицинской службы, сумевшей оценить силу сопротивления французов.) А как точно все подтвердилось! Склады, карты и запасы воды оказались именно там, где было указано; численность французских войск, сила их сопротивления, состояние дорог — все соответствовало предварительным расчетам. Да, только немцы, — продолжал размышлять Христиан, вспоминая мощный поток людей и машин, хлынувший во Францию, — только немцы могли так точно все рассчитать».

Шум самолета заглушил гудение автомобильного мотора. Христиан взглянул вверх и не мог сдержать улыбку. Позади метрах в двадцати над дорогой медленно летел

«юнкерс». Торчащие под фюзеляжем колеса напоминали когти ястреба, и самолет показался Христиану необыкновенно изящным и прочным. Любуясь строгими очертаниями «юнкерса», он пожалел, что не попал в авиацию. Летчики были любимцами армии и населения. Даже на войне они пользовались неслыханным комфортом и жили, как в первоклассных курортных гостиницах. В авиацию посылали лучшую молодежь страны — это были чудесные, беззаботные, самоуверенные парни. Христиан прислушивался к их разговорам в барах, где они направо и налево сорили деньгами. Собираясь тесным, недоступным для посторонних кружком, они на своем особом жаргоне делились впечатлениями от полетов над Мадридом, болтали о бомбардировках Варшавы, о девушках Барселоны, о новом «мессершмитте». Казалось, они не думали о смерти и поражении, словно эти понятия не существовали в их узком, веселом аристократическом мире.

«Юнкерс» летел теперь прямо над машиной. Пилот накренил самолет, выглянул из кабины и улыбнулся. Христиан ответил такой же широкой улыбкой и помахал рукой. Пилот покачал крыльями и полетел дальше — юный, беззаботный, безрассудно смелый — над обсаженной деревьями дорогой, простиравшейся перед ними до самого Парижа.

Христиан непринужденно развалился на переднем сиденье машины. Под деловитое и уверенное гудение мотора и посвистывание напоенного ароматом трав ветра в его сознании всплыла мелодия, которую он слышал на концерте в Берлине во время отпуска. Это был квинтет с кларнетом Моцарта — грустная, волнующая мелодия, песнь юной девушки, оплакивающей в летний полдень на берегу медленной реки своего утраченного возлюбленного. Полузакрыв глаза, в которых изредка вспыхивали золотистые искорки, Христиан вспомнил кларнетиста — низенького лысого человека с печальным лицом и обвислыми светлыми усами; такими изображают на карикатурах мужей, которых жены держат под башмаком.

«Вообще-то говоря, — усмехнулся про себя Христиан, — в такое время следовало бы напевать не Моцарта, а Вагнера. Тот, кто сегодня не напевает из «Зигфрида», совершает, пожалуй, своего рода предательство в отношении великого третьего рейха».

Христиан не очень-то любил Вагнера, но пообещал себе вспомнить и о нем, как только покончит с квинтетом. Во всяком случае, это поможет ему бороться со сном. Однако

его голова тут же упала на грудь, и он уснул, ровно дыша и не переставая улыбаться во сне. Искося взглянув на него, водитель ослабился и с дружеской насмешкой показал большим пальцем на Христиана фотографу и ефрейтору-силезцу. Силезец громко расхохотался, словно Христиан специально для него выкинул какой-то невероятно ловкий и забавный трюк.

Три машины мчались по спокойной, залитой солнцем местности. Если не считать изредка попадавшихся коров, кур и уток, она выглядела совершенно пустынной, как в воскресный день, когда жители отправлялись на ярмарку в ближайший городок.

Первый выстрел показался Христиану резкой нотой в продолжавшей звучать в его сознании мелодии.

Следующие пять выстрелов, скрип тормозов и ощущение падения, когда машина свернула в сторону и сползла в кювет, разбудили его. Не совсем еще очнувшись, он выпрыгнул из машины и бросился на землю. Рядом с ним, тяжело переводя дыхание, притаились в пыли остальные. Некоторое время Христиан лежал молча, ожидая, что произойдет дальше. Он ждал, что кто-нибудь подскажет ему, как надо действовать, но тут же уловил на себе тревожные, вопрошающие взгляды солдат.

«Унтер-офицер, возглавляющий подразделение, — лихо-радочно вспоминал Христиан, — должен немедленно оценить обстановку и отдать ясные и четкие распоряжения. Он обязан всегда сохранять полное самообладание, действовать уверенно и смело».

— Никто не ранен? — шепотом спросил он.

— Нет, — ответил Краус. Положив палец на спусковой крючок винтовки, он нетерпеливо выглядывал из-за переднего колеса машины.

— Боже мой! Иисус Христос! — нервно бормотал Брандт, неверными пальцами ощупывая предохранитель автомата, словно впервые держал оружие в руках.

— Оставь в покое предохранитель! — резко приказал Христиан. — Не трогай предохранитель, а то еще убьешь кого-нибудь из нас.

— Давайте убираться отсюда, — предложил Брандт. Каска у него свалилась, волосы припудрила пыль. — Иначе всем нам крышка!

— Молчать! — крикнул Христиан.

Снова затрещали выстрелы. Несколько пуль попало в машину, лопнула одна из покрывок.

— Боже мой! — продолжал бормотать Брандт. — Иисус Христос!..

Христиан осторожно начал пробираться к задней части машины, для чего ему пришлось переползти через лежащего рядом водителя. «Эта образина,— механически отметил Христиан,— ни разу не мылась после вторжения в Польшу».

— Черт тебя возьми! — раздраженно прошипел он. — Почему ты не моешься?

— Виноват, господин унтер-офицер,— униженно пробормотал водитель.

Оказавшись под защитой заднего колеса машины, Христиан приподнял голову. Прямо перед его глазами тихонько покачивалось несколько маргариток; на таком близком расстоянии они казались какими-то доисторическими деревьями. Впереди, чуть отсвечивая в ярких лучах солнца, тянулась дорога.

Метрах в пяти от Христиана на шоссе опустилась какая-то пичуга. Она деловито прыгала по дороге, чистила перышки и время от времени испускала пронзительный крик — точь-в-точь нетерпеливый покупатель в лавочке, из которой на минуту отлучился хозяин.

Метрах в ста от того места, где остановилась машина, Христиан увидел баррикаду и тщательно, насколько позволяло расстояние, осмотрел ее. Как плотина перегораживает ручей, так баррикада перегораживала шоссе в том месте, где по обеим его сторонам поднимались высокие, крутые откосы. Шелестевшие на обочинах деревья образовали над дорогой живую арку и отбрасывали на баррикаду густую тень. По ту сторону баррикады было тихо и не было заметно никакого движения. Христиан посмотрел назад. Шоссе в этом месте делало изгиб, и двух остальных машин нигде не было видно. Но Христиан не сомневался, что они остановились, как только находившиеся на них солдаты слышали выстрелы. Он попытался представить, что они сейчас делают, и тут же выругал себя за то, что уснул и оказался застигнутым врасплох.

Все говорило о том, что заграждение сооружалось в спешке: два срубленных дерева, перевернутая телега, какие-то пружины, матрасы, камни из соседнего забора... Но место было выбрано удачно. Ветви деревьев надежно укрывали баррикаду от наблюдения с воздуха, и обнаружить заграждение можно было, только наткнувшись на него, как это и получилось сейчас. Хорошо еще, что французы преждевременно открыли огонь...

Христиан почувствовал, что во рту у него пересохло и страшно хочется пить. От съеденных вишен внезапно защипало кончик языка, раздраженного табачным дымом.

«Если у французов есть хоть капля здравого смысла, они уже зашли нам во фланг и перестреляют всех нас,— подумал он, всматриваясь в загадочно темнеющие впереди на дороге поваленные деревья.— Как я мог это допустить? Как я мог уснуть? Будь у них в лесу миномет или пулемет, они бы мигом разделались с нами».

Но из-за баррикады по-прежнему не доносилось ни звука, и лишь на асфальте, за маргаритками, прыгала все та же пичужка, издавая по временам раздраженный пронзительный писк.

Позади Христиана послышался шорох. Он обернулся и увидел Мешена, одного из солдат, находившихся в задних машинах. Мешен пробирался через кустарник ползком, по всем правилам, как его обучали на занятиях, придерживая винтовку за ремень.

— Как там у вас дела? — спросил Христиан.— Есть раненые?

— Нет,— ответил Мешен, с трудом переводя дыхание.— Все целы. Машины стоят на боковой дороге. Унтер-офицер Гиммлер прислал меня узнать, живы ли вы тут.

— Живы,— мрачно ответил Христиан.

— Унтер-офицер Гиммлер приказал передать, что он вернется к штабу артиллерийского подразделения, доложит о соприкосновении с противником и попросит прислать два танка,— четко, по-уставному, как ему вдалбливали инструкторы в долгие, томительные часы учения, отпрапортовал Мешен.

Христиан искоса взглянул на невысокую баррикаду, зловеще затаившуюся в зеленом полумраке деревьев.

«И нужно же было, чтобы это произошло со мной! — с горечью подумал он.— Ведь если станет известно, что я заснул, меня отдадут под суд.— Он представил себе суровые, неумолимые лица офицеров, восседающих за судейским столом, услышал шелест перебираемых бумаг и увидел себя, неподвижно застывшего перед ними в ожидании приговора. Нечего сказать, хорошую услугу оказывает мне Гиммлер! Он, видите ли, отправляется за помощью, а мне предоставляет возможность получить здесь пулю в лоб!»

Гиммлер был полный, шумливый и жизнерадостный человек. Когда его спрашивали, не состоит ли он в родстве с Генрихом Гиммлером, он только посмеивался и напускал на себя загадочный вид. В подразделении ходили упорные слухи, передававшиеся из уст в уста опасливым шепотом, что оба Гиммлера и в самом деле родственники,— кажется, дядя и племянник, поэтому все относились к унтер-офи-

церу с прямо-таки трогательным вниманием. Вероятно, к концу войны, когда благодаря этому сомнительному родству Гиммлер станет полковником (он был слишком посредственным солдатом, чтобы выдвинуться благодаря личным заслугам), выяснится, что оба Гиммлера вовсе и не родственники.

Христиан тряхнул головой. Надо решать, что делать дальше, но до чего же это трудно! Малейший неправильный шаг может стоить жизни, а тут в голову лезут всякие ненужные мысли: о Гиммлере и его служебной карьере; о том, какой тошнотворный запах — запах давно не стиранного белья — исходит от водителя, и о пичужке, беззаботно прыгающей на дороге; о том, что даже загар не в состоянии скрыть бледности Брандта, и о нелепой позе, в какой он растянулся на земле, вцепившись в нее так, словно собирался зубами рыть окоп.

За баррикадой по-прежнему не заметно было ни малейшего движения — только ветерок иногда чуть шевелил листья лежавших на дороге деревьев.

— Не выходить из укрытия, — шепотом приказал Христиан.

— А мне оставаться здесь? — с тревогой спросил Мешен.

— Если вы будете так любезны, — насмешливо ответил Христиан. — Чай мы подаем в четыре часа.

Расстроенный и встревоженный Мешен принялся сдвигать пыль с затвора винтовки.

Раздвинув стволем автомата маргаритки, Христиан прицелился в баррикаду и глубоко вздохнул. «Первый раз! — подумал он. — Первые выстрелы за всю войну...»

Он выпустил две короткие очереди. Выстрелы прозвучали как-то особенно громко и резко; маргаритки перед глазами Христиана неистово закачались; позади он услышал не то похрюкивание, не то хныканье. «Брандт, — сообразил он. — Военный фотограф».

Следующие несколько минут все было тихо. Птичка с дороги улетела, маргаритки перестали качаться, и эхо выстрелов замерло в лесу.

«Ну конечно, — подумал Христиан, — они не так глупы, чтобы прятаться за заграждением. Это было бы слишком просто».

Но Христиан ошибался. Продолжая наблюдать, он увидел, как в отверстия в верхней части баррикады просунулись стволы винтовок. Загремели выстрелы, и пули со злобным свистом пронесли над его головой.

— Нет, нет, пожалуйста, не надо...— Это был голос Брандта. Черт возьми, чего еще можно было ожидать от какого-то старого мазилки?

Когда с баррикады снова открыли огонь, Христиан заставил себя не закрывать глаза и сосчитал винтовки. Шесть. Возможно, семь. Вот и все. Огонь прекратился так же неожиданно, как и начался.

«Чудесно! Даже не верится! — обрадовался Христиан.— Скорее всего, у них там, за баррикадой, нет офицеров. Наверное, засели какие-нибудь полдюжины мальчишек, которых бросил лейтенант. И сейчас они до смерти перепуганы и готовы сдаться в плен».

— Мешен!

— Слушаю, господин унтер-офицер!

— Возвращайтесь к унтер-офицеру Гиммлеру и передайте ему, чтобы он вывел машины на шоссе. Отсюда их не видно, так что им ничто не угрожает.

— Слушаюсь, господин унтер-офицер.

— Брандт! — не оборачиваясь резко крикнул Христиан, стараясь вложить в свой голос как можно больше презрения.— Сейчас же замолчи!

— Хорошо,— прохныкал Брандт.— Слушаюсь. Не обращай на меня внимания. Я сделаю все, что ты прикажешь. Поверь мне. Можешь на меня положиться.

— Мешен! — снова позвал Христиан.

— Слушаю, господин унтер-офицер.

— Передайте Гиммлеру, что я двигаюсь вправо через этот лес и попытаюсь зайти в тыл баррикаде. Пусть он возьмет не меньше пяти солдат, свернет с дороги и пойдет слева. По моим наблюдениям, за баррикадой укрывается не больше шести-семи человек, вооруженных одними винтовками. Думаю, что офицера с ними нет. Вы все запомните?

— Так точно, господин унтер-офицер.

— Через пятнадцать минут я дам очередь из автомата и потребую, чтобы они сдались. Думаю, французы не станут сопротивляться, когда обнаружат, что их обстреливают с тыла. Если же они окажут сопротивление, то Гиммлер немедленно откроет огонь. Одного человека я оставляю здесь на случай, если французы попытаются перебраться через баррикаду. Вы все поняли?

— Так точно, господин унтер-офицер.

— Тогда отправляйтесь.

— Слушаюсь, господин унтер-офицер.

Мешен пополз обратно, на его лице были написаны решимость и сознание долга.

— Дистль! — позвал Брандт.

— Да? — холодно, не глядя на Брандта, отозвался Христиан.— Кстати, если хочешь, можешь отправляться вместе с Мешеном. Ведь ты мне не подчинен.

— Я хочу идти с тобой,— ответил уже овладевший собой Брандт.— Теперь я спокоен. Просто мне на минутку стало плохо.— Он усмехнулся.— Надо же было привыкнуть к обстрелу! Ты сказал, что намерен отправиться к французам и потребовать, чтобы они сдались. Тогда возьми меня с собой, ведь никто из них не поймет твоего французского языка.

Христиан взглянул на него, и оба улыбнулись. «Ну, теперь все в порядке,— решил Христиан.— Наконец-то он пришел в себя».

— В таком случае пошли,— сказал он.— Приглашаю.

Приминая пахнувший сыростью папоротник, они поползли вправо, в лес. В одной руке Брандт волочил «лейку», а в другой автомат, предусмотрительно поставленный на предохранитель. Нетерпеливый Краус замыкал тыл. Земля была сырая, и на обмундировании оставались зеленые пятна. Метров через тридцать встретился небольшой пригорок. Преодолев его ползком, они встали и, пригнувшись, под прикрытием пригорка пошли дальше.

Неумолчно шелестела листва деревьев. Две белки, вынырнув из чащи, принялись с пронзительным верещанием скакать с дерева на дерево. Все трое осторожно продвигались параллельно дороге, ветки кустов то и дело цеплялись за ботинки и брюки.

«Бесполезная затея! — думал Христиан.— Ничего не выйдет. Не могут же они, в самом деле, оказаться такими наивными. Тут просто-напросто ловушка, и я сам в нее полез. Армия-то, конечно, дойдет до Парижа, а вот мне не видать его как своих ушей. В этой глуши твой труп будет валяться десять лет — и никто его не найдет, разве только совы да всякое лесное зверье...»

Лежа на дороге и пробираясь ползком через лес, Христиан весь вспотел. А сейчас его зазнобило от этих мрачных мыслей, и пот на его коже стал холодным и липким. Христиан стиснул зубы, отбивавшие дробь. Лес, наверное, кишит отчаявшимися, полными ненависти французами. Кто знает, не пробираются ли они за ними от дерева к дереву в этих зарослях, где им все знакомо, как в собственной спальне. Каждый из них будет рад убить еще одного немца, прежде чем окончательно капитулировать. Брандт всю свою жизнь прожил в городе и теперь, пробираясь через кустар-

ник, то и дело спотыкался и производил такой шум, будто шло целое стадо скота.

«Бог ты мой! — продолжал размышлять Христиан.— И почему все должно было произойти именно так, а не иначе?» В первом же бою вся ответственность пала на него, а лейтенанту именно в это время понадобилось ехать другой дорогой. До этого лейтенант всегда был со взводом, презрительно поглядывал на Христиана и так и сыпал ядовитыми замечаниями: «Унтер-офицер! Это так-то вас учили командовать?»; «Унтер-офицер! Вы полагаете, что именно так следует заполнять бланки заявок?»; «Унтер-офицер! Когда я приказываю, чтобы десять человек явились сюда в четыре часа, я имею в виду именно четыре ноль-ноль, а не четыре две, четыре десять или четыре пятнадцать. Ровно четыре часа! Ясно?» А теперь лейтенант беспечно мчится в бронеавтомобиле по совершенно безопасной дороге, начиненный всякой тактической премудростью. Клаузевиц, диспозиция войск, обходные движения, секторы обстрела, хождение по азимуту по незнакомой местности — сейчас все это ему совершенно ни к чему, сейчас ему нужна только туристская карта и несколько лишних литров бензина. А Христиан, штатский, в сущности, человек, только одетый в военную форму, вместе с двумя ни разу не стрелявшими в человека людьми должен пробираться по предательскому лесу, задумав эту нелепую вылазку против укрепленной позиции противника... Это было безумием. Ничего из этой затеи не выйдет. Он с удивлением вспомнил, что совсем недавно, там, на дороге, был совершенно уверен в успехе.

— Самоубийство! — вслух воскликнул он.— Настоящее самоубийство!

— Что? Что ты сказал? — шепотом спросил Брандт, и его голос прозвучал в тихом шелесте леса, как удар гонга.

— Ничего,— ответил Христиан.— Помолчи.

Он всматривался до боли в глазах в каждый листик, каждую травинку.

— Берегись! — дико крикнул Краус.— Берегись!

Христиан бросился за дерево, вслед за ним кинулся Брандт. Пуля ударила в ствол как раз над их головами. Христиан быстро повернулся и увидел, что Брандт, испуганно мигая глазами за стеклами очков, пытается передвинуть предохранитель автомата, а Краус, нелепо подпрыгивая на одной ноге, силится освободить зацепившийся за кусты ремень винтовки.

Раздался второй выстрел, и Христиан почувствовал, как что-то обожгло ему голову. Он упал, но сейчас же при-

поднялся и дал очередь по притаившемуся за валуном человеку, которого он только что заметил в массе зеленой колышущейся листвы. От валуна, там, где ударились пули, во все стороны разлетелись осколки. Обнаружив, что патроны в автомате кончились, Христиан опустился на землю, достал запасную обойму и начал дергать новый, тугой затвор. Слева прогремел выстрел, он услышал дикий крик Крауса: «Попал! Попал!» («Как мальчишка на первой охоте за фазанами!» — мелькнуло у Христиана) и увидел, как прятавшийся за валуном француз медленно, лицом вниз соскользнул в траву. Краус бегом бросился к французу, словно боялся, что кто-нибудь раньше него схватит подстреленную дичь. В ту же минуту прозвучали еще два выстрела. Краус упал на упругие кусты и вытянулся во весь рост. Зеленые ветви еще некоторое время трепетали под ним, пока не замерли вместе с последними конвульсиями его тела.

Брандт наконец сдвинул предохранитель и открыл беспорядочный огонь по кустам. Его руки, державшие автомат, показались Христиану какими-то ватными. Брандт сидел на земле, его очки сползли на самый кончик носа; пытаясь успокоиться, он кусал побелевшие губы и левой рукой поддерживал локоть правой.

Сменив обойму, Христиан возобновил огонь по кустам. Внезапно оттуда вылетела винтовка, а вслед за ней выскочил человек с высоко поднятыми руками. Христиан перестал стрелять. В лесу снова воцарилась тишина, и Христиан внезапно ощутил резкий, сухой, неприятный запах порохового дыма.

— Venez! — крикнул он. — Venez ici!¹ — Несмотря на шум и звон в голове, он не без гордости отметил про себя, что неплохо владеет французским языком.

Человек с поднятыми руками медленно приближался. На нем было испачканное обмундирование, воротник был растянут, на позеленевшем от страха лице торчала щетина. Он шел, раскрыв рот и часто облизывая сухие губы.

— Не спускай с него глаз, — приказал Христиан Брандту, который, к его величайшему удивлению, уже щелкал фотоаппаратом, нацелившись на француза.

Брандт встал и угрожающе выставил автомат. Человек остановился. Казалось, он вот-вот упадет. Направляясь мимо него к кустам, на которых повис Краус, Христиан заметил

¹ Идите! Идите сюда! (франц.).

в глазах француза отчаяние и мольбу. Ветки кустарника уже не качались. Краус не шевелился. Христиан положил его на землю. На лице Крауса застыла гримаса удивления и какого-то нетерпеливого ожидания.

С трудом переступая ногами, чувствуя, как болит задетая пулей голова и кровь каплями стекает за ухо, Христиан подошел к убитому Краусом французу. Убитый лежал ничком. Христиан приподнял его. Он был очень молод, не старше Крауса. Пуля попала ему между глаз, обезобразив лицо. Христиан поспешно отдернул руки.

«Какой урон могут нанести эти дилетанты! — подумал он. — За всю войну они вдвоем сделали только четыре выстрела — и вот уже двое убитых...»

Христиан ощупал царяпину на виске; кровь из нее уже не сочилась. Он возвратился к Брандту и через него приказал пленному немедленно отправиться к баррикаде и передать всем, кто там находится, что они окружены и должны сдаться, в противном случае они будут уничтожены. «Мой первый настоящий бой с начала войны, — усмехнулся про себя Христиан, пока Брандт переводил его слова, — а я уже предъявляю ультиматум, как какой-нибудь генерал!» Но тут он вдруг почувствовал слабость и головокружение и несколько мгновений сам не знал, захочет сейчас или разрыдается.

Француз внимательно слушал Брандта и непрерывно кивал головой в знак согласия, затем ответил какой-то торопливой фразой. Христиан слишком плохо знал французский язык, чтобы понять пленного.

— Он говорит, что все будет сделано, — пояснил Брандт.

— Передай ему, — распорядился Христиан, — что мы будем наблюдать за ним и пристрелим его, если заметим какой-нибудь подвох.

Брандт перевел французу слова Христиана, и тот снова энергично кивал головой, словно услышал необыкновенно приятное для него известие. Они углубились в лес и направились к баррикаде, оставив мертвого Крауса на траве. Казалось, он просто прилег отдохнуть — здоровый, молодой парень. В лучах солнца, пробивавшихся сквозь ветви деревьев, его каска отливала тусклым золотом.

Француз шел впереди шагах в десяти и вскоре остановился. Лес нависал здесь над дорогой трехметровым обрывом, вдоль которого шел невысокий каменный забор.

— Эмиль! — крикнул француз. — Эмиль! Это я — Морель! — Он перебрался через забор и скрылся из виду.

Христиан и Брандт осторожно приблизились к забору

и опустились на колени. Внизу, на дороге, они увидели своего пленного, он что-то быстро говорил семерым солдатам, расположившимся за баррикадой кто лежа, кто стоя на коленях. Боязливо поглядывая в сторону леса, они шепотом обменивались торопливыми фразами. Даже в военной форме, с винтовками в руках, солдаты выглядели как крестьяне, собравшиеся в ратуше, чтобы поговорить о своих неотложных делах. Христиан недоумевал, что могло толкнуть этих беспомощных, брошенных офицерами людей на столь бессмысленное, безнадежное сопротивление — отчаянная ли вспышка патриотизма или чья-то непреклонная решимость. Он надеялся, что французы сдадутся. Ему не хотелось убивать этих испуганно шепчущихся усталых людей в грязном и потрепанном обмундировании.

— C'est fait! — крикнул он. — Nous sommes finis!

— Он говорит, что все в порядке, — перевел Брандт. — Они сдаются.

Христиан поднялся из-за укрытия и жестом приказал французам сложить оружие. В это мгновение с другой стороны дороги прогремели три беспорядочные автоматные очереди. Француз-парламентер упал, остальные, стреляя на ходу, бросились бежать и один за другим скрылись в лесу.

«Ну конечно, Гиммлер! — со злобой подумал Христиан. — И как раз в самое неподходящее время. Когда он нужен, его никогда...»

Христиан перескочил через забор и скатился с обрыва к баррикаде. С другой стороны дороги все еще гремели выстрелы, но это была бесцельная стрельба: французов и след простыл, и Гиммлер со своими людьми, видимо, не проявлял желаний их преследовать.

Близ того места, куда скатился Христиан, на дороге лежал человек. Он зашевелился, приподнялся и сел, уставившись на Христиана. Несколько мгновений он сидел, бессильно привалившись к срубленному дереву, потом нащупал стоявший рядом ящик с ручными гранатами, неловко взял одну и слабеющей рукой потянул чеку. Христиан повернулся к нему и, когда человек, не сводя с него глаз, попытался выдернуть чеку зубами, выстрелил. Француз откинулся на спину. Граната покатилась в сторону, Христиан бросился к ней и швырнул ее в лес. Скорчившись за баррикадой рядом с мертвым французом, он ждал разрыва, но разрыва не последовало. Видимо, солдат так и не сумел выдернуть чеку.

— Все в порядке! — крикнул Христиан, поднимаясь. — Сюда, Гиммлер!

Ломая кусты, Гиммлер и его солдаты спустились на дорогу. Христиан еще раз взглянул на убитого. Брандт уже фотографировал труп: снимки убитых французов пока еще представляли редкость в Берлине.

«Ведь я убил человека,— подумал Христиан,— а ничего особенного не испытываю».

— Ну, как тебе нравится, а? — торжествующе воскликнул Гиммлер.— Вот как надо воевать! Готов поспорить, что за это могут дать железный крест!

— Да замолчи ты ради бога! — отозвался Христиан.

Он приподнял убитого, оттащил его к кювету и приказал солдатам разобрать баррикаду, а сам вместе с Брандтом направился в лес, туда, где лежал Краус.

Когда Христиан и Брандт вынесли Крауса на дорогу, Гиммлер с людьми уже разобрали большую часть баррикады. Убитого в лесу француза оставили там, где он лежал. Христиан испытывал нетерпение, ему хотелось как можно скорее отправиться дальше. Пусть другие хоронят убитых врагов.

Он осторожно опустил Крауса на землю. Краус выглядел совсем молодым и цветущим. На губах у него еще сохранились красные следы от вишен, словно у маленького мальчишка, который виновато выглядывает из кладовки, где он тайком попробовал варенья. «Ну вот,— размышлял Христиан, поглядывая на здоровенного простоватого парня, который так заразительно хохотал над его шутками, — вот ты и убил своего француза...» Из Парижа он напишет отцу Крауса, как умер его сын. Он был, напишет Христиан, бесстрашным и жизнерадостным и свой последний час встретил вызывающе и гордо, как и полагается образцовому немецкому солдату... Христиан покачал головой. Нет, придется написать что-то другое, иначе его послание будет похоже на те идиотские письма времен прошлой войны, которые — нечего греха таить — вызывают теперь только усмешку. О Краусе нужно сказать что-то более оригинальное, что-то такое, что относилось бы только к нему: «Его губы все еще были испачканы вишнями, когда мы хоронили его. Он постоянно смеялся над моими шутками и угодил под пулю лишь потому, что слишком погорячился...» Нет, так тоже не годится. Во всяком случае, что-то написать придется.

Услышав, что по дороге медленно и осторожно приближаются две машины, он отвернулся от Крауса и с самодовольной презрительной усмешкой стал наблюдать за их приближением.

— Эй, милые дамы! — крикнул он. — Не пугайтесь, мышка уже убежала из комнаты!

Машины ускорили ход и через минуту остановились у баррикады, стуча невыключенными моторами. В одной из них Христиан увидел своего водителя. На его машине, доложил тот, ехать нельзя: мотор изрешечен пулями, изорваны покрышки. Красное лицо водителя, короткие, отрывистые фразы выдавали его волнение, хотя во время перестрелки он преспокойно лежал в канаве. Впрочем, Христиан понимал, что так бывает: в минуты опасности солдат сохраняет полное самообладание и лишь потом, когда все кончается, теряет над собой контроль.

— Мешен! — распорядился Христиан, прислушиваясь к своему голосу. — Вы с Таубом останетесь здесь до подхода следующей за нами части. («Голос спокойный, — с удовлетворением отметил про себя Христиан, — каждое слово звучит четко и внятно. Значит, я выдержал испытание и могу положиться на себя в дальнейшем».) А сейчас отправляйтесь в лес, принесите убитого француза — он тут недалеко, метрах в шестидесяти — и положите вместе с этими двумя... — Он кивнул на лежавших рядом у дороги Крауса и маленького солдата, убитого Христианом. — Положите так, чтобы их заметили и похоронили. — Он повернулся к остальным и добавил: — Ну, все. Поехали.

Солдаты расселись по своим местам, и машины медленно двинулись через проход, расчищенный в заграждении. Кое-где на дороге виднелись пятна крови, валялись клочки матрасов и затоптанные листья, и все же этот зеленый уголок выглядел очень мирно, а два мертвых солдата в густой траве у дороги были похожи на садовников, вздремнувших после обеда.

Набирая скорость, машины вынырнули из тени деревьев и покатали среди широких, покрытых молодой зеленью полей.

Теперь можно было не опасаться засады. Солнце сильно припекало, и все немного вспотели, но после лесной прохлады это было даже приятно.

«А ведь я все-таки справился, — снова подумал Христиан, немного стыдясь своей самодовольной улыбки. — Справился! Я командовал в бою. Не зря на меня тратят деньги».

Километрах в трех впереди, у подножия возвышенности, показался небольшой городок. Над путаницей каменных домов с выветрившимися стенами высились изящные шпили

двух средневековых церквей. Городок выглядел уютным и безопасным, словно давно уже ничто не нарушало тихую и мирную жизнь его обитателей. Приближаясь к первым домам, водитель машины сбавил скорость и то и дело озабоченно поглядывал на Христиана.

— Давай, давай! — нетерпеливо бросил Христиан. — Там никого нет.

Водитель послушно нажал на акселератор.

Вблизи городок выглядел совсем не таким красивым и уютным, как издали: грязные дома с облупившейся краской, какой-то резкий, неприятный запах. «Какие же неряхи все эти иностранцы!» — промелькнуло у Христиана.

Улица повернула в сторону, и вскоре машины выехали на городскую площадь. На ступеньках церкви и перед кафе, которое, к удивлению немцев, было открыто, стояли люди. «Chasseur et pecheur»¹, — прочитал Христиан на вывеске кафе. За столиками сидело человек пять или шесть, двум из них официант только что принес на блюде стаканы с какими-то напитками.

— Ну и война! — ухмыльнулся Христиан.

На ступеньках церкви стояли три молодые девицы в ярких юбках и блузках с большим вырезом.

— Ого! — воскликнул водитель. — О ля-ля!

— Остановись здесь, — приказал Христиан.

— Avec plaisir, mon colonel!², — ответил водитель, и Христиан, усмехнувшись, взглянул на него, удивленный познаниями солдата во французском языке.

Водитель остановил машину перед церковью и бесцеремонно устался на девушек. Одна из них, смуглая пышная особа с букетом садовых цветов в руке, захихикала. Вслед за ней принялись хихикать и две другие девушки, и все три с нескрываемым любопытством стали рассматривать солдат.

— Пошли, переводчик, — сказал Христиан Брандту, выходя из машины. Брандт со своим неразлучным фотоаппаратом последовал за ним.

— Bonjour, mademoiselles!³ — поздоровался Христиан, подходя к девицам и элегантно, совсем не по-военному, снимая каску.

Девицы снова захихикали, и одна из них, та, что с букетом, воскликнула:

¹ «Охотник и рыболов» (франц.).

² С удовольствием, полковник (франц.).

³ Здравствуйте, барышни! (франц.).

— Как он прекрасно говорит по-французски!

Польщенный словами девушки, Христиан решил пренебречь услугами Брандта, который гораздо лучше его знал французский язык. Слегка запинаясь, он спросил:

— Скажите, сударыни, много ваших солдат прошло тут за последнее время?

— Нет, месье,— с улыбкой ответила полная девушка.— Нас все бросили. Ведь вы не сделаете нам ничего плохого?

— Мы никого не собираемся обижать,— ответил Христиан,— и особенно таких красавиц.

— Ого, вы только послушайте его! — по-немецки воскликнул Брандт.

Христиан усмехнулся. Так приятно было стоять здесь, в этом старинном городке, перед церковью, в теплых лучах утреннего солнца, любоваться пышным бюстом смуглой девушки в прозрачной блузке и флиртовать с нею на чужом языке. Ведь об этом нельзя было и мечтать, отправляясь на войну.

— Подумайте! — улыбнулась девушка.— И этому учат в ваших военных школах?

— Война окончена,— торжественно заявил Христиан,— и вы убедитесь, что мы подлинные друзья Франции.

— Да? Я вижу, вы умеете красиво говорить! — Смуглая девица зовущими глазами взглянула на Христиана, и у него мелькнула дикая мысль задержаться в городе на часок.— И много еще мы увидим таких, как вы?

— Десять миллионов.

— Да что вы! — в притворном отчаянии девушка всплеснула руками.— Что же мы будем с ними делать? Вот,— она протянула ему букет цветов.— Вам как первому.

Христиан удивленно посмотрел на цветы и принял букет. «Это так по-человечески и так обнадеживает...» — подумал он.

— Мадемуазель... Я не знаю, как выразить...— он окончательно запутался,— но... Брандт!

— Господин унтер-офицер хочет сказать,— бойко и гладко, на хорошем французском языке заговорил Брандт,— что он очень признателен и принимает букет как символ нерушимой дружбы между нашими великими народами.

— Да, да,— подтвердил Христиан, завидуя легкости, с какой Брандт изъяснялся по-французски.— Совершенно верно.

— Ах, вот что! — воскликнула девушка.— Так он офицер! — Она еще приятнее улыбнулась Христиану, и он с удовольствием отметил, что местные девушки в общем-то ничем не отличаются от немецких.

За спиной Христиана на булыжной мостовой послышались чьи-то четкие шаги. Не успел он обернуться, как почувствовал быстрый, легкий, но резкий удар по пальцам. Цветы выпали у него из руки и рассыпались по грязным камням мостовой.

Позади него с тростью в руке стоял старик-француз в зеленоватой фетровой шляпе и черном костюме с орденской ленточкой в петлице. Он с бешеной злобой смотрел на Христиана.

— Это вы сделали? — спросил Христиан.

— Я не разговариваю с немцами, — отрезал старик. По выправке француз Христиан понял, что перед ним старый кадровый офицер, привыкший командовать. Это впечатление усиливалось при взгляде на его морщинистое, огрубевшее и обветренное лицо. Старик повернулся к девушкам.

— Шлюхи! — крикнул он. — Уж ложились бы поскорее, и дело с концом!

— Вы бы лучше попридержали свой язык, капитан! — огрызнулась смуглая девушка. — Вы-то ведь не воюете!

Христиан чувствовал себя очень неловко, но не знал, как поступить. Подобная ситуация не предусматривалась военными уставами, и нельзя же применять силу против семидесятилетнего старика.

— И это француженки! — сплюнул старик. — Цветы немцам! Они убивают ваших братьев, а вы преподносите им букеты!

— Но это же простые солдаты, — возразила девушка. — Они оторваны от дома, и все такие молоденькие и красивые в своей форме!

Она бесстыдно улыбалась Брандту и Христиану, и Христиан не мог удержаться от смеха, услышав эти чисто женские доводы.

— Ну хорошо, старина, — обратился он к французам. — Цветов у меня больше нет, и ты можешь возвращаться к своей выпивке.

Христиан дружески положил руку на плечо старика, но тот яростно сбросил ее.

— Не дотрагивайся до меня, бош! — крикнул он и пошел через площадь, свирепо отстукивая каблуками по булыжнику.

— О ля-ля! — укоризненно покачал головой шофер Христиана, когда старик проходил мимо.

Старик даже не взглянул на него.

— Французы и француженки! — кричал он, направляясь к кафе и обращаясь ко всем, кто мог его слышать. — Стоит

ли удивляться, что мы видим у себя бошей? Нет у нас ни твердости, ни мужества! Выстрел — и мы разбегаемся по лесу, как зайцы. Улыбка — и наши женщины готовы лечь в постель со всей немецкой армией. Французы не работают, не молятся, не сражаются — они умеют лишь сдаваться. Капитуляция на фронте, капитуляция в спальне... Уже двадцать лет Франция только этим и занимается и сейчас превзошла самое себя.

— О ля-ля! — снова воскликнул шофер Христиана, немного понимавший по-французски. Он нагнул, поднял камень и небрежно швырнул во француза. Пролетев мимо старика, камень угодил в витрину кафе. Послышался звон разбитого стекла, и сразу стало тихо. Старый француз даже не оглянулся. Он молча опустил на стул, оперся на ручку своей трости и с расстроенным видом, но по-прежнему свирепо уставился на немцев.

— Зачем ты это сделал? — спросил Христиан, подходя к машине.

— Да уж больно он расшумелся, — ответил водитель, здоровенный, безобразный и наглый детина — истинный шофер берлинского такси. Христиан терпеть его не мог. — Это научит их хоть немного уважать немецкую армию.

— Не смей этого больше делать, — хрипло сказал Христиан. — Слышишь?

Водитель слегка выпрямился, но промолчал, не спуская с Христиана тупого, нагловатого взгляда.

Христиан отвернулся.

— Ну хорошо, — буркнул он и скомандовал: — По местам!

Присмирившие девушки молча проводили взглядом немецкие машины, которые пересекли площадь и выехали на дорогу, ведущую в Париж.

Подъехав к коричневой, украшенной скульптурами громадной арке у ворот Сен-Дени, Христиан почувствовал разочарование. На просторной площади вокруг арки уже стояли десятки бронированных машин. Солдаты в серой форме, развалившись на асфальте, ели завтрак, приготовленный в полевых кухнях, точь-в-точь как в каком-нибудь провинциальном баварском городке перед парадом в день национального праздника. Христиан еще ни разу не был в Париже. Он мечтал в последний день войны первым проехать по историческим улицам в голове армии, вступающей в древнюю столицу врага.

Лавируя среди слоняющихся солдат и составленных в

козлы винтовок, машина подошла к арке, и Христиан знаком приказал следовавшему позади Гиммлеру остановиться. Это было условленное место встречи, здесь ему было приказано ожидать подхода своей роты. Христиан снял каску, глубоко вздохнул и потянулся. Его миссия закончилась.

Брандт выпрыгнул из машины, прислонился к цоколю арки и принялся фотографировать солдат за едой. Даже в военной форме и с черной кожаной кобурой у пояса он выглядел, как конторщик в отпуске, делающий снимки для семейного альбома. У Брандта была своя теория о том, кого и почему нужно фотографировать. Из рядовых и унтер-офицеров он выбирал большей частью блондинов, самых красивых и самых юных. «Моя задача, — заявил он однажды Христиану, — сделать войну привлекательной для тех, кто остался в тылу». Его теория, видимо, имела успех, — во всяком случае, за свою работу он был представлен к офицерскому званию и постоянно получал похвалы от командования пропагандистскими частями в Берлине.

Среди солдат робко бродили двое маленьких детей — единственные представители французского гражданского населения на улицах Парижа в этот день. Брандт подвел их к маленькому разведывательному автомобилю, на капоте которого Христиан чистил свой автомат.

— Послушай, — обратился к нему Брандт, — сделай мне одолжение — снимись с этими детьми.

— Попроси кого-нибудь другого, — отмахнулся Христиан. — Я не артист.

— А я хочу прославить тебя. Нагнись и сделай вид, что даешь им сладости.

— У меня нет сладостей, — ответил Христиан.

Дети — мальчик и девочка лет пяти — стояли около машины и мрачно посматривали на Христиана печальными, глубоко запавшими черными глазенками.

— Вот, возьми, — Брандт вытащил из кармана несколько шоколадок и вручил Христиану. — У хорошего солдата всегда должно найтись все, что нужно.

Христиан вздохнул, отложил в сторону ствол автомата и нагнулся к двум хорошеньким оборвышам.

— Прекрасные типы, — пробормотал Брандт, усаживаясь на корточки и поднося к глазам фотоаппарат. — Дети Франции — смазливые, истощенные, печальные и доверчивые. Красивый, фотогеничный, атлетически сложенный немецкий унтер-офицер, щедрый, добродушный...

— Да будет тебе! — взмолился Христиан.

— Продолжай улыбаться. красавчик. — Брандт щелкал

аппаратом, делая один снимок за другим.— Не отдавай им шоколад, пока я не скажу. Держи его так, чтобы они тянулись за ним.

— Прошу не забывать, ефрейтор Брандт,— усмехнулся Христиан, взглянув вниз, на серьезные, неулыбающиеся лица детей,— что я все еще ваш командир.

— Искусство превыше всего. Мне бы очень хотелось, чтобы ты был блондином. Ты чудесный тип немецкого солдата, но вот цвет волос не тот. И выглядишь ты так, будто все время силишься о чем-то вспомнить.

— Я полагаю,— в том же тоне ответил Христиан,— что мне следует донести по команде о ваших высказываниях, позорящих честь немецкой армии.

— Художник стоит выше всяких мелочных соображений,— парировал Брандт.

Он быстро щелкал аппаратом и вскоре закончил съемку.

— Ну, вот и все,— сказал он.

Христиан отдал шоколад детям. Те молча, лишь мрачно взглянув на немца, рассовали шоколад по карманам, взялись за руки и поплелись среди стальных машин, солдатских башмаков и винтовочных прикладов.

На площадь медленно въехал броневедомоцикл в сопровождении трех разведывательных машин и остановился около солдат Христиана. Дистль увидел лейтенанта Гарденбурга и почувствовал легкое сожаление. Недолго ему довелось походить в командирах! Он отдал честь лейтенанту, и тот козырнул в ответ. Пожалуй, никто не умел отдавать честь так лихо, как Гарденбург. Едва он подносил руку к козырьку, вам уже слышался звон мечей и шпор всех военных кампаний начиная со времен Ахилла и Аякса. Даже сейчас, после длительного перехода из Германии, все на нем блестело и выглядело безупречно. Христиан не любил лейтенанта Гарденбурга и всегда чувствовал себя неловко перед лицом такого ошеломляющего совершенства. Лейтенант был очень молод — лет двадцати трех-двадцати четырех, но когда он надменно оглядывался вокруг своими холодными властными светло-серыми глазами, казалось, что под этим беспощадным взглядом содрогаются все презренные, жалкие штафирки. Лишь немногие могли заставить Христиана почувствовать свою неполноценность, и лейтенант Гарденбург как раз принадлежал к числу таких людей.

Гарденбург энергично выскочил из машины. Стоя в положении «смирно», Христиан торопливо повторял про себя слова рапорта. Снова — уже который раз — вернулось к нему сознание вины за все, что произошло в лесу. Конечно,

они попали в западню только потому, что он оказался плохим командиром и халатно отнесся к своим обязанностям.

— Да, унтер-офицер? — Лейтенант говорил язвительным, нетерпеливым тоном, который был в пору самому Бисмарку на заре его карьеры.

Гарденбург не смотрел по сторонам: парижские достопримечательности его не интересовали. Он держался так, словно перед ним был огромный столичный учебный плац около Кенигсберга, а не самый центр столицы Франции в первый после 1871 года день ее оккупации.

«На редкость противный тип! — поморщился Христиан. — Подумать только, что на таких и держится наша армия!..»

— В десять ноль-ноль, — начал Христиан, — на дороге Мо — Париж мы вступили в соприкосновение с противником. Укрывшись за тщательно замаскированным дорожным заграждением, противник открыл огонь по нашей головной машине. Вместе с находившимися под моим командованием девятью солдатами я вступил в бой. Мы уничтожили двух солдат противника, выбили остальных с баррикады, обратили их в беспорядочное бегство и разрушили заграждение.

Христиан на мгновение замялся.

— Продолжайте, — не повышая голоса, поторопил лейтенант.

— Мы понесли потери, — продолжал Христиан, подумав при этом: «Вот тут-то и начинаются неприятности!» — Убит ефрейтор Краус.

— Ефрейтор Краус? А он выполнил свой долг?

— Да, господин лейтенант. — Христиан вспомнил о неуклюжем парне, который бежал по лесу среди качающихся деревьев и дико выкрикивал: «Попал! Попал!» — Первыми же выстрелами он убил одного из солдат противника.

— Отлично! — заметил лейтенант. По его лицу скользнула холодная улыбка, отчего на мгновение сморщился его длинный крючковатый нос. — Отлично!

«Он доволен!» — удивился Христиан.

— Я не сомневаюсь, — продолжал Гарденбург, — что ефрейтор Краус будет посмертно представлен к награде.

— Господин лейтенант, я собираюсь написать письмо его отцу.

— Отставить! Не ваше дело писать письма. Это входит в обязанности командира роты капитана Мюллера, и он делает все, что нужно. Я сообщу ему необходимые факты. Извещение нужно составить умело. Важно выразить в нем соответствующие чувства. Капитан Мюллер знает, как это делается.

«В военном училище, вероятно, читают курс лекций «Письма родственникам»,— иронически отметил про себя Христиан.— Час в неделю».

— Унтер-офицер Дистль,— продолжал Гарденбург,— я доволен вами и вашими солдатами.

— Рад стараться, господин лейтенант,— вытянулся Христиан. Он почувствовал какую-то глупую радость.

Брандт выступил вперед и отдал честь. Гарденбург холодно козырнул в ответ. Он презирал Брандта: тот не мог даже внешне выглядеть солдатом, а лейтенант не скрывал своего отношения к людям, которые сражались фотоаппаратами вместо винтовок. Однако он не позволял себе игнорировать весьма определенные приказы командования об оказании всяческого содействия военным фотографам.

— Господин лейтенант,— просто, совсем по-штатски, обратился Брандт к офицеру.— Мне приказано поскорее доставить на площадь Оперы заснятую мною пленку. Она будет отправлена в Берлин. Не могли бы вы дать мне машину? Я сразу же вернусь.

— Сейчас выясню,— ответил Гарденбург. Он повернулся и важно зашагал на противоположную сторону площади, где в только что подъехавшей амфибии сидел капитан Мюллер.

— Этот лейтенантик просто без ума от меня,— насмешливо заметил Брандт.

— Но машину-то он тебе даст,— отозвался Христиан.— У него сейчас хорошее настроение.

— Я тоже без ума от него и от всех лейтенантов вообще,— продолжал Брандт. Он оглянулся, посмотрел на выкрашенные в мягкие цвета каменные стены больших домов, окружавших площадь, на рослых, лениво слоняющихся солдат в касках и серых мундирах — чужих и лишних здесь, среди французских вывесок и кафе с опущенными жалюзи.— И года не прошло, как я был в Париже последний раз,— задумчиво сказал Брандт.— На мне был синий пиджак и фланелевые брюки. Все принимали меня за англичанина и относились ко мне с исключительным вниманием. Теплой летней ночью с красивой черноволосой девушкой я подъехал на такси к чудесному ресторанчику вот тут, за углом.— Брандт мечтательно закрыл глаза и прислонился головой к бронированному боку транспортера.— Девушка резонно полагала, что единственная цель жизни женщины — ублажать мужчин. У нее был такой голос, что, услышав его даже за квартал, вы уже начинали испытывать к ней влечение. Перед обедом мы распили бутылку шампанского.

В своем темно-синем платье девушка казалась такой скромной и юной, что даже не верилось, что всего лишь час назад я лежал с ней в постели. Мы сидели, держа друг друга за руки, и как мне сейчас кажется, на глазах у нее блеснули слезы. Затем мы съели чудесный омлет и выпили бутылку шабли. В то время я и понятия не имел о каком-то лейтенанте Гарденбурге... Я знал, что часа через полтора снова окажусь в постели с девушкой, и чувствовал себя на седьмом небе.

— Да перестань ты! — воскликнул Христиан. — Моя добродетель начинает трещать.

Но все это было в доброе старое время, — продолжал Брандт, не открывая глаз, — когда я был презренным штафиркой и не превратился еще в бравого вояку.

— Открой глаза и опустишь на землю, — торопливо проговорил Христиан. — Сюда идет Гарденбург.

Они вытянулись перед подходившим лейтенантом.

— Все в порядке, — сообщил Гарденбург Брандту. — Можете взять машину.

— Благодарю вас, господин лейтенант.

— Я сам поеду с вами и захвачу с собой Гиммлера и Дистля. Ходят слухи, что наша часть будет расквартирована как раз в районе площади Оперы. Капитан посоветовал ознакомиться с обстановкой на месте. — Гарденбург попытался изобразить на лице теплую доверительную улыбку и добавил: — К тому же мы вполне заслужили маленькую прогулку для осмотра местных достопримечательностей. Поехали.

В сопровождении Христиана и Брандта он направился к одной из машин. Гиммлер уже сидел за рулем, Брандт и Христиан разместились на заднем сиденье, а лейтенант сел впереди, прямой, как жердь, — блестящий представитель немецкой армии и немецкого рейха на парижских бульварах.

Как только машина тронулась, Брандт пожал плечами и соорудил гримасу. Гиммлер уверенно вел автомобиль к площади Оперы: во время отпусков он неоднократно бывал в Париже и довольно бегло говорил на ломаном французском языке. Взяв на себя обязанности гида, он обращал внимание своих спутников на наиболее интересные места, показывал кафе, которые когда-то посещал, театр-кабаре, где видел нагую американскую танцовщицу, улицу, на которой, по его словам, находился самый шикарный в мире публичный дом. Гиммлер представлял собой встречающийся в каждой армии тип ротного шута и политика. Он был любимчиком офицеров, и они позволяли ему такие вольности,

за которые других беспощадно наказывали. Лейтенант чинно сидел рядом с ним, жадно всматриваясь в безлюдные улицы. Он даже позволил себе дважды рассмеяться над шуточками Гиммлера.

Знаменитая площадь Оперы, с ее вздымающимися колоннами и широкими ступенями театрального подъезда, кишела солдатами. Их было так много, что не сразу бросалось в глаза отсутствие женщин и штатских здесь, в самом центре города.

Брандт с важным, деловым видом направился в одно из зданий, захватив с собой фотоаппарат и пленку. Христиан и лейтенант вышли из машины и принялись рассматривать величественное, увенчанное куполом здание Оперы.

— Жаль, что я не побывал здесь раньше,— задумчиво заметил лейтенант.— В мирное время здесь, наверное, чудесно.

— А вы знаете, лейтенант,— засмеялся Христиан,— я как раз думал о том же.

Гарденбург дружелюбно усмехнулся. Христиан недоумевал: почему он всегда так боялся лейтенанта? Ведь он, оказывается, простецкий малый!

Из здания выскочил Брандт.

— С делами покончено,— объявил он.— Я могу не являться сюда до полудня завтрашнего дня. Мои фотографии произведут фурор. Я рассказал, как сделал снимки, и меня чуть тут же не произвели в полковники.

— Вы не могли бы,— обратился лейтенант к Брандту, и в его голосе впервые за все время прозвучали какие-то человеческие нотки,— вы не могли бы сфотографировать меня на фоне Оперы? Я бы послал снимок жене.

— С удовольствием,— сразу напуская на себя важный вид, ответил Брандт.

— Гиммлер, Дистль, становитесь рядом.

— Господин лейтенант,— робко возразил Христиан,— может быть, вам лучше сняться одному? Какой интерес вашей жене смотреть на нас? — Впервые за год службы Христиан осмелился в чем-то не согласиться с лейтенантом.

— О нет! — Лейтенант обнял Христиана за плечи, и тот даже подумал, уж не пьян ли Гарденбург.— Я не раз писал жене о вас, ей будет очень интересно взглянуть на вашу фотографию.

Брандт долго суетился, отыскивая нужное положение: ему хотелось, чтобы на снимок попала большая часть здания Оперы. Гиммлер шутовски осклабился, а Христиан с лейте-

нантом напряженно смотрели в объектив аппарата, словно присутствовали на каком-то важном историческом торжестве.

После съемки все снова уселись в машину и направились к воротам Сен-Дени. День близился к концу. В косых лучах заходящего солнца улицы казались вымершими, особенно там, где еще не было солдат и не носились военные машины. Впервые после приезда в Париж Христиан почувствовал какую-то смутную тревогу.

— Великий день,— задумчиво проговорил лейтенант, сидя рядом с водителем.— Незабываемый, исторический день. Когда-нибудь, вспоминая о нем, мы скажем: «Мы были там на заре новой эры!»

Христиан заметил, что сидевший рядом Брандт еле сдерживает смех. Но ведь этот человек долгие годы прожил во Франции, где, должно быть, и научился с таким цинизмом и насмешкой относиться ко всяким возвышенным чувствам.

— Мой отец,— продолжал лейтенант,— в четырнадцатом году дошел только до Марны. Марна!.. От нее же рукой подать до Парижа. Но Парижа он так и не увидел. А сегодня мы переправились через Марну за пять минут. Исторический день...

Лейтенант бросил острый взгляд в боковую улочку, мимо которой они проезжали. Христиан невольно заерзал на сиденье, с беспокойством поглядывая в ту же сторону.

— Гиммлер,— заговорил Гарденбург,— это не та ли самая улица?

— Какая улица, господин лейтенант?

— Ну... этот самый знаменитый дом, о котором вы говорили.

«Однако и память же у него! — удивился Христиан.— Все запоминает! Огневые позиции орудий и инструкцию для военно-полевых судов, порядок дегазации материальной части и адрес парижского дома терпимости, небрежно указанного на незнакомой улочке два часа назад».

— Я полагаю,— рассудительно сказал лейтенант, когда Гиммлер повел машину медленнее,— я полагаю, что в такой день, как сегодня, в день битвы и торжества... Одним словом, мы вполне заслужили небольшое развлечение. Солдат, избегающий женщин,— плохой солдат... Брандт, вы жили в Париже — вы знаете что-нибудь об этом заведении?

— Да, господин лейтенант. Потрясающая репутация!

— Поверните машину, унтер-офицер,— приказал Гарденбург.

— Слушаюсь, господин лейтенант! — Гиммлер пони-

мающе улынулся, лихо развернул автомобиль и повел его к улице, которую недавно показывал своим спутникам.

— Я уверен,— с важным видом продолжал Гарденбург,— что могу смело положиться на вас, надеюсь, вы будете держать язык за зубами.

— Так точно, господин лейтенант! — хором ответили все трое.

— Всему свой черед — и дисциплине, и совместным дружеским забавам... Гиммлер, это то самое место?

— Да, господин лейтенант. Но, кажется, оно закрыто.

— Пошли!

Лейтенант выбрался из машины и направился к массивной дубовой двери, так печатая шаг, что по узенькой улице покатилося эхо, словно маршировала целая рота солдат.

Офицер постучал в дверь, а Христиан и Брандт, улыбаясь, смотрели друг на друга.

— Я теперьнисколько не удивлюсь,— шепотом заметил Брандт,— если он начнет продавать нам порнографические открытки.

— Ш-ш! — зашипел Христиан.

Дверь наконец открылась и, когда лейтенант с Гиммлером чуть не силой ворвались в дом, тут же захлопнулась за ними. Христиан с Брандтом остались одни на безлюдной тенистой улице. Начиная темнеть. Вокруг все было тихо, немые дома смотрели на них закрытыми окнами.

— У меня сложилось такое впечатление,— заговорил Брандт,— что лейтенант приглашал и нас в это заведение.

— Терпение. Он подготавливает почву.

— Ну, что касается женщин, то я предпочитаю обходиться без посторонней помощи.

— Да, но хороший командир,— с серьезным видом проговорил Христиан,— не ляжет спать, пока не убедится, что его солдаты устроены как нужно.

— Пойди к лейтенанту и напхни ему об этом.

Дверь снова распахнулась, и Гиммлер призывно помахал им рукой. Они выбрались из машины и вошли в дом. Фонарь псевдомавританского стиля багровым светом освещал лестницу и стены, обитые тканью под гобелен.

— А хозяйка-то узнала меня! — сообщил Гиммлер, тяжело ступая по лестнице впереди них.— «Поцелуй меня!», «Мой дорогой мальчик!» и все такое. Каково, а?

— Унтер-офицер Гиммлер! — напыщенно провозгласил Христиан.— Популярнейшая личность во всех публичных домах пяти стран! Вклад Германии в дело создания Европейской федерации!

— Во всяком случае,— ухмыльнулся Гиммлер,— в Париже я не тратил времени попусту. Вот сюда, в бар. Девушки еще не готовы. Надо сначала немножко выпить и забыть об ужасах войны.

Он распахнул дверь, и они увидели лейтенанта. Сняв перчатки и каску, Гарденбург сидел на стуле, заложив ногу на ногу, и осторожно счищал золоченую фольгу с бутылки шампанского. Бар представлял собой небольшую комнату с выкрашенными в бледно-лиловый цвет стенами. Полукруглые окна были закрыты портьерами с бахромой. Восседавшая за стойкой крупная женщина, закутанная в шаль с каймой, с завитыми волосами и сильно подведенными глазами, как нельзя лучше дополняла обстановку этого заведения. Она неумолчно трещала по-французски, а Гарденбург степенно кивал головой, хотя не понимал ни слова.

— Amis, — представил Гиммлер Брандта и Христиана, обнимая их за плечи.— Braves soldaten!¹

Женщина вышла из-за стойки и пожала обоим руки, уверяя, что страшно рада их видеть. Пусть они простят ей невольную задержку, ведь они, конечно, понимают, что сегодня был очень тяжелый день. Девушки скоро, очень скоро появятся. Она пригласила немцев посидеть и выпить вина и выразила свое восхищение тем, что немецкие солдаты и офицеры пьют и развлекаются вместе,— вероятно потому-то они и выиграли войну, а вот во французской армии вы никогда не увидите ничего подобного...

Гости уже приканчивали третью бутылку, а девушки все не появлялись, что, впрочем, теперь уже не имело значения.

— Французы!.. Я презираю французов,— разглагольствовал лейтенант. Он сидел на стуле прямо, словно проглотил аршин, и глаза его стали темно-зелеными и тусклыми, как истертое волнами бутылочное стекло.— Французы не хотят умирать, и вот поэтому мы здесь, пьем их вино и берем их женщин. Разве это война? — Пьяным жестом он со злостью рванул со стола бокал.— Какая-то нелепая комедия. С восемнадцатилетнего возраста я изучаю военное искусство. Я знаю как свои пять пальцев организацию снабжения и связи, роль морального состояния войск, правила выбора укрытых мест для командных пунктов, теорию наступления на противника, обладающего автоматическим оружием, значение элемента внезапности... Я могу командовать армией. Я потратил пять лет жизни в ожидании этого мо-

¹ Друзья. Бравые солдаты! (франц. искаж.)

мента.— Гарденбург горестно рассмеялся.— И вот великий момент наступил! Армия устремляется вперед. И что же? — Он пристально посмотрел на мадам — та, ни слова не понимая по-немецки, с самым счастливым видом согласно кивала головой.— Я не слышал ни единого выстрела, я проехал на автомобиле шестьсот километров, чтобы оказаться в публичном доме. Жалкая французская армия превратила меня в туриста! Понимаете? В туриста! Война окончена, пять лет жизни потрачены зря. Карьеры мне не сделать, я останусь лейтенантом до пятидесяти лет. Влиятельных друзей в Берлине у меня нет, и некому позаботиться о моем продвижении. Все пропало... Мой отец все же больше преуспел. Он дошел только до Марны, хотя и воевал четыре года, но в двадцать шесть лет уже имел чин майора, а на Сомме, после первых двух дней боев, когда была перебита половина офицеров, получил под свое командование батальон... Гиммлер!

— Да, господин лейтенант,— отозвался Гиммлер. Он был трезв и слушал лейтенанта с хитровой усмешкой на лице.

— Гиммлер! Унтер-офицер Гиммлер! Где же моя девица? Хочу французскую девку!

— Мадам обещает, что девица придет через десять минут.

— Я презираю их,— заявил лейтенант, отпивая из бокала шампанское. Рука у него тряслась, и вино стекало по подбородку.— Презираю всех французов.

В комнату вошли две девушки. Одна из них, полная крупная блондинка, широко улыбалась. У другой, маленькой, изящной и смуглой, было печальное лицо арабского типа, сильно накрашенное, с ярко намазанными губами.

— Вот и они,— ласково сказала мадам.— Вот мои курочки.— Она одобрительно, словно барышник, похлопала блондинку по спине.— Это Жаннет. Подходящий тип, не правда ли? Я уверена, что Жаннет будет пользоваться у немцев огромным успехом.

— Я беру вот эту.— Лейтенант встал, выпрямился и указал на девушку арабского типа. Она улыбнулась профессионально-загадочной улыбкой, подошла к офицеру и взяла его под руку.

Гиммлер, до этого с интересом посматривавший на смуглую девушку, тут же уступил праву старшего по чину и обнял рослую блондинку.

— Ну, милочка,— обратился он к ней,— как тебе понравится красивый, здоровый немецкий солдат?

— А подходящая комната тут есть? — спросил Гарденбург.— Брандт, переведите.

Брандт перевел, и смуглая девушка, улыбнувшись всем, увела чинно вышагивавшего за ней лейтенанта.

— Ну-с,— сказал Гиммлер, еще крепче прижимаясь к блондинке,— а теперь моя очередь. Я надеюсь, ребята, вы не возражаете...

— Давай, давай,— ответил Христиан.— И можешь не спешить.

Гиммлер ослабился.

— А знаешь, милочка,— уходя с блондинкой, обратился он к ней на своем ужасном французском языке,— мне очень нравится твое платье...

Мадам поставила на стол нераспечатанную бутылку шампанского, извинилась и ушла. Христиан и Брандт остались одни в освещенном оранжевым светом баре, тоже отделанном с претензией на мавританский стиль. Посматривая на стоявшую в ведерке бутылку, они молча пили бокал за бокалом. Открывая новую бутылку, Христиан вздрогнул от неожиданности, когда пробка с громким, как выстрел, звуком вылетела из горлышка и холодное пенящееся шампанское выплеснулось ему на руки.

— Тебе доводилось бывать в подобных местах? — спросил наконец Брандт.

— Нет.

— Война вносит огромные перемены в жизнь человека,— продолжал Брандт.

— Да, конечно.

— Хочешь девочку? — поинтересовался Брандт.

— Не очень.

— Ну, а как бы ты поступил, если бы тебе и лейтенанту Гарденбургу понравилась одна и та же девушка? — продолжал допытываться Брандт.

— На этот вопрос я не хочу отвечать,— с важным видом заявил Христиан, отпивая маленький глоток вина.

— Да и я тоже не ответил бы,— согласился Брандт, играя ножкой бокала.

— Ну, и как ты себя чувствуешь? — спросил он спустя некоторое время.

— Не знаю. Странно как-то все... Очень странно.

— А мне вот грустно,— признался Брандт.— Очень грустно. Сегодня — заря... как это выразился лейтенант Гарденбург?

— Заря новой эры.

— Мне грустно на заре новой эры.— Брандт налил себе вина.— А ты знаешь, месяцев десять назад я чуть было не принял французское гражданство.

— Неужели?

— Я прожил во Франции в общей сложности лет десять. Как-нибудь мы съездим с тобой в одно местечко на побережье Нормандии, где я проводил лето. Я работал с утра до вечера и создавал за лето полотен тридцать — сорок. Мое имя стало уже приобретать некоторую известность в этой стране. Я покажу тебе потом галерею, где выставлялись мои картины. Может быть, там еще осталось кое-что из моих работ, и ты сможешь взглянуть на них.

— С величайшим удовольствием,— церемонно ответил Христиан.

— А вот в Германии своих картин я показывать не могу. Это была абстрактная живопись, так называемый субъективизм. Нацисты называют такое искусство декадентским.— Брандт пожал плечами.— Наверное, я немножко декадент. Не такой, конечно, как лейтенант, но все же декадент. А ты?

— А я декадент-лыжник,— в тон ему ответил Христиан.

— Везде есть декаденты,— согласился Брандт.

Открылась дверь, и в комнату вошла маленькая смуглая девушка, с которой удалился лейтенант. На ней был пеньюар розового цвета, отделанный по краям перьями. Девушка слегка улыбалась каким-то своим мыслям.

— А где мадам? — спросила она.

— Да где-то здесь.— Брандт сделал неопределенный жест рукой.— Могу чем-нибудь помочь?

— Да все ваш офицер,— ответила девушка.— Мне нужно, чтобы кто-нибудь перевел. Он чего-то требует, а я не совсем уверена, что поняла его. По-моему, он хочет, чтобы я отстегала его плетью, а я боюсь начинать, пока не буду знать точно, что именно это ему и нужно.

— Начинай,— ответил Брандт.— Именно это ему и нужно. Уж я-то знаю, он ведь мой старый дружок.

— Вы уверены? — Девушка недоверчиво взглянула на Брандта и Христиана.

— Совершенно уверен,— подтвердил Брандт.

— Ну что ж, хорошо.— Девушка пожалала плечами.— Попробую.— Она направилась было к двери, но остановилась.— Все это немножко странно,— с чуть заметной насмешкой в голосе проговорила она.— Солдат победоносной армии... День победы... Вы не находите, что у него странный вкус?

— Мы вообще странные люди,— ответил Брандт,— и ты в этом скоро убедишься. Занимайся своим делом.

Девушка гневно взглянула на него, но тут же улыбнулась и ушла.

— Ты понял? — спросил Брандт у Христиана.

— Да, достаточно.

— Давай выпьем, — предложил Брандт, наполняя бокалы. — А я вот отозвался на зов родины.

— Как, как? — недоуменно переспросил Христиан.

— Со дня на день должна была начаться война, а я писал декадентские, абстракционистские пейзажи и ждал французского гражданства. — Брандт прищурил глаза, вспоминая спокойные, тревожные дни августа 1939 года. — Французы — самый восхитительный народ в мире. Они умеют вкусно есть и держат себя независимо. Рисуй, что хочешь, — они и бровью не поведут. У них блестящее военное прошлое, но они понимают, что ничего выдающегося на этом поприще им уже не совершить. Они благоразумны и расчетливы, что благотворно сказывается на искусстве... И все же в последнюю минуту я пошел в армию и превратился в ефрейтора Брандта, полотна которого не берет ни одна немецкая картинная галерея. Кровь не вода, а? И вот мы в Париже, и нас приветствуют проститутки. Знаешь, Христиан, что я тебе скажу? В конце концов, мы все же проиграем войну. Слишком уж это отвратительно... Варвары с Эльбы жрут сосиски на Елисейских полях...

— Брандт! — остановил его Христиан. — Брандт!

— Тоже мне, «заря новой эры», которую вермахт встречает в публичном доме! Завтра я возьму сосиски и пойду на площадь Этуаль.

Открылась дверь, и в бар вошел Гиммлер. Он был без кителя, в расстегнутой сорочке. Скаля зубы, он держал в руках зеленое платье — то самое, что было на девице, с которой он ушел.

— Следующий! — крикнул он. — Дама ждет.

— Не намерен ли ты последовать за унтер-офицером Гиммлером? — осведомился Брандт у Христиана.

— Нет, не намерен.

— Не в обиду будь сказано, Гиммлер, но мы уж лучше закончим тут бутылочку, — объявил Брандт.

Гиммлер сердито взглянул на них, и обычное хитровато-добродушное выражение на мгновение исчезло с его лица.

— Но чем ты там занимался? — продолжал Брандт. — Сдирал с нее платье?

— Не-ет, — усмехнулся Гиммлер. — Купил. За девятьсот франков, хотя она просила тысячу пятьсот. Пошлю его жене, у нее почти такой же размер. Пощупайте-ка, —

он положил перед ними платье.— Настоящий шелк!

— Да, настоящий шелк,— подтвердил Христиан, с серьезным видом пощупав материал.

Гиммлер пошел к двери, но на пороге обернулся.

— Спрашиваю в последний раз: хотите?

— Нет. А за любезное предложение — спасибо,— ответил Брандт.

— Ну что ж! — Унтер-офицер развел руками.— Не хотите — как хотите.

— Вот что, Гиммлер,— сказал Христиан.— Мы уходим. Ты дождешься лейтенанта Гарденбурга и отвезешь его. Мы пойдем пешком.

— А вам не кажется, что могут быть какие-нибудь приказания? — спросил Гиммлер.

— Вряд ли кто докажет, что мы находимся сейчас в боевой обстановке,— возразил Христиан.— Мы пойдем пешком.

Гиммлер пожал плечами.

— Вы рискуете получить пулю в спину, если пойдете одни по городу.

— Не сегодня,— отмахнулся Брандт.— Позднее — может быть, но сегодня — нет.

Они поднялись и вышли на темную улицу.

Город был тщательно затемнен — нигде не пробивалось ни единого луча. Над крышами висела луна, и дома бросали резкие тени на залитые мягким светом улицы. Воздух был теплый и неподвижный. Угрюмую, настороженную тишину, нависшую над городом лишь изредка нарушал стальной лязг гусеничных машин. Они то начинали двигаться где-то вдали, то снова останавливались, и резкие, неприятные звуки замирали в лабиринте темных улиц.

Брандт показывал дорогу. Он слегка пошатывался, но не потерял способности ориентироваться и уверенно шагал в направлении ворот Сен-Дени.

Они шли молча, плечом к плечу, их подбитые шипами сапоги гулко стучали по мостовой. Где-то в темноте с шумом закрылось окно, и Христиану показалось, что издали донесся едва слышный плач ребенка. Вскоре они свернули на широкий безлюдный бульвар и пошли вдоль закрытых кафе с опущенными жалюзи и со сложенными в кучи вдоль тротуаров стульями и столиками. Вдали сквозь деревья бульвара поблескивали огоньки — свидетельство того, что находившаяся в тот вечер в сердце Франции немецкая армия чувствует себя в полной безопасности. Размеренно шагая рядом с Брандтом на эти огоньки, Христиан мечтатель-

но улыбался; под влиянием выпитого шампанского они казались ему такими уютными и дружески теплыми.

Сквозь пьяную дымку освещенный молодой луной Париж представлялся ему каким-то необыкновенно изящным и хрупким. Он чувствовал, что влюблен в этот город. Ему нравились избитые мостовые и узенькие извилистые улочки по обеим сторонам бульвара, как будто уводившие в другое столетие; нравились церкви, поднимавшиеся среди баров, публичных домов и бакалейных лавок; стулья с тонкими ножками, бережно сложенные сиденьями вниз на столиках в тени парусиновых тентов кафе; люди, прячущиеся за опущенными шторами; река, без которой нельзя было представить себе этот город и которой он еще не видел; рестораны, в которых он еще не был; девушки, которых он еще не встречал, но встретит завтра, когда рассеется ночной страх и они, постукивая высокими каблучками, появятся на столичных улицах в своих вызывающе красивых платьях. Христиану нравились и легенды, которые люди сложили об этом городе, и то, что во всем свете один только Париж в самом деле был таким, как его рисовали в легендах.

Теперь Христиан с удовольствием думал о том, что ему пришлось выдержать бой на дороге и убить человека, чтобы попасть в этот город. Ему даже показалось, что он любит убитого им маленького оборванного француза и лежавшего рядом с французом — так далеко от своей силезской фермы — ефрейтора Крауса с вишневым соком на губах. Он был рад, что прошел через такое испытание на дороге и в лесу и что смерть пощадила его. Ему нравилась война, потому что не было лучшего средства проверить, чего стоит человек, но вместе с тем было приятно сознавать, что скоро она кончится; ему вовсе не хотелось умирать.

Будущее представлялось Христиану радостным, он верил, что оно будет безмятежным и красивым, а все то, ради чего он рискует сейчас жизнью, станет незбылемым законом, и начнется новая эра, эра процветания и порядка.

Христиан подумал еще, что он любит Брандта, который, почти не шатаясь, идет рядом. Там, на дороге, Брандт хныкал, но все же сумел победить страх и сражался бок о бок с ним, хотя и придерживал рукой свой трясущийся локоть, когда стрелял через весеннюю листву в человека, который, конечно, убил бы Христиана, если бы смог.

Христиану нравилась эта тихая лунная ночь, под покровом которой он и Брандт — новые владыки города — плечом к плечу шагали по пустынным прекрасным улицам.

Он понял в конце концов, что жил не напрасно, что не для того он родился, чтобы растрачивать попусту время, обучая ходьбе на лыжах детей и богатых бездельников. Он приносил пользу и будет ее приносить — чего еще может требовать человек от жизни?!

— Смотри-ка! — воскликнул Брандт, останавливаясь перед залитой лунным светом стеной церкви. Христиан взглянул на то место, куда указывал Брандт. В свете луны отчетливо выделялись написанные мелом крупные цифры: «1918». Христиан растерянно заморгал и покачал головой. Он понимал, что цифры имеют какое-то значение, но не сразу сообразил, какое именно.

— Тысяча девятьсот восемнадцатый год, — заметил Брандт. — Да, они помнят. Французы помнят.

Христиан снова взглянул на стену. Он внезапно почувствовал печаль и усталость; он был на ногах с четырех часов утра, а день выдался такой утомительный. Тяжело ступая, Христиан подошел к стене, поднял руку и стал медленно и методично стирать рукавом надпись.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Радио заглушало все остальные звуки в доме. Стояла солнечная июньская погода, свежая зелень покрывала холмы Пенсильвании, но Майкл почти не выходил из оклеенной обоями гостиной, обставленной легкой мебелью в колониальном стиле, и не отрываясь слушал ежеминутно прерываемые помехами одни и те же последние сообщения. Вокруг его кресла валялись газеты. Время от времени появлялась Лаура и с громким мученическим вздохом принималась подбирать их с пола и с подчеркнутой аккуратностью складывать в стопку. Но Майкл почти не замечал ее. Прильнув к радиоприемнику, он крутил ручки и вслушивался в голоса дикторов — сочные, вкрадчивые, напыщенные, твердившие снова и снова: «Покупайте препарат «Лайф-бой», уничтожающий неприятный запах!»; «Две чайные ложки на стакан воды перед завтраком, и вы будете чувствовать себя прекрасно!»; «Ходят слухи, что Париж обороняться не будет. Немецкое верховное командование хранит молчание о положении своих ударных частей, которые продвигаются вперед, почти не встречая сопротивления разваливающейся французской армии».

— Мы обещали Тони, что сыграем сегодня в бадминтон, — кротко проговорила Лаура, появляясь в дверях.

Майкл продолжал молча сидеть у приемника.

— Майкл! — крикнула Лаура.

— Да? — отозвался он, не поворачивая головы.

— Ты понимаешь: бадминтон, Тони.

— Ну и что же? — Майкл от напряжения сморщил лоб, пытаясь одновременно слушать и Лауру и диктора.

— Но сетка-то еще не натянута.

— Натяну позднее.

— Когда позднее?

— Да отстань ты ради бога, Лаура! — вскипел Майкл. — Я сказал — позднее.

— Мне начинает надоедать это твое излюбленное словечко, — ледяным тоном ответила Лаура. На глазах у нее выступили слезы.

— Да перестань же!

— А ты перестань кричать на меня! — Слезы побежали по ее щекам, и Майклу стало жаль ее. Уезжая из Нью-Йорка, они собирались устроить себе нечто вроде отпуска, во время которого, хотя об этом не было сказано ни слова, надеялись в какой-то мере восстановить прежнюю дружбу и привязанность, утраченные в безалаберно проведенные после женитьбы годы. Контракт Лауры с кинофирмой в Голливуде кончился, и дирекция не сочла нужным продлить его. По каким-то необъяснимым причинам работу в другой студии она не нашла. Внешне Лаура была спокойна и весела и не жаловалась, однако Майкл знал, как тяжело она переживает свое унижение. Уезжая на месяц в загородный дом приятеля, Майкл дал себе слово быть внимательным и предупредительным. Они провели здесь только неделю, но эта неделя оказалась ужасной. Майкл целые дни слушал радио, а по ночам не мог спать. Расстроенный, с воспаленными глазами, он или мрачно бродил по дому, или усаживался читать в гостиной, забывал бриться, забывал помогать Лауре поддерживать порядок в очаровательном домике, предоставленном в их распоряжение.

— Прости меня, дорогая, — он обнял Лауру и поцеловал ее. Она улыбнулась сквозь слезы.

— Мне очень неприятно быть такой надоедливой, но ты же знаешь, что кое-что все-таки нужно делать.

— Конечно.

— Ну вот, ты уже совсем хороший, — засмеялась Лаура. — Мне так нравится, когда ты хороший.

Майкл тоже засмеялся, хотя с трудом скрывал раздражение.

— Ну, а сейчас тебе придется расплачиваться за то,

что ты так мил со мной,— продолжала Лаура, прижавшись к его груди.

— И что же я должен сделать?

— Оставь этот смиренный тон,— вспылила Лаура. — Терпеть не могу, когда ты говоришь таким тоном.

Майкл едва сдерживал себя.

— Что же все-таки ты хочешь от меня? — спросил он, прислушиваясь к звукам собственного голоса и удивляясь, что может еще говорить так вежливо и мило.

— Во-первых, выключи этот проклятый приемник.

Майкл хотел было запротестовать, но передумал. Диктор в это время говорил: «Положение здесь все еще продолжает оставаться неясным, однако англичанам, видимо, удалось благополучно эвакуировать большую часть своей армии. Предполагается, что в ближайшее время развернется контрнаступление Вейгана...»¹

— Майкл, дорогой! — напомнила Лаура.

Майкл поспешно выключил радио.

— Вот, пожалуйста. Для тебя я готов на все.

— Спасибо.— В улыбающихся, блестящих глазах Лауры уже не было ни единой слезинки.— Ну, а сейчас еще одна просьба.

— Что еще?

— Пойди побрейся.

Майкл вздохнул и провел рукой по щетине на подбородке.

— А стоит ли?

— У тебя такой вид, будто ты только что явился из ночлежки.

— Ладно. Уговорила.

— Ты сразу почувствуешь себя гораздо лучше,— добавила Лаура, собирая газеты, разбросанные вокруг кресла.

— Еще бы,— ответил Майкл и машинально снова взял за ручки приемника.

— Ну дай отдохнуть хотя бы час! — умоляюще проговорила Лаура, прикрывая ладонью ручки настройки.— Только час! Иначе я сойду с ума. Без конца передают одно и то же, одно и то же!

— Дорогая, но ведь это же решающая неделя в нашей жизни.

¹ Вейган, Максим — французский генерал. 19 мая 1940 года после вторжения немецко-фашистских войск во Францию был назначен главнокомандующим французской армией. Так называемый «план Вейгана», состоявший в одновременном контрнаступлении французских войск с рубежа Соммы и отрезанной группировки союзных войск с севера, был построен на песке и так и не был реализован.— *Прим. ред.*

— Пусть так, но зачем же доводить себя до сумасшествия? — с неумолимой логикой возразила Лаура. — Ведь французам это не поможет, правда?.. После того, как побрешься, не забудь, дорогой, натянуть сетку для бадминтона.

— Хорошо, — пожал плечами Майкл. Лаура чмокнула его в щеку и погладила по голове. Майкл отправился наверх.

Во время бритья он услышал, как начали собираться гости. Из сада доносились женские голоса, временами заглушаемые журчанием льющейся в раковину воды. На расстоянии они казались нежными и мелодичными. Лаура пригласила двух своих бывших учительниц-француженок из расположенной по соседству женской школы, где она училась в детстве. Они всегда хорошо относились к Лауре. Краем уха прислушиваясь к то усиливающимся, то затихающим голосам, Майкл решил, что мягкие интонации француженок куда приятнее самоуверенной металлической трескотни большинства знакомых ему американок. «Но я, пожалуй, не решусь сказать об этом вслух!» — усмехнулся он.

Майкл порезался и, с раздражением разглядывая в зеркало кровоточащую царапину под подбородком, снова почувствовал себя выбитым из колеи.

С большого дерева в конце сада донеслось карканье ворон. Целая стая свила там гнезда и время от времени заглушала своими резкими криками все другие звуки, долетавшие из сада.

Побрившись, Майкл проскользнул в гостиную и тихонько включил приемник, но поймал только музыкальную программу. Женщина пела: «Не имею я ничего, но и этого мне слишком много...» По другой станции передавали увертюру из «Тангейзера» в исполнении военного оркестра. Приемник был слабенький и ловил всего две станции. Майкл выключил приемник и пошел в сад встречать гостей.

Джонсон в желтой тенниске в коричневую полоску был уже там. Он привел высокую, красивую девушку с серьезным, интеллигентным лицом. Пожимая ей руку, Майкл подумал: «Интересно, где сейчас жена Джонсона?»

— Мисс Маргарет Фримэнтл... — представила незнакомку Лаура. Мисс Фримэнтл сдержанно улыбнулась, а Майкл с завистью подумал: «Черт побери этого Джонсона! Где он находит таких красивых девушек?»

Затем Майкл пожал руки хрупким сестрам-француженкам. На них были изящные черные платья, когда-то, видимо, очень модные, хотя трудно было вспомнить когда имен-

но. Обеим сестрам перевалило за пятьдесят. У них были зачесанные назад блестящие, словно покрытые лаком, волосы, нежный, бледный цвет лица и удивительно изящные, стройные ноги. Они обладали безупречными утонченными манерами, а долгие годы, проведенные в школе для девочек, приучили их относиться ко всему на свете с неисчерпаемым терпением. Майклу сестры всегда казались выходцами из прошлого века — вежливыми, замкнутыми, с хорошими манерами, но про себя осуждающими и время и страну, куда занесла их судьба. Сегодня, хотя и было заметно, что обе они тщательно готовились к визиту, искусно нарумянились и подвели глаза, на их лицах застыло какое-то отрешенное, мученическое выражение. Им, видимо, с трудом удавалось следить за ходом беседы.

Искоса посматривая на них, Майкл вдруг понял, что значит быть француженками сегодня, когда немцы находятся около Парижа и город, затаив дыхание, прислушивается к нарастающему грохоту пушек, когда американские дикторы то и дело прерывают джазовую музыку и передачу местных новостей, чтобы сообщить последние известия из Европы, тщательно, но на американский лад произнося столь знакомые сестрам названия: Реймс, Суассон, Марна, Компьен...

«Если бы я был деликатнее, — сказал себе Майкл, — и имел больше такта, если бы я не был таким неуклюжим, тупым буйволом, я отвел бы их в сторону и попытался найти нужные слова утешения». Однако Майкл знал, что ничего хорошего у него не получится, он обязательно скажет не то, что нужно, смутит женщин, и они почувствуют себя еще хуже. «Жаль, что таким вещам нас никто не догадался научить. Нас учили чему угодно, только не такту, отзывчивости и умению помочь человеку».

— Хотя и неприятно об этом говорить, — донесся до Майкла бархатный, уверенный голос Джонсона, — но я думаю, что вся эта история не что иное, как грандиозный обман.

— Как, как? — не поняв, спросил Майкл. Джонсон в изящной позе сидел на траве, по-мальчишески подняв колени, и улыбался мисс Фримэнтл, явно стараясь произвести на нее впечатление. Это раздражало Майкла, тем более что Джонсон, видимо, преуспевал в своих намерениях.

— Заговор, вот что, — ответил Джонсон. — Уж не хочешь ли ты сказать, что две сильнейшие в мире армии внезапно развалились сами по себе? Все это подстроено заранее.

— То есть другими словами, французы, по-твоему, умышленно сдают Париж немцам?

— Конечно.

— Вы не слышали, в последних известиях не передавали ничего нового о Париже? — тихо спросила младшая из сестер, мисс Буллар.

— Нет, пока ничего нового не сообщалось, — как можно мягче ответил Майкл.

Обе дамы с улыбкой кивнули ему, словно он преподнес им по букету цветов.

— Да, город падет, — вставил Джонсон. — Попомните мои слова.

«За каким дьяволом мы пригласили сюда этого типа?» — сердито подумал Майкл.

— Сделка уже состоялась, — продолжал Джонсон, — а все остальное — камуфляж для обмана английского и французского народов. Недели через две немцы будут в Лондоне, а еще через месяц нападут на Советский Союз. — Последние слова он произнес торжествующе и гневно.

— А по-моему, ты неправ, — упрямо возразил Майкл. — Мне кажется, этого не случится. Все будет иначе.

— Как же именно?

— Не знаю. — Майкл чувствовал, что выглядит глупо в глазах мисс Фримэнтл и, хотя ему было досадно, он продолжал упрямо стоять на своем. — Как-нибудь.

— Вот она, мистическая вера в то, что папочка позаботится обо всем и не пустит буку в детскую! — насмешливо заметил Джонсон.

— Прошу вас, не нужно! — вмешалась Лаура. — Неужели мы должны все время говорить об одном и том же? Кажется, мы собирались сыграть в бадминтон? Мисс Фримэнтл, вы играете в бадминтон?

— Играю, — ответила Маргарет, и Майкл механически отметил, что у нее низкий, чуть хрипловатый голос.

— И когда только народы наконец проснутся? — с чувством воскликнул Джонсон. — Когда они наберутся мужества взглянуть в лицо суровой действительности? Сколько поработанных стран ждут освобождения! Эфиопия, Китай, Испания, Австрия, Чехословакия, Польша...

«О, как печально звучат эти названия, — подумал Майкл. — Их так часто упоминают, что они уже почти перестали волновать».

— Мировая буржуазия решила укрепить свою мощь, — продолжал Джонсон, и Майкл вспомнил все прочитанные на эту тему брошюры, — и вот как это делается. Несколько выстрелов из пушек, чтобы одурачить народ, несколько патриотических речей одряхлевших генералов, а затем —

сделка подписана, скреплена печатями и вступила в силу.

«А ведь он, пожалуй, прав,— устало подумал Майкл.— Может быть, все, что он говорит, в какой-то мере соответствует действительности. И все же только самоубийца может себе позволить верить этому. Чтобы продолжать жить, нужно быть хоть чуточку легковверным». Но все равно было как-то неприятно слушать Джонсона, с важным видом изрекающего эти истины своим хорошо натренированным салонным голосом — такие голоса часто можно слышать на театральных премьерах, в дорогих ресторанах и на интимных вечерах. «Интересно, где теперь тот пьяный ирландец, что был на встрече Нового года, этот Пэрриш? Вероятно, и он повторил бы многое из того, что говорит Джонсон. В конце концов, утверждения Джонсона более или менее совпадают с партийной линией, но у Пэрриша все это звучало убедительнее. Наверное, он убит и скалит сейчас зубы где-нибудь на берегу Эбро... Во всяком случае,— злорадно подумал Майкл, взглянув на шоколадные спортивные брюки и ярко-желтую тенниску Джонсона,— во всяком случае, уж ты-то не станешь подставлять себя под пули! Можно в этом не сомневаться».

— Послушайте,— сказала Лаура,— мне страшно хочется сыграть в бадминтон. Дорогой мой,— она прикоснулась к руке Майкла,— шесты, сетка и принадлежности для игры на задней веранде.

Майкл вздохнул и тяжело поднялся с земли. Лаура все же, видимо, права: сегодня уж лучше играть в бадминтон, чем разговаривать.

— Я помогу вам,— проговорила мисс Фримэнтл, вставая и направляясь вслед за Майклом.

— Джонсон...— Майкл не удержался, чтобы не задеть Джонсона,— а тебе не приходило в голову, что ты можешь ошибиться?

— Конечно, могу,— с достоинством ответил Джонсон.— Но в данном случае я прав.

— Но должна ведь оставаться хоть маленькая надежда? Джонсон засмеялся.

— Откуда ты черпаешь надежду в эти дни? — поинтересовался он.— Может, поделишься?

— Пожалуйста.

— На что же ты надеешься?

— Я надеюсь,— ответил Майкл,— что Америка примет участие в войне и...— Он заметил, что обе француженки пристально смотрят на него, с нетерпением ожидая его ответа.

— Ракетки лежат в том зеленом деревянном ящике, Майкл...— нервно сказала Лаура.

— Ты хочешь, чтобы и американцы участвовали в этой афере и расплачивались за нее своими жизнями? — иронически осведомился Джонсон.— Так, что ли?

— Если это необходимо, то да.

— Ну, это уже нечто новое для тебя. Да ты, оказывается, поджигатель войны!

— Я только сейчас, сию минуту впервые подумал об этом,— холодно заметил Майкл, стоя над сидящим на траве Джонсоном.

— Понимаю. Ты читаешь «Нью-Йорк таймс» и горишь желанием спасти цивилизацию, как мы ее понимаем, и все такое прочее.

— Да, я горю желанием спасти цивилизацию, как мы ее понимаем, и все такое прочее.

— Да хватит же! — умоляющим тоном сказала Майклу Лаура.— Не будь таким скверным!

— Уж если тебе так не терпится,— заявил Джонсон,— почему бы не поехать в Англию и не вступить в британскую армию? Чего ты ждешь?

— Может быть, я и поеду. Может быть.

— О, нет, нет!

Майкл удивленно повернулся. Это сказала мисс Фримэнтл. Теперь она стояла, закрыв рот рукой, словно восклицание вырвалось у нее помимо воли.

— Вы хотели что-то сказать? — спросил Майкл.

— Я... Мне не следовало бы... Я не хотела вмешиваться,— с жаром заговорила девушка.— Но не надо все время твердить, что мы должны воевать.

«Коммунистка! — с огорчением решил Майкл.— Видимо, Джонсон познакомился с ней где-нибудь на собрании. А такая хорошенькая — никогда бы не подумал».

— Я полагаю,— заявил Майкл,— что если Россия окажется втянутой в войну, вы измените свое мнение?

— Нет,— ответила Маргарет.— Все равно нет.

«Я опять ошибся,— огорчился Майкл.— Придется впредь воздерживаться от столь поспешных выводов».

— Война никому не приносит пользы,— нерешительно продолжала девушка,— и никогда не приносила. Молодежь отправляется на войну и гибнет. Все мои друзья и родственники... Возможно, я эгоистка, но... терпеть не могу, когда люди рассуждают подобно вам. Я жила в Европе, там люди рассуждали точно так же. Сейчас, вероятно, многие парни, которых я знала тогда, с которыми танцевала, ката-

лась на лыжах... Они, может быть, уже погибли. Ради чего? Они без конца болтали и в конце концов договорились до того, что им уже не оставалось ничего другого, как только начать убивать друг друга... Простите меня,— очень серьезно попросила она.— Я не собиралась произносить такую речь. Вероятно, это просто глупый, чисто женский подход к тому, что происходит в мире...

— Мисс Буллар,— обратился Майкл к французенкам,— а какую позицию занимаете вы как женщины?

— Майкл! — в крайнем раздражении воскликнула Лаура.

— Наша позиция...— сдержанно и вежливо ответила младшая сестра,— ...боюсь, мы не в состоянии позволить себе такую роскошь, как выбор определенной позиции.

— Майкл,— сказала Лаура,— ради бога, сходи же за принадлежностями для игры!

— Иду.— Майкл кивнул головой.

— Рой,— обратилась Лаура к Джонсону,— ты тоже замолчи.

— Слушаюсь, мэм,— с улыбкой ответил Джонсон.— Рассказать тебе самую свеженькую сплетню?

— Жду не дождусь,— насмешливо ответила Лаура, переходя на деланно оживленный салонный тон. Майкл и мисс Фримэнтл направились к задней веранде.

— У Дездемоны появился новый любовник,— сообщил Джонсон.— Высокий блондин с каким-то особенным выражением лица, киноартист по фамилии Морен.— Услышав эту фамилию, Майкл остановился, и мисс Фримэнтл чуть не натолкнулась на него.— По ее словам, она подцепила его в картинной галерее... Ты, кажется, снималась с ним в прошлом году, Лаура?

Майкл испытующе взглянул на жену, пытаясь уловить хоть тень смущения на ее лице, когда заговорили о Морене, но ничего не заметил.

— Да. Довольно обещающий и совсем не глупый артист,— спокойно ответила Лаура.— Правда, несколько поверхностный.

«Не поймешь этих женщин,— удивился Майкл.— С помощью лжи они, не моргнув глазом, проберутся даже в рай».

— Кстати, Морен скоро приедет,— добавил Джонсон.— Он здесь неподалеку, участвует в премьеры летнего театра, и я пригласил его сюда. Надеюсь, ты не возражаешь?

— Конечно, нет,— ответила Лаура. Продолжая пристально наблюдать за женой, Майкл заметил, что по ее лицу пробежала легкая тень. Потом она отвернулась, и больше он ничего не мог видеть.

«Вот она, семейная жизнь!» — поморщился Майкл.

— Мистер Джон Морен? — сразу оживилась младшая мисс Буллар. — Я так рада! По-моему, он чудесный артист и выглядит всегда таким мужественным! А ведь это очень важно для актера.

— Я слышал, — кисло заметил Майкл, — что он неравнодушен к мальчикам. «Ох уж эти женщины! — усмехнулся он про себя. — Ведь она только что готова была разрыдаться при мысли о том, что гибнет её родина, потерпевшая самое позорное за всю свою историю поражение. И вот она уже млеет от восторга в ожидании приезда красивого, пуголового киноартиста. — «Такой мужественный!»

— Ну уж в этом его никак не заподозришь, — вмешался Джонсон. — Я каждый раз встречаю его с новой девушкой.

— А может, Морен из числа тех, о ком говорят «ласковый теленок двух маток сосет», — продолжал упорствовать Майкл. — Спросите у моей жены. — Он уставился на Лауру, пристально следя за выражением ее лица. Майкл понимал, что он смешон, но не мог заставить себя оторвать от нее глаза. — Они вместе работали.

— Я не знаю, — небрежно ответила Лаура. — Морен — воспитанник Гарвардского университета.

— Я спрошу у него, когда он придет, — заявил Майкл. — Пойдемте, мисс Фримэнтл, не то моя женушка снова вцепится в меня. Нам с вами предстоит потрудиться.

Майкл и мисс Фримэнтл бок о бок направились к веранде в противоположном конце дома. От девушки исходил несильный, приятный аромат духов, она двигалась легко, с естественной грацией, и Майкл сразу почувствовал, как она молода.

— Когда вы были в Европе? — спросил он. Вообще-то говоря, его это несколько не интересовало — просто хотелось услышать ее голос.

— Год назад. Немножко больше года.

— Ну и как там?

— Чудесно... и страшно. Не в наших силах помочь им, что бы мы ни делали.

— Вы согласны с Джонсоном? — спросил Майкл.

— Нет. Джонсон лишь повторяет то, что ему велят говорить. У него в голове нет ни одной своей мысли.

Майкл злорадно улыбнулся.

— Джонсон — очень милый человек, — чуть торопливо, извиняющимся тоном заговорила мисс Фримэнтл. («Пребывание в Европе пошло ей на пользу, — отметил Майкл, —

говорит она куда приятнее, чем большинство американок».) — Порядочный и благородный человек, с самыми хорошими намерениями... Однако все кажется ему слишком уж простым. Но когда побываешь в Европе, поймешь, что на самом деле все далеко не так просто. Европа напоминает мне человека, страдающего одновременно двумя болезнями. Лекарство, которое помогает ему от одной болезни, обостряет другую.— Девушка говорила как-то нерешительно, словно чего-то стеснялась.— Джонсон полагает, что если пациенту прописать свежий воздух, детские ясли и сильные профсоюзы, то больной сам по себе поправится... Джонсон утверждает, что у меня путаные взгляды.

— Вообще-то говоря, все, кто не соглашается с коммунистами,— это люди с путаными взглядами,— сказал Майкл.— Коммунисты сильны именно величайшей убежденностью в своей правоте. Они всегда знают, чего добиваются. Коммунисты, быть может, неправы, но они, по крайней мере, не болтают, а действуют.

— Ну, я не могу назвать себя сторонницей решительных действий. Я видела кое-какие действия в Австрии.

— Вы рождены не для такого времени, мадам,— заметил Майкл.— И вы и я.

Они поднялись на веранду. Мисс Фримэнгл взяла сетку и ракетки, Майкл положил на плечо шесты, и они не спеша отправились обратно. Наедине с Маргарет в этой тенистой части дома, укрытой от остального мира шелестящей листвой высоких кленов, Майкл внезапно ощутил какое-то неясное чувство близости с девушкой.

— А вы знаете,— с серьезным видом сказал он,— у меня возникла мысль создать новую политическую партию, способную исцелить мир от всех страданий.

— Сгораю от нетерпения услышать подробности,— в тон ему ответила девушка.

— Это будет партия абсолютной правды,— продолжал Майкл.— Всякий раз, как только возникнет вопрос... любой вопрос: Мюнхен... что делать с детьми, не умеющими владеть правой рукой... свобода Мадагаскара... цена театральных билетов в Нью-Йорке...— во всех этих случаях лидеры партии будут говорить именно то, что они думают. Не так, как сейчас, когда у каждого на языке одно, а на уме совсем другое.

— В этой партии уже много членов?

— Один. Я.

— Пусть теперь будет два.

— Вступаете?

— Да, если можно,— с улыбкой ответила Маргарет.

— Очень рад. По-вашему, партия окажется жизнеспособной?

— Конечно, нет.

— И я так думаю. Пожалуй, года два еще придется подождать.

Они уже подходили к углу дома, и Майкл с отвращением подумал, что снова придется торчать среди всех этих людей, вести вежливые разговоры и расстаться с девушкой.

— Маргарет...— заговорил он.

— Да? — она остановилась и взглянула на него.

«Она знает, что я хочу сказать,— мелькнуло у Майкла.— Ну и хорошо».

— Маргарет, могу я встретиться с вами в Нью-Йорке?

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «А у нее нос в веснушках»,— подумал он.

— Да.

— Пока я больше ничего не скажу,— тихо проговорил Майкл.

— Мой адрес и номер телефона вы можете найти в телефонном справочнике,— добавила девушка.

Она повернулась и, по-прежнему держась прямо и непринужденно, свернула за угол дома; под пышной юбкой мелькали ее стройные загорелые ноги. Майкл постоял минуту, пытаясь придать своему лицу равнодушное выражение, а затем прошел в сад вслед за Маргарет.

Здесь уже были новые гости — Тони, Морен и девушка в красных брюках и соломенной шляпе с огромными полями.

На высоком, худом Морене была темно-синяя рубашка с открытым воротом. Он сильно загорел; мальчишеская прядь волос упала ему на глаза, когда он, улыбаясь, пожимал руку Майкла.

«Черт возьми! Но почему я не могу держаться, как Морен? — уныло спросил себя Майкл, чувствуя, как твердо, по-мужски тот пожал ему руку.— Да ведь он артист!»

— Я помню, мы встречались раньше,— услышал он свои слова.— Под Новый год, в ту ночь, когда Арни собирался выпрыгнуть в окно.

Тони показался ему каким-то странным. Когда Майкл представил его мисс Фримэнтл, он лишь слабо улыбнулся и сел, скорчившись, словно страдал от какой-то боли. Он был бледен и чем-то встревожен, гладкие черные волосы в беспорядке упали на его высокий лоб. Тони преподавал французскую литературу в университете. Он был итальян-

цем, но его аскетическое лицо было не так смугло, как у большинства его соотечественников. Майкл учился вместе с ним в школе и очень привязался к нему. Тони всегда говорил робко и тихо, как говорят в библиотеке, и изъяснялся очень правильным, книжным языком. Он был в дружеских отношениях с обеими сестрами Буллар, раза два-три в неделю пил у них чай, но сегодня они даже не взглянули друг на друга.

Майкл занялся установкой шестов. Вкапывая первый шест, он услышал, как девица в красных брюках высоким, наигранным голосом говорила:

— Но какая там отвратительная гостиница! На весь этаж только одна ванная комната, на постелях чуть не голые доски, прикрытые нелепым кретоном, а в досках — целые полчища клопов. А цены!

Майкл взглянул на Маргарет и насмешливо покачал головой. Девушка быстро улыбнулась ему и тут же опустила глаза. Майкл бросил взгляд на Лауру. Увидев, что она неотрывно наблюдает за ним, он с удивлением подумал: «И как только она ухитряется все замечать? Такой талант заслуживает более достойного применения!»

— Ты же неправильно ставишь шест! — крикнула Лаура. — Дерево будет мешать.

— Помолчи, пожалуйста! — попросил Майкл. — Я знаю, что делаю.

— А я тебе говорю, неправильно, — упрямо повторила Лаура.

Майкл пропустил ее слова мимо ушей, продолжая возиться с шестом.

Внезапно обе мисс Буллар поднялись и одинаковыми движениями стали деловито натягивать перчатки.

— Мы прекрасно провели время, — сказала младшая. — Большое спасибо. Мы сожалеем, но вынуждены покинуть вас.

Майкл так и застыл с шестом в руках.

— Но ведь вы только что пришли! — изумленно воскликнул он.

— К несчастью, у моей сестры страшно разболелась голова, — сухо пояснила младшая мисс Буллар.

Сестры начали обходить гостей и прощаться. Но Тони они не подали руки. Не удостоив его взглядом, они прошли мимо, словно его тут и не было. Тони посмотрел на них растерянным и вместе с тем понимающим взглядом.

— Ничего, ничего, — сказал он, поднимая с травы свою старомодную соломенную шляпу. — Вы можете оставаться — уйду я.

Наступило напряженное молчание. Все старались не смотреть на Тони и французенок.

— Нам было так приятно встретиться с вами,— холодно сказала Морену младшая мисс Буллар.— Мы всегда восхищаемся вашими фильмами.

— Благодарю вас,— с очаровательной юношеской улыбкой ответил Морен.— Это очень мило с вашей...

«Ну и артист!» — снова подумал Майкл.

— Да перестаньте же! — побелев, крикнул Тони.— Элен, ради бога перестаньте!

— Провожать нас не нужно,— продолжала мисс Буллар.— Мы знаем дорогу через сад.

— Я должен объяснить,— дрожащим голосом заговорил Тони.— Так нельзя обращаться с друзьями.— Он повернулся к Майклу, со смущенным видом стоявшему около шеста, на который натягивают сетку для бадминтона.— Это же уму непостижимо. Женщины, которых я знаю десять лет. Женщины, которых до сих пор все считали благоразумными и интеллигентными...— Сестры повернулись к Тони и встали перед ним. На их лицах застыло выражение презрения и ненависти.— Это все война, проклятая война! — продолжал Тони.— Элен, Рашель! Но я-то здесь при чем? Поймите же, что не я вхожу в Париж, не я убиваю французов. Я американец, я люблю Францию и ненавижу Муссолини. Я ваш друг!

— Мы не желаем разговаривать ни с вами, ни вообще с кем-либо из итальянцев,— отрезала младшая мисс Буллар. Она взяла сестру под руку, и обе — такие элегантные, в перчатках, в летних шляпках и в шуршащих платьях из жесткого черного материала — отвесив легкий поклон остальным, направились к воротам в конце сада.

На большом дереве шагах в пятидесяти отчаянно шумели вороны. Их пронзительное, резкое карканье неприятно резало слух.

— Пошли, Тони,— предложил Майкл.— Я дам тебе чего-нибудь выпить.

Не говоря ни слова, сжав губы, Тони направился вслед за Майклом. Он все еще крепко держал в руке свою соломенную шляпу с яркой лентой.

Майкл налил два бокала виски и молча подал один из них Тони. Разговор в саду возобновился, и сквозь карканье ворон Майкл расслышал, как Морен с искренним восхищением заметил: «Какой чудесный типаж! Они словно из французского фильма двадцать пятого года!»

Задумчивый и печальный, по-прежнему не выпуская

из руки свою жесткую старомодную шляпу, Тони медленно тянул виски. Майклу захотелось подойти и обнять его, как обнимали друг друга братья Тони, когда у них случались какие-нибудь неприятности. Но Майкл не мог заставить себя сделать это. Он включил радио и, пока прогревались лампы неприятно потрескивавшего приемника, отпил большой глоток виски.

— «И у вас тоже могут быть очаровательные белоснежные ручки»,— слышался бархатный, вкрадчивый голос диктора. Но вот в приемнике что-то щелкнуло, и другой голос, хрипловатый и чуть дребезжащий, заговорил: «Мы только что получили следующее сообщение: официально объявлено, что немцы, не встретив сопротивления, вошли в Париж. Разрушений в городе нет. Ждите дальнейших сообщений на этой же волне».

Раздались мощные, почти лишенные мелодичности звуки так называемой «легкой классической музыки», исполнявшейся на органе.

Тони опустил на стул и поставил бокал. Майкл не отрываясь смотрел на приемник. Он никогда не был в Париже — у него вечно не хватало то времени, то денег для поездки за границу. Однако, посматривая на сотрясающийся от раскатов органной музыки маленький фанерный ящик, он представил себе, как выглядит Париж в этот полдень. Известные всему миру широкие, залитые солнцем улицы; безлюдные в эти тревожные часы кафе; сверкающие крикливые памятники — свидетельство былых побед и колонны немецких солдат, сбивающих шаг,— грохот их кованых сапог отражается от домов с опущенными жалюзи окон.

«А может быть, все выглядит вовсе не так,— рассуждал про себя Майкл.— Как это ни нелепо, но почему-то немецких солдат невозможно представить себе вдвоем или троим. Их всегда представляешь в виде марширующих, как на параде, ровных фаланг, похожих на неведомых прямоугольных животных. А может быть, они трусливо, с оружием наготове, крадутся по улицам, заглядывают в закрытые окна и от каждого шума припадают к земле.»

«Черт возьми! — с горечью подумал Майкл.— Почему я не поехал в Париж, когда имел возможность?.. Кстати, когда это было — летом тридцать шестого года или прошлой весной? Все откладывал и откладывал, и вот что получилось!»

Майкл вспомнил прочитанные когда-то книги о Париже: двадцатые годы, бурный, полный драматических событий конец первой мировой войны, обездоленные, но все еще

бодрящиеся и по-прежнему остроумные эмигранты, красивые девушки, ловкие и циничные молодые люди с рюмкой перно в одной руке и аккредитивом на американский банк в другой... Сейчас все это смято гусеницами немецких танков, а он так и не увидел Парижа и, вероятно, никогда не увидит.

Он взглянул на Тони. Тот сидел, вскинув голову, с глазами, полными слез. Тони прожил в Париже два года и не раз рисовал Майклу, как они вместе проведут отпуск: кафе, пляж на Марне, ресторанчик, где на чисто выскобленных деревянных столах всегда стоят графины с превосходным легким вином...

Майкл почувствовал, что и у него к глазам подступают слезы, но огромным усилием воли сдержал себя. «Сентиментально, — подумал он. — Дешево, несерьезно и сентиментально. Ведь я никогда там не был. Для меня это лишь один из многих городов, и все».

— Майкл! — это был голос Лауры. — Майкл! — нетерпеливо повторила она.

Майкл допил до конца бокал, взглянул на Тони, хотел что-то сказать, но передумал и нехотя направился в сад. Джонсон, Морен, девушка, с которой он приехал, и мисс Фримэнтл сидели насупившись. По всему было видно, что разговор у них не клеился. Майкл пожалел, что они всё еще не разошлись по домам.

— Дорогой Майкл, — Лаура подошла к нему и с приторной нежностью взяла его за руки. — Сыграем мы в этом году в бадминтон или нам придется ждать до скончания века? — И тут же чуть слышно со злостью прошипела: — Давай же! Будь повежливее. У тебя ведь гости. Не перекладывай все на мои плечи.

Майкл не успел ответить — она отвернулась и заулыбалась Джонсону.

Майкл медленно подошел к валявшемуся на траве шесту.

— Не знаю, — сказал он, — представляет ли это интерес для кого-нибудь из вас, но только что пал Париж.

— Не может быть! — воскликнул Морен. — Невероятно!

Мисс Фримэнтл промолчала, но Майкл заметил, что она сжала кулаки и уставилась на них.

— Это было неизбежно, — мрачно отозвался Джонсон. — Все понимали, что это неизбежно.

Майкл поднял шест и попытался воткнуть его заостренным концом в землю.

— Не там, не там! — пронзительным, злым голосом закричала Лаура. — Сколько раз я должна повторять тебе, что тут нельзя ставить сетку!

Она подбежала к Майклу,хватила у него шест и с силой ударила мужа ракеткой по руке. Майкл с бессмысленным видом взглянул на жену, по-прежнему стоя с вытянутыми руками, словно все еще держал шест. «Да она плачет! — удивился он.— Почему она плачет, черт ее возьми?»

— Вот здесь! Вот тут нужно ставить сетку! — истерически кричала Лаура, возбужденно тыкая в землю шестом.

Майкл не торопясь подошел к Лауре и вырвал у нее шест. Он не знал, зачем делает это. Он только чувствовал, что не в состоянии слушать истошный крик жены и видеть, как она тычет шестом в траву.

— Я сам все сделаю,— машинально сказал он.— А ты помолчи!

Лаура взглянула на него. Ее хорошенькое личико искажала гримаса ненависти. Она размахнулась и швырнула ракетку в голову Майкла. Он мрачно смотрел, как блестящая ракетка, описывая дугу на фоне деревьев и зеленой изгороди в конце сада, летела в него, и ему показалось, что ее полет продолжается бесконечно долго. Затем он услышал тупой удар и лишь после того, как ракетка упала к его ногам, понял, что она попала ему в лоб над правым глазом. Ему стало больно, и он почувствовал, как со лба потекла кровь, на мгновение задержалась над бровью, а затем, теплая и мутная, начала заливать глаз. Плачущая Лаура стояла все на том же месте, с искаженным злобой и ненавистью лицом, и пристально глядела на Майкла.

Майкл осторожно положил шест на траву, повернулся и пошел в дом. По пути ему встретился Тони, но они ничего не сказали друг другу.

Майкл прошел в гостиную. По радио передавали все ту же органную музыку. Он привалился грудью к каминной доске и посмотрел на свое отражение в маленьком выпуклом зеркале в массивной позолоченной раме. В зеркале он увидел свое искаженное изображение: чужое лицо с очень длинным носом, с узким лбом и подбородком. Красная царапина над глазом казалась маленькой и почти незаметной. Затем Майкл услышал, как позади открылась дверь и в комнату вошла Лаура. Она подошла к приемнику и выключила его.

— Ты же знаешь, я не переносу органную музыку,— сказала она злым, дрожащим голосом.

Майкл повернулся к ней. На Лауре была бледно-оранжевая с белым ситцевая юбка. Между фигаро и юбкой виднелась гладкая загорелая кожа. В своем модном летнем наряде она казалась очень красивой и изящной и напоми-

нала картинку из журнала мод, рекламирующую платье для девушек. Однако злое, упрямое, неприятное выражение лица со следами слез на нем сводило это впечатление на нет.

— Конец! — сказал Майкл. — Между нами все кончено, надеюсь, ты понимаешь.

— Очень хорошо. Замечательно! Ничего более приятного ты не мог мне сообщить!

— Коль скоро мы начали такой разговор, — продолжал Майкл, — позволю сказать, что я почти не сомневаюсь в характере твоих отношений с Мореном. Я наблюдал за тобой.

— Да? Ну что ж, я рада, что ты знаешь. Можешь не ломать себе голову. Ты абсолютно прав в своих догадках. Еще что?

— Ничего. Я уезжаю пятичасовым поездом.

— И пожалуйста, не изображай из себя святошу! Я тоже кое-что знаю о тебе. Уж эти мне письма о том, как ты скучал без меня в Нью-Йорке! Ни черта ты не скучал. Если бы ты знал, как мне было противно, возвратившись в Нью-Йорк, ловить на себе жалостливые взгляды всех этих женщин. А когда ты договорился встретиться с мисс Фримэнтл? Во вторник за ленчем? Может, мне пойти к ней и сказать, что твои планы изменились и ты можешь встретиться с ней хоть завтра?.. — Лаура говорила торопливо, пронзительным голосом, а ее лицо с тонкими детскими чертами выражало страдание и гнев.

— Довольно! — остановил ее Майкл, чувствуя себя виноватым и потерянным. — Я не хочу больше ничего слышать.

— У тебя еще есть вопросы? — крикнула Лаура. — Ты больше ни о ком не хочешь меня спросить? Ты больше никого не подозреваешь? Может быть, мне составить список для тебя?

Лаура разрыдалась и упала на кушетку. «Слишком уж грациозно, — холодно отметил Майкл. — Прямо, инженерю». Вздрагивая от рыданий, Лаура уткнулась в подушку. Ее красивые волосы веером рассыпались вокруг головы. В этой позе она была похожа на капризного ребенка и казалась исстрадавшейся и измученной. У Майкла вдруг возникло непреодолимое желание подойти к ней, сжать ее в объятиях и утешить, мягко приговаривая: «Детка! Ну, полно, детка!»

Но Майкл сдержался. Он отвернулся и вышел в сад. Гости деликатно отошли подальше от дома, в другой конец сада. На темном фоне густой зелени яркими пятнами

выделялись их костюмы. Им явно было не по себе. Майкл подошел к ним, потирая рукой царапину над глазом.

— Бадминтон на сегодня отменяется,— объявил он.— По-моему, вам лучше уйти. Прием в саду под жгучим летним солнцем Пенсильвании не удался.

— А мы и так расходимся,— сухо ответил Джонсон.

Майкл ни с кем не стал прощаться. Он словно застыл на своем месте и молча смотрел куда-то в сторону, скорее угадывая, чем замечая, как мимо него один за другим проплывают неясные силуэты гостей. Поравнявшись с Майклом, мисс Фримэнгл бросила на него мимолетный взгляд и быстро опустила глаза. Майкл промолчал. Вскоре он услышал, как за гостями закрылись ворота.

Стоя на ярко-зеленой траве, Майкл чувствовал, что царапина над глазом начинает подсыхать на солнце. Вороны над его головой снова подняли оглушительный шум, и Майкл вдруг возненавидел их до глубины души. Он подошел к изгороди, тщательно выбрал несколько гладких, тяжелых камней и, разогнувшись, прищуренными глазами взглянул на дерево. На одной из веток среди листвы он заметил трех черных птиц и запустил в них камнем, подумав при этом, какая у него гибкая и сильная рука. Камень со свистом пронесся сквозь листву, и Майкл тут же швырнул второй камень, за ним третий. Вороны с тревожным карканьем взвились вверх и потянулись прочь, громко хлопая крыльями. Обозленный Майкл пустил им вдогонку еще один камень. Птицы скрылись в лесу, и в сонном, залитом лучами летнего полуденного солнца саду наступило молчание.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ной нервничал. Впервые в жизни он устраивал вечеринку и сейчас усиленно пытался припомнить, как выглядели вечеринки в кинокартинах и как их описывали в журналах и книгах, которые он когда-то читал. Он уже дважды побывал в кухне, чтобы проверить, не тают ли три дюжины кубиков льда, которые они с Роджером заранее купили в аптеке. Он все время посматривал на часы, надеясь, что Роджер со своей девушкой придет из Бруклина раньше, чем начнут собираться гости. Ной опасался, что как раз в тот момент, когда от него потребуется особое самообладание и непринужденность, он непременно допустит какую-нибудь ужасную неловкость.

Он жил в Нью-Йорке, на Риверсайд-Драйв, недалеко от

Колумбийского университета, в одной комнате с Роджером Кэнноном. Это была большая комната с камином (который, правда, не топился), а из окна ванной, если немножко высунуться, можно было увидеть Гудзон.

После смерти отца Ной некоторое время бесцельно скитался по стране. Ему всегда хотелось посмотреть Нью-Йорк. На всей земле не было такого места, где бы его что-то могло удержать. Здесь же через два дня после приезда он уже нашел работу, а за тем в городской библиотеке на Пятой авеню встретил Роджера.

Сейчас Ной с трудом мог поверить, что было время, когда он не знал Роджера и целыми днями бродил по улицам, не обменявшись ни с кем ни единым словом, когда у него не было друга, когда ни одна женщина не останавливалась на нем взгляд, когда все улицы были ему чужими и часы тянулись, монотонные и серые.

Ной вспомнил, как он задумчиво стоял перед библиотечными шкафами, всматриваясь в ряды книг в тусклых переплетах. Протянув руку за книгой Йитса, он нечаянно толкнул стоявшего рядом человека и извинился. Они разговорились и вместе вышли под дождь на улицу, продолжая начатый разговор. По предложению Роджера они зашли в бар на Шестой авеню, выпили по две бутылки пива и, прежде чем расстаться, договорились пообедать вместе на следующий день.

У Ноя никогда не было настоящих друзей. В годы своего сумбурного бродячего детства, живя по несколько месяцев то тут, то там среди неинтересных, малознакомых людей, которых он потом никогда больше не встречал, Ной ни к кому не мог привязаться. Угрюмый, замкнутый характер Ноя укреплял существовавшее о нем мнение, как о скучном, необщительном ребенке, с которым невозможно найти общий язык. Роджер был старше Ноя лет на пять. Высокий, худой, с редкими, коротко подстриженными черными волосами, он обладал той самоуверенной и небрежной манерой держаться, присущей молодым людям, обучавшимся в лучших колледжах, которая всегда вызывала зависть Ноя. Но ни в каком колледже Роджер не учился: он, казалось, от рождения принадлежал к тем, кого природа наделила поистине непоколебимой самоуверенностью. Он посматривал на весь мир с холодной насмешливой снисходительностью, и теперь Ной делал отчаянные попытки превзойти его в этом.

Ной и сам не понимал, чем он понравился Роджеру. Возможно, истинная причина заключалась в том, думал

Ной, что Роджер увидел, как он одинок в этом городе — такой робкий, нерешительный, неуклюжий, в потрепанном костюме, — увидел и пожалел. После нескольких встреч за выпивкой в отвратительных, но, видимо, милых сердцу Роджера барах или за обедом в дешевых итальянских рестораничках Роджер, по своему обыкновению, тихо, но довольно бесцеремонно спросил:

— Тебе нравится твое жилье?

— Не очень, — честно признался Ной. Он жил в мебелированных комнатах на 28-й улице в отвратительном подвале, кишасщем клопами, с вечно мокрыми стенами и вечно гудящими канализационными трубами над головой.

— У меня большая комната с двумя кроватями, — заметил Роджер. — Переезжай, только учти: иногда среди ночи я играю на пианино.

Благодарный и изумленный тем, что в огромном, многолюдном городе нашелся человек, считающий небесполезным завязать с ним дружбу, Ной переехал в большую, запущенную комнату в доме около реки. Он видел в Роджере того сказочного друга, которого выдумывают одинокие дети в долгие бессонные ночи. Роджер держался непринужденно, мягко и учтиво. Он никогда ничего не требовал, но, видимо, получал какое-то удовольствие, принимаясь время от времени не назойливо, но с грубоватой прямоотой поучать Ноя. Беседуя с ним, он то и дело перескакивая с одной темы на другую, говорил о книгах, музыке, о политике и о женщинах.

Роджер говорил медленно, с резким акцентом, который сразу выдавал в нем уроженца Новой Англии. И все же славные названия очаровательных древних городов Франции и Италии, в которых ему удалось побывать, звучали у него вполне понятно и даже как-то интимно. Он едко иронизировал над Британской империей и американской демократией, над современной поэзией и балетом, над кинофильмами и войной. Казалось, он ни к чему не стремился в жизни и ничего не добивался. Время от времени он работал, не очень, однако, утруждая себя, в какой-то рекламной фирме. Деньги его особенно не интересовали, к девушкам он не привязывался и переходил от одной к другой без трагических переживаний. Одевался Роджер небрежно, но довольно элегантно, а на губах его постоянно играла кривая, сдержанная усмешка. В общем, это был редкий в современной Америке тип человека, всецело принадлежащего самому себе.

Роджер и Ной гуляли по набережной и по университет-

скому городку. Через своих друзей Роджер подыскал Ною хорошую работу: заведовать спортивной площадкой многоквартирного дома в Ист-Сайде. Ной зарабатывал тридцать шесть долларов в неделю — больше, чем когда-либо раньше. Часто Роджер и Ной до изнеможения бродили вечерами по безлюдным улицам. Ной устало плелся рядом с Роджером, поглядывал на другой берег реки, где смутно виднелись холмы Джерси, на мигающие внизу огоньки пароходов и, как соглядатай, подсматривающий сквозь щель в ничего не подозревающей, ослепительный мир, жадно и восторженно слушал Роджера.

— Около Антиба,— рассказывал Роджер,— можно было видеть священника-расстригу. Он сидел в кафе на холме, переводил Бодлера и выпивал каждый день по кварте виски...

Говорил он и о женщинах:

— Беда американок заключается в том, что они либо обязательно хотят играть в семье первую роль, либо вообще отказываются выходить замуж. Это объясняется тем, что в Америке придают слишком большое значение целомудрию. Если американка делает вид, что верна мужу, она считает, что имеет право держать его под башмаком. В Европе все гораздо проще. Там все понимают, что целомудренных людей нет, и потому проявляют больше терпимости. Неверность — это что-то вроде твердой валюты во взаимоотношениях между полами. Существует твердый курс обмена, и, отправляясь за покупкой, ты уже знаешь, во что она обойдется. Лично мне нравятся покорные женщины. Все мои знакомые девушки утверждают, что у меня феодальный взгляд на женщин. Возможно, что они правы, но пусть уж лучше женщина покоряется мне, чем я буду покоряться женщине. Другого выбора нет. Но я не спешу и в конце концов найду себе подружку по вкусу...

Шагая рядом с Роджером, Ной думал, что лучшей жизни ему и желать нечего. В самом деле, он молод, на улицах Нью-Йорка он чувствует себя как дома, у него интересная работа и тридцать шесть долларов в неделю; он живет в забитой книгами комнате, можно сказать с видом на реку, у него такой вежливый, умный, обладающий столь универсальными познаниями друг. Единственно, чего Ною не хватало, это подружки. Но Роджер решил восполнить и этот пробел. Именно потому они и устраивали сегодня вечеринку.

Немало было смеху, когда однажды вечером в поисках подходящей для Ноя кандидатуры Роджер рылся в своих старых записных книжках. Сегодня к ним должны были

прийти шесть его приятельниц, не считая девушки, которую Роджер обещал привести сам. Конечно, на вечеринке будут и другие молодые люди, но Роджер умышленно выбрал среди своих друзей или совсем уж смешных или тугодумов, так что Ной мог не опасаться слишком сильной конкуренции.

Окидывая взглядом теплую, ярко освещенную комнату, цветы в вазах, гравюру Брака на стене, бутылки и бокалы, сверкающие совсем как в настоящей аристократической гостиной, Ной, хотя по временам у него и замирало сердце, испытывал радостную уверенность, что сегодня, наконец, он встретит свою девушку.

Ной улыбнулся, услышав, как повертывается ключ в замке: теперь он избавлен от мучительной необходимости одному встречать первых гостей. С Роджером была девушка. Ной помог ей снять пальто и повесил его на вешалку, причем все обошлось благополучно: он не споткнулся и не вывихнул девушке руку. Он усмехнулся про себя, когда девушка сказала Роджеру:

— Какая у вас милая комната! Судя по всему, сюда уже лет двести не заглядывала женщина.

Ной прошел из прихожей в комнату, Роджер вышел в кухню за льдом, а девушка, стоя спиной к Ною, рассматривала висевшую на стене картину. Из кухни доносилось негромкое пение Роджера: он все время повторял одни и те же слова песенки:

Веселиться и любить ты умеешь,
Любишь леденцами угощать.
Ну, а деньги ты, дружок, имеешь?
Это все, что я хочу узнать.

На девушке было темно-фиолетовое платье из блестящего материала с пышной юбкой. Она стояла у камина — спокойная и уверенная — и, видимо, чувствовала себя как дома. У нее были красивые, хотя и несколько полные, ноги и тонкая, гибкая талия. Волосы были стянуты на затылке в тугий узел, как у хорошенькой учительницы из кинофильма. Присутствие девушки и несуразная, наивная песенка друга, доносившаяся из кухни, где Роджер пересыпал в вазу кубики льда, делали комнату, вечер, весь мир какими-то удивительно уютными, родными и грустными. Но вот девушка повернулась к нему. Ной был слишком занят и взволнован, чтобы хорошенько рассмотреть ее в тот момент, когда она появилась, и теперь даже не мог припомнить ее имени. Сейчас он увидел ее с такой ясностью, словно расплывча-

тое ранее изображение внезапно стало резким и отчетливым.

У нее было смуглое овальное лицо и серьезные глаза. Едва взглянув на нее, Ной почувствовал, что цепенеет, будто его ударили чем-то тяжелым. Никогда еще он не испытывал ничего похожего. Он чувствовал себя виноватым и понимал, что в своем возбуждении выглядит смешным.

Как выяснилось позже, девушку звали Хоуп Плаумен. Года два назад она приехала в Нью-Йорк из небольшого городка в штате Вермонт и сейчас жила у тетки в Бруклине. У нее была манера высказывать свое мнение прямо и решительно, она не употребляла духов и работала секретарем у владельца небольшого завода полиграфического оборудования около Кэнел-стрит. Узнав эти подробности, Ной в течение всего вечера досадовал на собственную глупость; он не мог себе простить, что самая обычная провинциалочка, простая стенографистка, выполняющая прозаическую и скучную работу и живущая где-то в Бруклине, произвела на него такое потрясающее впечатление. В ней не было ничего возвышенного. Как и всякому робкому молодому человеку, чьи взгляды на жизнь формировались в библиотеках, знающему о любви только из сборников стихов, которые он таскал в карманах пальто, Ною казалось невозможным представить Изольду в пригородном поезде или Беатриче¹ в кафетерии-автомате.

«Нет,— твердил он себе, приветствуя новых гостей или разнося бокалы с вином.— Нет, я не позволю себе сблизиться с ней. Прежде всего, она девушка Роджера. Но если бы даже какая-нибудь женщина и захотела бросить этого красивого, незаурядного человека ради неуклюжего и неотесанного парня, вроде меня, все равно я не мог бы допустить и мысли о том, чтобы отплатить за бескорыстное, дружеское отношение к себе черной неблагодарностью, хотя бы даже в виде невысказанного желания».

Словно во сне, бродил страдающий Ной среди гостей, никого и ничего не замечая. Он жадно глядел на девушку, его разгоряченный мозг запечатлевал все ее спокойные, уверенные жесты, и каждая интонация ее голоса отзывалась в нем живительной музыкой, порождая мучительное чувство стыда, смешанное с восторгом. Он чувствовал себя, как

¹ Изольда — героиня французского рыцарского романа «Тристан и Изольда» (XII век). Беатриче — возлюбленная великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265 — 1321), идеализированный образ которой занимает значительное место в его поэзии.— *Прим. ред.*

солдат в первом бою; как человек, получивший миллионное наследство; как отлученный от церкви верующий; как тенор, впервые спевший партию Тристана в «Метрополитен Опера»; он чувствовал себя, как человек, только что захваченный в номере гостиницы с женой своего лучшего друга; как генерал, вступающий во главе своих войск в захваченный город; как лауреат Нобелевской премии; как преступник, которого ведут на виселицу; он чувствовал себя, как боксер-тяжеловес, нокаутировавший всех своих соперников; как пловец, который тонет среди ночного мрака в холодном море в тридцати милях от берега; как ученый, подаривший человечеству эликсир бессмертия...

— Мисс Плаумен,— сказал он,— не хотите ли выпить?

— Нет, спасибо, я не пью.

Ной отошел в угол, чтобы подумать и решить, хорошо это или плохо, дает ему какие-нибудь шансы или нет.

— Мисс Плаумен,— обратился он к ней немного погодя,— вы давно знакомы с Роджером?

— Да. Около года. («Около года! Никакой надежды, никакой!») Он много рассказывал мне о вас. («Прямой взгляд черных глаз, мягкий, но звучный голос.»)

— И что же он рассказывал? («Какая неуклюжая поспешность! Нет, все напрасно!»)

— Вы ему очень нравитесь... («Измена, измена!.. Предательство в отношении друга, который отыскал тебя, бездомного бродягу, среди книжных шкафов в библиотеке, приютил, кормит, любит...»)

А друг этот, окруженный оживленными гостями, беззаботно смеялся и, легко перебирая пальцами клавиши пианино, приятным, хорошо поставленным голосом напевал: «Иисус Навин в бою под Иерихоном-хоном-хоном...»

— Он сказал,— снова этот опасный, волнующий голос,— ...он сказал, что вы будете замечательным человеком, когда окончательно проснетесь. («О боже! Все хуже и хуже! Я — вор, за которого поручился мой друг; любовник, которому ничего не подозревающий муж доверчиво передает ключ от спальни жены...»)

Измученный Ной беспомощно уставился на девушку. Сам не зная почему, он сейчас ненавидел ее. Еще час назад, в восемь часов вечера, он был счастлив, уверен в себе и преисполнен надежд, у него был друг, кров, работа, незапятнанное прошлое и блестящее будущее. А в девять он оказался беглецом, загнанным в бескрайнее болото; у него кровоточат ноги, вдали слышится лай преследующих его собак, и его имя внесено в списки самых отвязленных преступников. А виновница всего этого скромно сидит

перед ним с таким невинным видом, словно она здесь ни при чем, ничего не знает и ничего не чувствует. Она, видите ли, всего лишь маленькая скромная девушка из глухой провинции. А сама, небось, записывая под диктовку владельца завода полиграфического оборудования близ Кэнел-стрит, преспокойно сидит у него на коленях.

— «...И рухнули прочные стены...» — голос Роджера и мощные аккорды старого пианино, отраженные стенами, заполнили комнату.

Ной в отчаянии отвернулся от девушки. В комнате было еще шесть молодых особ, белолицых, мягкотелых, с шелковистыми волосами, любезных и внимательных... Они пришли сюда, чтобы он выбрал одну из них, и сейчас ласково и зовуще улыбаются ему. Но что они для него! Все равно что шесть манекенов в витрине, или шесть цифр на бумаге, или шесть дверных ручек... Это могло произойти только с ним, терзал себя Ной. Такова вся его жизнь. Нелепый гротеск, в котором есть, однако, что-то трагическое.

«Нет,— решил Ной,— я должен вырвать это из своего сердца; пусть я буду разбит, уничтожен, пусть я никогда в жизни не прикаснусь к женщине».

Ной не мог больше оставаться в одной комнате с девушкой. Он подошел к шкафу, в котором его одежда висела рядом с одеждой Роджера, и взял шляпу. Он уйдет из дому и будет бродить, пока не закончится вечеринка, не разойдутся гости, не умолкнет пианино и девушка не окажется под крылышком своей тетушки там за мостом, в Бруклине. Его шляпа лежала на полке рядом со щегольски загнутой старой фетровой шляпой Роджера, на которую Ной взглянул одновременно и виновато и с нежностью. К счастью, большинство гостей собрались вокруг пианино, так что ему удалось незаметно дойти до двери; перед Роджером он как-нибудь оправдается потом. Но мисс Плаумен заметила его. Сидя лицом к двери и разговаривая с другой девушкой, она увидела Ноя, когда он остановился у порога, чтобы бросить на нее прощальный, полный отчаяния взгляд. На лице девушки отразилось недоумение, она поднялась и направилась к нему. Шелест ее платья звучал в его ушах, как артиллерийская канонада.

— Куда это вы? — поинтересовалась она.

— Мы... мы... — залепетал Ной, проклиная свой непослушный язык, — мы... нам нужна содовая... я за содовой.

— Я схожу с вами.

«Нет! — хотелось крикнуть Нюю. — Оставайтесь здесь! Не двигайтесь!» Однако он лишь молча посмотрел, как она

надела пальто и шляпку. Эта простая шляпка не шла девушке, и Ной почувствовал, как к его сердцу прилила горячая волна жалости и нежности к ней — такой юной и такой бедной. Девушка подошла к сидевшему около пианино Роджеру, наклонилась к нему, оперевшись на его плечо, и что-то шепнула на ухо. «Ну вот,— мрачно подумал Ной,— сейчас все раскроется. Все кончено!» — и он чуть не бросился бежать. Но Роджер повернулся к нему и помахал одной рукой, продолжая перебирать другой басовые клавиши. Девушка снова пересекла комнату, держась просто и скромно, и присоединилась к Ною.

— Я сказала Роджеру,— сообщила она.

Сказала Роджеру! Но что? Сказала ему, чтобы он был осторожнее с малознакомыми людьми, никого не жалел, никогда не был великодушен и вырвал любовь из своего сердца, как сорную траву из сада?

— Вы бы взяли плащ,— посоветовала девушка.— Когда мы шли сюда, был дождь.

Негнушейся походкой Ной молча подошел к шкафу и взял плащ. Девушка ждала его у порога. Они вышли в неосвещенную прихожую и закрыли за собой дверь.

Медленно, почти касаясь друг друга плечами, они спустились по ступенькам и вышли на мокрую улицу. Пение и смех, доносившиеся из комнаты, казались отсюда далекими и неуместными.

— Ну, а теперь куда? — спросила девушка, когда они в нерешительности остановились перед захлопнувшейся за ними дверью подъезда.

— То есть как куда? — изумился Ной.

— Вы же пошли за содовой. Где продают содовую воду?

— Ах, да...— Ной рассеянно посмотрел вправо и влево на тускло поблескивавший тротуар.— Да, да, это... Не знаю... Впрочем, нам не нужно никакой содовой воды.

— А мне показалось, что вы сказали...

— Это был только предлог. Меня утомила вечеринка, я очень устал. Мне всегда скучно на вечеринках.

Прислушиваясь к звукам своего голоса, Ной с удовлетворением отметил, что именно так и должен звучать голос человека, умудренного житейским опытом и пресыщенного разгульными пирушками. «Именно такого тона и нужно держаться,— решил он.— Быть утонченно вежливым, холодным, делать вид, что меня слегка забавляет эта девчонка».

— А мне вечеринка показалась очень приятной,— серьезно сказала девушка.

— Да?— небрежно бросил Ной.— Признаться, ничего приятного я не заметил.

«Вот так и нужно,— с мрачным удовольствием повторил про себя Ной.— Нужно нападать, а не обороняться». Он будет отчужденным, немного рассеянным, холодно-вежливым, как английский аристократ после ночного кутежа. Это поможет ему убить сразу двух зайцев. Во-первых, он ни единым словом не предаст своего друга; во-вторых (при этой мысли Ной ощутил приятный трепет ожидания, хотя и отягченный укором совести), и во-вторых, какое впечатление произведет он своими редкими, незаурядными качествами на эту маленькую секретаршу из Бруклина!

— Прошу прощения, что обманом вытащил вас под дождь,— извинился Ной.

Девушка посмотрела по сторонам.

— А дождя-то вовсе и нет,— деловито ответила она.

— Да? — Ной только сейчас обратил внимание на погоду.— Совершенно верно.— Он чувствовал, что взял правильный тон.

— Что же вы теперь намерены делать? — спросила девушка.

Ной впервые в жизни пожал плечами.

— Не знаю,— ответил он.— Прогуляюсь. (Ной подумал, что и говорит-то он теперь совсем, как герои Голсуорси.) Я часто гуляю по ночам. Очень приятно пройтись по безлюдным улицам.

— Но сейчас еще только одиннадцать часов! — воскликнула девушка.

— Да? Совершенно верно,— согласился Ной и решил, что больше повторять это выражение не следует.— Если хотите вернуться в комнату...

Хоуп заколебалась. С туманной реки долетел низкий, дрожащий гудок, и Ной почувствовал, как этот звук ударил по его напряженным нервам.

— Нет, я пройду с вами,— ответила девушка.

Стараясь не касаться друг друга, они пошли рядом по обсаженной деревьями улице вдоль реки. Среди берегов, окутанных туманной дымкой, мрачно чернел Гудзон, дыша весной и солью, принесенной с моря в часы полуденного прилива. Далеко к северу цепочка огней, повисших высоко над водой, обозначала мост в Джерси, а крутые, каменистые берега по ту сторону реки вздымались черными громадами, напоминая средневековые замки. Улица была безлюдна. Лишь иногда, шипя шинами, пронеслась машина, и в свете фар и ночь, и река, и сами они, медленно бредущие под усеянными молодыми почками ветвями, казались какими-то призрачными и таинственными.

Не произнося ни слова, они шли вдоль реки, и только смелый стук их одиноких шагов нарушал тишину. «Три минуты молчим,— думал Ной, рассматривая свои ботинки.— Четыре минуты... Пять...» Его охватило отчаяние. В самом их молчании заключалась греховная близость; в их гулко звучащих шагах, в том, как они старались сдерживать дыхание и не коснуться друг друга плечом или локтем, когда спускались вниз по неровной мостовой, угадывались страстное желание и нежность. Молчание превращалось во врага, в предателя. Ной чувствовал, что, если оно продлится еще хотя бы миг, эта спокойная девушка, которая и сейчас уже шагает с ним рядом с таким коварным видом, словно о чем-то догадывается, поймет все. Если бы он сейчас взобрался на парапет, отделяющий улицу от реки, и произнес часовую речь о своей любви, и то она не могла бы понять его лучше.

— Нью-Йорк должен пугать девушку из провинции,— хрипло проворкотал Ной.

— Нет,— отозвалась она,— меня город не пугает.

— Все дело в том,— в отчаянии продолжал Ной,— что Нью-Йорк слишком переоценивают. Он подобен человеку, который изо всех сил пытается изображать из себя закоренелого космополита, а на самом деле перманентно остается провинциалом.— Ной улыбнулся, радуясь, что употребил это слово — «перманентно».

— Я с вами не согласна,— возразила девушка.— Нью-Йорк, особенно после Вермонта, вовсе не кажется мне провинциальным.

— О!..— Ной покровительственно рассмеялся.— Вермонт!

— А где вам пришлось побывать? — поинтересовалась она.

— В Чикаго, Лос-Анжелосе, Сан-Франциско... Всюду.— Ной небрежно махнул рукой с видом повидавшего белый свет человека, давая понять, что он назвал лишь первые пришедшие ему на ум города, а если бы он вздумал привести весь список, то в нем, несомненно, оказались бы и Париж, и Будапешт, и Вена.

— И все же,— продолжал Ной,— я должен признать, что в Нью-Йорке есть красивые женщины. Да, да, есть очень привлекательные, хотя держатся и одеваются не сколько вызывающе. «Ну вот,— удовлетворенно подумал он,— кажется, я и на этот раз неплохо сказал»,— но все же с беспокойством взглянул на девушку.

— Особенно интересны американки, когда они молоды. Зато с годами...— Ной снова попытался пожать плечами, и снова ему это удалось.— Лично я предпочитаю европей-

ских женщин, не слишком молодых, но и... Они особенно хороши в том возрасте, когда американки уже превращаются в расплывшихся ведьм, готовых с утра до вечера сидеть за картами.

Ной с некоторой тревогой искоса взглянул на девушку, но выражение ее лица не изменилось. Она отломил ветку от куста и рассеянно вела его по каменному парапету, словно размышляя над его словами.

— А европейская женщина в этом возрасте уже знает, как нужно обходиться с мужчинами...— продолжал Ной. Он лихорадочно рылся в памяти, пытаясь припомнить какую-нибудь знакомую европейскую женщину. Вот, например, та пьянчужка, которую он встретил в баре в день смерти отца. Возможно, это была полька. Правда, Польша не бог весть какая романтическая страна, но это уже Европа.

— И как же европейская женщина обходится с мужчинами? — спросила девушка.

— Она умеет покоряться... Женщины утверждают, что у меня средневековые взгляды... («О друг, друг, сидящий сейчас за пианино! Прости меня за эту кражу. Как-нибудь я возьму ее тебе!»)

С этой минуты беседа потекла свободнее.

— Искусство? — разглагольствовал Ной.— Я не согласен с современным представлением о том, что тайна искусства непостижима, а художник — это ребенок, с которого едва ли можно что-нибудь спрашивать. Женитьба? Женитьба — это печальное признание человечеством того факта, что мужчины и женщины не знают, как им ужиться в одном мире. Театр? Американский театр? Конечно, как и у всякого бойкого ребенка, у него есть кое-какие положительные качества. Но рассматривать театр серьезно, как форму искусства двадцатого века...— Ной надменно засмеялся.— Нет уж, подавайте мне лучше Диснея¹.

Тут обнаружилось, что они прошли вдоль мрачно катившей свои волны реки тридцать четыре квартала, что уже поздно и что снова начал накрапывать дождь. Прикрыв ладонью спичку, Ной взглянул на часы. Он стоял совсем рядом с девушкой, вдыхая аромат ее волос, смешанный с запахом реки. Ной вдруг решил не говорить больше ни слова. Слишком мучительно было вести этот пустой разговор, слишком противно было изображать из себя искушенного в жизни скептика-дилетанта.

¹ Дисней Уолт (р. 1901) — американский кинорежиссер, работающий в области мультипликационных фильмов.— *Прим. ред.*

— Уже поздно,— резко сказал он.— Пора возвращаться.

Однако Ной и тут не удержался от красивого жеста и подозвал медленно проезжавшие мимо такси. Он впервые брал такси в Нью-Йорке и потому, пробираясь на заднее сиденье, споткнулся об откиннутые передние стульчики. Но усевшись подальше от притаившейся в углу девушки, он показался самому себе настоящим джентльменом, человеком, которого не надо учить, как вести себя в подобных случаях. Ной не сомневался, что произвел на девушку сильное впечатление, и отвалил шоферу двадцать пять центов чаевых, хотя счетчик всего-то показывал шестьдесят.

И вот Ной и девушка снова оказались перед дверью дома, где он жил. Они взглянули вверх. Из-за темных закрытых окон не доносилось ни разговоров, ни смеха, ни музыки.

— Все кончилось,— упавшим голосом сказал Ной. У него похолодело в груди при мысли о Роджере. Ведь Роджер теперь уверен, что он увел у него девушку.— Все разошлись.

— Похоже на то,— спокойно ответила девушка.

— Что же нам делать? — спросил Ной, чувствуя, что ловушка захлопнулась.

— Видимо, вам придется проводить меня домой.

«Бруклин,— в смятении подумал Ной.— Туда и обратно — это несколько часов. А Роджер с гневом и укоризной ждет меня в полумраке перевернутой вверх дном комнаты, где только что закончилось бурное веселье. Ждет, готовый беспощадно и бесповоротно изгнать за предательство. А ведь вечер обещал быть таким чудесным и сулил так много». Ной вспомнил, в каком радужном настроении он ждал гостей перед приходом Роджера, с какой радостной надеждой осматривал запущенную, заставленную книжными шкапами комнату и какой уютной и нарядной казалась она ему.

— Разве вы не доберетесь домой одна? — уныло спросил Ной. Она стояла перед ним — хорошенькая, немного бледная, капли дождя падали ей на волосы и пальто. В этот момент Ной ненавидел ее.

— Не смейте со мной так разговаривать! — резким, властным тоном ответила она.— Я не поеду одна. Пошли!

Ной вздохнул. В довершение всего девушка еще и рассердилась на него.

— И нечего вздыхать, как муж, которого жена держит под башмаком,— сухо добавила она.

«Что же произошло? — рассуждал ошеломленный Ной.— Как я попал в такое положение? Какое она имеет право так разговаривать со мной?»

— Ну, я иду,— заявила девушка и, повернувшись, спеша направилась к станции подземки. Ной с бессмысленным видом посмотрел на нее и поплелся следом.

От влажной одежды пассажиров в вагонах метро пахло дождем и сыростью. В застоявшемся, спертом воздухе ощущался привкус железа, в тусклом свете запыленных лампочек на плакатах, рекламирующих зубную пасту, слабительные средства и бюстгалтеры, кривлялись пышногрудые девицы. Пассажиры, возвращающиеся неведомо с какой работы и неведомо с каких свиданий, сонно покачивались на грязно-желтых сиденьях.

Девушка сидела молча, поджав губы. На пересадке она, по-прежнему не скрывая своего недовольства, встала и вышла на платформу. Ной неуклюже поплелся за ней.

Пришлось сделать еще несколько пересадок, и они до бесконечности долго ждали нужных поездов на почти безлюдных платформах, наблюдая, как сползают по грязно-серым стенам и ржавому железу тоннелей капли воды из протекающих труб. «И надо же, чтобы эта особа жила в самом конце города,— с тупой враждебностью думал Ной,— в пятистах ярдах от подземки, в доме, расположенном среди мусорных свалок и кладбищ. Бруклин, Бруклин! Как же огромен этот Бруклин, распростершийся под покровом ночи от Ист-Ривер до Грейвсенд-бей, от покрытых нефтью вод Гринпойнта до свалок Кэнерси... Бруклин, как и Венеция, почти со всех сторон окружен водой, только Большой канал заменяет линия подземки «Четвертая авеню».

«А какой требовательной и самоуверенной оказалась эта девица! — продолжал размышлять Ной.— Подумать только — тащить с собой почти незнакомого человека через этот грохочущий, угрюмый, наводящий смертную тоску лабиринт пригородной подземки. Вот было бы счастье, — иронически скривился он,— если бы пришлось ночь за ночью торчать на этих мрачных платформах, ночь за ночью трястись в поездах с запоздавшими уборщицами, ворами, пьяными матросами, со всей этой публикой, заполняющей вагоны подземки на рассвете. Везет же мне! Миллионы женщин живут чуть не рядом, а меня угораздило связаться с вспылчивой, непреклонной девицей, ухитрившейся поселиться в самом дальнем и в самом отвратительном конце величайшего города мира.

Леандр ради девушки переплыл Геллеспонт¹, но ему не нужно было провожать ее по вечерам домой и ждать по двадцати пяти минут на станции метро «Де Кэлб-авеню» среди мусорных урн и объявлений, запрещающих плевать и курить.

В конце концов они сошли на какой-то станции, и девушка по лестнице повела его на улицу.

— Наконец-то! — сказал он, и это были первые слова, которые он произнес в течение часа.— А я уж думал, что мы будем ездить под землей все лето!

— А сейчас мы поедem на трамвае,— холодно сообщила девушка, останавливаясь на углу.

— Боже милосердный! — воскликнул Ной и расхохотался. Бессмысленно и неуместно прозвучал этот смех здесь, среди витрин грошовых лавчонок и грязно-бурых каменных стен.

— Если вы и дальше намерены так отвратительно вести себя,— сказала девушка,— можете не провожать меня.

— Уж если я заехал сюда,— перестав смеяться, ответил Ной,— то поеду с вами до конца.

Он подошел к ней и остановился рядом. Они молча стояли под уличным фонарем, борясь со злобными порывами холодного, сырого ветра. Он примчался сюда от берегов Атлантики, пролетев над грязными портами, над необозримыми пространствами, над скученными деревянными домишками и каменными громадами Флэтбуша и Бенсонхерста, над миллионами объятых сном людей, не нашедших на своем тяжелом житейском пути лучшего места, чтобы приклонить голову.

Минут через пятнадцать вдалеке показался огонек трамвая, и вскоре вагон с грохотом и скрежетом подкатил к остановке. На деревянных скамьях нахохлившись дремали три человека. Ной чинно уселся рядом с девушкой. Освещенный вагон громыхая катился по темным улицам, и Ною казалось, что он плывет на плоту с незнакомыми людьми, уцелевшими пассажирами жалкого суденышка, затонувшего зимой где-то среди северных островов. Девушка сидела, чопорно выпрямившись, уставившись прямо перед собой и сложив руки на коленях. Ною показалось, что он совсем ее не знает и что если решится заговорить с ней,

¹ Леандр — герой древнегреческой легенды, возлюбленный Геро, жрицы храма Афродиты. Для свидания с Геро Леандр каждую ночь переплывал Геллеспонт (ныне пролив Дарданеллы). — *Прим. ред.*

она крикнет полицейского и потребует, чтобы он защитил ее от Ноя.

— Приехали,— сказала наконец девушка и встала. Ной снова поплелся за ней. Трамвай остановился, дверь со скрипом открылась, они сошли на мокрую мостовую и направились куда-то в сторону от трамвайных путей. На бедных улицах кое-где попадались деревья, покрытые первой зеленью,— свидетельство того, что, как ни странно, весна пришла и сюда.

Девушка свернула в маленький асфальтированный дворик и подошла к забранной железной решеткой двери под высокой каменной лестницей. Она вставила в замок ключ, и решетка раздвинулась.

— Ну вот мы и дома,— сухо сказала она, поворачиваясь к Нюю.

Ной снял шляпу. Лицо девушки белело в темноте. Она тоже сняла свою шляпу. Ее волосы волнистой линией обрамляли щеки и лоб, словно выточенные из слоновой кости. Стоя рядом с ней в тени дома, Ной был готов расплакаться, будто терял все, что было у него дорогого.

— Я... я хочу сказать...— прошептал он,— что не возражаю... Я имею в виду что мне приятно... Я рад, что проводил вас домой.

— Благодарю вас,— тоже шепотом уклончиво ответила девушка.

— Как это сложно,— добавил Ной и недоуменно развел руками.— Если бы вы только знали, как сложно... Я хочу сказать, что мне было очень приятно... Правда!

Одинокая мужественная девушка, такая юная и хрупкая, такая бедная и близкая... Он протянул руки, словно слепой, осторожно взял голову девушки и поцеловал ее в упругие, чуть влажные от тумана губы.

Девушка ударила его по лицу, и эхо пощечины насмешливо прозвучало под лестницей. Его щека слегка одеревенела от удара. «Такая хрупкая на вид, а бьет что надо»,— подумал ошеломленный Ной.

— Почему вы вдруг решили, что можете поцеловать меня? — ледяным тоном спросила она.

— Я... я не знаю.— Ной поднес было руку к щеке, чтобы успокоить боль, но тут же отдернул ее, стыдясь проявить слабость в такой ответственный момент.— Я... просто поцеловал.

— Вы можете позволять себе такие штучки с другими девушками, только не со мной,— сурово добавила Хоуп.

— Да я не целую других девушек,— уныло ответил Ной.

— Ах вот оно что! — подхватила Хоуп. — Значит, вы так ведете себя только со мной? Сожалею, что показалась вам такой доступной.

— О нет, нет! — воскликнул Ной, мысленно проклиная себя за все случившееся. — Я вовсе не то хотел сказать.

«Боже мой! Как же объяснить ей все, что я чувствую! Ведь она считает меня резвящимся распутным балбесом, готовым сойтись с любой девицей, которая позволит это». К его горлу подкатил комок.

— Я очень извиняюсь, — пролепетал он.

— Очевидно, вы считаете себя таким неотразимым, блестящим кавалером, — язвительно заговорила Хоуп, — что любая девушка должна чувствовать себя на седьмом небе, когда вы ее тискаете.

— Боже мой! — Терзаясь все больше, Ной сделал шаг назад и, споткнувшись о ступеньки, чуть не упал.

— Никогда в жизни мне не доводилось встречать такого нахального, самоуверенного и самодовольного субъекта.

— Да перестаньте же! — простонал Ной. — Я не могу этого вынести.

— А теперь пожелаю вам, мистер Аккерман, спокойной ночи, — колко добавила девушка.

— Нет, нет! — прошептал Ной. — Погодите. Вы не можете так уйти.

Девушка решительно потянула на себя решетку, и режущий слух скрип шарниров отозвался в ушах Ноя.

— Прошу вас, — умолял он, — выслушайте меня...

— Спокойной ночи. — Одним ловким, быстрым движением девушка проскользнула за решетку, которая тут же с шумом захлопнулась за ней на замок. Не оглядываясь, Хоуп открыла деревянную дверь дома и скрылась за ней. Ной тупо посмотрел на обе преграды — железную и деревянную, медленно повернулся и, окончательно растроенный, побрел по улице.

Пройдя сотню шагов, Ной остановился. Шляпу он все еще держал в руках, не замечая, что заморосивший снова дождь мочит ему голову. Тревожно осмотревшись вокруг, Ной повернулся и направился обратно к дому девушки. В окне с решеткой, находившемся на уровне мостовой, горел свет, и даже сквозь задернутую штору он мог видеть передвигающуюся по комнате тень.

Ной подошел к окну, глубоко вздохнул и постучал. Через секунду штора отодвинулась, и он увидел Хоуп — из освещенной комнаты она напряженно вглядывалась в темноту.

Ной как можно плотнее прижался к окну и, нелепо жестикулируя, попытался объяснить девушке, что хочет говорить с ней. Хоуп раздраженно покачала головой и махнула рукой, как бы отгоняя его, и тогда Ной, повысив голос, почти крикнул:

— Откройте двери! Мне надо поговорить с вами. Я заблудился, понимаете? Заблудился, заблудился!

Сквозь захлестанное дождем стекло Ной заметил, что Хоуп нерешительно посмотрела на него, потом улыбнулась и исчезла. Спустя мгновение он услышал, как открылась внутренняя дверь, и почти сразу же Хоуп оказалась у решетки. Ной с облегчением вздохнул.

— Я так рад видеть вас! — воскликнул он.

— Вы не знаете обратной дороги? — спросила Хоуп.

— Я заблудился, и меня тут никто не может отыскать.

Хоуп засмеялась.

— А ведь вы ужасный дурак, правда?

— Да, — покорно согласился Ной. — Ужасный.

— Так вот, — стоя за закрытой решеткой и снова принимая суровый вид, сказала Хоуп. — Пройдите два квартала налево и подождите трамвая, который придет слева и доведет вас до метро, а потом...

Девушка сухо перечисляла пути, которыми можно было выбраться отсюда и снова вернуться в цивилизованный мир, но для Ноя ее слова звучали, как музыка. Он заметил, что Хоуп успела снять туфли и была значительно ниже ростом, чем казалась раньше, изящнее и еще дороже ему.

— Вы слушаете или нет? — спросила девушка.

— Я хочу вам кое-что сказать, — почти крикнул Ной. — Я совсем не такой самоуверенный нахал...

— Ш-шш!.. Тетя спит...

— Наоборот, я очень робкий, — перешел он на шепот, — и никакого сомнения у меня нет. Не знаю, почему я поцеловал вас... Я... я просто не мог удержаться.

— Не так громко, — попросила Хоуп. — Тетя же спит.

— Я старался произвести на вас впечатление, — снова зашептал Ной. — Никаких европейских женщин я не знаю. Я хотел выдать себя за опытного, выдавшего виды человека. Я боялся, что если буду самим собой, то вы и смотреть на меня не захотите. Я чувствовал себя так неловко вечером, — отрывисто шептал Ной. — Ничего подобного я еще не переживал. Вы были совершенно правы, когда дали мне пощечину. Абсолютно правы! Это урок. — Ной прижался лицом к холодному железу решетки, чтобы быть поближе к Хоуп. — Очень хороший урок. Сейчас я не могу сказать,

что испытываю к вам. Может быть, как-нибудь в другой раз, но...— Он на секунду умолк.— Вы — девушка Роджера?

— Нет. Я ничья.

Ной расхохотался сумасшедшим, скрипучим смехом.

— Тетя! — снова предупредила девушка.

— Хорошо, хорошо! — прошептал Ной.— Трамваем до метро. Спокойной ночи. Спасибо. Спокойной ночи!

Однако он не тронулся с места. Освещенные призрачным, зыбким светом уличного фонаря, они молча смотрели друг на друга.

— О бог мой,— тихо, со страдальческой гримасой произнес Ной.— Ведь вы ничего не знаете. Вы просто ничего не знаете.

Он услышал, как щелкнул замок, затем решетка раздвинулась, и Ной сделал шаг вперед. Они поцеловались, но этот поцелуй совсем не походил на тот, первый. Ной почувствовал, что у него вырастают крылья, но тут же с опаской подумал, что в следующее мгновение девушка отпрянет назад и снова ударит его.

Хоуп медленно отошла от Ноя, взглянула на него с загадочной улыбкой и сказала:

— Не заблудитесь на обратном пути.

— Трамвай,— прошептал Ной.— Трамваем до метро, а потом... Я люблю вас. Слышите? Люблю.

— Спокойной ночи,— сказала Хоуп.— Спасибо, что проводили.

Ной отошел назад, и решетка между ними сомкнулась. Хоуп повернулась и, осторожно ступая ногами в чулках, вошла в дом. Закрылась дверь, улица опустела. Ной направился к трамвайной остановке. Лишь два часа спустя, когда он был уже на пороге своей комнаты, Ною пришлось в голову, что он еще ни разу за двадцать один год своей жизни никому не говорил эти слова: «Я люблю вас».

В комнате было темно, слышалось спокойное, ровное дыхание спящего Роджера. Ной быстро разделся и скользнул в свою кровать, стоящую у противоположной стены. Некоторое время он неподвижно лежал, уставившись в потолок, то с наслаждением вспоминая о поцелуе у дверей, то страдая при мысли о том, что скажет ему утром Роджер.

Он уже засыпал, когда услышал голос Роджера.

— Ной.

Он открыл глаза.

— Да, Роджер?

— Все в порядке?

— Да.

Молчание.

— Ты провожал ее домой?

— Да.

Снова молчание.

— Мы вышли купить бутербродов,— опять заговорил Роджер,— и ты, должно быть, разошелся с нами.

— Да.

Опять молчание.

— Роджер!

— Да?

— Мне кажется, мы должны объясниться. Я не хотел... честное слово... Я пошел было один... Я плохо помню... Роджер, ты не спишь?

— Нет.

— Роджер, она мне кое-что сказала.

— Что именно?

— Хоуп сказала, что она не твоя девушка.

— Да?

— Она сказала, что ни с кем постоянно не встречается. Но если она твоя девушка или если ты хочешь, чтобы она была твоей девушкой... Я... я никогда больше не встречу с ней. Клянусь тебе, Роджер. Ты не спишь?

— Нет, не сплю. Хоуп действительно не моя девушка. Не стану отрицать, что я иногда подумывал о ней, но, черт подери, кто согласится три раза в неделю таскаться в Бруклин?

Ной в темноте вытер выступивший на лбу пот.

— Роджер!

— Да?

— Я люблю тебя.

— Да ну тебя! Давай-ка лучше спать.

В темной комнате раздался смешок, и снова воцарилась тишина.

В течение двух следующих месяцев Ной и Хоуп написали друг другу сорок два письма. Они работали по соседству, ежедневно встречались за ленчем и почти каждый вечер за ужином. Иногда в солнечные дни они убегали с работы и гуляли по пристани, наблюдая за пароходами. За эти два месяца Ной совершил тридцать семь бесконечно длинных поездок в Бруклин и обратно, однако по-настоящему они жили и разговаривали лишь в письмах, с помощью почтового ведомства.

В каком бы темном и укромном местечке они ни сидели рядом, Ноя хватало лишь на то, чтобы выдать короткую фразу: «Какая ты хорошенькая!»; или: «Мне очень нравится, как ты улыбаешься»; или: «Пойдем в кино в воскресенье вечером?» Зато при виде чистой бумаги его охватывало опьяняющее чувство свободы, и он мог, при бескорыстной помощи почтальонов, сообщить Хоуп: «Ощущение твоей красоты неизменно живет во мне и днем и ночью. Когда я смотрю на небо утром, оно мне кажется ясным-ясным, потому что я знаю, что оно распростерлось и над твоей головой. Когда я вижу мост через реку, он кажется мне самым прочным в мире, потому что мы когда-то прошли по нему вместе. Когда я вижу свое лицо в зеркале, оно кажется мне красивым, потому что накануне вечером ты целовала его...»

А Хоуп, эта закоренелая провинциалочка, так сдержанно и осторожно выражавшая свою любовь во время свиданий, писала: «...Ты только что ушел, и я представляю себе, как ты шагаешь по безлюдной улице, как ждешь трамвая в полумраке весенней ночи, а потом едешь домой в поезде подземки. И я ни на минуту не расстанусь с тобой, пока ты будешь в пути. Дорогой мой, ты сейчас едешь, а я сижу дома. Все спят, на столе у меня горит лампа, и я думаю о тебе. Я верю в тебя. Я верю, что ты хороший, сильный, справедливый. Я верю, что люблю тебя. Я верю, что у тебя красивые глаза, печальная складка у рта и ловкие, изящные руки...»

Но при новой встрече они лишь молча смотрели друг на друга, вспоминая написанное, потом Ной говорил:

— У меня два билета в театр. Пойдем, если ты не занята сегодня?

А поздно вечером, взволнованные спектаклем, изнемогая от любви, мучаясь от постоянного недосыпания, они стояли обнявшись в холодном вестибюле дома Хоуп. Войти в дом они не решались: у дяди была отвратительная привычка торчать в гостиной до утра за чтением библии. Судорожно сжимая друг друга в объятиях, они целовались до тех пор, пока не начинали ныть губы. В такие минуты то, чем они жили в письмах, сливалось с действительностью в бурном порыве страсти.

Однако они не переходили границ дозволенного. Во-первых, во всем этом огромном и шумном городе, с десятью миллионами комнат, у них не было местечка, которое они могли бы назвать своим и куда могли бы войти с высоко поднятой головой. Во-вторых, Хоуп была до фанатизма рели-

гнозна, и всякий раз, когда их окончательное сближение казалось неизбежным, она с испугом отталкивала Ноя и шептала:

— Нет, нет, не сейчас!.. Как-нибудь в другое время...

— Но так ты, чего доброго, сгоришь от неутоленной страсти! — посмеиваясь, говорил Роджер. — Это же противоестественно. Что это за девушка? Как она не понимает, что принадлежит к послевоенному поколению?

— Да перестань же, Роджер, — смущенно просил Ной. Он сидел у письменного стола и писал письмо Хоуп, а Роджер лежал враспяжку на полу, потому что пружины его кровати сломались еще пять месяцев назад и человеку высокого роста было трудно расположиться на ней в удобной позе.

— Бруклин, — снова заговорил Роджер. — Неведомая земля. Терра инкогнита! — Решив, что раз уже он лег на пол, то зря терять время не следует, Роджер занялся гимнастикой для укрепления брюшного пресса и трижды медленно поднял и опустил ноги.

— Довольно, — объявил он. — Я уже чувствую себя богатырем... Любовь — это как купание. Надо либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Ну, а если будешь слоняться вдоль берега, по колено в воде, то тебя только обдаст брызгами, и ты скоро начнешь зябнуть и злиться. Еще месяц походишь вот так с этой девушкой — и тебе придется обратиться к психиатру. Так и напиши ей и скажи, что это мои слова.

— Обязательно, — ответил Ной. — Уже пишу.

— Но будь осторожен, — добавил Роджер, — а то и не заметишь, как тебя женят.

Ной перестал печатать. Обширная переписка заставила его приобрести в рассрочку пишущую машинку.

— Такой опасности не существует. Жениться я не собираюсь. — Однако, по правде говоря, он частенько подумывал о женитьбе и даже намекал на это Хоуп в своих письмах.

— Вообще-то, это, может быть, и неплохо, — после некоторого размышления сказал Роджер. — Она славная девушка, и к тому же женитьба поможет тебе получить отсрочку от призыва.

Оба они старались не думать о призыве. К счастью, очередь Ноя была одной из последних¹. Тем не менее не-

¹ В США среди лиц, признанных годными к военной службе, проводилась жеребьевка, в соответствии с которой определялся очередной номер каждого. Призыв производился в порядке последовательности номеров. — *Прим. ред.*

избежность призыва омрачала их будущее, как темная туча на далеком горизонте.

— Я ничего не имею против девушки, у меня только две претензии,— продолжал рассуждать Роджер, по-прежнему лежа на полу.— Во-первых, ты из-за нее систематически недосыпаешь. Во-вторых... ну, сам понимаешь. Вообще же встречи с ней приносят тебе огромную пользу.

Ной с признательностью посмотрел на приятеля.

— И все же,— закончил Роджер,— она должна переспать с тобой.

— Перестаны!

— А знаешь что? Уеду-ка я на этот уикэнд¹ и представлю комнату в твое распоряжение.— Роджер сел на полу.— Лучше и не придумаешь, а?

— Благодарю,— сказал Ной.— Если такая необходимость возникнет, я воспользуюсь твоим предложением.

— А может быть, мне, как твоему доброму, заботливому другу, стоило бы поговорить с ней? «Моя дорогая,— сказал бы я,— вы, вероятно, не сознаете этого, но наш общий друг Ной находится в таком состоянии, что готов выпрыгнуть из окна». Дай-ка монетку, я сейчас же позвоню ей.

— Ну тут-то я и сам как-нибудь справлюсь,— не слишком уверенно ответил Ной.

— Как ты смотришь на ближайшее воскресенье? — спросил Роджер.— Чудесный месяц июнь... самый разгар лета...

— Ближайшее воскресенье исключается, — перебил Ной.— Мы едем на свадьбу.

— Это на чью же? Уж не на твою ли?

Ной деланно рассмеялся.

— Какая-то ее приятельница из Бруклина выходит замуж.

— Вот и хорошо — обвенчались бы вместе, по оптовой цене.— Роджер снова лег на пол.— Я все сказал, и теперь умолкаю.

Он и в самом деле молчал несколько минут, пока Ной печатал.

— Еще месяц,— опять заговорил Роджер,— а потом кабинет психиатра. Попомни мои слова.

Ной рассмеялся и встал.

— Сдаюсь. Пойдем, я угощу тебя пивом.

¹ Время еженедельного отдыха, с середины дня субботы до утра понедельника.— *Прим ред.*

Роджер немедленно вскочил с пола.

— Мой милый друг! — добродушно воскликнул он.—
Мой дорогой девственник Ной!

Оба снова рассмеялись и вышли из дому в мягкие, прохладные сумерки летнего вечера, направляясь в свой излюбленный третьеразрядный бар на Колумбус-авеню.

Свадьба состоялась в воскресенье во Флэтбуше, в большом доме с садом и маленькой лужайкой, выходившей на окаймленную деревьями улицу. Невеста была очаровательна, священник деловит, а после совершения обряда гостям подали шампанское.

Светило солнце, было тепло и казалось, что на губах у присутствующих играет мягкая, откровенно чувственная улыбка, как обычно бывает на всех свадьбах. После церемонии гости помоложе начали уединяться парочками, чтобы посекретничать. На Хоуп было новое желтое платье. За последнюю неделю она много была на воздухе и загорела. На мягко-золотистом фоне платья волосы девушки, уложенные в новой прическе, казались особенно темными. Ной стоял в стороне и, отпивая маленькими глотками шампанское, с гордостью и с некоторым беспокойством наблюдал за ней. Время от времени, не спуская глаз с Хоуп, он негромко переговаривался с благодушно настроенными гостями, а какой-то внутренний, дрожащий от любви голос не умолкая твердил: «Какая у нее прическа, какие губы, какие ноги!»

Он поцеловал невесту — создание из белого атласа, кружев и флердоранжа, почувствовав вкус губной помады и запах духов. Не замечая ее блестящих, влажных глаз и полуоткрытого рта, он посмотрел на Хоуп, которая наблюдала за ним с другого конца комнаты; его восхищенный взгляд отметил ее шею, ее талию. Хоуп подошла к нему.

— Я давно собираюсь кое-что сделать,— сказал Ной и обнял девушку за тонкую талию, стянутую тугим корсажем нового платья; он почувствовал, как от его прикосновения по упругому девичьему телу пробежала легкая дрожь. Хоуп, видимо, поняла Ноя, потянулась к нему и нежно поцеловала его. Кое-кто из гостей наблюдал за ними, но это не смутило Ноя: он считал, что на свадьбе всякий волен целовать кого угодно. Кроме того, Ною, никогда еще не приходилось пить шампанское в жаркий летний день.

Стоя у подъезда, Ной и Хоуп наблюдали, как обсыпанные рисом новобрачные усаживались в машину, украшен-

ную длинными развевающимися лентами. У дверей дома тихо всхлипывала мать. Неловко и застенчиво улыбался молодожен, выглядывая из автомобиля.

Ной и Хоуп посмотрели друг на друга, и он понял, что они думают об одном и том же.

— А почему бы и нам...— горячо зашептал было Ной.

— Ш-шш! — Хоуп закрыла ему рот рукой.— Ты выпил слишком много шампанского.

Ной и Хоуп попрощались с гостями и, держась за руки, медленно пошли по улице, обсаженной высокими деревьями, среди газонов, на которых вращались разбрызгиватели, образуя сверкающие на солнце всеми цветами радуги фонтаны воды. Воздух угасающего дня был напоен поднимающимся с газонов запахом свежеспелой зелени.

— Куда же они поехали? — спросил Ной.

— В Монтерей, в Калифорнию, на месяц. Там живет его двоюродный брат.

Тесно прижавшись друг к другу, они шли среди фонтанов Флэтбуша, размышляя о пляжах Монтерея на Тихоокеанском побережье, об унылых мексиканских домиках, залитых лучами южного солнца, о двух молодых людях, которые только что сели в поезд на вокзале Грэнд-Сентрал и сейчас закрывают на замок дверь своего купе.

— Жаль мне их,— кисло улыбнулся Ной.

— Это почему же?!

— В такую ночь, как сегодня, впервые остаться наедине. Ведь сегодня же будет одна из самых жарких ночей за весь год.

Хоуп отдернула руку.

— Нет, ты совершенно невозможен! — сердито воскликнула она.— Как это мерзко и вульгарно!..

— Ну, Хоуп! — запротестовал Ной.— Я же просто немножко пошутил!

— Терпеть не могу такого цинизма,— громко продолжала Хоуп.— Ты готов высмеять все и вся! — Ной с удивлением заметил, что она плачет.

— Прошу тебя, дорогая, не нужно плакать. — Ной крепко обнял ее, не обращая внимания на двух маленьких мальчишек и собаку-колли, с интересом наблюдавших за ними с одного из газонов.

Хоуп выскользнула из его объятий.

— Не смей притрагиваться ко мне! — крикнула она и быстро пошла вперед.

— Ну прошу тебя,— повторил встревоженный Ной, стараясь не отставать от девушки.— Послушай-ка, что я тебе скажу.

— Можешь написать очередное письмо,— сквозь слезы ответила Хоуп.— Все свои нежные чувства ты, видимо, бережешь для пишущей машинки.

Ной поравнялся с Хоуп и молча пошел рядом. Он был озадачен и растерян и чувствовал себя так, словно внезапно оказался среди безбрежного моря, имя которому — женское безрассудство, и ему остается лишь дрейфовать, уповая на то, что ветер и волны прибьют его к спасительному берегу.

Однако Хоуп не хотела смягчиться и всю долгую дорогу в трамвае молчала, упрямо и презрительно поджав губы.

«Боже мой! — думал Ной, время от времени боязливо поглядывая на свою подругу.— Она же перестанет встречаться со мной!»

Но Хоуп, открыв ключом обе двери, разрешила ему войти. В доме никого не было. Тетка и дядя Хоуп, захватив с собой двух маленьких детей, уехали на три дня отдыхать в деревню. В неосвещенных комнатах все дышало миром и покоем.

— Хочешь есть? — строго спросила Хоуп. Она стояла посередине гостиной, и Ной совсем было решился поцеловать ее, но, взглянув на девушку, отказался от своего намерения.

— Пожалуй, мне лучше уйти домой,— нерешительно проговорил он.

— Можешь поесть и у меня,— возразила Хоуп.— Я оставила ужин в холодильнике.

Ной покорно прошел за девушкой в кухню и, стараясь держаться как можно незаметнее, принялся помогать ей. Хоуп достала холодную курицу, полный кувшин молока и приготовила салат. Затем она поставила все на поднос и, как сержант, подающий команду взводу, сухо приказала:

— Во двор!

Ной взял поднос и отнес его в садик, примыкавший к дому. Садик представлял собой прямоугольник, ограниченный с боков высоким дощатым забором, а с третьей стороны — глухой кирпичной стеной гаража, сплошь заросшей диким виноградом. Тут росла изящная, раскидистая акация, был крохотный участок, воспроизводивший в миниатюре горный луг, несколько клумб с обычными цветами, деревянный столик со свечами под абажурами и длинные, похожие на кушетку качели под балдахином. В расплывчатых сумерках растаял, подобно туману или дурному видению, Бруклин, и Ной с Хоуп остались одни в обнесенном

высокими стенами сада, словно где-то в Англии или во Франции, а может быть, среди гор Индии...

Хоуп зажгла свечи. Все с тем же мрачным выражением на лицах они уселись друг против друга и с аппетитом поели. Они почти не разговаривали, лишь изредка обменивались вежливыми просьбами передать соль или молоко. Затем они сложили салфетки и встали, каждый у своего конца стола.

— Свечи нам не нужны,— сказала Хоуп.— Потуши, пожалуйста, свою свечу.

Ной нагнулся над свечой, накрытой абажуром в виде небольшой стеклянной трубки, а Хоуп склонилась к другой свече. Когда они гасили свечи, их головы соприкоснулись, и во внезапно наступившей темноте Хоуп прошептала:

— Прости меня. Я самая мерзкая девчонка на свете.

После этого все было хорошо. Тесно прижавшись, они сидели на качелях и сквозь ветки акации смотрели на звезды, постепенно загоравшиеся в темнеющем летнем небе. Где-то далеко гроыхал по рельсам трамвай и с шумом проносились грузовики; где-то далеко были тетка, дядя и дети; где-то далеко за гаражом кричали разносчики газет. Где-то далеко за стенами сада, в котором они сидели, бурлил и шумел совсем другой мир...

— ...Нет, нет, не нужно...— просила Хоуп.— Я боюсь, боюсь...— умоляла она. И мгновение спустя: — О мой дорогой, мой любимый!

Потом они лежали, потрясенные и подавленные тем огромным, непреодолимым чувством, которое так властно увлекло их. Ной испытывал то робость, то торжество, то растерянность, то смирение. Он опасался, что теперь, когда они так слепо отдались друг другу, Хоуп возненавидит его, и каждое мгновение ее молчания все больше укрепляло его мрачные предчувствия...

— Ну, вот видишь,— заговорила наконец Хоуп и тихо засмеялась.— А ведь совсем не было жарко. Даже несколько.

Потом, когда Ною уже пора было уходить, они вошли в дом. Жмурясь от света, Ной и Хоуп старались не смотреть друг на друга. Чтобы чем-то занять себя, Ной подошел к радиоприемнику и включил его.

Передавали фортепьянный концерт Чайковского. Мягкая, печальная мелодия была словно специально написана для них, только что переставших быть детьми и познавших всю нежность первой разделенной любви.

Хоуп подошла к склонившемуся над приемником Ной и поцеловала его в затылок. Он хотел повернуться к ней, чтобы ответить поцелуем, как вдруг музыка прекратилась и диктор сухим, деловитым тоном произнес: «Передаем специальное сообщение Ассошиэтед Пресс. Наступление немцев продолжается по всему русскому фронту. На линии, простирающейся от Финляндии до Черного моря, введено в действие много новых танковых дивизий».

— Что это? — воскликнула Хоуп.

— Немцы, — ответил Ной, думая о том, как часто теперь приходится произносить это слово. — Немцы вторглись в Россию. Вот о чем кричали на улице газетчики...

— Выключи. — Хоуп протянула руку и сама выключила приемник. — Хоть на сегодня.

Ной ласково обнял ее и услышал, как сильно забилося ее сердце. «И сегодня днем, — подумал он, — пока мы были на свадьбе, пока шли по улицам, а потом сидели здесь, в саду, от Финляндии до Черного моря гремели орудия и умирали люди». Он подумал об этом механически, просто как о факте, не вдаваясь ни в какие рассуждения. Так читают плакат на обочине дороги, проносясь мимо него в машине.

Они уселись на обтрепанную кушетку. За окнами уже совсем стемнело, и крики газетчиков долетали, казалось, откуда-то из невероятной дали — такие странные и неместные в этот спокойный вечер.

— Какой сегодня день? — спросила наконец Хоуп.

— Воскресенье. День отдыха.

— Да, я знаю. А какое число?

— Двадцать второе июня.

— Двадцать второе июня! — прошептала девушка. — Я навсегда запомню этот день.

Когда Ной вернулся домой, Роджер еще не спал. Стоя в темном доме за дверью комнаты и пытаясь придать своему лицу самое будничное выражение, Ной услышал тихие звуки пианино. Роджер, то и дело сбиваясь, наигрывал унылую джазовую мелодию. Он импровизировал. Ной постоял несколько минут в маленьком коридоре, затем открыл дверь и вошел. Роджер, не оборачиваясь, помахал ему рукой и продолжал играть. Ной сел в старенькое, обитое кожей кресло у окна, и комната, в углу которой горела единственная лампа, показалась ему огромной и таинственной.

Там, за открытым окном спал город. Легкий ветер слабо шевелил занавески. Слушая наплывающие друг на друга мрачные аккорды, Ной закрыл глаза, и его охватило стран-

ное ощущение, будто каждая клеточка его усталого тела трепещет, отзываясь на музыку.

Не закончив пассажа, Роджер перестал играть. Положив свои длинные руки на клавиши, он некоторое время смотрел на отполированное, местами поцарапанное дерево старого инструмента, а потом повернулся к Нюю.

— Комната теперь полностью в твоём распоряжении,— проговорил он.

— Что? — Ной широко открыл глаза.

— Завтра я уезжаю,— сказал Роджер, будто продолжая уже давно начатый с самим собой разговор.

— Что, что?! — переспросил Ной, всматриваясь в лицо друга и пытаясь определить, не пьян ли он.

— Ухожу в армию. Кончен бал. Добрались и до нашего брата.

Ной уже не сводил с Роджера недоумевающего взгляда, словно не понимал, о чем тот говорит. «В другое время,— пронеслось у него в голове,— я бы еще мог понять. Но сегодня произошло слишком много».

— Я полагаю,— иронически заметил Роджер,— что кое-какие новости дошли и до Бруклина.

— Ты имеешь в виду события в России?

— Да, я имею в виду события в России.

— Я кое-что слышал.

— Так вот, я собираюсь броситься на помощь русским.

— Что?! Ты намерен вступить в Красную Армию?

Роджер засмеялся, подошел к окну и, ухватившись за занавеску, высунулся на улицу.

— Нет,— ответил он.— В армию Соединенных Штатов.

— И я с тобой,— внезапно решил Ной.

— Спасибо, только не будь идиотом. Подожди, пока тебя не призовут.

— Но ведь и тебя не призывают.

— Пока нет, но я тороплюсь.— Роджер рассеянно завязал узлом и снова развязал одну из занавесок.— Я старше тебя. Подожди своей очереди. Не бойся, тебе не придется долго ждать.

— Ты говоришь так, будто тебе лет восемьдесят!

Роджер снова засмеялся.

— Прости меня, сын мой,— сказал он, поворачиваясь к Нюю и принимая серьезный вид.— До сих пор я изо всех сил старался не замечать происходящего. Но сегодня, послушав радио, я понял, что оставаться в стороне дальше нельзя. Теперь я вновь почувствую себя человеком лишь после того, как возьму в руки винтовку. От Финляндии

до Черного моря,— торжественно произнес он, и Ной вспомнил голос диктора.— От Финляндии до Черного моря и до реки Гудзон и до Роджера Кэннона. Все равно мы скоро будем втянуты в войну, так что я приближаю этот момент для себя, и только. Всю свою жизнь я предпочитал выжидать, но на этот раз выжидать не хочу и сломя голову бросаюсь навстречу... Черт возьми! Да ведь я же все-таки происхожу из военной семьи.— Роджер ухмыльнулся.— Мой дедушка дезертировал под Энтиетамом, а отец оставил трех внебрачных детей в Суассоне.

— И ты считаешь, что своим поступком принесешь какую-то пользу?

— Не спрашивай меня об этом, сын мой,— опять усмехнулся Роджер, но тут же снова стал серьезным.— Никогда не спрашивай. Может быть, это для меня самый правильный путь. До сих пор, как ты, наверно, замечал, у меня не было цели в жизни, а это все равно что болезнь. Вначале появляется едва заметный прыщик, но проходит три года, и ты уже паралитик... А вдруг армия поможет мне найти цель в жизни...— Роджер улыбнулся.— Ну, например, выжить или стать сержантом, или выиграть какую-нибудь там войну... Ты не возражаешь, если я еще побренчу на пиано?

— Конечно, нет,— насупившись ответил Ной.— «Ведь он же умрет! — твердил Ною чей-то голос.— Роджер умрет, его убьют».

Роджер сел за пиано, задумчиво дотронулся до клавишей и заиграл что-то такое, чего Ной никогда раньше не слышал.

— Во всяком случае,— заметил Роджер, продолжая играть,— я рад, что в конце концов вы с девушкой сошлись...

— Что? — растерянно спросил Ной, пытаясь припомнить, не проговорился ли он чем-нибудь Роджеру... — О чем ты толкуешь?

— Это написано на твоей физиономии вот такими буквами,— ухмыльнулся Роджер.— Как на световой рекламе.— И он заиграл на басовых нотах какой-то длинный музыкальный отрывок.

На следующий день Роджер ушел в армию. Он не разрешил Ною проводить его до призывного пункта и отдал ему все свои пожитки: мебель, книги и даже костюмы, хотя Ною они были велики.

— Ничего мне не нужно,— заявил Роджер, критически

осматривая свое добро, накопленное за двадцать шесть лет жизни.— Все это хлам.

Он сунул в карман номер журнала «Нью рипаблик» — почитать в подземке по пути на Уйатхолл-стрит и улыбнулся: «Вот такое у меня хрупкое оружие». Потом нахлобучил шляпу на свою стриженную ежиком голову, помахал Ною и навсегда ушел из комнаты, в которой прожил пять лет. Ной смотрел ему вслед, и к его горлу подступала спазма; он чувствовал, что никогда больше у него не будет друга и что лучший период его жизни закончился.

Ной изредка получал сухие, иронические записки от Роджера из какого-то военно-учебного центра на юге страны, а однажды в конверте оказалась отпечатанная на стеклографе копия приказа по роте о присвоении Роджеру Кэннону звания рядового первого класса. Потом, после длительного перерыва, пришло письмо на двух страничках с Филиппинских островов. В нем описывались публичные дома Манилы и какая-то девица-мулатка с татуировкой на животе, изображавшей американский военный корабль «Техас». В конце письма Роджер размашистым почерком написал: «P. S. Держись на пушечный выстрел от армии. Людям в ней не место».

Уход Роджера в армию дал Ною одно существенное преимущество, и, хотя он с наслаждением воспользовался им, все же острые уколы совести нет-нет да и беспокоили его. Теперь у них с Хоуп была своя комната, им уже не приходилось, страдая от неутоленной страсти, бродить по мостовым или уныло ждать в холодном вестибюле, пока не отправится спать дядюшка — любитель почитать библию на сон грядущий. Они не были больше бездомными любownikами, печальными детьми, затерянными на асфальтовых улицах большого города.

В наконец-то обретенном собственном гнездышке, в убогой комнатухе, хранившей самую сокровенную, самую глубокую тайну их жизни, в головокружительном чередовании приливов и отливов любви и уличный шум внизу, и крики на углах улиц, и прения в сенате, и артиллерийская канонада на других континентах значили для них так мало, словно все это происходило в ином, далеком мире.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Христиан почти не замечал того, что происходит на экране. С трудом заставив себя сосредоточиться, он тут же начинал думать о другом. Между тем фильм был не

лишен определенных достоинств. Он рассказывал об одном воинском подразделении, которое в 1918 году, по пути с Восточного фронта на Западный, попадает на день в Берлин. Лейтенант имел строжайшее приказание не отпускать солдат с вокзала, но он понимал, что люди, которые только что перенесли кровопролитные бои на Востоке, а завтра снова будут брошены в мясорубку на Западе, жаждут повидать своих жен и возлюбленных. Офицер распустил солдат по домам, хотя понимал, что если кто-нибудь из них вовремя не вернется на станцию, его предадут военному суду и, вероятно, расстреляют.

В фильме рассказывалось, как вели себя отпущенные солдаты. Одни из них предались безудержному пьянству, другие чуть было не поддались уговорам евреев и пораженцев остаться в Берлине, третьи, под влиянием жен, совсем было решили не возвращаться в часть. В течение некоторого времени жизнь лейтенанта висела на волоске, и только в самую последнюю минуту, когда поезд уже тронулся, на вокзале появился последний из тех, кому офицер разрешил побывать дома. Так солдаты оправдали доверие своего лейтенанта и отправились во Францию дружной, сплоченной группой. Картина была сделана очень хорошо. В ней было много юмора и пафоса. Она убеждала зрителей в том, что войну проиграла не армия, а трусы и предатели в тылу.

Игра актеров, изображавших участников другой войны, захватила солдат, заполнивших военный кинотеатр. Конечно, офицер в фильме был слишком уж хорош — ничего похожего Христиан в жизни не встречал. Он с горечью подумал, что лейтенанту Гарденбургу следовало бы посмотреть этот фильм не раз и не два. Дело в том, что после кутежа в Париже, по мере того как затягивалась война, Гарденбург все более ожесточался и черствел. По приказу командования полк, в котором они служили, передал все приданные ему танки и бронемашины другим частям, а сам был вскоре переброшен в Ренн. Здесь и застала их война с Россией, и, пока они выполняли тут преимущественно полицейские обязанности, однокашники Гарденбурга получали награды на Восточном фронте.

Однажды утром Гарденбург чуть не задохнулся от ярости, когда узнал, что юнец, вместе с которым он кончал офицерскую школу, прозванный за невероятную тупость Быком, произведен на Украине в подполковники. Гарденбург был безутешен: ведь он по-прежнему оставался лейтенантом, хотя жил припеваючи в двухкомнатном номере

одной из лучших гостиниц города, имел двух любовниц и зарабатывал кучу денег, шантажируя спекулянтов мясом и молочными продуктами. И вот, мрачно размышлял Христиан, безутешный лейтенант срывает свою досаду на ни в чем не повинном унтер-офицере.

Хорошо, что завтра у Христиана начинается отпуск. Он дошел до такого состояния, что и недели дольше не смог бы выдержать ядовитых насмешек Гарденбурга; он совершил бы какой-нибудь безрассудный поступок и был бы обвинен в неповиновении.

«Взять хотя бы сегодняшний случай,— с возмущением думал Христиан.— Гарденбург хорошо знает, что семичасовым утренним поездом я уезжаю в Германию, и все же посылает меня в наряд». В полночь в город должен был отправиться патруль, которому предстояло задержать нескольких молодых французов, уклоняющихся от отправки на работу в Германию, и Гарденбург не нашел нужным поручить это Гиммлеру, или Штейну, или еще кому-нибудь. Он гадливо улыбнулся, скривил тонкие губы и сказал: «Я знаю, Дистль, что вы не станете возражать. По крайней мере, вам не придется скучать в свою последнюю ночь в Ренне. До полуночи можете быть свободны».

Фильм закончился. В заключительных кадрах снятый крупным планом симпатичный молодой лейтенант ласково и задумчиво улыбался своим солдатам в мчавшемся на запад поезде. Зрители дружно аплодировали.

Затем показали киножурнал. На экране замелькали выступающий с речью Гитлер; немецкие самолеты, сбрасывающие бомбы на Лондон; Геринг, прикалывающий орден к груди летчика, который сбил сто самолетов; наступающая на Ленинград пехота на фоне горящих крестьянских домов...

Дистль механически отметил, с каким рвением и как точно солдаты выполняют перед кинообъективом свои обязанности. «Месяца через три,— огорченно вздохнул Христиан,— они возьмут Москву, а я все еще буду торчать в Ренне, выслушивать оскорбления Гарденбурга и арестовывать беременных француженок, которые оскорбляют в кафе немецких офицеров. Скоро вся Россия покроется снегом, а я, один из лучших лыжников Европы, буду наслаждаться благословенным климатом западной Франции и разыгрывать роль полицейского. Да, армия, конечно, чудесный инструмент, но с очень серьезными изъянами...»

Один из солдат на экране упал — не то замаскировался, не то был убит. Во всяком случае, он не поднялся, и ка-

мера кинооператора прошла над ним. Христиан почувствовал, как у него навернулись на глаза слезы. Ему стало немного стыдно за себя, но когда он смотрел фильмы, в которых немцы сражались, а не отсиживались, как он, в безопасности и комфорте за тридевять земель от фронта, ему всегда хотелось плакать. Всякий раз после этого он долго не мог избавиться от чувства вины и беспокойства и часто принимался кричать на своих солдат. Он не виноват, пытался внушить себе Христиан что продолжает жить, в то время как другие гибнут. Он понимал, что и тут, в Ренне, армия выполняет свои обязанности, и тем не менее не мог преодолеть чувства какой-то вины. Это чувство отравляло ему даже мысль о предстоящем двухнедельном отпуске и поездке на родину. Молодой Фредерик Лангерман потерял ногу в Латвии, оба сына Кохов убиты. А он заявится упитанный и целехонький, имея за плечами всего лишь коротенький полукомический бой близ Парижа. Что и говорить — не избежать ему презрительных взглядов соседей.

Война скоро закончится. При этой мысли жизнь до армии, беспечные, беззаботные дни на снежных склонах Альп, дни без лейтенанта Гарденбурга, показались ему до боли милыми и желанными. Так вот. Конец войны не за горами. Сначала разделяются с русскими, затем наконец одумаются англичане, и он забудет эти бесцветные, скучные дни, проведенные во Франции. Спустя два месяца после войны люди перестанут и вспоминать о ней, а писаря, который все три года щелкал костяшками счетов в интендантстве в Берлине, будут уважать не меньше, чем солдат, штурмовавших доты в Польше, Бельгии и России. Не исключено, что в один прекрасный день он увидит Гарденбурга — все еще в чине лейтенанта, а может, даже — вот будет здорово! — демобилизованного за ненадобностью. Христиан отправится в горы и... Он кисло улыбнулся, вспомнив, что уже не раз предавался подобным детским мечтам. Как долго, мысленно спросил он себя, его будут держать в армии после победы? Вот тогда-то и наступит самое трудное время: война отойдет в прошлое, а ему придется ждать, пока его не отпустит на волю огромная, неповоротливая, бюрократическая военная машина.

Киножурнал закончился, и на экране возник портрет Гитлера. Зрители поднялись, салютуя ему, и запели «Германия превыше всего».

Зажегся свет, и Христиан, смешавшись с толпой солдат, медленно двинулся к выходу. Все они, с горечью отметил

Христиан, уже не первой молодости, все какие-то хилые и болезненные; презренные гарнизонные крысы (и он в их числе), оставленные за ненадобностью в мирной стране, в то время как лучшие сыны Германии ведут кровопролитные бои за тысячи километров отсюда. Христиан раздраженно тряхнул головой. Уж лучше не думать об этом, а то, чего доброго, и он станет такой же дрянью, как Гарденбург.

На темных улицах, несмотря на позднее время, еще встречались французы и француженки. Завидев его, они поспешно сходили с тротуара в канаву, и это тоже выводило Христиана из себя. Трусость — одна из самых отвратительных сторон человеческой натуры. Но хуже всего, что это была никчемная и неоправданная трусость. Он не собирается причинять им зла, и вообще армия получила строгие указания вести себя корректно и вежливо по отношению к французам. «Немцы никогда не станут себя так вести, если Германия когда-нибудь окажется под пятой оккупантов», — подумал он, заметив, что шедший навстречу человек споткнулся, сворачивая с тротуара.

— Эй, старик! — крикнул он, останавливаясь.

Француз замер на месте. Согнутые плечи и заметное даже в темноте дрожание рук выдавали его испуг и растерянность.

— Да? — дрогнувшим голосом отозвался француз. — Да, господин полковник?

— Я вовсе не полковник, — зло бросил Христиан. Эта наивная лесть способна довести до бешенства!

— Прошу прощения, месье, но в темноте...

— Никто не заставляет вас сворачивать с тротуара.

— Да, месье, — согласился француз, не двигаясь с места.

— Идите сюда, — приказал Христиан. — Идите на тротуар.

— Слушаюсь, месье. — Француз боязливо ступил на тротуар. — Вот мой пропуск. Все документы у меня в полном порядке.

— Мне не нужны ваши проклятые документы!

— Как прикажете, месье, — покорно пробормотал француз.

— Марш домой! — крикнул Христиан.

— Слушаюсь, месье.

Француз поспешил прочь, и Христиан отправился дальше. «Новая Европа! — усмехнулся он. — Мощная федерация динамичных государств! Уж только не с таким человеческим материалом, как этот». Скорее бы закончилась война.

Или пусть бы его послали туда, где слышен гром орудий. А всему виной гарнизонная жизнь — наполовину штатская, наполовину военная, со всеми недостатками той и другой. Она разлагает душу человека, убивает все его стремления, подрывает веру в себя. Но может быть, ходатайство о зачислении в офицерскую школу будет удовлетворено, его произведут в лейтенанты, направят в Россию или в Африку, и с нынешней жизнью будет покончено?

Христиан подал рапорт три месяца назад, но до сих пор не получил ответа. Наверное, рапорт лежит в куче бумаг на письменном столе у какого-нибудь жирного ефрейтора в военном министерстве.

Но как все это не похоже на то, что он ожидал встретить, уезжая из дома, и даже совсем недавно, в день вступления в Париж... Христиан вспомнил рассказы о прошлой войне. Нерушимая, возникшая под огнем солдатская дружба, суровое сознание выполненного долга, взрывы энтузиазма. Он припомнил окончание «Волшебной горы»¹ — Ганс Касторп, под огнем французов с песней Бетховена на устах перебегающий покрытый цветами луг... Не так бы нужно было закончить книгу. Следовало добавить главу, в которой Касторп примеряет в интендантском складе в Льеже огромные, не по размеру ботинки и уже не поет песен.

А миф о солдатской дружбе! По дороге в Париж ему одно время казалось, что они с Брандтом смогут стать друзьями. То же самое он подумал даже о Гарденбурге, когда они направлялись по Итальянскому бульвару на площадь Оперы. Однако Брандт получил производство, стал важным молодым офицером, имеет в Париже отдельную квартиру и сотрудничает в армейском журнале. Что касается Гарденбурга, то он оказался даже хуже, чем думал о нем Христиан в дни солдатской муштры. Да и остальные... Самые настоящие свиньи — никуда не денешься. Они денно и ночью благодарят бога, что находятся в Ренне, а не под Триполи или под Кисвом, ведут грязную спекуляцию с французами и откладывают кругленькие суммы на случай послевоенной депрессии. Как же можно дружить с подобными людьми? Самые настоящие дезертиры, ростовщики в военной форме! Как только возникала угроза, что человека отправят на фронт, он пускал в ход все свои связи, подкупал полковых писарей, шел на все, только бы остаться в тылу.

Христиан служил в десятиmillionной армии, но никогда

¹ Роман немецкого писателя Томаса Манна (1875—1955) — *Прим. ред.*

еще не чувствовал себя таким одиноким. Во время следующего отпуска он отправится в Берлин, в военное министерство. Он найдет там знакомого полковника, с которым работал в Австрии еще до аншлюса¹, и попросит перевести его в одну из частей действующей армии. Он согласится поехать на фронт даже в качестве рядового...

Дистль взглянул на часы. До явки в канцелярию роты оставалось еще двадцать минут. На другой стороне улицы он заметил кафе, и ему вдруг захотелось выпить.

Открыв дверь, Христиан увидел четырех солдат, распивающих за столом шампанское. По всему было видно, что пьют они давно: раскрасневшиеся лица, расстегнутые мундиры... Двое из них были небриты.

«Пьют шампанское! — со злостью отметил Христиан. — Уж конечно, не на солдатское жалованье. Наверное, продают французам краденое немецкое оружие. Правда, французы пока не пустили его в ход, но, кто знает, что будет дальше? Даже к французам может вернуться мужество... Немецкая армия превратилась в огромную банду спекулянтов кожей, боеприпасами, нормандским сыром, вином и телятиной. Если немецкие солдаты пробудут во Франции еще года два, то лишь по форме можно будет отличить их от французов. Вот она, коварная и низкая победа галльского духа».

— Вермут! — приказал Христиан владельцу кафе, тревожно поглядывавшему из-за стойки бара. — А впрочем, лучше коньяк.

Прислонившись к стойке, Христиан смотрел на солдат. Шампанское, вероятно, было скверное. Брандт как-то рассказывал ему, что французы часто наклеивают самые громкие ярлыки на самое отвратительное вино. Это была своего рода месть французов ненавистным бошам, поскольку те не могли разобраться в обмане, месть тем более приятная для французов, что они извлекали из нее двойную выгоду: проявляли свой патриотизм и получали немалые барыши.

Заметив, что Христиан наблюдает за ними, солдаты смутились и поубавили тон, не забывая, однако, о своем шампанском. Один из солдат виновато провел рукой по небритым щекам. Хозяин поставил перед Христианом коньяк. Потягивая вино, Христиан с тем же мрачным видом продолжал наблюдать за солдатами. Один из них вытащил бумажник, чтобы расплатиться за очередную бутылку, и

¹ Аншлюс — насильственное присоединение Австрии к фашистской Германии в марте 1938 года.— *Прим. ред.*

Христиан увидел, что он битком набит небрежно сложенными франками. Боже мой! И ради таких бандитов другие немцы штурмуют русские позиции? Ради этих жирных лавочников немецкие летчики гибнут над Лондоном?

— Эй, ты! — крикнул Христиан. — Подойди-ка сюда!

Солдат растерянно взглянул на товарищей, но те молча уставились в свои бокалы. Солдат медленно встал и сунул бумажник в карман.

— Пошевеливайся! — яростно заорал Христиан. — Сейчас же иди сюда!

Побледневший солдат, шаркая ногами, подошел к Христиану.

— Как ты стоишь? Встать смирно!

Перепуганный солдат вытянулся и замер.

— Фамилия? — отрывисто спросил Христиан.

— Рядовой Ганс Рейтер, господин унтер-офицер, — заикаясь, пробубнил солдат.

Христиан вынул карандаш и клочок бумаги и записал.

— Часть?

— Сто сорок седьмой саперный батальон. — Рейтер с трудом проглотил слюну.

Христиан снова записал.

— В следующий раз, рядовой Рейтер, когда пойдешь пьянствовать, потрудись побриться и держать мундир застегнутым. И еще: помни, что при обращении к начальникам следует стоять по стойке «смирно». Я сообщу о тебе куда следует для наложения дисциплинарного взыскания.

— Слушаюсь, господин унтер-офицер.

— Можешь идти.

Рейтер облегченно вздохнул и вернулся к столу.

— И вы тоже приведите себя в надлежащий вид, — зло крикнул Христиан сидевшим за столом солдатам.

Солдаты молча застегнули мундиры.

Христиан повернулся к ним спиной и взглянул на хозяина.

— Еще коньячку, господин унтер-офицер?

— Нет.

Христиан допил коньяк, бросил несколько бумажек на стойку и вышел, не оглянувшись на притихших в углу солдат.

Гарденбург в фуражке и перчатках сидел в канцелярии. Выпрямившись, словно он ехал верхом на лошади, лейтенант рассматривал висевшую на противоположной стене комнаты карту. Это была выпущенная министерством пропаганды карта России с линией фронта по состоянию на вторник прошлой недели, вся испещренная победными черно-

красными стрелками. Канцелярия размещалась в старом здании французской полиции. Под потолком горела маленькая лампочка. С целью светомаскировки окна и ставни были закрыты. В комнате было душно, и казалось, что в спертom воздухе витают тени всех перебивавших здесь жуликов и воришек.

Войдя в канцелярию, Христиан заметил, что у окна, неловко переминаясь с ноги на ногу и искоса поглядывая на Гарденбурга, стоит маленький, невзрачный человек в форме французской милиции. Христиан вытянулся и отдал честь. «Нет,— подумал он при этом,— так не может продолжаться вечно, этому должен когда-нибудь наступить конец...»

Гарденбург даже не взглянул на него, и Христиан застыл в ожидании, не сводя глаз с лейтенанта. Он хорошо изучил своего начальника и не сомневался, что тот знает о его присутствии.

Наблюдая за Гарденбургом, Христиан чувствовал, что ненавидит этого человека сильнее, чем любого из своих врагов, сильнее, чем вражеских танкистов и минометчиков.

Гарденбург взглянул на часы.

— Так-с,— протянул он.— Унтер-офицер явился вовремя?

— Так точно, господин лейтенант.

Гарденбург подошел к заваленному бумагами письменному столу и уселся за него.

— Вот тут сообщаются фамилии и даны фотографии трех лиц, которых мы разыскиваем,— начал он, взяв одну из бумаг.— В прошлом месяце они были вызваны для отправки на работу в Германию, но до сих пор уклоняются от явки. Этот господин...— он небрежно, с презрительной миной кивнул в сторону француза,— этот господин якобы знает где можно найти всех троих.

— Да, господин лейтенант,— подобострастно подтвердил француз.— Совершенно верно, господин лейтенант.

— Возьмите наряд из пяти солдат,— продолжал Гарденбург так, словно француза и не было в канцелярии,— и арестуйте этих людей. Во дворе стоит грузовик с шофером. Солдаты уже в машине.

— Слушаюсь, господин лейтенант.

— А ты,— обратился Гарденбург к французу,— убирайся отсюда.

— Слушаюсь, господин лейтенант,— чуть не задохнувшись от избытка рвения, ответил француз и быстро выскочил за дверь.

Гарденбург снова принялся рассматривать карту на стене. В комнате было очень жарко, и Христиан весь вспотел. «В немецкой армии столько лейтенантов,— подивился он,— а меня угораздило попасть именно к Гарденбургу!»

— Вольно, Дистль,— бросил Гарденбург, не оборачиваясь.

Христиан переступил с ноги на ногу.

— Все в порядке? — спросил офицер, словно продолжал начатую ранее беседу.— Вы получили все отпускные документы?

— Так точно, господин лейтенант,— ответил Христиан. «Ну вот,— пронеслось у него в голове,— сейчас он отменит мой отпуск. Это просто невыносимо!»

— Вы заедете в Берлин по пути домой?

— Да, господин лейтенант.

Гарденбург кивнул, все еще не отводя глаз от карты.

— Счастливцев! Две недели среди немцев, не видеть этих свиней.— Он резким кивком головы указал на то место, где только что стоял француз.— Я четыре месяца добиваюсь отпуска,— с горечью продолжал он.— Но, оказывается, без меня тут невозможно обойтись, я, видите ли, слишком важная персона...— Лейтенант горько усмехнулся.— Скажите, вы могли бы оказать мне услугу?

— Конечно, господин лейтенант,— поспешил заверить его Христиан и тут же мысленно выругал себя за такое рвение.

Гарденбург вынул из кармана связку ключей, открыл один из ящиков стола, достал небольшой, аккуратно завязанный сверток и снова тщательно запер ящик.

— Моя жена живет в Берлине. Вот ее адрес,— он передал Христиану клочок бумаги.— Мне удалось... раздобыть... кусок замечательного кружева,— лейтенант небрежно пощелкал пальцем по свертку.— Исключительно красивое черное кружево из Брюсселя. Моя жена очень любит кружева. Я надеялся передать ей сам, но мой отпуск... Вы же знаете. А почта...— Гарденбург покачал головой.— Должно быть, все воры Германии теперь работают на почте. После войны,— внезапно загорелся он,— нужно будет провести тщательное расследование... Впрочем... я подумал, если это не доставит вам особых хлопот, тем более что моя жена живет совсем недалеко от вокзала...

— Я буду рад выполнить ваше поручение,— прервал его Христиан.

— Благодарю.— Гарденбург вручил Христиану сверток.— Передайте жене мой самый нежный привет. Можете

даже сказать, что я постоянно думаю о ней,— криво улыбнулся он.

— Слушаюсь, господин лейтенант.

— Очень хорошо. Ну, а теперь относительно этих людей,— он ткнул пальцем в лежащую перед ним бумагу.— Я знаю, что могу положиться на вас.

— Так точно, господин лейтенант.

— Я получил указание, что отныне в подобных делах рекомендуется проявлять больше строгости — в назидание всем остальным. Накричать, пригрозить оружием, хорошенько стукнуть... Ну, вы, надеюсь, понимаете.

— Да, господин лейтенант,— ответил Христиан, машинально прощупывая мягкое кружево в свертке, который он осторожно держал в руках.

— Все, унтер-офицер.— Гарденбург повернулся к карте.— Желаю вам хорошо провести время в Берлине.

— Спасибо, господин лейтенант.— Христиан поднял руку.— Хайль Гитлер!

Но Гарденбург мысленно уже двигался в стремительно несущемся танке по дороге на Смоленск и лишь небрежно махнул рукой. Выйдя из канцелярии, Христиан затолкал кружево под мундир и тщательно застегнулся на все пуговицы, чтобы сверток как-нибудь не выпал.

Первые двое, фамилии которых были указаны в списке Христиана, скрывались в заброшенном гараже. При виде вооруженных солдат они только горько усмехнулись и, не оказав никакого сопротивления, вышли из гаража.

По второму адресу милиционер-француз привел их в район трущоб. В доме пахло канализацией и чесноком. Подросток — немцы стащили его с кровати — уцепился за мать, и оба истерически разрыдались. Мать укусила одного из солдат, и тот ударом в живот сбил ее с ног. За столом, уронив голову на руки, плакал старик. В общем, все получилось отвратительно. В той же квартире они обнаружили в шкафу еще одного человека, как показалось Христиану, еврея. Документы у него оказались просроченными, он был так напуган, что не мог отвечать на вопросы. Сначала Христиан решил оставить его в покое. В конце концов, его послали арестовать трех юношей, а не задерживать всех подозрительных лиц. Если подтвердится, что этот человек еврей, его отправят в концлагерь, иными словами на верную смерть. Но человек из милиции не спускал с Христиана глаз.

— Еврей! — шептал он.— Это еврей!

Конечно, он все расскажет Гарденбургу, тот немедленно вызовет Христиана из отпуска и обвинит его в нарушении служебного долга.

— Придется вам отправиться с нами,— сказал он неизвестному.

Тот был полностью одет и, видимо, даже спал в ботинках, готовый скрыться при малейшей тревоге. Он растерянно оглянулся вокруг, посмотрел на пожилую женщину, которая, держась за живот, стонала на полу, на старика, который сидел за столом и плакал, опустив голову на руки, на распятие, висевшее над письменным столом. Казалось, он прощался со своим последним убежищем перед тем, как уйти на смерть. Он пытался что-то сказать, но лишь беззвучно шевелил побелевшими губами.

Вернувшись в полицейские казармы, Христиан с чувством облегчения передал арестованных дежурному офицеру и сел за стол Гарденбурга писать рапорт. Все это дело заняло немногим более трех часов. Он уже дописывал рапорт, когда его внимание привлек исступленный вопль, донесшийся откуда-то из глубины здания. «Варвары! — нахмурился он.— Стоит только человеку стать полицейским, и он тут же превращается в садиста». Он решил было пойти прекратить пытки и уже поднялся со стула, но тут же раздумал. Возможно, там присутствует какой-нибудь офицер, и тогда ему не миновать нагоняя за то, что он вмешивается не в свои дела.

Христиан оставил рапорт на столе Гарденбурга, чтобы тот утром сразу же увидел его, и вышел из здания. Стояла чудесная осенняя ночь, в небе, высоко над домами, горели яркие звезды. Ночью город выглядел гораздо привлекательнее, а освещенная луной большая, геометрически правильная, безлюдная в эти часы площадь перед ратушей была даже красива. Неторопливо шагая по мостовой, Христиан подумал, что, в конце концов, не так уж тут плохо, особенно если учесть, что он мог оказаться в каком-нибудь захолустье похуже этого.

Недалеко от набережной он свернул в одну из боковых улиц и позвонил в дом Коринны. Консьержка с ворчанием открыла дверь, но, увидев его, почтительно умолкла.

Христиан поднялся по скрипучим ступенькам старой лестницы и постучался. Дверь сразу же открылась, словно Коринна не ложилась спать, поджидая любовника. Она ласково поцеловала Христиана. На ней была полупрозрачная ночная рубашка, и, прижимая женщину к себе, Христиан почувствовал сквозь тонкую ткань теплоту ее согретого сном тела.

Коринна, крупная женщина с пышной копной крашенных волос, была женой французского капрала, взятого в плен в 1940 году под Мецем. Сейчас его держали в трудовом лагере где-то в районе Кенигсберга. Впервые Христиан встретил ее в кафе месяцев семь назад. Тогда она показалась ему чувственной и необыкновенно привлекательной. В действительности же Коринна оказалась самой заурядной особой — привязчивой и добродушной. Часто, лежа рядом с Коринной на огромной двуспальной кровати французского капрала, Христиан думал, что за таким добром не стоило ездить во Францию. В Баварии и Тироле наверняка найдется миллионы пять таких же дебелих медлительных крестьянок. Очаровательные, живые и остроумные француженки, воспоминания о которых заставляли быстрее биться сердце каждого, кто хоть раз бродил по пестрым улицам Парижа и южнофранцузских городов, просто не встречались Христиану.

«Да,— думал он, опустившись в массивное резное ореховое кресло в спальне Коринны и снимая ботинки,— видимо, такие женщины предназначены только для офицеров». Он с раздражением вспомнил, что его ходатайство о зачислении в офицерскую школу так и затерялось где-то в канцелярских дебрях бюрократической армейской машины. А тут еще... Христиан с трудом скрыл гримасу отвращения, заметив, как деловито, по-семейному, Коринна укладывается в постель. Выключив свет, Христиан открыл окно, хотя Коринна, как и все французы, страшно боялась свежего ночного воздуха. Только он улегся рядом с Коринной, как в ночном небе послышался далекий пульсирующий гул моторов.

— Милый...— начала было Коринна.

— Ш-ш! — остановил ее Христиан.— Слушай!

Они стали прислушиваться к нарастающему гулу моторов. Он возвещал о возвращении летчиков из мрачных и холодных глубин английского неба, о возвращении оттуда, где над Лондоном судорожно метались, перекрещиваясь, лучи прожекторов, о возвращении после отчаянной игры со смертью среди аэростатов заграждения, ночных истребителей и рвущихся снарядов. И снова, как и в кинотеатре, когда он увидел падающего на русскую землю солдата, Христиан почувствовал, что готов разрыдаться...

Когда Христиан проснулся, Коринна уже встала и приготовила завтрак. Она подала ему белый хлеб, который он принес из пекарни офицерской столовой, и жидкий черный кофе. Кофе был, конечно, эрзацем, и, сидя в полутемной

кухне и прихлебывая из чашки, Христиан чувствовал, как у него сводит рот. Заспанная, растрепанная и неопрятная, Коринна двигалась по кухне с неожиданной для своей полноты легкостью. Когда она опустилась на стул напротив Христиана, ее халат раскрылся, и он увидел грубую, бледную кожу на ее груди.

— Милый,— начала она, шумно втягивая в себя кофе,— ты не забудешь меня в Германии?

— Нет.

— Ты вернешься через три недели?

— Да.

— Это точно?

— Да, точно.

— И ты привезешь что-нибудь своей маленькой Коринне? — неуклюже кокетничала она.

— Да, что-нибудь привезу.

Лицо Коринны расплылось в улыбке. Она постоянно спрашивала то новое платье, то мясо с черного рынка, то чулки, то духи, то немного денег, чтобы обновить обивку кушетки...

«Вот вернется из Германии супруг-капрал,— брезгливо скривился Христиан,— и обнаружит, что его женушку тут совсем неплохо снабжали. Если он вздумает заглянуть в шкафы, то, несомненно, пожелает задать ей несколько вопросов».

— Милый,— продолжала Коринна, энергично разжевывая смоченный в кофе хлеб,— я договорилась с деверем, что после твоего возвращения из отпуска вы обязательно встретитесь.

— Это еще зачем? — Христиан озадаченно взглянул на Коринну.

— Но я же тебе рассказывала о нем. Это мой деверь, у него молочная ферма: молоко, яйца, сыр. Он получил от маклера очень хорошее предложение и сможет заработать целое состояние, если война затянется.

— Чудесно. Рад слышать, что твоя семья процветает.

— Милый...— Коринна укоризненно взглянула на него.— Ну не будь же таким! Все не так просто, как тебе кажется.

— Что ему нужно от меня?

— Все дело в том, как доставлять продукты в город.— Коринна словно оправдывалась перед Христианом.— Ты же сам понимаешь, патрули на дорогах и при въездах в город, постоянные проверки... В общем, тебе понятно...

— Ну и что же?

— Вот он и спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь немецкого офицера...

— Я не офицер.

— Мой деверь говорит, что подойдет и унтер-офицер и вообще любой, кто может достать пропуск и раза три в неделю по вечерам встречать грузовик за городом и провожать в город...

Коринна встала, обошла вокруг стола и начала гладить Христиана по голове. Его передернуло: она, конечно, и не подумала вытереть свои масляные руки.

— Деверь готов поровну делиться барышами,— многозначительно подчеркнула Коринна.— А позднее, если ты достанешь бензин и он сможет использовать еще два грузовика, ты станешь богатым человеком. Ты же знаешь, что этим занимаются все: твой лейтенант...

— Мне известно, чем занимается мой лейтенант.

«Черт возьми! — мысленно выругался Христиан.— Муж этой женщины гниет в тюрьме, а брат мужа жаждет вступить в грязную сделку с немцем, любовником своей невестки. Вот они, прелести французской семейной жизни!»

— В денежных делах, дорогой, нужно быть практичным, — улыбнулась Коринна, крепко обнимая его за шею.

— Скажи своему паршивому деверю,— громко заявил Христиан,— что я солдат, а не спекулянт.

Коринна опустила руки.

— Ну, знаешь,— жестко заметила она,— незачем зря оскорблять людей. Все другие тоже солдаты, но это не мешает им набивать карманы.

— Я не отношусь к этим «другим!» — крикнул Христиан.

— Ну вот,— жалобно захныкала Коринна,— вся ясно: твоя маленькая Коринна уже надоела тебе!

— О, черт! — Христиан быстро надел мундир и пилотку, рванул дверь и вышел.

Свежий, пропитанный тонким ароматом предрассветных сумерек воздух подействовал на него успокаивающе. Все-таки он очень удобно пристроился у Коринны. Не всякому так удается.

«Ладно,— решил он,— дело не спешное, может обождать до возвращения из отпуска».

Христиан зашагал по улице. Он не выпался, но радостное волнение при мысли, что в семь утра он уже будет сидеть в поезде, уносящем его домой, усиливалось с каждой минутой.

Залитый лучами яркого осеннего солнца, Берлин был чудесен. Вообще-то Христиан не очень любил этот город, но сегодня, проходя по его улицам с чемоданом в руке, он с удовольствием отметил, что царящая в столице атмосфера какой-то уверенности и собранности, щегольская, отлично сшитая форма военных и элегантные костюмы штатских, заметный во всем дух бодрости и довольства приятно отличаются от серости и скуки французских городов, где он провел последний год.

Христиан вынул из кармана бумажку с адресом фрау Гарденбург и вдруг вспомнил, что забыл доложить о том небритом сапере, которого отчитывал в кафе. Ну ничего, он сделает это, когда вернется.

Христиан размышлял, как ему поступить: найти сначала место в гостинице или сразу же отнести сверток жене Гарденбурга. В конце концов он решил, что в первую очередь займется свертком, разделается с поручением лейтенанта, а потом целые две недели будет сам себе хозяин и над ним не будут висеть никакие обязанности, связанные с тем миром, который он оставил в Ренне. Шагая по солнечным улицам, Христиан неторопливо обдумывал программу своего отпуска. Во-первых, концерты и театры. Есть специальные бюро, где солдатам бесплатно дают билеты: ему ведь нужно экономить деньги. Жаль, что сейчас еще рано ходить на лыжах, это было бы лучше всего. Но Христиан ни за что не решился бы опоздать из отпуска. Он давно уже уяснил, что в армии всякое промедление смерти подобно и что если он с опозданием вернется в полк, то уже никогда не сможет рассчитывать на получение отпуска.

Гарденбурги жили в новом внушительного вида здании. В подъезде стоял швейцар в униформе, пол вестибюля покрывали толстые ковры. В ожидании лифта Христиан с удивлением спрашивал себя, как это жена простого лейтенанта ухитряется жить так шикарно.

Лифт остановился на четвертом этаже, Христиан отыскал нужную квартиру и позвонил. Дверь приоткрылась, и он увидел перед собой какую-то блондинку. Волосы у нее были растрепаны, она выглядела так, будто только что поднялась с постели.

— Да? — сухо и неприязненно спросила она. — Что вам нужно?

— Я унтер-офицер Дистль из роты лейтенанта Гарденбурга, — ответил Христиан и подумал: «Неплохо, видно, ей живется, валяется в постели до одиннадцати часов».

— В самом деле? — насторожилась женщина, все еще

не решаясь полностью открыть дверь. На ней был стеганный халат из пурпурного шелка. Нетерпеливыми, грациозными движениями женщина то и дело поправляла упрямо спускавшиеся на глаза волосы, и Христиан не мог не отметить про себя: «Недурная штучка у лейтенанта, совсем недурная!»

— Я только что приехал в отпуск,— неторопливо, чтобы успеть получше рассмотреть фрау Гарденбург, объяснял Христиан. Это была высокая женщина с гибкой талией и пышным, красивым бюстом, выделявшимся даже под халатом.— Лейтенант попросил меня передать вам подарок от него.

Несколько секунд женщина задумчиво смотрела на Христиана. У нее были большие, холодные серые глаза, взгляд которых показался Христиану слишком уж расчетливым и взвешивающим. Наконец она решилась улыбнуться.

— Ах так! — воскликнула она, и в ее голосе прозвучали приветливые нотки.— Я вас знаю. Вы тот серьезный, что на ступенях Оперы.

— Что? — опешил Христиан.

— Помните снимок, сделанный в день падения Парижа?

— Ах, да! — вспомнил Христиан и улыбнулся.

— Так заходите же...— Она взяла его за руку и потянула за собой.— Возьмите свой чемодан. Как это мило с вашей стороны навестить меня! Заходите, заходите...

В огромной гостиной с большим, зеркального стекла окном, выходящим на соседние крыши, царил неописуемый беспорядок. На полу валялись бутылки, стаканы, окурки сигар и сигарет, на столе стоял разбитый бокал, а по стульям были разбросаны различные предметы дамского туалета. Фрау Гарденбург обвела взглядом эту картину и сокрушенно покачала головой.

— Ужасно, не правда ли? Но сейчас невозможно держать горничную.— Она переставила с одного стола на другой какую-то бутылку, высыпала в камин содержимое пепельницы, потом снова посмотрела вокруг и в отчаянии воскликнула: — Нет, не могу! Я просто не могу! — и бесильно опустилась в глубокое кресло, вытянув длинные голые ноги в красных на меху домашних туфлях с высокими каблуками.

— Садитесь, унтер-офицер,— пригласила она,— и не обращайте внимания на этот хаос. Я все время твержу себе, что во всем виновата война.— Женщина засмеялась.— После войны я буду жить совсем по-другому и стану образцовой домашней хозяйкой, у которой каждая булавка будет иметь свое место. Ну, а пока...— она жестом обвела ком-

нату,— пока лишь бы выжить. Лучше расскажите мне о лейтенанте.

— Ну что ж,— начал Христиан, тщетно пытаясь вспомнить что-нибудь хорошее или забавное о Гарденбурге и не проболтаться, что у него две любовницы в Ренне и что он один из наиболее крупных и наглых спекулянтов во всей Бретани.— Ну что ж, как вам, очевидно, известно, он очень недоволен...

— Ах, да! — оживилась фрау Гарденбург, наклоняясь к Христиану.— Подарок! Где же подарок?

Христиан неловко рассмеялся, подошел к чемодану и вынул сверток. Наклоняясь над чемоданом, он чувствовал на себе пристальный взгляд фрау Гарденбург. Христиан повернулся к ней, но она не опустила глаз, вводя его в смущение своим прямым, вызывающим взглядом. На губах у нее появилась едва заметная, двусмысленная улыбка. Христиан вручил ей сверток, но фрау Гарденбург даже не взглянула на него, все с тем же упорством гипнотизируя Христиана взглядом. «Она похожа на индианку,— подумал Христиан.— Настоящая дикая индианка».

— Благодарю вас,— наконец сказала она и, отвернувшись, быстрыми, нервными движениями длинных пальцев с наманикюренными ногтями разорвала серую помятую бумагу.— Кружево,— равнодушно проговорила она.— У какой вдовы оно его украл.

— Что?!

— Ничего, так! — засмеялась фрау Гарденбург и, словно извиняясь, дотронулась до плеча Христиана.— Я не хочу подрывать авторитет мужа в глазах его подчиненных.— Она набросила кружево на голову, и его мягкие черные складки красиво оттенили ее прямые светлые волосы.— Ну как? — спросила она, близко наклоняясь к Христиану. Дистль был достаточно опытным, чтобы понять выражение ее лица. Он шагнул к фрау Гарденбург, она протянула к нему руки, и Христиан поцеловал ее.

Женщина резко повернулась и, не оглядываясь, не снимая с головы свисавшего до талии кружева, пошла в спальню.

«Ручаюсь,— подумал Христиан, направляясь вслед за ней,— что эта будет поинтереснее Коринны...»

Постель была смята. На полу стояли два стакана, а на стене висела фривольная картина: обнаженный пастушок на склоне холма домогается любви мускулистой пастушки.

Фрау Гарденбург была лучше Коринны, лучше любой другой женщины, с которой Христиан когда-либо имел связь; она была лучше американских студенток, приезжавших в Австрию кататься на лыжах; лучше английских леди, которые по ночам тайком убегали из своих отелей на свидания; лучше полногрудых девственниц его юности; лучше девиц легкого поведения из парижских кафе; лучше всех женщин, которых когда-либо рисовало его воображение. «Хотел бы я,— с мрачным юмором подумал Христиан,— чтобы лейтенант поглядел на меня сейчас».

Усталые и пресыщенные, они лежали рядом на кровати, посматривая на свои освещенные лунным светом тела.

— Я ждала твоего прихода с того самого дня, как увидела эту фотографию,— заговорила фрау Гарденбург. Она перегнулась через край кровати и достала наполовину опорожненную бутылку.— Пойди принеси из ванной чистые стаканы.

Христиан послушно встал с кровати. В ванной сильно пахло туалетным мылом, на полу лежала куча грязного розового белья. Разыскав стаканы, он возвратился в комнату.

— Дойди до двери и медленно вернись ко мне,— попросила фрау Гарденбург.

Смущенно улыбаясь, Христиан со стаканами в руках вернулся к двери ванной комнаты и медленно пошел обратно по толстому ковру, испытывая неловкость под испытующим взглядом женщины.

— В Берлине так много толстых старых полковников,— сказала фрау Гарденбург,— что я уже забыла, как выглядит настоящий мужчина.— Она взяла с пола бутылку.— Водка. Один друг привез мне три бутылки из Польши.

Сидя на краю кровати, он держал стаканы, пока она наливала водку. Потом она поставила открытую бутылку на пол. Крепкая жидкость обожгла ему горло. Женщина осушила свой стакан одним духом.

— Ну, вот мы и ожили,— сказала она, снова потянувшись за бутылкой и молча наполнила стаканы.— Долго же ты добирался до Берлина,— добавила она, чокаясь с Христианом.

— Я был идиотом. Я не знал, что так получится,— усмехнулся Христиан.

Они выпили. Женщина бросила свой стакан на пол и привлекла к себе Христиана.

— Через час мне нужно уходить,— прошептала она.

Потом, когда, все еще лежа в кровати, они допили бутылку, Христиан встал и отыскал в шкафу другую. Шкаф

был заставлен самыми разными винами. Тут была водка из Польши и России, виски, захваченное у англичан в 1940 году, шампанское, коньяк и бургундское в соломенных плетенках, палинка из Венгрии и аквавита, шартрез и херес, бенедиктин и белое бордо. Христиан открыл бутылку и поставил ее на пол у кровати — женщине оставалось только протянуть руку, чтобы взять ее. Она мрачно смотрела на Христиана полупокорными, полуненавидящими глазами.

«Самое волнующее в этой женщине, — внезапно решил Христиан, опускаясь на кровать, — ее взгляд. Наконец-то война принесла мне нечто запоминающееся!»

— Сколько ты намерен еще пробыть здесь? — спросила фрау Гарденбург своим низким голосом.

— В постели?

— В Берлине, — засмеялась она.

— Я... — начал было Христиан и умолк. Он хотел сказать, что собирается прожить в Берлине неделю, а потом уехать на неделю домой, в Австрию, но передумал. — Я пробуду здесь две недели.

— Хорошо, — с мечтательным видом ответила женщина и провела рукой по его коже. — Хорошо, но не совсем. Пожалуй, я переговорю кое с кем из своих друзей в военном министерстве. Неплохо будет, если тебя переведут в Берлин. Как ты думаешь?

— Я думаю, — с расстановкой ответил Христиан, — что это блестящая мысль.

— А сейчас давай выпьем еще. Если бы не война, я так бы и не узнала, что такое водка. — Фрау Гарденбург засмеялась и снова налила ему вина.

— Сегодня вечером после двенадцати. Хорошо?

— Да.

— У тебя нет другой женщины в Берлине?

— Нет, другой женщины у меня нигде нет.

— Бедный унтер-офицер! Бедный лгунишка! А у меня есть лейтенант в Лейпциге, полковник в Ливии, капитан в Абвиле, еще один в Праге, майор в Афинах, генерал на Украине. Я уже не говорю о муже — лейтенанте в Ренне... Так, значит, после двенадцати?

— Да.

— Война... Она разбросала всех моих любовников. Ты — первый унтер-офицер, с которым я познакомилась во время войны. Ты гордишься этим?

— Чепуха.

Она захихикала.

— Сегодняшний вечер я провожу с одним полковником.

Он должен подарить мне манто из соболей, которое привез из России. Представляешь, как он изумится, если я вздумаю сказать ему, что дома меня ждет маленький унтер-офицер?

— А ты не говори.

— Я только намекну. Сначала, конечно, получу манто, а уж потом сделаю маленький грязенький намек... Пожалуй, я заставлю их произвести тебя в лейтенанты. Такой способный молодой человек! — Женщина снова хихикнула. — Я вижу, ты смеешься. А я могу сделать это — нет ничего проще... Давай выпьем за лейтенанта Дистля.

Они выпили за лейтенанта Дистля.

— Что ты будешь делать сегодня днем? — поинтересовалась фрау Гарденбург.

— Ничего особенного. Гулять, ждать полуночи.

— Пустая трата времени. Лучше купи-ка мне маленький подарок. — Женщина встала, взяла со стола кружево и набросила его на голову. — Булавка или небольшая брошка будет здесь очень хороша, — сказала она, придерживая кружево под подбородком. — Правда?

— Да.

— На углу Тауентцинштрассе и Курфюрстендамм есть хороший магазинчик. Там продается гранатовая булавка. Мне кажется, она вполне подойдет. Можешь заглянуть в этот магазин.

— Обязательно.

— Ну и чудесно. — Женщина, улыбаясь, скользящей походкой подошла к кровати и, опустившись на одно колено, поцеловала его в шею. — Со стороны лейтенанта было очень, очень мило послать мне кружево! — прошептала она. — Я должна написать ему и сообщить, что оно благополучно доставлено по назначению.

Христиан отправился в магазин на Тауентцинштрассе и купил небольшую гранатовую булавку. Он держал ее в руке, пытаясь представить, как она будет выглядеть на фрау Гарденбург, и ухмыльнулся, вспомнив, что не знает даже имени этой женщины. Булавка стоила двести сорок марок, однако Христиан решил, что сэкономит на чем-нибудь другом. Он нашел около вокзала маленький, дешевый пансион и оставил там чемодан. Это было грязное, переполненное солдатами заведение, но Христиан не придавал этому большого значения, поскольку он не собирался бывать здесь часто.

Матери Христиан послал телеграмму, сообщив, что не

может приехать домой, и попросил одолжить двести марок. С тех пор, как ему исполнилось шестнадцать лет, Христиан впервые обращался к матери с подобной просьбой, но он знал, что в этом году его семья неплохо зарабатывает и такая сумма не обременит ее.

Вернувшись в пансион, Христиан лег и попытался уснуть, но тщетно: утреннее приключение не выходило у него из головы. Он встал, переменял белье, побрился и вышел из пансиона. Часы показывали половину шестого, на улице еще было светло. Христиан медленно пошел по Фридрихштрассе, с довольной улыбкой прислушиваясь к доносящейся со всех сторон немецкой речи. Щебетавшие на углу девицы пытались привлечь его внимание и не скупилась на откровенные приглашения, но он лишь отрицательно качал головой. Он не мог не заметить, как хорошо одеты эти особы — настоящие меха, прекрасно сшитые пальто.

«Кому-кому,— подумал Христиан,— а девицам легкого поведения захват Франции пошел на пользу».

Не спеша, стараясь продлить удовольствие, Христиан двинулся в толпе, больше чем когда-либо раньше уверенный в том, что Германия победит. Серый, унылый Берлин сейчас показался ему веселым, энергичным и несокрушимым.

«Улицы Лондона или Москвы,— подумал он,— наверно, выглядят сегодня совсем иначе. Каждому солдату следовало бы проводить здесь свой отпуск, это оказало бы благотворное влияние на всю армию. Конечно,— мысленно улыбнулся Христиан,— было бы совсем здорово, если бы к каждому отпускнику, едва он сойдет с поезда, прикрепляли какую-нибудь фрау Гарденбург и выдавали по полбутылки водки, но об этом пусть уж позаботится интендантство».

Христиан купил газету и зашел в кафе выпить пива.

Он читал газеты, и в ушах его гремела победная музыка духового оркестра. Торжествующие сообщения о тысячах русских, захваченных в плен, о ротах, разгромивших целые батальоны на Северном фронте, о рейдах танковых подразделений, которые по целым неделям, не имея никакой связи с главными силами, громили тылы противника. Тут же была напечатана статья какого-то отставного генерал-майора, который, тщательно анализируя обстановку, предупреждал против излишнего оптимизма. Ранее чем через три месяца, заявлял он, Россия не капитулирует, и необоснованные утверждения о ее близком крахе только наносят вред моральному состоянию фронта и тыла. В передовой

статье газета выступала с предупреждением по адресу Турции и США и самоуверенно заявляла, что американцы не дадут втянуть себя в войну, поскольку прекрасно понимают, что она их вовсе не касается. Христиан торопливо просмотрел газету, пробегая только первые строчки статей и заметок. Он в отпуске и не желает думать о подобных вещах хотя бы эти две недели.

С наслаждением потягивая пиво (хотя, по правде говоря, оно показалось ему водянистым), ощущая приятную усталость в теле, Христиан время от времени отрывался от газеты и посматривал на оживленные пары за соседними столиками. За одним из них сидели хорошенькая девушка и военный летчик с двумя золотыми нашивками на груди. При взгляде на летчика Христиан ощутил мимолетное чувство зависти. Насколько же приятнее должны казаться и отпуск, и это кафе человеку, вновь почувствовавшему под ногами твердую землю после жарких воздушных боев, чем ему, оставившему позади лишь полицейские казармы, язвительные насмешки лейтенанта Гарденбурга да двуспальную кровать Коринны, жены французского капрала.

«Нет, я должен переговорить с полковником Мейстером из военного министерства,— подумал Христиан без особой, впрочем, уверенности, что выполнит свое решение.— Пусть меня переведут в действующую армию. Да, да. Я схожу к нему через несколько дней, как только прояснится обстановка...»

Христиан отыскал страницу, посвященную музыке. В этот вечер должно было состояться четыре концерта. С какой-то тоскливой радостью он прочитал, что на одном из них будет исполняться квинтет с кларнетом Моцарта.

«Вот туда я и отправлюсь: лучший способ убить время до полуночи».

Швейцар в вестибюле дома, где находилась квартира Гарденбургов, сообщил ему:

— Фрау еще не вернулась, но я получил распоряжение впустить вас.

Они поднялись в лифте, причем оба хранили серьезный, невозмутимый вид. Швейцар открыл квартиру своим ключом и деловито сказал:

— Доброй ночи, господин унтер-офицер!

Христиан медленно вошел в квартиру. Шторы были задернуты, и горел свет. После его ухода гостиную прибрали, и теперь, обсаженная по самой последней моде, она выглядела нарядной.

«Глядя на Гарденбурга,— философствовал Христиан,—

никак нельзя себе представить, что он мог жить в такой квартире. Его образ связывается скорее со старой темной мебелью, жесткими стульями, плюшем и полированным орехом».

Христиан прилег на кушетку. Он чувствовал себя усталым, музыка нагнала на него тоску. В переполненном зале было слишком жарко, и после первых приятных минут его стало неудержимо клонить ко сну. Исполнение казалось ему серым и безвкусным, он почти не слушал музыку: перед его полузакрытыми глазами неотступно стоял образ фрау Гарденбург, стройной, обнаженной. Христиан с наслаждением вытянулся на кушетке и сразу же уснул.

Его разбудили чьи-то голоса. Христиан открыл глаза и взглянул вверх, щурясь от яркого света. Фрау Гарденбург стояла около кушетки с какой-то женщиной и с улыбкой смотрела на него.

— Мой бедный, усталый унтер-офицер! — воскликнула фрау Гарденбург, наклоняясь и целуя его. На ней было дорогое манто. От нее пахло вином. Судя по ее потемневшим, расширенным зрачкам, она была пьяна, но усилием воли старалась не поддаваться опьянению. Она полулегла на кушетку и положила свою голову рядом с головой Христиана.

— Дорогой, я привела с собой приятельницу. Элоиза, это унтер-офицер Дистль.

Элоиза улыбнулась ему. Ее глаза тоже блестели каким-то неясным, ровным светом. Не снимая пальто, она опустилась в большое кресло.

— Элоиза живет очень далеко, она не поедет сегодня домой, — объяснила фрау Гарденбург, — а будет ночевать здесь. Вы понравитесь друг другу. Она все о тебе знает.

Фрау Гарденбург подняла руки, и мягкие, широкие рукава манто скатидись к ее плечам.

— Тебе нравится? Прелесть, не правда ли?

— Да, очень красиво, — согласился Христиан и сел, испытывая неловкость и смущение. Он не мог отвести глаз от растянувшейся в кресле Элоизы. Та тоже была блондинкой, но, в отличие от фрау Гарденбург, излишне расплывшейся.

— Алло, унтер-офицер, — приветствовала его Элоиза. — А вы миленький!

Христиан протер глаза.

«Пожалуй, надо убираться отсюда, — подумал он. — Мне здесь не место».

— Ты и представить не можешь, сколько трудов мне

стоило уговорить этого полковника не заходить сюда,— довольно посмеиваясь, обратилась к нему фрау Гарденбург.

— В следующий раз, когда он вернется из России, я тоже получу меховое манто,— заявила Элоиза.

— Сколько сейчас времени? — спросил Христиан.

— Два... три часа,— ответила фрау Гарденбург.

— Четыре,— уточнила Элоиза, взглянув на часы.— Пора ложиться спать.

— Я думаю,— осторожно заметил Христиан,— я думаю, мне лучше уйти...

— Унтер-офицер!..— Фрау Гарденбург укоризненно взглянула на Христиана и обняла его, щекоча шелковистым мехом его шею.— Ты не можешь так поступить с нами. Ведь мы столько времени потратили на полковника. Он же сделает тебя лейтенантом.

— Майором! — воскликнула Элоиза.— Мне показалось, что он согласился сделать его майором.

— Нет, пока лейтенантом,— с достоинством поправила подругу фрау Гарденбург.— И, кроме того, тебя прикомандируют к генеральному штабу. Все уже устроено.

— Полковник без ума от Гретхен,— добавила Элоиза.— Он сделает для нее все, что угодно.

«Гретхен! — отметил про себя Христиан.— Так вот как ее зовут!»

— А сейчас надо выпить,— сказала Гретхен.— Дорогой, мы сегодня пьем только коньяк. Ты же знаешь, где шкаф.

Фрау Гарденбург как-то сразу протрезвела и говорила теперь спокойно и рассудительно. Она отбросила со лба волосы и стала посреди комнаты, очень высокая, в роскошном манто и белом вечернем платье. Христиан не мог отвести от нее жадного взора.

— Ну вот,— Гретхен улыбнулась и небрежно прикоснулась кончиками пальцев к его губам.— Так и нужно смотреть на женщину. Неси коньяк, дорогой!

«Ну хорошо,— решил Христиан,— выпью рюмку». И он направился в соседнюю комнату за вином.

Яркий свет разбудил Христиана. Он открыл глаза. Солнечные лучи струились в комнату через огромное окно. Христиан медленно повернул голову. Он лежал один в измятой постели. Его тошнило от запаха духов, страшно болела голова и хотелось пить. В его затуманенном мозгу промелькнули обрывки воспоминаний о прошлой ночи. Он болезненно поморщился и снова закрыл глаза.

Дверь из ванной открылась, и в комнату вошла Грет-

хен. Она была полностью одета. На ней был черный костюм, волосы были перевязаны черной лентой, как у девочки. Ясные глаза фрау Гарденбург блестели, вся она в лучах яркого утреннего солнца выглядела свежей и какой-то новой. Улыбнувшись Дистлю, Гретхен подошла к нему и присела на край кровати.

— С добрым утром,— мило и скромно проговорила она.

— Здравствуй...— Христиан заставил себя улыбнуться. В присутствии такой опрятной и свеженькой Гретхен он чувствовал себя немощным и убогим.

— А где же другая дама?

— Элоиза? — Гретхен рассеянно погладила его по руке.— Она ушла на работу. Ты ей нравишься. «Да, я ей нравлюсь,— мрачно подумал Христиан,— и ты ей нравишься. Ей нравится любой мужчина, любая женщина, любой дикий зверь, любой, кого ей удастся прибрать к рукам».

— А ты что нарядилась? — поинтересовался Христиан.

— Мне тоже нужно идти на работу. Не думаешь ли ты, что я позволяю себе лентяйничать в разгар войны? — улыбнулась Гретхен.

— Где же ты работаешь?

— В министерстве пропаганды.— На лице Гретхен появилось серьезное, строгое выражение, которого раньше Христиан не замечал.— В отделе по работе среди женщин. Христиан от удивления даже заморгал.

— Что же ты там делаешь?

— Пишу речи, выступаю по радио. Вот, например, сейчас мы проводим кампанию. Дело в том, что многие немки — ты был бы поражен, если бы знал, сколько их,— вступают в связь с иностранцами.

— Это с какими же? — озадаченно спросил Христиан.

— Да с теми, которых мы ввозим для работы на заводах, на фермах... Правда, мне не следовало бы разговаривать на эту тему, особенно с солдатами...

— Ничего, ничего,— усмехнулся Дистль.— Я не заблуждаюсь на этот счет.

— Но слухи просачиваются в армию и плохо отражаются на настроении солдат.— Гретхен говорила, словно бойкая маленькая школьница, назубок вы зубрившая урок.— По этому вопросу мы получаем длинные секретные доклады от Розенберга. Это ведь очень важно.

— Ну, и что же ты говоришь женщинам? — Христиана по-настоящему заинтересовала эта новая сторона деятельности Гретхен.

— Все то же,— пожала она плечами.— Нового больше

ничего не скажешь... Чистота немецкой крови... Теория расовых признаков... Место поляков, венгров и русских в европейской истории. Труднее всего приходится, когда речь заходит о французах: женщины питают к ним слабость.

— И что же вы рассказываете о французах?

— А мы приводим цифры о распространении венерических заболеваний в Париже и все такое прочее.

— Помогает?

— Не очень,— усмехнулась Гретхен.

— А сегодня что ты собираешься делать?

— Сегодня я провожу радиобеседу с женщиной, которая только что родила десятого ребенка. В ходе беседы генерал вручит ей премию.— Гретхен взглянула на часы и встала.— Мне пора идти.

— Мы встретимся вечером?

— Извини меня, дорогой, но сегодня вечером я занята.— Стоя перед зеркалом, она поправляла прическу.

— Но разве нельзя освободиться? — Христиан возненавидел себя, услышав в своем голосе мольбу.

— Не могу. Из Африки только что приехал мой давнишний приятель — полковник. Он не перенесет, если я откажусь встретиться с ним.

— Может быть, позднее? Когда ты с ним разделаешься...

— Невозможно,— поспешно ответила Гретхен.— Мы идем на большой вечер, и он затянется до глубокой ночи.

— Так, может быть, завтра?

Гретхен с улыбкой взглянула на него.

— Тебе очень хочется?

— Да:

— Ты доволен прошлой ночью? — рассматривая себя в зеркале, она снова занялась своей прической.

— Еще бы!

— Ты очень милый. Ты подарил мне чудесную булавопку.— Гретхен подошла к нему, наклонилась и слегка прикоснулась к нему губами.— Булавка совсем неплохая, но в том же магазине продаются очаровательные ссережки, которые к ней очень подходят...

— Ты их получишь,— холодно прервал ее Христиан, испытывая отвращение к самому себе за эту взятку.— Завтра вечером.

Характерным для нее жестом Гретхен дотронулась до его губ кончиками пальцев.

— Ты в самом деле очень, очень мил!

Христиану неудержимо захотелось схватить ее в объятия и прижать к себе, но он понимал, что сейчас этого делать не следует.

— Ну, мне нужно бежать.— Гретхен подошла к двери и остановилась.— Тебе не мешает побриться. В аптечке есть бритва и американское мыло для бритья.— Она улыбнулась.— Они принадлежат лейтенанту, но я знаю, что ты не будешь возражать.— Гретхен помахала рукой и вышла, направляясь на встречу с генералом и с женщиной, только что благополучно разрешившейся десятым ребенком.

Всю следующую неделю Христиан прожил в каком-то тумане. Город с миллионами спящих взд и вперед обитателей, грохот трамваев, рычание автобусов, плакаты у зданий газет, чиновники и генералы в сверкающих формах, проносившиеся мимо в своих длинных бронированных автомашинах, наводнявшие улицы орды солдат, радиобюллетени о захваченных километрах территории и количестве убитых в России — все это казалось ему каким-то нереальным и далеким. Только квартира на Тиргартенштрассе и белое тело жены лейтенанта Гарденбурга были реальными, вещественными. Он купил ей сережки, а затем, снова выклянчив у матери денег, приобрел золотой браслет с цепочкой и свитер, привезенный каким-то солдатом из Амстердама.

У Гретхен появилась привычка вызывать его из пансиона, где он жил, в любое время дня и ночи. Христиан и думать перестал об улицах и театрах и в ожидании звонка телефона, стоявшего внизу, в плохо освещенном холле, целыми днями валялся на койке, чтобы сразу же после вызова мчаться к ней через весь город.

Ее квартира стала для него единственной твердой точкой в призрачном, кружащемся мире. Временами, когда она оставляла его одного, он беспокойно бродил по комнатам, открывал шкафы и ящики столов, заглядывал в письма, рассматривал фотографии, спрятанные среди книг. Христиан всегда был скрытен и уважал чужие секреты, но с Гретхен дело обстояло иначе. Он хотел обладать и ею, и ее мыслями, собственностью, пороками, желаниями.

Квартира была набита разным награбленным имуществом. Экономист вполне мог бы написать историю захвата немцами Европы и Африки только по вещам, небрежно разбросанным по квартире Гретхен и доставленным туда вереницей чинных, обвешанных наградами офицеров в начищенных до блеска сапогах. Иногда они привозили Гретхен домой в больших служебных машинах, и Христиан видел их у главного подъезда, когда ревниво выглядывал из окна квартиры.

Помимо богатого запаса вин, которые Христиан обна-

ружил в первый же день, здесь были сыры из Голландии, несколько десятков пар французских шелковых чулок, бесконечное множество флаконов с духами, осыпанные драгоценными камнями застёжки и старинные кинжалы с Балкан, парчовые туфли из Марокко, корзины с виноградом и персиками, доставленные самолетами из Алжира, три меховых манти из России, небольшой эскиз Тициана из Рима, два свиных окорока из Дании, висевшие в кладовой возле кухни, целая полка с французскими шляпками (хотя Христиан никогда не видел, чтобы Гретхен носила шляпу), прелестный серебряный кофейник из Белграда, массивный, отлащенный кожей письменный стол (некий предприимчивый лейтенант ухитрился выкрасть его из загородного особняка в Норвегии и переправить сюда).

Письма, небрежно брошенные на пол или забытые среди валявшихся на столах журналов, пришли из самых дальних концов новой Германской империи. Во всех этих посланиях, хотя они и были написаны в разных стилях — от нежных, лирических излияний молодых ученых, отбывающих службу в Хельсинки, до сухих порнографических записок стареющих профессиональных военных, несущих службу под командованием Роммеля в африканской пустыне, — сквозили нотки тоски и благодарности. В каждом письме содержались обещания привезти то кусок зеленого шелка, купленного в Орлеане, то кольцо, обнаруженное в магазине в Будапеште, то медальон с сапфиром, добытый в Триполи...

В некоторых письмах, иногда просто с легкой иронией, а иногда с намеками на прошлые оргии, упоминалась Элоиза и другие женщины. Однако теперь Христиан даже Элоизу считал почти нормальным человеком, во всяком случае по сравнению с Гретхен. Поведение и образ жизни Гретхен никак не укладывались в рамки обычных представлений. Она выделялась среди всех известных Христиану женщин особенной красотой, неутолимой чувственностью и бешеной энергией. Правда, по утрам она часто принимала бензедрин и другие средства для восстановления так беспечно и буйно растрачиваемых сил или вспрыскивала себе большую дозу витамина В, который, по ее словам, немедленно устранял все последствия похмелья.

Самое поразительное состояло в том, что всего лишь три года назад Гретхен была скромной, молоденькой учительницей географии и арифметики в Бадене. Гарденбург был первым мужчиной в ее жизни, и отдалась она ему только после свадьбы. Накануне войны он привез

жену в Берлин и здесь в ночном клубе ее увидел некий фотограф. Он уговорил Гретхен сняться для фотоплакатов министерства пропаганды и не только прославил ее лицо и фигуру на всю страну, но вдобавок и совратил ее. На многочисленных плакатах Гретхен являла собой тип образцовой немецкой девушки, которая добровольно отработывает сверхурочные часы на заводе боеприпасов, регулярно посещает нацистские митинги, щедро жертвует в фонд зимней помощи, умело готовит вкусные блюда из эрзац-продуктов.

С того времени и началась ее головокружительная карьера в берлинском высшем свете военного времени. Уже в начале этой карьеры Гарденбург был спешно откомандирован в полк. Теперь Христиан понимал, почему лейтенант считается таким незаменимым в Ренне и почему ему так трудно добиться отпуска. Гретхен получала приглашения на все важные приемы и дважды встречалась на них с Гитлером. Она была в близких отношениях с Розенбергом, хотя и уверяла Христиана, что ничего серьезного между ними нет.

Христиан не осуждал Гретхен. Лежа в своей темной комнате в пансионе в ожидании телефонного звонка, он иногда задумывался над тем, что его мать назвала бы смертным грехом. Христиан давно уже перестал верить в бога. И все же временами какие-то остатки религиозной морали, внушенной ему в детстве до фанатизма богобоязненной матерью, давали о себе знать, несмотря на прожитые годы. В такие минуты он, сам того не желая, резко осуждал Гретхен. Однако Христиан спешил отогнать эти случайные, беспорядочные мысли. О Гретхен нельзя было судить, руководствуясь общепринятыми представлениями о нравственности. Нелепо думать, что такую жадную к жизни, ненасытную женщину с бьющей ключом энергией можно сковать мелочными запретами, налагаемыми обветшалым и отмирающим кодексом морали. Судить о поведении Гретхен по нормам христианской морали — все равно, что судить о птице с точки зрения улитки, осуждать танкиста за нарушение в бою правил уличного движения, применять к полководцу гражданские законы об ответственности за убийство.

Письма Гарденбурга из Ренна, адресованные Гретхен, пустые, холодные, чопорные, напоминали лаконичные военные документы. Читая их, Христиан не мог сдержать улыбку. Он понимал, что если Гарденбург и уцелеет на войне, то по возвращению будет отброшен и забыт, как некая

пустяковая деталь в бурном прошлом Гретхен. Что касается своего будущего, то Христиан вынашивал кое-какие планы, хотя и не решался открыто признаться в этом даже самому себе. Однажды вечером за очередной выпивкой Гретхен между прочим заметила, что война окончится месяца через два, и человек, занимающий высокий пост в правительстве (она не стала называть его фамилию), предложил ей поместье в Польше — не тронутый войной замок семнадцатого века и больше тысячи гектаров земли, триста из которых обрабатываются и сейчас.

— Тебе хотелось бы управлять поместьем одной дамы? — лежа на кушетке, полушутливо спросила Гретхен.

— Это было бы замечательно.

— И ты не стал бы переутомлять себя обязанностями управляющего? — продолжала она с улыбкой.

— Что ты! Конечно, нет.

Христиан присел рядом и, подсунув руку под голову Гретхен, поглаживал упругую кожу у нее на шее.

— Ну что ж, посмотрим, посмотрим... Пока все идет неплохо.

«Да, это как раз то, что нужно,— размечтался Христиан.— Огромное поместье, масса денег и Гретхен — хозяйка старинного замка... Они с Гретхен, конечно, не поженятся. Зачем? Он будет своего рода принц-супруг — изящные сапоги для верховой езды, двадцать рысаков в конюшне, из столицы приезжают на охоту великие и сильные новой империи... Вот когда будет самый счастливый момент моей жизни! — мысленно воскликнул Христиан.— Момент, когда в полицейской казарме Ренна Гарденбург открыл ящик стола и достал сверток с черным кружевом».

Христиан теперь уже почти не вспоминал о возвращении в Ренн. Гретхен сообщила ему, что она уже договорилась с одним генерал-майором о его переводе и присвоении ему офицерского звания и что сейчас дело находится в стадии оформления. Гарденбург теперь казался ему жалким призраком далеского прошлого, который, если и появится в будущем, то только на одно упоительное мгновение, чтобы тут же быть выгнанным одной короткой, убойственной фразой.

«Да, это будет действительно счастливейший день моей жизни!» — снова подумал Христиан и с сияющим лицом повернулся, услышав звук открывающейся двери. На пороге стояла Гретхен, одетая в платье из золотистого материала, с небрежно наброшенной на плечи пелериной из норки. Она ласково рассмеялась и протянула Дистлю руки.

— Как это приятно! Вернуться домой после дня тяжелой работы и встретить ожидающего тебя близкого человека!

Христиан подбежал к ней, пинком ноги захлопнул дверь и заключил Гретхен в объятия.

Дня за три до окончания отпуска (Христиан не проявлял никакого беспокойства, поскольку фрау Гарденбург, утверждала, что все будет в порядке) в пансионе раздался телефонный звонок, и Христиан побежал вниз. Он сразу узнал голос Гретхен и, улыбаясь, спросил:

— Да, дорогая?

— Замолчи! — голос Гретхен звучал резко, хотя она и говорила шепотом. — Не называй моего имени по телефону!

— Что случилось? — растерянно спросил Христиан.

— Я говорю из кафе. Не звони мне домой и не приходи.

— Но ты же сказала, что сегодня в восемь вечера?

— Я и без тебя знаю, что сказала. Ни сегодня в восемь, ни когда-либо вообще. Вот и все. Больше ко мне не приходи. Прощай.

Послышались гудки отбоя. Христиан тупо посмотрел на аппарат, медленно повесил трубку, поднялся в свою комнату и лег было на койку, но тут же вскочил, надел мундир и вышел из пансиона. «Уйти! Куда угодно уйти, лишь бы не видеть этих стен!» — лихорадочно повторял он.

Растерянный и недоумевающий, бродил Христиан по улицам, снова и снова припоминая все, что сказала ему Гретхен и тщетно пытаюсь понять, какими поступками или словами он мог навлечь на себя ее гнев. Накануне они провели самую обычную для них ночь. Гретхен возвратилась домой в час, совершенно пьяная; до двух часов они пили, затем легли спать. Часов в одиннадцать утра, перед уходом на работу, она нежно поцеловала его и сказала:

— Сегодня вечером приходи пораньше. Жду тебя в восемь часов.

Он не слышал от нее ни единого упрека. Христиан бессмысленно вглядывался в темные фасады зданий и в лица торопливо проходивших мимо него людей. Да, единственное, что он мог сделать, это дожидаться ее у дома и прямо спросить обо всем.

Часов в семь вечера он занял позицию за деревом на противоположной стороне улицы, напротив входа в дом. Вечер выдался отвратительный, моросил мелкий дождь. Уже через полчаса Христиан весь вымок, но не обращал

на это внимания. В половине одиннадцатого в третий раз мимо прошел полицейский и вопросительно посмотрел на него.

— Я жду девушку.— Христиан натянуто улыбнулся.— Она пытается отделаться от майора-парашютиста.

— Война всем создает трудности,— ухмыльнулся полицейский и ушел, сочувственно покачав головой.

Часа в два ночи к дому подкатила одна из хорошо знакомых Христиану служебных машин. Из нее вышли Гретхен и какой-то офицер. Перебросившись несколькими словами, они скрылись в подъезде, а машина тут же ушла.

Сквозь чистую сетку дождя Христиан напряженно всматривался в затемненное здание, пытаясь отыскать окно квартиры Гретхен, но в темноте ничего нельзя было различить.

В восемь часов утра длинный автомобиль снова остановился у подъезда. Вскоре из дома вышел офицер, уселся в машину и уехал. «Подполковник»,— механически отметил Христиан.

Дождь не переставал. Христиан решил зайти в дом и уже почти пересек улицу, но передумал. «Она рассердится и выгонит меня — и все будет кончено...»

Он возвратился на свой пост за деревом. Форма его вымокла до нитки, глаза слипались от бессонной ночи, но он упрямо всматривался в окно квартиры Гретхен, которое быстро нашел в сером свете утра.

Гретхен вышла в одиннадцать часов. На ней были короткие резиновые боты и легкий плащ с поясом и капюшоном, похожий на маскировочный солдатский халат. Как всегда по утрам, она выглядела свежей и юной, словно школьница. Деловитой походкой Гретхен направилась по улице и свернула за угол. Дистль нагнал ее и притронулся к ее локтю.

— Гретхен!

Женщина нервно обернулась и остановилась.

— Не подходи ко мне! — шепнула она, боязливо озираясь по сторонам.

— Но что случилось? — умоляюще спросил Христиан.— В чем я провинился?

Фрау Гарденбург пошла дальше, и Христиан поплелся за ней.

— Гретхен, дорогая!..

— Я же ясно сказала — не подходи ко мне! Ты что, не понимаешь?

— Но я должен знать, что случилось.

— Меня не должны видеть с тобой.— Она продолжала шагать по улице, глядя прямо перед собой.— Все! Уходи. Ты хорошо провел отпуск, а к тому же у тебя все равно осталось только два дня. Возвращайся во Францию и забудь обо всем.

— Но это же невозможно! Мне надо поговорить с тобой — в любое время и в любом месте.

Из магазинчика на другой стороне улицы вышли два человека и быстро направились в том же направлении, в котором шли Христиан и Гретхен.

— Ну хорошо,— согласилась она.— Сегодня вечером в одиннадцать часов у меня дома. Только не ходи через парадный вход, а иди по черной лестнице, через подвал. Вход с другой улицы. Дверь кухни будет отперта. Я буду дома.

— Хорошо, спасибо. Чудесно!

— А сейчас оставь меня в покое.

Христиан остановился и поглядел ей вслед. Фрау Гарденбург, не оглядываясь, шла по улице быстрой, нервной походкой, мелькая черными ботиками. Перетянутый поясом плащ подчеркивал ее стройную фигуру. Дистль повернулся и побрел в пансион. Не раздеваясь, он бросился на койку и попытался уснуть.

В одиннадцать часов вечера Христиан поднялся по неосвещенной черной лестнице. Гретхен в зеленом шерстяном платье сидела за столом и писала. Она даже не повернулась, когда вошел Христиан.

«Бог ты мой! — мысленно подивился он.— Как она похожа сейчас на своего лейтенанта!» Неслышно ступая, он подошел к столу и поцеловал Гретхен в затылок, ощутив аромат ее надушенных волос.

Гретхен перестала писать и взглянула на Дистля. Ее лицо оставалось серьезным и отчужденным.

— Ты должен был мне сказать! — заговорила она резким тоном.

— Что сказать?

— Ты мог бы доставить мне массу неприятностей! — не слушая его, продолжала Гретхен.

— Но что я сделал? — спросил недоумевающий Христиан, тяжело опускаясь в кресло.

Гретхен вскочила и принялась ходить по комнате с такой быстротой, что платье путалось у нее в ногах.

— Это непорядочно! Сколько мне пришлось из-за тебя вынести!

— Что вынести? — крикнул Христиан.— О чем ты говоришь?

— Не кричи! — огрызнулась Гретхен.— Кто знает, не подслушивают ли нас.

— Может быть, ты объяснишь мне толком,— понизил Христиан голос,— в чем дело?

— Вчера днем,— Гретхен остановилась перед ним,— у нас в учреждении был человек из гестапо.

— Ну и что же?

— А сначала они побывали у генерала Ульриха,— многозначительно добавила Гретхен.

Христиан устало кивнул головой.

— Но кто такой генерал Ульрих?

— Мой друг. Мой очень хороший друг, который из-за тебя, видимо, нажил кучу неприятностей.

— Я в жизни не видел генерала Ульриха!

— Говори тише.— Гретхен подошла к буфету и налила себе полстакана коньяку. Христиану она даже не предложила выпить.— Какая же я дура, что вообще пустила тебя в дом.

— Но скажи,— потребовал Христиан,— какое отношение имеет ко мне генерал Ульрих?

— Генерал Ульрих,— с расстановкой ответила Гретхен после большого глотка коньяку,— это человек, который хлопотал о присвоении тебе офицерского звания и о твоём прикомандировании к генеральному штабу.

— Ну и что же?

— Вчера ему сообщили из гестапо, что тебя подзревают в принадлежности к коммунистической партии. Гестапо интересуется, при каких обстоятельствах он познакомился с тобой и почему проявляет к тебе такое внимание.

— Но что ты от меня хочешь?! — сердито воскликнул Христиан.— Я не коммунист, я член австрийской нацистской партии с тридцать седьмого года.

— Все это гестапо знает не хуже тебя. Но гестапо известно и то, что с тридцать второго по тридцать шестой год ты был членом австрийской коммунистической партии и что вскоре после аншлюса ты чем-то насолил региональному комиссару Шварцу. Кроме того, им известно, что у тебя был роман с американкой, которая в тридцать седьмом году жила в Вене с евреем-социалистом.

Христиан устало откинулся в кресле.

«До чего же это гестапо дотошное,— подумал он,— и все же какая неточная у них информация!»

— В части за тобой ведется постоянное наблюдение,— криво усмехнулась Гретхен,— и гестапо получает ежемесячные доклады о каждом твоём шаге. Тебе, вероятно, будет интересно узнать, что мой муж в своих рапортах характеризует тебя как очень способного и преданного солдата и настойчиво рекомендует направить в офицерскую школу.

— Не забыть бы поблагодарить его по возвращении,— равнодушно отозвался Христиан.

— Разумеется, ты никогда не станешь офицером,— снова заговорила Гретхен.— Тебя даже не пошлют на Восточный фронт. Если твою часть перебросят туда, ты получишь назначение куда-нибудь совсем в другое место.

«Отвратительная западня, из которой нет выхода,— пронеслось в голове у Христиана.— Нелепая, невероятная катастрофа!»

— Вот и все,— услышал он голос Гретхен.— Надеюсь, ты понимаешь, что когда в гестапо узнали о том, что женщина из министерства пропаганды, поддерживающая служебные, дружеские и иные связи со многими высокопоставленными военными и штатскими...

— Да перестань ты! — раздраженно остановил ее Дистль и поднялся.— Ты говоришь, как следователь из полиции!

— Но ты должен войти в мое положение...— Христиан впервые услышал в голосе Гретхен виноватые нотки.— Людей отправляют в концлагеря и не за такие вещи... Ты должен, дорогой, понять мое положение!

— Я понимаю твоё положение,— громко сказал Христиан.— Я понимаю положение гестапо, я понимаю положение генерала Ульриха, и все это осточертело мне до смерти! — Он подошел к Гретхен, остановился перед ней и, не сдерживая ярости, спросил: — Ты тоже думаешь, что я коммунист?

— Не имеет значения, дорогой, что я думаю,— уклонилась она от прямого ответа.— А вот в гестапо думают, что ты можешь быть коммунистом или, по крайней мере, что ты не совсем... не совсем надежен. Это важнее того, что думаю я. Пожалуйста, не сердись на меня...— Гретхен теперь говорила мягким, умоляющим голосом.— Другое дело, если бы я была обыкновенной женщиной и выполняла простую, незначительную работу... Я могла бы встречаться с тобой когда угодно и где угодно... Но в моем положении это очень опасно. Тебе не понять этого, ты так долго не был в Германии и не представляешь себе, как внезапно исчезают ничем не провинившиеся люди. Честное слово. Прошу тебя... Не смотри так сердито!..

Христиан вздохнул и снова опустился в кресло. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. Ему вдруг показалось, что он не у себя на родине, что он иностранец, который растерянно бродит по чужой, полной опасностей стране, где каждому сказанному слову придается совсем иной смысл и каждый поступок может вызвать неожиданные последствия. Он вспомнил о тысяче гектаров в Польше, о конюшнях, о поездках на охоту и угрюмо улыбнулся. Хорошо, если ему разрешат снова стать инструктором лыжного спорта.

— Не смотри так... Не отчаивайся,— попросила Гретхен.

— Прости, пожалуйста,— насмешливо осклабился Христиан,— сейчас я запою от радости.

— Не сердись на меня. Я же ничего не могу сделать.

— Но разве ты не можешь пойти в гестапо и рассказать им все? Ты же знаешь меня и могла бы доказать...

Она отрицательно покачала головой.

— Ничего я не могу доказать!

— В таком случае я сам пойду в гестапо, я пойду к генералу Ульриху.

— Не смей и думать об этом! — резким тоном воскликнула фрау Гарденбург.— Ты погубишь меня. Гестаповцы предупредили, чтобы я ни единым словом не проговорила тебе, а просто перестала с тобой встречаться. Ты только навредишь себе, а мне... Один бог знает, что они сделают со мной! Обещай, что ты никому ничего не расскажешь.

Гретхен выглядела очень напуганной. В конце концов, она и в самом деле ни в чем не виновата.

— Хорошо, обещаю,— сказал он, поднимаясь и медленно обводя взглядом комнату, с которой были связаны самые лучшие дни его жизни.— Ну что ж.— Он попытался усмехнуться.— Не могу пожаловаться, что я плохо провел свой отпуск.

— Мне так жаль,— прошептала Гретхен, ласково обнимая Христиана.— Ты можешь еще побыть...

Они улыбнулись друг другу...

Однако час спустя, когда ей послышался какой-то шум за дверью, она заставила его одеться и уйти тем же путем, каким он пришел, и уклонилась от ответа на его вопрос о следующей встрече.

Закрыв глаза, с застывшим, рассеянным выражением на лице, Христиан сидел в углу переполненного купе поез-

да, уносившего его в Ренн. Была ночь, все окна были закрыты и задернуты шторами. В вагоне стоял тяжелый, кислый запах людей, которые редко меняют белье, не имеют возможности регулярно мыться, по неделям ходят, спят и едят в одной и той же одежде. Этот запах вызывал у Христиана невыносимое отвращение и действовал на его взвинченные нервы.

«Нельзя ставить культурного человека в такие свинские условия,— мрачно рассуждал он.— Уж в двадцатом-то веке можно бы дать ему возможность хоть подышать чистым воздухом».

Вокруг себя Христиан видел дряблые лица подвыпивших спящих солдат. Сон иногда смягчает грубые черты, придает им нежное, как у детей, выражение. Тут он не видел ничего подобного. Наоборот, эти опухшие, безобразные физиономии казались во сне еще более хитрыми, лживыми и подлыми.

«Нет, надо во что бы то ни стало выбраться из этого положения,— решил Христиан, чувствуя, как у него от отвращения сводит челюсти. Он снова закрыл глаза.— Еще несколько часов — и снова Ренн, лейтенант Гарденбург, тупое, равнодушное лицо Коринны, патрули, плачущие французы, бездельничающие в кафе солдаты... Снова та же проклятая унылая рутина...»

Христиан чувствовал, что он сейчас не выдержит, вскочит на сиденье и закричит во весь голос. А в сущности, что он может изменить? Не в его силах повлиять на исход войны, продлить или укоротить ее хоть на минуту... Всякий раз, когда он закрывал глаза, тщетно пытаясь уснуть, перед ним вставал образ Гретхен — дразнящий и безнадежно далекий... После того памятного вечера Гретхен уклонялась от дальнейших встреч. По телефону она разговаривала мягко, хотя и боязливо, и утверждала, что очень хотела бы встретиться, но... как раз вернулся из Норвегии один ее старинный приятель... (Этот старинный приятель возвращался то из Туниса, то из Реймса, то из Смоленска, и обязательно с каким-нибудь дорогим подарком — где уж Христиану было с ним состязаться.) Что ж, может быть, так и нужно действовать! В следующий раз он придет в Берлин с кучей денег и купит Гретхен меховое манто, кожаный жалет и новый патефон — все, о чем она говорила. Куча денег — и все будет в порядке.

«Я скажу Коринне, чтобы она привела своего родственника,— продолжал размышлять Христиан, лежа с закрытыми глазами в зловонном, набитом солдатами вагоне и прислушиваясь к стуку колес мчащегося в ночи по французской

земле поезда.— Хватит быть дураком. В следующий раз, когда я приеду в Берлин, карманы у меня будут набиты деньгами. Немножко бензину, сказала Коринна, и ее родственник сможет возить свой груз на трех машинах. Хорошо, этот паршивый деверь получит бензин, и незамедлительно».

Христиан примирительно улыбнулся и минут через десять, когда поезд медленно приближался к Бретани, даже ухитрился заснуть.

На следующее утро Христиан явился в канцелярию доложить о своем прибытии и застал там лейтенанта Гарденбурга. Лейтенант показался ему похudevшим и более собранным, словно он только что прошел учебный сбор. Пружинистыми, энергичными шагами он расхаживал по комнате и на уставное приветствие Христиана ответил очень любезной — с его, конечно, точки зрения — улыбкой.

— Хорошо провели время? — дружески поинтересовался он.

— Очень хорошо, господин лейтенант.

— Фрау Гарденбург сообщила мне, что вы передали ей сверток с кружевом.

— Да, господин лейтенант.

— Очень мило с вашей стороны.

— Не стоит благодарности.

Лейтенант взглянул на Христиана (с некоторым смущением, как тому показалось) и спросил:

— Она... хорошо выглядит?

— Прекрасно, господин лейтенант,— серьезно ответил Христиан.

— Хорошо, хорошо.— Сделав нечто похожее на пируэт, лейтенант нервно повернулся к карте Африки, сменившей на стене карту России.— Очень рад. Она слишком много работает, переутомляет себя... Очень рад... Хорошо, что вы успели вовремя воспользоваться отпуском.

Христиан промолчал. Он не испытывал никакого желания вступать с лейтенантом Гарденбургом в утомительный светский разговор. Он еще не видел Коринну, и ему не терпелось поскорее встретиться с ней и сказать, чтобы она немедленно связалась со своим родственником.

— Да, вам очень повезло,— продолжал Гарденбург, неизвестно чему улыбаясь.— Идите-ка сюда, унтер-офицер,— с загадочным выражением сказал он. Гарденбург подошел к грязному окну с решеткой и посмотрел в него. Христиан сделал несколько шагов и остановился рядом.

— Прежде всего я должен предупредить вас, что все это весьма конфиденциально, совершенно секретно. Мне вообще не следовало бы ничего говорить, но мы давно уже служим вместе, и я думаю, что могу положиться на вас.

— Так точно, господин лейтенант,— осторожно подтвердил Христиан.

Гарденбург тщательно осмотрелся вокруг и наклонился к Христиану.

— Наконец-то! — прошептал он торжествующе.— Наконец-то свершилось! Нас перебрасывают.— Он резко повернул голову и взглянул назад. В канцелярии, кроме Гарденбурга и Христиана, находился писарь, но он сидел метрах в десяти от них.— В Африку,— добавил Гарденбург таким тихим шепотом, что Христиан с трудом расслышал.— В африканский корпус. Через две недели.— Его лицо расплылось в улыбку.— Разве это не замечательно?

— Так точно, господин лейтенант,— помолчав, равнодушно согласился Христиан.

— Я знал, что вы будете рады.

— Так точно, господин лейтенант.

— В предстоящие две недели нужно сделать очень много, вам предстоит масса хлопот. Капитан хотел вызвать вас из отпуска, но я считал, что вам будет полезно отдохнуть и вы потом наверстаете упущенное...

— Большое спасибо, господин лейтенант.

— Наконец-то! — торжествующе потирая руки, провозгласил Гарденбург.— Наконец-то! — Невидящим взглядом он уставился в окно; его взору рисовались тучи пыли на дорогах Ливии, поднятые танковыми колоннами, в ушах стоял грохот артиллерийской канонады на побережье Средиземного моря.— Я уже начал было побаиваться,— доверительно сообщил Гарденбург,— что так и не побываю в бою.— Он тряхнул головой, пробуждаясь от сладостного сна, и обычным, отрывистым тоном добавил: — Ну хорошо, унтер-офицер. Вы мне понадобится через час.

— Слушаюсь, господин лейтенант,— ответил Христиан и направился было к двери, но вернулся.

— Господин лейтенант!

— Да.

— Разрешите доложить фамилию солдата сто сорок седьмого саперного батальона, совершившего дисциплинарный проступок.

— Сообщите писарю, а я направлю ваш рапорт по команде.

— Слушаюсь, господин лейтенант.

Христиан подошел к писарю и молча наблюдал, пока тот записывал, что по донесению унтер-офицера Христиана Дистля рядовой Ганс Рейтер был одет не по форме и вел себя не так, как подобает солдату.

— Ну, теперь ему влетит,— авторитетно заявил писарь.— Месяц неувольнения из казармы.

— Возможно,— согласился Христиан и вышел. Он постоял некоторое время перед входом в казарму, затем направился к дому Коринны, но на полдороге передумал.

«Зачем? — пожал он плечами.— Зачем мне теперь встретиться с ней?..»

Медленно возвращаясь обратно, Христиан остановился перед высокой узкой витриной ювелирного магазина. В витрине лежало несколько маленьких колец с бриллиантами и золотой кулон с крупным топазом. Драгоценный камень привлек внимание Христиана.

«А ведь эта вещица понравилась бы Гретхен,— подумал он.— Интересно, сколько она стоит?..»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Помещение было заполнено молодыми людьми разного возраста. Они слонялись по комнатам, громко болтали, курили и плевались. В грязном, холодном коридоре, пропитанном запахом пота и общественной уборной, можно было слышать обрывки разговоров на уличном жаргоне Нью-Йорка.

— Дядя Сэм, вот и я, Винсент Келли!.. Слушаю я передачу о футболе. Вдруг вмешивается этот ублюдок и говорит, что япошки разбомбили Хиккем-Филд. Я так разволновался, что не стал дальше слушать футбол, и спрашиваю свою бабу: «А где, черт бы его побрал, этот самый Хиккем-Филд?» Это были мои первые слова в этой войне.

Кто-то другой говорил:

— ...Чепуха! Все равно тебя загребут позднее. Мой девиз не зевай! Мой старина в прошлую войну служил в морской пехоте. Он сказал: «Все нашивки идут тем, кто придет пораньше. Так было во время последней войны. Можешь ничем не выделяться, сумей только поспеть к пирогу раньше других».

Еще один разглагольствовал:

— А я так не прочь побывать на этих островах.

Терпеть не могу Нью-Йорка зимой! Летом-то им пришлось бы меня поискать. Работаю я все время на улице — в газовой компании, а это похуже армии.

— Давай хлебнем,— слышался чей-то голос.— Распрекрасное дело — война! Вчера я был у одной бабенки, и вот она все говорит мне: «Боже милосердный, они же убивают американских парней!» А я отвечаю: «Клара, я завтра уйду в армию, чтобы драться за демократию». Она, конечно, разревелась. Эта девка три недели водила меня за нос, и всякий раз, как только дело доходило до серьезного, давала мне по рукам. Но вчера вечером моя Кларочка была словно клетка, набитая тиграми. Проявила такой патриотизм, что чуть не разлетелись пружины матраса.

— Нет уж, ко всем чертям флот! — говорил кто-то.— Я хочу попасть туда, где можно вырыть себе щель в земле.

Ной стоял среди этих патриотов и терпеливо ждал своей очереди для беседы с офицером, ведающим набором. Он задержался вчера, провожая Хоуп домой, к тому же между ними произошло неприятное объяснение, когда он сообщил ей о своем намерении. Вот почему Ной плохо спал ночью, его все время мучил сон, который он видел уже не раз: будто его ставят к стене и расстреливают из пулемета. Было еще темно, когда он вышел из дому, направляясь на Уайтхолл-стрит, где был расположен призывной пункт. Он хотел прийти пораньше, так как думал, что пункт будет осаждать целая толпа добровольцев. Сейчас, оглядываясь вокруг, он с удивлением спрашивал себя, почему всех этих людей не призвали, почему они решили вступить в армию добровольцами. Однако Ной чувствовал себя таким усталым, что у него не хватило сил для дальнейших размышлений.

До нападения японцев он старался не думать о будущем, хотя и понимал, что неумолимая совесть уже решила этот вопрос за него. Если разразится война, думал тогда Ной, он не будет колебаться. Как честный гражданин, убежденный в справедливости войны, как враг фашизма... Ной покачал головой: опять то же самое. Это не имеет никакого значения. Большинство этих людей не евреи, и тем не менее они пришли в такую холодную погоду, в половине седьмого утра на второй же день войны, готовые отправиться на смерть. Он знал, что все они в действительности лучше, чем хотят казаться. Их грубые шутки и циничная речь — всего лишь наивные попытки скрыть подлинные чувства, которые привели их на призывной пункт... Ну хорошо: он пришел сюда просто как американец. Ной решил, что сей-

час он не будет причислять себя к какой-нибудь определенной категории. «Возможно,— думал он,— я попрошу направить меня на Тихоокеанский театр, а не на германский фронт. И это докажет им, что я вступил в армию не потому, что я еврей... А впрочем, чепуха! Я отправлюсь туда, куда меня пошлют».

Открылась дверь, и на пороге показался толстый сержант с багровым от злоупотребления пивом лицом.

— Эй, ребята! — раздраженно крикнул он. — Не плюйте на пол — тут как-никак государственное учреждение. И перестаньте толкаться. Не беспокойтесь, мы никого не забудем, в армии всем места хватит. По моему вызову заходите по одному в эту дверь. Бутылок с собой не брать. Ведь вы готовитесь вступить в армию Соединенных Штатов.

Процедура заняла весь день. На военном пароме, названном по имени какого-то генерала, Ной отправили на остров Губернатора. Стоя на переполненной людьми палубе, он наблюдал, как многочисленные суда бороздят свинцовую воду порта. От холода у него текло из носа. Какой никому неведомый акт героизма совершил этот генерал, спрашивал себя Ной, или кому он сумел так угодить, что ему оказали столь сомнительную честь, назвав его именем паром? На острове кипела бурная деятельность, сновавшие повсюду солдаты держали винтовки с таким решительным видом, словно готовились в любую минуту отразить десант японской морской пехоты.

Ной обещал Хоуп, что попытается позвонить ей на службу в течение дня, но он не хотел терять место в очереди, медленнодвигающейся перед скупающими и раздраженными врачами.

— Боже мой! — воскликнул человек рядом с Ноем, взглянув на длинную вереницу обнаженных костлявых и хилых претендентов на воинскую славу. — И эта публика будет оборонять страну? В таком случае можно считать, что война уже проиграна.

Ной застенчиво ухмыльнулся и выпятил грудь, исподтишка сравнивая себя с другими. В очереди можно было видеть трех-четырёх молодых людей, могучего сложения, похожих на футболистов, и огромного детину, на груди которого был вытатуирован клипер с надутыми парусами, однако Ной с удовольствием отметил, что большинство других явно проигрывает по сравнению с ним. Дожидаясь своей очереди на просвечивание грудной клетки, Ной подумал,

что армия, вероятно, поможет ему укрепнуть физически. «Хоуп, конечно, будет рада этому,— усмехнулся он.— Да, сложный и необычный путь выбрал ты, чтобы закатиться. Для этого пришлось ожидать, пока твоя страна не оказалась втянутой в войну с Японской империей».

Врачи держали его недолго. Зрение у него было нормальное; геморроем, плоскостопием, грыжей и гонореей он не страдал, сифилисом и эпилепсией не болел, а полутора-минутная беседа с психиатром помогла установить, что он достаточно нормален с точки зрения требований современной войны. Подвижность суставов могла бы удовлетворить даже главного хирурга армии, прикус зубов позволял надеяться, что он сможет жевать армейскую пищу, шрамы и повреждения на коже отсутствовали.

Ной оделся, с удовольствием вновь ощутив на себе одежду, на мгновение задержался на мысли, что завтра на нем будет уже военная форма, а затем в медленно продвигавшейся очереди направился к желтому столу, где издерганный, с болезненным цветом лица военный врач ставил на медицинских карточках штампы: «Безусловно годен», «Ограниченно годен», «Негоден».

«Хорошо бы меня послали в какой-нибудь лагерь около Нью-Йорка,— подумал Ной, пока офицер знакомился с его карточкой.— Я бы мог иногда приезжать в город и встречаться с Хоуп».

Врач взял один из штампов, стукнул несколько раз по подушечке с краской, протемпелевал карточку и небрежно подвинул ее Ною. Ной взглянул на карточку. Расплывчатыми фиолетовыми буквами на ней значилось: «Негоден». Ной замигал и тряхнул головой, но надпись «Негоден» не исчезла.

— Что это...— начал было он.

Врач дружелюбно посмотрел на него.

— Легкие, сынок,— сказал он.— На рентгеновском снимке видны рубцы на обоих легких. Ты когда болел туберкулезом?

— Никогда не болел.

Врач пожал плечами:

— Ничего не могу сделать. Следующий!

Ной медленно вышел на улицу. Был уже вечер. Из порта, пролетая над плацем, казармами и старым фортом, охранявшим подступы к городу с моря, дул свирепый декабрьский вечер. За черной полосой воды, напоминая гигантский клубок, сверкающий миллионами огней, лежал город. С прибывающих на остров паромов на берег сходили

все новые партии призывников и добровольцев и, шаркая ногами, направлялись к врачам, которые поджидали их со своими всеильными фиолетовыми штампами.

Ветер едва не вырвал из рук Ноя медицинскую карточку, он съезжился от холода и поднял воротник. Ной чувствовал себя покинутым и растерянным, как школьник, которого в рождественские каникулы оставили одного в общежитии, в то время как все его друзья разъехались по домам. Он сунул руку под пальто, потом под рубашку, прикоснулся к коже на груди и ощупал ребра. Порывы холодного ветра острыми иголками проникали под одежду. Ребра показались Ною прочными и надежными, но он все же испытующе кашлянул. «Все в порядке,— подумал он.— Ведь я же совершенно здоров!»

Ной медленно направился к пристани, прошел мимо военного полицейского с винтовкой и в зимней фуражке с наушниками и ступил на почти пустой паром. «Все у меня получается не как у других»,— с горечью размышлял он, наблюдая, как названный именем покойного генерала паром пересекал узкую полосу черной воды, приближаясь к вырастающей впереди громаде города.

Ной не застал Хоуп дома. Ее дядя, с первого дня знакомства невзлюбивший Ноя, сидел на кухне и читал библию.

— Это ты? — Он злобно взглянул на вошедшего.— А я-то думал, ты уже стал полковником!

— Можно мне подождать Хоуп? — устало спросил Ной.

— Поступай, как знаешь,— ответил дядя. На столе перед ним лежала библия, открытая на евангелии от Луки. Дядя почесал под мышкой.— Только учти, я не знаю, когда она вернется. Эта девица стала вести себя довольно легкомысленно. Вот я пишу в Вермонт ее родителям, что она перестала различать дни и ночи.— Он улыбнулся гаденькой улыбкой.— А сейчас, когда ее ухажер уходит в армию или, во всяком случае, так она думает, эта особа уже, вероятно, подыскивает ему замену. Как ты думаешь?

На плите грелся кофейник, на столе стояла наполовину выпитая чашка. Аромат кофе показался Ною мучительно вкусным: он с утра ничего не ел. Однако дядя не предложил ему кофе, а просить Ной не стал.

Он прошел в гостиную и сел в обитое плюшем мягкое кресло, покрытое дешевой кружевной салфеткой. У Ноя был сегодня утомительный день, лицо его горело от холода и ветра. Сидя в кресле, он вскоре задремал и не слышал, как дядя нарочито громко шаркал в кухне ногами, стучал

чашками и время от времени принимался вслух читать Библию своим гнусавым, скрипучим голосом.

Только знакомый стук наружной решетки разбудил его. Мигая, он встал с кресла как раз в тот момент, когда Хоуп медленной, тяжелой походкой входила в комнату. Увидев Ноя, ожидавшего ее посреди гостиной, Хоуп остановилась как вкопанная. В следующее мгновение она крепко прижала его к себе.

— Ты здесь?! — воскликнула она.

Дядя с силой хлопнул дверью из гостиной в кухню, но они не обратили на это внимания.

Ной потерял щекой о волосы Хоуп.

— А я была в твоей комнате и рассматривала твои вещи. За целый день ты ни разу не позвонил. Что случилось?

— Меня не взяли в армию. Нашли рубцы на легких. Туберкулез.

— Боже мой! — ужаснулась Хоуп.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Майкла разбудил стук газонокосилки. Некоторое время он лежал в постели, вдыхая аромат калифорнийской травы и вспоминая, где он и что случилось вчера. Вчера днем сценарист, с которым они загорали около плавательного бассейна в Палм-Спрингс, сказал: «Да, сидит вот человек дома и пишет. Лакей приносит в сад чай и спрашивает: «С лимоном или со сливками?» Потом вбегают маленькая девятилетняя девочка с куклой и говорит: «Папа, настрой, пожалуйста, радио. Я не могу поймать детскую передачу. Диктор все время говорит о Пёрл-Харборе. Папа, Пёрл-Харбор недалеко от дома бабушки?» Она наклоняет куклу, и кукла пищит: «Мама!»

«Глупо,— подумал Майкл,— но правдоподобно. Именно так мы и узнаем о больших событиях. Кажется, весть о всеобщем бедствии всегда врывается в повседневную жизнь по давно известному трафарету. Так и теперь катастрофа разразилась снова в воскресенье, когда люди или отдыхали после обильного субботнего ужина, или только что вернулись из церкви, где равнодушно бормотали молитвы, обращаясь к богу с просьбами о ниспослании мира. Противнику, казалось, доставляет какое то особенное наслаждение выбирать для самых варварских актов именно воскресенье, после субботнего пьянства, блуда и утренней святой молит-

вы, словно он желает показать, какие злые шутки может сыграть с христианским миром...»

В тот день под жгучим солнцем Калифорнии Майкл играл в теннис с двумя солдатами из военно-учебного центра Марч-Филд. Из клуба вышла какая-то женщина.

— Вы бы зашли послушать радио,— обратилась она к ним.— Правда, ужасные помехи, но, по-моему, диктор сказал, что на нас напали японцы.

Солдаты переглянулись, отложили ракетки, зашли в клуб и, упаковав чемоданы, уехали в Марч-Филд. Прямотаки бал перед битвой у Ватерлоо! Только что вальсировавшие галантные молодые офицеры целуют на прощание своих дам с обнаженными плечами, а затем в развевающихся плащах, гремя саблями, мчатся на покрытых пеной, топочущих копытами конях во фландрскую ночь к своим пушкам. Вероятно, все это выдумка, но тем не менее Байрон здорово написал об этом. Интересно, как он описал бы то утро в Гонолулу и следующее утро здесь, в Беверли-Хилс?

Майкл хотел пробыть в Палм-Спрингс еще дня три, но тут сразу расплатился по счету и вернулся в город. Ни развевающихся плащей, ни мчащихся коней — только взятый напрокат фордик с убирающимся простым нажатием кнопки верхом. А впереди не битва, а только снятая с понедельной оплатой квартира в первом этаже с видом на плавательный бассейн.

Шум косилки проникал в большие открытые окна. Майкл повернулся, посмотрел на косилку, потом перевел взгляд на садовника. Это был маленький пятидесятилетний японец, сутулый и похудевший за годы, потраченные на уход за чужими клумбами и чужой травой. Он, как автомат, шагал за косилкой, с силой вцепившись в рукоятку худыми, костлявыми руками.

Майкл не мог сдержать улыбку. В этом действительно было что-то необычное: проснуться утром после того, как японские летчики разбомбили американские военные корабли, и увидеть пятидесятилетнего япошку, который надвигается на вас с косилкой! Майкл посмотрел на него внимательнее и перестал улыбаться. На лице садовника застыло унылое выражение, будто он страдал какой-то хронической болезнью. Майкл вспомнил, как еще неделю назад, подстригая кусты олеандра под окном, японец выглядел таким добродушным старичком; он бодро и угодливо улыбался и время от времени даже принимался мурлыкать что-то себе под нос.

Майкл встал с постели и подошел к окну, на ходу застегивая пижаму. Выдалось чудесное золотое утро, воздух был напоен живительной свежестью, этим прекрасным даром южнокалифорнийской зимы. Трава на газонах казалась ярко-зеленой, и на ее фоне маленькие красные и желтые георгины в бордюрах сверкали, как блестящие пуговицы. Садовник держал сад в изумительном порядке, в точном соответствии с какой-то восточной планировкой.

— Доброе утро! — обратился Майкл к старику. Он не знал имени садовника и вообще не помнил японских имен... Хотя нет, одно помнил: Сессуэ Хайакава, старый киноартист. Интересно, чем в это утро занимается старина Сессуэ Хайакава?

Садовник остановил косилку и, медленно выходя из своей грустной задумчивости, уставился на Майкла.

— Да, сэр, — ответил он. У него был тонкий голос, который звучал сегодня уныло, без единой приветливой нотки. Но маленькие черные глаза, утонувшие в коричневых морщинах, казались Майклу растерянными и умоляющими. Майклу захотелось сказать что-нибудь ободряющее и любезное этому стареющему, трудолюбивому эмигранту: ведь он внезапно оказался в стане врагов и, наверное, чувствует, что и его в какой-то мере считают виновным в гнусном нападении, совершенном за три тысячи миль отсюда.

— Плохие дела, а? — заговорил Майкл.

Садовник недоуменно взглянул на него. Казалось, он не понимал, о чем говорит этот человек.

— Я имею в виду войну, — пояснил Майкл.

Садовник пожал плечами.

— Нет очень плохо, — ответил он. — Все говорят: «Нехорошая Япония. Проклятая Япония!» Но вовсе нет очень плохо. Раньше Англии нужно — она берет. Америке нужно — она берет. А сейчас Японии нужно, — он надменно и вызывающе взглянул на Майкла, — она берет.

Садовник повернулся, снова запустил косилку и медленно двинулся через газон. Во все стороны от его ног полетели верхушки срезанной душистой травы. Майкл смотрел ему вслед — на смиренно согнутую спину в вылинявшей, пропотевшей рубашке, на удивительно сильные, обнаженные ниже колен ноги и морщинистую загорелую шею.

Возможно, в военное время долг всякого порядочного гражданина сообщить куда следует о подобных высказываниях. Возможно, этот пожилой садовник в рваной одежде не кто иной, как капитан японских военно-морских сил, затаившийся до той поры, пока перед портом Сан-Педро

не появятся корабли императорского флота... Майкл рас- смеялся. Вот оно — влияние кино на современного человека! От него никуда не спрячешься.

Майкл закрыл окна и решил побриться. Намыливаясь и соскабливая с лица мыльную пену, он тщетно ломал голову над тем, что делать дальше. Он приехал в Калифор- нию вместе с Томасом Кэхуном, который пытался набрать здесь артистов для своей новой театральной постановки. Одновременно они вели переговоры с драматургом Миль- тоном Слипери о внесении некоторых изменений в его пьесу. Слипери мог заниматься своим произведением только по ночам: днем он работал сценаристом в киностудии «Бра- тья Уорнер». «Искусство процветает в двадцатом веке, — ехидно заметил как-то Кэхун. — Гете, Чехов и Ибсен имели возможность заниматься своими пьесами целыми днями, а у Мильтона Слипери для этого остаются только ночи».

«Казалось бы, — размышлял Майкл, проводя бритвой по щеке, — когда ваша страна вступает в войну, вы не можете не испытывать острой потребности в каких-то энергичных, решительных действиях. Вы должны, казалось бы, схватить винтовку или вступить на борт военного корабля, или забраться в бомбардировщик и лететь за пять тысяч миль, или спуститься на парашюте в столицу противника...»

Но он нужен Кэхуну: они должны вместе ставить пьесу. Кроме того, нечего греха таить, Майкл нуждался в день- гах. Если он сейчас уйдет в армию, его родителям, чего доб- рого, придется голодать, а тут еще нужно платить алимен- ты Лауре... На этот раз Кэхун обещал выплачивать ему проценты со сбора. Сумма, правда, небольшая, но если пьеса понравится публике, то деньги будут поступать год или даже два. Возможно, война не затянется, и тогда денег хватит до самого ее конца. А если пьеса будет пользо- ваться огромным успехом, ну, скажем, как «Ирландская роза Эйби» или «Табачная дорога», то пусть война тянется хоть до скончания века. Но вообще-то страшно и подумать, что она может длиться так же долго, как долго не сходит со сцены «Табачная дорога».

Жаль, конечно, что у него нет сейчас денег. Было бы хорошо, узнав о том, что началась война, тут же отпра- виться на ближайший призывной пункт и вступить в армию добровольцем. Этот решительный и недвусмысленный жест можно было бы потом всю жизнь вспомянуть с гор- достью. Но в банке у него всего-навсего шестьсот долларов, налоговые инспекторы требуют уплаты подоходного налога еще за 1939 год, а Лаура при оформлении развода

проявила неожиданную жадность. Он вынужден был согласиться выплачивать ей пожизненно (если она снова не выйдет замуж) по восьмидесяти долларов в неделю. Кроме того, она взяла все наличные деньги с его текущего счета в Нью-Йоркском банке. Интересно, обязан ли человек платить алименты, если он поступает на военную службу? Может случиться так, что в окопах где-нибудь в Азии к нему подползет некто из военной полиции и, тряхнув за плечо, скажет: «Пойдем-ка со мной, солдат! Мы давно ищем тебя».

Майкл вспомнил эпизод из прошлой войны, рассказанный приятелем-англичанином. На третий день сражения на Сомме почти вся его рота была перебита. Командование, видимо, и не думало присылать подкрепление или сменить остатки роты. И вот в этот момент приятель получает письмо с родины. Дрожащими руками, едва сдерживая рыдания, он вскрывает конверт и находит в нем бумажку из учреждения, ведающего сбором налогов. «Мы неоднократно писали вам относительно вашей задолженности по подоходному налогу за 1914 год в сумме тринадцати фунтов и семи шиллингов. Вынуждены сообщить, что это наше последнее предупреждение. Если вы в ближайшее время не погасите недоимку, нам придется взыскать ее через суд». Англичанин, грязный, оборванный, с запавшими глазами, чуть не единственный живой среди окружающих его мертвецов, оглохший от непрерывной канонады, написал поперек отношения: «Приходите и получите. Военное министерство с удовольствием сообщит вам мой адрес».

Одеваясь, Майкл пытался думать о чем-нибудь постороннем. Было как-то нехорошо в такое знаменательное утро сидеть с больной головой после вчерашней сумасшедшей пьянки в этой крикливо обставленной, отделанной розовым шифоном, как голливудский дом терпимости, комнате и предаваться унылым размышлениям о своем финансовом положении, подобно захудалому счетоводишке, который украл пятьдесят долларов из кассы и сейчас не знает, как положить их обратно до прихода ревизоров. Где-нибудь в Гонолулу стоят у своих орудий люди, материальное положение которых, возможно, еще хуже, чем у него, но они сегодня утром, конечно, не думают об этом. И все же было бы неразумно пойти сейчас на призывной пункт и записаться в армию. Дико, но факт, что патриотизм, как и почти все иные благородные порывы, доступнее всего богатым.

Продолжая одеваться, Майкл услышал, как в соседнюю

комнату вошел негр-лакей, осторожно полез в буфет и звякнул бутылкой. Объявление войны не повлияло на него, усмехнулся Майкл, он все же ворует джин.

Майкл завязал галстук и вышел в гостиную. Негр чистил ковер пылесосом. Он стоял в центре комнаты, уставившись в потолок, и небрежно водил щеткой из стороны в сторону. В комнате пахло джином. Негр качался, как маятник, и явно не спешил закончить свою работу.

— Доброе утро, Брюс,— дружески поздоровался Майкл.— Как себя чувствуешь?

— Доброе утро, мистер Уайтэкр,— рассеянно ответил Брюс.— Чувствую себя как всегда. Все так же.

— Тебя возьмут в армию?

— Меня, мистер Уайтэкр? — Брюс выключил пылесос и покачал головой.— Уж кого-кого, только не старого Брюса. Если они скажут: «Брюс, поступай на военную службу», Брюс не пойдет. Я слишком стар, у меня триппер и ревматизм. Но если бы я даже был молод, как жеребенок, и могуч, как лев, я все равно не пошел бы на эту войну, На следующую — может быть, но не на эту... Нет уж, сэр!

Майкл даже попятился, когда Брюс, покачиваясь и обдавая его запахом джина, чуть не вплотную приблизился к нему, страстно и убежденно бросая эти слова. Он с изумлением глядел на старого лакея. Всякий раз, когда Майкл разговаривал с неграми, он испытывал смущение и чувство какой-то вины и никогда не мог найти с ними общий язык.

— Нет уж, сэр,— говорил между тем Брюс, раскачиваясь,— в этой войне я все равно участвовать не буду, пусть мне даже дадут винтовку из чистого серебра и шпоры из червонного золота. Как сказано в Ветхом завете, это война нечестивых, так что я и пальцем не шевельну, чтобы причинить боль своему ближнему.

— Но ведь японцы убивают американцев,—сказал Майкл. Он считал, что в такой день, как сегодня, человек обязан побеседовать с окружающими, и пытался говорить как можно проще, чтобы опьянение не помешало Брюсу понять его.

— Может и убивают, Сам я не видел, утверждать не берусь, знаю только то, что белые пишут в своих газетах. Возможно, японцы убивают американцев потому, что их вынуждают к этому. Возможно, они пытались зайти в гостиницу, а белые сказали, что желтым тут не место. В конце концов желтые очень рассердились и сказали: «Белые не пускают нас в гостиницу? В таком случае давайте отберем у них гостиницу». Нет, сэр...— Брюс несколько раз быстро провел по ковру щеткой и снова остановил пылесос.—

Нет, сэр. Эта война не для меня. Вот следующая война — это другое дело.

— И когда же она будет? — спросил Майкл.

— В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году, — не задумываясь ответил негр. — Армагедон¹. Война рас. Цветные против белых. — Он с пьяной набожностью взглянул на потолок. — Тогда я в первый же день приду на призывной пункт и скажу генералу-негру: «Генерал, надеюсь, вам пригодятся мои сильные руки».

«Калифорния! — растерянно усмехнулся Майкл. — Таких людей можно встретить только в Калифорнии».

Он вышел из комнаты, где Брюс в суровой задумчивости продолжал стоять посреди комнаты, опираясь на трубу пылесоса.

Через улицу, на незастроенном участке, несколько возвышающемся над окружающей местностью, стояли два военных грузовика. Они доставили сюда зенитное орудие и группу солдат в касках. Солдаты рыли землю. И орудие, длинный ствол которого с надетым на дуло чехлом уставился в небо, и солдаты, работавшие с таким рвением, будто они уже находились под обстрелом, показались Майклу нелепыми и смешными. Вероятно, и это было типично только для Калифорнии. Не верилось, что и в других районах страны армия разыгрывала такие же мелодраматические спектакли. Как и большинству американцев, солдаты и пушки никогда не казались Майклу чем-то реальным, он рассматривал их как принадлежность какой-то скучной игры для взрослых. К тому же орудие торчало между развешанным на веревке женским бельем и задней дверью плохонького домика, на крылечке которого мирно стояла бутылка молока.

Майкл направился по бульвару Уилшир к кафе, где он обычно завтракал. У двери банка на углу в ожидании открытия стояла длинная очередь. Порядок поддерживал молодой полисмен. «Леди и джентльмены! — твердил он. — Леди и джентльмены! Не нарушайте очереди! Не беспокойтесь. Ваши деньги никуда от вас не уйдут».

— Что тут происходит? — любопытствовал Майкл.

Полисмен раздраженно взглянул на него.

— Прошу встать в очередь, мистер, — ответил он и жестом показал туда, где кончалась длинная цепочка людей.

¹ Армагедон — согласно библейскому пророчеству, место предстоящей великой битвы между силами добра и зла. — *Прим. ред.*

— Да мне не нужно в банк. У меня нет денег в этом банке.— Майкл улыбнулся.— Как и в любом другом.

Полисмен тоже улыбнулся, словно это доказательство несостоятельности Майкла сразу же превратило их в друзей.

— Торопятся взять свои денежки,— кивнул он головой на очередь,— пока на сейфы не посыпались бомбы.

Майкл взглянул на людей, жаждущих попасть в банк, и встретил их враждебные взгляды. Казалось, эти люди подозревали каждого, кто разговаривал с полисменом, в каком-то заговоре с целью лишить их денег. Все они были хорошо одеты, среди них было много женщин.

— Удерут на восток, как только получат свои деньги,— театральным шепотом с нескрываемым презрением пояснил полисмен.— Насколько мне известно,— он возвысил голос так, что все, стоявшие в очереди, могли его слышать,— в Санта-Барбаре уже высадилось десять японских дивизий. С завтрашнего дня в Американском банке разместится японский генеральный штаб.

— Я пожалуюсь на вас,— заявила полисмену суровая на вид пожилая женщина в розовом платье и голубой соломенной шляпе с широкими полями.— Вот увидите, обязательно пожалуюсь!

— Жалуйтесь на здоровье. Моя фамилия Маккарти,— спокойно отозвался полисмен.

Майкл улыбнулся и направился к кафе. Проходя мимо зеркальных витрин магазинов, он обратил внимание на то, что некоторые из них уже заклеены узкими полосками тесьмы для защиты от действия взрывной волны.

«Богатые более чувствительны ко всякого рода бедствиям,— рассуждал он про себя.— Им есть что терять, и они быстрее поддаются панике. Бедный человек не покинет Западное побережье только потому, что где-то в Тихом океане началась война. И дело тут не в патриотизме и не в стойкости — просто он не в состоянии позволить себе такой роскоши. К тому же богатые привыкли откупаться от физической и вообще от любой грязной работы, а война как раз и есть не только самая трудная, но и самая отвратительная работа».

Майкл вспомнил садовника, который прожил здесь сорок лет; пьяного от джина и собственных пророчеств Брюса, дедушка которого получил свободу в 1863 году; женщин в очереди перед банком с жадным и враждебным выражением лиц; вспомнил, как сам он сидел на краю покрытой розовым покрывалом кровати и тревожно размышлял о налогах и алиментах... И это те люди, которых воспи-

тали для великих свершений Джефферсон и Франклин¹? Те суровые фермеры, охотники и ремесленники, которые так яростно боролись за свободу и справедливость? Это тот новый мир гигантов, который воспел Уитмен²?

Майкл вошел в кафе и заказал апельсиновый сок, поджаренный хлеб и кофе.

В час дня он встретился с Кэхуном в знаменитом в Беверли-Хилс ресторане. Большой темный зал был отделан в крикливом, излюбленном театральными художниками стиле.

Прислонившись к стойке и поглядывая на толпу штатских, среди которых странно выделялся своей формой высокий сержант-пехотинец, Майкл подумал, что этот зал напоминает ванную, отделанную для балканской королевы какой-нибудь продавщицей из дешевого американского магазина. Сравнение ему понравилось, и он более дружелюбно стал рассматривать загорелых полных людей в твидовых пиджаках и напудренных красавиц в шляпах самых паразитических фасонов, внимательно следивших из-за своих столиков за каждым новым посетителем. В зале царило безудержное праздничное веселье. Люди хлопали друг друга по спине, разговаривали громче и оживленнее, чем обычно, угощали друг друга вином. Обстановка напоминала Майклу час коктейля в каун Нового года в фешенебельных барах Нью-Йорка, когда все наспех закусывают в предвкушении многообещающей, веселой ночи.

Уже ходили сплетни и анекдоты о войне. Знаменитый режиссер прохаживался по залу и с деланно бесстрастным лицом нашептывал то одному, то другому из знакомых, что-де об этом не следует распространяться, но в Тихом океане у нас уже не осталось ни одного военного корабля и что в трехстах милях от берегов Орегона обнаружен японский флот. А некий сценарист своими ушами слышал, как в парикмахерской при киностудии «Метро-Голдвин-Мейер» один из режиссеров, роняя с лица мыльную пену, решительно заявил: «Я так зол на этих желтолицых мерзавцев, что готов сейчас же бросить работу в этой дыре и

¹ Джефферсон, Томас (1743 — 1826) — американский государственный деятель, автор декларации, провозгласившей независимость США. В 1801 — 1809 гг. — президент США.

Франклин, Бенджамин (1706 — 1790) — американский ученый, дипломат и политический деятель, сторонник освобождения негров. Принимал участие в подготовке Декларации независимости. — *Прим. ред.*

² Уитмен, Уолт (1819 — 1892) — американский поэт, активный борец против рабовладения. — *Прим. ред.*

отправиться в...— режиссер замылся, подыскивая наиболее подходящее словечко для выражения своего гнева и чувства гражданского долга, и наконец нашел его,— ...В Вашингтон». Рассказ сценариста пользовался успехом. Как только за столиком раздавался взрыв смеха, сценарист тотчас переходил к другому и принимался рассказывать свою шутку новым слушателям.

Кэхун был молчалив и рассеян, и Майкл понял, что его опять беспокоит язва желудка. Тем не менее по настоянию Кэхуна они выпили у стойки, прежде чем сесть за столик. Майкл никогда прежде не замечал, чтобы Кэхун пил.

Они заняли одну из кабинок, поджидая Мильтона Слипера, автора пьесы, над которой Кэхун сейчас работал, и киноартиста Кэрби Хойта: Кэхун надеялся уговорить его принять участие в постановке.

— Вот поистине одна из самых возмутительных особенностей этого города,— проворчал Кэхун.— Здесь все привыкли решать дела за ленчем. Вы не в состоянии нанять парикмахера, если сначала не дадите ему нажраться.

В зал вошел улыбающийся Фарни и легкой, величественной походкой направился к кабинкам. Он был антрепренером по меньшей мере полтора года наиболее высокооплачиваемых артистов, сценаристов и режиссеров Голливуда. Этот ресторан представлял собой его королевское владение, а время ленча — торжественный час аудиенции. Фарни хорошо знал Майкла и не раз предлагал ему режиссерскую работу в Голливуде, обещая славу и богатство.

— Хэлло.— Фарни пожал им руки. В его улыбке было что-то наглое и вместе с тем добродушное. Он усвоил эту манеру улыбаться с тех пор, как обнаружил, что такая улыбка производит неотразимое впечатление на людей, с которыми он ведет переговоры, столь неотразимое, что они соглашались платить его клиентам больше, чем собирались вначале.

— Ну, как вам нравится? — спросил Фарни таким тоном, будто война была новым фильмом, поставленным под его руководством, фильмом, которым он очень гордится.

— Никогда еще не участвовал в такой очаровательной войнишке,— в тон ему шутливо ответил Майкл.

— Сколько вам лет? — Фарни пристально посмотрел на Майкла.

— Тридцать три.

— Могу достать вам две нашивки на флоте,— заявил Фарни,— в отделе печати. Информация для радио. Хотите?

— Черт возьми! — воскликнул Кэхун.— Вы что, и на флоте подвизаетесь в качестве антрепренера?

— У меня там приятель, капитан. Ну так как? — Он снова повернулся к Майклу.

— Пока нет,— ответил Майкл.— Месяца два-три я должен подождать.

— Через три месяца,— пророческим тоном изрек Фарни, не забывая улыбаться двум блестящим красоткам в соседней кабине,— через три месяца вам останется только ухаживать за садами в Иокогаме.

— Откровенно говоря,— Майкл попытался придать своим словам самый прозаический смысл,— откровенно говоря, я хочу пойти в армию рядовым.

— Не валяйте дурака. Это еще зачем?

— Долгая история,— Майкл смутился, решив, что он все-таки проявил нескромность.— Я расскажу вам как-нибудь в другой раз.

— А вы знаете, что такое рядовой в нашей армии? Котлета — мелко рубленное мясо и немножко жиру... Ну что ж, воюйте на здоровье.— Фарни помахал рукой и отошел.

Кэхун насупившись смотрел, как два комика с громким хохотом проталкивались вдоль стойки и пожимали руки всем пьющим.

— Ну и город! — воскликнул он.— Я бы пожертвовал японскому верховному командованию пятьсот долларов и два билета на премьеры всех своих спектаклей, если бы только оно распорядилось завтра же разбомбить его... Майкл,— продолжал Кэхун, глядя в сторону.— Я хочу тебе кое-что сказать, пусть даже это будет эгоистично с моей стороны.

— Говори.

— Не уходи в армию, пока мы не поставим пьесу. Я слишком устал, чтобы действовать в одиночку. К тому же ты возишься с ней с самого начала. — Слипер — ужасный прохвост, но на этот раз он написал хорошую пьесу, ее нужно обязательно поставить.

— Не беспокойся,— мягко отозвался Майкл и подумал, уж не хватает ли он во имя дружбы за этот законный на вид предлог, чтобы увильнуть от войны еще на целый сезон.— Я пока побуду здесь.

— Пару месяцев армия как-нибудь обойдется и без тебя,— сказал Кэхун.— Ведь мы все равно выиграем войну.

Он умолк, заметив, что к их кабине пробирается Слипер. Мильтон Слипер одевался, как преуспевающий молодой писатель... На нем была темно-синяя рабочая блуза и съехавший набок галстук. Это был красивый, плотный, самоуве-

ренный человек. Несколько лет назад он написал две острые пьесы из жизни рабочего класса. Слипер уселся, не пожав руки Майклу и Кэхуну.

— О боже! — проворчал он. — И почему только мы должны встречаться в таком отвратительном месте?

— Но ведь это твоя секретарша назначила нам встречу здесь, — кротко заметил Кэхун.

— У моей секретарши только две цели в жизни: окрутить венгерского режиссера из киностудии «Юниверсал» и сделать из меня джентльмена. Она из тех девушек, которые вечно твердят, что им не нравятся ваши сорочки. Знаете таких?

— Твои сорочки не нравятся и мне, — отозвался Кэхун. — Ты зарабатываешь две тысячи долларов в неделю и мог бы носить что-нибудь получше.

— Двойное виски, — заказал официанту Слипер. — Ну что ж, — громко сказал он, — дядюшка Сэм в конце концов все же решил выступить в защиту человечества.

— Ты уже переписал вторую сцену? — пропуская его слова мимо ушей, спросил Кэхун.

— Боже милосердный, Кэхун! — всплеснул руками Слипер. — Разве человек может работать в такое время, как сейчас!

— Я спросил на всякий случай.

— Кровь! Кровь на пальмах, кровь в радиопередачах, кровь на палубах... — напыщенно заговорил Слипер («Как персонаж одной из его пьес!» — подумал Майкл), — а он спрашивает о второй сцене! Проснись, о Кэхун! Мы живем в необыкновенное, исключительное время. Недра земли содрогаются от страшного грохота. Погруженное в мрачный кошмар человечество страдает, трепещет и обливается кровью.

— Да будет тебе! — попытался остановить его Кэхун. — Побереги свой пафос для финальной сцены.

— Оставь эти дешевые бродвейские шуточки! — обиделся Слипер, и его густые, красивые брови сдвинулись. — Время для них прошло, Кэхун. Прошло навсегда. Первая сброшенная вчера бомба положила конец всяким островам... Где этот актеришка? — Постукивая пальцами по столу, он нетерпеливо огляделся вокруг.

— Хойт предупредил, что немного задержится, — объяснил Майкл. — Но он обязательно придет.

— Мне еще нужно вернуться в студию, — заметил Слипер. — Фреди просил меня зайти во второй половине дня. Студия собирается поставить фильм о Гонолулу. Так сказать, пробудить народ Америки!

— А ты-то что будешь делать? — поинтересовался Кэ-хун. — Останется у тебя время закончить пьесу?

— Конечно. Я же обещал тебе.

— Ну, видишь ли... Ведь это было еще до начала войны. Я думал, что ты, возможно, пойдешь в армию...

Слипер фыркнул:

— Это еще зачем? Охранять какой-нибудь виадук в Канзас-Сити? — Он отпил большой глоток виски из бокала, поставленного перед ним официантом. — Человеку творческого труда ни к чему военная форма. Он должен поддерживать неугасимое пламя культуры, разъяснять, ради чего ведется война, поднимать настроение людей, вступивших в смертельную борьбу. Все остальное — сентименты. В России, например, творческих работников в армию не берут. Русские говорят им: пишите, выступайте на сцене, творите. Страна, которой руководят здравомыслящие люди, не посылает свои национальные сокровища на передовые позиции. Что бы вы сказали, если бы французы отправили «Монну Лизу» или «Автопортрет» Сезанна на линию Мажино? Вы бы подумали, что они сошли с ума, не так ли?

— Конечно, — согласился Майкл, на которого был устремлен сердитый взгляд Слипера.

— Так вот! — крикнул Слипер. — За каким же дьяволом мы должны отправлять туда нового Сезанна или нового да Винчи? Даже немцы не посылают на фронт артистов! Черт возьми, как мне надоели эти разговоры! — Он допил виски и с яростью посмотрел вокруг себя. — Я не могу больше ждать этого вечно опаздывающего Хойта. Я заказываю себе завтрак.

— А Фарни мог бы обеспечить тебе пару нашивок в военно-морском флоте! — чуть заметно улыбнулся Кэхун.

— Пошел он к черту, этот сводник и провокатор! — взорвался Слипер... — Эй, официант! Яичницу с ветчиной, спаржу с соусом по-голландски и двойное виски.

Хойт появился в ресторане в тот момент, когда Слипер заказывал завтрак. Он быстро прошел к столику, успев по пути пожать руки всего лишь пятерым знакомым.

— Прошу прощения, старина, — извинился он, усаживаясь на обитую зеленой кожей скамью. — Извините, что опоздал.

— Почему вы, черт возьми, никогда не можете явиться вовремя? — накинулся на него Слипер. — Вряд ли это понравится вашим поклонникам.

— Сегодня у меня был чертовски хлопотливый день в студии, старина, — ответил Хойт. — Никак не мог вырвать-

ся.— Он говорил с английским акцентом, несколько не изменившимся за семь лет пребывания в Соединенных Штатах. В 1939 году, сразу же после вступления Англии в войну, Хойт начал хлопотать о получении американского гражданства. Во всем остальном он остался тем же щеголеватым, красивым, одаренным молодым человеком, уроженцем трущоб Бристоля, успевшим пообтереться на лондонской Пэл-Мэл, каким в 1934 году сошел с парохода на американскую землю. Сегодня Хойт выглядел рассеянным и возбужденным и ограничился легким завтраком. Никакого вина он не заказал: ему предстоял утомительный день. Он исполнял роль командира английской эскадрильи в новом фильме и должен был сниматься в сложном эпизоде в горящем самолете над Ла-Маншем, с бутафорской стрельбой и крупными планами.

Завтрак прошел натянуто. Хойт на днях обещал Кэхуну снова прочитать во время уикэнда пьесу и дать сегодня окончательный ответ, согласен ли он играть в ней. Хойт был хорошим актером — лучшего и не найти для этой роли, и если бы он отказался, то подобрать кого-нибудь вместо него оказалось бы делом нелегким. Слипер с надутым видом бокал за бокалом тянул двойное виски, а Кэхун рассеянно тыкал вилкой в тарелку.

За столиком у противоположной стены Майкл заметил Лауру в обществе двух женщин и небрежно кивнул ей. Он впервые увидел ее после развода. Восьмидесяти долларов в неделю ей не надолго хватит, подумал Майкл, если она будет сама расплачиваться в таких ресторанах. Он чуть было не рассердился на нее за расточительность, но тут же отругал себя: ему-то, собственно, что за дело? Лаура выглядела очень хорошенькой, и Майклу не верилось, что она когда-то принадлежала ему и что он мог злиться на нее. «Вот еще один человек,— грустно вздохнул он,— при мимолетной встрече с которым печально заносит сердце».

— Я перечитал пьесу, Кэхун,— с несколько неестественной торопливостью заговорил Хойт,— и должен сказать, что она мне очень понравилась.

— Прекрасно! — лицо Кэхуна стало расплываться в улыбке.

— Но, к сожалению,— тем же тоном добавил Хойт,— я, видимо, не смогу в ней играть.

Улыбка на лице Кэхуна погасла, а у Слипера вырвался какой-то нечленораздельный возглас.

— Это почему же? — спросил Кэхун.

— Видите ли,— Хойт смущенно улыбнулся,— война и

все такое... Мои планы меняются, старина. Дело в том, что если я буду играть в пьесе, то, боюсь, меня сцапают в армию. Здесь же...— Он набил рот салатом и, прожевав, продолжал: — Здесь же, в кино, дело обстоит иначе. Студия уверяет, что добьется для меня отсрочки. По сведениям из Вашингтона, кинопромышленность будет считаться оборонной, а тех, кто занят в ней, не станут призывать в армию. Не знаю, как с театрами, но рисковать я не хочу... Надеюсь, вы понимаете меня.

— Еще бы,— буркнул Кэхун.

— Боже милосердный! — воскликнул Слипел.— Тогда я бегу на студию крепить оборону страны.

Он встал и, тяжело, не совсем твердо ступая, направился к выходу.

Хойт неприязненно посмотрел ему вслед.

— Терпеть не могу этого типа! Совсем не джентльмен,— заметил он и принялся усердно доедать салат.

У столика появился Ролли Вон. У него было багровое улыбающееся лицо. В руке он держал рюмку с коньяком. Он тоже был англичанин, несколько старше Хойта, и вместе с ним снимался в фильме в роли командира авиационного полка. Сегодня он был свободен и мог пить сколько душе угодно.

— Величайший день в истории Англии! — провозгласил он, обращаясь к Хойту все с той же радостной улыбкой.— Дни поражений — позади, дни побед — впереди. За Франклина Делано Рузвельта! — Он поднял рюмку, и остальные из вежливости последовали его примеру. Майкл опасался, что Ролли, раз уж он служит в английских военно-воздушных силах (хотя бы только в киностудии «Парамонт» в Голливуде), чего доброго, хлопнет рюмкой об пол, но все обошлось благополучно.— За Америку! — Ролли снова поднял свою рюмку.

«Не сомневаюсь, что в действительности он пьет за японский флот, который, собственно, и вовлек нас в войну,— поморщился Майкл.— Но что можно взять с англичанина...»

— Мы будем драться на берегах,— декламировал Ролли,— мы будем драться в горах.— Он сел.— Мы будем драться на улицах... Больше никаких Критов, никаких Норвегий... И ниоткуда нас больше не вышвырнут!

— А знаете, старина,— остановил его Хойт,— на вашем месте я не стал бы вести подобные разговоры. Недавно я имел конфиденциальную беседу с человеком из адмиралтейства. Вы бы удивились, если бы я назвал его фамилию. Он мне объяснил все, что касается Крита.

— Что же он сказал вам о Крите? — Ролли с некоторой враждебностью уставился на Хойта.

— Все осуществляется в соответствии с генеральным стратегическим планом, дружище. Мы наносим противнику потери и отходим. Невероятно умный план! Пусть противник пользуется Критом. Что такое Крит, и кому он нужен?!

Ролли с величественным видом встал из-за стола.

— Я не могу здесь больше оставаться,— хрипло заявил он, дико сверкая глазами.— Я не могу слушать, как ренегат-англичанин оскорбляет британские вооруженные силы.

— Что вы, что вы! — попытался успокоить его Кэхун.— Садитесь.

— Что особенного я сказал, старина? — встревожился Хойт.

— Англичане проливают кровь! — Ролли стукнул кулаком по столу.— Они ведут отчаянную, беспощадную борьбу, защищая землю союзников. Англичане гибнут тысячами... а он болтает, что это делается в соответствии с каким-то планом! «Пусть противник пользуется Критом...» Знаете, Хойт, я давно наблюдаю за вами и пытаюсь понять, что вы за птица. Боюсь, как бы мне не пришлось поверить тому, что говорят о вас люди.

— Послушайте, дружище! — Хойт покраснел, его голос зазвучал пронзительно, срываясь на высоких нотах.— Я думаю, что вы просто-напросто жертва страшного недоразумения.

— Вот если бы вы были в Англии,— с угрозой проговорил Ролли,— вы бы запели совсем по-другому. Вас отдали бы под суд еще до того, как вы сказали бы десяток слов. Вы же распространяете уныние и панику, а это в военное время, да будет вам известно, является уголовным преступлением.

— Ну, знаете...— едва слышно пробормотал Хойт. — Ролли, старина!

— Хотел бы я знать, кто вам за это платит.— Ролли вызывающе выставил подбородок к самому лицу Хойта.— Очень хотел бы... и не надейтесь, что все это останется между нами. Об этом узнают все англичане этого города. Можете не сомневаться. «Пусть противник пользуется Критом»! Каково, а? — Он с силой поставил рюмку на стол и отправился обратно к стойке.

Хойт вытер платком вспотевший лоб и с тревогой посмотрел по сторонам, пытаясь определить, кто из окружающих слышал эту тираду.

— Боже мой! — горестно покачал он головой.— Вы

даже не представляете, как трудно сейчас быть англичанином! Вокруг либо сумасшедшие, либо неврастеники, и ты не смеешь разинуть рот...— Он встал.— Надеюсь, вы простите меня, но я в самом деле спешу в студию.

— Пожалуйста,— ответил Кэхун.

— Очень жаль, что я не смогу участвовать в пьесе, но вы же сами видите, как все складывается.

— Да, конечно.

— Всего хорошего.

— До свидания.— Кэхун кивнул все с тем же бесстрастным выражением лица.

Они с Майклом молча смотрели на красивую спину элегантного киноактера, получающего семь с половиной тысяч долларов в неделю. Хойт прошел мимо стойки, мимо защитника Крита и отправился на студию «Парамоунт», где сегодня в десяти милях от английского побережья должен был загореться на фоне декоративных облаков его бутафорский самолет.

— Если бы у меня и не было язвы,— вздыхая, проговорил наконец Кэхун,— то теперь она все равно появилась бы.— Он подозвал официанта и попросил счет.

Майкл увидел, что к их столику направляется Лаура. Он углубился было в изучение своей тарелки, но Лаура остановилась перед ними.

— Пригласите меня сесть,— сказала она.

Майкл равнодушно взглянул на нее, Кэхун же сразу заулыбался.

— Хэлло, Лаура,— приветствовал он ее.— Может, ты присядешь с нами?

Лаура не заставила себя просить и заняла место напротив Майкла.

— Я все равно сейчас ухожу,— добавил Кэхун и, прежде чем Майкл успел что-нибудь возразить, оплатил счет и поднялся.— Вечером встретимся, Майкл,— бросил он на ходу и медленно побрел к двери. Майкл проводил его взглядом.

— Ты мог бы быть повежливее,— проговорила Лаура.— Мы разведены, но это не значит, что мы не можем оставаться друзьями.

Майкл взглянул на сержанта, который пил пиво за стойкой. Сержант заметил Лауру, когда она шла по залу, и сейчас смотрел на нее с откровенной жадностью.

— Я вообще не одобряю так называемых дружественных разводов,— пожал плечами Майкл.— Если люди развелись, то никакой дружбы между ними быть не может.

Веки Лауры дрогнули. «О боже мой! — подумал Майкл.— Она все еще не отвыкла плакать по каждому поводу».

— Я просто подошла, чтобы предупредить тебя... — робко проговорила Лаура.

— Меня? О чем? — удивленно спросил Майкл.

— Чтобы ты не сделал какого-нибудь необдуманного шага. Я имею в виду войну.

— Я и не собираюсь.

— А может, ты все-таки предложишь мне что-нибудь выпить? — тихо сказала Лаура.

— Официант, два виски с содовой! — попросил Майкл.

— Я слышала, что ты в Лос-Анжелосе.

— Да.— Майкл снова взглянул на сержанта, который по-прежнему не спускал глаз с Лауры.

— Я надеялась, что ты позвонишь мне.

«Вот они, женщины! — мысленно усмехнулся Майкл.— Они ухитряются играть своими чувствами, как жонглеры шарами».

— Я был занят, — ответил он.— Как у тебя дела?

— Неплохо. Сейчас я занята на пробной съемке в студии «Фокс».

— Желаю успеха.

— Спасибо.

Сержант у стойки принял позу, которая позволяла ему, не вытягивая шею, разглядывать Лауру. Майкл понимал, почему он проявляет такой интерес к его бывшей жене. В своем строгом черном платье и крохотной, сдвинутой за затылок шляпке она выглядела прямо-таки очаровательной. На лице сержанта ясно читалось выражение одиночества и затаенного желания. Военная форма особенно подчеркивала эти чувства.

«Вот оно, одинокое человеческое существо, барахтающееся в водовороте войны.— Майкл задумчиво посмотрел на сержанта.— Возможно, завтра его пошлют умирать за какой-нибудь покрытый джунглями остров, названия которого никто и не слышал, или месяц за месяцем, год за годом гнить в забытом богом и людьми гарнизоне. У него, вероятно, нет в городе ни одной знакомой девушки, а тут, в этом дорогом ресторане, он видит штатского чуть постарше себя, который сидит с красивой женщиной... Возможно, он представляет сейчас, как я буду беззаботно пьянствовать и развратничать то с одной хорошенькой девушкой, то с другой, а ему придется в это время обливаться потом, плакать и умирать вдали от родины...»

У Майкла возникла безумная мысль — подойти к сер-

жанту и сказать: «Послушай, я угадываю твои мысли, но ты ошибаешься. Я не собираюсь проводить время с этой женщиной ни сегодня, ни когда-либо вообще. Будь это в моих силах, я отправил бы ее сегодня с тобой. Клянусь богом».

Но он не мог этого сделать. Он продолжал сидеть, чувствуя себя виноватым, словно присвоил награду, предназначенную кому-то другому. Майкл понимал, что отныне эта мысль не даст ему покоя. Всякий раз, входя в ресторан с девушкой и заметив там одинокого солдата, он будет испытывать чувство вины; всякий раз, нежно и нетерпеливо прикасаясь к женщине, он будет чувствовать, что она куплена чьей-то кровью.

— Майкл! — обратилась к нему Лаура и с легкой улыбкой посмотрела на него поверх своего бокала. — Что ты делаешь сегодня вечером?

Майкл оторвал взгляд от сержанта.

— Буду работать, — ответил он. — Ты допила виски? Мне пора идти.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Если бы не ветер, можно было бы кое-как терпеть. Христиан тяжело заворочался под одеялом и провел кончиком языка по обветренным губам. Песок... Всюду этот проклятый песок! Ветер нес его с невысоких каменистых хребтов и злобно швырял в лицо, в глаза, забивал горло и легкие.

Христиан с трудом приподнялся и сел, кутаясь в одеяло. Только начинало светать, и пустыня все еще была скована безжалостным холодом ночи. У него стучали зубы. Пытаясь согреться, он сидя сделал несколько вялых движений.

Некоторые из солдат спали. Христиан с удивлением и ненавистью посмотрел на них. Гарденбург и пятеро солдат лежали у самого гребня. Над зубчатой кромкой виднелась только голова Гарденбурга. Лейтенант внимательно рассматривал в бинокль расположившуюся неподалеку транспортную колонну англичан. На нем была длинная толстая шинель, но даже под ее складками было видно, как напряглось его тело.

«Черт бы его побрал! — мысленно выругался Христиан. — Да уж спит ли он когда-нибудь? Вот было бы здорово, если бы Гарденбурга сейчас убили!»

Христиан с наслаждением стал развивать эту мысль, но тут же отбросил ее и вздохнул. Нет, это невозможно. В это утро могут убить всех, только не Гарденбурга. До-

статочно раз взглянуть на него, чтобы понять: этот выживет до конца войны.

Гиммлер, лежавший у гребня рядом с Гарденбургом, осторожно, стараясь не поднимать пыли, сполз вниз, разбудил спавших и что-то шепнул каждому из них. Солдаты зашевелились, двигаясь с осторожностью людей, которые находятся в темной комнате, сплошь заставленной хрупкой стеклянной посудой.

Гиммлер на четвереньках добрался до Христиана и осторожно присел рядом с ним.

— Он тебя вызывает,— шепнул он, хотя до англичан было добрых триста метров.

— Хорошо,— не двигаясь ответил Христиан.

— Гарденбург добьется, что нас всех перебьют,— пожаловался Гиммлер. Он заметно похудел, его давно небритое, заросшее щетиной лицо имело болезненный вид, глаза запали, как у пойманного, затравленного зверя. С тех пор как три месяца назад под Бардией над ними разорвался первый снаряд, Гиммлер перестал паясничать и забавлять офицеров своими шуточками. Казалось, что унтер-офицера подменили, что с прибытием в Африку в него вселился кто-то другой, тощий и отчаявшийся, а дух прежнего добродушного весельчака уютно устроился где-то в захолустном уголке Европы и преспокойно поджидает возвращения Гиммлера, чтобы вновь завладеть его телом.

— Он лежит себе там, наблюдает за томми¹ и напевает,— снова зашептал Гиммлер.

— Напевает? — переспросил Христиан и тряхнул головой, чтобы отогнать сон.

— Напевает и улыбается. Он не спал всю ночь. С той минуты, как колонна остановилась там вчера вечером, он лежит, не отрывая глаз от бинокля, и все улыбается.— Гиммлер со злостью взглянул в ту сторону, где у гребня притаился лейтенант.

— Нет бы ударить по англичанам вчера вечером. Мы легко бы расправились с ними, но он, видите ли, боится, что какой-нибудь томми, не дай бог, спасется. И вот пожалуйста! Мы должны торчать тут целых десять часов и ожидать наступления дня, чтобы прикончить их всех до одного. Ведь какую тогда можно будет написать реляцию! — Гиммлер раздраженно плюнул на непрерывно пересыпающийся под ветром песок.— Вот увидишь, он дождетсся, что нас всех тут прихлопнут.

¹ Томми — английский солдат.— Прим. ред.

— Сколько всего англичан? — спросил Христиан. Он сбросил наконец одеяло и, дрожа от холода, нагнулся, чтобы взять с земли свой тщательно завернутый автомат.

— Восемьдесят, — ответил Гиммлер и с горечью осмотрелся по сторонам. — А нас тринадцать. Тринадцать! Только этот сукин сын мог взять с собой в дозор тринадцать человек. Не двенадцать, не четырнадцать, не...

— Они уже проснулись? — перебил его Христиан.

— Да. Кругом у них часовые. Просто чудо, что они до сих пор нас не обнаружили.

— Чего же он ждет? — Христиан посмотрел на лейтенанта, лежавшего под самым гребнем в позе притаившегося зверя.

— А ты сам его спроси, — буркнул Гиммлер. — Он, может, ждет, что придет Роммель — полюбоваться на его действия и после завтрака пришить ему орден.

Лейтенант соскользнул с верхушки склона и нетерпеливо махнул Христиану. Дистль и Гиммлер медленно поползли ему навстречу.

— Решил сам навести миномет, — продолжал ворчать Гиммлер. — Мне он, видите ли, не доверяет, я, видите ли, недостаточно учен. Всю ночь ползал взад и вперед, забавляясь подъемным механизмом. Ей-богу, если бы нашего лейтенанта осмотрели доктора, они тут же надели бы на него смирительную рубаху.

— Живо! Живо! — хрипло прошептал Гарденбург. Приблизившись к нему, Христиан заметил, что глаза его буквально горят от счастья. Лейтенант давно не брился, его фуражка была вся в песке, но выглядел он таким свеженьким, словно проспал десять часов подряд.

— Через минуту все по местам, — приказал Гарденбург. — Без моего приказа никто не должен шевелиться. Первым открывает огонь миномет. Сигнал рукой я подам отсюда.

Стоя на четвереньках, Христиан кивнул головой.

— По сигналу два пулемета выдвигаются на этот гребень и при поддержке стрелков ведут непрерывный огонь, пока я не скамандую отбой. Ясно?

— Так точно, господин лейтенант, — шепотом ответил Христиан.

— Корректировать огонь миномета буду я сам. Минометному расчету всё время следить за мной. Понятно?

— Так точно, господин лейтенант, — повторил Христиан. — Когда мы откроем огонь?

— Когда я найду нужным. А сейчас обойдите людей, проверьте, все ли в порядке, и возвращайтесь ко мне.

— Слушаюсь.

Христиан и Гиммлер повернулись и поползли к миномету, около которого рядом с минами скорчились солдаты расчета.

Если бы только этот ублюдок получил сегодня пулю в задницу, я умер бы счастливейшим человеком на земле,— вполголоса заметил Гиммлер.

Замолчи,— огрызнулся Христиан, которому стала передаваться нервозность унтер-офицера.— Занимайся своим делом, а лейтенант сам о себе позаботится.

— Обо мне беспокоиться нечего, — обиделся Гиммлер. — Никто не может сказать, что я не выполняю свой долг.

— Никто этого и не говорит.

— Но ты-то хотел сказать,— сварливо ответил Гиммлер, радуясь возможности поспорить со своим постоянным врагом и хотя бы на минуту забыть о восьмидесяти англичанах, расположившихся в каких-нибудь трехстах метрах.

— Заткнись! — оборвал его Христиан и перевел взгляд на дрожавших от холода минометчиков. Один из них — новичок Шёнер непрерывно зевал. Когда он открывал и закрывал рот, его губы нелепо тряслись. Но в общем расчет был наготове. Христиан передал солдатам приказ лейтенанта и, стараясь не пылить, пополз дальше, к пулеметному расчету из трех человек, расположившемуся на правом фланге возвышенности.

Люди и здесь были в готовности. Целая ночь ожидания в непосредственной близости от противника, находившегося сразу за невысоким скалистым хребтом, сказалась на всех. Две разведывательные машины и гусеничный транспортер стояли едва прикрытые небольшой высоткой. Если бы появился английский разведывательный самолет, все пошло бы прахом. Люди то и дело, как и весь вчерашний день, тревожно посматривали на ясное бескрайнее небо, освещенное первыми утренними лучами. К счастью, солнце, пока еще низкое, но уже нестерпимо яркое, поднималось у них за спиной. Еще примерно час оно будет слепить англичанам глаза.

За последние пять недель Гарденбург уже третий раз водил их в тыл английских позиций, и Христиан не сомневался, что лейтенант сам напрашивается в штабе батальона на подобные задания. Здесь, на крайнем правом фланге постоянно меняющейся линии фронта, в безводной и лишенной дорог пустыне, кое-где покрытой колючим кустарником, войск было мало. На большом удалении друг от друга были

разбросаны отдельные посты, между которыми бродили патрули обеих сторон, и обстановка была совсем иной, чем у побережья, где проходила важная дорога с пунктами водоснабжения. Там была сосредоточена основная масса войск, а ожесточенный артиллерийский огонь и воздушные налеты не прекращались ни днем ни ночью. А здесь над пустыней нависло тяжелое молчание, насыщенное каким-то тревожным предчувствием.

«Прошлая война,— думал Христиан,— в некотором отношении была лучше. Конечно, и тогда в окопах шла ужасная бойня, но все было как-то более организовано. Вы регулярно получали еду, чувствовали, что все совершается в соответствии с установившимся порядком и даже опасность приходит обычным, известным путем. В окопе над вами не так тяготеет власть вот такого сумасшедшего искателя славы,— продолжал размышлять Христиан, медленно подползая к Гарденбургу, который снова улегся у гребня возвышенности и рассматривал англичан в бинокль.— В шестидесятом году этот маньяк станет, чего доброго, начальником немецкого генерального штаба, и да поможет тогда бог немецкому солдату!»

Не поднимая головы над гребнем, Христиан осторожно опустился на песок рядом с лейтенантом. От листьев полузасохшего кустарника, цеплявшегося за камни, исходил слабый кисловатый запах.

— Все готово, лейтенант,— доложил Христиан.

— Хорошо,— не двигаясь отозвался Гарденбург.

Христиан снял фуражку, осторожно поднял голову и посмотрел через гребень.

Англичане кипятили чай. Из небольших жестянок, наполовину наполненных песком, пропитанным бензином, поднималось бледное пламя. Вокруг с эмалированными кружками в руках стояли люди. Время от времени на блестящей эмали кружек вспыхивали яркие солнечные зайчики, и тогда казалось, что люди вдруг начинают тревожно перебегать с места на место.

Отсюда, на расстоянии в триста метров, англичане казались детьми, а их покрытые камуфляжной раскраской грузовики и легковые машины — поломанными игрушками. У пулеметов, установленных на кабине каждого грузовика, стояли часовые. Но в целом сцена напоминала воскресный пикник горожан, которые оставили жен дома и решили в мужской компании провести утро на свежем воздухе. Среди машин все еще валялись одеяла: на них ночью спали солдаты. Кое-кто из англичан брился, поставив перед собой

полную чашку воды. «Должно быть, у них воды хоть отбавляй,— механически подумал Христиан,— если они так щедро ее расходуют».

Грузовиков было шесть: пять открытых, груженных ящиками с продуктами, и один крытый, очевидно с боеприпасами. К кострам один за другим стали подходить часовые с винтовками в руках.

«Англичане, должно быть, чувствуют себя в полной безопасности,— размышлял Христиан,— здесь, в тылу, в пятидесяти километрах от передовых позиций, совершая обычный рейс на свои южные посты. Они даже не сочли нужным окопаться, и теперь им негде укрыться, разве только за грузовиками». Не верилось, что восемьдесят человек могут так беспечно и так долго расхаживать под прицелом противника, который ждет только мановения руки, чтобы открыть убийственный огонь. Было странно видеть, как они спокойно бреются, готовят чай. «Ну что ж, если уж кончатся с ними, так именно сейчас...»

Христиан взглянул на Гарденбурга. На лице лейтенанта застыла слабая улыбка, он, как еще раньше подметил Гиммлер, и в самом деле что-то напевал. Улыбка его казалась почти нежной — так улыбался бы взрослый, наблюдая за трогательными, неуклюжими движениями малыша. Гарденбург медлил с сигналом, и Христиану не оставалось ничего иного, как устроиться на песке с таким расчетом, чтобы видеть все происходящее внизу, и ждать.

Но вот вода у англичан закипела, о чем свидетельствовали относимые ветром фонтанчики пара. Христиан видел, как томми принялись по-домашнему отмеривать в кипяток чай и сахар из баночек и мешочков и добавлять сгущенное молоко. «Они не скупилась бы,— усмехнулся про себя Христиан,— если бы знали, что им ничего не потребуется на ленч и на обед».

Он видел, как от окруженных солдатами костров отделилось по одному человеку. Они собрали кульки и баночки и тщательно уложили их в грузовики. Англичане по очереди черпали кипящую жидкость и, наполнив чашки, уступали место другим. Получив завтрак, люди усаживались на песок, и временами порывы ветра доносили обрывки их болтовни и смеха. Христиан с завистью облизал губы. Уже двенадцать часов у него во рту не было и маковой росинки, после выхода из расположения роты он не пил ничего горячего. Ему казалось, что он ощущает сильный, приятный аромат и чуть ли не вкус крепкого, горячего чая.

Гарденбург по-прежнему не шевелился. Та же улыбка,

то же режущее слух мурлыканье... «Чего он ждет, черт бы его побрал? Чтобы нас обнаружили? Хочет обязательно подраться, вместо того чтобы хладнокровно убивать из-за укрытия? Или он ожидает, пока нас не заметят с самолета?» Христиан оглянулся. Немцы лежали в напряженных, неестественных позах, не спуская тревожных взглядов с лейтенанта. Солдат справа от Христиана с трудом глотнул пересохшим ртом, и звук этот прозвучал как-то неестественно громко.

«А ведь он наслаждается! — мысленно воскликнул Христиан, снова взглянув на Гарденбурга. — Нет, армия не имеет права доверять солдат такому человеку. И без того не сладко».

Покончив с завтраком, англичане, рассеявшиеся между грузовиками, принялись набивать свои трубки и задымили сигаретами. Это придавало всей картине еще более мирный вид, подчеркивало царившую среди солдат противника атмосферу довольства и беспечности, и Христиану мучительно захотелось курить. Конечно, на таком расстоянии трудно было как следует рассмотреть англичан, но они казались самыми обыкновенными томми — худощавыми и низкорослыми в своих шинелях, как всегда флегматичными и неторопливыми. Некоторые из них тщательно вычистили песком свою посуду, а затем направились к грузовикам и принялись скатывать одеяла. Часовые у пулеметов, установленных на машинах, соскочили на песок, собираясь позавтракать. Минуты две-три у пулеметов никого не было.

«Так вот чего ждал Гарденбург!» — догадался Христиан и быстро осмотрел солдат, проверяя, все ли готовы. Никто из немцев не пошевелился, они по-прежнему лежали, скорчившись в неудобных позах.

Христиан взглянул на Гарденбурга. Если лейтенант и заметил, что у английских пулеметов никого нет, то не подал виду. На губах у него играла все та же легкая улыбка, и он по-прежнему что-то напевал.

Самое безобразное у Гарденбурга — его зубы. Большие, широкие, кривые и редкие. Легко представить, с каким шумом он втягивает в себя жидкость, когда пьет. А как он доволен собой! Это прямо-таки написано на его лице, когда он, невозмутимо улыбаясь, смотрит в бинокль. Он знает, что все не сводят с него глаз, что все ждут, когда наконец он прекратит своим сигналом эту томительную попытку. Он знает, что все ненавидят его, боятся и не понимают.

Христиан усиленно замигал и снова, словно сквозь дымку, посмотрел на англичан, стараясь хоть на мгновение забыть насмешливое, с тонкими чертами лицо Гарденбурга.

Места у пулеметов не спеша занимали новые часовые. Один из них — светловолосый, без фуражки — курил сигарету. Солдат расстегнул воротник, греясь в лучах поднимающегося солнца. Он стоял, удобно опираясь спиной на высокий железный борт; на губе у него висела сигарета, руки лежали на пулемете, направленном прямо на Христиана.

«Ну вот, — разозлился Христиан, — Гарденбург-таки упустил благоприятную возможность! Чего же, в конце концов, он ждет?.. Надо было, пока я мог, побольше узнать о нем у Гретхен. Что руководит им? Чего он добивается? Почему он стал таким угрюмым?.. Какой к нему нужен подход?.. Да ну давай же, давай, — умолял Христиан лейтенанта, заметив, что два английских офицера с лопатками и туалетной бумагой в руках направились в сторону от колонны... — Давай же скорее сигнал!..»

Но Гарденбург не шевелился.

Христиан почувствовал, что во рту у него совсем пересохло, и судорожно пытался проглотить слюну. Ему было холодно — холоднее, чем в ту минуту, когда он проснулся. У него начали трястись плечи, и он никак не мог унять дрожь. Язык распух, превратился в огромный шершавый комок, на зубах хрустел песок. Он взглянул на свою руку, лежавшую на затворе автомата, и попытался пошевелить пальцами. Они плохо повиновались ему, словно принадлежали кому-то другому.

«Я не смогу выстрелить! — Христиану казалось, что он **сходит** с ума. — Он подает сигнал, а я не смогу даже поднять **автомат**». Он почувствовал резь в глазах и мигал до тех пор, пока не выступили слезы. Сквозь туманную пелену восемьдесят англичан внизу, грузовики и костры показались ему бесформенной колышущейся массой.

«Нет, это уж слишком! Лежать здесь так долго и наблюдать, как люди, которых ты намерен убить, просыпаются, готовят завтрак, отправляются освободить желудок! Теперь уже человек пятнадцать — двадцать, спустив брюки, присели в стороне от грузовиков... Таков солдатский распорядок в любой армии... Если ты не сходишь по своей необходимости через десять минут после завтрака, то, вероятно, не найдешь другого времени в течение всего дня... Отправляясь на войну с развевающимися знаменами, под грохот барабанов и пение горнов, маршируя по чисто подметенным улицам, даже не представляешь себе, что это значит — десять часов лежать в ожидании на холодном, колючем песке в таком месте, куда раньше не заглядывали даже бедуины; лежать и наблюдать, как двадцать англичан отправляют

свои естественные надобности в киренаикской пустыне. Вот что следовало бы сфотографировать Брандту для «Франкфуртер цейтунг».

Христиан услышал странные, ритмичные звуки и медленно повернулся. Рядом с ним радостно хихикал Гарденбург.

Христиан отвернулся и закрыл глаза. «Нет, конечно же, это должно кончиться,— сказал он себе.— Кончится хихиканье, кончится утренний туалет англичан, наступит конец и лейтенанту Гарденбургу, Африке, солнцу, ветру, войне...»

Позади Христиана послышался какой-то шум. Он открыл глаза и мгновение спустя увидел разрыв мины. Он понял, что Гарденбург подал сигнал. Мина попала в светловолового юношу — того, что только сейчас стоял в грузовике и курил. Юноша исчез.

Машина загорелась. Мины одна за другой рвались среди грузовиков. Выдвинутые на гребень возвышенности пулеметы открыли огонь по колонне. Маленькие фигурки, нелепо раскачиваясь, разбежались во всех направлениях. Люди, присевшие в стороне от грузовиков, поднялись и, придерживая брюки, побежали, сверкая ягодицами, спотыкаясь и падая. Какой-то солдат помчался прямо к высоте, где сидели немцы, словно не соображая, что отсюда и ведется огонь. Уже метрах в ста, не больше, он заметил пулеметы. Несколько секунд он стоял как вкопанный, потом повернулся и бросился бежать обратно, придерживая одной рукой брюки. Кто-то из немцев небрежно, словно между делом, застрелил его.

Корректируя огонь миномета, Гарденбург время от времени принимался хихикать. Две мины попали в грузовик с боеприпасами, и машина взорвалась. На месте взрыва всплыл огромный клуб дыма, осколки просвистели над головами немцев. Перед грузовиками на песке там и тут валялись убитые. Английский сержант собрал горстку уцелевших солдат и, беспорядочно стреляя с бедра, бегом повел их на высоту. Один из немцев выстрелил в сержанта; он упал, но тут же приподнялся и продолжал стрелять сидя, пока его не сразила вторая пуля. Сержант ткнулся головой в песок, вытянулся и замер. Люди, которых ему удалось собрать, в беспорядке устремились к грузовикам, но легли все до одного, достигнутые пулями немцев.

Минуты через две со стороны англичан уже не было слышно ни одного выстрела. Сильный ветер уносил в сторону дым горящих грузовиков. Кое-где на песке бились в конвульсиях умирающие.

Гарденбург встал и поднял руку. Огонь прекратился.

— Дистль! — приказал он, окидывая взглядом горящие грузовики и мертвых англичан.— Продолжать пулеметный огонь.

— Что, господин лейтенант? — тупо спросил Христиан, поднимаясь с земли.

— Продолжайте вести огонь из пулеметов.

Христиан взглянул на разгромленную колонну. Все было мертво, только шевелились языки пламени, пожиравшего грузовики.

— Слушаюсь, господин лейтенант.

— Прочесать огнем весь участок. Через две минуты мы спустимся туда. Я хочу, чтобы там не оставалось ничего живого. Вы поняли?

— Так точно.

Христиан приказал обоим расчетам продолжать огонь, пока не поступит новое распоряжение.

Пулеметчики с недоумением посмотрели на Христиана и молча заняли свои места. Захлебывающийся, раздраженный треск пулеметов казался каким-то неуместным сейчас, когда смолкли все крики и молчало другое оружие. Солдаты один за другим поднялись на гребень и стали наблюдать, как пули отскакивают от земли, ударяются в мертвых и поражают раненых, заставляя их подпрыгивать и корчиться на гонимом ветром песке.

Одна из пуль попала в притаившегося у костра английского солдата. Он сел, запрокинул голову и пронзительно закричал, дико размахивая руками. Человеческий крик, такой неожиданный на фоне сухого треска пулеметов, донесся до гребня. Пулеметчики прекратили огонь.

— Продолжать огонь! — заорал Гарденбург.

Крик оборвался, и сраженный пулеметной очередью англичанин откинулся на спину.

Солдаты как зачарованные наблюдали за этой сценой. На их лицах был написан ужас. Только у Гарденбурга выражение лица было совсем иным. Скривив рот, оскалив зубы и полузакрыв глаза, он прерывисто дышал, испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение. Христиан попытался вспомнить, на чьем лице он видел точно такое же самозабвенное выражение... Ну конечно, на лице Гретхен в самые интимные мгновения. «До чего же они похожи друг на друга! Прямо как родные!» — подумал Христиан.

Пулеметы все еще вели огонь, и их ровный дробный стук уже стал казаться солдатам почти таким же привычным, как грохот завода в соседнем квартале родного города. Двое из стоявших на гребне солдат вынули сигареты и

закурили с самым равнодушным видом, явно пресыщенные однообразием того, что происходило у них на глазах.

«Вот она, солдатская жизнь! — подумал Христиан, взглянув на корчившиеся внизу тела.— Если бы они остались в Англии, с ними бы ничего не случилось. И кто знает, не угостит ли меня завтра свинцом какой-нибудь парень из лондонского Ист-Энда?»

Христиан внезапно почувствовал прилив гордости. Конечно, приятно сознавать, что ты выше поляков, чехов, русских, итальянцев, но самое главное, что ты живой, а потому несравненно выше любого мертвого, кем бы он ни был. Он вспомнил красивых, томных, молодых англичан, которые приезжали в Австрию кататься на лыжах. В кафе они всегда разговаривали громко и самоуверенно и не обращали на окружающих никакого внимания. «Надеюсь,— подумал Христиан,— что среди тех изуродованных офицеров, что валяются сейчас внизу, уткнувшись лицом в окровавленный песок, есть кое-кто из этих юных лордов».

Гарденбург взмахнул рукой.

— Прекратить огонь! — скомандовал он.

Пулеметы смолкли. Ближайший к Христиану пулеметчик громко вздохнул, вытер с лица обильный пот и устало облокотился на замолкнувший ствол.

— Дистль! — окликнул Гарденбург.

— Слушаю, господин лейтенант.

— Мне нужны пять солдат и вы.— Он направился вниз, к затихшему полю боя, утопая ногами в глубоком песке, сползающем со склона.

Христиан жестом приказал пяти ближайшим солдатам следовать за ним и двинулся за лейтенантом.

Гарденбург неторопливо, словно собирался принимать парад, зашагал к грузовикам, неловко размахивая руками в такт своим шагам. Дистль и солдаты двигались позади. Они приблизились к англичанину, который так глупо бросился на огонь немцев. Он был сражен несколькими пулями в грудь. Среди пропитанных кровью лохмотьев его куртки торчали осколки ребер, но он еще дышал и молча взглянул на них. Гарденбург вынул пистолет, передернул затвор, небрежно выпустил в голову англичанина две пули и все тем же неторопливым шагом двинулся дальше.

Они подошли к куче распростертых на песке тел. Здесь лежало человек шесть. Все они казались мертвыми, однако Гарденбург приказал: «Прикончить их!», и Христиан, не целясь, несколько раз выстрелил в убитых. Он ничего при этом не почувствовал.

Немцы остановились около костров, и Христиан рассеянно отметил, что в жестянках с песком, превращенных в самодельные очаги, были проделаны аккуратные отверстия для тяги. Видимо, жестянки давно уже служили солдатам верой и правдой. В воздухе стоял тяжелый запах чая, паленой шерсти, тлеющей резины и горелого мяса — он доносился из грузовиков, из которых не успели выскочить солдаты. Один из англичан, весь объятый пламенем, сумел выскочить из машины. С обожженной, почерневшей головой он лежал на боку в какой-то настороженной позе. Здесь же, среди рассыпанного чая, банок с солониной и сахаром, валялись две оторванные миной ноги.

Другой солдат сидел, прислонившись спиной к колесу машины, голова у него держалась лишь на лоскутке кожи. Христиан посмотрел на повисшую голову. Лицо с сильными челюстями, несомненно, принадлежало рабочему. На нем застыло столь характерное для англичан выражение внешнего добродушия и скрытого упорства. Из рта, заставляя губы кривиться в насмешливой улыбке, торчала вставная челюсть. У него были чисто выбритые покрасневшие щеки и седеющие виски. «Один из тех, кто брился утром, — решил Христиан. — Тот самый аккуратный солдат, какого можно найти в любом взводе. В это утро ему можно было и не беспокоиться!..»

То там, то здесь шевелились руки и раздавались стоны. Солдаты разошлись в разные стороны, и отовсюду послышались одиночные выстрелы. Гарденбург подошел к головной машине, по всем признакам принадлежавшей начальнику колонны, и стал рыться в поисках документов. Он взял несколько карт, отпечатанных на машинке приказов, извлек из полевой сумки фотографию светловолосой женщины с двумя детьми, потом поджег машину.

Отойдя в сторону, они вместе с Христианом смотрели, как горит автомобиль.

— А нам повезло: они остановились как раз там, где нужно, — усмехнулся Гарденбург. Христиан тоже улыбнулся. Это никак не похоже на его первый опереточный бой на подступах к Парижу. Это совсем не то, что спекуляция и полицейская служба в Ренне. Это было именно то, к чему они готовились, это была война, а мертвецы, валявшиеся на песке, составляли их реальный, конкретный вклад в завоевание победы. И победа эта близка. На помощь американцев англичанам особенно рассчитывать не приходится.

— Ну ладно! — крикнул солдатам Гарденбург. — Те, кого вы не добились, могут добираться домой пешком. Возвращайтесь на высоту.

Гарденбург и Христиан пошли обратно. На гребне высоты, на фоне неба четко вырисовывались фигуры наблюдавших за ними солдат. «Какими уязвимыми они кажутся, — озабоченно подумал Христиан, — какими одинокими в этой бескрайней пустыне, и как хорошо, что я не один, что они со мной...»

Они прошли мимо полубоженного английского офицера. У него была нежная, бледная кожа аристократа.

— Помните, какой у него был вид, когда раздались первые выстрелы? — усмехнулся Гарденбург. — А как он бежал, пытаясь жестами приказать что-то своим солдатам и одновременно придерживая брюки?.. Капитан армии его величества английского короля... Готов биться об заклад, что в Сандхерсте¹ их не обучают, как вести себя в подобных случаях!

Гарденбург рассмеялся. Комизм всплывавших в его памяти сцен действовал на него все сильнее и сильнее. В конце концов он даже вынужден был остановиться. Согнувшись, упираясь руками в колени и задыхаясь, Гарденбург хохотал, как безумный, и ветер тут же уносил его смех.

Христиан тоже засмеялся. Вначале он крепился, но потом смех охватил его с такой силой, что он стал беспомощно раскачиваться из стороны в сторону. Глядя на корчившихся от хохота лейтенанта и унтер-офицера, начали посмеиваться и остальные. Сначала они только хихикали, но смех Гарденбурга и Христиана был таким заразительным, что вскоре и пять сопровождавших их солдат, и пулеметчики на гребне захохотали во все горло. Звуки дикого смеха неслись над испещренной воронками пустыней, над неподвижно распростертыми телами и потухающим пламенем костров, на которых английские солдаты готовили завтрак, над разбросанными винтовками, над потешными лопатками, которыми так и не успели воспользоваться англичане, над горящими грузовиками и над мертвецом, что сидел, прислонившись к колесу, с полуоторванной головой и вставной верхней челюстью, торчавшей из судорожно искривленного рта.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Поезд медленно шел вдоль сугробов мимо заснеженных холмов Вермонта. Ной сидел в пальто у замерзшего окна, дрожа от холода: в вагоне испортилось отопление. Перед его

¹ Сандхерст — военное училище в Англии. — *Прим. ред*

глазами медленно проплывал неприглядный пейзаж. Все выглядело серым в это раннее облачное рождественское утро. Поезд был переполнен, и Ною не удалось получить спальное место. Он чувствовал скованность во всем теле, лицо его было выпачкано сажей, налетевшей с паровоза. В мужском туалете замерзла вода, и он не смог побриться. Потирая небритую щеку, Ной представил себе, какой у него должен быть вид: противная черная щетина, красные воспаленные глаза, и на воротничке грязные пятна от копоти. «Черт возьми! — думал он. — Как же в таком виде представляться ее семье?»

Его нерешительность возростала с каждой милей. На одной станции, где они стояли пятнадцать минут, его охватило неудержимое желание выпрыгнуть, сесть на стоявший рядом встречный поезд и возвратиться в Нью-Йорк. Неудобства поездки, холод, храп пассажиров, вид мрачных вершин, вырисовывавшихся в облачной ночи, удручающе действовали на Ноя, и его уверенность постепенно таяла. «Нет, — говорил он себе, — ничего из этого не выйдет...»

Хоуп уехала раньше, чтобы подготовить почву. За эти два дня она, должно быть, успела сказать отцу, что собирается выйти замуж и что ее мужем будет еврей. «Наверное все сошло благополучно, — размышлял Ной, сидя в грязном вагоне и стараясь настроить себя на оптимистический лад, — иначе она послала бы мне телеграмму. Она разрешает мне приехать, значит, все должно быть в порядке, должно быть...»

После того как ему отказали в приеме в армию, Ной принял вполне разумное решение перестроить свою жизнь так, чтобы приносить как можно больше пользы. Он стал проводить три-четыре вечера в неделю в библиотеке за изучением проектов по судостроению. «Больше кораблей, — кричали газеты и радио, — как можно больше кораблей!» Что ж, если ему не суждено воевать, то, по крайней мере, он сможет строить. Он никогда не имел дела с чертежами, и его представление о сварке и клепке было самым смутным, а по всем данным, чтобы стать специалистом в любой из этих областей, потребуются месяцы упорной учебы. И он занимался с неутомимым рвением, заучивая наизусть, повторяя вслух содержание прочитанного, заставляя себя снова и снова воспроизводить по памяти чертежи. Он умел работать с книгой, и учение двигалось быстро. Еще месяц, думал он, и можно будет пойти на верфь, смело податься на леса и начать зарабатывать себе на хлеб.

И рядом с ним будет Хоуп. Он чувствовал себя немного виноватым, собираясь строить свое личное счастье в

то время, когда его товарищи переживают ужасы войны. Однако, если он, Ной, откажется от семейной жизни, это несколько не приблизит поражение Гитлера и не ускорит капитуляцию Японии. К тому же Хоуп так настаивала.

Но ведь Хоуп так любит своего отца, а он убежденный пресвитерианец, церковный староста с твердо укоренившимися в сознании суровыми религиозными принципами.

Она ни за что не выйдет замуж без согласия отца. «О боже,— думал Ной, уставившись на капрала морской пехоты, который, развалившись на сиденье, спал с открытым ртом и поднятыми вверх ногами,— боже, почему так сложно устроен мир?»

Вот в окне показался кирпичный завод и замелькали тесно жмущиеся друг к другу унылые заснеженные улицы с пирамидальными крышками домов. А вот и Хоуп, она стоит на платформе и старается взглядом отыскать его лицо в мелькающих замерзших окнах.

Он на ходу прыгнул с поезда, прокатился по скользкому снегу, стремясь удержать равновесие, взмахнул руками и чуть было не выпустил из рук потертый саквояж из искусственной кожи. Какой-то пожилой человек с чемоданом ядовито заметил ему:

— Это лед, молодой человек, лед, на нем не танцуют.

Хоуп спешила ему навстречу. У нее было бледное, встревоженное лицо. Остановившись в нескольких шагах, даже не поцеловав его, она воскликнула:

— Боже мой, Ной! Тебе нужно побриться.

— Вода замерзла,— бросил он с раздражением.

Некоторое время они стояли друг против друга в нерешительности. Затем Ной быстро огляделся вокруг, стараясь определить, одна ли она пришла. На станции сошло еще несколько пассажиров, но было очень рано, их никто не встречал, и они уже спешили к выходу. Вскоре поезд отошел, и, если не считать пожилого мужчины с чемоданом, Ной и Хоуп остались на станции одни.

«Нехорошо,— подумал Ной,— они послали ее, чтобы она сама сообщила мне неприятную весть».

— Как доехал? — стараясь скрыть смущение, спросила Хоуп.

— Отлично,— ответил Ной. Она казалась какой-то странной и холодной; на ней было старое короткое пальтишко из толстой клетчатой ткани, а на голове туго повязанный шарф. С холодных вершин дул северный ветер, насквозь пронизывая его пальто, словно оно было из тончайшей ткани.

— Значит, проводим рождество здесь? — спросил Ной.

— Ной... — тихо, дрожащим голосом произнесла Хоуп, стараясь скрыть волнение. — Ной, я еще не говорила им.

— Что? — упавшим голосом спросил Ной.

— Я не сказала им ничего: ни что ты должен приехать, ни что я хочу выйти за тебя замуж, ни что ты еврей, ни что ты вообще существуешь.

Ной проглотил обиду. «До чего же глупо и бессмысленно проводить так рождество», — подумал он, глядя на неприступные вершины.

— Ну что же, — ответил он, сам не сознавая, что хотел этим сказать. Но Хоуп выглядела такой жалкой в своем туго повязанном шарфе, с озябшим на утреннем морозе лицом, что ему захотелось как-то утешить ее. — Пустяки, — добавил он таким тоном, каким говорит хозяин неловкому гостю, разбившему вазу, давая понять, что это не такая уж большая потеря. — Не беспокойся об этом.

— Я все собиралась сказать, — начала Хоуп так тихо, что сквозь порывы ветра он с трудом различал ее слова, — я даже пыталась вчера вечером все рассказать отцу... — Она тряхнула головой и продолжала. — Мы пришли домой из церкви, и я думала, что нам удастся посидеть вдвоем на кухне, но тут вошел мой брат. Он приехал с женой и детьми на праздники из Ратленда. Они заговорили о войне, а брат такой болван — стал уверять, что евреи не воюют, а только наживаются на войне. А отец сидел и кивал головой. Не знаю, соглашался ли он или просто дремал — его каждый вечер уже с девяти часов клонит ко сну, — и я так и не решилась...

— Ничего, ничего, все в порядке, — тупо повторял Ной, машинально натягивая перчатки на озябшие руки. «Нужно позавтракать, — подумал он, — и выпить чашку кофе».

— Я не могу больше оставаться с тобой, — сказала Хоуп. — Мне пора возвращаться. Когда я уходила из дому, все еще спали, а сейчас они, наверное, уже встали и гадают, куда я девалась. Я должна пойти с ними в церковь, а потом постараюсь поговорить с отцом наедине.

— Правильно, так и сделай, — с неестественным оживлением проговорил Ной.

— На той стороне улицы есть отель. — Хоуп показала на трехэтажное здание шагах в пятидесяти. — Там можно позавтракать и отдохнуть. Я приду к тебе в одиннадцать часов. Хорошо? — озабоченно спросила она.

— Отлично, кстати там и побреюсь, — просиял Ной, как будто ему только что пришла в голову блестящая идея.

— Ной, милый...— Подойдя ближе, она прикоснулась руками к его лицу.— Мне так жаль. Я подвела тебя, я подвела тебя.

— Глупости,— мягко возразил он,— глупости.— Но в душе он знал, что Хоуп права. Она действительно подвела его, и это его не столько огорчило, сколько удивило. На нее можно было всегда положиться, она была такой мужественной, такой искренней и сердечной по отношению к нему. И к чувству разочарования и обиды, которое принесло ему это холодное рождественское утро, примешивалось и другое чувство: он был рад тому, что она хоть раз провинилась. Он был убежден, что не раз подводил ее и будет иногда подводить и в будущем. Теперь они в какой-то степени сквитались, и впредь ему будет за что ее прощать.

— Не беспокойся, дорогая,— улыбался он ей, грязный и уставший,— я уверен, что все будет хорошо, я буду ждать тебя там.— Он жестом указал на отель.— Иди в церковь и...— он печально усмехнулся,— помолись за меня.

Она улыбнулась, еле сдерживая слезы, потом повернулась и быстро зашагала своей твердой походкой, которую не могли изменить ни тяжелые боты, ни скользкая дорога, к дому, где колеблющийся отец и разговорчивый брат, вероятно, уже проснулись и ожидали ее прихода. Ной смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом, затем поднял саквояж, пересек скользкую улицу и направился к отелю. Открыв дверь отеля, он остановился. «О боже! — вдруг вспомнил он.— Я забыл поздравить ее с рождеством».

Было уже половина первого, когда раздался стук в дверь маленькой мрачной комнаты с облезлой крашеной железной кроватью и разбитым умывальником, которую Ной снял за два с половиной доллара. На праздники теперь осталось три доллара и семьдесят пять центов. (Правда, обратный билет до Нью-Йорка он уже купил.) Он не рассчитывал, что придется платить за комнату. Впрочем, с деньгами не так уж плохо. Питание в Вермонте, как он убедился, стоило недорого. За завтрак из двух яиц он заплатил всего тридцать пять центов. Подсчитав деньги, он тяжело вздохнул. Война, любовь, варварское деление на евреев и неевреев, возникшее почти за две тысячи лет до этого сурового рождественского утра, естественное нежелание отца отдавать свою дочь незнакомому человеку, а тут еще приходится ломать голову, как прожить праздники, когда в кармане осталось меньше пяти долларов.

Ной попытался изобразить на лице спокойную улыбку, предназначенную для Хоуп, и открыл дверь. Но это оказалась не Хоуп, а один из служащих отеля, старик с морщинистым красным лицом:

— Дама и господин внизу в вестибюле,— бросил он, повернулся и вышел.

Ной с волнением взглянул на себя в зеркало, тремя порывистыми движениями провел расческой по коротким волосам, поправил галстук и вышел из комнаты. «С какой стати,— спрашивал он себя, с замиранием сердца спускаясь по скрипучей лестнице, пропахшей воском и свиным салом,— с какой стати человек в здравом уме должен сказать мне «да»? Что я могу предложить в дополнение к своему имени? Три доллара в кармане, чуждую религию, тело, от которого отказалось за ненадобностью правительство, никакой профессии, никакого определенного стремления, кроме желания жить с его дочерью и любить ее. Ни семьи, ни воспитания, ни друзей. Лицо, которое должно показаться этому человеку грубым и чуждым; запинаящаяся речь, засоренная жаргоном плохих школ и языком простонародья всех уголков Америки. Ною приходилось бывать в таких городках, как этот, и он знал, какие люди вырастают в них: гордые, замкнутые в себе, ограниченные кругом своей семьи, непреклонные, с семейными традициями древними, как камни самих городов, они со страхом и презрением смотрят на орды безродных пришельцев, вливающих в их города. Ной никогда еще не чувствовал себя таким чужаком, как в этот момент, когда, спустившись по лестнице в вестибюль отеля, увидел мужчину и девушку, которые, сидя в деревянных качалках, смотрели в окно на морозную улицу.

Услышав, что Ной входит в вестибюль, они поднялись. «Какая она бледная»,— отметил Ной, предчувствуя катастрофу. Он медленно направился к отцу и дочери. Плаумен был высокий, сутулый мужчина, выглядевший так, словно всю свою жизнь имел дело с камнем и железом и последние шестьдесят лет вставал не позднее пяти часов утра. У него было угловатое, замкнутое лицо, за очками в серебряной оправе виднелись усталые глаза. Когда Хоуп сказала: «Отец, это Ной», его лицо не отразило ни дружелюбия, ни враждебности.

Впрочем, он протянул Ною руку. Пожимая ее, Ной заметил, что рука была жесткая и мозолистая. «Что бы там ни было, а умолять я не буду,— решил Ной.— Я не буду глять и делать вид, будто что-нибудь собой представляю. Если он скажет «да» — хорошо, а если скажет «нет...» Но об этом Ною не хотелось думать.

— Очень рад познакомиться с вами,— сказал Плаумен. Они стояли, чувствуя себя неловко в присутствии пожилого клерка, наблюдавшего за ними с нескрываемым интересом.

— Мне кажется, неплохо было бы нам с мистером Аккерманом немного побеседовать,— сказал Плаумен.

— Да,— прошептала Хоуп, и по ее напряженному, неуверенному тону Ной почувствовал, что все потеряно.

Плаумен внимательно осмотрел вестибюль.

— Здесь, пожалуй, мало подходящее место для беседы,— проговорил он, взглянув на клерка, который с любопытством смотрел на него.— Можно немного прогуляться, к тому же мистер Аккерман, вероятно, пожелает осмотреть город.

— Да, сэр,— ответил Ной.

— Я подожду здесь,— сказала Хоуп и опустилась в калачку, жалобно заскрипевшую в тишине вестибюля. При этом звуке клерк неодобрительно поморщился, а Ной почувствовал, что этот жалобный скрип будет преследовать его в течение многих лет в тяжелые минуты жизни.

— Мы вернемся минут через тридцать, дочь моя,— сказал Плаумен.

Ноя слегка передернуло при этом обращении. Оно вызвало в памяти плохие старые пьесы из жизни фермеров, фальшивые, надуманные и мелодраматичные. Он открыл дверь и вышел вслед за Плауменом на заснеженную улицу. Он мельком увидел, что Хоуп с тревогой наблюдает за ними в окно. Потом они медленно пошли под резким холодным ветром по расчищенным тротуарам мимо закрытых магазинов.

Минуты две они шли молча, слышен был только скрип сухого снега под ногами. Первым заговорил Плаумен.

— Сколько с вас берут в отеле? — спросил он.

— Два пятьдесят,— ответил Ной.

— За один день? — удивился Плаумен.

— Да.

— Грабители с большой дороги все эти содержатели отелей,— возмутился Плаумен.

Он снова замолчал, и они продолжали свой путь, не обмениваясь ни словом. Они миновали фуражную лавку Маршалла, аптеку Ф. Кинне, магазин мужской одежды Дж. Джиффорда, юридическую контору Вирджила Свифта, мясную лавку Джона Хардинга и булочную миссис Уолтон, магазин похоронных принадлежностей Оливера Робинсона и бакалейную лавку Н. Уэста.

Лицо Плаумена было по-прежнему суровым и непроницаемым, его резкие, застывшие черты не гармонировали со старомодной выходной шляпой. Ной перевел взгляд на вывески магазинов. Имена владельцев входили в его голову, словно гвозди, методично забиваемые в доску безразличным плотником. Каждое имя жалило как стрела, вставало как стена, в каждом имени слышался упрек, вызов, сигнал к нападению. Ной чувствовал, как тонко и хитроумно этот старик вводит его в тесно сплетенный, единый мир простых английских фамилий, к которому принадлежит его дочь. Окольным путем он ставил перед Ноем вопрос, как уживется в этом мире он, Аккерман, человек со случайным именем, вывезенным из пекла Европы, одинокий, беззаботный, непризнанный, не имеющий ни гроша за душой, бездомный и безродный.

«Лучше бы иметь дело с братом,— подумал Ной,— шумным, болтливым, со всеми его старыми, давно известными гнусными и избитыми доводами, чем подвергаться молчаливому нападению этого умного старого янки».

Не нарушая молчания, они прошли деловой район города. Позади газона возвышалось обветренное кирпичное здание школы с увитыми засохшим плющом стенами.

— В эту школу ходила Хоуп,— сообщил Плаумен, кивком головы указывая на здание.

«Новый враг,— подумал Ной, глядя на спрятавшееся за дубы простое старое здание,— еще один противник, лежащий в засаде двадцать пять лет». Над входом по обветренному камню был высечен девиз. Скопив глаза, Ной прочел его. «Вы узнаете правду»,— гласили полустертые буквы, обращаясь к поколениям Плауменов, которые под этим лозунгом учились читать и писать и узнавали о том, как их предки в семнадцатом веке высадились в жестокую бурю на скалах Плимута.— Вы узнаете правду, и правда сделает вас свободными». Ною казалось, что он слышит доносящийся из могилы звонкий голос покойного отца, читающего эти слова в своей напыщенной ораторской манере.

— Обошлась в двадцать три тысячи долларов в 1904 году,— пояснил Плаумен.— В 1935 году Управление общественных строительных работ хотело снести ее и построить новую, но мы не допустили этого: пустая трата денег налогоплательщиков. Школа и так очень хорошая.

Они пошли дальше. В ста шагах от школы стояла церковь. Ее стройный, строгий шпиль устремлялся в утреннее небо. «Вот его самое сильное оружие,— в отчаянии подумал Ной.— На церковном кладбище, вероятно, похоронено

несколько десятков Плауменов, и со мной будут говорить в их присутствии».

Церковь была построена из светлого дерева и стояла, изящная и прочная, на заснеженном склоне. Она отличалась строгим, сдержанным стилем и не взывала неистово к богу, подобно устремленным ввысь соборам французов и итальянцев, а обращалась к нему простыми, взвешенными, краткими словами, прямо относящимися к делу.

— Ну что ж,— сказал Плаумен, когда до церкви оставалось еще шагов пятьдесят,— пожалуй, мы зашли уже довольно далеко.— Он повернулся.— Пойдем обратно?

— Да,— согласился Ной, и они направились в отель. Он был так удивлен и озадачен, что шел машинально, почти ничего не видя. Удар еще не нанесен, и неизвестно, когда он обрушится. Ной взглянул на старика: гранитные черты его лица хранили сосредоточенное, озабоченное выражение. Ной видел, что он мучительно подыскивает подходящие слова, холодные и убедительные, чтобы отказать возлюбленному своей дочери, слова справедливые, но решительные, сдержанные, но окончательные.

— Вы поступаете ужасно, молодой человек,— начал наконец Плаумен, и Ной сжал челюсти, готовясь к бою.— Вы подвергаете испытанию принципы старого человека. Не скрываю, я хотел бы только одного: чтобы вы сели в поезд, вернулись в Нью-Йорк и никогда больше не видели Хоуп. Но вы ведь не сделаете этого, не так ли? — Он пристально посмотрел на Ноя.

— Нет, не сделаю.

— Я так и думал. Иначе я не был бы здесь.— Старик глубоко вздохнул и, глядя под ноги на очищенный от снега тротуар, продолжал медленно идти рядом с Ноем.— Извините меня за довольно невеселую прогулку по городу,— опять заговорил он.— Значительную часть своей жизни человек живет автоматически, но иногда ему приходится принимать серьезные решения. И тогда он должен спросить себя: во что я верю, и хорошо это или плохо? Все эти сорок пять минут вы заставили меня думать об этом, и не могу сказать, что я вам за это благодарен. Я не знаю ни одного еврея и никогда не имел с ними дела. Мне нужно было к вам присмотреться и попытаться решить, считаю ли я евреев дикими, отъявленными язычниками, прирожденными преступниками или чем-то в этом роде... Хоуп думает, что вы не такой уж плохой, но молодые девушки часто ошибаются. Всю свою жизнь я считал, что люди рождаются одинаково хорошими, и, слава богу, до сегодняш-

него дня мне не нужно было проверять это. Если бы кто-нибудь другой появился в городе и попросил руки Хоуп, я сказал бы ему: «Заходите в дом, Виргиния приготовила индейку на обед...»

Слушая искреннюю речь старика, Ной не заметил, как они подошли к отелю. Дверь отеля открылась, и из нее быстро вышла Хоуп. Заметив дочь, старик остановился и сразу умолк. Она пристально смотрела на него, лицо ее выражало тревогу и решимость.

Ной чувствовал себя как после долгой болезни, перед его глазами пробежали имена Киннов, Уэстов и Свифтов с вывесок магазинов, имена с надгробных плит церковного кладбища, сама церковь, холодная и суровая. Слушать неторопливую речь старика, видеть измученную бледную Хоуп вдруг стало невыносимо. Он вспомнил свою теплую неприбранную комнату на берегу реки, с книгами и старым пианино, и ему до боли захотелось домой.

— Ну как? — спросила Хоуп.

— Что же, — не спеша ответил отец. — Я только что сказал мистеру Аккерману, что у нас на обед приготовлена индейка.

Лицо Хоуп медленно озарилось улыбкой, она прижалась к отцу и поцеловала его.

— Что же вы так долго? — спросила она, и изумленный Ной вдруг понял, что все будет хорошо, но он был настолько утомлен и разбит, что ничего не почувствовал.

— Можете захватить свои вещи, молодой человек, — сказал Плаумен, — нет смысла отдавать этим грабителям все свои деньги.

— Да, да, конечно, — согласился Ной и медленно, как во сне, стал подниматься по лестнице в отель. Открыв дверь комнаты, он оглянулся. Хоуп держала под руку отца, старик улыбался, пусть это была несколько вымученная и натянутая, но все-таки улыбка.

— Ах, я и забыл. Счастливого рождества, — сказал Ной и направился за саквояжем.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Призывной пункт находился в большом пустом помещении над греческим рестораном. В воздухе стоял запах горелого масла и плохо приготовленной рыбы. Пол был грязный, две лампы без абажуров ярко освещали расшатанные деревянные походные стулья и беспорядочно завален-

ные бумагами столы, за которыми две секретарши монотонно печатали бланки. Комнату ожидания и место, где заседала комиссия, разделяла временная перегородка, через которую свободно проникал гул голосов. На походных стульях сидело с десяток человек: степенные, хорошо одетые мужчины среднего возраста, юноша итальянец в кожаной куртке, явившийся с матерью, несколько молодых пар, державшихся за руки. «У них такой вид,— думал Майкл,— словно они попали в безвыходное положение: обиженные, злые, сидят, уставившись на потрепанный бумажный американский флаг и развешанные по стенам плакаты и объявления. Все они выглядят как люди, обремененные семьей или страдающие болезнями, которые дают право на освобождение от военной службы. А женщины — жены и матери с укором смотрят на других женщин, словно хотят сказать: «Я вижу вас насквозь, у вас отличное здоровье, но вы припрятали в подвале много денег и хотите, чтобы вместо вас пошел мой сын или муж, но не думайте, что на этот раз вам удастся отделаться».

Дверь комнаты, в которой заседала комиссия, открылась, и из нее вышел невысокий черноглазый юноша в сопровождении матери. Мать плакала, а покрасневшее лицо юноши выражало испуг и злобу. Все смотрели на него холодным оценивающим взглядом, мысленно представляя себе его мертвое тело на поле боя, белый деревянный крест и почтальона у двери с телеграммой в руках. В этом взгляде не было и тени сожаления, одно только злорадство.казалось, он говорил: «Вот еще один мерзавец, которому не удалось их одурачить».

На столе одной из секретарш застучала машинка. Затем секретарша поднялась, приоткрыла дверь и, скользнув безразличными глазами по комнате, противным, резким голосом вызвала:

— Майкл Уайтэкр.

Это была на редкость некрасивая девушка, с большим носом и густо намазанными губами. Поднимаясь со стула, Майкл заметил, что у нее кривые ноги, а чулки перекрутились и сморщились.

— Уайтэкр! — раздраженно и нетерпеливо повторила она.

Майкл помахал ей и, улыбнувшись, сказал:

— Не выходите из себя, дорогая, я иду.

Она взглянула на него с холодным превосходством. Но Майкл не осуждал ее. Помимо обычного для государственных служащих дерзкого обращения, в ней еще говорило пьянящее чувство власти над людьми, которых она посылает

на смерть — на смерть ради нее, хотя, очевидно, за всю ее жизнь ни один мужчина не взглянул на нее приветливо. «Все угнетают слабых — негров, мормонов, нудистов¹, нелюбимых женщин, — думал Майкл, подходя к двери, — чтобы как-то вознаградить себя за собственные неприятности. Надо быть святым, чтобы, работая на призывном пункте, оставаться порядочным человеком».

Открывая дверь, Майкл с удивлением почувствовал, что его пробирает легкая дрожь. «Что за чепуха», — подумал он, досадуя на себя. За длинным столом сидело семь человек. Все они повернулись и посмотрели на него. Их лица были для призывника другой стороной медали. Если в комнате ожидания царили страх, обида и неуверенность, то здесь было безжалостное подозрение, недоверие и бессердечность. «При других обстоятельствах ни с кем из этих типов я не стал бы разговаривать, — подумал Майкл, без улыбки глядя на их неприветливые лица. — Вот они, мои ближние. Кто выбрал их? Откуда они явились? Почему они проявляют такое рвение, посылая своих земляков на войну?»

— Садитесь, пожалуйста, мистер Уайтэкр, — угрюмо пригласил председатель, жестом указывая на свободный стул. Это был пожилой тучный мужчина с двойным подбородком и злыми пронзительными глазами. Даже «пожалуйста» он произнес властным, повелительным тоном. Подходя к стулу, Майкл подумал: «А в какой войне участвовал ты?»

Другие лица тоже повернулись к нему, словно орудия крейсера, готовящиеся к обстрелу. Садясь на стул, Майкл с удивлением подумал: «Я живу в этом районе десять лет, но никогда не видел ни одного из этих людей. Наверное, они прятались в подвалах, ожидая этого момента».

На длинной стене позади стола, за серыми и синими костюмами и желтыми лицами членов комиссии, ярким пятном выделяясь на фоне тусклой комнаты, висел американский флаг, на этот раз из настоящей ткани. Майкл вдруг представил себе тысячи таких комнат по всей стране, тысячи таких же мрачных людей с холодными подозрительными лицами и флагом, висящим за их лысеющими головами, людей, через руки которых проходят тысячи озлобленных, насильно призываемых юношей. Видимо, эта комната, неряшливая и неприветливая, символизировала общую обстановку, господствовавшую в стране в 1942 году. Здесь царило насилие, запугивание и обман, и ничто не облагоражи-

¹ Мормоны — американская религиозная секта; нудисты — проповедники культа наготы. — *Прим. ред.*

вало эту процедуру, кроме перспективы смерти или ранения.

— Итак, мистер Уайтэкр,— заговорил председатель, близоруко роясь в личном деле Майкла,— вы просите льготу по пункту За, потому что имеете иждивенцев.— И он сердито воззрился на Майкла, как будто спрашивал его: «Где оружие, которым вы убили покойного?»

— Да,— ответил Майкл.

— Мы установили, что вы не живете с женой,— громко произнес председатель и торжествующе посмотрел вокруг. Несколько членов комиссии энергично закивали головами.

— Мы разведены.

— Разведены? — воскликнул председатель.— Почему вы скрыли этот факт?

— Послушайте,— сказал Майкл,— я не буду напрасно занимать ваше время, я поступаю на военную службу.

— Когда?

— Как только будет поставлена пьеса, над которой я работаю.

— А когда это будет? — с раздражением спросил маленький толстый мужчина с другого конца стола.

— Через два месяца,— ответил Майкл.— Не знаю, что вы написали на том заявлении, но я должен обеспечить отца с матерью и платить алименты...

— Ваша жена зарабатывает пятьсот пятьдесят долларов в неделю,— резко заявил председатель, заглянув в лежавшие перед ним бумаги.

— Да, когда работает.

— В прошлом году она работала тридцать недель,— продолжал председатель.

— Правильно,— устало подтвердил Майкл,— но ни одной недели в этом году.

— Да, но мы должны учитывать вероятные заработки,— сказал председатель, взмахнув рукой.— Последние пять лет она работала, и нет оснований полагать, что она не будет работать и дальше. Кроме того,— еще раз заглянув в бумаги, добавил он,— вы заявляете, что на вашем иждивении отец и мать.

— Да,— со вздохом ответил Майкл.

— Ваш отец, как мы установили, получает пенсию в шестьдесят восемь долларов в месяц.

— Правильно,— согласился Майкл.— А вы пытались когда-нибудь прожить вдвоем на шестьдесят восемь долларов в месяц?

— Все должны чем-то жертвовать в такое время, как сейчас,— с достоинством проговорил председатель.

— Я не хочу спорить с вами, я уже сказал, что собираюсь через два месяца поступить на военную службу.

— Почему? — спросил мужчина, сидевший на другом конце стола, уставившись через блестящие стекла пенсне на Майкла и, видимо, готовясь разоблачить эту последнюю увертку.

Майкл окинул взглядом семь рассерженных лиц и с усмешкой ответил:

— Я не знаю почему, а вы знаете?

— Достаточно, мистер Уайтэкэр,— процедил председатель.

Майкл поднялся и вышел из комнаты, чувствуя на себе злые, возмущенные взгляды всех семи членов комиссии. «Они чувствуют себя обманутыми,— вдруг сообразил он,— им так хотелось поймать меня в ловушку, все они подготавливались к этому».

Люди, ожидавшие в приемной, с удивлением посмотрели на него, недоумевая, почему он так быстро вышел. Он улыбнулся им и хотел было пошутить, но подумал, что это было бы слишком жестоко по отношению к растерянным парням, ожидавшим в мучительном напряжении своей очереди.

— Спокойной ночи, дорогая,— сказал он, обращаясь к некрасивой девушке за столом. В этом он не мог себе отказать. Она взглянула на него с непоколебимым превосходством человека, которого не пошлют умирать за других.

Спускаясь по лестнице, Майкл продолжал улыбаться, но чувствовал он себя все-таки подавленным. «Надо было пойти в первый день,— думал он,— тогда мне не пришлось бы подвергаться такому унижению». Медленно шагая в этот мягкий зимний вечер мимо гуляющих парочек, не знающих о том, что в полуквартале от них, в грязном помещении над греческим рестораном, во имя их идет подлая, жалкая борьба человеческих душ, Майкл чувствовал себя униженным и оскорбленным.

Через два дня, спустившись утром за почтой, он обнаружил открытку из призывного пункта: «Согласно вашей просьбе, с 15 мая вы будете переведены в категорию 1А»¹. Он рассмеялся. «Они хотят превратить свое поражение в победу»,— подумал он, поднимаясь к себе в лифте, и вдруг почувствовал облегчение: больше не нужно было принимать никаких решений.

¹ Неограниченно годные к военной службе.— *Прим. ред.*

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ной проснулся, и в глаза ему упал мягкий свет утренней зари. Он посмотрел на жену. «Она спит и словно хранит какую-то тайну. Хоуп, моя Хоуп», — подумал он. Наверно, она была одной из тех серьезных девочек, которые ходят по этому белому деревянному городу с таким видом, будто все время торопятся куда-то по важным делам. Наверно, в разных углах комнаты у нее были свои тайники, где она прятала всякие мелкие вещицы — перья, засушенные цветы, старые модные картинки из магазина Харпера, рисунки с изображением женщин в турнирах и всякие прочие безделки. Ничего ты не знаешь о девочках; другое дело, если бы у тебя были сестры. Жена пришла к тебе из совсем неведомой для тебя жизни, все равно как с гор Тибета или из французского женского монастыря. Что делала она в то время, когда он покуривал сигареты под крышей заведения для мальчиков полковника Друри («Мы берем мальчика, а возвращаем мужчину».)? Задумчиво прогуливалась мимо церковного кладбища, где под старым дерном покоятся поколения Плауменов? Если существует какое-то предопределение, то она уже тогда готовилась к встрече с ним, готовилась к тому времени, когда будет спать рядом с ним при свете утренней зари. Значит, и он готовился к встрече с ней, если только есть предопределение? Невероятно!

А если бы Роджер каким-то образом не встретился с ней (а как это случилось?), если бы он пошутил не решил устроить вечеринку, чтобы помочь Ною найти девушку, если бы он привел какую-нибудь другую из десятка знакомых ему девушек, значит, в это утро они не лежали бы здесь вместе. Случай — единственный закон жизни, Роджер! «Веселиться и любить ты умеешь, любишь леденцами угощать. Ну, а деньги ты, дружок, имеешь? Это все, что я хочу узнать». Застрял на Филиппинах, на Батаане, если только еще жив. А они живут в его комнате, спят в его постели: она удобнее, старая кровать Ною совсем перекосилась. Всё началось с того, что он достал с полки публичной библиотеки книгу Йитса «Яйцо Херна и другие пьесы». Если бы он взял другую книгу, то не столкнулся бы с Роджером, и не жил бы здесь, и не встретил бы Хоуп, и она, вероятно, лежала бы теперь в другой кровати с другим мужчиной, который смотрел бы на нее и думал: «Я люблю ее, я люблю ее». Лучше не думать об этом, иначе можно сойти с ума. Предопределения нет ни в чем: ни в любви, ни в смер-

ти, ни в бою. Есть только уравнение: человек плюс его намерения равны случаю. Невозможно поверить. Предопределение должно быть, но оно тщательно замаскировано (так хороший драматург скрывает свой замысел). Только когда наступит час смерти, вам, может быть, все станет ясно, и вы скажете: «О, теперь я понимаю, почему этот персонаж был введен в первом акте».

Батаан. Трудно себе представить, что Роджер говорит кому-то: «Да, сэр». Трудно представить Роджера в каске. Он всегда стоит у меня перед глазами в своей слегка сдвинутой набок измятой коричневой фетровой шляпе. Тяжело думать, что Роджер торчит в грязной дыре. Тяжело думать, что человек, способный играть Бетховена, находится под огнем в джунглях. Тяжело думать, что можно лишиться Роджера, хотя бы и на войне. Роджер был прирожденным победителем, он никогда не придавал большого значения своим победам, они его только забавляли. Тяжело думать, что Роджера разорвало миной, или представить, как он с криком падает, скошенный пулеметной очередью. Трудно представить, что Роджер может сдаться в плен. Можно вообразить, как он, лукаво ухмыляясь, отвечает японцу, снимающему допрос: «Бог мой, а вы не шутите?» Тяжело думать о могиле Роджера под пальмами, о голом черепе, покоящемся в земле джунглей. Целовал ли когда-нибудь Роджер Хоуп? Вероятно, да. А сколько было других мужчин? Лицо на подушке хранит тайну — книга за семью печатями. Сколько мужчин ей нравилось, и какие видения она создавала в мечтах, лежа в своей одинокой постели в Вермонте или в Бруклине? А сколько из этих мужчин лежат мертвыми на дне Тихого океана? А сколько других юношей и мужчин, которых она касалась, кого желала, о ком мечтала, пока еще живы, но погибли в этом году или в будущем в каком-нибудь из уголков земного шара?

Который час? Четверть седьмого. Можно полежать еще минут пять. Сегодня будет нечто вроде выходного дня. Не будет ни оглушительного грохота клепки, ни ветра на лесах, ни шипения и вспышек сварки на верфи в Пассейике. Сегодня он должен явиться на призывной пункт и еще раз пройти осмотр на острове Губернатора. Военная машина повторяется, подобно забывчивому банковскому служащему, по нескольку раз складывающему одну и ту же колонку цифр. Еще раз реакция Вассермана, еще раз небрежное прощупывание паха («покашляйте», «грыжи нет»), еще раз назойливый психиатр спросит: «Имели ли вы сношения с мужчинами?» Что за унижительные вопросы? В армии суще-

ствует мнение, что отношения с товарищем могут быть только противоестественным. Что же сказать о его отношениях с Роджером или с Винсентом Мориарити, сменным мастером на верфи, который угощал его пивом и хвастался, что в 1916 году на пасхальной неделе сорвал британский флаг с почты в Дублине¹. Что же сказать об отношениях с тестем, который послал ему в качестве свадебного подарка свой экземпляр собрания сочинений Эмерсона²? Что же сказать о его отношениях с отцом, который, начав с Одессы, обошел полмира, распутничая, обманывая и пророчествуя, а теперь превратился в маленькую, никому не нужную коробочку пепла на полке колумбария в Калифорнии? Что же сказать о его отношениях с Гитлером и Рузвельтом, с Томасом Джефферсоном и Шекспиром, с полковником Друри из ветхого серого здания под Детройтом, который каждый день выпивал по кварта виски и однажды заявил выпускному классу: «Есть только одно достоинство — храбрость. Мужчина, не чувствительный к оскорблению, для меня не существует». Что же сказать о его отношениях к собственному сыну, который еще не зачат, но существует в скрытом состоянии и присутствует здесь этим ранним утром в кровати, где лежат Хоуп и Ной? Будет ли его сын чувствительным к оскорблениям? К каким оскорблениям? Кто его оскорбит, из-за чего, и чем это кончится? Ждет ли также и его где-нибудь на далеком острове могила? Ждет ли еще не родившегося сына еще не изготовленная пуля? Есть ли где-то на другом континенте еще не зачатый человек, который потом будет целиться из винтовки в сердце его сына? И к какому богу обратится священник на его похоронах? К Христу, к Иегове? К кому? А может быть, к обоим сразу, как осторожный игрок, который ставит на двух лошадей. «Кто бы ты ни был, прими, о боже, убиенного отрока в то царствие небесное, каким ты управляешь». Нелепо, лежа рядом с женщиной, которая только что стала твоей женой, беспокоиться о том, как будут хоронить твоего ребенка, который еще не дал знать о своем появлении на свет. Сначала еще надо решить другие вопросы: будем ли мы его крестить или сделаем обрезание? «Ты, обрезанная собака!» — говорит кто-то в «Айвенго» — этот роман он читал

¹ 24 апреля 1916 года в Дублине началось восстание рабочих и мелкой буржуазии под лозунгом независимости Ирландии. Восстание было жестоко подавлено английскими империалистами 30 апреля.— *Прим. ред.*

² Эмерсон, Ралф Уолдо (1803 — 1882) — американский философ, публицист и поэт. В своем мировоззрении исходил из принципов морального усовершенствования и сближения с природой.— *Прим. ред.*

еще в школе. В 1920 году в Будапеште, во время погромов, после свержения революционного правительства, разъяренная толпа срывала брюки с каждого, в ком подозревала еврея, и убивала всех, кто был обрезан. Те несчастные христиане, которые сделали обрезание из гигиенических соображений и, может быть, ненавидели евреев так же сильно, как и их убийцы, погибали, становясь жертвами той же ненависти. Хватит думать о евреях. Стоит только пуститься в размышления, все равно на какую тему, как опять вернуться к этому вопросу. Интересно, было ли когда-нибудь такое время, когда евреи могли не бояться преследований? В каком веке? Вероятно, в пятом веке до рождения Христа.

Двадцать минут седьмого — пора вставать. На зеленом острове ожидают врачи, паром, носящий имя генерала, рентгенотехники, резиновый штамп с клеймом «Негоден». Как же в прежних войнах обходились без рентгеновских аппаратов? Сколько людей воевало под Шайло с никому не известными рубцами на легких? А сколько людей с язвой желудка сражалось под Бородином? А сколько было под Фермопилами таких, кто теперь был бы забракован призывными пунктами по причине искривления позвоночника? А сколько негодных к службе погибло под Троей¹? Однако пора вставать.

Рядом зашевелилась Хоуп; она повернулась к нему, уронив руку ему на грудь. Медленно просыпаясь, она полусознательно провела рукой по его ребрам, по животу.

— Полежи,— прошептала она, находясь еще во власти сна. Он улыбнулся и прижал ее к себе.

— Сколько времени? — шепотом спросила она, прикоснувшись к его уху.— Уже утро? Ты должен идти?

— Да, уже утро, и я должен идти,— сказал он и улыбнулся, прижав к себе ее знакомое гибкое тело,— но думаю, что власти могут подождать еще пятнадцать минут.

Хоуп мыла голову, когда услышала, что кто-то шевелит ключом в замке. Придя домой с работы и увидев, что Ной еще не вернулся с острова Губернатора, она бесцельно

¹ Сражение при Шайло, или при Питсбургской переправе, происходило 6—7 апреля 1862 года во время Гражданской войны в США. Битва у Фермопил (480 г. до н. э.) — героическая оборона греками под начальством спартанского царя Леонида горного прохода против вторгшейся в Грецию армии персидского царя Ксеркса. Троя — древний город, расположенный на северо-западе Малой Азии. В начале XII века до н. э. троянцы вели войну с греками. Осада Трои длилась свыше девяти лет.— *Прим. ред.*

ходила в летних сумерках по комнате, не зажигая огня, в ожидании его возвращения.

Наклонив голову над ванной и закрыв глаза, чтобы в них не попала мыльная пена, она услышала, как Ной прошел в комнату.

— Ной, я здесь,— позвала она и, замотав голову полотенцем, повернулась к нему, совсем голая, если не считать этого головного убора. Его сосредоточенное лицо не выдавало никакого волнения.

Он легонько привлек ее к себе, нежно коснувшись еще мокрой после мытья шеи.

— Взяли? — спросила она.

— Да.

— А рентген?

— Видимо, ничего не показал.— Он говорил тихим, но спокойным голосом.

— Ты сказал им о прошлом осмотре?

— Нет.

Ей хотелось спросить почему, но она не спросила, смутно угадывая причину.

— Ты не сказал и о том, что работаешь на оборонном заводе?

— Нет.

— Тогда я скажу им,— крикнула она,— я пойду туда сама. Человек с рубцами на легких не может быть...

— Тсс... тсс,— остановил он ее.

— Это же глупо,— начала она, стараясь говорить убедительно.— Какая польза армии от больного человека? Ты совсем подорвешь свое здоровье и станешь для них обузой. Они не смогут сделать из тебя солдата...

— Но они могут попытаться,— улыбнулся Ной.— Во всяком случае, единственное, что я мог сделать,— это предоставить им такую возможность.— И, поцеловав ее за ухом, он добавил: — Как бы там ни было, это уже сделано. Сегодня в восемь вечера я принял присягу.

Она отшатнулась назад.

— Так что же тогда ты делаешь здесь?

— Мне дали две недели для устройства своих дел.

— Есть ли смысл спорить с тобой? — спросила она.

— Нет,— мягко ответил он.

— Будь они прокляты! — воскликнула Хоуп.— Почему они тогда, в первый раз не сказали прямо? Почему? — кричала она, обращаясь и к призывным комиссиям, и к армейским врачам, и к командирам полков, и к политическим деятелям всех столиц мира, проклиная войну и это

страшное время в предчувствии всех предстоящих ей страданий.— Почему они не могут поступать как здравомыслящие люди?

— Тсс... тсс, у нас только две недели, давай не будем терять времени попусту. Ты уже ела?

— Нет, я мыла голову.

Он сел на край ванны и устало улыбнулся.

— Приводи в порядок волосы,— сказал он,— и пойдем обедать. Около Второй авеню, я слышал, есть одно место, где готовят лучшие в мире бифштексы. Три доллара порция, но они...

Она бросилась к нему на колени и крепко обхватила его.

— О дорогой! — воскликнула она.— Дорогой мой...

Он ласково гладил ее голое плечо, словно старался навсегда запечатлеть его в памяти.

— Эти две недели,— проговорил он почти твердым голосом,— мы проживем в свое удовольствие. Вот так мы и будем устраивать свои дела.— И, улыбнувшись, добавил: — Мы поедем на Кейп-Код, будем плавать, кататься на велосипедах, а есть будем только трехдолларовые бифштексы. Ну, ну, прошу тебя, дорогая, перестань плакать.

Хоуп поднялась, вытерла слезы.

— Хорошо,— сказала она,— все, больше не буду плакать. Через пятнадцать минут я буду готова, подождешь?

— Конечно, только побыстрее, я умираю с голоду.

Она сняла с головы полотенце и стала тщательно вытирать волосы. Ной сидел на краю ванны и наблюдал за ней. Время от времени Хоуп посматривала в зеркало на его худое, усталое лицо. Ей хотелось запомнить это лицо, растерянное и любящее, запомнить его вот таким, как он сидит сейчас на краю фаянсовой ванны в неприбранной, ярко освещенной комнате, запомнить на долгое, долгое время.

Они провели две недели на Кейп-Коде в необыкновенном чистом доме для туристов. На лужайке перед домом развеялся водруженный на столбе американский флаг. За обедом они ели моллюсков с гарниром и жареных омаров; лежали на белом песке, плавали, качаясь на холодных волнах, каждый вечер ходили в кино и молча, не обмениваясь замечаниями, смотрели хроникальные фильмы, где на мерцающем экране обвиняющие, дрожащие голоса говорили о смерти, о поражениях и победах. Взяв напрокат велосипеды, они медленно ехали по прибрежным дорогам и смеялись, когда проезжавшие мимо на грузовике солдаты, увидев красивые ноги Хоуп, свистели и кричали Ною: «Эх, вот

это бутончик! Какой у тебя призывной номер, дружище? Скоро увидимся!»

Носы у них облупились, волосы стали липкими от соли, а когда вечером они возвращались в крытый дранкой коттедж и ложились спать, их тела под безукоризненно чистыми простынями пахли океаном и солнцем. Они почти ни с кем не разговаривали, и казалось, эти две недели будут длиться все лето, весь год и повторяться каждое лето. Казалось, они вечно будут гулять по извилистым песчаным дорожкам среди низкорослых елей в сиянии летнего солнца, играющего в быстрых волнах, и в прохладные звездные вечера; будут ходить, освежаемые бодрящим ветром с Вайнь-ярда и из Нантакета, с залитого солнцем океана, покой которого нарушают только чайки, маленькие парусные лодки да всплески резвящихся в воде летающих рыб.

Две недели все-таки прошли, и они вернулись в город. Люди здесь выглядели бледными и вялыми, утомленными летним зноем. Ной и Хоуп, по сравнению с другими, выглядели здоровыми и сильными.

Настало последнее утро. В шесть часов Хоуп приготовила кофе. Они сидели друг против друга, отпивая маленькими глотками горячий горький напиток из больших чашек, которые были их первым совместным приобретением. Потом Хоуп шла рядом с Ноем по тихим, солнечным улицам, все еще хранившим следы ночной прохлады, к мрачному некрашеному зданию, бывшему торговому помещению, занятому теперь призывной комиссией.

Они поцеловались, погруженные в свои мысли, уже далекие друг от друга. Ной вошел в дом и присоединился к молчаливой группе людей, собравшихся вокруг стола за которым сидел пожилой человек, который служил своей стране в ее тяжелый час тем, что два раза в месяц рано вставал, чтобы дать последние указания и раздать бесплатные билеты на метро группам мужчин, отправляемых с призывного пункта на войну.

Ной вместе с пятьюдесятью другими призывниками вышел на улицу, и неровным строем, шаркая ногами, они направились за три квартала к станции метро. Прохожие, занятые своими утренними делами, спешившие, кто в свои магазины и конторы, чтобы заработать денег, кто на базар, чтобы закупить продукты на сегодняшний день, смотрели на них с любопытством и некоторым благоговением. Так жители какого-нибудь городка смотрели бы на группу пилигримов из чужой страны, проходящих по его улицам по пути на некое таинственное и захватывающее религиозное празднество.

Из вестибюля метро Ной увидел на другой стороне улицы Хоуп. Она стояла перед цветочным магазином. Позади нее пожилой торговец не спеша выставлял на витрину горшки с геранью и большие голубые вазы с гладиолусами. Хоуп была в голубом платье с белыми цветочками, нежно развевавшемся на утреннем ветерке. Солнечные лучи, отражавшиеся от стекла витрины, не позволяли разглядеть ее лицо. Он хотел было перейти к ней на ту сторону улицы, но назначенный на призывном пункте старший группы встревоженно закричал: «Пожалуйста, ребята, не расходитесь». И Ной подумал: «Что я могу сказать ей, и что она может сказать мне?» Он помахал ей, и она ответила ему, подняв обнаженную загорелую руку. Ной заметил, что она не плачет.

«Как вам это нравится! — подумал он. — Она даже не плачет». И он стал спускаться в метро рядом с парнем по имени Темпеста и тридцатипятилетним испанцем, которого звали Нунсио Агвиляр.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Перед тем как Майкл проснулся, ему приснилось, что женщина с рыжими волосами, которую он не сумел поцеловать четыре года назад, улыбаясь, склонилась над ним и поцеловала его. Он открыл глаза, вспоминая приятный сон и улыбку женщину.

Утреннее солнце золотистой пылью пробивалось сквозь закрытые жалюзи венецианских окон. Майкл потянулся.

Снаружи до него доносился гул вышедшего на улицы и в переулки семимиллионного населения города. Майкл встал, прошел по мягкому ковру к окну и поднял жалюзи.

Было начало лета. Солнце обильно заливало мягким, маслянистым светом сады, выцветшие кирпичные стены старых зданий, пыльный плющ, полинявшие полосатые тенты небольших террас, заставленных тростниковой мебелью и цветами в горшках. Маленькая полная женщина в широкой оранжевой шляпе и старых широких брюках, комично облежавших ее округлый зад, стояла на террасе у горшка с геранью прямо напротив Майкла. Она медленно нагнулась и срезала цветок. Ее шляпа печально закачалась, когда она стала разглядывать засохший цветок, держа его в руке. Затем она повернулась — это была цветущая средних лет женщина — и, игриво покачивая бедрами, прошла по террасе и через завешенное шторами французское окно вошла в дом.

Майкл улыбнулся: его радовал яркий свет солнца, радовало, что женщина с рыжими волосами наконец поцело-

вала его и что в солнечном садике напротив живет маленькая толстая женщина с потешным задом, сокрушающаяся над увядшей геранью.

Приняв холодный душ, он надел пижаму, прошел босиком по коврику через гостиную к парадной двери, открыл ее и вынул из ящика «Таймс». В газете, напоминавшей своим изысканным языком речи пожилых преуспевающих адвокатов акционерных обществ, на первой странице сообщалось о том, что русские несут большие потери, но держатся, что на французском побережье от английских бомб вспыхнули новые пожары, что Египет шатается, что кто-то открыл новый способ изготовления резины за семь минут, что в Атлантическом океане затонули три судна, что мэр выступил за сокращение потребления мяса, что женатые мужчины, видимо, будут призваны в армию, что на Тихоокеанском театре наступило некоторое затишье.

Майкл закрыл дверь, опустился на кушетку и, оставив сообщения о кровопролитных боях на Волге, об утонувших в Атлантике людях, об ослепленных песком войсках, сражающихся в Египте, о производстве резины, о пожарах во Франции и об ограничениях на жареное мясо, перешел к спортивным известиям. Несмотря на усталость и множество ошибок, «Доджерс»¹ пережили еще один день войны, избежав подстерегающей со всех сторон смерти и, невзирая на некоторую свалку в центре площадки и бешеную атаку в восьмом периоде, проявив редкое упорство, одержали победу в Питсбурге.

Зазвонил телефон. Майкл прошел в спальню и снял трубку.

— В холодильнике стакан апельсинового соку,— прозвучал голос Пегги из трубки,— я хотела тебе напомнить.

— Благодарю,— ответил Майкл.— Я заметил пыль на книжных полках с правой стороны, хотя мисс Фримэнтл...

— Пустяки,— ответила Пегги.

— Мудрые слова,— сказал Майкл, наслаждаясь голосом Пегги, таким близким и приятным.— Много приходится работать?

— До потери сознания. Когда я уходила, ты не обратил на меня никакого внимания, ты лежал на спине совершенно голый. Я поцеловала тебя и ушла.

— Какая же ты славная девочка! А что я делал?

После короткой паузы Пегги ответила серьезным и немного встревоженным голосом:

¹ Название бейсбольной команды.— *Прим. ред.*

— Ты закрыл лицо руками и бормотал: «Я не буду, я не буду...»

Легкая улыбка, игравшая на лице Майкла, исчезла, он в задумчивости потер ухо.

— Во сне мы самым бесстыдным образом выдаем свои мысли.

— У тебя был такой испуганный голос,— проговорила Пегги,— что мне даже стало страшно.

— «Я не буду, я не буду»,— в раздумье повторил Майкл.— Не знаю, к чему это относилось... Во всяком случае, сейчас я ничем не напуган. Утро чудесное, «Доджеры» выиграли, моя девушка приготовила мне апельсиновый сок...

— Что ты собираешься делать сегодня? — спросила Пегги.

— Ничего особенного: поброжу немного, посмотрю на небо, посмотрю на девушек, чего-нибудь выпью, оформлю завещание...

— Да замолчи! — серьезным голосом воскликнула Пегги.

— Извини.

— Ты рад, что я позвонила? — спросила Пегги уже нарочито кокетливым тоном.

— Видишь ли, я думаю, что иначе и быть не могло,— небрежно протянул Майкл.

— Ты знаешь свои способности.

— Пегги!

Она рассмеялась.

— Заслужила я сегодня обед?

— А как ты думаешь?

— Думаю, что заслужила. Надень свой серый костюм.

— Он же почти совсем протерся на локтях.

— Надень серый костюм, он мне нравится.

— Хорошо.

— А что мне надеть? — Впервые за все время разговора голос Пегги прозвучал неуверенно, с наивной озабоченностью.

Майкл засмеялся.

— Чего ты смеешься? — резко спросила Пегги.

— Скажи еще раз, повтори: «А что мне надеть?»

— Зачем?

— Потому что от этих слов мне становится смешно, я вспоминаю тебя, и у меня появляется жалость и нежность к тебе и ко всем женщинам на свете.

— Скажи пожалуйста! — обрадовалась Пегги.— Сегодня ты встал с правой ноги, не правда ли?

— Конечно.

— Так что мне надеть? Голубое ситцевое платье или бежевый костюм с кремовой блузкой, или...

— Голубое платье.

— Оно такое старое.

— Голубое платье.

— Хорошо, а волосы как — вверх или вниз?

— Вниз.

— Но...

— Вниз!

— Боже,— сказала Пегги,— я буду выглядеть так, словно меня вытащили из Харлема¹. Ты не боишься, что кто-нибудь из твоих друзей увидит нас?

— Я рискну.

— И не пей слишком много...

— Послушай, Пегги...

— Ты начнешь обходить всех своих друзей и прощаться с ними.

— Пегги, клянусь жизнью...

— Тебя хотят использовать просто как пушечное мясо.

Будь осторожен.

— Я буду осторожен.

— Рад, что я позвонила? — Пегги опять заговорила кокетливым тоном, словно девица, томно прикрывающаяся веером на студенческом балу.

— Рад.

— Это все, что я хотела знать. Выпей апельсиновый сок.— Она повесила трубку.

Майкл с улыбкой медленно опустил трубку. Он сидел и думал о Пегги.

Потом поднялся и через гостиную прошел на кухню, там он поставил кипятить воду, отмерил три полных с верхом ложки кофе, наслаждаясь необыкновенно приятным запахом, исходившим из банки, достал бекон и яйца, нарезал хлеб для гренков, отпивая между делом большими глотками холодный апельсиновый сок. Приготавливая завтрак, он мурлыкал какую-то песенку без слов. Ему нравилось самому готовить завтраки, быть одному в своем холостяцком доме, ходить в свободной пижаме, ступая босыми ногами по холодному полу. Он положил на большую сковороду пять ломтиков бекона и поставил ее на небольшой огонь.

В спальне зазвонил телефон.

— Фу, черт! — выругался Майкл. Он снял с огня сковоро-

¹ Река, протекающая через негритянские кварталы Нью-Йорка.— *Прим. ред.*

роду с беконом и пошел через гостиную. Всякий раз, проходя через эту комнату, он не мог нарадоваться: что за приятная комната, с высоким потолком, двусветная, с широкими окнами; по всей комнате у стен книжные шкафы с книгами в разноцветных коленкорových переплетах, образующих нежный и приятный спектр.

Майкл взял трубку:

— Алло.

— Голливуд, Калифорния, вызывает мистера Уайтэкра.

— Уайтэкр слушает.

С другого конца континента раздался голос Лауры, низкий и неестественный.

— Это Майкл? Майкл, дорогой...

Майкл чуть слышно вздохнул:

— Здравствуй, Лаура.

— В Калифорнии сейчас семь часов утра,— сказала Лаура с легким упреком,— я поднялась так рано, чтобы поговорить с тобой.

— Благодарю.

— Я знаю все,— возбужденно заговорила Лаура.— Это ужасно! Почему тебя берут рядовым?..

Майкл усмехнулся.

— Это не так уж ужасно. Много людей служат на таком же положении.

— Здесь уже почти все по крайней мере майоры.

— Знаю,— сказал Майкл,— может быть, именно поэтому есть смысл остаться рядовым.

— Да перестань ты, черт возьми, оригинальничать,— вспылила Лаура,— тебе ни за что не вынести этой службы. Я знаю, какой у тебя желудок.

— Моему желудку,— серьезно ответил Майкл,— придется пойти в армию вместе со мной.

— Послезавтра ты будешь сожалеть об этом.

— Возможно,— согласился Майкл.

— Через два дня ты попадешь на гауптвахту,— громко сказала Лаура.— Сержант скажет что-нибудь такое, что тебе не понравится, и ты ударишь его. Я знаю тебя.

— Послушай,— спокойно произнес Майкл,— никто не собирается бить сержантов — и я тоже.

— За всю свою жизнь ты ни от кого не получал приказаний, Майкл. Я знаю тебя. Это одна из причин, почему с тобой невозможно было жить. Во всяком случае, я прожила с тобой три года и знаю лучше, чем кто...

— Правильно, дорогая Лаура,— терпеливо сказал Майкл.

— Пусть мы разведены и всякое такое,— торопливо

продолжала Лаура, — но во всем мире нет никого, кого бы я любила больше тебя, ты знаешь это.

— Знаю, — произнес Майкл. Он верил ей.

— И я не хочу, чтобы тебя убили. — Она заплакала.

— Меня не убьют.

— И мне противно думать о том, что кто-то будет тобой командовать. Это несправедливо.

Майкл покачал головой, лишний раз убеждаясь, какая глубокая пропасть отделяет реальный мир от мира в представлении женщины.

— Не беспокойся обо мне, Лаура, дорогая, — сказал он. — Очень мило, что ты позвонила мне.

— Я кое-что решила, — твердо сказала Лаура, — я не хочу больше брать твоих денег.

Майкл вздохнул.

— Ты получила работу?

— Нет, но сегодня днем я встречаюсь с Макдональдом в «Метро-Голдвин-Мейер»¹ и...

— Ну что ж, когда будешь работать, тогда и перестанешь брать деньги. — Майкл поспешил сменить тему и, не давая Лауре ответить, спросил ее: — Я читал в газете, что ты собираешься замуж, это правда?

— Нет. Может быть, после войны. Он поступает во флот и собирается работать в Вашингтоне.

— Везет, — пробормотал Майкл.

— Одного помощника директора из «Рипаблик»² взяли в авиацию первым лейтенантом. Всю войну он просидит в Санта-Аните. Служба информации. А ты собираешься стать рядовым...

— Прошу тебя, Лаура, дорогая, — сказал Майкл, — этот разговор будет стоить тебе пятьсот долларов.

— Ты странный, глупый человек, и всегда был таким.

— Да, дорогая.

— Ты напишешь мне оттуда, куда тебя пошлют?

— Да.

— Я приеду повидаться с тобой.

— Это было бы замечательно. — Майкл представил себе, как около Форт-Силла, в Оклахоме, его ожидает бывшая жена — красавица в норковой шубке, с замечательным лицом и прекрасной фигурой, а проходящие мимо солдаты приветствуют ее свистом.

— Я совсем из-за тебя запуталась, — тихо и искренне

¹ «Метро-Голдвин-Мейер» — одна из крупнейших американских кинокомпаний. — *Прим. ред.*

² «Рипаблик» — американская кинофирма. — *Прим. ред.*

плакала Лаура,— у меня всегда было такое чувство, и, видно, от него не избавиться.

— Я тебя понимаю.— Майкл вспомнил, как Лаура укладывала волосы перед зеркалом, как танцевала, какой она была в праздники. На мгновение его тронули далекие слезы, и он с сожалением подумал о потерянных годах, годах без войны, годах без разлук...

— Что ты беспокоишься? — тихо сказал он.— Меня, наверно, направят куда-нибудь в штаб.

— Ты не допустишь этого,— всхлипывала она,— я знаю тебя, ты не пойдешь на это.

— Армия не спрашивает у нас разрешения. Она делает то, что хочет, а мы делаем то, что нам приказывают. Армия — это не «Братья Уорнер»¹, дорогая.

— Обещай мне... обещай мне...— Ее голос то появлялся, то исчезал, потом раздался щелчок, и связь прервалась. Майкл посмотрел на трубку и опустил ее.

Он встал, прошел на кухню и закончил приготовление завтрака; затем отнес в гостиную яичницу с беконом, черный, густой кофе, гренки и поставил все на широкий стол перед большим окном, ярко освещенным солнцем.

Он включил приемник — исполнялся фортепьянный концерт Брамса, из динамика лились то мягкие и грустные, то бурные звуки.

Он ел медленно, густо намазывая на гренки варенье, наслаждаясь вкусом яиц, масла и крепкого кофе, гордый своими кулинарными способностями, и с удовольствием слушал грустную, нежную музыку.

Затем он открыл «Таймс» на театральной странице, которая была полна толков о бесчисленных пьесах и актерах. С каждым днем театральная страница «Таймс» навела на него все большее уныние. Несбывшиеся мечты, потерянные деньги, горькие упреки в адрес людей его профессии — читая все это, он испытывал беспокойство и чувствовал себя в каком-то глупом положении.

Он отложил газету и, допив кофе, закурил первую в этот день сигарету. Он выключил приемник, и последние звуки мелодии Респиги замерли в утреннем воздухе. Залитый солнцем дом погрузился в приятную тишину. Майкл сидел за столом, покуривая и мечтательно глядя на сады, на улицу, на работавших внизу людей.

Потом он встал, побрился, принял ванну и надел старые фланелевые брюки и мягкую голубую рубашку. Она слегка

¹ «Братья Уорнер» — американская кинофирма.— Прим. ред.

поблекла от частой стирки, но зато приобрела приятный оттенок. Почти вся его одежда была уже упакована, но в стенном шкафу еще висели две куртки. Он постоял перед шкафом, думая, какую куртку надеть, потом достал серую. Это была старая поношенная куртка, мягко и свободно облежавшая плечи.

Внизу около тротуара стояла его машина, сверкая свежесмытой краской и хромированными частями. Он включил мотор и нажал кнопку для спуска тента. Майкла, как всегда, забавляло плавное и величественное движение складывающегося тента.

Он медленно поехал по Пятой авеню. Всякий раз, когда в рабочий день он ехал на машине по городу, он испытывал немного злорадное наслаждение, которое почувствовал в первый раз, когда проезжал в полдень по этой же улице на своей первой новой марки машине с опущенным тентом и посматривал на мужчин и женщин, спешивших с работы на завтрак, как богатый и свободный аристократ.

Майкл ехал по широкой улице, между рядами богато и со вкусом, хотя и несколько фривольно, украшенных витрин, сверкавших в лучах солнца.

Он оставил машину у дверей дома, где жил Кэхун, и отдал ключи швейцару. Они договорились, что Кэхун будет пользоваться машиной и ухаживать за ней до возвращения Майкла. Возможно, было бы разумнее продать машину, но у Майкла было какое-то суеверное убеждение, что раз эта маленькая яркая машина была свидетельницей его лучших довоенных дней, длительных весенних поездок по стране и беззаботных праздников, то, если хочешь вернуться с войны, надо хранить ее, как талисман.

С сожалением расставшись с машиной, он медленно пошел по городу. День вдруг показался ему пустым и, не зная чем его заполнить, он зашел в аптеку и позвонил Пегги.

— В конце концов,— сказал он, услышав ее голос,— нет такого закона, по которому я не имею права видеть тебя дважды в один и тот же день.

Пегги радостно засмеялась.

— Я проголодалась к часу дня,— сказала она.

— Я угощу тебя завтраком, если хочешь.

— Да, хочу,— ответила она и с расстановкой добавила: — Я рада, что ты позвонил, я должна сказать тебе что-то очень серьезное.

— Хорошо,— согласился Майкл,— я настроен сегодня довольно серьезно. Итак, в час.

Улыбаясь, он повесил трубку, вышел на освещенную солнцем улицу и, думая о Пегги, направился в деловую часть города к конторе своего адвоката. Он знал, что за серьезный разговор Пегги будет вести с ним за завтраком. Они были знакомы около двух лет — ярких, наполненных чувствами, хотя и несколько омраченных тем, что с каждым днем война надвигалась все ближе и ближе. Женитьба в такой кровопролитный год, когда будущее так неясно; только разбила бы ей сердце. Жениться и погибнуть; могилы и вдовы; муж-солдат носит в ранце фотографию жены, словно сто фунтов свинца; одинокий мужчина в полных ночными звуками джунглях в отчаянии скорбит об упущенном моменте, когда он отказался от торжественной церемонии; ослепший ветеран слушает шаги прикованной к нему жены...

— Эй, Майкл! — Кто-то хлопнул его по плечу. Он обернулся. Это был Джонсон, в грубой фетровой шляпе с цветной лентой, в нарядной кремовой рубашке с пышным вязаным галстуком под мягкой синей курткой. — Я давно хотел повидать тебя... Ты бываешь когда-нибудь дома?

— Последнее время редко. Я взял отпуск. — Майклу нравилось время от времени встречаться с Джонсоном, обедать с ним, слушать, как он рассуждает своим глубоким актерским голосом. Но с тех пор как развернулись ожесточенные споры вокруг германо-советского пакта¹, Майкл не мог спокойно разговаривать целый вечер с Джонсоном или с его друзьями.

— ...А я послал тебе обращение, — продолжал Джонсон, взяв Майкла под руку и быстро увлекая его за собой по улице: он ничего не мог делать медленно. — Оно очень важное, и под ним должна стоять твоя подпись.

— Что за обращение?

— К президенту, об открытии второго фронта. Все подписывают. — Лицо Джонсона выражало неподдельную злость. — Это преступление — допускать, чтобы русские выносили на себе всю тяжесть войны...

Майкл ничего не ответил.

— Ты не веришь во второй фронт? — спросил Джонсон.

— Конечно, верю, — сказал Майкл. — Если бы только можно было открыть его.

¹ Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года. Советское правительство пошло на заключение предложенного Германией договора о ненападении с целью самообороны и срыва попыток империалистических кругов Англии и Франции столкнуть СССР с Германией. — *Прим. ред.*

— Это вполне осуществимо.

— Пожалуй. А может быть, они боятся слишком больших потерь,— сказал Майкл, вдруг осознав, что завтра он будет одет в хаки и, возможно, будет отправлен за океан для участия в высадке на берега Европы.— Может быть, это будет стоить миллион, полтора миллиона жизней...

— Что ж, ради этого стоит потерять и миллион и полтора миллиона жизней,— громко говорил Джонсон, все ускоряя шаг,— это сразу отвлечет огромные силы немцев...

Майкл с удивлением посмотрел на своего друга, в призывной регистрационной карте которого аккуратно выведено «Негоден», друга, который, прохаживаясь здесь, по красивому городскому бульвару, с таким подъемом и, как ему кажется, справедливо требует, чтобы другие пролили свою кровь, потому что далеко на другом континенте русские сражаются как львы. Что подумает русский солдат из Сталинграда, притаившийся с гранатой в руке за разрушенной стеной в ожидании приближающегося танка, об этом патриоте с мягким голосом, в пушистой шляпе, который называет его братом здесь, на шумной улице не тронутого войной американского города?

— Извини,— сказал Майкл,— я бы охотно сделал все, что могу, чтобы помочь русским, но думаю, что лучше предоставить это тем, кому положено этим заниматься.

Джонсон остановился и выхватил свою руку из-под руки Майкла. Его лицо выражало злость и презрение.

— Я хочу откровенно сказать тебе, Майкл,— сказал он,— мне стыдно за тебя.

Майкл сухо кивнул головой. Ему было неловко, потому что он не мог сказать, что у него на душе, без того чтобы навсегда не обидеть Джонсона.

— Я давно чувствовал, что этим кончится,— сказал Джонсон,— я видел, что ты становишься все более мягкотелым...

— Извини — ответил Майкл,— я принял присягу как солдат Республики, а солдаты Республики не посылают обращения к своим главнокомандующим и не поучают их в вопросах высшей стратегии.

— Это увертка.

— Может быть. До свидания...— Майкл повернулся и вышел прочь. Когда он прошел шагов десять, Джонсон холодно крикнул ему вслед:

— Желаю успеха, Майкл!

Не оглядываясь, Майкл махнул ему рукой. Он с досадой думал о Джонсоне и его приятелях. Либо они были не в меру воинственны, как сам Джонсон, зная, что ничто

не помешает им продолжать свои гражданские занятия, либо скрывали под тонкой пленкой патриотизма цинизм и безразличие. Но сейчас не время уходить в сторону, не время говорить «нет» или «может быть», сейчас настало время сказать во весь голос «да!». Правильно, что он решил вступить в армию. Он избавится от сверхчувствительных смиренных, поэтических паникеров и благородных самоубийц. Он вырос в век критики, в стране критиков. Каждый считал своим долгом критиковать книги, поэзию, пьесы, правительство, политику Англии, Франции, России. За последние двадцать лет Америка уподобилась обществу театральных критиков, непрерывно повторяющих одно и то же: «Да, я знаю, что в Барселоне погибло три тысячи, но как нелепо во втором акте...»

Век критики, страна критиков. Майкл начал понимать, что это был никудышный век, приведший страну к бесплодию. Это было время бурного красноречия, беспощадной мести, мелодраматических выкриков, хвастливых и самонадеянных. Это было время военных — буйствующих фанатиков с диким взглядом, пренебрегающих смертью. Майклу не приходилось видеть таких фанатиков в своем кругу. Народ слишком хорошо видел пороки войны, чтобы верить в нее... предательство и вероломство любителей стричь купоны и всяческих объединений: фермеров, коммерсантов, рабочих. Майкл бывал в хороших ресторанах и видел буйное обжорство наэлектризованных, возбужденных, веселящихся мужчин и женщин, наживавших состояния и успевавших прокутить все деньги, прежде чем правительство наложит на них свою руку. Оставайтесь вне армии, и вы обязательно станете критиком, а Майкл хотел критиковать только врага.

Сидя за столом в обшитой панелями комнате против адвоката и перечитывая свое завещание, Майкл чувствовал себя в довольно глупом положении. За окном высокого здания открывался вид на залитый солнцем город, на кирпичные трубы, врезавшиеся в нежно-голубую дымку, на полосы дыма от пароходов, стлавшиеся по реке,— город как город, точно такой же, как и всегда,— а он сидит здесь и, надев очки, читает: «...одну треть вышеупомянутого имущества моей бывшей жене мисс Лауре Робертс. В случае ее замужества этот посмертный дар аннулируется, и выделенная в ее пользу сумма присоединяется к сумме, оставленной на имя душеприказчика, и будет поделена следующим образом...»

Он чувствовал себя совершенно здоровым и полным сил, а язык завещания был таким зловещим и отвратительным. Он посмотрел на Пайпера, своего адвоката, полного, лысеющего, бледнолицего мужчину. Поджав толстые губы, тот подписывал пачку бумаг. Пайпер спокойно зарабатывал деньги, совершенно уверенный в том, что имея троих детей и периодически повторяющийся артрит, он никогда не пойдет на войну. Майкл сожалел, что не написал завещание сам, своей рукой, своим языком. Было как-то стыдно, что тебя представляют будущему сухие казенные слова лысого адвоката, который никогда не услышит, как стреляют орудия. Завещание должно быть кратким, красноречивым личным документом, отражающим жизнь того человека, который его подписывает, и в нем должны быть увековечены его последние желания и распоряжения. «Моей матери за любовь, которую я питаю к ней, и за страдания, которые она переживает и будет переживать во имя меня и во имя моих братьев...

Моей бывшей жене, которую я смиренно прощаю и которая, я надеюсь, простит меня во имя памяти о проведенных вместе хороших днях...

Моему отцу, который прожил тяжелую и печальную жизнь, который так мужественно ведет свою повседневную борьбу за существование и которого я надеюсь еще повидать до его кончины...»

Однако Пайпер составил завещание на одиннадцати отпечатанных на машинке страницах, полных «тогда как» и «в случае если», и поэтому теперь, если Майкл умрет, он оставит по себе память в виде длинного перечня многосложных, предусматривающих всякие варианты пунктов и предусмотрительных оговорок бизнесмена.

«Может быть, позднее, если я в самом деле буду уверен, что меня убьют, я напишу другое, лучшее, чем это», — думал Майкл, подписывая четыре экземпляра завещания.

Пайпер нажал кнопку на столе, и в дверях появились две секретарши. Одна из них принесла с собой печать. Она проштамповала все бумаги, затем обе секретарши подписали их как свидетели. Майкл вновь почувствовал, что все было не так, как нужно, что это должны были сделать его хорошие друзья, давно знающие его, для которых его смерть была бы тяжелой утратой.

Майкл посмотрел на календарь: тринадцатое число. Он не был суеверным, но такое совпадение должно было что-то означать.

Когда секретарши вышли, Пайпер поднялся и, протянув ему руку, сказал:

— Я буду внимательно следить за вашими делами и ежемесячно сообщать вам, сколько вы заработали и сколько я потратил.

Пьеса Слипера, за постановку которой Кэхун дал ему пять процентов со сбора, пользовалась успехом и, несомненно, будет экранизирована, и тогда в течение двух лет за нее будут выплачивать деньги.

— Я буду самым богатым рядовым в американской армии,— сказал Майкл.

— Я по-прежнему полагаю,— сказал Пайпер,— что вы должны разрешить мне поместить эти деньги в какое-нибудь дело.

— Нет, благодарю вас,— ответил Майкл. Он неоднократно повторял это Пайперу, но тот никак не мог понять Майкла. У него самого были очень прибыльные акции стального треста, и он хотел, чтобы и Майкл купил их. Но у Майкла было упорное, хотя не совсем определенное и какое-то робкое нежелание зарабатывать деньги на деньгах, извлекать выгоду из труда других людей. Он как-то пытался объяснить это Пайперу, но адвокат был слишком здравомыслящим человеком, чтобы его понять, так что на этот раз Майкл только улыбнулся и покачал головой. Пайпер протянул ему руку и сказал:

— Желаю счастья, я уверен, что война окончится очень скоро.

— Конечно,— ответил Майкл,— благодарю.

И он быстро вышел, с чувством облегчения покидая контору адвоката. Всегда, когда ему приходилось разговаривать или вести какие-либо дела с адвокатами, он испытывал непонятное беспокойство, словно его заманивают в ловушку, а сегодня ему было особенно не по себе.

Он вошел в лифт, заполненный спешившими на завтрак секретаршами. В лифте пахло пудрой и не умолкала веселая болтовня вырвавшихся на свободу людей. Спускаясь на сорок этажей вниз, он удивлялся тому, как эти молодые, веселые, жизнерадостные люди могут мириться с тем, что всю свою жизнь им придется провести среди машинок, книг, пайперов, печатей нотариусов и сухих юридических терминов.

Выйдя на Пятую авеню и направляясь к ресторану, где он должен был встретиться с Пегги, он почувствовал себя лучше. Теперь со всеми формальностями покончено. Полдня и всю ночь до половины седьмого утра, когда он должен явиться на призывной пункт, он был свободен от всяких обязанностей. Гражданские власти отказались от

него, а военные еще не приняли. Сейчас час дня. Оставалось семнадцать с половиной беззаботных часов между одной жизнью и другой.

Он чувствовал себя легко и свободно и с нежностью смотрел на широкую солнечную улицу и спешивших людей, словно владелец плантации, прогуливающийся после хорошего завтрака по широким газонам своего имения и осматривающий раскинувшиеся на много акров владения. Пятая авеню была его газonom, город — имением, витринные магазины — амбарами, Центральный парк — оранжереей, театры — мастерской; все были заняты делом, во всем чувствовался хороший уход и полный порядок...

Он представил себе, как на самое оживленное место — между кафедральным собором и Рокфеллеровским центром — упадет бомба, и внимательно посмотрел на непрерывно снующих вокруг него людей, стараясь прочесть на их лицах хоть какой-нибудь намек на предчувствие возможного бедствия. Но лица были такими, как всегда, все были заняты своими делами и совершенно уверены в том, что бомбы могут падать на Сейвил-Роу, на Вандомскую площадь, на Унтерденлинден, на площадь Виктора-Эмануила, на Красную площадь, но мир никогда не отойдет от благоразумно установленного порядка настолько, чтобы могло быть разбито хотя бы одно окно в магазине Сакса.

Майкл шел мимо серых стен кафедрального собора к Мэдисон-авеню. Никому из прохожих, видимо, и в голову не приходило, что здесь когда-нибудь может упасть бомба. Перед «Колумбия бродкастинг билдинг» с новообретенной военной выправкой разгуливали два лейтенанта военно-воздушных сил в летней форме, и Майклу показалось, что он прочел на их лицах сознание того, что нет неуязвимых мест, что даже каменные стены и цветущий газон рокфеллеровского центра или высокий дворец радиовещательной компании уязвимы. Но лейтенанты быстро прошли мимо, и, пожалуй, все, что он смог увидеть в их лицах, было беспокойство о том, что девушки, которым они назначили свидание, могут заказать на завтрак самые дорогие блюда.

Майкл остановился перед шляпным магазином. Это был хороший магазин. Здесь продавали фетровые шляпы по пятнадцать и двадцать пять долларов, мягкие, темно-коричневые и серые, с лентами спокойных тонов. Не было здесь ни касок, ни уродливых маленьких мягких кепи, какие носят американские солдаты за океаном, ни за какие деньги нельзя было достать ни головных уборов для гарнизонных войск, ни галунов для авиации, пехоты или воен-

но-санитарной службы. Да, в армии это будет проблема. Ведь в армии придется все время носить головной убор, а Майкл никогда не носил шляпу, даже в дождь или снег: от шляпы у него болит голова. А если война продлится лет пять... Неужели все эти годы у него будет болеть голова?

Он ускорил шаг и поспешил к ресторану, где его, наверно, уже ожидала Маргарет. Сколько всяких неожиданных проблем возникает во время войны, как, например, эта история с шляпами. Но это еще не все. Майкл всегда спал очень чутко и беспокойно, он просыпался от малейшего шума, и ему было очень трудно спать с кем-нибудь в одной комнате. А в армии в одной казарме с тобой будут спать по крайней мере пятьдесят человек... Но разве можно не спать до окончания войны? А дурацкая проблема ванны! Как и для большинства благовоспитанных американцев двадцатого века, собственная ванная комната с запирающейся дверью является для него одной из основ существования. А можно ли приостановить все необходимые отправления организма до тех пор, пока не капитулирует Гитлер? И, значит, ему, Майклу, все это время придется с ненавистью и отвращением смотреть, как солдаты нелепыми рядами, плечом к плечу сидят на корточках в открытых уборных? Он вздохнул, ему взгрустнулось на этой залитой солнцем улице. «Легче остаться умирать в пропитанной кровью траншее, зная, что неоткуда ждать помощи, чем войти в уборную для рядовых и... Современный мир,— с возмущением думал он,— очень плохо готовит нас к испытаниям, которым он нас подвергает».

И еще половой вопрос. Может быть, это дело привычки, как утверждают многие авторитеты, но это прочно укоренившаяся привычка. Каждый мужчина, женатый или холостой, пользуясь свободными отношениями тридцатых — сороковых годов, уже с семнадцатилетнего возраста имел постоянные интимные связи с женщинами. Если ему изредка приходилось по той или иной причине обходиться без женщины неделю, а то и побольше, то это были для него беспокойные и несчастные дни. Бурные порывы молодости вызывали в нем раздражение и нервозность, мешали ему работать, мешали ему, наконец, думать о чем-нибудь другом. В армии, где собраны целые орды мужчин, при строгом казарменном режиме, в длительных походах и на полевых учениях, где каждый раз приходится ночевать в незнакомом месте, едва ли будут женщины, способные ответить на прихоти безымянного солдата под безымянной каской. Джин Тинни, экс-чемпион по боксу в тяжелом весе, высту-

пал когда-то за обет безбрачия для солдат республики, торжественно заявляя, что медицинские авторитеты теперь согласны с тем, что воздержание не причиняет вреда здоровью. А что ответил бы Фрейд победителю Демпси¹? Майкл усмехнулся. Сейчас можно усмехаться, но он знал, что потом, когда он будет лежать всю ночь без сна на своей койке, слушая разносящийся по казарме храп мужчин, он найдет в этом мало смешного.

«О милая, достойная Демократия, во имя тебя, может быть, стоит умереть...— думал он,— но что касается других жертв, на них, видимо, решиться гораздо труднее».

Пройдя еще несколько шагов, он подошел к входу в маленький французский ресторан. Через окно он увидел, что Пегги уже ждет у стойки.

Ресторан был переполнен, и они сели у стойки рядом с подвыпившим моряком с ярко-рыжими волосами. Как и всегда, когда Майкл встречался с Пегги в такой обстановке, две-три минуты он молча смотрел на нее, наслаждаясь спокойным выражением ее лица с широким лбом и изогнутыми бровями, любуясь ее простой, строгой прической и красивым платьем. Все лучшее, что есть в городе, казалось, находило какое-то отражение в этой высокой, стройной, располагающей к себе девушке... И теперь представление Майкла о городе обязательно связывалось с улицами, по которым они гуляли, с домами, куда они заходили, с пьесами, которые они смотрели, с галереями, которые они посещали, и с барами, где они коротали зимние вечера. Глядя на ее раскрасневшиеся от ходьбы щеки, на блестящие от радости глаза, на длинные ловкие руки, касающиеся его рукава, невозможно было поверить, что этому наслаждению когда-нибудь придет конец, что наступит время, когда он вернется сюда и не найдет ее, неизменившуюся, неменяющуюся.

Он смотрел на нее, и все печальные, нелепые мысли, преследовавшие его по пути из конторы адвоката, рассеялись. Он грустно улыбнулся, дотронулся до ее руки и передвинулся поближе к ней на соседнюю табуретку.

— Что ты делаешь сегодня? — спросил он.

— Жду.

— Чего ждешь?

¹ Т а н н и — известный американский боксер, победивший чемпиона мира в тяжелом весе Демпси. Ф р е й д, З и г м у н д (1856 — 1939) — австрийский врач и психолог, создатель теории психоанализа. Согласно учению Фрейда, все проявления человеческой деятельности определяются инстинктами, и прежде всего доловым инстинктом.— *Прим. ред.*

— Жду, когда меня пригласят.

— Что ж, считай, что тебя уже пригласили. Коктейль,— обратился он к буфетчику. Затем, опять повернувшись к Пегги, продолжал: — Один мой знакомый совершенно свободен до половины седьмого завтрашнего утра.

— А что я скажу на работе?

— Скажи,— серьезно проговорил он,— что ты участвуешь в передвижении войск.

— Не знаю,— ответила Пегги,— мой хозяин против войны.

— Скажи ему, что войска тоже против войны.

— Может быть, ему вообще ничего не говорить?

— Я позвоню ему,— заявил Майкл,— и скажу: вас видели на улице, когда вы шли по направлению к Вашингтон-скверу пьяный в стельку.

— Он не пьет.

— Твой хозяин,— сказал Майкл,— опасный чужестранец.

Они тихонько чокнулись. Майкл вдруг заметил, что рыжеволосый матрос прислонился к нему и пристально смотрит на Пегги.

— Точно,— произнес матрос.

— С вашего позволения,— сказал Майкл, чувствуя, что теперь он может резко разговаривать с мужчинами в военной форме,— у нас с этой дамой частный разговор.

— Точно,— повторил матрос и похлопал Майкла по плечу. Майкл вдруг вспомнил, как на второй день войны во время завтрака в Голливуде какой-то сержант вот так же жадно смотрел на Лауру.— Точно,— сказал матрос,— я восхищаюсь тобой, ты разбираешься в этом деле. Что толку целовать девушек на городской площади, а потом идти на войну. Лучше оставайся дома и спи с ними. Точно.

— Послушайте,— сказал Майкл.

— Извините меня,— проговорил матрос, положив деньги на стойку, и надел новенькую белую шапочку на свою рыжую голову.— Просто сорвалось с языка. Точно. Я направлюсь в Эри, в Пенсильванию.— И, держась очень прямо, он вышел из бара.

Глядя ему вслед, Майкл не мог удержаться от улыбки. Все еще улыбаясь, он повернулся к Пегги.

— Солдаты,— начал быстро он,— доверяют свои тайны всякому...

Вдруг он заметил, что Пегги плачет. Она сидела выпрямившись на высокой табуретке, в своем красивом коричневом платье, и слезы медленно катились по ее щекам. Она не вытирала их.

— Пегги,— тихо произнес Майкл, с благодарностью заметив, что буфетчик, наклонившись на другом конце стойки, делает вид, что чем-то занят. «Вероятно,— подумал Майкл, касаясь рукой Пегги,— в эти дни буфетчики видят много слез и знают, как вести себя в таких случаях».

— Извини,— сказала Пегги,— я начала смеяться, а получилось вот что.

Тут подошел суетливый итальянец-метрлотель и, обращаясь к Майклу, сказал:

— Мистер Уайтэкр, стол для вас готов.

Майкл взял бокалы и направился вслед за Пегги и метрлотелем к столу у стены. Когда они уселись, Пегги уже перестала плакать, но оживление сошло с ее лица. Майкл никогда не видел ее такой.

Они молча приступили к еде. Майкл ждал, когда Пегги совсем успокоится. На нее это было совсем не похоже, он никогда раньше не видел, чтобы она плакала. Он всегда думал о ней, как о девушке, которая ко всему, что бы с ней ни случилось, относится со спокойным стоицизмом. Она никогда ни на что не жаловалась, не устраивала бессмысленных сцен, как большинство представительниц женского пола, с которыми встречался Майкл, и поэтому теперь он не знал, как ее успокоить, как рассеять ее уныние. Он время от времени посматривал на нее, но она склонилась над тарелкой и не поднимала головы.

— Извини меня,— наконец проговорила она, когда они уже пили кофе. Голос ее звучал удивительно резко.— Извини меня, что я так вела себя. Я знаю, что должна быть веселой, бесцеремонной и расцеловать на прощание молодого бравого солдата: «Иди, дорогой, пусть тебе снесут голову, я буду ждать тебя с рюмкой коньяку в руке».

— Пегги,— пытался остановить ее Майкл,— перестань.

— Возьми мою перчатку и надевай ее на руку,— не унималась Пегги,— когда будешь в наряде на кухне.

— В чем дело, Пегги? — глупо спросил Майкл, хотя хорошо знал, в чем было дело.

— Дело в том, что я очень люблю войны,— отрезала Пегги,— без ума от войн.— Она засмеялась.— Было бы ужасно, если бы хоть кто-нибудь из моих знакомых не был убит на войне.

Майкл вздохнул, чувствуя себя утомленным и беспомощным, но он должен был признаться себе, что ему не хотелось бы видеть Пегги в числе тех патристически настроенных женщин, которые с таким увлечением занялись войной, словно готовились к свадьбе.

— Чего ты хочешь, Пегги? — спросил он, думая о том, что неумолимая армия ждет его завтра утром в половине седьмого, а другие армии в разных частях света готовят ему смерть. — Чего ты хочешь от меня?

— Ничего, — ответила Пегги, — ты подарил мне два драгоценных года своей жизни. Чего еще могла бы желать девушка? А теперь отправляйся, и пусть тебя разорвет на части. Я повешу «Золотую звезду»¹ у входа в дамскую комнату в клубе «Сторк».

Подошел официант.

— Желаете еще чего-нибудь? — спросил он, улыбаясь с итальянской любезностью состоятельным влюбленным, которые заказывают дорогие завтраки.

— Мне коньяк, — ответил Майкл, — а тебе, Пегги?

— Спасибо, — сказала Пегги, — мне больше ничего не надо.

Официант отошел. «Если бы в двадцатом году он не сел на пароход в Неаполе, — подумал Майкл, — сегодня он был бы, вероятнее всего, в Ливии, а не на Пятьдесят шестой улице».

— Знаешь, что я собираюсь сделать сегодня? — резко спросила Пегги.

— Ну?

— Кое-куда пойти и выйти за кого-то замуж. — Она вызывающе и со злостью взглянула на него через небольшой, покрытый винными пятнами стол.

Девушка за соседним столиком, яркая блондинка в красном платье, говорила сиявшему улыбкой седовласому мужчине, с которым она завтракала:

— Вы должны как-нибудь представить меня своей жене, мистер Копандер. Я уверена, что она чрезвычайно обаятельна.

— Ты слышал, что я сказала? — спросила Пегги.

— Слышал.

К столу подошел официант и поставил небольшой бокал.

— Осталось только три бутылки, — заметил он, — в эти дни невозможно достать коньяк.

Майкл взглянул на официанта. Ему почему-то не понравилось его смуглое, приторно-сладкое, тупое лицо.

— Держу пари, — сказал Майкл, — что в Риме это не составляет никаких трудностей.

По лицу официанта пробежала дрожь, и Майклу показа-

¹ Медаль «Золотая звезда» выдается за погибшего на войне сына или мужа. — *Прим. ред.*

дось, что он слышит, как тот сокрушенно говорит про себя: «И этот стыдит меня за Муссолини. Все эта война, ох, эта проклятая война».

— Да, сэр, возможно, вы правы,— улыбаясь произнес официант и отошел, растерянно двигая руками и скорбно поджав верхнюю губу, давая этим понять, что он не несет никакой ответственности за итальянскую армию, итальянский флот, итальянскую авиацию.

— Ну? — громко спросила Пегги.

Майкл молча потягивал коньяк.

— Что ж, мне все ясно.

— Просто я не вижу смысла сейчас жениться,— ответил наконец Майкл.

— Ты абсолютно прав, но так надоело смотреть, как убивают одиноких мужчин.

— Пегги! — Майкл с нежностью прикрыл своей рукой ее руку.— Это на тебя совсем не похоже.

— А может быть, и похоже,— ответила Пегги,— может быть, я раньше не была похожа на себя. Не думай,— холодно добавила она,— что через пять лет, когда ты вернешься со всеми своими медалями, я встречу тебя с приветливой улыбкой на лице.

— Ладно,— устало проговорил Майкл,— давай не будем говорить об этом.

— А я хочу говорить об этом,— возразила Пегги.

— Ну хорошо, говори,— согласился Майкл.

Он заметил, что она старается сдержать слезы, лицо ее расплылось и размякло.

— Я хотела быть очень веселой,— сказала она дрожащим голосом.— Идешь на войну? Давай выпьем... И я бы сдержалась, если бы не этот отвратительный моряк... Вся беда в том, что я могу забыть тебя. У меня был один друг в Австрии, и я думала, что буду помнить его до конца своих дней. Он был, пожалуй, лучше тебя, смелее и нежнее, но в прошлом году его двоюродная сестра написала мне из Швейцарии, что его убили в Вене. В тот вечер, когда я получила это письмо, я собиралась с тобой в театр. Мне казалось, что в этот вечер я никуда не смогу пойти, но стоило тебе появиться в дверях, и я почти совсем забыла того человека. Он был мертв, и я уже почти не помнила его, хотя однажды я тоже просила его жениться на мне. Кажется, мне ужасно везет в этом отношении, не правда ли?

— Перестань,— прошептал Майкл,— пожалуйста, Пегги, перестань.

Но Пегги продолжала говорить, ее глубокие, выразительные глаза были полны слез.

— Я глупая,— говорила она.— Вероятно, я забыла бы его, если бы мы даже поженились, и, видимо, забуду и тебя, если ты не скоро вернешься. Может быть, это просто предрассудок, но у меня такое предчувствие, что если бы ты был женат и знал, что тебе нужно вернуться именно сюда, где у тебя есть дом и законная жена, ты бы непременно вернулся. Нелепо... Его звали Йозефом, у него не было дома и вообще ничего, поэтому, естественно, они и убили его.— Пегги вдруг поднялась.— Подожди меня на улице,— сказала она,— я скоро приду.

Она быстро вышла из небольшой темной комнаты с маленькой стойкой у окна и развешанными по закопченным стенам старыми картами винодельческих районов Франции. Оставив официанту на столе деньги по счету и хорошие чаевые в качестве компенсации за свою грубость, Майкл неторопливо вышел на улицу.

Стоя у ресторана, он задумчиво курил папиросу. «Нет,— окончательно решил он про себя,— нет, она не права. Я не собираюсь взваливать на себя это бремя и не позволю делать это ей. Если она забудет меня, что ж, это будет просто дополнительная цена, которой приходится расплачиваться за войну, своего рода боевая потеря, которая не входит в подсчет убитых, раненых, уничтоженных ценностей, но, безусловно, относится к числу потерь. Напрасно мы пытались бы избежать ее».

Появилась Пегги. Ее волосы ярко блестели на солнце, видимо, она только что старательно причесала их там, наверху, а улыбающееся лицо было спокойно.

— Прости меня,— сказала она, касаясь его руки.— Я так же удивляюсь этому, как и ты.

— Ну и хорошо,— ответил Майкл,— я сегодня тоже вел себя не блестяще.

— Я совсем не то хотела сказать. Ты ведь веришь мне?

— Конечно.

— Когда-нибудь в другой раз я расскажу тебе об этом человеке из Вены. Интересная история, особенно для солдата.

— Хорошо,— вежливо ответил Майкл,— я с удовольствием послушаю.

— А теперь,— Пегги посмотрела на улицу и сделала знак такси, медленно приближавшемуся с Лексингтон-авеню,— я думаю, мне лучше вернуться на службу и поработать до конца дня, не правда ли?

— Нет необходимости...

Пегги с улыбкой посмотрела на него.

— Я думаю, что так будет лучше,— сказала она,— а вечером мы увидимся снова, будто и не завтракали сегодня вместе. Пусть будет так. У тебя найдется достаточно дел на эти полдня, не правда ли?

— Конечно.

— Желаю хорошо провести время, дорогой,— она нежно поцеловала его,— и надень вечером серый костюм.— Не оглянувшись, Пегги села в машину. Майкл смотрел вслед удалявшейся машине, пока она не повернула за угол. Потом медленно пошел по теневой стороне улицы.

Вскоре он вольно или невольно перестал думать о Пегги, было о чем подумать и кроме этого. Война делает человека скупым, он бережет для нее все свои чувства. Но это не оправдание, ему просто не хотелось думать сейчас о Пегги. Он слишком хорошо знал себя, чтобы вообразить, будто два, три, четыре года сможет сохранить верность фотографии, письму раз в месяц, памяти... И он не хотел предъявлять ей никаких претензий. Они были здравомыслящими, прямыми, искренними людьми, и сейчас перед ними встала проблема, которая так или иначе коснулась миллионов окружающих их людей. Но разрешить эту проблему они могут ничуть не лучше, чем самый простой, самый неграмотный молодой парень из лесной глуши, который, оставив свою Кору Сью, спустился с гор, чтобы взяться за винтовку. Майкл знал, что они больше не будут говорить на эту тему ни этой ночью, ни другой, пока не кончится война, но знал он и то, что не раз еще долгими ночами на чужой земле, воскрешая в памяти прошлое, он будет с мукой вспоминать этот чудесный летний день и внутренний голос будет шептать ему: «Почему ты не сделал этого? Почему? Почему?»

Майкл тряхнул головой, стараясь отогнать тяжелые мысли, и быстро зашагал по улице среди стройных и приветливых темных зданий, озаренных солнечным светом. Он обогнал тяжело опиравшегося на палку старика. Несмотря на теплый день, на нем было длинное темное пальто и шерстяной шарф; желтоватая кожа лица и руки, сжимавшей палку, говорила о большой печени. Он посмотрел на Майкла слезящимися злыми глазами, как будто каждый быстро шагающий по улице молодой человек наносил ему, закутанному в шарф и ковляющему у края могилы, личное оскорбление.

Взгляд его ударил Майкла, и он чуть не остановился, чтобы посмотреть на старика еще раз: может быть, это

какой-нибудь знакомый, затаивший на него обиду, но старик был ему незнаком, и Майкл пошел дальше, но уже не так быстро. «Глупец,— подумал Майкл,— ты съел свой роскошный обед: суп, рыбу, белое вино и красное, бургундское и бордо, дичь, жареное мясо, салат, сыр, а теперь ты перешел к десерту и коньяку, и только потому, что находишь сладкое горьким, а вино терпким, ты возненавидел тех, кто сел за стол позднее тебя. Я бы поменял, старик, свою молодость на прожитые тобой дни, лучшие дни Америки: дни оптимизма, коротких войн с небольшими потерями, бодрящие и воодушевляющие дни начала двадцатого века. Ты женился и двадцать лет, изо дня в день садился обедать в одном и том же доме со своим многочисленным потомством, а воевали тогда только другие страны. Не завидуй мне, старик, не завидуй. Это редкая удача, дар божий быть в тысяча девятьсот сорок втором году семидесятилетним, полумертвым стариком! Сейчас мне жаль тебя, потому что на твоих старых костях тяжелое пальто, теплый шарф вокруг озябшей шеи, трясущаяся рука сжимает палку, без которой тебе уже не обойтись... Но, может быть, себя мне придется пожалеть еще больше. Мне тепло, у меня крепкие руки и уверенный шаг... Мне никогда не будет холодно в летний день, и моя рука никогда не затрясется от старости. Я уйду в антракте и не вернусь на второй акт».

Рядом раздался стук высоких каблучков, и Майкл взглянул на проходившую мимо женщину. На ней была широкополая соломенная шляпа с темно-зеленой лентой; сквозь поля на лицо падал мягкий розовый свет; светло-зеленое платье мягкими складками облегало бедра. Она была без чулок, с загорелыми ногами. Женщина сделала вид, что не обращает никакого внимания на вежливый, но восхищенный взгляд Майкла, быстро обогнала его и пошла впереди. Глаза Майкла с удовольствием задержались на изящной, стройной фигуре, и он улыбнулся, когда женщина, как и следовало ожидать, подняла руку и беспомощно-милым жестом поправила волосы, довольная тем, что на нее смотрит молодой человек и находит ее привлекательной.

Майкл усмехнулся: «Нет, старик,— подумал он,— я все это выдумал. Иди и умирай, старик, благословляю тебя, а я еще с удовольствием посижу за столом».

Было уже далеко за полдень, когда, насвистывая, он подошел к бару, где должен был встретиться с Кэхуном, чтобы проститься с ним, перед тем как отправиться на войну.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В жаркое роковое лето 1942 года у стойки в войсковой лавке в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси, где продавали слабое пиво, по вечерам можно было слышать такие разговоры:

— ...У меня один глаз, в самом деле только один. Я сказал этим мерзавцам, а они говорят: «Вполне годен», и вот я здесь.

И еще: — У меня десятилетняя дочь. «Вы не живете со своей женой, — говорят мне. — Вполне годен». В стране полно молодых одиноких бездетных мужчин, а они сцапали меня.

И еще: — В Старом свете, когда тебя хотели призвать в армию, ты шел к специалисту, и он устраивал тебе грыжу. Небольшой нажим пальцем — и у тебя грыжа, которой хватит на пятьдесят войн. А в Америке только раз взглянут и уже говорят: «Сынок, мы вправим тебе ее за два дня, и будешь опять как ни в чем не бывало. Вполне годен!»

И еще: — Разве это пиво? Стоит только правительству приложить свою руку, и все начинает вонять, даже пиво.

И еще: — Кругом блат. Пусть ты можешь побить самого Джо Луиса¹ за два раунда, но если у тебя есть рука в призывной комиссии, тебя забракуют из-за хрупкого здоровья.

И еще: — У меня такая язва, что всякий раз, как звонит телефон, кишки обливаются кровью. А рентген, говорят, ничего не показывает — «Вполне годен». Они не успокоятся, пока я не подохну. Хотел бы я знать, похоронят ли меня на Арлингтонском кладбище? Пришлют мне «Пурпурное сердце» для лечения повышенной кислотности, потом устроят похороны с воинскими почестями, а по мне пусть они подавятся всей этой ерундой. Я еще не притрагивался к их еде, но не могу же я вечно голодать. Стоит один раз поесть эту пищу: копченую колбасу, сыр да арахисовое масло, которое суют во все блюда, и одним покойником станет больше. Я предупредил их, а они говорят: «Вполне годен».

И еще: — Я не прочь послужить своей стране, но мне не нравится, что каждый месяц вычитают двадцать два доллара и отсылают их моей жене. Я не живу с женой одиннадцать лет; она спала со всеми мужчинами и мальчишками отсюда до Солт-Лейк-Сити, а с меня вычитают двадцать два доллара.

И еще: — Когда я выберусь отсюда, то первым делом

¹ Джо Луис — известный американский боксер. — *Прим. ред.*

убью председателя призывной комиссии. Я сказал ему, что люблю море и хочу поступить в береговую охрану, об этом сказано в моем заявлении; а он говорит: «Научись-ка лучше любить землю. Вполне годен».

И еще: — Послушай меня, приятель, когда будет построение, вставай в середине, ни впереди, ни позади, ни по бокам, а в середине, понял? Тогда не будешь так часто попадать в наряд, понял? И держись подальше от своей палатки, приходи только ночевать, потому что они повсюду суют свой нос и, как увидят, что кто-то лежит, так хватают его и отправляют на склады разгружать машины.

И еще: — Я бы мог пройти комиссию, только для этого требовалось некоторое время, а на призывном пункте рвали и металы, чтобы поскорее меня забрать.

И еще: — Видел тех двух парней, что с полной выкладкой маршируют взад и вперед перед ротной канцелярией? Они вот уже пять дней все ходят взад и вперед, взад и вперед. Должно быть, они прошагали уже миль двести. Съездили в Трентон выпить пару кружек пива, а сержант поймал их, и теперь им придется шагать до самой отправки! За две кружки пива! И это называется свободная страна!

И еще: — Когда тебя вызовут для опроса, скажи, что ты умеешь писать на машинке. Неважно, умеешь ты в самом деле или нет, но говори, что умеешь. Наша армия помешана на переписчиках. В одном ты можешь быть уверен: машинки никогда не помещают в такое место, где возможен обстрел. А если скажешь, что не умеешь печатать, пошлют тебя в пехоту, а тогда пиши домой маме — пусть ищет в магазинах красивую золотую звезду на окно.

И еще: — Всех специалистов взяли в авиацию.

И еще: — В артиллерии тебя не убьют.

И еще: — Это будет первая ночь с тридцать первого года, когда мне придется спать врозь с женой. Не знаю, как я это перенесу.

И еще: — Вот это здорово! За двадцать пять центов здесь можно купить библию в бумажном переплете.

И еще: — Эх, черт возьми, уже закрывают.

Под тихим, усеянным звездами летним небом Майкл спустился по заплыванным ступенькам войсковой лавки. Отяжелевший от пива, в грубой зеленой рабочей одежде, от которой пахло залежавшимся бельем, в новых неуклюжих тупоносых ботинках, уже успевших натереть ему ноги, он шел по ротной линейке между палатками мимо двух

угрюмых солдат, медленно марширующих взад и вперед с тяжелой выкладкой, расплачиваясь за выпитое в Трентоне пиво, мимо игроков в кости, которые начали играть еще вчера и будут продолжать до тех пор, пока их не убьют или пока не капитулируют японцы; мимо одиноких неряшливых фигур, стоящих у оттяжек и спокойно смотрящих на темное небо; мимо солдат, связывающих в узлы свою штатскую одежду для сдачи Красному Кресту; мимо рядовых первого класса, которые фактически управляли всей ротой с гордым видом привилегированных людей, облеченных исключительными правами, а сейчас выкрикивавших хриплыми голосами: «Свет выключается через десять минут! Солдаты, свет выключается через десять минут!»

Майкл вошел в свою палатку, казавшуюся пустой и одинокой при свете единственной лампочки в сорок ватт, медленно разделся и улегся в нижнем белье под грубое одеяло: он постеснялся взять с собой на войну пижаму.

Солдат из Элмайры, спавший у входа в палатку, выключил свет. Он жил здесь уже три недели, потому что был ветеринаром и ему старались подыскать место, где он мог бы лечить мулов, но в условиях современной механизированной войны это было довольно трудно. Солдат из Элмайры погасил свет: будучи ветераном этого лагеря, он, естественно, взял на себя обязанность распорядиться подобными делами.

Солдат справа от Майкла уже храпел. Он был сицилийцем и, пользуясь предлогом, что умеет читать и писать, собирался ожидать в лагере девяносто дней, необходимых для получения американского гражданства, а там пусть решают, что с ним делать дальше.

Об остальных соседях по палатке Майкл ничего не знал. Они лежали в темноте и сквозь храп сицилийца слушали сигнал тушить огни, громко и печально разносившийся репродукторами над огромным скопищем жалких людей, которые не были больше штатскими, но не стали еще военными и теперь готовились идти на смерть.

«Вот я и здесь,— думал Майкл, чувствуя запах армейского одеяла у подбородка.— Свершилось. Мне нужно было давно пойти в армию, а я не сделал этого; я мог бы уклониться от нее, а я не уклонился. И вот я здесь, в палатке, под грубым одеялом. Я всегда знал, что так будет. Эта палатка, это одеяло, эти храпящие люди ждали меня тридцать три года, а теперь мы встретились. Пробыл час искупления. Началась расплата — расплата за мои взгляды, расплата за легкую жизнь, за роскошную еду и мягкую постель,

расплата за доступных девушек и за все легко добытые деньги, расплата за тридцатитрехлетнюю праздную жизнь, которая окончилась сегодня утром с окриком сержанта: «Эй, ты, подними-ка окурок».

Он быстро уснул, несмотря на раздававшиеся вокруг выкрики, свист и пьяный плач, и всю ночь проспал без снов.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

У прибывшего с инспекцией на фронт генерала был необыкновенно самонадеянный вид, поэтому все поняли, что должно что-то произойти. Если уж даже итальянский генерал, сопровождаемый десятком солидных, одетых с иголочки офицеров, с биноклями, в защитных очках и при галстуках, излучает такую уверенность, значит, произойдет что-то важное. Генерал был исключительно любезен: разговаривая с солдатами, он оглушительно хохотал, сильно хлопал их по плечу и даже ущипнул за щеку восемнадцатилетнего юношу, только что прибывшего на пополнение в отделение Гимmlера. Это был верный признак того, что очень скоро, тем или иным образом, будет убито множество солдат.

Были и другие признаки. Гимmlер, который два дня тому назад был в штабе дивизии, слышал по радио, что англичане снова сжигают бумаги в своем штабе в Каире. Видимо, у англичан огромное количество бумаг, которые подлежат сожжению. Они жгли их в июле, потом в августе, сейчас октябрь, а они все еще продолжают жечь бумаги.

Гимmlер слышал также, как по радио говорили, что общий стратегический план немцев состоит в том, чтобы прорваться к Александрии и Иерусалиму, а затем соединиться с японцами в Индии. Правда, тем, кто уже несколько месяцев сидел под палящим солнцем на одном и том же месте, такой план казался слишком грандиозным и кичливым, однако в нем было что-то обнадеживающее. Во всяком случае, было ясно, что у генерала есть какой-то план.

Ночь была совсем тихая, только изредка раздавалась беспорядочная стрельба и вспыхивали осветительные ракеты. Светила луна, и бледное небо, усеянное мягко мерцающими звездами, незаметно сливалось с темным простором пустыни.

Христиан стоял один, свободно держа автомат на согнутой руке, и всматривался в таинственный полумрак, скры-

вавший противника. В эту безмятежную ночь с той стороны не доносилось ни звука, вокруг тихо спали тысячи солдат.

Ночь имеет свои преимущества: можно свободно передвигаться, не беспокоясь о том, что какой-нибудь англичанин, увидев тебя в бинокль, будет раздумывать, стоит ли потратить на тебя один-два снаряда; ночью ослабевает зловоние — этот вечный спутник войны в пустыне. Воды не хватало даже для питья, поэтому никто не умывался. Весь день люди истекали потом, неделями не меняли белья. Одежда начинала гнить от пота и колом стояла на спине. Кожа покрылась непроходящей сыпью, зудела и горела. Но больше всего страдал нос. Люди терпимы только тогда, когда они регулярно смывают неприятные выделения организма. К собственному запаху, конечно, привыкаешь, иначе можно было бы покончить с собой, но стоит подойти к любой группе солдат, как зловоние чуть не сшибает с ног.

Так что ночь была утешением, хотя с тех пор, как он прибыл в Африку, утешительного было мало. Правда, они одерживали победы, и он прошел от самой Бардии до этого пункта, откуда оставалось каких-нибудь сто с небольшим километров до Александрии. Однако победа, как она ни приятна, все-таки мало что дает солдату на передовых позициях. Она, несомненно, имеет большое значение для щеголеватых штабных офицеров, которые, вероятно, отмечают взятие городов торжественными обедами с вином и пивом, а для солдата победы означают только то, что он все еще сохраняет шансы быть убитым на следующее утро, а пока по-прежнему будет жить в мелком песчаном окопе, и от его соседей будет так же нестерпимо вонять при знойном ветре победы, как и при поражении.

Хорошо провел Христиан только две недели, когда его, больного малярией, отправили в тыл, в Кирену. Там было прохладнее и больше зелени, можно было искупаться в Средиземном море.

Когда Гиммлер передал услышанное им по радио сообщение, что план немецкого генерального штаба состоит в том, чтобы пройти через Александрию и Каир и соединиться с японцами в Индии, то недавно прибывший с пополнением Кнулен, отчасти заменивший Гиммлера в роли ротного шута, заявил: «Кто хочет, пусть идет и соединяется с япошками, а лично я, если никто не возражает, останусь в Александрии».

Христиан усмехнулся в темноте, вспомнив грубую шутку Кнулена. «Там, на другой стороне минного поля,— подумал он,— сегодня, наверно, было не до шуток».

— Вдруг небо на сотню километров озарилось вспышками, а через секунду дошел и звук. Христиан упал на песок как раз в тот момент, когда вокруг начали рваться снаряды.

Христиан открыл глаза: было темно, но почувствовал, что куда-то едет и что он не один, потому что вокруг был все тот же запах, напоминавший запах запущенных парижских писсуаров, запекшихся ран и грязных лохмотьев нищих детей. Он вспомнил звук снарядов над головой и снова закрыл глаза.

Это, несомненно, грузовик, а где-то все еще продолжается бой, потому что невдалеке слышен грохот артиллерийских выстрелов и разрывов. Произошло что-то неладное, потому что около него в темноте кто-то плакал и повторял сквозь рыдания: «Меня зовут Рихард Кнулен», словно стараясь доказать самому себе, что он совершенно нормален и хорошо знает, кто он и что делает.

Христиан уставился в непроницаемую тьму на вонючий брезент, который колыхался и трепетал над его головой. Ему казалось, что у него поломаны руки и ноги, а уши вдавились в голову. Некоторое время он лежал на дощатом полу в полной темноте, думая, что умирает.

— Меня зовут Рихард Кнулен,— раздался голос,— я живу на Карл-Людвигштрассе, дом три. Меня зовут Рихард Кнулен, я живу...

— Заткнись,— сказал Христиан, и ему сразу стало гораздо лучше. Он даже попытался сесть, но это оказалось выше его сил, и он снова лег, наблюдая, как под закрытыми веками стремительно проносятся радужные пятна. Плач прекратился, и кто-то сказал:

— Мы собираемся соединиться с японцами, и я знаю где.— Потом раздался дикий смех: — В Риме! На балконе Бенито Муссолини в Риме! Я должен сказать об этом тому типу.

Тут Христиан понял, что голос принадлежит Гиммлеру, и он вспомнил многое из того, что произошло за последние десять дней.

В первую ночь был жестокий огневой налет, но все хорошо окопались, и убиты были только Мейер и Хейсс. Вспыхивали ракеты, шарили лучи прожекторов, позади горел танк, а впереди виднелись небольшие факелы там, где томми под прикрытием артиллерийского огня пытались проделать проходы в минном поле для танков и пехоты; при свете ракет то тут, то там появлялись суетливо бегавшие

темные фигурки. Потом открыли огонь немецкие орудия. Близко подошел только один танк, и все орудия в радиусе тысячи метров открыли по нему огонь. Вскоре поднялся дым, и они с изумлением увидели, что человек, пытавшийся вылезти из танка, горит ярким пламенем.

Когда закончился огневой налет, англичане тремя последовательными волнами атаковали их позиции. Атака на их участке продолжалась только два часа. В результате на поле боя осталось семь обгоревших танков с порванными гусеницами, застрявших в песке с повернутыми в сторону противника орудиями, и множество разбросанных вокруг неподвижных тел. Все в роте были довольны, они потеряли только пять человек, и Гарденбург, отправляясь в утренней тишине на доклад в батальон, широко ухмылялся.

Но в полдень артиллерия снова открыла огонь, и на минном поле, неуверенно покачиваясь в клубах пыли, появилась чуть не целая рота танков. На этот раз танки ворвались на передний край, но английская пехота была остановлена. Уцелевшие танки начали отходить, время от времени злобно поворачивалась башня, поливая немецкие окопы огнем, до тех пор пока позволяло расстояние. И не успели они перевести дух, как английская артиллерия снова открыла огонь, захватив на открытом месте группы санитаров, оказывавших помощь раненым. Они кричали и падали, сраженные осколками, но никто не мог выйти из окопов, чтобы помочь им. Видимо, именно тогда и начал кричать Кнулен, и Христиан вспомнил, что в то время он с удивлением подумал: «А они, кажется, не шутят».

Потом его начало трясти. Он крепко обхватил себя руками и плотно прижался к стенке окопа. Когда он выглянул через край окопа, ему показалось, что на него бегут, то и дело подрываясь на минах, тысячи томми, а среди них снуют маленькие, причудливые, похожие на клопов транспортеры, непрерывно ведя огонь из пулеметов. Ему хотелось подняться и закричать: «Что вы делаете? Ведь я болен малярией, неужели вам хочется брать на себя грех и убивать большого человека?»

Так продолжалось много дней и ночей, а лихорадка то стихала, то обострялась вновь, и в жаркий полдень в пустыне его пробирал озноб. Время от времени с тупой злобой он думал: «Нам никогда не говорили, что это может длиться так долго и что в это время нас будет трясти малярия».

Потом все почему-то затихло, и он подумал: «Мы все еще здесь. Ну не глупо ли было с их стороны пытаться нас взять?» — и он заснул, опустившись на колени в своем

окопе. Через секунду его уже тряс Гарденбург и, глядя ему в лицо, кричал: «Черт побери, ты еще жив?» Христиан пытался ответить, но у него отчаянно стучали зубы и никак не открывались глаза, и он только нежно улыбнулся в ответ. Гарденбург схватил его за шиворот и потащил, как мешок с картошкой. Голова Христиана болталась, словно он печально кивал лежавшим по обеим сторонам телам. Он с удивлением заметил, что было уже совершенно темно, что рядом стоит грузовик с включенным мотором, и довольно громко произнес: «Тише вы там». А рядом с ним кто-то сквозь рыдания повторял: «Меня зовут Рихард Кнулен». И уже много позднее на темном дощатом полу, под вонючим брезентом, при каждом вытряхивающем душу толчке машины тот же голос вскрикивал и повторял: «Меня зовут Рихард Кнулен, я живу на Карл-Людвигштрассе дом три». Когда Христиан наконец окончательно пришел в себя и понял, что, видимо, пока еще не умирает, что они вовсю отступают, а он все еще болен малярией, он рассеянно подумал: «Хотел бы я сейчас увидеть того генерала. Интересно, по-прежнему ли он такой самонадеянный?»

Грузовик остановился, и Гарденбург, зайдя сзади, крикнул:

— Выходите, выходите все!

Солдаты медленно, словно шли по густой грязи, двинулись к заднему борту. Двое-трое из них упали, прыгая через борт, и остались лежать, не жалуясь, когда другие прыгали и падали на них. Христиан слез с грузовика последним. «Я стою,— торжествующе подумал он,— я стою».

При лунном свете он увидел Гарденбурга, который смотрел на него испытующим взглядом. С обеих сторон сверкали вспышки орудий, и в воздухе стоял сплошной гул, но Христиан был так упоен своей маленькой победой — тем, что ему удалось самому вылезти из машины и не упасть, что он не заметил в окружающем ничего необычного.

Он внимательно осмотрел полусонных, с трудом державшихся на ногах людей и узнал лишь очень немногих. Может быть, при дневном свете, он вспомнит их лица.

— Где же рота? — спросил он.

— Это и есть рота,— ответил Гарденбург каким-то чужим голосом. У Христиана вдруг появилось подозрение, что кто-то другой выдает себя за лейтенанта. Впрочем, по виду он был похож на Гарденбурга, но Христиан решил разобраться в этом потом, когда все более или менее уляжется.

Гарденбург поднял руку и резко ткнул Христиана в лицо. От руки пахло смазочным маслом и потом. Христиан заморгал и отшатнулся назад.

— Ты здоров? — спросил Гарденбург.

— Да, господин лейтенант, — ответил Христиан, — совершенно здоров. Надо бы узнать, где остальная часть роты, но с этим тоже можно подождать.

Грузовик тронулся с места, скользя по песчаной колее, и двое солдат тяжелой рысцой побежали за ним.

— Стой! — приказал Гарденбург. Солдаты остановились, глядя вслед грузовику, который, набрав скорость, с шумом уносился на запад по блестящему в лунном свете песку. Они стояли у подножия небольшого холма и молча наблюдали, как грузовик, стуча подшипниками, прошел мимо мотоцикла Гарденбурга и полез в гору. На мгновение он появился на вершине холма, огромный, качающийся, подомашнему уютный, и, перевалив за гребень, скрылся из виду.

— Мы окопаемся здесь, — сказал Гарденбург, резким движением руки указывая на блестящий песчаный склон. Солдаты тупо посмотрели на холм.

— Приступайте немедленно! — приказал он и, обращаясь к Христиану, добавил: — Дистль, останетесь со мной.

— Слушаюсь, — поспешно ответил Христиан и подошел к Гарденбургу, довольный тем, что может двигаться.

Гарденбург начал подниматься на холм, как показалось Христиану, с необыкновенной быстротой. «Удивительно, — думал он, идя вслед за лейтенантом, — такой худой и щуплый, после этих десяти дней...»

Солдаты медленно шли за ними. Резкими жестами руки Гарденбург указывал каждому, где он должен окопаться. Их было тридцать семь, и Христиан опять вспомнил, что нужно будет потом спросить, что же случилось с остальной частью роты. Гарденбург разместил людей на склоне холма очень редко, длинной неровной линией на расстоянии одной трети пути до вершины. После того как он указал место каждому солдату, они с Христианом обернулись и окинули взглядом склонившиеся фигуры, медленно копавшие песок. Христиан вдруг понял, что, если их атакуют, им придется стоять до конца, потому что отступать вверх по открытому склону холма с той линии, где их расположил Гарденбург, было невозможно. Теперь он начал понимать, что происходит.

— Ладно, Дистль, — проговорил Гарденбург, — пойдешь со мной.

Вслед за лейтенантом Христиан направился назад к до-роге. Не говоря ни слова, он помог Гарденбургу втащить мотоцикл на вершину холма. Время от времени кто-нибудь из солдат переставал копать, оборачивался и пристально следил, как эти двое медленно тащили мотоцикл к гребню холма. Когда они наконец дотащили машину до места, Христиан совсем запыхался. Они обернулись и посмотрели вниз на извилистую ленту солдат, мирнокопавших землю. Луна, безлюдная пустыня, вялые движения людей — все это выглядело нереально, как пригрезившаяся картина из далеких библейских времен.

— Если они ввяжутся в бой, отступить они уже не смогут,— почти бессознательно заметил он.

— Правильно,— решительно подтвердил Гарденбург.

— Им придется умирать здесь,— сказал Христиан.

— Правильно,— повторил Гарденбург. И тут Христиан вспомнил слова Гарденбурга, сказанные ему еще в Эль-Агейле: «В тяжелой обстановке, когда нужно продержаться как можно дольше, умный офицер расставит своих солдат так, чтобы у них не было возможности отступить. Если они будут поставлены перед выбором — сражаться или умереть, значит, офицер сделал свое дело».

Сегодня Гарденбург сделал свое дело отлично.

— Что произошло? — спросил Христиан.

Гарденбург пожал плечами.

— Они прорвались по обе стороны от нас.

— Где они сейчас?

Гарденбург устало посмотрел на вспышки артиллерийского огня на юге и более отдаленное мерцание на севере.

— Ты сам мне лучше скажи где,— ответил он и, наклонившись, стал рассматривать показание бензометра на мотоцикле.— Хватит на сто километров,— сказал он.— Ты хорошо себя чувствуешь? Удержишься на заднем сиденье?

Христиан сморщил лоб, изо всех сил стараясь понять, что это значит, потом медленно начал соображать.

— Да, господин лейтенант.— Он повернулся и посмотрел вниз на цепочку шатающихся от усталости, увязающих в песке людей, которых он оставляет умирать на этом холме. У него мелькнула было мысль сказать Гарденбургу: «Нет, господин лейтенант, я останусь здесь». Но какой от этого толк?

Война имеет свои законы, и он знал, что если они отступали, сохраняя себя для грядущих дней, то это не была трусость со стороны Гарденбурга и шкурничество с его, Христиана, стороны. Что может сделать эта жалкая горстка

людей? В лучшем случае они задержат на какой-нибудь час английскую роту на этом голом скате, а потом погибнут. Если бы они с Гарденбургом остались здесь, то, несмотря на все свои усилия, не смогли бы прибавить к этому часу хотя бы десять минут. Вот так обстояло дело. Может быть, в следующий раз его самого оставят на холме без всякой надежды на спасение, а кто-нибудь другой будет мчаться по дороге в поисках сомнительной безопасности.

— Оставайся здесь,— сказал Гарденбург,— садись и отдыхай. Я пойду скажу им, что мы едем за минометным взводом для поддержки нашей обороны.

— Слушаюсь,— ответил Христиан и тут же сел на песок. Он видел, как Гарденбург быстро соскользнул вниз, туда, где медленно окапывался Гиммлер. Потом он медленно повалился на бок и, не успев коснуться плечом земли, сразу же уснул.

Кто-то сильно тряс его за плечи. Он открыл глаза и увидел Гарденбурга. Он чувствовал себя не в состоянии подняться и сделать хотя бы несколько шагов. Ему хотелось сказать: «Оставьте, пожалуйста, меня в покое» — и снова уснуть, но Гарденбург схватил его за шиворот и с силой потянул вверх. Христиан с трудом нашел в себе силы подняться. Он пошел, механически переставляя ноги, его ботинки хрустели по песку, напоминая ему хруст жесткого, накрахмаленного белья под утюгом в доме матери. Он помог Гарденбургу подтащить мотоцикл. Гарденбург проворно перекинул ногу через сиденье и начал ударять по педали. Мотоцикл трещал, но не заводился.

Христиан смотрел, как Гарденбург при тусклом свете луны изо всех сил старается завести машину. Вдруг он почувствовал, что кто-то стоит рядом, и понял, что за ними наблюдают. Всмотревшись, он узнал Кнулена, того самого, что плакал в машине. Кнулен бросил копать и пошел за лейтенантом вверх по склону. Он ничего не говорил, просто стоял и безучастно наблюдал, как Гарденбург снова и снова ударял по педали.

Гарденбург тоже заметил его. Он медленно и глубоко вздохнул, перекинул обратно ногу и встал около мотоцикла.

— Кнулен, марш на свое место! — приказал он.

— Слушаюсь,— ответил тот, но не пошевелился.

Тогда Гарденбург подошел к нему и сильно ударил его кулаком по носу. У Кнулена брызнула из носа кровь, он засопел, но не двинулся с места, руки его как плети висели по бокам, как будто они ему были больше не нужны. Винтовку и лопату он оставил внизу, в окопе. Гарденбург ото-

шел назад и с любопытством и без всякой злобы посмотрел на Кнулена, словно тот представлял собой несложную техническую задачу, которую надо будет решить в свое время. Затем он снова подошел к солдату и дважды очень сильно ударил его. Кнулен медленно опустился на колени. Стоя на коленях, он беспомощно смотрел на Гарденбурга.

— Встать! — скомандовал Гарденбург.

Кнулен медленно поднялся, продолжая молчать, руки его по-прежнему безвольно висели по бокам.

Христиан с недоумением посмотрел на него. «Почему ты не остался лежать? — подумал он, ненавидя этого мешковатого, некрасивого парня, стоящего здесь, на гребне залитого лунным светом холма, молчаливым, страстным упреком. — Почему ты не умираешь?»

— А теперь, — приказал Гарденбург, — пошел вниз.

Но Кнулен продолжал стоять, как будто слова больше не доходили до его сознания. Он только иногда всасывал стекавшую в рот кровь, и эти звуки как-то не вязались с его согнутой, молчаливой фигурой. Все это было похоже на одну из современных картин, которые Христиан видел в Париже: на пустынном холме под заходящей луной три изможденные, молчаливые, темные фигуры; небо и земля, неприветливые и темные, а вокруг почти такое же таинственное неземное сияние.

— Хорошо, — сказал Гарденбург, — идем со мной.

Он взял мотоцикл за руль и покатил его по обратному скату холма вниз, в противоположную сторону от копавших. Взглянув в последний раз на тридцать шесть фигур, ритмично и вяло копавшихся в песке пустыни, Христиан стал спускаться по тропинке вслед за Гарденбургом и Кнуленом.

Кнулен шел за мотоциклом, еле волоча ноги. Они прошли в полном молчании метров пятьдесят. Потом Гарденбург остановился. — Подержи-ка, — сказал он Христиану.

Христиан взялся за руль и прислонил мотоцикл к ноге. Кнулен остановился и безропотно уставился на лейтенанта. Гарденбург откашлялся, словно собирался произнести речь, затем подошел к Кнулену, многозначительно посмотрел на него и дважды жестоко и быстро ударил его между глаз. Кнулен отшатнулся назад и беззвучно опустился на песок, с тупым упорством не спуская глаз с лейтенанта. Гарденбург задумчиво посмотрел на него, потом вынул пистолет и взвел курок. Кнулен даже не пошевелился, и ничто не изменилось в его темном, окровавленном лице, освещенном скупым светом луны.

Гарденбург выстрелил. Опираясь на руки, Кнулен пытался подняться.

— Мой дорогой лейтенант,— сказал он спокойным и ясным голосом и повалился в песок вниз лицом.

Гарденбург убрал пистолет.

— Все в порядке,— сказал он.

Затем, подойдя к мотоциклу, он одним махом сел в седло, нажал на педаль, и мотор на этот раз заработал.

— Садись! — приказал он Христиану.

Христиан осторожно закинул ногу и сел на заднее сиденье. Мотоцикл задрожал и запрыгал.

— Держись крепче,— сказал Гарденбург,— обхвати меня руками.

Христиан плотно обхватил лейтенанта вокруг талии. «Чудно,— думал он,— в такое время обнимать офицера, словно девушка, выехавшая с мотоклубом на воскресную прогулку в лес». Тесно прижавшись к Гарденбургу, Христиан чувствовал ужасный запах, исходивший от его тела, и боялся, что его вырвет.

Гарденбург включил скорость, дал газ, машина затарахтела и с ревом понеслась вперед. Христиану хотелось сказать: «Пожалуйста, не шумите». В таких случаях надо действовать тихо, нехорошо так открыто показывать остающимся здесь людям, что их бросают одних на смерть и что в то время, как другие все еще будут жить, их кости будут гнить на этом холме, потому что отсюда невозможно спастись.

«Теперь их тридцать шесть,— подумал Христиан, вспоминая старательно вырытые маленькие окопчики, стоящие на пути англичан, на пути танков и бронемашин.— Три дюжины солдат,— думал он, крепко держась за лейтенанта на подпрыгивающей машине и стараясь отвлечь себя разными посторонними мыслями, чтобы не начался приступ малярии или озноба,— три дюжины солдат...»

Когда они выехали на равнину, Гарденбург прибавил скорость. Они ехали по безлюдной пустыне, освещенной последними лучами заходящей луны; по всему горизонту мелькали вспышки далекой артиллерийской стрельбы. От быстрой езды ветер свистел в ушах. У Христиана сдуло фуражку, но он не обратил на это никакого внимания; зато ветер относил исходивший от лейтенанта запах, и он больше его не чувствовал.

В течение получаса они ехали в северо-западном направлении. Вспышки на горизонте становились все сильнее и

ярче, пока мотоцикл петлял по извилистой дороге между дюн и случайных островков сухой низкорослой травы. По дороге то и дело встречались обгорелые танки, автомашины. Вот перевернутый грузовик, огромная ось которого при тусклом свете торчит, словно зенитное орудие. Промелькнуло несколько свежих, наспех вырытых могил с винтовками, воткнутыми штыком в землю и с надетыми на приклад касками или фуражками; несколько разбитых, обгоревших самолетов с погнутыми пропеллерами и поломанными крыльями, изуродованные металлические части которых тускло отражали свет луны. Но, пока они не достигли дороги, проходившей значительно севернее и идущей почти строго на запад, им не встретилось никаких войск. Выехав на дорогу, они вдруг оказались в длинной колонне полкового транспорта. Грузовики, броневые автомобили, разведывательные машины, тягачи медленно двигались по узкой дороге в плотных облаках пыли и отработанных газов.

Гарденбург съехал на обочину, но не очень далеко от дороги, потому что, когда местность несколько раз переходит из рук в руки, не знаешь, где можно наткнуться на мину. Он неожиданно остановил мотоцикл, и Христиан чуть было не свалился с седла. Гарденбург быстро повернулся и поддержал его.

— Благодарю вас,— вежливо сказал Христиан. У него снова начался озноб, в голове шумело, язык распух, а челюсти от холода сжала спазма.

— Можешь сесть в один из этих грузовиков,— крикнул Гарденбург, взмахнув рукой (зачем тратить столько энергии?) в сторону медленно проходившей с ровным гулом колонны,— но я не советую.

— Как прикажете, господин лейтенант,— ответил Христиан с застывшей на лице дружелюбной улыбкой, словно пьяный, попавший на чопорный и довольно-таки скучный прием.

— Я не знаю, какие они имеют распоряжения! — крикнул Гарденбург.— В любой момент их могут повернуть и бросить в бой...

— Конечно,— согласился Христиан.

— Самое верное дело — держаться своего собственного транспорта,— сказал Гарденбург. Христиан чувствовал благодарность к лейтенанту за то, что он так любезно все ему объясняет.

— Да, в самом деле,— подтвердил он.

— Что ты сказал? — не расслышал Гарденбург: мимо с грохотом проходил броневик.

— Я сказал...— Христиан запнулся, он уже не помнил, что говорил.— Я согласен,— неопределенно кивнув головой, сказал он,— совершенно согласен.

— Хорошо,— сказал Гарденбург, развязывая у Христиана на шее платок.— Лучше прикрыть им лицо от пыли.— И он начал завязывать узел на затылке у Христиана.

Но Христиан, слегка отстранив руки лейтенанта, сказал: — Извините, одну минуточку...— У него началась рвота.

Люди в проходивших мимо машинах не обращали внимания ни на него, ни на лейтенанта, они смотрели только вперед без всякого интереса, без любопытства, без цели и надежды, словно это были не живые люди, а парад теней, проходящий перед затуманенным взором умирающего.

Христиан выпрямился. Он чувствовал себя уже лучше, хотя неприятное ощущение во рту усилилось. Он повязал платком нос и всю нижнюю часть лица. Пальцы плохо повиновались ему, и лишь с трудом ему удалось завязать сзади узел.

— Я готов,— доложил он.

Гарденбург тоже успел завязать лицо платком. Христиан опять обхватил лейтенанта за талию, и мотоцикл, тарахтя и подпрыгивая, вклинился в колонну и поехал вслед за санитарной машиной, из оторванной двери которой торчали три пары ног.

Христиан был исполнен глубокой симпатии к лейтенанту, твердо и уверенно сидевшему перед ним в маске из носового платка, придававшей ему вид бандита из американского фильма. «Я должен как-то выразить ему свою признательность»,— подумал он. Целых пять минут, трясаясь в клубах пыли, он старался найти способ показать свою благодарность лейтенанту. Наконец ему в голову пришла идея. «Я расскажу ему о его жене и о себе,— подумал Христиан,— больше я ничего не могу придумать.— Он покачал головой.— Нет, это глупо, глупо, глупо». Но теперь, когда эта идея пришла ему в голову, он не мог от нее отделаться. Он закрыл глаза, стараясь думать о тех тридцати шести, медленно копающих окопы там, на юге, потом старался вспомнить, сколько пива, холодного вина и холодной воды он выпил за последние пять лет. Однако его все время так и подмывало крикнуть, заглушая шум машин: «Лейтенант, я жил с вашей женой, когда ездил в отпуск из Ренна».

Колонна остановилась, и Гарденбург, чтобы удержать машину в равновесии, снял ногу с педали. В целях безопасности он решил оставаться в середине колонны. «Вот

сейчас,— подумал Христиан, захваченный своей идеей, — вот сейчас я скажу ему». Но в этот момент из санитарной машины вышли два солдата, вытащили за ноги тело и положили его на дорогу. Затем, медленно волоча усталые ноги, они оттащили его на обочину, подальше от машин. Христиан наблюдал за ними поверх платка. Солдаты виновато посмотрели на него.

— Он неживой,— серьезно сказал один из них, подходя к Христиану,— какой смысл везти его, если он неживой?

Колонна тронулась, и санитарная машина поползла на первой скорости. Солдаты побежали следом, фляги хлопали их по бедрам. Они долго тащились за машиной, прежде чем им удалось влезть в кузов по торчавшим из оторванной двери ногам. Потом стало слишком шумно, чтобы можно было рассказать Гарденбургу о его жене.

Трудно вспомнить, когда началась стрельба. Сначала в голове колонны раздался сильный треск, и машины остановились. Потом до Христиана дошло, что он уже давно слышит какой-то шум, но не может понять, что происходит.

Люди тяжело выскакивали из машин, разбегались в обе стороны от дороги и рассыпались по пустыне. Один раненый вывалился из санитарной машины и, врываясь пальцами в песок, волоча за собой неподвижную ногу, пополз к небольшому островку травы, видневшемуся в десяти метрах справа от дороги. Он лег там и начал поспешно копать перед собой руками. Со всех сторон заработали пулеметы, и бронемашины, развернувшись как придется по обоим сторонам дороги, открыли яростный беспорядочный огонь. Какой-то человек без фуражки бегал вдоль колонны брошенных с работающими моторами машин и злобно орал: «Вы ответите за это, ответите, сволочи!» Его лысая непокрытая голова блестела при свете луны, он яростно размахивал стеклом. «Должно быть, по меньшей мере полковник», — подумал Христиан.

Мины падали метрах в шестидесяти. Один тягач загорелся и, в свете пламени Христиан видел, как люди в беспорядке разбегаются в стороны. Гарденбург поставил мотоцикл рядом с санитарной машиной и выключил мотор. Он внимательно всматривался в пустыню, и треугольная повязка на его лице хлопала по подбородку, как плохо приклеенная борода.

Англичане открыли огонь трассирующими пулями и малокалиберными снарядами; изогнутые трассы вначале лени-

во поднимались в небо, а потом по мере приближения к колонне, казалось, набирали скорость. Христиан никак не мог сообразить, откуда ведется огонь. «Никакого порядка,— с упреком подумал он,— невозможно воевать в таких нелепых условиях». Он стал было слезать с мотоцикла, решив лечь где-нибудь в сторонке и ждать, что будет дальше.

— Оставайся на месте! — крикнул Гарденбург, хотя их разделяло каких-нибудь тридцать сантиметров. «Опять непорядок»,— с обидой подумал Христиан, снова усаживаясь на багажник. Он старался нащупать свой автомат, но никак не мог вспомнить, куда он девался. Из санитарной машины шел едкий запах дезинфицирующих веществ, смешанных с трупным запахом. Христиан закашлялся. Вдруг раздался свист, и совсем близко разорвался снаряд. Христиан пригнулся за металлическим бортом санитарной машины. Он почувствовал легкий удар в спину и, подняв руку, сбросил с плеча горячий измятый осколок. Опуская руку, он обнаружил, что автомат висит у него на плече. Он старался расправить запутавшийся ремень, когда Гарденбург вдруг завел мотоцикл и резко рванул вперед. Христиан еле удержался в седле. Он ударился подбородком о ствол автомата, прикусил язык и ощутил во рту соленый и теплый вкус крови. Он прижался к Гарденбургу, который стремительно вел мотоцикл среди согнутых фигур, среди шума и грохота разрывов. Вдали в сторону дороги изгибались дугой струи трассирующих пуль. Гарденбург вел подпрыгивающую машину прямо под трассами. Вскоре они вышли из полосы, ярко освещенной горящими автомашинами.

— Полный беспорядок,— пробормотал Христиан, вдруг рассердившись на Гарденбурга. Если он едет к англичанам, то пусть едет один, зачем же тащить за собой Христиана? Христиан решил схитрить и свалиться с мотоцикла. Он попытался поднять ногу, но зацепился штаниной за какую-то выступающую деталь и никак не мог освободиться. Вдруг впереди, в стороне от дороги он заметил смутные силуэты танков, развертывающих свои орудия. Из башни одного танка открыл огонь пулемет, и пули пронзительно засвистели за самой спиной.

Христиан пригнулся, плотно прижав голову к плечу лейтенанта. Пряжки кожаного снаряжения Гарденбурга царапали ему лицо. Пулемет снова развернулся, и на этот раз пули стали падать прямо перед ними, гулко ударяясь в песок и поднимая облачка пыли.

Христиан закричал и еще сильнее прижался к лейтенанту. Ему было страшно. Он знал, что ничего не может

сделать для своего спасения; их обязательно убьют, и он, лейтенант, мотоцикл превратятся в сплошную дымящуюся массу, и на песке останется только груды обгорелого тряпья да лужа крови и бензина. Потом кто-то рядом закричал по-английски, отчаянно размахивая руками. Гарденбург, ворча что-то себе под нос, еще ниже склонился над рулем. Вскоре свист пуль прекратился и, неожиданно они оказались одни на бледной полоске дороги, а стрельба замирала далеко позади.

Христиан наконец успокоился. Когда Гарденбург выпрямился, он тоже разогнул спину и даже с некоторым интересом посмотрел на простиравшуюся перед подпрыгивающим мотоциклом открытую дорогу. Он чувствовал неприятный вкус во рту от рвоты и крови, щека ныла, так как под платок набился песок, разъевший ссадины. Он глубоко вздохнул и почувствовал себя гораздо лучше, исчезла даже усталость.

Вспышки и стрельба позади вскоре совсем стихли, и через пять минут, казалось, они остались одни в тихой, залитой лунным светом пустыне, на всем огромном пространстве от Судана до Средиземного моря, от Эль-Аламейна до Триполи.

Христиан нежно обнял Гарденбурга. Он вспомнил, что хотел что-то сказать лейтенанту перед тем, как все это началось, но забыл, что именно. Он снял с лица платок, огляделся вокруг, чувствуя, как ветер осушает уголки его рта. Он был счастлив и в мире со всем миром. Гарденбург странный человек, но Христиан знал, что на него можно положиться, — он благополучно доставит его в безопасное место. Когда и куда именно он его доставит, Христиан не знал, но не было нужды об этом беспокоиться. Как хорошо, что капитан Мюллер, который командовал их ротой, убит. Если бы он был жив, то сейчас на мотоцикле сидели бы Мюллер и Гарденбург, а Христиан остался бы на том холме с тремя дюжинами обреченных на смерть людей...

Он глубоко вдохнул сухой воздух, мчавшийся навстречу. Теперь он был уверен, что будет жить и, возможно, даже довольно долго.

Гарденбург очень хорошо вел мотоцикл, и они проехали уже значительное расстояние, буксуя, подпрыгивая в воздух, но неуклонно двигаясь в северо-западном направлении. Позади небо осветилось розовым светом зари. Пустыня

и дорога оставались безлюдными, кое-где виднелись обломки, все ценное было аккуратно подобрано батальонами сбора имущества. Время от времени сзади все еще доносился отдаленный гул стрельбы, отраженный многоголосым эхом пустыни.

Взошло солнце. Гарденбург теперь, когда рассвело, увеличил скорость, и Христиану пришлось сосредоточить все внимание на том, чтобы не упасть.

— Хочется спать? — громко спросил Гарденбург, обернувшись назад, чтобы Христиан мог услышать его сквозь шум мотора.

— Немного, — признался Христиан, — не очень.

— Разговаривай со мной, а то я чуть было сейчас не уснул.

— Слушаюсь. — Христиан открыл было рот, намереваясь начать разговор, но тут же закрыл его. Он никак не мог придумать, о чем говорить.

— Ну давай, — раздраженно крикнул Гарденбург, — говори!

— Слушаюсь, — повторил Христиан и беспомощно добавил: — А о чем?

— О чем угодно, хоть о погоде.

Христиан поглядел вокруг: погода была такая же, как и все последние шесть месяцев.

— Видимо, будет жаркий день, — проговорил он.

— Громче, — крикнул Гарденбург, смотря прямо перед собой, — я не слышу!

— Я сказал, что, видимо, будет жаркий день! — прокричал Христиан в ухо лейтенанта.

— Вот так, — отозвался Гарденбург, — да, очень жаркий.

Христиан старался найти другую тему.

— Продолжай, — нетерпеливо крикнул Гарденбург.

— О чем еще вы хотели бы поговорить? — спросил Христиан.

Он был как в дурмане и не мог заставить себя сделать такое утомительное умственное усилие.

— Боже мой! Да о чем угодно! Ты был в том греческом борделе, который открыли в Кирене?

— Был.

— Ну и как там?

— Не знаю, я стоял в очереди, и за три человека передо мной его закрыли.

— А кто-нибудь из твоих знакомых попал?

Христиан мучительно думал.

— Да, один раненный в голову ефрейтор

— Ну, и как ему понравилось?

Христиан старался вспомнить.

— Кажется, он сказал, что греческие девушки не очень хороши, в них нет страсти. А потом,— вспоминая, добавил он,— все было слишком по-казенному.

— Твой приятель идиот,— злобно произнес Гарденбург.

— Так точно,— согласился Христиан и замолчал.

— Продолжай.— Гарденбург резко тряхнул головой, как бы стараясь прогнать сон.— Продолжай говорить. Как ты провел свой отпуск в Берлине?

— Я ходил в оперу,— быстро ответил Христиан,— и на концерты.

— Ты тоже идиот.

— Так точно,— ответил Христиан, с опаской думая, что лейтенант начинает заговариваться.

— Встречался с девушками в Берлине?

— Да.— Христиан тщательно обдумывал ответ.— Я познакомился с одной девушкой, которая работала на авиационном заводе.

— Было у тебя с ней что-нибудь?

— Да.

— Ну и как?

— Отлично! — громко ответил Христиан, тревожно всматриваясь через наклоненную голову лейтенанта в простирающуюся впереди пустыню.

— Хорошо,— одобрительно сказал лейтенант,— а как ее звали?

— Маргарита,— ответил Христиан после некоторого колебания.

— Она была замужем?

— Не думаю, она об этом не говорила.

— Шлюхи,— выругался Гарденбург, обращаясь ко всем берлинским девушкам.— Ты был когда-нибудь в Александрии?

— Нет.

— Мне так хотелось туда съездить,— сказал Гарденбург.

— Не думаю, что теперь нам удастся туда попасть.

— Молчать! — заорал Гарденбург. Мотоцикл резко рвануло в сторону, но он успел его выправить.— Мы попадем туда! Слышишь? Я сказал, что мы будем там! И очень скоро! Ты слышишь меня?

— Слышу,— крикнул Христиан навстречу ветру, через голову лейтенанта.

Лейтенант повернулся на своем сиденье. Лицо его

искажилось, глаза мрачно блестели из-под черных от пыли век, рот был открыт, и зубы казались ослепительно белыми на фоне почерневших губ.

— Я приказываю тебе замолчать! — бешено заорал он, словно обучал на плацу при сильном ветре целую роту новобранцев. — Заткни свою глотку, или я...

В этот момент руль резко рванулся в сторону, переднее колесо занесло поперек дороги, и лейтенант выпустил рукоятки. Христиан понял, что падает, и полетел вперед, увлекая за собой лейтенанта. Гарденбург ударился о вздыбившееся переднее колесо, мотоцикл юзом пошел в сторону, продолжая громко тарыхтеть, и опрокинулся. Христиан почувствовал, что летит, и закричал, но какой-то внутренний голос спокойно говорил ему: «Это уж слишком». Потом он обо что-то ударился и почувствовал боль в плече, но все же приподнялся на одно колено.

Лейтенант лежал под мотоциклом, переднее колесо которого продолжало крутиться, а заднее было совершенно искорверкано. Он лежал неподвижно, из рассеченного лба струилась кровь, нелепо согнутые ноги были прижаты машиной. Христиан медленно подошел к нему и потряс его, но это не помогло. Тогда он с трудом поднял мотоцикл и перевернул его на другую сторону. Отдохнув немного, он достал индивидуальный пакет и неумело наложил повязку на лоб лейтенанта. Вначале казалось, что повязка сделана очень аккуратно, но вскоре через нее просочилась кровь, и она выглядела теперь так же, как все другие повязки, которые ему приходилось видеть.

Вдруг лейтенант сел, одним взглядом окинул машину и твердо произнес:

— Теперь пойдем пешком. — Но когда он попытался встать, у него ничего не вышло. Он задумчиво посмотрел на свои ноги. — Ничего серьезного, — сказал он, словно стараясь убедить себя, — уверяю тебя, ничего серьезного. А у тебя все в порядке?

— Да, господин лейтенант.

— Пожалуй, я отдохну минут десять, а там посмотрим. — Он лег на спину, прижав руками ко лбу пропитанную кровью повязку.

Христиан присел около него. Он наблюдал, как все еще вертящееся переднее колесо медленно останавливалось; оно негромко гудело, с каждым оборотом все тише и тише. Потом остановилось, и наступила тишина. Молчал мотоцикл, молчал лейтенант, молчала пустыня, молчали армии, перепутавшиеся друг с другом где-то позади.

В лучах утреннего солнца пустыня казалась свежей и спокойной. Даже обломки мотоцикла при этом свете выглядели просто и безобидно. Христиан медленно откупорил флягу, отпил глоток воды, тщательно прополоскал рот и только тогда проглотил ее с громким, деревянным звуком. Гарденбург приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть, что он делает.

— Береги воду,— машинально приказал он.

— Слушаюсь,— ответил Христиан, подумав с восхищением: «Этот человек будет приказывать самому дьяволу, когда тот станет совать его в адскую печь. Гарденбург — это триумф немецкой военной школы. Приказы бьют из него струей, словно кровь из артерии. Даже на смертном одре он будет излагать свои планы на очередной бой».

Наконец Гарденбург со вздохом уселся. Ощупав промокшую повязку, он спросил:

— Это ты меня перевязал?

— Я.

— Она свалится при первом движении,— сказал Гарденбург холодно и беззлобно, как беспристрастный критик.— Кто тебя учил накладывать повязки?

— Виноват,— смутился Христиан,— должно быть, мне же было не по себе после этой встряски.

— Вероятно,— согласился Гарденбург.— И все же глупо зря тратить бинт.— Он расстегнул китель и достал клеенчатый планшет с аккуратно сложенной картой местности. Разложив карту на песке, он сказал: — Сейчас посмотрим, где мы находимся.

«Удивительно,— подумал Христиан,— он всегда готов к любым неожиданностям».

Изучая карту, Гарденбург время от времени зажмуривал глаза, а когда касался рукой повязки, лицо его искажалось от боли. Однако он торопливо что-то прикидывал, бормоча себе под нос. Затем свернул карту, быстро сунул ее в планшет и тщательно запрятал его под китель.

— Очень хорошо,— проговорил он,— эта дорога соединяется с другой, ведущей на запад, километрах в восьми отсюда. Ну как, сможешь столько пройти?

— Смогу, а как вы?

Гарденбург презрительно посмотрел на него.

— Обо мне не беспокойся. Встать! — рявкнул он так, словно опять обращался к все той же воображаемой роте.

Христиан медленно поднялся. Ныло плечо, и он с трудом мог двигать рукой, но он был уверен, что если не все, то несколько километров из восьми он сможет пройти. Он

видел, как Гарденбург с невероятным усилием поднимался с песка; на лице его выступил пот, через повязку на лбу снова просочилась кровь, но когда Христиан наклонился, чтобы помочь ему, Гарденбург сурово посмотрел на него и рывкнул:

— Уходи прочь!

Христиан отступил назад и молча стал наблюдать, как Гарденбург изо всех сил старается подняться; он уперся ногами в песок, как будто приготовился принять удар нападающего на него гиганта, затем, опираясь на правый локоть, он с невероятным усилием немного оттолкнулся от земли. Медленно, с искаженным от боли мертвенно-бледным лицом он поднялся и встал полусогнувшись, а затем рывком выпрямился. Он стоял, покачиваясь, но совсем прямо. Пот и кровь, смешавшись с грязью, покрывали его лицо страшной, плотной маской. «Плачет»,— с удивлением заметил Христиан. Слезы оставляли глубокие борозды на его грязных щеках. Он тяжело дышал, из его горла порой вырывались сухие сдерживаемые всхлипывания, но зубы были плотно стиснуты. Смешным, неловким движением он повернулся к северу.

— Все в порядке,— сказал он,— шагом марш! — И зашагал впереди Христиана по глубокому песку, прихрамывая и чудно склонив голову набок.

Он упорно шел вперед, не оглядываясь. Христиан следовал за ним. Ему страшно хотелось пить, болтавшийся за плечом автомат казался невероятно тяжелым, но он решил не пить и не просить отдыха, пока Гарденбург сам не предложит.

Они медленно шли по песку, еле переставляя ноги, среди ржавеющих обломков по направлению к дороге, ведущей на север, где, быть может, другие немцы пробиваются к своим после боя. А возможно, их ждут там англичане.

Об англичанах Христиан думал спокойно и бесстрашно. Они не представляли для него реальной угрозы. Единственными реальными вещами сейчас были лишь медный вкус во рту, словно от прокисшего сула, Гарденбург, плетущийся впереди, как подбитый зверь, и жестокое палящее солнце, поднимающееся все выше и выше. Если на дороге их ждут англичане, то решение будет принято в свое время, а сейчас ему не до этого.

Когда они во второй раз присели отдохнуть, измученные, изнуренные палящим зноем, с воспаленными глазами, на горизонте вдруг показалась машина. Она быстро приближалась, оставляя за собой клубы пыли. Вскоре они

различили нарядную открытую штабную машину, а затем уви дели, что она была итальянской.

Гарденбург с огромным усилием поднялся и, хромая, медленно вышел на середину дороги. Тяжело дыша, он стал спокойно всматриваться в приближающуюся машину. Он выглядел дико и угрожающе с окровавленной повязкой на лбу, с воспаленными, запавшими глазами и испачканными кровью полусогнутыми руками.

Христиан тоже встал, но за Гарденбургом не пошел.

Машина быстро приближалась, подавая громкие сигналы, которые замирали где-то в пустыне, отдаваясь тревожным эхом. Гарденбург не пошевелился. В открытой машине было пять человек. Гарденбург стоял неподвижно, хладнокровно наблюдая за ними. Христиан был уверен, что машина собьет лейтенанта, и только открыл было рот, чтобы предупредить его, как раздался скрип тормозов и длинная красивая машина остановилась в двух шагах от лейтенанта.

Впереди сидели два итальянских солдата, один за рулем, другой сгорбился рядом. Позади разместились три офицера. Все они поднялись и злобно закричали по-итальянски на Гарденбурга.

Гарденбург по-прежнему не трогался с места.

— Я желаю разговаривать со старшим из офицеров,— сказал он по-немецки, сохраняя полнейшее хладнокровие.

Они поговорили между собой по-итальянски, затем смуглый тучный майор на ломаном немецком языке сказал:

— Я старший. Если хотите что-нибудь сказать, подойдите сюда и говорите.

— Будьте любезны сойти сюда,— сказал Гарденбург, неподвижно застыв перед машиной.

Итальянцы снова затараторили между собой, потом майор открыл заднюю дверцу и прыгнул; толстый, в измятом, некогда нарядном мундире, он воинственно направился к Гарденбургу. Тот с важным видом отдал честь. Приветственный жест со стороны такого пугала выглядел театрально в залитой ослепительным светом пустыне. Щелкнув в песке каблуками, майор в свою очередь отдал честь.

— Лейтенант,— с раздражением заговорил майор, взглянув на нашивки Гарденбурга,— мы очень торопимся, что вам нужно?

— Я имею приказание,— холодно заявил Гарденбург,— реквизировать транспорт для генерала Айгнера.

Майор с досадой открыл рот, но тут же закрыл его. Он поспешно огляделся вокруг, словно ожидая, что генерал Айгнер внезапно появится из безлюдной пустыни.

— Глупости,— наконец проговорил майор,— по этой дороге идет новозеландский патруль, и мы не можем задерживаться...

— Я имею особое распоряжение, майор,— нараспев проговорил Гарденбург,— и о новозеландском патруле ничего не знаю.

— Где генерал Айгнер? — майор снова неуверенно огляделся вокруг.

— В пяти километрах отсюда,— ответил Гарденбург,— с его бронемашины слетела гусеница, и я имею особое распоряжение...

— Я уже слышал об этом! — воскликнул майор.— Я уже слышал об этом особом распоряжении.

— Будьте настолько любезны,— сказал Гарденбург,— прикажите другим господам выйти из машины. Водитель может остаться.

— Уйдите с дороги,— закричал майор и направился к машине,— я достаточно наслушался этой чепухи.

— Майор,— спокойно и вежливо сказал Гарденбург. Майор остановился и повернулся к нему; на лице его выступил пот. Остальные итальянцы беспокойно смотрели на него: они ни слова не понимали по-немецки.

— Об этом не может быть и речи,— проговорил майор дрожащим от волнения голосом,— это совершенно исключается, машина принадлежит итальянской армии, и мы выполняем задание...

— Я очень сожалею, господин майор,— сказал Гарденбург,— но генерал Айгнер старше вас чином, и это территория немецкой армии. Будьте любезны сдать машину.

— Что за нелепость! — воскликнул майор, но уже неуверенно.

— Имейте в виду,— продолжал Гарденбург,— что впереди заградительный пункт, который имеет распоряжение конфисковывать весь итальянский транспорт и, если нужно, силой. Вам придется там объяснить, что делают три строевых офицера в такой момент так далеко от своих частей. Вам также придется объяснить, почему вы взяли на себя смелость игнорировать особое распоряжение генерала Айгнера, командующего всеми войсками в этом районе.

Он холодно уставился на майора. Тот поднял руку и взялся за горло. На лице Гарденбурга не дрогнул ни один мускул. Оно по-прежнему выражало усталость, презрение и скуку. Повернувшись спиной к майору, он направился к машине. Каким-то чудом ему удалось пройти эти несколько шагов не хромяя.

— Fugì! — приказал он по-итальянски, открывая переднюю дверцу.— Выходите, водитель останется.— Сидевший рядом с водителем солдат умоляюще поглядел на офицеров, но они, избегая его взгляда, с тревогой смотрели на майора, следовавшего за Гарденбургом.

Гарденбург похлопал по руке солдата, сидевшего рядом с шофером.

— Fugì,— спокойно повторил он.

Солдат вытер лицо и, глядя под ноги, вышел из машины, с несчастным видом встав около майора. Они были удивительно одинаковые, эти два итальянца, кроткие, смуглые, встревоженные, красивые и совсем непохожие на военных.

— Теперь,— Гарденбург недвусмысленным жестом пригласил двух других офицеров,— вы, господа...

Оба офицера взглянули на майора, один из них быстро заговорил по-итальянски. Майор вздохнул и ответил тремя словами. Офицеры вышли из машины и встали рядом с майором.

— Унтер-офицер,— позвал Гарденбург, не оборачиваясь.

Христиан подошел и встал по стойке смирно.

— Освободите багажник машины,— приказал Гарденбург,— отдайте этим господам все их личное имущество.

Христиан заглянул в багажник: там были жестяные банки с водой, три бутылки кианти и две коробки с продовольствием. Методично, одну за другой, он достал бутылки и коробки и поставил их к ногам майора на обочину дороги. Все три офицера мрачно смотрели, как выгружают их вещи на песок пустыни.

Христиан нерешительно дотронулся до жестянок с водой и спросил:

— Воду тоже, лейтенант?

— Воду тоже,— не колеблясь ответил Гарденбург.

Христиан поставил жестянки с водой около коробок с продовольствием.

Гарденбург подошел к задней части машины, где были привьючены скатанные в рулоны постельные принадлежности, достал нож и тремя быстрыми взмахами перерезал кожаные ремни. Брезентовые рулоны развернулись и упали в пыль. Один из офицеров с раздражением заговорил по-итальянски, но майор резким движением руки заставил его замолчать. Вытянувшись перед Гарденбургом, майор сказал по-немецки:

¹ Быстрее (*Итал.*).

— Я требую расписку на машину.

— Вполне законно,— серьезно ответил Гарденбург. Он достал карту, оторвал от угла небольшой прямоугольный кусочек и начал медленно писать на обороте.

— Так вас устроит? — спросил он и не спеша, отчетливо прочитал вслух: «Получена от майора такого-то»... я оставляю пустое место, майор, вы его заполните на досуге... «одна штабная машина «фиат» с водителем. Реквизирована по приказу генерала Айгнера. Подпись: лейтенант Зигфрид Гарденбург».

Майор выхватил бумагу и внимательно прочел ее. Затем, размахивая ею, громко заявил:

— Я предьявлю ее в должном месте и в должное время.

— Пожалуйста,— согласился Гарденбург и уселся на заднее сиденье.— Унтер-офицер, садитесь сюда,— приказал он.

Христиан сел в машину рядом с лейтенантом. Сиденье было обито красивой рыжевато-коричневой кожей; в машине пахло вином и туалетной водой. Христиан бесстрастно смотрел вперед на загорелую бронзовую шею водителя. Гарденбург перегнулся через Христиана и захлопнул дверцу.

— *Avanti*¹,— спокойно сказал он водителю.

Спина водителя на мгновение напряглась, и Христиан заметил, как по его голой шее разлилась краска. Водитель осторожно включил скорость. Гарденбург отдал честь, все три офицера один за другим ответили на приветствие, а солдат, казалось, был настолько ошеломлен, что не мог даже поднять руку.

Машина плавно двинулась вперед, и над небольшой кучкой людей, оставшихся на обочине дороги, взвилась пыль. Христиана так и подмывало обернуться, но Гарденбург резко сжал его руку.

— Не смотри! — бросил он.

Христиан старался расслабить свои напряженные мышцы. Он ждал выстрелов, но их не последовало. Он взглянул на Гарденбурга. На лице лейтенанта играла легкая, холодная улыбка. «Он наслаждается всем этим,— с удивлением подумал Христиан.— Несмотря на все свои раны, на брошенную роту, не зная, что его ждет впереди, он наслаждается этим моментом, смакует его, испытывает истинное удовольствие». Христиан тоже улыбнулся, глубже опускаясь в мягкое кожаное сиденье и с наслаждением распрямляя уставшие члены.

¹ Вперед (*итал.*).

— А что, если бы они отказались отдать машину? — спустя некоторое время спросил он.

Гарденбург улыбнулся, полузакрыв веки от чувственного удовольствия.

— Они убили бы меня, вот и все.

Христиан серьезно кивнул головой.

— А воду,— спросил он,— зачем вы оставили им воду?

— О! Это было бы слишком,— ответил он, посмеиваясь и удобнее усаживаясь на роскошном кожаном сиденье.

— Как вы думаете, что с ними будет? — спросил Христиан.

Гарденбург небрежно пожал плечами.

— Они садутся в плен и пойдут в английскую тюрьму. Итальянцы любят сидеть в тюрьме. Ну, а теперь помолчи, я хочу спать.

Через несколько минут его дыхание стало ровным, а окровавленное, грязное лицо приняло спокойное и почти детское выражение — он спал. Христиан бодрствовал. «Кто-то,— думал он,— должен наблюдать за пустыней и за водителем». Водитель сидел впереди в напряженной позе, быстро ведя по дороге мощную машину.

Над городком Мерса-Матрух только что пронеслось дыхание смерти. Они пытались найти кого-нибудь, чтобы доложить о себе, но в городе царил хаос. Среди руин двигались машины, брели отставшие от частей солдаты, стояли подбитые танки. Вскоре после их прибытия налетела эскадрилья самолетов, которая бомбила город в течение двадцати минут. Разрушений стало еще больше. Из-под обломков разбитого санитарного поезда доносились дикие крики людей. Казалось, все стремились только на запад; поэтому Гарденбург приказал водителю влиться в длинный медленнодвигающийся поток машин, и они направились к окраине города. Там находился контрольный пункт, у которого стоял изможденный капитан с приколотым на доску листом бумаги.

Капитан спрашивал у проходивших мимо него потоком запыленных и изнуренных людей фамилии и наименование частей и записывал их. Он походил на помешанного бухгалтера, пытающегося подвести баланс банка, разрушенного землетрясением. Капитан не знал, где находится штаб их дивизии и существует ли он еще. Деревянным мертвым голосом он повторял, с трудом шевеля покрытыми коркой губами:

— Проходите, проходите. Черт знает что. Проходите. Увидев, что у них водитель итальянец, он приказал:

— Оставьте его здесь, со мной, мы используем его для обороны города. Я дам вам водителя немца.

Гарденбург мягко заговорил с итальянцем. Тот заплакал, но все-таки вышел из машины и направился к капитану, небрежно волоча по пыли винтовку, ухватив ее за ствол у самого дула. В его руках винтовка казалась безобидной и мирной. Он безнадежным взглядом провожал катившиеся мимо орудия и машины, полные солдат.

— С таким войском нам ни за что не удержать Матрух,— мрачно проговорил Гарденбург.

— Конечно,— согласился капитан,— конечно, нет. Черт знает что.— И, всматриваясь сквозь пыль в гроыхавшие мимо него два противотанковые орудия и бронемашину, поднявшие новые облака пыли, он стал записывать номера их частей.

Капитан посадил к ним водителя танка, потерявшего свой танк, и пилота мессершмитта, сбитого над городом, и посоветовал как можно быстрее добраться до Эс-Саллума: там, в далеком тылу, обстановка, вероятно, не такая тяжелая.

Водитель танка был рослый белокурый деревенский парень; он уверенно взял за руль и повел машину. Он напомнил Христиану ефрейтора Крауса с окрашенными вишневым соком губами, давно уже погибшего под Парижем. Пилот был молодой, но лысый, с серым морщинистым лицом; у него нервно дергалась щека, и рот не менее двадцати раз в минуту скашивался вправо.

— Еще сегодня утром,— повторял он,— у меня этого не было, а теперь становится все хуже и хуже. Это очень противно?

— Нет,— ответил Христиан,— почти ничего не заметно.

— Меня ведь сбил американец,— с удивлением заметил он,— первый американец, которого я увидел в жизни.— Он покачал головой, как будто это была самая крупная неудача немецкого оружия за всю африканскую кампанию.— Я даже не знал, что они здесь.

Белокурый парень был хорошим водителем, он умело маневрировал по забитой машинами дороге, ловко объезжая воронки от бомб и ямы. Дорога шла вдоль берега Средиземного моря, спокойного и прохладного, простирающего свои сверкающие голубые воды до Греции, Италии, Европы...

Это произошло на следующий день.

Они все еще ехали на своей машине. Пополнив запас горючего из разбитого грузовика, стоявшего у дороги, они продолжали свой путь в длинной, медленно двигающейся колонне, которая то останавливалась, то снова шла по извилистой, разбитой дороге, поднимающейся от маленького разрушенного городка Эс-Саллум к Киренаикской возвышенности. А там внизу, белели остатки полуразрушенных стен, живописно разбросанные по берегу бухты, напоминавшей своей формой замочную скважину. Вода в бухте была ярко-зеленой, а там, где она вдавалась в обожженную землю, — чисто-голубой. В воде покоились затонувшие суда, сохранившиеся, казалось, со времен войн глубокой древности; их контуры мягко и спокойно колыхались на легкой зыби.

Лицо пилота дергалось теперь еще сильнее, и он все просил, чтобы ему дали посмотреть в зеркало водителя. Бедняга старался поймать момент, когда начинается тик, и как-то остановить его, чтобы посмотреть, как это выглядит, но это ему никак не удавалось. В течение всей прошлой ночи он каждый раз, засыпая, мучительно вскрикивал, и Гарденбурга это порядком раздражало.

Внизу, казалось, восстанавливался порядок. Вокруг города стояли зенитные орудия, можно было видеть, как на его восточной окраине окапываются два батальона пехоты, а вдоль берега расхаживал взад и вперед генерал и, размахивая руками, отдавал распоряжения.

Из растянувшейся, насколько мог видеть глаз, колонны были выведены и сосредоточены в резерве позади пехоты несколько танковых подразделений; с высоты было видно, как маленькие фигурки заливают в танки горючее и подают боеприпасы в башни.

Гарденбург, стоя в машине, внимательно наблюдал за всем происходящим; в это утро ему даже удалось побриться, хотя его сильно лихорадило. Губы его потрескались и покрылись болячками, на лбу была чистая повязка, но он опять выглядел как солдат.

— Вот здесь мы их и остановим, — заявил он, — дальше им не пройти.

В это время со стороны моря показались самолеты, гул их моторов заглушал рокот танков, поднимавшихся вверх по дороге. Они шли на небольшой высоте, правильным клином, словно выполняя фигурный полет на параде. Казалось, они шли очень медленно и были легко уязвимы, но почему-то никто по ним не стрелял. Христиан видел, как, описывая в воздухе кривые, начали падать бомбы. Потом

раздался взрыв на склоне горы. Шедшая наверху по дороге грузовая машина медленно опрокинулась и, грузно кувыркаясь, полетела вниз со стометрового обрыва. Из машины вылетел ботинок, описав длинную дугу, как будто был выброшен человеком, который решил спасти от катастрофы первую попавшуюся ему под руку вещь.

Следующая бомба разорвалась совсем рядом. Христиан почувствовал, что какая-то сила поднимает его в воздух, и успел еще подумать: «Это несправедливо, после того, как я ушел так далеко и пережил такие трудности! Нет, это очень несправедливо». Он знал, что его ранило, хотя и не ощущал боли, и подумал, что умирает. Так легко и приятно было погружаться без всякой боли в крутящийся разноцветный хаос. Потом он потерял сознание.

Через некоторое время он открыл глаза. Что-то тяжелое давило его, он попытался освободиться, но безуспешно; в воздухе чувствовался едкий запах кордита, медный запах обгорелых камней, знакомый запах горящих машин: резины, кожи и паленой краски. Потом он увидел китель и повязку и понял, что это, должно быть, лейтенант Гарденбург. Лейтенант тихо повторял: «Доставьте меня к врачу». Но только голос, нашивки и повязка говорили о том, что это лейтенант Гарденбург, потому что вместо лица у него была лишь красно-белая бесформенная масса, а спокойный голос раздавался откуда-то из глубины, сквозь красные пузыри и белые волокна: это было все, что осталось от лица лейтенанта Гарденбурга. Как сквозь сон, Христиан старался вспомнить, где он видел что-то похожее, но ему было трудно думать, потому что он снова начал впадать в беспамятство. Но он все-таки вспомнил — это было похоже на гранат, грубо и неаккуратно разрезанный, испещренный белыми жилками, с красным соком, вытекающим из блестящих, спелых шариков на ослепительно белую тарелку. Он вдруг почувствовал сильную боль и долго не мог ни о чем больше думать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Они уверяют,— говорил голос из-под бинтов,— что за два года могут сделать мне лицо. Я не строю иллюзий и знаю, что не буду выглядеть как киноактер, но уверен, что лицо будет сносное.

Христиану приходилось видеть такие сносные лица, заштопанные хирургами на изуродованных черепах людей,

доставленных к ним на стол. Поэтому он не разделял уверенности Гарденбурга, но все же поспешил ответить:

— Конечно, господин лейтенант.

— Уже почти точно можно сказать,— продолжал голос,— что через месяц я буду видеть правым глазом; одно это — уже победа, даже если большего сделать не удастся.

— Конечно,— согласился Христиан. Разговор шел в затемненной комнате виллы, расположенной на прекрасном, залитом зимним солнцем острове Капри в Неаполитанском заливе. Христиан сидел между койками, вытянув перед собой забинтованную, негнущуюся ногу, едва касаясь ею мраморного пола и прислонив костыли к стене.

Другую койку занимал обгоревший танкист. Он был в очень тяжелом состоянии и лежал неподвижно, весь забинтованный, наполняя прохладную комнату с высоким потолком запахом гниющего живого тела, который был хуже трупного запаха. Впрочем, Гарденбург не чувствовал зловония, потому что ему нечем было чувствовать. Расчетливая сестра, воспользовавшись этим счастливым случаем, поместила их рядом: в госпитале, бывшем некогда летней резиденцией преуспевающего лионского фабриканта шелковых изделий, с каждым днем становилось все теснее от непрерывно поступающих с африканского фронта интелесных в хирургическом отношении объектов.

Христиан лежал в более крупном госпитале для солдат внизу, под горой. Неделю назад ему дали костыли, и теперь он чувствовал себя свободным человеком.

— Очень хорошо с твоей стороны, Дистль,— сказал Гарденбург,— что ты пришел навестить меня. Стоит заболеть, как люди начинают относиться к тебе как к восьмилетнему мальчишке или как к слабоумному.

— Я очень хотел видеть вас,— сказал Христиан,— и лично поблагодарить за все, что вы для меня сделали. Поэтому, когда я услышал, что вы тоже на острове, я...

— Глупости! — Удивительно, что голос Гарденбурга звучал все так же отрывисто, резко, сердито, хотя все прикрывавшая его внешняя оболочка теперь отсутствовала.— Благодарить меня не за что, я спас тебя отнюдь не из любви, уверяю тебя.

— Так точно.

— На мотоцикле было два места, и можно было спасти только две жизни, которые когда-нибудь в другом месте могут оказаться полезными. Если бы нашелся другой, кого я счел бы более ценным для будущих боев, я оставил бы тебя там.

— Понимаю,— сказал Христиан, глядя на гладкие, белые, аккуратно наложенные вокруг головы бинты, совсем не похожие на те, пропитанные кровью, которые он видел последний раз на холме за Эс-Саллумом, когда вдали замирал гул английских самолетов.

Вошла сестра; это была женщина лет сорока с полным, добрым, материнским лицом.

— Достаточно,— сказала она. Тон у нее был совсем не материнский, а скучающий и деловой.— На сегодня визит окончен.

Она встала у двери в ожидании, пока уйдет Христиан. Он медленно поднялся, взял костыли и пошел, гулко стуча по мраморному полу.

— Я, по крайней мере, буду ходить на своих двух ногах,— произнес Гарденбург.

— Да, господин лейтенант,— сказал Христиан.— Я опять приду навестить вас, если разрешите.

— Если хочешь — пожалуйста,— ответил голос из-под бинтов.

— Сюда, унтер-офицер,— показала сестра.

Христиан неуверенно заковылял к выходу: он совсем недавно научился ходить на костылях. Как приятно было очутиться в коридоре, куда не доносился запах от обгоревшего танкиста.

— Не думаю, что ее очень смутит перемена в моей внешности,— глухо доносился голос Гарденбурга через плотную белоснежную повязку. Он говорил о своей жене.— Я написал ей, что получил ранение в лицо, а она ответила, что гордится мной и что это ничего не изменит.

«Нечего сказать — перемена внешности! У него вообще нет лица»,— подумал Христиан, но ничего не сказал. Он сидел между двух коек, вытянув ногу. Костыли стояли на своем обычном месте у стены.

Теперь он навещал Гарденбурга почти ежедневно. Лейтенант часами говорил через белую тьму бинтов, а Христиан слушал, время от времени бросая односложные «да» и «нет». Обгоревший распространял все тот же нестерпимый запах, но после первых неприятных минут Христиан постепенно свикался, а потом даже вовсе забывал о нем. Изолированный от внешнего мира своей слепотой, Гарденбург спокойно, как бы размышляя вслух, рассказывал часами без перерыва, медленно разматывая нить своей

жизни, как будто сейчас, в эти дни вынужденной праздности, он проверял себя, взвешивал свои поступки, анализировал свои прошлые победы и ошибки, строил планы на будущее. Его речи все сильнее зачаровывали Христиана, и он по полдня проводил в этой зловонной комнате, следя, как перед ним постепенно раскрывается жизнь, которая все больше казалась ему связанной с его собственной жизнью. Госпитальная палата стала одновременно лекционным залом и исповедальной. Здесь Христиану становились ясными собственные ошибки, здесь кристаллизовались, выливались в определенную форму и становились понятными его смутные надежды и стремления. Война казалась далеким сном, где-то на других континентах сражались фантастические тени, сквозь шум отдаленной бури доносились приглушенные звуки труб, и только комната, где лежали два забинтованных, смердящих тела, выходящая окнами на солнечную голубую гавань, была реальной, настоящей, значительной.

— Гретхен будет очень нужна мне после войны,— говорил Гарденбург.— Гретхен — это имя моей жены.

— Да, я знаю,— сказал Христиан.

— Откуда ты знаешь? Ах, да! Я же отправлял ей с тобой посылку.

— Так точно.

— А ведь она хорошенькая, Гретхен, не правда ли?

— Да.

— Это очень важно,— продолжал Гарденбург.— Ты бы поразился, если бы знал, сколько карьер испорчено в армии некрасивыми, неряшливыми женами. Она к тому же и очень способная, у нее есть особое умение обращаться с людьми...

— Да,— подтвердил Христиан.

— Тебе пришлось поговорить с ней?

— Минут десять, она расспрашивала меня о вас.

— Она очень предана мне.

— Так точно.

— Я думаю встретиться с ней через восемнадцать месяцев, к тому времени мое лицо будет выглядеть достаточно прилично. Я не хочу волновать ее без надобности. Замечательная жена. В любом обществе она чувствует себя свободно, непринужденно, всегда умеет сказать то, что нужно.

— Так точно.

— По правде говоря, я не любил ее, когда женился. Я был очень привязан к другой женщине, старше ее. Она была разведенная и имела двоих детей. Я чуть было не женился на ней, но это погубило бы меня. Ее отец был

рабочим на металлургическом заводе, а она была расположена к полноте и через десять лет стала бы чудовищно толстой. Мне пришлось постоянно напоминать себе, что через десять лет я собираюсь принимать в своем доме министров и генералов и что моя жена должна быть настоящей хозяйкой, а та женщина была немного вульгарна, а дети — просто невозможные. Но даже сейчас, когда я думаю о ней, я чувствую, что слабею и куда-то проваливаюсь. Приходилось тебе испытывать что-нибудь подобное?

— Приходилось.

— Эта страсть погубила бы меня,— произнес голос из-под бинтов.— Женщина — это самая обычная ловушка. Мужчина должен сохранять благоразумие в таких делах, как и во всяких других. Презираю мужчин, которые жертвуют собой ради женщины, это самое отвратительное потворство своим слабостям. Будь моя воля, я сжег бы все романы, все, вместе с «Капиталом» и поэмами Гейне.

В другой раз, в ненастный день, когда серый залив за окном был скрыт завесой зимнего дождя, Гарденбург говорил:

— Когда окончится эта война, мы должны сразу же начать другую, против японцев. Своих союзников надо покорять. Правда, об этом ничего не сказано в «Mein Kampf», но, вероятно, у автора были на то особые соображения. А потом нужно будет дать возможность какой-нибудь стране стать сильной, с тем чтобы мы всегда имели перед собой достойного противника. Чтобы стать великой, нация должна быть всегда напряжена до предела. Великая нация всегда находится на краю гибели и всегда стремится к нападению. Когда она теряет свой наступательный дух, история начинает выбивать ее имя на надгробном камне. Римская империя навсегда останется классическим примером для любого разумного народа. Когда народ вместо того, чтобы задать себе вопрос: «Кому теперь нанести удар?» спрашивает: «Кто нанесет следующий удар мне?», он уже находится на пути в мусорный ящик истории. Словом «оборона» трус заменяет слово «поражение». Не может быть успешной обороны. Наша так называемая цивилизация, которая зиждется на лени и страхе перед смертью,— великое зло. Взять, например, Англию. В мирное время нельзя по-настоящему воспользоваться плодами войны: вкусить их можно только в следующей войне, иначе вы теряете все. Когда англичане, оглядевшись вокруг, сказали:

«Посмотрите, что мы завоевали, давайте теперь крепко держаться за это», империя уже начала просачиваться сквозь их пальцы. Надо оставаться варварами, потому что только варвары всегда одерживают победы.

У нас, немцев, самые большие возможности, мы полагаем отборными, смелыми и знающими людьми, у нас многочисленное и энергичное население. Правда, другие нации, например американцы, имеют не меньше смелых и знающих людей и не менее энергичное население, но в одном отношении мы счастливее их и поэтому должны победить. Мы послушны, а они нет, и, вероятно, никогда не будут. Мы делаем то, что нам приказывают, и становимся таким образом орудием в руках наших вождей, которое может быть использовано для решительных действий. Американцы могут быть превращены в орудие на год, на пять лет, а потом они не выдержат.

Голос его лился, как голос ученого, с упоением читающего в университетской библиотеке отрывки из любимой книги, известной ему почти наизусть. Дождь струями бил в окно, застилая вид на гавань. На соседней койке, вдыхая свой ужасный запах, без движения лежал обгоревший, далекий от того, чтобы слушать, интересоваться и запоминать что бы то ни было.

— В некотором отношении, — говорил Гарденбург, — мое ранение — счастливый случай. — Это было в другой день, тихий и сказочный. Солнце еще высоко стояло в небе, а вода, воздух и горы за окном казались прозрачными и светились голубым светом. — В армии мне не очень везло, а это ранение означает, что я не буду больше с ней связан. В армии я все время был как-то не на месте. Ты знаешь, что меня только один раз повысили в чине, а моих товарищей по школе повышали уже по пять раз. Жаловаться бесполезно — дело здесь не в том, что выдвигают любимчиков или, наоборот, учитывают заслуги. Все зависит от того, где тебе случится быть в тот или иной момент: в штабе ли, когда твой генерал получит выгодное назначение, или на передовой, когда атакует противник; от того, как составлены донесения в такое-то утро и кто их будет читать, и какое у него будет настроение в это время... Что ж, совершенно ясно, что в этом отношении мне не везло. Теперь меня в войска больше не пошлют. Если солдатами будет командовать офицер с изуродованным лицом, это только подорвет их боевой дух. Вполне логично: ведь не поведешь же ты перед атакой роту через военное кладбище, если можешь его обойти. Это простое благоразумие.

И все же израненное лицо будет потом представлять ценность. Я намерен заняться политикой. Раньше я думал заняться этим по окончании службы в армии, а теперь, значит, сберегу лет двадцать. Когда окончится война, руководящие посты будут открыты только для тех, кто сможет доказать, что хорошо служил отечеству на поле боя. Мне не нужно будет носить ордена на отвороте пиджака, мое лицо будет моим орденом. Мое лицо будет внушать жалость, уважение, благодарность, страх. Когда окончится война, нам придется управлять миром, и партия найдет мое лицо вполне достойным символизировать ее боевой дух и представлять ее в других странах.

Мысль о лице меня не тревожит. Когда с меня снимут повязки, я встану и посмотрю на себя в зеркало; я хорошо знаю, что у меня будет ужасное лицо, однако ужас должен действовать на солдата не сильнее, чем вид молотка на плотника. Глупо притворяться, будто ужас не такое же орудие для солдата, как молоток для плотника. Сеять смерть и грозить смертью — наша профессия, и мы должны принимать смерть спокойно и правильно использовать это орудие. Нашей стране нужна опустошенная Европа. Это математическая задача, и знаком равенства в ней является кровопролитие. Если мы хотим получить верный ответ, то не должны отступать от правил математики, при помощи которых решается уравнение.

Куда бы мы ни направлялись, все должны знать, что мы не остановимся перед убийством. В этом самый верный ключ к господству. В конце концов я полюбил убийство, как пианист начинает любить этюды Черни¹, придающие его пальцам гибкость, необходимую для исполнения Бетховена. Стремление убивать — самое ценное качество военного человека, и когда офицер теряет его, он должен просить, чтобы его уволили из армии, и пусть себе занимается бухгалтерией.

Я читал некоторые твои письма к друзьям домой, и они меня возмутили. Ты, конечно, намного старше меня, и на тебя очень сильно повлияла вся эта чушь, которую проповедовали в Европе. Я видел, что твои письма полны рассуждений о великих днях мира и процветания, которые наступят во всем мире после войны. Все это очень хорошо для женщин и политиков, но солдату следует знать больше. Ему незачем стремиться к миру, потому что мир для сол-

¹ Черни Карел (1791—1857) — выдающийся чешский пианист-педагог. Автор многочисленных сборников этюдов и упражнений. — *Прим. ред.*

дата — это рынок дешевой рабочей силы, и он должен знать, что процветание может быть только односторонним. Мы можем процветать только тогда, когда вся Европа будет нищей, и солдат должен приветствовать такую концепцию. Разве я хочу, чтобы процветал неграмотный поляк, который, напившись картофельной самогонки, валяется в грязи в своей деревне? Разве я хочу, чтобы вонючий пастух в Доломитах был богатым? Разве я хочу, чтобы толстый грек-педераст изучал право в Гейдельберге? Зачем мне это нужно? Мне нужны слуги, а не конкуренты. А если я не могу сделать их слугами, то пусть они будут трупами. Мы говорим так потому, что мы, немцы, продавая себя миру за устаревший и никчемный вотум доверия, все еще отчасти остаемся политиками. Но пройдет десять лет, и мы сможем показать себя такими, какие мы есть: солдаты, и больше ничего, и тогда мы обойдемся и без этой чепухи. Мир солдата — это единственно реальный мир. Всякий другой мир — это книга, которой не место на библиотечной полке — напыщенная, пустая, в потрепанном переплете; это мелкие желания и торжественные речи за праздничным столом, вгоняющие в сон всех гостей. Десять тысяч полок с книгами не могут остановить один легкий танк. Библия печаталась, может быть, миллион раз, а одно отделение солдат с бронемашинной может за полчаса пятьдесят раз нарушить десять заповедей в какой-нибудь украинской деревне, и в тот же вечер отпраздновать победу двумя ящиками трофейного вина.

Война — самое захватывающее занятие, потому что она наиболее полно отвечает истинной природе человека, хищной и эгоистичной. Я могу говорить так потому, что пожертвовал своим лицом, и никто не посмеет обвинить меня в том, что я люблю войну на безопасном расстоянии и за одни только награды.

Я не думаю, что мы проиграем эту войну: мы не можем себе этого позволить. Но если уж паче чаяния так случится, то причина будет лишь в том, что мы были недостаточно жестокими. Если бы мы заявили всему миру, что ежедневно в течение всей войны будем убивать по сто тысяч европейцев, и сдержали бы свое обещание, то, как ты думаешь, сколько времени длилась бы война? И не только евреев, потому что все привыкли к тому, что евреев убивают, и все, в большей или меньшей степени в душе восхищаются нашими эффективными действиями в этой области. Но в конце концов запас евреев должен истощиться, как бы тщательно мы ни копались в родословных. Нет! Мы должны

истреблять европейцев: французов, поляков, русских, голландцев, англичан — всех военнопленных. Нужно печатать на хорошей бумаге списки убитых с фотографиями и разбрасывать их над Лондоном вместо бомб. Мы страдаем от того, что наша практика еще отстает от нашей философии. Мы убиваем Моисея, но притворяемся, будто терпим Христа, и рискуем всем из-за этого бессмысленного притворства.

Когда мы преодолеем жалость, мы станем самым великим народом в истории. Мы и без того можем добиться своей цели, но разве не легче поднять якорь, чем волочить его по дну?

Я говорю тебе все это потому, что ты вернешься в армию, а я нет. За эти месяцы я имел возможность продумать все и могу теперь иметь последователей. После первой мировой войны, чтобы спасти Германию от поражения, потребовался раненый ефрейтор, а после окончания этой войны, возможно, потребуется раненый лейтенант, чтобы спасти Германию от победы. Ты можешь писать мне с фронта, а я буду лежать здесь и ждать, когда заживет мое лицо, зная, что мои труды не пропали даром. Я моложе тебя, но у меня гораздо более зрелый ум, потому что с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать лет, я не сделал ни одного шага, который не был бы направлен на осуществление моей цели. Ты же плыл по течению, менял свои взгляды, сентиментальничал, а потому и остался неоформившимся юнцом. Современный разумный человек — это человек, который умеет быстро, одним ходом мысли, доводить вопросы до логического конца. Я научился этому, а ты еще нет, и пока не научишься, будешь оставаться ребенком среди взрослых.

Убийство — это объективный акт, и смерть не различает, кто прав, кто виноват. Зная эту истину, я могу убить девятнадцатилетнего лейтенанта, два месяца назад окончившего Оксфорд, и оставить умирать на холме три дюжины немцев, потому что так требуют мои расчеты. Каждый вносит свой вклад чем может; эти тридцать семь вносят его своей жизнью, умирая так и тогда, как и когда я сочту удобным или необходимым. Я не буду оплакивать никого из них, если только рота не будет видеть моих слез, которые должны вдохновить ее на смерть в тот же вечер.

Если ты думаешь, что я восхищаюсь немецким солдатом, то ошибаешься. Он лучше других солдат, потому что выносливее и, будучи лишен воображения, лучше поддается муштровке. А его храбрость, как и храбрость любого дру-

гого солдата,— это самообман, злая шутка, ибо победа принесет ему не больше пива и не меньше пота, чем было раньше, но об этом он не знает. Армия в конечном счете — это не что иное, как произведение численности на качество командиров. Это сказал Клаузевиц, и на сей раз он был прав. От немецкого солдата никак не зависит тот факт, что имеется еще десять миллионов ему подобных и что им командуют самые одаренные люди в Европе. Первое обеспечивается приростом населения в Центральной Европе, а второе — случайностью и честолюбием тысяч людей.

Немецкому солдату повезло, что в такой неустойчивый исторический момент им руководят люди немного сумасшедшие. Гитлер впадает в истерику перед картами в Берхтесгадене, Геринга вытащили из санатория для наркоманов в Швеции; Рем, Розенберг и все остальные заставили бы старого венского доктора Фрейда потирать руки от удовольствия, если бы он увидел, что они ожидают его в приемной. Только сумасшедший своим безумным взором мог предвидеть, что за десять лет удастся завоевать империю одним лишь обещанием внести в систему погромы. Вообще-то евреев убивают уже в течение двадцати столетий, но без сколько-нибудь ощутимых результатов. Нас ведут против армий, состоящих из нормальных и благоразумных людей, не способных отклониться от установленных правил, даже если бы они лопнули от напряжения, тогда как нами управляют люди, одурманенные парами опиума и невнятными речами ефрейторов, которые приобрели свои познания в военном деле двадцать пять лет назад, подавая чай обесилевшему капитану в окопах Пассенделя¹. Как же мы можем проиграть войну?

Если бы я был эпилептиком или страдал в прошлом амнезией или паранойей, я имел бы больше оснований надеяться на успех в Европе в последующие тридцать лет и лучше служил бы своей стране...

Доктор был седой мужчина лет семидесяти. Под глазами у него были морщинистые багровые мешки, и, когда он резко тыкал Христиану в колено, у него тряслись руки. Он был полковником, но выглядел слишком старым даже для полковника. От него пахло коньяком, а маленькие слезящиеся глазки подозрительно осматривали покрытую рубцами ногу Христиана и вглядывались в его лицо, стараясь

¹ Населенный пункт в Западной Фландрии (Бельгия), где с 15 по 20 октября 1914 года проходили тяжелые бои.— *Прим. ред.*

уловить признаки симуляции и обмана, которые ему так часто приходилось обнаруживать за свою тридцатилетнюю практику в кайзеровской армии, в армии социал-демократов и в армии третьего рейха. «Только запах, исходящий от доктора,— подумал Христиан,— не изменился за эти тридцать лет. Сменяются генералы, умирают унтер-офицеры, круто меняются философские взгляды, а от полковника исходит все тот же густой аромат бордо, что и в те времена, когда в Вене император Франц-Иосиф, стоя рядом со своим братом-монархом¹, провожал в Сербию первые части Саксонской гвардии».

— Пойдет,— сказал полковник, и санитар быстро нанес два условных значка на карточку Христиана.— Отлично. Правда, нога выглядит не блестяще, но ты пройдешь пятьдесят километров в день и даже не почувствуешь. Что ты сказал?

— Я ничего не сказал, господин полковник,— ответил Христиан.

— Годен к строевой службе,— сказал полковник, сурово взглянув на Христиана, словно тот возражал ему.— Что ты сказал?

— Так точно, господин полковник.

Полковник нетерпеливо похлопал его по ноге.

— Опустит штанину,— буркнул он. Христиан встал и расправил брюки.— Чем занимался до войны?

— Я был лыжным инструктором.

— Что, что? — полковник взглянул на Христиана таким взглядом, словно тот чем-то его обидел.— Каким инструктором?

— Лыжного спорта.

— Ага,— бесстрастно сказал полковник.— С таким коленом ты не сможешь больше ходить на лыжах, но все равно это детское занятие.— Он отвернулся от Христиана и начал так тщательно мыть руки, как будто голое бледное тело Христиана было невероятно грязным.— Временами ты будешь прихрамывать, ну и что ж такого? Почему бы человеку не хромать? — Он засмеялся, обнажив желтые вставные зубы.— Как же иначе узнают, что ты был на войне?

Доктор продолжал старательно скрести руки в большой эмалированной раковине, от которой так сильно пахло карболкой, что Христиан поспешил выйти из комнаты.

¹ Франц-Иосиф I (1830—1916) — австрийский император (1848—1916). Под «братом-монархом» имеется в виду германский император Вильгельм II (1859—1941).— *Прим. ред.*

— Достань мне штык,— попросил Гарденбург. Христиан сидел у его постели, глядя на вытянутую вперед ногу, все еще несгибающуюся и ненадежную. Рядом на кровати лежал обгоревший, как всегда затерянный в белоснежных бинтах, словно в безмолвной ледяной пустыне Антарктики и окруженный ужасным тропическим запахом гниения. Христиан только что сказал Гарденбургу, что завтра он уезжает на фронт. Гарденбург ничего не ответил. Он неподвижно лежал, вытянувшись на постели. Гладко забинтованная голова покоилась на подушке, словно пугающее своим необычным размером яйцо. Христиан подождал немного, потом, решив, что Гарденбург не слышал его, повторил:

— Я сказал, господин лейтенант, что завтра уезжаю.

— Я слышал,— ответил Гарденбург.— Достань мне штык.

— Что вы сказали? — спросил Христиан, думая, что не разобрал слово, потому что лейтенант говорил через повязку.

— Я сказал, что мне нужен штык. Принеси его завтра.

— Я уезжаю в два часа дня.

— Принеси утром.

Стараясь угадать, о чем думает Гарденбург, Христиан взглянул на круглую гладкую поверхность, замотанную внакладку тонкими бинтами, но, конечно, не увидел на ней никакого выражения. Ничего нельзя было понять и по его всегда одинаковому, ровному, приглушенному голосу.

— У меня нет штыка,— сказал он.

— Стащи его ночью, здесь это нетрудно. Ведь сможешь же ты украсть штык?

— Смогу.

— Ножны не нужны, принеси только штык...

— Лейтенант,— сказал Христиан,— я вам очень благодарен и готов служить вам, чем только могу, но если вы собираетесь...— Он замялся.— Если вы собираетесь покончить с собой, я не в силах...

— Я не собираюсь кончать с собой,— произнес спокойный глухой голос.— Какой же ты олух! Ты слушаешь меня около двух месяцев, разве я говорю как человек, который собирается покончить с собой?

— Нет, но...

— Это для него,— сказал Гарденбург.

Христиан выпрямился на маленьком деревянном стуле.

— Что вы сказали?

— Для него, для него,— с раздражением повторил Гарденбург,— для этого человека на соседней койке.

Христиан медленно повернулся и посмотрел на обгоревшего. Тот лежал спокойно, без движения, в полном молчании, как лежал уже два месяца.

— Я не понимаю,— сказал Христиан, обращаясь к комку бинтов, скрывавшему лицо лейтенанта.

— Он просил меня убить его,— проговорил Гарденбург.— Это очень просто. У него совсем нет рук и вообще ничего нет, и он хочет умереть. Три недели тому назад он просил доктора умертвить его, а этот идиот приказал ему прекратить подобные разговоры.

— Я не знал, что он может говорить,— изумился Христиан. Он опять посмотрел на эту страшную постель, словно обгоревший должен был теперь как-то проявить это вновь открытое свойство.

— Он может говорить, — сказал Гарденбург, — мы подолгу разговариваем по ночам. Он говорит только ночью.

«От таких разговоров,— подумал Христиан,— между человеком, у которого нет рук и вообще ничего не осталось, и человеком без лица в этой комнате, должно быть, стынет даже теплый итальянский воздух». Он содрогнулся. Обгоревший лежал неподвижно, его хрупкое тело было покрыто одеялом. «Он слышит и сейчас,— подумал Христиан, уставившись на него,— и понимает каждое наше слово».

— Он был часовщиком в Нюрнберге,— сказал Гарденбург,— специалистом по спортивным часам. У него трое детей, но он решил умереть. Так ты принесешь штык?

— Если даже и принесу,— ответил Христиан, стараясь уклониться от соучастия в ужасном самоубийстве этого безглазого, безголосого, беспалого и безликого человека,— какой в этом толк? Он не сможет воспользоваться им.

— Я воспользуюсь им,— сказал Гарденбург,— этого для тебя достаточно?

— Как вы им воспользуетесь?

— Встану с кровати, подойду к нему и сделаю, что нужно. Теперь принесешь?

— Я не знал, что вы можете ходить...— с изумлением произнес Христиан. Сестра говорила ему, что Гарденбург начнет ходить месяца через три.

Медленным, осторожным движением Гарденбург сбросил с груди одеяло. Христиан остолбенело смотрел на него, словно это был мертвец, вставший из могилы. Гарденбург деревянным, механическим движением перекинул ноги через край кровати и встал. На нем была мешковатая, вся

в пятнах фланелевая пижама. Босые ноги бледными, грязными пятнами выделялись на мраморном полу виллы лионского фабриканта.

— Где его койка? — спросил Гарденбург. — Покажи мне, где его койка?

Христиан осторожно взял его за руку и повел через узкий проход, пока колени Гарденбурга не коснулись матраца другой кровати.

— Здесь, — отрывисто произнес Гарденбург.

— Почему вы никому не сказали, что можете ходить? — спросил Христиан. Ему казалось, что он во сне разговаривает с пролетающими мимо окна призраками.

Стоя у кровати, слегка покачиваясь в желтоватой пижаме, Гарденбург хихикал из-под марлевого шлема.

— Всегда нужно, — произнес он, — скрывать кой-какие важные сведения о себе от начальства. — Он наклонился и стал осторожно ощупывать одеяло обгоревшего. Наконец его рука остановилась.

— Здесь, — прозвучал голос из-под «снежного сугроба», возвышавшегося над покрывалом. Голос был хриплый и нечеловеческий. Казалось, будто умирающая птица или медленно захлебывающаяся в собственной крови пантера, или проткнутая острой веткой во время шторма в джунглях обезьяна вдруг обрела дар речи, чтобы произнести одно последнее слово «здесь».

Рука Гарденбурга остановилась на белом покрывале, бледно-желтая и костлявая, словно старый рентгеновский снимок.

— Где она? — резко спросил он. — Где моя рука, Дистль?

— На его груди, — прошептал Христиан, уставившись на раздвинутые желтовато-белые пальцы.

— На его сердце, чуть выше сердца. Мы практиковались каждую ночь в течение двух недель. — Он повернулся и с уверенностью слепого дошел до своей кровати и снова лег. Он натянул простыню до того места, где над плечами поднималась маска из бинтов, похожая на древний шлем. — А теперь принеси штык. За себя не беспокойся. После твоего отъезда я припрячу его на два дня, так что никто не сможет обвинить тебя в убийстве. Я сделаю это ночью, когда в течение восьми часов никто не входит в комнату, и он будет молчать. — Гарденбург усмехнулся. — Часовщик очень хорошо умеет молчать.

— Хорошо, — тихо произнес Христиан, вставая со стула и собираясь уходить, — я принесу штык.

На следующее утро он принес простой нож, который украл накануне вечером в солдатском баре, пока его владелец, сидя за кружкой пива с двумя солдатами из квартирмейстерской службы, громко распевал «Лили Марлин». Он пронес его под кителем в мраморную виллу лионского фабриканта и засунул под матрац, как велел Гарденбург. Попрощавшись с лейтенантом, он уже в дверях бросил последний взгляд на две белые слепые фигуры, неподвижно лежавшие рядом в веселой, с высоким потолком комнате, в изящные высокие окна которой был виден сверкающий на солнце залив.

Выйдя из комнаты, он заковылял по коридору, тяжело ступая грубыми ботинками по мраморному полу. Он чувствовал себя как студент, окончивший университет, протудировавший и чуть не выучивший наизусть все учебники.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

— Смирно! — тревожно и резко прозвучал голос у двери, и Ной, вытянувшись, замер перед своей койкой.

Вошел капитан Колклаф в сопровождении старшины и сержанта Рикетта и начал свой суботний осмотр. Он медленно шел по тщательно выскобленному проходу казармы между неподвижными рядами чисто вымытых и выбритых солдат. Тяжелым, враждебным взглядом он обводил застывших перед ним людей, проверяя, как у них пострижены волосы и как вычищена обувь, не вглядываясь в лица, словно перед ним были не солдаты его роты, а позиции противника. Жаркое флоридское солнце ярко светило через незавешенные окна.

Капитан остановился перед вновь прибывшим рядовыми Уайтэкром.

— Восьмой пункт инструкции об обязанностях часового,— бросил Колклаф, холодно уставившись на галстук Уайтэкра.

— В случае пожара или беспорядка подать тревогу,— отчеканил Уайтэкр.

— Разобрать постель этого солдата! — приказал Колклаф. Сержант Рикетт прошел между койками и сорвал постель Уайтэкра. В тишине казармы сухо зашуршали постыни.

— Это тебе не Бродвей, Уайтэкр,— заявил Колклаф,— ты живешь не в отеле «Астор», сюда по утрам не приходят

горничные. Тебе придется научиться самому заправлять постель как полагается.

— Слушаюсь, сэр.

— Закрой свой поганый рот, — рявкнул Колклаф. — Когда я захочу, чтобы ты говорил, я задам тебе прямой вопрос, а ты будешь отвечать: «Да, сэр» или «Нет, сэр».

Колклаф пошел дальше по рядам, громко скрипя каблуками. Сержанты бесшумно двигались за ним, как будто производить шум — тоже привилегия чина.

Колклаф остановился перед Ноем и задержал на нем скаучающий взгляд. Изо рта Колклафа шел противный запах, словно в его желудке что-то медленно и постоянно гнило. Он был офицером национальной гвардии из Миссури, а до войны служил приказчиком в похоронном бюро в Джоппине. «Его прежние клиенты, — подумал Ной, — вероятно, не замечали этого запаха». Он сделал глоток, стараясь подавить дикий смех, который поднимался у него в горле, когда капитан осматривал его подбородок, стараясь найти признаки бороды.

Колклаф посмотрел на тумбочку Ноя, на аккуратно сложенные носки и симметрично расставленные туалетные принадлежности.

— Сержант, — приказал он, — снимите крышку.

Рикетт наклонился и поднял крышку. Внизу были аккуратно сложенные полотенца, рубашки, шерстяное нижнее белье, разные другие вещи и книги.

— Сколько у тебя книг? — спросил Колклаф.

— Три.

— Только три?

— Три, сэр.

— Они государственного издания?

Под нижним бельем лежали «Одиссея», сборник стихов Т. С. Элиота и драматические произведения Бернарда Шоу.

— Нет, сэр, — ответил Ной, — не государственного.

— В тумбочках можно держать книги только государственного издания, — проговорил Колклаф, дыша в лицо Ноя. — Ты знал об этом, солдат?

— Да, сэр, — ответил Ной.

Колклаф наклонился, грубо отбросил в сторону шерстяное белье и взял потрепанную, в сером переплете «Одиссею». Ной невольно наклонил голову и стал наблюдать за капитаном.

— Смирно! — крикнул Колклаф.

Ной уставился на противоположную стену, на отверстие, образовавшееся в доске от выпавшего сучка.

Колклаф открыл книгу и перелистал несколько страниц. — Я знаю эту книгу, — сказал он, — это непристойная, грязная книжонка. — Он бросил ее на пол. — Выкинь ее, все выкинь! Здесь не библиотека, и ты здесь не для того, чтобы читать. — Книга осталась одиноко лежать на полу посредине казармы, открытая, обложкой книзу, с измятыми страницами. Колклаф направился мимо двухъярусных коек к окну. Ной почувствовал, как капитан тяжелой поступью прошел у него за спиной, и по его телу пробежала неприятная дрожь.

— Это окно не вымыто. У вас не казарма, а вонючий свинарник, — прогремел Колклаф и опять направился к проходу. Он не стал осматривать остальных солдат, молчаливо ожидавших у своих коек, а пошел прямо к выходу; за ним бесшумно следовали сержанты. Дойдя до двери, он повернулся.

— Я научу вас поддерживать порядок, — сказал он. — Если среди вас есть один грязный солдат, знайте, что приучить его к чистоте — это ваше дело. Запрещаю увольнение из казармы до завтрашнего утра. Увольнительных на конец недели никто не получит. Завтра в девять часов утра будет осмотр. Советую вам постараться, чтобы к этому времени казарма была в надлежащем порядке.

Он повернулся и вышел из казармы.

— Вольно! — крикнул сержант Рикетт и последовал за капитаном и старшиной.

Ной, чувствуя на себе взгляд сотни обвиняющих глаз, медленно вышел на середину прохода, где лежала книга, поклонился, поднял ее и рассеянно расправил страницы; потом прошел к окну, которое явилось причиной всех неприятностей.

— Вот тебе и суббота! — произнес кто-то с другого конца казармы тоном горького сожаления. — Запретить увольнение в субботний вечер! У меня свидание с одной официанткой, которая уже готова уступить, а завтра утром приезжает ее муж! Я просто готов убить кое-кого!

Ной посмотрел на окно. Сквозь прозрачные сверкающие стекла видна была ровная, пыльная, сожженная солнцем земля. На нижней планке рамы в уголке лежал мотылек, который каким-то образом ухитрился налететь на закрытое окно и погиб, оставив на стекле небольшое желтое пятнышко. Ной машинально взял его в руку.

Сквозь нарастающий рокот голосов он услышал позади приближающиеся шаги, но продолжал стоять, не оборачиваясь, держа в руке злосчастного мотылька. Он ощущал неприятную покрытую пылью ткань поломанных крыльев

и смотрел в окно на сверкающую пыль и далекую чахлую зелень сосен в другом конце лагеря.

— Ну вот, еврейская морда,— раздался позади голос Рикетта.— Ты, наконец, добился своего.

Ной стоял, по-прежнему не оборачиваясь. Он видел в окно, как к воротам бегут трое солдат, бегут с драгоценными увольнительными в карманах, бегут к ожидающим их автобусам, городским барам, уступчивым девушкам, радуясь, что хоть на тридцать часов освободились от казармы.

— Кру-гом! — скомандовал Рикетт. Солдаты смолкли, и Ной знал, что все взгляды устремлены на него. Он медленно повернулся и стал лицом к Рикетту. Рикетт был высокий, крепко сложенный парень со светло-зелеными глазами и узким бесцветным ртом. Передних зубов у него не было — они были выбиты в давно забытой потасовке — и, когда он говорил, его почти безжизненный рот жестоко кривился, а в протяжном техасском произношении проскальзывали порой какие-то шепелявые звуки.

— Ну держись,— прошепелявил Рикетт. Он стоял в угрожающей позе, опираясь руками на спинки двух противоположных коек.— Теперь я возьму тебя под свое крылышко. Ребята,— продолжая смотреть на Ноя с затаенной злой усмешкой, он повысил голос, чтобы его лучше слышали остальные,— ребята, я обещаю вам, что этот жиденок в последний раз портит вам субботний вечер. Даю вам торжественное обещание и клянусь богом. Это тебе не синагога в Ист-Сайде, Абрам, а казарма армии Соединенных Штатов Америки, и здесь все должно блеснуть, как в доме белого человека, да, Абрам, как в доме белого человека.

Ной, не веря своим ушам, в упор смотрел на высокого, почти безгубого парня, неуклюже согнувшегося между двумя койками. Сержант был назначен к ним в роту неделю назад и, казалось, до сегодняшнего дня не обращал на Ноя никакого внимания. За все месяцы службы в армии никто до сих пор не попрекал Ноя тем, что он еврей. Ной с удивлением перевел взгляд на товарищей, но они молчали, осуждающе посматривая на него.

— А теперь один из вас,— прошепелявил Рикетт так, что в другое время можно было бы рассмеяться,— сразу же начнет уборку. Абрам, надевай робу и принеси ведро. Ты вымоешь все окна в этой проклятой казарме и вымоешь их так чисто, как положено белому христианину, который ходит в церковь. И смотри, чтобы я был доволен. Быстрее одевайся, Абрашка, и приступай к работе. А я потом

проверю, и если окна не будут блестеть, то, клянусь богом, тебе придется пожалеть об этом.

Рикетт вяло повернулся и медленно вышел из казармы. Ной подошел к своей койке и начал развязывать галстук. Натягивая рабочую одежду, он чувствовал, что все в казарме следят за ним жестоким, непрощающим взглядом.

Только вновь прибывший солдат, Уайтэкр, не смотрел на него: он старательно заправлял свою койку, которую разорил Рикетт по приказанию капитана.

Перед вечером пришел Рикетт и начал осматривать окна.

— Ладно, Абрашка, — проговорил он наконец, — на этот раз я тебе прощаю. Я принимаю окна, но помни, что я буду держать тебя на примете. Знай, что я терпеть не могу всяких негров, евреев, мексиканцев и китайцев, и теперь тебе придется туго в этой роте. А теперь подожди зад и не вякай. А пока что сожги-ка лучше книги, как приказал капитан. Должен тебе сказать, что капитан тоже тебя не больно-то любит, и, если он опять увидит твои книги, тебе будет кисло. А теперь убирайся, мне надоело смотреть на твою противную рожу.

Уже спустились сумерки, когда Ной медленно поднялся по лестнице казармы и вошел в дверь. Некоторые уже спали, а посреди казармы на двух составленных вместе тумбочках шла азартная игра в покер. У входа пахло спиртом, и на лице Райкера, спавшего ближе всех к двери, расплылась широкая, пьяная улыбка.

Доннелли, лежавший в нижнем белье на своей койке, открыл один глаз и громко проговорил:

— Аккерман, я ничего не имею против того, что ты убил Христа, но никогда не прощу тебе, что ты не вымыл это паршивое окно. — И он снова закрыл глаза.

Ной слегка улыбнулся. «Это шутка, — подумал он, — пусть грубая, но все-таки шутка. Если они превратят это в шутку, то все еще не так уж плохо». Но его сосед по койке, долговязый фермер из Южной Калифорнии, сидевший обхватив голову руками, тихо и вполне серьезно заявил:

— Это ваша нация втянула нас в войну. Так почему же сейчас вы не можете вести себя как люди? — И Ной понял, что это совсем не похоже на шутку.

Он медленно прошел к своей койке, опустив глаза, чтобы не встретиться взглядом с другими, но чувствовал, что все смотрят на него. Даже те, что играли в покер, прекратили игру, когда он проходил мимо них к своей койке

Даже новичок Уайтэкр, казавшийся довольно славным парнем и сам пострадавший в этот день от начальства, сидел на своей вновь запроваженной койке и недружелюбно смотрел на него.

«Странно,— подумал Ной.— Но это пройдет, это пройдет...» Он достал оливкового цвета картонную коробку, в которой хранил почтовую бумагу, сел на койку и начал писать письмо Хоуп.

«Дорогая,— писал он,— я только что окончил свою домашнюю работу; я протер сотни стекол так же любовно, как ювелир отшлифовывает пятидесятикаратный бриллиант для возлюбленной бутлегера¹. Не знаю, как бы я выглядел в бою с немецким пехотинцем или японским солдатом морской пехоты, но мои окна могут состязаться с их отборными войсками в любое время...»

— Еврей не виноват,— четко произнес кто-то из игравших в покер.— Просто они хитрее всех. Вот почему их так мало в армии, и вот почему они зарабатывают столько денег. Я их не обвиняю. Был бы я похитрее, меня бы тоже здесь не было. Сидел бы я в отеле в Вашингтоне и только смотрел, как катятся ко мне денежки.

Наступило молчание. Ной был уверен, что все игроки смотрят на него, но он не поднял глаз от письма.

«Мы часто ходим в походы,— медленно писал он,— поднимаемся в гору и спускаемся вниз, маршируем и днем и ночью. Мне кажется, что армия разделена на две части: действующую армию и армию марширующую и моющую окна. Мы как раз попали во вторую армию. Я научился ходить, как никто еще не умел в роду Аккерманов».

— У евреев огромные капиталы во Франции и Германии,— раздался голос еще одного из игравших в покер.— Им принадлежат все банки и дома терпимости в Берлине и Париже, а Рузвельт решил, что мы должны защищать их деньги, вот он и объявил войну.— Солдат говорил нарочито громко, чтобы уязвить Ноя, но Ной не поднимал глаз.

«Я читал в газетах,— писал Ной,— что эта война — война машин, но до сих пор я встретился только с одной машиной — машиной для выжимания половых тряпок».

— У них есть международный комитет,— продолжал тот же голос,— он собирается в Польше, в городе Варшаве. Оттуда они рассылают приказы по всему миру: купите

¹ Бутлегер — торговец контрабандными спиртными напитками во время «сухого закона» в США.— *Прим. ред.*

это, продайте то, объявите войну этой стране, объявите войну той стране. Двадцать старых бородатых раввинов...

— Аккерман, ты слышал об этом? — спросил другой голос.

Ной, наконец, посмотрел через койки на игравших в покер. Все они, перевернувшись в его сторону, иронически посмеивались и смотрели на него холодными, насмешливыми глазами.

— Нет, я ничего не слышал, — ответил он.

— Почему ты не присоединишься к нам? — с показной вежливостью спросил Зилихнер. — У нас небольшая дружеская игра, и мы ведем интересный разговор. — Он был из Милоуки, и в его речи чувствовался легкий немецкий акцент: как будто он в детстве говорил по-немецки и так и не смог полностью исправить произношение.

— Нет, спасибо, я занят.

— Мы хотели бы знать, — продолжал Зилихнер, — как это случилось, что тебя призвали? В чем дело? Разве в комиссии не было никого из членов вашей организации?

Ной посмотрел на бумагу, которую держал в руке. «Не дрожит, — подумал он с удивлением, — ничуть не дрожит».

— А знаете, ребята, я своими ушами слышал, — проговорил другой голос, — что один еврей добровольно поступил на военную службу.

— Не может быть! — удивился Зилихнер.

— Клянусь богом! Из него сделали чучело и поместили в музей.

Другие игроки в покер с наигранным удивлением громко расхохотались.

— А мне жаль Аккермана, — снова заговорил Зилихнер, — честное слово. Подумать только, сколько денег смог бы он заработать, спекулируя шинами и бензином, если бы не был в пехоте.

«Кажется, я еще не сообщал тебе, — твердой рукой писал Ной на север своей далекой жене, — что на прошлой неделе к нам прибыл новый сержант; у него нет зубов, он шепелявит и говорит, как новичок из юношеской лиги, впервые выступающий на собрании, когда он...»

— Аккерман! — Ной поднял глаза. Около его койки стоял капрал из другой казармы. — Тебя вызывают в ротную канцелярию, быстро!

Ной не спеша положил недописанное письмо обратно в оливковую коробку и засунул ее в тумбочку. Он знал, что все пристально наблюдают за ним, оценивая каждое

его движение. Когда он проходил мимо них, стараясь не торопиться, Зилихнер заметил:

— Ему хотят вручить орден «Крест улицы Деленси» за то, что в течение шести месяцев он ежедневно съедал по целой селедке.

Снова раздался взрыв притворного, неестественного смеха.

«Надо постараться,— подумал Ной, выходя из двери казармы в спустившиеся над лагерем голубые сумерки,— как-то уладить это...»

После тяжелого, спертого духа казармы воздух на улице казался особенно свежим, а тишина пустынных линеек, тянувшихся между низкими зданиями, после резких голосов в казарме приятно ласкала слух. «Вероятно,— думал Ной, медленно шагая вдоль зданий,— в канцелярии мне опять зададут жару». Но все равно он радовался короткому отдыху, временному перемирию с армией и со всем окружающим миром.

Вдруг из-за угла здания, мимо которого он проходил, послышались быстрые шаги, и не успел он повернуться, как кто-то сзади крепко схватил его за руки.

— Так-то, еврейская морда,— прошептал голос, показавшийся ему знакомым.— Это тебе первая порция.

Ной резко дернул голову в сторону, и удар пришелся ему по уху. У него сразу онемело ухо и половина лица. «Бьют дубинкой,— с удивлением подумал он, стараясь вырваться,— зачем они бьют дубинкой?» Но тут последовал еще удар, и он почувствовал, что падает.

Когда он открыл глаза, было уже темно. Он лежал на пыльной траве между двумя казармами. Распухшее лицо было мокрым. Несколько долгих минут он полз до казармы и с трудом уселся, прислонившись к стене.

Медленно шагая позади Аккермана сквозь зной и пыль, Майкл мечтал о пиве. О пиве в стаканах, о пиве в кружках, о пиве в бутылках, бочонках, оловянных кубках, жестяных бидонах, хрустальных бокалах. Он вспомнил также об эле, портере, стауте; потом опять стал думать о пиве. Он вспоминал те места, где в свое время пил пиво. Круглый бар на Шестой авеню, куда обычно заходили по пути в город с острова Губернатора одетые в штатское полковники регулярной армии; пиво там подавали в стаканах конической формы, и перед тем как наполнить стакан пенистой влагой из блестящего крана, буфетчик всегда

бросал туда кусочек льда. Фешенебельный ресторан в Голливуде с гравюрами французских импрессионистов на стене позади стойки, где пиво подавали в матовых кружках и брали по семьдесят пять центов за бутылку. Его собственная гостиная, где поздно вечером, перед тем как отправиться спать, он читал завтрашнюю утреннюю газету при спокойном свете лампы, удобно расположившись в мягком плюшевом кресле и вытянув ноги в ночных туфлях. На играх в бейсбол, на площадках для игры в поло теплыми подернутыми дымкой летними днями, где пиво наливали в бумажные стаканчики, чтобы зрители не швыряли бутылки в судьбу.

Майкл упорно шагал вперед. Он устал и ужасно хотел пить, а руки его онемели и отекли, как всегда после пяти миль ходьбы. Впрочем, он чувствовал себя не так уж плохо. Он слышал, как тяжело и шумно дышит Аккерман, и видел, как его качает от усталости из стороны в сторону даже на небольших подъемах дороги.

Ему было жаль Аккермана: видимо, этот парень всегда был хилым, а марши, учения и наряды превратили его в скелет, обтянутый кожей; он стал похож на тень — такой он был худой и хрупкий. Майкл чувствовал себя немного виноватым, смотря в упор на его качающуюся согнутую спину. За долгие месяцы обучения Майкл тоже похудел, но заметно окреп: ноги стали сильными и твердыми как сталь, а тело — плотным и упругим. Ему казалось несправедливым, что в той же колонне прямо перед ним шел человек, для которого каждый шаг был страданием, в то время как он, Майкл, чувствовал себя сравнительно бодро. На Аккермана вдобавок ко всему действовали еще отвратительные, злые шутки, которыми его изводили в течение последних двух недель, постоянные злобные насмешки, ядовитые политические разговоры, которые солдаты затевали в присутствии Аккермана. Нарочито громким голосом они говорили: «Пусть Гитлер и не прав во всем остальном; но нужно отдать ему должное, он знает, как надо расправляться с евреями...»

Раз или два Майкл пытался вмешаться в разговор и защитить Ноя, но, поскольку он был новичком в роте и приехал из Нью-Йорка, а большинство солдат были южане, они игнорировали его и продолжали свою жестокую игру.

В роте был еще один еврей, огромный детина по фамилии Файн, но его они совсем не беспокоили. Он не пользовался популярностью, но ему и не досаждали. Может быть, здесь играл роль его рост. К тому же, он был добродуш-

ным малым, хотя и выглядел грозно. У него были длинные узловатые руки, и казалось, он принимал все легко и бездумно. Файна трудно было обидеть, он даже не понимал, что ему наносят обиду, а потому преследовать его насмешками не представляло особого удовольствия. Но если бы его задело, то обидчику, вероятно, не поздоровилось бы. Поэтому солдаты оставили его в покое и продолжали терзать Аккермана. «Вот она, армия», — думал Майкл.

Может быть, он допустил ошибку, сказав человеку, который беседовал с ним в Форт-Диксе, что хочет пойти в пехоту. Романтика! Но на самом деле ничего романтического здесь не оказалось. Стертые, усталые от ходьбы ноги, невежественные люди, пьянство, шепелявый голос сержанта: «Я научу вас, как поднимать винтовку и драться за свою жизнь...»

«Думаю, что с вашими данными я смогу устроить вас в службу организации отдыха и развлечений», — сказал ему тот человек. Вероятно, это означало бы работать всю войну в Нью-Йорке, в учреждении, однако Майкл робко, но с достоинством ответил: «Нет, это не для меня. Я пошел в армию не для того, чтобы сидеть за столом». Так для чего же он пошел в армию? Для того, чтобы измерить ногами всю Флориду? Перезаправлять постель, которая не понравилась бывшему приказчику похоронного бюро? Слушать, как издеваются над евреем? Вероятно, он был бы намного полезнее, нанимая хористок для военно-зрелищных предприятий, лучше бы служил своей стране на Шуберт-Элли, чем здесь, бессмысленно шагая в жару по дорогам. Но он должен был сделать этот жест, жест, который в армии так быстро потерял всякий смысл.

Армия! Как выразить все, что о ней думаешь, одной-двумя фразами? Это просто невозможно. Армия состоит из десяти миллионов частиц, которые все время находятся в движении, частиц, которые никогда не соединяются, никогда не движутся в одном и том же направлении. Армия подобна священнику, читающему проповедь после показа кинофильма о половой гигиене. Вначале крупным планом идут всякие страхи, а затем перед пустым экраном, где только что показывали потрепанных проституток и отвратительную похоть, предстает служитель бога в форме капитана. «Солдаты, армия должна быть практичной... — звучит монотонный голос баптиста в душном дощатом зале. — Мы говорим: «Солдаты будут подвергаться опасности заражения, поэтому мы показываем вам эту картину, где вы видите, как работают профилактические пункты». Но я здесь для того, чтобы заявить вам, что вера в бога надеж-

нее всякой профилактики, а религия полезнее для здоровья, чем блуд...»

Одна частица, другая частица. Вот бывший учитель средней школы из Харфорта с болезненным лицом и дикими глазами, словно каждую ночь он ждет, что его убьют. Он шептал Майклу: «Я хочу сказать вам правду о себе: я отказывался от военной службы по религиозно-этическим мотивам. Я не верю в войну. Я отказываюсь убивать своих собратьев. Поэтому меня послали в наряд на кухню, и я пробыл там тридцать шесть дней подряд. Я потерял в весе двадцать восемь фунтов и все еще продолжаю худеть, но они не заставят меня убивать своих собратьев».

Армия! Вот солдат регулярной армии в Форт-Диксе, который прослужил в армии тринадцать лет, играя в армейских бейсбольных и футбольных командах. Таких называют бездельниками от спорта. Это был крупный, здоровый на вид мужчина с круглым животом от пива, выпитого в Кавите, в Панама-Сити и в Форт-Райли, в Канзасе. Вдруг он впал в немилость у начальства, был выведен из постоянной команды и направлен в полк. Подъехала грузовая машина, он бросил в кузов два вещевых мешка и принялся вопить. Он упал на землю, рыдал и визжал с пеной у рта, потому что на этот раз ему предстояло ехать не на футбольный матч, а на войну. Из ротной канцелярии вышел старшина, ирландец в двести пятьдесят фунтов весом, служивший в армии еще с прошлой войны, и со стыдом и отвращением посмотрел на него. Потом, чтобы заставить его замолчать, он стукнул его ногой по голове и приказал двоим солдатам поднять его и бросить в кузов. А тот все продолжал дергаться и плакать. Старшина повернулся к новобранцам, молчаливо наблюдавшим эту картину, и сказал: «Этот человек — позор для регулярной армии, но это не типичный пример, совсем не типичный. Я извиняюсь за него. А теперь пусть убирается отсюда ко всем чертям!»

Ознакомительные лекции: о воинской вежливости, о причинах войны, которую мы ведем. Эксперт по японскому вопросу, профессор из Лихая с узким серым лицом, говорил им, что все это вопрос экономики: Япония нуждается в расширении своих владений и хочет захватить азиатские и тихоокеанские рынки, а мы должны остановить ее экспансию и сохранить эти рынки. Это вполне соответствовало взглядам Майкла на причины войн, сложившимся у него за последние пятнадцать лет. И все же, слушая сухой профессорский голос и глядя на большую карту, где были отчетливо обозначены сферы влияния, залежи нефти,

каучуковые плантации, он ненавидел этого профессора, ненавидел все, что тот говорил. Он хотел бы услышать звучные, горячие слова о том, что он борется за свободу, за высокие моральные принципы, за освобождение угнетенных народов, чтобы, возвращаясь в казарму или идя утром на стрельбище, он верил в эти идеи. Майкл окинул взглядом утомленных солдат, сидевших рядом. На скучающих, полусонных от усталости лицах нельзя было прочесть, поняли ли они что-нибудь, проявляют ли интерес к тому или иному исходу, нужны ли им источники нефти и рынки сбыта. На них было написано единственное желание: поскорее вернуться в казармы и лечь спать...

В середине речи профессора Майкл решил было выступить в отведенное для вопросов время, после того как докладчик закончит лекцию. Он хотел сказать то, что думает: «Это ужасно. За такие идеи не стоит идти на смерть». А профессор все говорил: «Короче говоря, мы переживаем период централизации средств, когда... э... крупные капиталы и национальные интересы одной части земного шара неизбежно вступают... э... в конфликт с крупными капиталами других частей земного шара, и для защиты американского образа жизни совершенно необходимо, чтобы мы имели... э... свободный и беспрепятственный доступ к богатствам и рынкам сбыта Китая и Индонезии...» Тут у Майкла вдруг пропало желание говорить. Он чувствовал себя очень усталым и, как все остальные солдаты, хотел только одного — вернуться в казарму и уснуть.

Есть, правда, в армии и своя прелесть.

Спуск флага на вечерней заре, когда через репродукторы льется гимн, навевающий неясные думы о других горнах, которым внимали другие американцы на протяжении ста лет в такие же моменты.

Мягкие голоса южан на ступеньках казармы после отбоя, когда светятся в темноте огоньки сигарет, слышатся разговоры о прелестях прежней жизни, когда вспоминают имена детей, цвет волос жены, родной дом... И в этот вечерний час уединения не чувствуешь себя больше ни одиноким и отделенным от других, ни судьей или критиком, не взвешиваешь свои слова и поступки — просто живешь, слепо веруя, усталый и примиренный в душе с этим тревожным временем...

Шагавший впереди Майкла Аккерман начал спотыкаться. Майкл ускорил шаг и поддержал его за руку, но Аккерман холодно взглянул на него и сказал:

— Пусти, я не нуждаюсь ни в чьей помощи.

Майкл отнял руку и отступил назад. «Один из тех гордых евреев»,— сердито подумал он, и, когда они переваливали через гребень холма, он уже без сочувствия наблюдал, как Аккерман шел, качаясь из стороны в сторону.

— Сержант,— обратился Ной, остановившись перед первым сержантом, который, сидя за столом в ротной канцелярии, читал «Сьюпермен».— Прошу разрешения обратиться к командиру роты.

Первый сержант даже не взглянул на него. Ной стоял вытянувшись, в рабочей форме, грязный и мокрый от пота после дневного марша. Он посмотрел на командира роты, который сидел в двух шагах от него и читал спортивную страницу джексонвилльской газеты. Командир роты тоже не поднимал глаз.

Наконец первый сержант взглянул на Ноя.

— Что тебе нужно? — спросил он.

— Я прошу разрешения,— повторил Ной, стараясь говорить четко, несмотря на усталость после дневного марша,— обратиться к командиру роты.

Первый сержант, тупо посмотрев на него, приказал:

— Выйди отсюда.

Ной проглотил слюну.

— Я прошу разрешения,— упрямо проговорил он,— обратиться к...

— Выйди отсюда,— спокойно повторил сержант,— а когда придешь в другой раз, помни, что надо являться в чистом обмундировании. А сейчас выйди.

— Слушаюсь, сержант,— сказал Ной. Командир роты так и не поднял глаз от спортивной страницы. Ной вышел из маленькой душной комнаты в сгущающиеся сумерки. Трудно было угадать, в какой форме являться. Иногда командир роты принимал солдат в рабочей форме, а иногда нет. Казалось, это правило менялось каждые полчаса. Он медленно шел к своей казарме мимо бездельничающих солдат, мимо множества маленьких радиоприемников, откуда слышалась дребезжащая джазовая музыка или громкий голос диктора, читающего детективный роман с продолжением.

Когда Ной снова пришел в ротную канцелярию в чистом обмундировании, капитана там не было. Ной уселся на траву напротив входа в канцелярию и стал ждать. Позади него в казарме кто-то нежным голосом пел: «Я не

растила сына быть солдатом, сказала, умирая, мать...», а два других солдата громко спорили о том, когда окончится война.

— В пятидесятом году,— настойчиво утверждал один из них.— Осенью пятидесятого года. Войны всегда заканчиваются с наступлением зимы.

Другой солдат не соглашался:

— Война с немцами, возможно, и закончится, но останутся еще японцы. Нам придется еще заключать сделку с японцами.

— Я готов заключить сделку с кем угодно,— проговорил третий голос,— с болгарами, египтянами, мексиканцами — с любой страной.

— В пятидесятом году,— громко произнес первый,— поверьте моему слову, но прежде все мы получим по пуле в задницу.

Ной перестал слушать. Он сидел в темноте, на чахлой траве, прислонившись спиной к деревянной лестнице. Его клонило ко сну, и в ожидании капитана он думал о Хоуп. На следующей неделе, во вторник, будет день ее рождения. Он скопил десять долларов на подарок и запрятал их на дно вещевого мешка. Что можно купить в городе на десять долларов, что бы не стыдно было преподнести жене? Шарф, блузку... Он представил себе, как бы она выглядела в шарфе, потом представил ее в блузке, особенно в белой, с ее стройной шеей и темными волосами. Пожалуй, это будет самый подходящий подарок. Можно ведь достать за десять долларов хорошую блузку, даже во Флориде.

Наконец Колклаф пришел. Он не спеша поднялся по ступенькам ротной канцелярии. По одному тому, как он двигал задом, можно было за сто шагов узнать в нем офицера.

Ной поднялся и вошел за Колклафом в канцелярию. Капитан сидел за столом в фуражке и, нахмутив брови, с деловым видом просматривал бумаги.

— Сержант,— спокойно сказал Ной,— прошу разрешения обратиться к капитану.

Сержант холодно взглянул на Ноя, потом встал и, пройдя три шага, отделявшие его от стола капитана, доложил:

— Сэр, рядовой Аккерман просит разрешения к вам обратиться.

Колклаф, не поднимая глаз, ответил:

— Пусть подождет.

Сержант повернулся к Ною:

— Капитан приказал подождать.

Ной сел и стал наблюдать за капитаном. Спустя полчаса капитан кивнул сержанту.

— Слушаюсь,— сказал сержант и бросил Ною: — Говори покороче.

Ной встал, отдал честь капитану и отпраповал:

— Рядовой Аккерман по разрешению первого сержанта обращается к капитану.

— Да? — Колклаф по-прежнему не поднимал глаз.

— Сэр,— волнуясь заговорил Ной,— в пятницу вечером в город приезжает моя жена, она просила меня встретить ее в вестибюле отеля, и я хотел бы получить разрешение уйти из лагеря в пятницу вечером.

Колклаф долго молчал. Затем, наконец, произнес:

— Рядовой Аккерман, вы знаете распорядок роты, в пятницу вечером никому увольнительные не даются, так как рота готовится к осмотру...

— Я знаю, сэр,— сказал Ной,— но это был единственный поезд, на который она смогла достать билет, и она надеется, что я встречу ее. Я думал, что только один раз...

— Аккерман! — Колклаф, наконец, взглянул на него. Кончик его носа с белым пятном начал подергиваться.— В армии служба прежде всего. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь научить вас этому, но я, черт возьми, постараюсь. Армию не интересуется, встречаетесь ли вы со своей женой или нет. Вне службы можете делать все, что угодно, а на службе исполняйте свои обязанности. А теперь идите.

— Слушаюсь, сэр,— проговорил Ной.

— А дальше? — спросил Колклаф.

— Слушаюсь, сэр, благодарю вас, сэр,— сказал Ной, вспомнив лекции о воинской вежливости, отдал честь и вышел.

Он послал телеграмму, хотя она стоила восемьдесят пять центов, однако в последующие два дня ответа от Хоуп не поступило, и никак нельзя было узнать, получила она телеграмму или нет. Всю ночь в пятницу он не мог сомкнуть глаз. Лежа в вычищенной и вымытой казарме, он думал о ней. Подумать только, что после стольких месяцев разлуки Хоуп находится всего в десяти милях от него, что она ждет его в отеле и не знает, что с ним случилось, не знает, что есть на свете такие люди, как Колклаф, что армией правит слепая дисциплина, безразличная к любви и ко всяким проявлениям нежности. «Как бы там ни было,— подумал он, засыпая, наконец, перед

самым подъемом,— я увижу ее сегодня днем, и возможно, все это к лучшему. К тому времени, может быть, исчезнут последние следы синяка под глазом, и не придется объяснять ей, как я его получил...»

Через пять минут должен появиться капитан. Волнуясь, Ной еще раз поправил углы койки, проверил, хорошо ли сложены полотенца в тумбочке, блестят ли стекла в окне позади койки. Увидев, что его сосед Зилихнер застегивает последнюю пуговицу на плаще, висевшем на установленном месте среди других вещей, Ной решил еще раз проверить свое обмундирование, хотя еще до завтрака убедился, что все оно застегнуто, как полагается для осмотра. Он отодвинул шинель и не поверил своим глазам: куртка, которую он проверял только час тому назад, была расстегнута сверху донизу. Он лихорадочно стал застегивать пуговицы. Если Колклаф увидит, что куртка расстегнута, Ной наверняка не получит увольнения на конец недели. Другим доставалось хуже за меньшие проступки, а Колклаф и не думал скрывать своей неприязни к Ною. У плаща две пуговицы тоже оказались незастегнутыми. «О, боже! — взмолился про себя Ной, — только бы он не вошел раньше, чем я закончу».

Ной неожиданно обернулся. Райкер и Доннелли, слегка усмехаясь, наблюдали за ним. Заметив, что он смотрит на них, они быстро нагнулись и стали смахивать с обуви пыль. «Вот оно что, — с горечью подумал Ной, — это они подстроили и, видимо, с одобрения всех остальных, зная, что Колклаф сделает мне, когда обнаружит... Наверно, они пришли пораньше после завтрака и расстегнули пуговицы».

Он успел тщательно проверить все до мелочей и занять свое место у кровати, когда сержант у двери крикнул: «Смирно!»

Внимательно и холодно оглядев Ноя, Колклаф долго рассматривал его тумбочку, где царил безупречный порядок, затем прошел позади него к вешалке и внимательно осмотрел там каждую вещь. Ной слышал, как шелестела одежда, когда Колклаф перебирал ее. Затем Колклаф, печатая шаг, прошел мимо. Теперь Ной знал, что все обойдется благополучно.

Через пять минут осмотр окончился, и солдаты заспешили из казармы к автобусной остановке. Ной достал вещевой мешок и нащупал на дне клеенчатый мешочек, где у него хранились деньги. Он вынул мешочек и открыл его, но денег там не оказалось: десятидолларовая бумаж-

ка пропала, вместо нее лежал клочок бумаги, на котором жирным карандашом печатными буквами было выведено единственное слово: «сволочь».

Ной засунул бумажку в карман и аккуратно повесил мешок на место. «Я убью его, я убью того, кто это сделал,— думал он.— Вот тебе и шарф и блузка — ничего нет. Я убью его».

Ошеломленный, он медленно направился к автобусной остановке, стараясь не попасть в один автобус с солдатами своей роты. Ему не хотелось видеть их в это утро. Он знал, что наживет себе неприятность, если окажется рядом с Доннелли, Зилихнером, Рикеттом или с кем-либо другим, а в это утро некогда было ссориться. Он простоял двадцать минут в длинной очереди нетерпеливых солдат, пока вошел в пахнувший бензином автобус. В машине не было никого из его роты, и выбритые, вымытые лица окружавших его солдат, довольных тем, что они вырвались из казармы, неожиданно показались ему дружескими. Стоявший рядом громадный парень с широким, улыбающимся лицом предложил ему даже отпить хлебной водки из поллитровой бутылки, торчавшей у него из кармана.

Улыбнувшись ему, Ной ответил:

— Нет, спасибо, ко мне только что приехала жена, и я еще ее не видел. Я не хочу, чтобы при встрече от меня пахло водкой.

Солдат широко улыбнулся, словно Ной сказал что-то очень лестное и приятное:

— Жена? — удивился он.— Как вам это нравится? Когда же ты ее видел в последний раз?

— Семь месяцев назад,— ответил Ной.

— Семь месяцев! — Лицо парня стало серьезным. Он был очень молод, и кожа на его приятном, гладком лице была нежной, как у девушки.— Первый раз за семь месяцев! — Он наклонился к сидевшему солдату, около которого стоял Ной, и сказал: — Эй, солдат, встань-ка да уступи место женатому человеку. Он семь месяцев не видел свою жену, а сейчас она ждет его; ему нужно сохранить силы.

Солдат улыбнулся и встал.

— Сказал бы сразу,— проговорил он.

— Не надо,— смущенно смеясь, возразил Ной,— я и так справлюсь, зачем мне садиться...

Нежно, но властно подтолкнув его рукой, парень с бутылкой торжественно произнес:

— Солдат, это приказание. Сиди и береги свои силы.

Ной сел, и все окружавшие его солдаты приветливо заулыбались.

— А у тебя случайно нет фотографии твоей дамы? — спросил высокий парень.

— Видишь ли, дело в том, что...— Ной достал бумажник и показал высокому парню фотографию Хоуп. Солдат внимательно посмотрел на нее.

— Сад в майское утро,— восхищенно произнес он,— клянусь богом, я должен жениться, прежде чем меня убьют.

Ной положил бумажник на место, улыбаясь парню и почему-то чувствуя, что это предзнаменование, что с этого момента все пойдет по-иному. Он достиг дна и теперь начинает подниматься наверх.

Когда автобус остановился в городе перед почтой, высокий парень заботливо помог ему спуститься со ступенек на грязную улицу, тепло и ободряюще похлопав его по плечу.

— Теперь иди, браток,— сказал он,— желаю тебе приятно провести эти дни, и до подъема в понедельник забудь, что есть такая вещь, как армия Соединенных Штатов.

Ной, улыбаясь, помахал ему и поспешил к отелю, где его ждала Хоуп.

Он нашел ее в переполненном вестибюле среди толпившихся мужчин в хаки и их жен.

Ной заметил ее раньше, чем она увидела его. Слегка прищурясь, она всматривалась в окружающих ее солдат и женщин, в пыльные пальмы в кадках. Она была бледна и выглядела возбужденной. Когда он подошел к ней сзади и, слегка тронув за локоть, сказал: «Полагаю, вы миссис Аккерман», по ее лицу пробежала улыбка, но казалось, что она вот-вот заплачет.

Они поцеловались, словно были одни.

— Ну,— нежно успокаивал ее Ной,— ну-ну...

— Не беспокойся, я не буду плакать...

Отступив на шаг назад, она пристально посмотрела на него.

— Первый раз,— сказала она,— вижу тебя в форме.

— Ну, и как я выгляжу?

У нее слегка дрогнули губы:

— Ужасно.

Они оба рассмеялись.

— Идем наверх,— предложил он.

— Нельзя.

— Почему? — спросил Ной, чувствуя, как у него замирает сердце.

— Мне не удалось получить комнату: кругом все переполнено. Ну ничего.— Она коснулась его лица и усмехнулась, увидев его отчаяние.— У нас есть место, на этой улице, в меблированных комнатах. Да не смотри же так.

Взявшись за руки, они вышли из отеля. Они молча шли по улице, время от времени посматривая друг на друга. Ной чувствовал на себе сдержанные, одобряющие взгляды солдат, мимо которых они проходили,— у них не было ни жен, ни девушек, и им не оставалось ничего другого, как напиться.

Дом, где помещались меблированные комнаты, давно нуждался в покраске. Крыльцо заросло диким виноградом, а нижняя ступенька была сломана.

— Осторожно,— предупредила Хоуп,— не провались, не хватает тебе только сломать ногу.

Дверь открыла хозяйка. Это была худошавая старуха в грязном сером фартуке. От нее пахло потом, помоями и старостью. Держась костлявой рукой за ручку двери, она холодно взглянула на Ноя и спросила Хоуп:

— Это ваш муж?

— Да, это мой муж,— ответила Хоуп.

— Гм,— промычала старуха и даже не ответила на вежливую улыбку Ноя. Пропустив их в дом, она продолжала смотреть им вслед, пока они поднимались по лестнице.

— Это похуже, чем осмотр,— прошептал Ной, следуя за Хоуп к двери их комнаты.

— Какой осмотр? — спросила Хоуп.

— Я расскажу тебе как-нибудь в другой раз.

Они вошли в маленькую комнату. В ней было одноединственное окно с треснутым стеклом. Старые обои так выгорели, что рисунок, казалось, был нанесен прямо на стену. Выкрашенная в белый цвет железная кровать вся облупилась, а под сероватым покрывалом явственно вырисовывались бугры. Но Хоуп уже успела поставить на туалетный стол стакан с букетиком нарциссов, положила щетку для волос — символ семейной жизни и цивилизации — и поставила небольшую фотографию Ноя, снятого в дни их летнего отдыха. Он стоит в свитере среди цветов и смеется.

Они испытывали смущение и избегали смотреть друг на друга.

— Мне пришлось показать хозяйке свидетельство о браке,— нарушила молчание Хоуп.

— Что? — переспросил Ной.

— Наше свидетельство о браке. Она сказала, что ей

приходиться стараться изо всех сил, чтобы защитить свое respectable заведение от сотни тысяч пьяных солдат, шляющихся по городу.

Ной улыбнулся и удивленно покачал головой.

— Как ты догадалась взять с собой свидетельство?

Хоуп прикоснулась к цветам:

— Я ношу его с собой все время, все эти дни, в своей сумочке, чтобы оно напоминало мне...

Ной медленно прошел к двери и повернул торчавший в замочной скважине ключ. Старый замок противно закрипел.

— Знаешь,— проговорил Ной,— я семь месяцев мечтал об этом. О том, чтобы запереть дверь.

Хоуп вдруг нагнулась и быстро выпрямилась. Ной увидел в ее руках небольшую коробку.

— Вот посмотри, что я привезла тебе.

Взяв коробку в руки, Ной вспомнил о десяти долларах, предназначенных для подарка, и о записке, которую он нашел на дне вещевого мешка,— оборванном клочке бумаги со злобной надписью «сволочь». Открыв коробку, он заставил себя забыть о пропавших десяти долларах, с этим можно подождать до понедельника.

В коробке было домашнее шоколадное печенье.

— Попробуй,— сказала Хоуп,— могу тебя обрадовать, что пекла его не я; я попросила маму испечь и прислать его мне.

Ной взял одно печенье; у него был настоящий домашний вкус. Он съел еще одно.

— Блестящая идея! — похвалил он.

— Сними ее,— вдруг с жаром проговорила Хоуп,— сними эту проклятую одежду!

На следующее утро они отправились завтракать поздно и после завтрака погуляли по улицам городка. Из церкви шли горожане, ведя за руку одетых в лучшее платье детей, чинно шагавших со скучающим видом мимо клумб с увядшими цветами. В лагере никогда не увидишь детей, и они придавали этому утру какую-то домашнюю прелесть.

По тротуару шел пьяный солдат, изо всех сил старавшийся прямо держаться на ногах. Он свирепо поглядывал на идущих из церкви людей, словно бросая вызов их благочестию и защищая свое право напиваться пьяным с утра по воскресеньям. Поравнявшись с Хоуп Ноем, он с важным видом отдал честь и бросил на ходу:

— Тсс, не говорите военной полиции.

— Вчера один парень в автобусе видел твою фотографию,— сказал Ной.

— Ну и какой отзыв? — Хоуп мягко коснулась пальцами его руки.— Положительный или отрицательный?

— Сад, сказал он, сад в майское утро!

Хоуп, довольная, засмеялась:

— Армия никогда не выиграет войну с такими солдатами, как этот.

— Он еще сказал: «Клянусь богом, я должен жениться прежде, чем меня убьют!»

Хоуп опять было улыбнулась, но вдруг нахмурилась, задумавшись над последними словами. Она ничего не сказала: ведь она могла прожить здесь только неделю, и не стоило терять времени на разговоры о подобных вещах.

— Ты сможешь приходить каждый вечер? — спросила она.

Ной утвердительно кивнул головой:

— Даже если мне придется подкупить всех военных полицейских в этой районе — сказал он.— В пятницу вечером, может быть, я не смогу прийти, но в остальные дни...— Он с сожалением посмотрел вокруг на грязный, запущенный город, весь окутанный пылью, сквозь которую пробивались лучи солнца, с десятью барами, освещавшими улицы ярким неоновым светом.— Жаль, что ты не можешь провести эту неделю в более приличном месте...

— Глупости,— возразила Хоуп,— мне очень нравится этот город, он напоминает мне Ривьеру.

— А ты была когда-нибудь на Ривьере?

— Нет.

Ной искоса посмотрел через железнодорожные пути туда, где изнемогал от зноя негритянский район, на уборные и некрашенные доски домов, стоящих вдоль разбитых дорог.

— Ты права,— согласился он,— мне он тоже напоминает Ривьеру.

— А ты был когда-нибудь на Ривьере?

— Нет.

Они рассмеялись и молча продолжали путь. Склонив голову к нему на плечо, Хоуп спросила:

— Сколько же? Как ты думаешь, сколько?

Ной знал, о чем она говорит, но все-таки переспросил:

— Что сколько?

— Сколько времени она продлится? Война...

Маленький негритенок сидел в пыли и с серьезным

видом гладил петуха. Ной искоса посмотрел на него. Петух, казалось, дремал, загипнотизированный ласковыми движениями черных ручонков.

— Недолго,— ответил Ной,— совсем недолго. Все так говорят.

— Ведь ты не станешь лгать своей жене, не правда ли?

— Ни в коем случае,— сказал Ной.— У меня есть знакомый сержант в штабе полка, так он говорит, что, как думают в штабе, нашей дивизии вряд ли вообще придется воевать. Он говорит, что полковник страшно расстроен, потому что он надеялся получить Б. Г.

— Что такое Б. Г.?

— Бригадный генерал.

— Очень я глупая, что не знаю всего этого?

Ной рассмеялся:

— Чепуха! Я обожаю глупых женщин.

— Я очень рада,— сказала Хоуп,— так приятно это слышать.— Они, не сговариваясь, одновременно повернули обратно, как будто все их импульсы исходили из одного источника, и направились к меблированным комнатам.

— Надеюсь, что этот негодяй никогда не получит этого,— спустя некоторое время мечтательно проговорила Хоуп.

— Чего не получит? — в недоумении спросил Ной.

— Б. Г.

Некоторое время они шли молча.

— У меня замечательная идея,— сказала Хоуп.

— Какая?

— Давай вернемся к себе в комнату и запрем дверь.— Она улыбнулась ему, и они, ускорив шаг, направились к меблированным комнатам.

В дверь постучали, и из-за нее послышался голос хозяйки.

— Миссис Аккерман, миссис Аккерман, можно вас на минуточку?

Хоуп сердито взглянула на дверь и, пожав плечами, ответила:

— Я сейчас выйду.

Она повернулась к Ною.

— Оставляйся здесь, я вернусь через минуту.

Поцеловав его в ухо, она открыла дверь и вышла. Ной лежал на спине и смотрел сквозь полузакрытые веки на

грязный потолок. Его клонило ко сну. За окном подходил к концу навевавший дремоту теплый воскресный день, где-то далеко раздавались свистки паровозов и слышны были голоса томящихся от скуки солдат, напевающих знакомую песенку: «Веселиться и любить ты умеешь, любишь леденцами угощать. Ну, а деньги ты, дружок, имеешь? Это все, что я хочу узнать». Сквозь дремоту до Ноя дошло, что он слышал эту песню раньше. Он вспомнил Роджера, вспомнил, что его уже нет в живых, но тут мысли его оборвались, и он уснул.

Он проснулся от скрипа медленно открываемой двери. Чуть приоткрыв глаза, он увидел стоящую перед ним Хоуп и нежно улыбнулся.

— Ной,— сказала она,— тебе придется встать.

— Погоди,— ответил он,— еще рано. Иди ко мне.

— Нет,— сказала она, и ее голос звучал решительно,— вставай сейчас же.

Ной поднялся и сел в постели.

— Что случилось?

— Хозяйка требует, чтобы мы сейчас же оставили ее дом.

Ной встряхнул головой, стараясь понять, в чем дело.

— Ну-ка, повтори, что ты сказала.

— Хозяйка требует, чтобы мы оставили ее дом.

— Дорогая,— терпеливо проговорил он,— ты, должно быть, что-то перепутала.

— Я ничего не перепутала.— Лицо Хоуп выражало с трудом сдерживаемое волнение.— Все совершенно ясно. Нам придется отсюда уйти.

— Почему? Разве ты не сняла комнату на неделю?

— Да,— ответила Хоуп,— я сняла ее на неделю, но хозяйка заявляет, что я получила ее обманным путем: она, видите ли, не знала, что мы евреи.

Ной встал и медленно прошел к туалетному столику. Он взглянул на свое улыбающееся лицо на фотографии под нарциссами, которые уже начали вянуть и засыхать по краям.

— Она сказала,— продолжала Хоуп,— что вначале у нее возникло подозрение из-за фамилии, но я не похожа на еврейку. А когда она увидела тебя, то заинтересовалась и спросила меня. Я, конечно, ответила, что мы евреи.

— Бедная Хоуп,— нежно произнес Ной,— извини меня.

— Не дури,— ответила она,— я не хочу больше слышать от тебя ничего подобного и прошу тебя никогда и ни за что не извиняться передо мной.

— Хорошо,— сказал Ной, рассеянно перебирая пальцами нежные увядшие цветы.— Давай собирать вещи.

— Да,— согласилась Хоуп. Она достала свой чемодан, положила его на кровать и открыла.— Лично к вам у меня претензий нет, сказала хозяйка, это просто правило моего дома.

— Рад узнать, что лично к нам претензий нет, — ответил Ной.

— Ничего страшного.— Хоуп начала, как всегда, аккуратно складывать в чемодан нежно-розовое белье.— Сейчас пойдем в город и найдем другое место.

Ной потрогал щетку для волос на туалетном столике. Обратная сторона ее была украшена серебряной пластинкой с полустершимся грубоватым старомодным орнаментом из листьев, которая тускло поблескивала в пыльном полумраке комнаты.

— Нет,— сказал он,— мы не станем искать другое место.

— Но ведь мы не можем здесь оставаться...

— Мы не останемся здесь и не будем искать другого места,— сказал Ной, стараясь говорить спокойно и не выдавать своего волнения.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.— Хоуп перестала укладывать вещи и посмотрела на него.

— Я хочу сказать, что мы пойдем на автобусную станцию, узнаем, когда отходит автобус на Нью-Йорк, и ты уедешь на нем.

В комнате наступила тишина. Хоуп стояла печальная и задумчивая, уставившись на уложенное в чемодан розовое белье.

— Ты знаешь,— прошептала она,— мне с таким трудом удалось вырвать эту неделю, и бог знает, когда еще мы встретимся и что будет с тобой. Может быть, через неделю тебя отправят в Африку, на Гуадалканал или еще куда-нибудь и...

— По-моему, есть автобус, который отходит в пять часов,— проговорил Ной.

— Дорогой...— Хоуп по-прежнему стояла в спокойной задумчивой позе перед кроватью...— Я уверена, что мы могли бы найти другое место в этом городе...

— И я уверен,— сказал Ной,— что мы не будем искать. Я не хочу, чтобы ты оставалась в этом городе, я хочу остаться один — вот и все. Я не могу любить тебя в этом городе. Я хочу, чтобы ты уехала отсюда, и чем скорей, тем лучше! Я готов поджечь этот город или сбросить на него бомбы, но любить тебя здесь я отказываюсь!

Хоуп быстро подошла к нему, обхватила его руками.

— Ной, милый,— с жаром проговорила она, тряся его за плечи,— что с тобой случилось? Что они с тобой делают?

— Ничего,— крикнул Ной,— ничего! Я скажу тебе после войны! А теперь собирай свои вещи и пойдем отсюда!

Хоуп опустила руки.

— Хорошо,— упавшим голосом сказала она и снова стала свертывать белье и аккуратно укладывать его в чемодан.

Через десять минут они были готовы. Ной вышел, неся ее чемодан и свою брезентовую сумку, в которой лежала чистая рубашка и бритвенный прибор. Выходя из комнаты, он ни разу не оглянулся. Хоуп же, дойдя до двери, обернулась. Косые лучи заходящего солнца проникали через щели ставней и рассыпались мелкой золотистой пылью. Оставшиеся на туалетном столике нарциссы еще ниже склонили свои головки словно в ожидании приближающейся смерти. В остальном комната была такой же, как и тогда, когда она в первый раз вошла в нее. Хоуп осторожно закрыла дверь и пошла по лестнице вслед за Ноем.

Хозяйка стояла на крыльце все в том же сером фартуке. Она ничего не сказала, когда Ной уплатил ей деньги, и продолжала молча стоять, распространяя запах пота, помоев и старости, с сознанием своей правоты глядя вслед солдату и молодой женщине, медленно уходившим по тихой улице к автобусной остановке.

Когда Ной вернулся в казарму, несколько человек уже спало. Около двери храпел пьяный Доннелли, но никто не обращал на него внимания. Ной снял свой вещевой мешок и еще раз тщательно проверил его содержимое: запасную пару ботинок, шерстяные рубашки, чистую рабочую форму, зеленые шерстяные перчатки, баночку сапожного крема — денег не было. Потом он взял другой вещевой мешок и проверил его. Денег не было и там. Время от времени он резко оглядывался, чтобы посмотреть, не наблюдает ли кто-нибудь за ним, но все крепко спали, издавая громкий, отвратительный храп. «Ну ладно,— подумал он,— если только я замечу, что кто-то из них наблюдает за мной, я его убью».

Он сложил в мешки разбросанные вещи, достал коробку со своими канцелярскими принадлежностями и написал короткую записку. Положив коробку на койку, он быстро направился к ротной канцелярии. На доске, висевшей перед

канцелярией, наряду с объявлениями о городских публичных домах, которые запрещалось посещать, с правилами, определяющими, в каких случаях носить ту или иную форму одежды, и со списком повышений в чине, поступивших за неделю, имелось свободное место для объявлений о пропажах и находках. Ной прикрепил кнопками свой листочек бумаги поверх просьбы рядового первого класса О'Рейли возвратить ему перочинный нож с шестью лезвиями, который был взят из его тумбочки. При тусклом свете лампы, висевшей у входа в канцелярию, Ной перечитал свое объявление.

«Личному составу 3-й роты. Из вещевого мешка рядового 2-го взвода Ноя Аккермана украдены десять долларов. Я не требую возвращения денег и не буду настаивать на наказании виновного. Я хочу получить удовлетворение лично, наказать его своими руками. Прошу причастного к этому солдата или солдат немедленно сообщить мне.

Подпись: рядовой Ной Аккерман».

Ной с удовольствием прочитал написанное. Когда он шел обратно, у него было такое чувство, что если бы он не сделал этот шаг, то наверное, сошел бы с ума.

На следующий вечер, идя на ужин, Ной остановился у доски объявлений. Его объявление все еще висело на месте, а под ним был прикреплен небольшой листочек бумаги с двумя аккуратно напечатанными на машинке фразами:

«Мы взяли их, еврейская морда. Мы ждем тебя

П. Доннелли
Дж. Райт
Л. Джексон
М. Зилихнер
П. Сендерс

Б. Каули
У. Демут
Э. Райкер
Р. Хенкель
Т. Брейлсфорд».

Майкл чистил винтовку, когда Ной подошел к нему и спросил:

— Можно тебя на минутку?

Майкл с досадой посмотрел на него. Он устал и, как всегда, неумело и неуверенно возился со сложным механизмом старой винтовки Спрингфилда.

— Чего тебе? — спросил он.

Аккерман ни разу не заговаривал с ним со времени того марша.

— Я не могу здесь разговаривать,— сказал Ной, оглядываясь вокруг. Это было после ужина, и в казарме находилось человек тридцать-сорок: одни читали, другие писали письма, возились со своим снаряжением, слушали радио.

— Нельзя ли с этим подождать? — сухо проговорил Майкл.— Я очень занят сейчас...

— Пожалуйста,— попросил Ной. Майкл посмотрел на него: лицо его поблекло, губы дрожали, глаза казались больше и темнее обычного.— Пожалуйста...— повторил он,— мне надо поговорить с тобой. Я подожду тебя на улице.

Майкл вздохнул.

— Хорошо,— сказал он и начал собирать винтовку, мучаясь с затвором и, как всегда, стыдясь самого себя: уж очень трудно ему это давалось. «Черт знает что,— подумал он, чувствуя, как его масляные руки скользят по упрямым поверхностям деталей,— я могу написать пьесу, спорить о значении Томаса Манна, а любой деревенский парень с закрытыми глазами соберет затвор лучше меня...»

Он повесил винтовку и вышел из казармы, вытирая на ходу масляные руки. Аккерман стоял по ту сторону рогной линейки, его маленькая, хрупкая фигурка смутно вырисовывалась в темноте. Ной с видом заговорщика подал ему знак рукой, и Майкл медленно направился к нему, думая: «Вечно мне приходится распутывать чужие дела».

— Прочти это,— сказал Ной, как только подошел Майкл, и сунул ему в руку два клочка бумаги.

Майкл повернулся так, чтобы на бумагу падал свет. Прищурившись, он сначала прочел объявление Ноя, которое не видел раньше, а затем ответ, подписанный десятью фамилиями. Майкл покачал головой и еще раз внимательно прочел обе бумажки.

— Что это, черт возьми, значит? — раздраженно спросил он.

— Я хочу, чтобы ты был моим секундantom,— заявил Ной. Его голос звучал мрачно и глухо, но, несмотря на это, Майкл едва удержался, чтобы не рассмеяться над этой мелодраматичной просьбой.

— Секундantom? — недоверчиво переспросил он.

— Да,— ответил Ной,— я собираюсь драться с этими людьми, но не уверен, что смогу сам договориться об этом. Я не сдержусь, и будет неприятность. А я хочу, чтобы все было сделано как следует.

Майкл в недоумении заморгал глазами. Вот уж никак нельзя было представить, что такое может произойти в армии.

— Ты сумасшедший,— сказал он,— ведь это же просто шутка.

— Возможно,— решительно заявил Ной,— но мне начинают надоедать такие шутки.

— Почему ты выбрал именно меня?

Ной глубоко вздохнул и со свистом выпустил воздух через ноздри. В неверном свете фонаря, висевшем по ту сторону линейки, он выглядел подтянутым, стройным и очень красивым, напоминая чем-то героя старинной трагедии.

— Ты единственный во всей роте, кому я могу довериться,— ответил Ной и, выхватив у Майкла свои бумажки, добавил: — Ладно, если не хочешь мне помочь, черт с тобой...

— Подожди,— сказал Майкл. Он смутно чувствовал, что должен что-то предпринять, иначе эта дикая и нелепая шутка перейдет все границы.— Я же не отказывался помочь.

— Хорошо,— резко сказал Ной,— тогда иди и договорись о расписании.

— О каком расписании?

— Их же десять. Что ж ты хочешь, чтобы я дрался со всеми в один вечер? Надо установить очередь. Узнай, кто хочет драться первым, кто вторым и так далее. Мне все равно, какой будет порядок.

Майкл молча взял из рук Ноя листок бумаги и перечитал фамилии. Потом, не спеша, проставил порядковый номер против каждой фамилии.

— Знай, что это десять самых сильных парней в роте,— предупредил Майкл.

— Знаю.

— Каждый из них весит не меньше ста восьмидесяти фунтов.

— Знаю.

— А ты сколько вешишь?

— Сто тридцать пять.

— Они убьют тебя.

— Я не просил твоего совета,— спокойно проговорил Ной,— я просил тебя подготовить, что нужно. Вот и все, а остальное предоставь мне.

— Не думаю, что капитан разрешит это,— усомнился Майкл.

— Разрешит,— возразил Ной.— Эта сволочь разрешит, об этом не беспокойся.

Пожав плечами, Майкл спросил:

— Что же я должен подготовить? Я могу достать

перчатки, организовать двухминутные раунды, найти судью и...

— Мне не нужны никакие раунды и никакие судьи,— ответил Ной,— если один из нас не сможет подняться, значит, бой окончен.

Майкл опять пожал плечами:

— А как насчет перчаток?

— Никаких перчаток — голые кулаки. Что еще?

— Ничего, это все.

— Спасибо,— сказал Ной,— дай мне знать, когда договоримся.

Не попровавшись, он негнушейся походкой зашагал по линейке. Майкл смотрел ему вслед, пока он не скрылся в темноте. Покачав головой, Майкл медленно направился к двери казармы. Надо было отыскать первого по очереди — Питера Доннелли, парня ростом в шесть футов и один дюйм и весом в сто девяносто пять фунтов. В сорок первом году он выступал в тяжелом весе в «Золотой перчатке» в Майами и вышел в полуфинал.

Доннелли сбил Ноя с ног. Ной вскочил, подпрыгнул и ударил его в лицо. У Доннелли потекла из носа кровь, он стал засасывать ее уголком рта. На его лице уверенность профессионального боксера, с которой он начал бой, сменилась выражением злобы и удивления. Он схватил одной рукой Ноя за спину, подтянул к себе и, не обращая внимания на яростные удары, которыми Ной осыпал его лицо, нанес ему жестокий, короткий, рубящий удар так, что наблюдавшие за ними солдаты даже ахнули. Доннелли нанес еще один удар, и Ной упал на траву к его ногам.

— Я думаю,— сказал Майкл, выступив вперед,— что этого достаточно...

— Убирайся отсюда к дьяволу,— прохрипел Ной, упираясь руками в землю и поднимаясь на ноги.

Он стоял перед Доннелли, качаясь, с залитым кровью правым глазом. Доннелли приблизился и замахнулся, как для удара по мячу в бейсболе. Зрители опять ахнули, когда от сильного удара в зубы Ной зашатался и отступил назад. Сначала он упал на солдат, которые, окружив плотным кольцом дерущихся, напряженно наблюдали за боем, потом соскользнул на землю и замер.

Майкл подошел к нему и опустил на колени. Глаза Ноя были закрыты, он тяжело дышал.

— Все в порядке,— сказал Майкл и, взглянув на Доннелли, добавил: — Ура тебе, ты выиграл.— Он повернул Ноя на спину. Ной открыл глаза, но в них не было и признака

мысли, они бездумно смотрели в вечернее небо.

Круг зрителей распался, и солдаты начали медленно расходиться.

— Как вам это нравится! — донесся голос ДонNELли, когда, схватив Ноя под мышки, Майкл медленно поднимал его на ноги. — Как вам нравится, этот сопляк разбил мне нос в кровь.

Майкл стоял у окна уборной и, куря папиросу, наблюдал, как Ной, склонившись над раковиной, мыл холодной водой лицо. Он был голый до пояса, и на его теле были видны большие красные пятна. Ной поднял голову. Его правый глаз был закрыт, а изо рта продолжала течь кровь. Он сплюнул, и вместе с кровью вылетели два зуба.

Не взглянув на упавшие в раковину зубы, Ной начал старательно вытирать лицо полотенцем, которое быстро покрылось красными пятнами.

— Ну хорошо, — сказал Майкл, — можно считать, что дело сделано, а от остальных лучше отказаться...

— Кто следующий по списку?

— Послушай, — пытался уговорить его Майкл, — они в конце концов убьют тебя.

— Следующий Райт, — решительно проговорил Ной, — скажи ему, что я буду готов встретиться с ним через три дня. — И не ожидая ответа, он накинул на плечи полотенце и вышел из уборной.

Майкл посмотрел ему вслед, затянулся еще раз, бросил окуроч и вышел на улицу. Он не пошел в казарму, потому что ему не хотелось в этот вечер снова встречаться с Аккерманом.

Райт был самым высоким в роте, но Ной и не думал избегать его. Встав в строгую, профессиональную боксерскую стойку, он то быстро уклонялся от медлительно молотивших воздух кулаков Райта, то сам наносил ему удары в лицо, а когда он ударил Райта в живот, тот даже замычал от боли.

«Удивительно, — подумал Майкл, с восхищением и завистью наблюдая за Ноем, — он по-настоящему умеет боксировать, где он научился этому?»

— В живот, — закричал Рикетт, стоявший в первом ряду зрителей, — в живот, ты, паршивый ублюдок!

Минуту спустя, все было кончено: резко выбросив в

сторону руку, вложив всю свою силу в узловатый, подобный молоту, кулак, Райт ударил Ноя в бок. Ной повалился лицом вниз и встал на четвереньки, широко раскрыв рот, высунув язык и беспомощно глотая воздух.

Стоявшие вокруг солдаты молчали.

— Ну как? — воинственно спросил Райт, стоя над Ноем. — Ну как, здорово?

— Шагай-шагай, — сказал Майкл, — ты был великолепен. Ной начал дышать, издавая хриплый свист: воздух с трудом пробивался через его горло. Презрительно коснувшись Ноя носком ботинка, Райт отвернулся и спросил:

— Ну, кто мне поставит пива?

Доктор посмотрел на рентгеновский снимок и сказал, что сломано два ребра. Он забинтовал Ною грудь, наложил пластырь и отправил Ноя в лазарет.

— Ну, теперь ты успокоишься? — спросил Майкл, стоя в палате над его кроватью.

— Доктор говорит, что мне придется пролежать недели три, — произнес Ной, с трудом шевеля бледными губами. — Договорись со следующим на это время.

— Ты сумасшедший, я не стану договариваться, — наотрез отказался Майкл.

— Читай свои дурацкие нотации кому-нибудь еще, — прошептал Ной, — если не хочешь, можешь сейчас же уходить. Я все сделаю сам.

— Ты думаешь, что делаешь? Что ты этим хочешь доказать?

Ной молчал. Он смотрел дикими невидящими глазами в противоположный угол палаты, где лежал солдат со сломанной ногой, упавший два дня тому назад с грузовика.

— Что ты этим хочешь доказать? — крикнул Майкл.

— Ничего, — ответил Ной, — просто мне нравится драться. Ну, что еще?

— Ничего, больше ничего, — ответил Майкл и вышел.

— Капитан, — говорил Майкл, — я по поводу рядового Аккермана.

Колклаф сидел очень прямо. Через его тугий воротник свисал второй подбородок, что придавало ему вид человека, который медленно задыхается.

— Да? — спросил Колклаф. — Что вы хотели сказать о рядовом Аккермане?

— Вероятно, вы слышали о... мм... споре, который воз-

ник между рядовым Аккерманом и десятью солдатами роты.

Уголки рта Колклафа чуть поднялись в довольной улыбке.

— Я кое-что слышал об этом,— произнес он.

— Я думаю, что в настоящее время рядовой Аккерман не в состоянии отвечать за свои действия,— продолжал Майкл.— Его могут очень серьезно покалечить, покалечить на всю жизнь. Я думаю, если вы согласитесь со мной, что было бы неплохо попытаться удержать его от дальнейших драк...

Колклаф засунул палец в нос, медленно нащупал там что-то твердое, затем вытащил палец обратно и стал рассматривать извлеченное сокровище.

— В армии, Уайтэкэр,— заговорил он монотонным спокойным голосом, который, должно быть, перенял от священников, говоривших на многочисленных похоронах, свидетелем которых ему пришлось быть в Джоплине,— в армии некоторые трения между людьми неизбежны. Я считаю, что самым здоровым способом улаживания таких трений является честный, открытый бой. Этим людям, Уайтэкэр, придется пережить значительно большие испытания, чем удары кулаков, значительно большие. Их ждут пули и снаряды, Уайтэкэр,— с особым смаком произнес он,— пули и снаряды. Было бы не по-военному запрещать им улаживать свои разногласия таким образом, не по-военному. Моя политика такова, Уайтэкэр, что я предоставляю солдатам моей роты как можно больше свободы в улаживании своих дел и не намерен вмешиваться.

— Слушаюсь, сэр,— сказал Майкл,— благодарю вас, сэр.

Он отдал честь и вышел.

Медленно прохаживаясь по ротной линейке, Майкл принял неожиданное решение. Он не может больше оставаться здесь при таких обстоятельствах. Он подаст заявление в офицерскую школу.

Вначале, когда он только что вступил в армию, он решил оставаться рядовым. Во-первых, он чувствовал, что несколько староват, чтобы состязаться с двадцатилетними атлетами, которые составляют большинство курсантов. Да и его ум уже настолько настроен на определенный лад, что ему не легко было бы переключиться на изучение любых других вопросов. И, что важнее всего, он не хотел оказаться в таком положении, когда жизнь других людей, столь многих людей, зависела бы от его решений. Он ни-

когда не чувствовал в себе призвания к военному делу. Война с тысячами скучнейших мелких деталей казалась ему, даже после всех месяцев обучения, невероятно трудной, неразрешимой загадкой. Легче выполнять задачу, когда ты одинокая, неприметная личность, подчиняющаяся чьим-то приказам. Но действовать по собственной инициативе... бросать в бой сорок человек, когда каждая ошибка может привести к сорока могилам... Однако теперь больше ничего не оставалось. Если в армии считают, что таким людям, как Колклаф, можно доверить жизнь двухсот пятидесяти человек, то не следует быть слишком щепетильным, слишком скромно оценивать свои качества и бояться ответственности. «Завтра, — подумал Майкл, — я заполню анкету и сдам ее в ротную канцелярию. И в моей роте, — твердо решил он, — не будет Аккерманов, которых бы отправляли в лазарет со сломанными ребрами...»

Через пять недель Ной снова оказался в лазарете. У него было выбито еще два зуба и расплюсчен нос. Зубной врач делал ему мост, чтобы он мог есть, а хирург при каждом посещении извлекал из его носа мелкие, раздробленные кусочки кости.

Майкл теперь с трудом мог разговаривать с Ноем. Он приходил в лазарет, садился на край кровати Ноя, но оба они избегали смотреть друг другу в глаза и были довольны, когда приходил санитар и кричал: «Время посещения окончилось».

Ной к тому времени уже выдержал бой с пятью солдатами из его списка. Его искалеченное лицо было покрыто шрамами, а одно ухо навсегда изуродовано: оно напоминало расплюсченную цветную капусту. Правую бровь по диагонали пересекал белый рубец, придававший лицу Ноя дикое, вопросительное выражение. Общее впечатление от его темного изуродованного лица с застывшими дикими глазами внушало сильнейшее беспокойство.

После восьмого боя Ной опять попал в лазарет. От сильного удара в горло были временно парализованы мышцы и повреждена гортань. В течение двух дней у врача не было уверенности в том, что Ной сможет когда-либо говорить.

— Солдат, — сказал доктор, стоя над Ноем, его простое студенческое лицо выражало тревогу, — я не знаю, что вы задумали, но что бы это ни было, игра не стоит свеч. Я хочу предупредить вас, что один человек не может ис-

колотить всех солдат американской армии...— Он наклонился над Ноем и с тревогой посмотрел на него.— Вы можете что-нибудь сказать?

Ной долгое время беззвучно шевелил распухшими губами, потом издал, наконец, еле слышный, хриплый, каркающий звук. Наклонившись еще ниже, доктор переспросил:

— Что вы сказали?

— Идите занимайтесь своими пилюлями, док,— прохрипел Ной,— и оставьте меня в покое.

Доктор вспыхнул. Он был славным парнем, но с тех пор как стал капитаном, не позволял, чтобы с ним так разговаривали.

Он выпрямился и сухо сказал:

— Рад, что вы снова обрели дар речи.— Потом круто повернулся и с достоинством вышел из палаты.

Посетил Ноя и Файн, другой еврей из их роты. Он встал у кровати и в смущении вертел в своих больших руках фуражку.

— Послушай, друг,— заговорил он,— я не хотел вмешиваться в это дело, но всему есть предел. Ты поступаешь неправильно. Нельзя же размахивать руками всякий раз, как услышишь, что кто-то назвал тебя еврейским ублюдком...

— Почему нельзя? — лицо Ноя исказила болезненная гримаса.

— Потому что это бесполезно,— ответил Файн,— вот почему. Во-первых, ты маленького роста. Во-вторых, если бы ты даже и был ростом с дом и правая рука у тебя была бы как у Джо Луиса, это все равно не помогло бы. Есть на свете люди, которые произносят слово «еврейский ублюдок» машинально, что бы мы ни делали — ты, я, любой другой еврей — их ничто не изменит. А своим поведением ты заставляешь думать остальных ребят в роте, что все евреи ненормальные. Послушай-ка, они ведь не такие уж плохие, большинство из них. Они кажутся гораздо хуже, чем есть на самом деле, потому что не знают ничего лучшего. Они уже начали было жалеть тебя, но теперь, после этих проклятых боев начинают думать, что евреи — это какие-то дикие звери. Они и на меня теперь начинают коситься...

— Хорошо,— хрипло проговорил Ной,— я очень рад.

— Послушай,— терпеливо продолжал Файн,— я старше тебя, и я мирный человек. Если мне прикажут, я буду убивать немцев, но я хочу жить в мире с окружающими меня парнями. Самое лучшее оружие еврея — это иметь одно глухое ухо. Когда кто-нибудь из этих негодяев начи-

нает трепать языком о евреях, поверни к нему именно это, глухое ухо... Ты дашь им жить, и, может быть, они дадут жить тебе. Послушай, война не будет длиться вечно, и потом ты сможешь подобрать себе друзей по вкусу. А пока что правительство приказывает нам жить с этими жалкими ку-клуксклановцами, что же тут поделаешь? Послушай, сынок, если бы все евреи были такими, как ты, то нас всех уничтожили бы еще две тысячи лет назад...

— Хорошо,— повторил Ной.

— А может быть, они правы,— возмутился Файн,— может быть, ты в самом деле выжил из ума. Послушай, во мне двести фунтов весу, я мог бы избить любого в роте с завязанной за спиной рукой. Но ведь ты никогда не видел, чтобы я дрался? Я ни разу не дрался с тех пор, как надел военную форму. Я практичный человек!

Вздыхнув, Ной проговорил:

— Большой устал, Файн, он не в состоянии больше выслушивать советы практичных людей.

Файн смотрел на него в упор, отчаянно стараясь найти какое-то решение.

— Я все спрашиваю себя,— сказал он,— чего ты хочешь, какого черта тебе надо?

Ной болезненно усмехнулся.

— Я хочу, чтобы с каждым евреем обращались так, словно он весит двести фунтов.

— Ничего из этого не выйдет,— возразил Файн.— А вообще, черт с тобой: хочешь драться — иди и дерись. Если хочешь знать, я, кажется, понимаю этих бедняков из Джорджии, которые никогда не носили башмаков, пока их не обул каптенармус, лучше, чем тебя.— И, надевая с решительным видом фуражку, добавил: — Парни маленького роста — это какая-то особая раса, и я никак не могу их понять.

Он направился к выходу, показывая каждым мускулом своих могучих плеч, толстой шеей и круглой головой полное несогласие с этим изувеченным парнем, который по капризу судьбы и призывной комиссии оказался как-то связан с ним.

Шел последний бой, и, если только он останется на месте, на этом все кончится. Горящими ненавистью глазами, он смотрел вверх на Брейлсфорда, стоявшего перед ним в брюках и фуфайке. Ему казалось, что Брейлсфорд колышется на фоне слившихся в сплошной белый круг лиц и мутного неба. Брейлсфорд уже во второй раз сбил его с ног. Но и Ной успел подбить ему глаз, так что он совсем заплыл, и

нанес Брейлсфорду такой удар в живот, что тот взвыл от боли. Если он останется на месте, если только он простоит вот так на одном колене, тряся головой, чтобы она прояснилась, еще каких-нибудь пять секунд, все окончится. Все будет уже позади: десять боев, сломанные кости, долгие дни пребывания в лазарете, нервная рвота в те дни, когда предстояли бои, ошеломляющий, болезненный стук крови в ушах, когда надо подняться еще раз, чтобы встретиться с враждебными, самоуверенными, ненавидящими лицами и с тяжелыми ударами кулаков.

Еще пять секунд, и все будет доказано. Он добьется своего. Так и надо бы сделать. Что бы он ни намеревался доказать — хотя теперь все это представлялось ему как в тумане и лишь причиняло мучительную боль, — будет доказано. Им придется признать, что он одержал над ними победу. Но нет: девяти поражений и одного выхода из драки до ее окончания для этого недостаточно. Дух побеждает только тогда, когда пройдешь полный круг испытаний и муки. Даже эти невежественные, грубые люди поймут теперь, когда он будет шагать рядом с ними сначала по дорогам Флориды, а потом и по другим дорогам, под огнем противника, что он продемонстрировал такую волю и храбрость, на которую способны только лучшие из них...

Все, что от него требуется, — это остаться стоять на одном колене.

Но он встал.

Он поднял руки, ожидая, когда подойдет Брейлсфорд. Постепенно лицо Брейлсфорда снова приняло четкие очертания. Оно было белое с красными пятнами и очень взволнованное. Ной прошел несколько шагов по траве и нанес сильный удар по этому белому лицу. Брейлсфорд упал. Ной тупо уставился на распростертую у его ног фигуру. Брейлсфорд тяжело дышал, хватаясь руками за траву.

— Поднимайся, ты, трусливая сволочь, — выкрикнул кто-то из наблюдавших солдат. Ной удивился: в первый раз на этом месте обругали не его, а кого-то другого.

Брейлсфорд встал. Это был толстый и физически неразвитый парень, он служил ротным писарем и всегда ухитрялся найти отговорку, чтобы увильнуть от тяжелой работы. При каждом вдохе у него клокотало в горле. Когда Ной стал приближаться к нему, на его лице отразился ужас. Он бестолково размахивал перед собой руками.

— Нет, нет... — умоляюще проговорил он.

Ной остановился и пристально посмотрел на него. Потом отрицательно покачал головой и медленно пошел на про-

тивника. Они размахнулись одновременно, и Ной от удара снова повалился. Брейлсфорд был высокий парень, и удар пришелся Ною прямо в висок. Подогнув под себя ноги, Ной глубоко и медленно дышал. Он взглянул на Брейлсфорда.

Писарь стоял над ним, выставив вперед крепко сжатые в кулаки руки. Тяжело дыша, он шептал: «Прошу тебя, прошу тебя...» Ной продолжал сидеть в прежней позе, в голове у него шумело, но он усмехнулся, потому что понял, что хотел этим сказать Брейлсфорд: он просил Ноя не вставать.

— Ах ты, несчастная деревенщина, сукин ты сын, — отчетливо произнес Ной, — сейчас я из тебя вышибу дух. — Он поднялся и, широко размахнувшись, снова усмехнулся, увидев в глазах Брейлсфорда страдание.

Брейлсфорд тяжело повис на нем, стараясь захватить его и продолжая, больше для виду, размахивать руками, но удары его были слабыми и неточными, и Ной их не чувствовал. Зажатый в объятия толстяка, вдыхая запах пота, обильно катившегося по его телу, Ной знал, что уже победил Брейлсфорда, победил одним лишь тем, что сумел встать. Теперь это был только вопрос времени. Нервы Брейлсфорда не выдержали.

Ной внезапно вывернулся и нанес ему сильный удар снизу. Он почувствовал, как его кулак ушел в мягкий живот писаря.

Брейлсфорд беспомощно опустил руки и стоял, слегка покачиваясь и взглядом моля о пощаде. Ной рассмеялся.

— Получай, капрал, — сказал он, метаясь в бледное окровавленное лицо. Брейлсфорд не двигался с места. Он не падал и не защищался. Ной, привстав на цыпочки, продолжал колотить по смятому лицу. — Вот тебе, — крикнул он, далеко откинув руку и развернувшись всем корпусом для нового режущего удара, — вот тебе, вот тебе. — Он почувствовал прилив сил, словно по его рукам, наполняя кулаки, стекало электричество. Все его враги — те, кто украл у него деньги, кто проклинал его на марше, кто прогнал его жену, — стояли здесь перед ним, измотанные и окровавленные. Всякий раз, когда он ударял Брейлсфорда в лицо, полное муки, с широко раскрытыми глазами, у него из суставов пальцев брызгала кровь.

— Не падай, капрал, — приговаривал Ной, — еще рано, пожалуйста, не падай. — А сам снова и снова размахивался и все быстрее колотил кулаками. Удары звучали так, словно били обернутым в мокрую тряпку деревянным молотком. Увидев, что Брейлсфорд, наконец, падает, Ной подхватил

его и старался удержать одной рукой, чтобы успеть нанести еще два, три, дюжину ударов. И когда он уже не смог больше удерживать это размякшее окровавленное месиво, он заплакал от досады. Брейлсфорд соскользнул на землю.

Ной опустил руки и повернулся к зрителям. Все избегали встречаться с ним взглядом.

— Все в порядке, — громко заявил он, — конец.

Но все молчали, а затем, словно по сигналу, повернулись и стали расходиться. Ной смотрел, как удаляющиеся фигуры растворяются в сумерках среди казарменных стен. Брейлсфорд лежал на том же месте, никто не остался, чтобы оказать ему помощь.

Положив руку на плечо Ноя, Майкл сказал:

— Теперь давай подождем до встречи с немецкой армией.

Ной стряхнул дружескую руку.

— Все ушли. Все эти мерзавцы просто взяли да ушли, — сказал Ной и взглянул на Брейлсфорда. Писарь пришел в себя, хотя все еще продолжал лежать на траве лицом вниз. Он плакал. Он медленно поднес руку к глазам. Ной подошел к нему и опустился на колени.

— Не трогай глаз, — приказал он, — а то вотрешь в него грязь.

С помощью Майкла он начал поднимать Брейлсфорда на ноги. Им пришлось поддерживать писаря на всем пути до казармы. Там они вымыли ему лицо, промыли раны, а он, беспомощно опустив руки, стоял перед зеркалом и плакал.

На следующий день Ной дезертировал.

Майкла вызвали в ротную канцелярию.

— Где он? — закричал Колклаф.

— Кто, сэр? — спросил Майкл, вытянувшись по команде «смирно».

— Вы прекрасно знаете, черт возьми, кого я имею в виду. Вашего друга. Где он?

— Я не знаю, сэр.

— Вы мне сказки не рассказывайте! — заорал Колклаф. Все сержанты роты были собраны в канцелярии. Стоя позади Майкла, они напряженно смотрели на своего капитана. — Ведь вы были его другом, не так ли?

Майкл колебался: трудно было назвать их отношения дружбой.

— Отвечайте быстрее. Были вы его другом?

— Я полагаю, что был, сэр.

— Отвечайте прямо: «да, сэр» или «нет, сэр» и больше ничего! Были вы его другом или нет?

- Да, сэр, был.
- Куда он уехал?
- Я не знаю, сэр.

— Врете! — лицо Колклафа побледнело, кончик носа задергался. — Вы помогли ему убежать. Если вы забыли воинский кодекс, я вам кое-что напомню, Уайтэкр: за содействие дезертирству или несообщение о нем предусмотрено точно такое же наказание, как и за само дезертирство. Вы знаете, что за это полагается в военное время?

— Да, сэр.

— Что? — голос Колклафа неожиданно зазвучал спокойной, почти мягкой. Он сполз ниже и, откинувшись на спинку стула, кротко взглянул на Майкла.

— Может быть, и смертная казнь, сэр.

— Смертная казнь, — повторил Колклаф, — смертная казнь. Вот что, Уайтэкр, можно считать, что вашего друга уже поймали, и, когда он будет в наших руках, мы спросим его, не помогли ли вы ему дезертировать и не говорил ли он вам, что собирается бежать. Больше ничего не требуется. Если он говорил вам об этом, а вы не доложили, это рассматривается как содействие дезертирству. Вы знали об этом, Уайтэкр?

— Да, сэр, — произнес Майкл, думая про себя: «Невероятно, не может быть, что это происходит со мной, ведь это же смешной анекдот об армейских чудаках, который я слышал в компании за коктейлем».

— Я допускаю, Уайтэкр, что военный суд вряд ли приговорит вас к смертной казни только за то, что вы не доложили об этом, но вас вполне могут упрятать в тюрьму на двадцать-тридцать лет или пожизненно. Федеральная тюрьма, Уайтэкр, это не Голливуд и не Бродвей. В Ливенуэрте вам не очень часто придется встречать свое имя на столбцах газет. Если ваш друг скажет, что он говорил вам о своем намерении бежать, этого будет достаточно. А он вполне может сказать это, Уайтэкр, вполне... Вот так... — Колклаф с важным видом положил руки на стол. — Но я не хочу раздувать это дело. Меня интересует боевая подготовка роты, и я не хочу, чтобы этому мешали подобные дела. Единственное, что от вас требуется, — это сказать мне, где находится Аккерман, и мы сразу же позабудем обо всем. Вот и все. Скажите только, где, по-вашему, он может быть... Ведь это не так уж много, не правда ли?

— Да, сэр, — ответил Майкл.

— Вот и хорошо, — быстро проговорил Колклаф, — куда он уехал?

— Я не знаю, сэр.

Кончик носа Колклафа опять задергался. Он нервно зевнул:

— Послушайте, Уайтэкр,— сказал он,— надо отбросить ложное чувство товарищества в отношении такого человека, как Аккерман. Все равно он в нашей роте пришелся не ко двору. Как солдат, он никуда не годился, ни у кого в роте не пользовался доверием и с начала до конца был постоянным источником неприятностей. Надо быть безумцем, чтобы ради такого человека идти на риск пожизненного тюремного заключения. Мне бы не хотелось, чтобы вы, Уайтэкр, сделали такую глупость. Вы интеллигентный человек, Уайтэкр, до армии вы преуспевали в жизни и со временем можете стать хорошим солдатом. Я хочу помочь вам... А теперь...— и он победоносно улыбнулся,— где рядовой Аккерман?

— Извините, сэр,— ответил Майкл,— но я не знаю.

Колклаф поднялся.

— Ну хорошо,— тихо сказал он,— уходите отсюда, вы, покровитель евреев.

— Слушаюсь, сэр, благодарю вас, сэр.— Майкл отдал честь и вышел.

У входа в столовую Майкла ожидал Брейлсфорд. Прислонясь к стене, он ковырял в зубах и сплевывал. После памятной драки с Ноем он еще больше растолстел, но в его чертах появилось выражение затаенной обиды, а в голосе стали звучать жалобные нотки. Выходя из столовой, отяжелевший после сытного обеда, состоявшего из свиных отбивных котлет с картофелем и макаронами и пирога с персиками, Майкл заметил, что Брейлсфорд машет ему рукой. Майкл хотел было сделать вид, что не заметил ротного писаря, но тот поспешил вслед за ним, крича: «Уайтэкр, подожди минуточку». Майкл повернулся и посмотрел ему в лицо.

— Привет, Уайтэкр,— сказал Брейлсфорд,— я тебя искал.

— В чем дело? — спросил Майкл.

Брейлсфорд беспокойно огляделся вокруг. Разомлевшие от обильной пищи солдаты медленным потоком выходили из столовой и проходили мимо них.

— Здесь неудобно,— сказал он,— давай пройдемся немного.

— Мне еще надо кое-что сделать перед парадом...— возразил было Майкл.

— Это займет не больше минуты.— Брейлсфорд много-

значительно подмигнул: — Я думаю, тебе будет интересно послушать.

Майкл пожал плечами.

— Ладно,— согласился он и пошел рядом с писарем по направлению к плацу.

— Эта рота,— начал Брейлсфорд,— мне осточертела. Сейчас я добиваюсь перевода. В штабе полка есть один сержант, которого должны уволить по болезни, у него артрит, и я уже говорил кое с кем. Как подумаю об этой роте, меня просто бросает в дрожь...

Майкл вздохнул: ведь он собирался эти драгоценные двадцать минут послеобеденного отдыха полежать на койке.

— Послушай-ка,— прервал Майкл,— к чему ты клонишь?

— После того боя,— продолжал Брейлсфорд,— эти мерзавцы не дают мне прохода. Знаешь, ведь я не хотел подписываться на том листке. Но они уверяли меня, что это только шутка, что он ни за что не станет драться с десятью самыми крупными парнями в роте. Я ничего не имел против этого еврея. Я не хотел драться. Да я и не умею. Каждый мальчишка в нашем городе, бывало, побивал меня, хотя я был большого роста. Какого черта, разве это преступление, если не любишь драться?

— Нет.

— К тому же я не могу долго сопротивляться. Когда мне было четырнадцать лет, я болел воспалением легких и с тех пор быстро устаю. Врач меня даже освобождает от походов. А попробуй скажи такое этому подлецу Рикетту или еще кому-нибудь из них,— с горечью добавил он.— С тех пор как Аккерман нокаутировал меня, они обращаются со мной так, словно я продал немецкой армии военные секреты. Я держался сколько мог, ведь правда? Я стоял, а он бил и бил меня, но я долго не падал, разве это не правда?

— Правда,— согласился Майкл.

— Этот Аккерман прямо бешеный,— продолжал Брейлсфорд,— хоть маленький, а до чего злой. Не люблю связываться с такими людьми. В конце концов, он же разбил нос в кровь даже Доннелли, правда? А ведь Доннелли дрался в «Золотой перчатке». Чего же, черт побери, можно ожидать от меня?

— Ладно,— сказал Майкл,— все это я знаю. Что еще ты хотел сказать?

— Мне все равно житья не будет в этой роте.— Брейлсфорд отбросил зубочистку и печально уставился на пыльный плац.— А сказать я хотел то, что и тебе житья здесь не будет.

Майкл остановился и резко спросил:

— Что такое?

— Только ты да тот еврей обошлись со мной как с человеком,— сказал Брейлсфорд,— и я хочу помочь тебе. Я хотел бы помочь и ему, если бы мог, честное слово...

— Ты что-нибудь слышал? — спросил Майкл.

— Да,— ответил Брейлсфорд.— Его поймали прошлой ночью на острове Губернатора в Нью-Йорке. Запомни, что никто об этом не должен знать — это секрет. Но я-то знаю, потому что все время сижу в ротной канцелярии...

— Я никому не скажу.— Майкл сокрушенно покачал головой, представив себе Ноя в руках военной полиции, одетого в синюю рабочую форму с большой белой буквой Р¹, нанесенной по трафарету на спине, и шагающего впереди вооруженной охраны.— Как он себя чувствует?

— Не знаю, ничего не говорят. Колклаф дал нам на радостях по глотку виски «Три перышка». Вот все, что я знаю. Но я не об этом хотел тебе сказать. Дело касается самого тебя.— Брейлсфорд сделал паузу, явно предвкушая эффект, который он сейчас произведет.— Твое заявление о зачислении в офицерскую школу,— произнес он,— то, что ты давно подавал...

— Ну? Что с ним?

— Оно вчера пришло обратно. Отказано.

— Отказано? — тупо переспросил Майкл.— Но я прошел комиссию, и я...

— Оно вернулось из Вашингтона с отказом. Двое других ребят из нашей роты приняты, а ты нет. ФБР² сказало «нет».

— ФБР? — Майкл пристально посмотрел на Брейлсфорда, подозревая, что это хитро задуманная шутка, что его разыгрывают.— При чем же здесь ФБР?

— Оно проверяет всех, и тебя проверили. Они говорят, ты не годишься в офицеры: нелоялен.

— Ты меня разыгрываешь?

— На кой черт мне тебя разыгрывать? — обиделся Брейлсфорд.— Хватит с меня шуток. ФБР говорит, что ты нелоялен, вот и все.

— Нелоялен.— Майкл в раздумье покачал головой.— В чем же это выражается?

¹ Начальная буква английского слова prisoner (заключенный).— *Прим. ред.*

² ФБР — Федеральное бюро расследований — служба тайного политического сыска министерства юстиции США.— *Прим. ред.*

— Ты красный,— сказал Брейлсфорд,— они нашли это в твоём личном деле, «в досье», как говорят в ФБР. Тебе нельзя доверять сведения, которые могут быть полезны для врага.

Майкл рассеянно смотрел на плац. На пыльных островках травы лежали солдаты, двое лениво перебрасывались бейсбольным мячом. Над опаленной рыжей землей и увядшей зеленью под лёгким ветерком трепетал на мачте звездный флаг. А где-то в Вашингтоне сидел за столом человек, который в то время, возможно, смотрел на такой же точно флаг на стене своего кабинета, и этот человек спокойно и безжалостно записал в его личное дело: «Нелоялен. Связан с коммунистами. Не может быть рекомендован».

— Испания,— сказал Брейлсфорд.— Это имеет какое-то отношение к Испании. Мне удалось подглядеть в их бумажке. Разве Испания коммунистическая?

— Не совсем

— Ты когда-нибудь был в Испании?

— Нет, я помогал организовать комитет, который отправлял туда санитарные машины и консервированную кровь.

— На этом тебя и поймали,— сказал Брейлсфорд.— Тебе этого не скажут. Скажут, что у тебя нет необходимых командирских качеств или что-нибудь вроде этого, но я говорю тебе правду.

— Спасибо,— сказал Майкл,— большое спасибо.

— Чепуха! — воскликнул Брейлсфорд.— Хотя ты обращаешься со мной как с человеком. Послушай меня. Постарайся добиться перевода. Если уж мне не будет жизни в этой роте, то тебе тем более. Колклаф помешан на красных. Теперь до самой отправки за океан тебя будут гонять в наряд на кухню, а в наступлении тебя первого пошлют в разведку. Я и цента не поставлю на то, что ты выйдешь оттуда живым.

— Спасибо, Брейлсфорд. Постараюсь воспользоваться твоим советом.

— Конечно,— сказал Брейлсфорд.— В армии надо уметь спасать свою шкуру. Будь уверен, здесь никто о тебе не позаботится.— Он достал другую зубочистку и принялсяковырять в зубах, время от времени рассеянно сплевывая.— Помни,— предупредил он,— я не говорил тебе ни слова.

Майкл кивнул головой, и Брейлсфорд ленивой походкой направился вдоль плаца в ротную канцелярию, где ему не было жизни.

Издали, через тысячи миль гудящих проводов, Майкл услышал слабый металлический голос Кэхуна.

— Да, это Томас Кэхун. Я согласен оплатить вызов рядового Уайтэкра...

Майкл закрыл дверь телефонной будки отеля «Ролингз». Он совершил длительную поездку в город, потому что не хотел говорить по телефону из лагеря, где кто-нибудь мог подслушать его.

— Говорите, пожалуйста, не больше пяти минут,— предупредила телефонистка,— другие ждут.

— Хэлло, Том,— сказал Майкл,— не думай, что я обед-нел, просто у меня не оказалось нужных монет.

— Хэлло, Майкл,— приветливо ответил Кэхун.— Не беспокойся, я убавлю на эту сумму свой подоходный налог.

— Том, слушай меня внимательно. У тебя нет знакомых в Управлении культурно-бытового обслуживания войск в Нью-Йорке, из тех людей, что ставят пьесы, организуют развлечения в лагерях и так далее?

— Есть кое-кто, с кем я постоянно работаю.

— Мне надоело в пехоте,— сказал Майкл,— не пытаешься ли ты устроить мне перевод? Я хочу уехать из Штатов. Подразделения этой службы чуть не ежедневно отправляют за границу. Не можешь ли ты меня устроить в одно из них?

На другом конце провода наступила короткая пауза.

— А-а,— протянул Кэхун, и в его голосе послышался оттенок разочарования и укора.— Конечно могу, если ты этого хочешь.

— Сегодня вечером я отправлю тебе спешное письмо, в котором сообщу свой личный номер, воинское звание и наименование части. Тебе это понадобится.

— Хорошо,— ответил Кэхун все еще с некоторым холодком.— Я сразу же займусь этим.

— Извини меня, Том,— сказал Майкл,— но я не могу объяснить тебе по телефону, почему я так поступаю. С этим придется подождать, пока я не приеду.

— Ты знаешь, что мне не нужно никаких объяснений. Я уверен, что у тебя есть на то свои причины.

— Да, у меня есть причины. Еще раз благодарю. Ну, а теперь я должен закончить разговор. Здесь ожидает один сержант, он хочет позвонить в родильный дом в Даллас-Сити.

— Желаю успеха, Майкл,— сказал Кэхун, и Майкл явно ощутил, что Кэхуну пришлось сделать над собой усилие, чтобы эти слова прозвучали тепло.

— До свидания, надеюсь, что скоро увидимся.

— Конечно,— ответил Кэхун.— Конечно увидимся.

Майкл повесил трубку, открыл дверь будки и вышел. В будку быстро вошел высокий техник-сержант с печальным лицом. Держа в руке горсть монет по двадцать пять центов, он тяжело опустился на скамеечку под телефоном.

Майкл вышел на улицу и пошел по тротуару, освещенному тусклым светом от неоновых вывесок баров, в конец квартала, где находилось помещение, предназначенное для отдыха солдат. Он сел за один из длинных столов, за которыми сидели солдаты. Одни из них спали, неловко развалившись на потертых стульях, другие что-то старательно писали.

«Я делаю то,— подумал Майкл, пододвигая к себе лист бумаги и открывая автоматическую ручку,— чего обещал себе никогда не делать, чего никогда не смог бы сделать ни один из этих усталых, простодушных парней. Я использую своих друзей, их влияние, выгоды своего прежнего положения. Разочарование Кэхуна, пожалуй, вполне законно. Нетрудно представить, что сейчас должен думать Кэхун, сидя в своей квартире у телефона, по которому он только что говорил со мной. «Все интеллигенты одинаковы,— вероятно, думает он,— что бы они ни говорили. Когда дело принимает серьезный оборот, они идут на попятную. Как только становится слышнее грохот орудий, они вдруг обнаруживают, что у них есть более важные дела в другом месте...»

Нужно будет рассказать Кэхуну о Колклафе, о чиновнике из ФБР, который одобряет Франко, а не Рузвельта, о том, что твоя судьба висит на кончике его пера и некуда на него жаловаться, негде искать справедливости. Нужно рассказать Кэхуну об Аккермане и о десяти кровопролитных боях на глазах безжалостной роты. Нужно рассказать о том, что значит быть в подчинении у человека, который хочет, чтобы тебя убили. Штатским трудно понять такие вещи, но он постарается объяснить. Существует огромная разница между гражданскими и армейскими условиями жизни. Американский гражданин знает, что он всегда может направить свое дело властям, которым доверено вершить правосудие. А солдат... Стоит надеть первую пару армейских ботинок, и сразу теряешь всякую надежду, что кто-нибудь услышит твою жалобу. «Жалуйся своей бабушке, приятель, никому нет дела до твоих горестей».

Он постарается объяснить все это Кэхуну и уверен, что тот постарается понять его. Но он знал, что все равно в голосе Кэхуна навсегда останется едва заметная нотка разо-

чарования. И Майкл знал, что, честно говоря, ему не в чем будет винить Кэхуна, потому что и он сам никогда не сможет полностью избавиться от чувства разочарования.

Он принялся писать письмо Кэхуну, тщательно выводя печатными буквами свой личный номер и номер части. И когда он выводил эти хорошо знакомые ему цифры, которые покажутся Кэхуну совсем неизвестными, он почувствовал, что пишет письмо чужому человеку.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

«Боюсь, что мое письмо может показаться бредом сумасшедшего,— читал капитан Льюис,— но я не сумасшедший и не хочу, чтобы меня сочли ненормальным. Я пишу эти строки в главном читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки на углу Пятой авеню и 42-й улицы в пять часов дня. Передо мной на столе лежит экземпляр военного кодекса и том «Биографии герцога Мальборо» Уинстона Черчилля, а сидящий рядом со мной мужчина делает выписки из «Этики» Спинозы. Я пишу вам об этом для того, чтобы показать, что я знаю, что делаю, и что мой рассудок и наблюдательность никоим образом не ослабли...»

— За всю свою службу в армии,— сказал капитан Льюис, обращаясь к секретарше из женской вспомогательной службы, сидевшей за соседним столом,— я не читал ничего подобного. Откуда мы получили это письмо?

— Нам его переслало управление начальника военной полиции,— ответила секретарша.— Они хотят, чтобы вы посмотрели заключенного и сообщили, не кажется ли вам, что он симулирует невменяемость.

«Я закончу это письмо,— продолжал читать капитан Льюис,— потом поеду на метро до Бэттери, переправлюсь на пароме на остров Губернатора и отдамся в руки властей».

Капитан Льюис вздохнул, пожалев на минуту, что он когда-то изучал психиатрию. «Почти всякая другая работа в армии,— подумал он,— была бы проще и благодарнее».

«Прежде всего,— говорилось дальше в письме, написанном неровным, нервным почерком на тонкой бумаге,— я хочу заявить, что никто не помогал мне бежать из лагеря и никто не знал о моем намерении. Мою жену тоже не нужно беспокоить, потому что с тех пор, как я приехал в Нью-Йорк, я ни разу не видел ее и не пытался установить с ней какую-либо связь. Я должен был сам разобраться

в этом деле и не хотел, чтобы на мое решение так или иначе повлияли какие-либо претензии или чувства. Никто в Нью-Йорке не укрывал меня и не говорил со мной с тех пор, как я прибыл сюда две недели тому назад, и даже случайно я не встречал никого из знакомых. Большую часть дня я бродил по городу, а ночевал в различных отелях. У меня еще осталось семь долларов, на которые я смог бы прожить дня три-четыре, но постепенно я пришел к определенному решению, которому должен следовать, и больше откладывать не хочу».

Капитан Льюис посмотрел на часы. У него была назначена встреча за завтраком в городе, и он не хотел опаздывать. Он встал, надел шинель и засунул письмо в карман, чтобы прочесть его на пароме.

— Если меня будут спрашивать, — сказал он секретарше, — я уехал в госпиталь.

— Слушаюсь, сэр, — сухо ответила девушка.

Капитан Льюис надел фуражку и вышел. Был солнечный ветренный день, и по ту сторону гавани, уходя корнями в зеленую воду, стоял, не боясь никаких штормов, город Нью-Йорк. Всякий раз, видя перед собой этот город — мирный, огромный, сияющий, капитан ощущал легкий укол совести, чувствуя, что солдату вряд ли подобает проводить войну в таком месте. Тем не менее он четко и энергично отвечал на приветствия солдат, встречавшихся ему на пути к пристани, а когда поднялся на верхнюю палубу в отделение для офицеров и их семей, почувствовал себя уже настоящим военным. Капитан Льюис был неплохим человеком и часто страдал от угрызений совести и чувства своей вины, которую он покорно признавал. Если бы его направили на какой-нибудь опасный и ответственный участок, он, несомненно, сумел бы проявить храбрость и принести пользу. Впрочем, он неплохо проводил время и в Нью-Йорке. Он жил в хорошем отеле на льготных условиях, установленных для военных; жена его оставалась с детьми в Канзас-Сити, а он развлекался с двумя девицами-манекенщицами, которые, кроме того, работали в Красном Кресте; обе они были приятнее и опытнее всех девушек, которых он знал раньше. Иногда, просыпаясь утром в плохом настроении, он решал, что этому пустому времяпрепровождению надо положить конец, что он должен просить назначения на фронт или, по крайней мере, принять какие-то меры, чтобы оживить свою работу на острове Губернатора. Но, поворчав день-два, наведя порядок на своем столе и излив душу полковнику Брюсу, он снова погружался в прежнюю рутину легкой жизни.

«Я исследовал причины своего поведения,— читал капитан Льюис в отделении для офицеров тихо качавшегося на якорях парома,— и считаю, что могу честно и вразумительно изложить их. Непосредственной причиной моего поступка является то, что я еврей. Большинство солдат в моей роте были южане, почти без всякого образования. Их недружелюбное отношение ко мне уже начинало, мне кажется, исчезать, как вдруг оно было опять раздуто новым сержантом, назначенным к нам командиром взвода. И все же, вероятно, я поступил бы точно так же, если бы и не был евреем, хотя последнее обстоятельство привело к кризису и сделало невозможным мое дальнейшее пребывание в роте».

Капитан Льюис вздохнул и поднял глаза. Паром приближался к южной оконечности Манхэттена. Город выглядел чистым, будничным и надежным, и тяжело было думать о парне, который бродил по его улицам, обремененный своими невзгодами, готовясь зайти в читальный зал библиотеки и изложить все на бумаге начальнику военной полиции. Бог знает, как поняла военная полиция этот документ.

«Я считаю,— говорилось дальше в письме,— что мой долг сражаться за свою страну. Я не думал так, когда уходил из лагеря, но теперь сознаю, что был неправ, что не представлял себе ясно обстановки, потому что был целиком поглощен собственными неприятностями и ожесточился против окружающих меня людей. Мое состояние стало невыносимым после того, что произошло в последний вечер моего пребывания в лагере. Враждебность роты вылилась в ряд кулачных боев со мной. Меня вызвали на бой десять самых здоровых солдат роты. Я чувствовал, что должен принять этот вызов.

Я потерпел поражение в девяти боях, однако дрался честно и не просил пощады. В десятом бою мне удалось побить своего противника. Он несколько раз сбивал меня с ног, но в конце концов я нокаутировал его. Это было моим высшим торжеством за долгие недели боев. Солдаты роты, наблюдавшие все бои, обычно оставляли меня лежать на земле и осыпали поздравлениями победителя. Однако на этот раз, когда я стал перед ними, надеясь, вероятно по глупости, увидеть хоть искру восхищения или завистливого уважения после всего, что я совершил, они, все как один, молча повернулись и ушли. Когда я остался один, мне показалось просто невыносимым, что все, что я сделал, все, что испытал ради того, чтобы завоевать себе место в роте, оказалось совершенно напрасным.

Вот тогда, глядя на спины удаляющихся людей, бок о бок с которыми мне предстояло сражаться и, может быть, умереть, я и решил уйти.

Теперь я понимаю, что был не прав. Я верю в нашу страну и в эту войну и считаю такие одиночные действия недопустимыми. Я должен воевать, но думаю, что имею право просить о переводе в другую дивизию, где меня будут окружать люди, для которых важнее убивать солдат противника, чем убить меня.

С уважением, рядовой армии США
Ной Аккерман».

Паром подошел к пристани, и капитан Льюис медленно встал. Спускаясь по трапу, он задумался, сложил письмо и опустил его в карман. «Бедняга»,— подумал он. На миг у него появилась мысль отложить завтрак, тут же вернуться на остров и разыскать Ноя. «А, ладно,— подумал он,— раз уж я здесь, то могу позавтракать и повидать его позже. Постараюсь быстрее разделаться и пораньше вернуться обратно».

Однако девушка, с которой он завтракал, в тот день была свободна от работы. В ожидании, пока освободится столик, он выпил три коктейля, а потом девушка захотела поехать с ним домой. Последние три встречи она была немного холодна с ним, и он не рискнул оставить ее одну. К тому же в голове у него немного шумело, и он решил, что пойдет на свидание с Ноем, когда будет совершенно трезвым, с ясной головой. Надо как-то помочь парню, сделать все, что от него зависит. Итак, он отправился вместе с девушкой к себе домой, откуда позвонил на службу и сказал лейтенанту Клаузеру, чтобы тот расписался за него после окончания работы.

Он отлично провел время с девушкой и к пяти часам убедился, что глупо было думать, будто она охладела к нему.

Посетительница была очень хорошенькой, хотя в твердом взгляде ее темных глаз сквозила тщательно скрываемая тревога. Льюис заметил также, что она беременна. Судя по одежде, она была небогата. Льюис вздохнул: обстоятельства складывались хуже, чем он ожидал.

— Очень любезно с вашей стороны,— сказала Хоуп,— что вы связались со мной. За все это время мне не давали возможности повидаться с Ноем, ему не разрешали писать

письма и не доставляли моих писем ему.— Она говорила спокойным, твердым голосом, в котором не было и тени жалобы.

— В армии свои порядки, миссис Аккерман,— сказал Льюис, испытывая чувство стыда за всех окружающих его людей, за все мундиры, орудия, казармы.— Вы понимаете?

— Кажется, понимаю,— ответила Хоуп.— Ной здоров?

— Он чувствует себя неплохо,— дипломатично ответил Льюис.

— Мне разрешат повидаться с ним?

— Думаю, что да. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить.— Нахмутив брови, он посмотрел на секретаршу в военной форме, которая с нескрываемым интересом наблюдала за ними из-за своего стола.— Будьте любезны, капрал,— обращаясь к ней, добавил Льюис.

— Слушаюсь, сэр.— Секретарша неохотно поднялась и медленно вышла из комнаты. У нее были толстые ноги, и швы на чулках, как всегда, были не на месте. «Почему,— невольно подумал Льюис,— именно такие поступают на военную службу?» Но тут же спохватился, вспомнив, что думает не о том, о чем нужно, и нервно нахмурился, словно эта серьезная женщина с твердым взглядом, сидевшая перед ним, выпрямившись на жестком стуле, могла каким-то образом прочесть его мысли. Он понимал, что в своем ужасном положении она была бы шокирована и возмущена.

— Полагаю,— сказал Льюис,— что вы немного в курсе дела, хотя вы не видели своего мужа и не получали от него никаких известий.

— Да,— ответила Хоуп.— Его друг, рядовой Уайтэкр, который служил с ним во Флориде, проезжая через Нью-Йорк, зашел ко мне.

— Неприятная история, очень неприятная,— сказал Льюис и вдруг покраснел, заметив, что молодая женщина, явно иронически, чуть улыбнулась уголками рта в ответ на его сочувствию.— Так вот,— быстро заговорил он,— суть дела такова: ваш муж просит перевести его в другую часть... Согласно положению он может быть предан военному суду по обвинению в дезертирстве.

— Но он же не дезертировал,— возразила Хоуп,— он явился с повинной.

— По положению,— сказал Льюис,— он дезертировал, потому что в то время, когда он оставил свой пост, он не намеревался возвратиться.

— О,— воскликнула Хоуп,— положение предусматривает все случаи, не правда ли?

— Боюсь, что да,— ответил Льюис, испытывая неловкость под пристальным взглядом Хоуп. Было бы легче, если бы она заплакала.— Впрочем,— официальным тоном продолжал он,— мы понимаем, что имеются смягчающие вину обстоятельства...

— О боже,— сухо рассмеялась Хоуп,— смягчающие вину обстоятельства!

— ...и принимая это во внимание,— настойчиво продолжал Льюис,— мы склонны не предавать его военному суду, а вернуть в строй.

Хоуп улыбнулась печальной, доброй улыбкой. «Какая обязательная женщина,— подумал Льюис,— гораздо приятнее любой из моих манекенщиц...»

— Что ж, в таком случае,— сказала Хоуп,— все решается просто. Ной хочет вернуться в строй, и армия готова...

— Это не так просто. Генерал, командующий базой, откуда дезертировал ваш муж, настаивает, чтобы он был возвращен в ту роту, где проходил службу, а здешние власти не станут вмешиваться.

— А,— спокойно сказала Хоуп.

— А ваш муж отказывается возвращаться. Он предпочитает в таком случае пойти под суд.

— Если он вернется туда,— мрачно проговорила Хоуп,— его убьют. Этого они добиваются?

— Ну, ну,— сказал Льюис, чувствуя, что, раз он носит мундир и две яркие капитанские полоски, он обязан в какой-то степени защищать армию.— Дело обстоит не так уж плохо, как вы думаете.

— Не так плохо? — с горечью спросила Хоуп.— Что же, капитан, по вашему мнению, было бы плохо?

— Извините, миссис Аккерман,— смиренно проговорил Льюис,— я понимаю ваши чувства, и знайте, что я стараюсь помочь...

— Конечно,— сказала Хоуп, порывисто коснувшись его руки,— простите меня.

— Если состоится суд, его наверняка посадят в тюрьму.— Льюис сделал паузу.— На длительный срок, на очень длительный срок.— Он не сказал, что написал по этому вопросу резкое письмо в управление генерального инспектора и положил его в стол, чтобы доработать следующим утром, а когда стал перечитывать, то подумал, что он ставит себя под страшный удар, что в армии есть хороший способ: отправлять беспокойных офицеров, которые считают нужным жаловаться на старших начальников, в такие неприят-

ные места, как Ассам, Исландия или Новая Гвинея. Он не стал рассказывать Хоуп и того, что положил это письмо в карман и четыре раза в течение дня перечитывал его, а в пять часов разорвал в клочки, а потом, вечером, пошел и напился.— Двадцать лет, миссис Аккерман,— продолжал он, стараясь говорить как можно мягче,— двадцать пять лет. Военный суд обычно выносит суровый приговор...

— Теперь я знаю, зачем вы вызвали меня,— произнесла Хоуп безжизненным голосом.— Вы хотите, чтобы я убила Ноя вернуться в свою роту.

Льюис проглотил слюну.

— Примерно так, миссис Аккерман.

Хоуп посмотрела в окно. Трое заключенных в синей рабочей форме грузили мусор на машину, а позади стояли два конвоира, вооруженные винтовками.

— Ваша гражданская специальность тоже психиатр, капитан? — неожиданно спросила она.

— Собственно говоря... гм... да,— растерянно ответил Льюис, не ожидавший такого вопроса.

Хоуп резко засмеялась.

— Вам не стыдно сегодня за себя? — спросила она.

— Попрошу вас,— сухо сказал Льюис,— у меня своя работа, и я выполняю ее так, как считаю нужным.

Хоуп тяжело поднялась, испытывая некоторую неловкость от своей беременности. Одежда была ей тесна и нелепо поднималась спереди. Льюису вдруг представилось, как Хоуп отчаянно пытается переделать свое платье, не имея возможности купить специальную одежду.

— Ладно,— сказала она,— я это сделаю.

— Ну вот и хорошо,— улыбнулся ей Льюис. «В конце концов,— подумал он про себя,— это лучший выход для всех, да и парень не слишком пострадает». И когда он поднял трубку, чтобы позвонить капитану Мейсону в управление начальника военной полиции и сказать ему, чтобы Аккермана подготовили к свиданию, он уже сам почти верил этому.

Он вызвал Мейсона через коммутатор и ждал ответа.

— Кетати,— обратился он к Хоуп,— ваш муж знает о... ребенке? — Из деликатности он старался не смотреть на нее.

— Нет, он ничего об этом не знает.

— Вы могли бы... гм... использовать это как довод,— сказал Льюис, держа около уха жужжащий телефон,— на тот случай, если он не захочет изменить своего решения. Ради ребенка... отец, опозоренный тюрьмой...

— Должно быть, замечательно быть психиатром,— ска-

зала Хоуп.— Человек становится таким практичным.

Льюис почувствовал, что у него свело челюсти от смущения.

— Я не имел в виду ничего такого...— начал он.

— Прошу вас, капитан, придержите свой глупый язык за зубами.

«О боже — сокрушался про себя Льюис,— армия делает людей идиотами. Я никогда не вел бы себя так скверно, если бы на мне было штатское платье».

— Капитан Мейсон,— послышался голос в трубке.

— Хэлло, Мейсон,— обрадовался Льюис,— у меня здесь миссис Аккерман. Не направите ли вы сейчас же рядового Аккермана в комнату для посетителей?

— В вашем распоряжении пять минут,— предупредил конвоир. Он встал в двери пустой комнаты с решеткой на окнах и двумя небольшими деревянными стульями посередине.

Самое главное — не заплакать. Какой он маленький! Все другое — потерявший форму разбитый нос, уродливо разорванное ухо, рассеченная бровь — выглядело ужасно, но труднее всего было примириться с тем, что он казался таким маленьким. Жесткая синяя рабочая форма была слишком велика ему, он терялся в ней и казался совсем крошечным. Сердце разрывалось, глядя на то, как его унизили. Все в нем выражало покорность, все, кроме глаз: и робкая походка, какой он вошел в комнату, и мягкая неуверенная улыбка, какой он встретил ее, и смущенный, поспешный поцелуй на виду у конвоира, и тихий, кроткий голос, каким он сказал «здравствуй». Страшно было подумать о той длительной, жестокой обработке, которая сделала ее мужа таким покорным. Только глаза его горели диким и непокорным огнем.

Они сели на жесткие стулья, почти касаясь друг друга коленями, словно две старые дамы за послеобеденным чаем.

— Ну вот,— мягко сказал Ной, нежно улыбаясь ей,— ну вот.— Во рту у него между зажившими деснами зияли темные провалы там, где были выбиты зубы, и это придавало его искалеченному лицу ужасное выражение: придурковатое и вместе с тем чуть хитрое. Но Уайтэкр подготовил ее, рассказав про выбитые зубы, и на ее лице не дрогнул ни один мускул.

— Знаешь, о чем я думаю все это время?

— О чем? — спросила Хоуп.— О чем ты думаешь?

— О том, что ты однажды сказала.

— Что же это?

— «А ведь совсем не было жарко, даже нисколько!» — Он улыбнулся ей, и снова ей стало ужасно трудно сдерживать слезы. — Я хорошо помню, как ты это сказала.

— Вздор, — сказала Хоуп, тоже пытаясь улыбнуться, — стоило вспоминать об этом.

Они молча смотрели друг на друга, словно им не о чем было больше говорить.

— Твои тетка и дядя, — прервал молчание Ной, — все еще живут в Бруклине? Все в том же саду?..

— Да. — У двери зашевелился конвоир. Он почесался спиной о косяк, послышалось шуршание его грубой одежды.

— Послушай, — сказала Хоуп, — я разговаривала с капитаном Льюисом. Знаешь, что он от меня хочет...

— Да, я знаю.

— Я не собираюсь уговаривать тебя, — сказала Хоуп, — поступай так, как считаешь нужным.

Тут Хоуп заметила, что Ной пристально смотрит на нее, медленно переводя взгляд на ее живот, туго обтянутый старым платьем. — Я ему ничего не обещала, — продолжала она, — ничего...

— Хоуп, — сказал Ной, не отрывая глаз от ее округленного живота, — скажи мне правду.

Хоуп вздохнула.

— Хорошо, — сказала она. — Пять с лишним месяцев. Не знаю, почему я не написала тебе, когда могла. Почти все время я должна была лежать в постели. Пришлось бросить работу. Доктор говорит, что, если я буду продолжать работать, у меня может быть выкидыш. Вот поэтому я, вероятно, и не сообщила тебе. Я хотела быть уверенной, что все будет хорошо.

Ной испытующе посмотрел на нее.

— Ты рада? — спросил он.

— Не знаю, — ответила Хоуп, мысленно желая конвоиру провалиться сквозь землю. — Я ничего не знаю. Это ни в какой мере не должно повлиять на твоё решение.

Ной вздохнул, потом наклонился и поцеловал ее в лоб. — Это замечательно, — сказал он, — просто замечательно.

Хоуп посмотрела на конвоира, окинула взглядом пустую комнату, окна в решетках.

— Разве в таком месте, — проговорила она, — ты должен был узнать эту новость!

Конвоир, флегматично потираясь о косяк двери, напомнил:

— Еще одна минута.

— Не беспокойся обо мне,— быстро заговорила Хоуп, так что слова не поспевали друг за другом.— Все будет хорошо. Я уеду к родителям, они позаботятся обо мне. Ради бога не беспокойся.

Ной поднялся.

— Я не беспокоюсь,— сказал он.— Ребенок...— Он неопределенно, по-мальчишески махнул рукой, и даже здесь, в этой мрачной комнате, Хоуп усмехнулась дорожному, знакомому жесту.— Вот это да!..— сказал Ной.— Ну, как тебе это нравится?— Он прошел к окну и выглянул через решетку во двор.— Когда он повернулся к ней, его глаза казались пустыми и тусклыми.— Прошу тебя,— произнес он,— пойди к капитану Льюису и скажи ему, что я поеду, куда меня пошлют.

— Ной...— Хоуп встала, пытаясь протестовать и чувствуя в то же время облегчение.

— Все,— сказал конвоир,— время кончилось.— И он открыл дверь.

Ной подошел к Хоуп, и они поцеловались. Хоуп взяла его руку и на мгновение приложила к своей щеке, но конвоир еще раз предупредил:

— Все, леди.

Хоуп вышла в дверь и, прежде чем конвоир успел закрыть ее, еще раз оглянулась и увидела, что Ной стоит, задумчиво глядя ей вслед. Он пытался улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Тут конвоир закрыл дверь, и больше она его не видела.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

— Скажу тебе по правде,— говорил Колклаф,— я очень жалею, что ты вернулся. Ты позор для нашей роты, и я не думаю, что из тебя удастся сделать солдата даже за сотню лет. Но, клянусь богом, я не пожалею для этого сил, если даже мне придется разодрать тебя пополам.

Ной уставился на белый дергающийся кончик капитанского носа. Ничего не изменилось: тот же ослепительный свет в ротной канцелярии, а над столом старшины все та же устаревшая шутка, написанная на прикрепленной кнопками к стене бумажке: «Номер священника 145. Плакать в жилетку можете ему». Голос Колклафа звучал все так же, и казалось, говорит он то же самое, а в ротной канцелярии стоял все тот же запах сырого дерева, пыльных бумаг, потной фор-

менной одежды, ружейного масла и пива. Как будто он и не уезжал отсюда. Трудно было представить, что за это время что-то произошло, что-то изменилось.

— Само собой разумеется, у тебя не будет привилегий,— медленно и важно сообщил Колклаф, наслаждаясь собственными словами,— ты не будешь получать ни увольнительных, ни отпусков. В течение ближайших двух недель ты будешь нести наряд на кухне ежедневно, а потом по субботам и воскресеньям. Ясно?

— Так точно, сэр.

— Спать будешь на прежней койке. Предупреждаю, Аккерман, ты должен быть солдатом в пять раз больше, чем любой другой в подразделении, если хочешь остаться в живых. Ясно?

— Так точно, сэр.

— А теперь уходи отсюда и больше не появляйся в канцелярии. Все.

— Слушаюсь, сэр. Благодарю вас, сэр.— Ной отдал честь и вышел. Он медленно направился по знакомой линейке к своей старой казарме. Когда в пятидесяти ярдах он увидел свет в незанавешенных окнах идвигающиеся в помещении знакомые фигуры, у него защемило сердце.

Он неожиданно повернулся. Следовавшие за ним в темноте три человека остановились. Он узнал их: Доннелли, Райт, Хенкель. Он даже заметил, что они ухмыляются. Угрожающе разомкнувшись, они медленно, почти незаметно двинулись на Ноя.

— Мы комитет по организации встречи,— заявил Доннелли.— Рота решила устроить тебе хороший прием по старинному обычаю, когда ты вернешься. Вот мы тебе его сейчас и устроим.

Ной быстро опустил руку в карман и вынул пружинный нож, который купил в городе по пути в лагерь. Он нажал кнопку, и из рукоятки выскочило шестидюймовое лезвие, ярко и угрожающе блеснувшее в его руке. Увидев нож, все трое остановились.

— Всякий, кто ко мне прикоснется,— спокойно произнес Ной,— получит вот это. Если кто-нибудь в роте снова тронет меня, я убью его. Передайте это остальным.

Он стоял выпрямившись, держа перед собой нож на уровне бедра.

Доннелли посмотрел сначала на нож, потом на своих приятелей.

— А, черт с ним,— предложил он.— оставим его в покое до поры, до времени. Он же псих.— И они медленно по

прочь. Ной все продолжал стоять с ножом в руках.

— До поры, до времени,— громко крикнул Доннелли,— не забудь, я сказал — до поры, до времени.

Посмеиваясь, Ной смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом. Он взглянул на длинное зловещее лезвие, уверенно захлопнул нож и положил его в карман. Направляясь к казарме, он вдруг понял, что открыл способ, как остаться в живых.

И все же, подойдя к двери казармы, он долго колебался, не решаясь войти. Он слышал, как в казарме кто-то пел: «Я возьму тебя за ручку, и тогда поймешь...»

Ной распахнул дверь и вошел. Райкер, находившийся у двери, первый заметил его.

— Боже мой! — воскликнул он.— Посмотрите, кто пришел.

Ной опустил руку в карман и нащупал холодную косячную ручку ножа.

— Э! Да это Аккерман,— крикнул через всю казарму Коллинс,— как вам это нравится?

Все вдруг столпились около него. Ной незаметно отступил к стене так, чтобы никто не смог встать позади него. Он положил палец на маленькую кнопку, при помощи которой открывался нож.

— Как там было, Аккерман? — спросил Мейнард.— Хорошо провел время? Небось, побывал во всех ночных клубах?

Все засмеялись, а Ной вспыхнул, но внимательно прислушавшись к их смеху, понял наконец, что в нем нет ничего угрожающего.

— Бог мой, Аккерман,— воскликнул Коллинс,— видел бы ты лицо Колклафа в тот день, когда ты смылся! Ради одного этого стоило пойти в армию.— Все громко захотали, с удовольствием вспоминая тот памятный день.

— Сколько времени тебя не было, Аккерман? — спросил Мейнард.— Два месяца?

— Четыре недели,— ответил Ной.

— Четыре недели? — удивился Коллинс.— Четыре недели отпуска! Хватило бы у меня духу на это, клянусь богом...

— Ты отлично выглядишь, парнишка.— Райкер похлопал его по плечу.— Тебе пошло это на пользу.

Ной недоверчиво посмотрел на него. «Очередная шутка»,— подумал он и крепче сжал рукоятку ножа.

— После того как ты удрал,— сказал Мейнард,— трое ребят с твоей легкой руки ушли в самоволку... Ты подал

всем пример. Приезжал полковник и задал жару Колклафу прямо при всех. «Что это за рота,— орал он,— где всякий прыгает через забор! Ваша рота на самом плохом счету в лагере», и все в таком роде. Я думал, Колклаф перережет себе горло.

— Вот, мы нашли их под казармой, и я сохранил их для тебя,— сказал Бернекер, протягивая ему небольшой завернутый в тряпку пакет.

С недоумением посмотрев на широко улыбающееся детское лицо Бернекера, Ной стал медленно разворачивать тряпку. Там лежали три книги, немного заплесневевшие, но пригодные для чтения.

Ной медленно покачал головой.

— Спасибо,— сказал он,— спасибо, ребята.— Он нагнулся, чтобы положить книги, и не решался подняться, чтобы наблюдавшие за ним парни не видели его растроганного лица. Он смутно понял, что его личное перемирие с армией состоялось. Оно состоялось на безумных условиях: на угрозе ножом и на нелепом престиже, выросшем из его сопротивления власти, но оно было реальным. Он стоял, смотря затуманенными глазами на потрепанные книги, лежавшие на койке, прислушиваясь к невнятному гулу голосов за спиной, и чувствовал, что это перемирие, видимо, будет продолжаться, а может быть, даже перерастет в союз.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Лейтенант, командир взвода, был убит еще утром, и, когда пришел приказ отступать, взводом командовал Христиан. Американцы не очень нажимали, и батальон занимал отличные позиции на высоте, откуда просматривалась разрушенная деревня из двух десятков домов, где упорно продолжали жить три итальянские семьи.

— Я начинаю понимать, как делаются дела в армии,— услышал Христиан, как кто-то жаловался в темноте, когда взвод, гремя оружием, продвигался по пыльной дороге.— Приезжает полковник и производит осмотр. Потом он возвращается в штаб и докладывает: «Генерал, я рад доложить, что люди занимают надежные позиции и живут в теплых, сухих землянках, которые могут быть разрушены только прямым попаданием. Наконец они начали регулярно получать пищу, и три раза в неделю им доставляют почту. Американцы понимают, что наши позиции неприступны, и не проявляют никакой активности». — «Ну хорошо,— говорит генерал,— будем отступать».

Христиан узнал по голосу рядового Дена и взял его на заметку.

Он уныло шагал вперед, а висевший на ремне автомат оттягивал плечо и, казалось становился все тяжелее. В эти дни он все время испытывал усталость, то и дело давала себя знать малярия: болела голова, знобило, хотя и не настолько сильно, чтобы было основание лечь в госпиталь. Тем не менее, такое состояние изнуряло и выбивало из колеи. «Отступаем,— казалось, твердили его ботинки, когда он, хромая, шагал по пыли,— отступаем, отступаем...»

«По крайней мере,— тупо подумал он,— в темноте можно не бояться самолетов. Это удовольствие нам предоставят потом, когда взойдет солнце. Вероятно, сейчас где-нибудь около Фоджи молодой американский лейтенант усаживается в теплой комнате за завтрак. Перед ним грейпфрутовый сок, овсяная каша, яичница с ветчиной, натуральный кофе со сливками. Немного погодя он заберется в самолет и пронесется над холмами, поливая из пулеметов разбросанные вдоль дороги черные фигурки, притаившиеся в ненадежных мелких окопчиках, и этими фигурками будут Христиан и его взвод».

Христиан продолжал брести вперед, исполненный ненависти к американцам. Он ненавидел их больше за яичницу с ветчиной и натуральный кофе, чем за пули и самолеты. Да еще за сигареты. Кроме всего прочего, у них сколько угодно сигарет. Как можно победить страну, у которой столько сигарет?

Ему до боли хотелось вкусить целебный дым сигареты, но у него в пачке осталось только две штуки, и он ограничил себя одной сигаретой в день.

Христиан вспомнил лица сбитых за линией фронта американских летчиков, которых ему приходилось видеть. В ожидании, пока их возьмут, они нагло, с надменными улыбками на пустых, невозмутимых лицах раскуривали сигареты. «В следующий раз,— подумал он,— когда я увижу летчика, я убью его, несмотря ни на какие приказы».

Он споткнулся на ухабе и вскрикнул от боли, пронзившей колено и бедро.

— Что с вами, унтер-офицер? — спросил шедший позади солдат.

— Ничего особенного,— ответил Христиан,— идите по обочине.

Он захромал дальше, не думая больше ни о чем, сосредоточив все свое внимание на дороге.

Посыльный из батальона, как и было сказано Христиану, ожидал его на мосту. Взвод шел уже два часа, и к этому времени совсем рассвело. Они слышали гул самолетов по другую сторону небольшой цепи высот, вдоль которой шел взвод, но никто их не атакował.

Ефрейтор-посыльный от страха спрятался в канаве у дороги. На дорогу он вышел весь грязный и мокрый: в канаве было сантиметров на пятнадцать воды, но ефрейтор предпочитал комфорту безопасность. На другой стороне моста находилось отделение саперов, которые должны были заминировать мост после того, как пройдет взвод Христиана. Этот мост не имел большого значения, потому что овраг который он пересекал, был сухой и ровный. Взрыв моста задержал бы кого угодно не более чем на одну-две минуты, но саперы упорно взрывали все, что взрывается, словно выполняли какой-то древний религиозный ритуал.

— Вы опаздываете,— нервно заметил ефрейтор.— Я уж боялся, что с вами что-то случилось.

— Ничего с нами не случилось,— отрубил Христиан.

— Очень хорошо. осталось всего только три километра. Капитан хотел встретить вас и показать, где вы должны окопаться,— сказал ефрейтор и беспокойно огляделся вокруг. Он все время вел себя так, словно ожидал, что его застрелит снайпер или обстреляет в открытом поле самолет или он будет убит где-нибудь на высоте прямым попаданием снаряда. Глядя на него, Христиан подумал, что ефрейтора наверняка очень скоро убьют.

Христиан махнул взводу рукой, и солдаты зашагали через мост за ефрейтором. «Хорошо,— вяло подумал Христиан,— еще три километра, а там пусть принимает решения капитан». Саперы внимательно наблюдали за ними из своей канавы, беззлобно и равнодушно.

Перейдя мост, Христиан остановился. Следовавшие за ним солдаты тоже остановились. Механически, помимо своей воли, он начал определять дистанции, оценивать вероятные подступы, секторы обстрела.

— Капитан ждет,— напомнил ефрейтор, беспокойно скользя глазами по дороге, где сегодня должны появиться американцы.— Чего вы остановились?

— Помолчи,— ответил Христиан и направился обратно через мост. Он встал посередине дороги и посмотрел назад. На протяжении ста метров дорога шла прямо, затем огибала высоту и скрывалась из виду. Христиан повернулся кругом и стал всматриваться сквозь утреннюю дымку в дорогу и лежащие перед ним высоты. Дорога в этом направ-

лении поднималась в гору, извиваясь среди каменистых, поросших редким кустарником холмов. Вдали, метрах в восьмистах-тысяче на крутом обрыве виднелись голые валуны. «Среди этих валунов,— механически отметил он,— можно установить пулемет и прикрывать оттуда мост и подступы к нему».

Ефрейтор стоял рядом.

— Я не хочу надоедать вам, унтер-офицер,— проговорил он дрожащим голосом,— но капитан прямо сказал: «Не задерживайтесь, я не приму никаких отговорок».

— Помолчи,— повторил Христиан.

Ефрейтор хотел было возразить, но передумал. Он проглотил слюну и вытер рукой рот. Стоя у въезда на мост, он грустно смотрел на юг.

Христиан начал медленно спускаться по склону оврага к сухому руслу ручья. Его мозг по-прежнему автоматически регистрировал все детали. Примерно в десяти метрах от моста он заметил спускавшийся от дороги пологий скат. На нем не было ни глубоких ям, ни валунов. Под мостом русло ручья было песчаным и мягким, с беспорядочно разбросанными гладкими камнями и пробивающейся кое-где порослью.

«Это можно сделать, и очень просто»,— думал Христиан, медленно поднимаясь к дороге. Солдаты взвода к этому времени предусмотрительно сошли с моста и стояли на другой стороне у края дороги, готовые при звуке самолета прыгнуть в канаву, где сидели саперы.

«Словно кролики,— с возмущением подумал Христиан,— у нас не осталось ничего человеческого».

Перед мостом в волнении расхаживал взад и вперед ефрейтор.

— Все, унтер-офицер? — спросил он.— Можно двигаться?

Христиан ничего не ответил. Он снова начал пристально всматриваться в стометровый участок прямой дороги, отделявший их от поворота. Полузакрыв глаза, он представил себе, как первый американец, лежа на животе, будет выглядывать из-за изгиба дороги, чтобы убедиться, что их не подстерегает опасность. Затем голова исчезнет, за ней появится другая, вероятно, голова лейтенанта (казалось, что в американской армии несчетное количество лейтенантов, которых можно бросать на ветер). Потом медленно, прижимаясь к склону холма, напряженно глядя под ноги, чтобы не наткнуться на мину, из-за поворота появится отделение, взвод или даже рота и направится к мосту.

Христиан повернулся и снова взглянул на кучу валунов, видневшихся высоко на крутом обрыве, в тысяче метров от моста. Он был почти уверен, что оттуда будут просматриваться не только подступы к мосту и сам мост, но и тот участок дороги, который они только что прошли, где она извивается по невысоким холмам. Он сможет увидеть американцев на значительном расстоянии, прежде чем они скроются за этим холмом, чтобы потом появиться на изгибе дороги, ведущей к мосту.

Тщательно разработанный план полностью созрел в его мозгу. Он утвердительно кивнул головой, словно этот план был подготовлен и представлен ему кем-то другим, а он только давал свое согласие. Быстро пройдя через мост, он подошел к унтер-офицеру, который командовал саперами.

Тот вопросительно посмотрел на него.

— Вы намерены зимовать на этом мосту? — сказал он Христиану.

— Вы уже подложили заряды под мост? — спросил Христиан.

— Все готово, — ответил сапер, — через минуту после того, как вы пройдете, мы зажжем шнур. Я не знаю, что у вас на уме, но должен вам сказать, что ваше хождение взад и вперед действует мне на нервы. Американцы могут появиться с минуты на минуту, и тогда...

— Есть у вас длинный шнур? — спросил Христиан. — Такой, чтобы горел, скажем, минут пятнадцать?

— Есть, — ответил сапер, — но он нам ни к чему. У нас заложен одноминутный шнур. Этого как раз достаточно, чтобы тот, кто будет поджигать его, успел отбежать.

— Выньте его и поставьте длинный.

— Послушайте, — сказал сапер, — ваше дело провести эти чучела через мой мост, а мое дело взорвать его. Я не указываю, как вам поступить с вашим взводом, и вы не указываете, что мне делать с моим мостом.

Христиан молча смотрел на унтер-офицера. Это был невысокого роста человек, сумевший каким-то чудом сохранить свою полноту. Он был похож на одного из тех раздражительных и надменных толстяков, которые вечно страдают несварением желудка.

— Мне потребуется еще десяток вон тех мин, — сказал Христиан, указывая жестом на мины, в беспорядке сложенные у края дороги.

— Я расставляю эти мины на дороге по ту сторону моста, — ответил сапер.

— Американцы выловят их миноискателями одну за другой.

— Это уж не мое дело,— огрызнулся сапер,— мне приказано поставить их здесь, и здесь я их поставлю.

— Я остаюсь здесь со своим взводом,— сказал Христиан,— и уверяю вас, что вы их не поставите на дороге.

— Послушайте, унтер-офицер,— проговорил дрожащим от волнения голосом сапер,— сейчас не время спорить. Американцы...

— Возьмите эти мины,— приказал Христиан саперам,— и следуйте за мной.

— Послушайте,— нервно взвизгнул сапер,— этими людьми распоряжаюсь я, а не вы.

— Тогда прикажите им взять эти мины и следовать за мной,— холодно сказал Христиан, стараясь как можно больше подражать лейтенанту Гарденбургу.— Я жду,— резко добавил он.

Сапер задыхался от гнева и страха. Подобно ефрейтору, он теперь через каждые несколько секунд бросал тревожные взгляды в ту сторону, откуда должны были появиться американцы.

— Хорошо, хорошо,— сказал он,— в конце концов, мне все равно. Сколько, вы сказали, вам нужно мин?

— Десять.

— Беда нашей армии в том,— ворчал сапер,— что в ней слишком много людей, которые думают, что они могут одни выиграть войну.— Тем не менее он дал знак своим людям взять мины. Христиан повел солдат в овраг и показал, где поставить мины. Он заставил солдат тщательно замаскировать их травой, а вырытый песок собрать в каски и отнести в сторону.

Наблюдая за работавшими внизу саперами, он заметил, что их начальник сам присоединяет длинный шнур к маленьким, невинным на вид зарядам динамита под пролетом моста, и иронически улыбнулся.

— Все в порядке,— мрачно проговорил сапер, когда Христиан вновь поднялся на дорогу, расставив мины так, как ему хотелось,— шнур присоединен. Не знаю, что вы собираетесь делать, но я присоединил его, чтобы доставить вам удовольствие. Ну, а теперь можно поджигать?

— Теперь,— сказал Христиан,— попрошу вас отсюда уйти.

— Мой долг,— напыщенно заявил сапер,— взорвать этот мост, и я должен лично убедиться, что он взорван.

— Я не хочу поджигать шнур,— сказал Христиан, на этот раз совсем любезным тоном,— пока американцы не подойдут совсем близко. Если желаете до тех пор оставаться

под мостом, могу только приветствовать вас.

— Сейчас не время для шуток,— с чувством собственного достоинства произнес сапер.

— Уходите! Уходите! — свирепо и угрожающе закричал Христиан во весь голос, вспоминая, как удачно применял такой прием Гарденбург.— Чтоб через минуту вас здесь не было. Уходите, или вам будет плохо! — Приблизившись к саперу, он угрожающе смотрел на него сверху вниз, руки его подергивались, словно он еле сдерживался, чтобы не пришибить сапера на месте.

Сапер отступил назад, его пухлое лицо побледнело.

— Переутомление,— хрипло проговорил он.— Вы, наверно, сильно переутомились на передовой. Вам, видно, не по себе.

— Быстро! — скомандовал Христиан.

Сапер повернулся и поспешно перешел на другую сторону моста, где опять собралось его отделение. Тихим голосом он подал короткую команду, и саперы вылезли из канавы. Ни разу не оглянувшись, они двинулись по дороге. Христиан некоторое время наблюдал за ними, не улыбаясь, боясь, как бы улыбка не нарушила эффекта, который произвел этот эпизод на солдат его взвода.

— Унтер-офицер,— заговорил теперь ефрейтор, посыльный из батальона, каким-то хриплым и тонким голосом,— капитан ждет...

Христиан повернулся к ефрейтору, схватил его за воротник и подтащил к себе. Трусливые глаза ефрейтора остекленели от испуга.

— Еще одно слово,— Христиан тряс его так ожесточенно, что каска съехала ефрейтору на глаза и больно колотила по переносице,— еще одно слово, и я убью тебя.— И он оттолкнул его в сторону.

— Ден! — позвал Христиан. На другой стороне моста от взвода медленно отделилась фигура и направилась к Христиану.— Идем со мной,— приказал Христиан, когда Ден приблизился. Скользя, Христиан спустился по склону оврага, старательно избегая участка, заминированного по его указанию саперами. Он показал на длинный шнур, идущий от динамитного заряда к северной стороне арки моста.

— Будешь ждать здесь,— сказал он стоявшему рядом молчаливому солдату,— и, когда я дам сигнал, зажжешь этот шнур.

Он слышал, как Ден, посмотрев на шнур, глубоко вздохнул.

— Где вы будете, унтер-офицер? — спросил он.

Христиан указал на высоту, на то место, где в восьми-стах метрах от них виднелись валуны.

— Вот там, ниже поворота дороги, валуны. Видишь?

Последовала длинная пауза.

— Вижу,— наконец прошептал Ден.

Валуны ярко блестели на солнце на фоне высохшей зелени, росшей на обрыве, и на таком расстоянии трудно было различить их цвет.

— Я помашу тебе шинелью,— сказал Христиан.— Следи внимательно. Тогда зажжешь шнур и убедишься, что он горит. Времени у тебя будет достаточно. Потом выберешься на дорогу и побежишь до следующего поворота; там подождешь, пока не услышишь взрыв, и тогда по дороге направишься к нам.

Ден мрачно кивнул головой.

— Я буду здесь один? — спросил он.

— Нет,— ответил Христиан,— мы пришлем тебе двух балерин и гитариста.

Ден не улыбнулся.

— Теперь все ясно?

— Так точно.

— Хорошо,— сказал Христиан.— Если ты подожжешь шнур до моего сигнала, лучше не возвращайся.

Ден не ответил. Это был крупный, медлительный парень. До войны он работал грузчиком в порту, и Христиан подозревал, что он когда-то был членом коммунистической партии.

Окинув в последний раз взглядом свои устройства под мостом и Дена, который безучастно стоял, прислонившись к влажному камню арки, Христиан опять выбрался на дорогу. «В следующий раз,— мрачно подумал он,— этот солдат будет меньше заниматься критикой».

Взводу потребовалось пятнадцать минут быстрой ходьбы, чтобы дойти до группы валунов, откуда просматривалась дорога. Христиан тяжело и хрипло дышал. Солдаты покорно шли за ним, словно смирились с мыслью, что они обречены маршировать всю свою жизнь, сгибаясь под тяжестью железа. Можно было не бояться, что кто-нибудь отстанет, потому что даже самому тупому солдату во взводе было ясно, что, если американцы выйдут к мосту до того, как взвод скроется из виду за валунами, он будет представлять прекрасную мишень для преследователей даже на большом расстоянии.

Христиан остановился. Прислушиваясь к своему хриплому дыханию, он некоторое время внимательно смотрел вниз на долину. На извилистой пыльной дороге мост казался маленьким, мирным и безобидным. Нигде не было видно движения, и растянувшаяся на многие километры пересеченная холмами долина казалась пустынной и заброшенной человеком.

Христиан улыбнулся: его догадка о том, что позиция у валунов окажется очень выгодной, оправдалась. В промежутке между холмами просматривался еще один участок дороги, находящийся на некотором расстоянии от поворота. Американцы должны будут пройти этот участок, прежде чем скроются на короткое время из виду за выступом холма, который они обогнут, и снова появятся на дороге к мосту. Если даже они будут двигаться медленно и осторожно, то для того, чтобы пройти расстояние от того места, где они впервые покажутся, до моста, им потребуется не более десяти—двенадцати минут.

— Геймс, Рихтер,— приказал Христиан,— останетесь со мной, остальные пойдут с ефрейтором.— Он повернулся к ефрейтору. У ефрейтора был вид обреченного на смерть, который чувствует, однако, что у него есть еще десять шансов из ста на то, что казнь будет отложена до завтра.— Передать капитану,— сказал Христиан,— что мы вернемся, как только сможем.

— Слушаюсь,— обрадовался ефрейтор и почти бегом направился к спасительному повороту дороги.

Христиан смотрел, как взвод цепочкой пошел вслед за ефрейтором. Отсюда дорога шла по самому краю высоты, и силуэты солдат величественно и печально вырисовывались на фоне зимнего голубого неба, покрытого клочковатыми облаками. Когда они один за другим скрывались за поворотом, казалось, будто они проваливаются в ветреную голубую бездну. Геймс и Рихтер составляли пулеметный расчет. Геймс нес ствол и коробку с лентами, а Рихтер сгорбился под тяжестью станка и второй коробки. Сейчас они стояли, тяжело опираясь на придорожные валуны. На этих солдат можно было положиться, но, видя, как они истекают потом даже в такую прохладную погоду, вглядываясь в их лица, на которых трудно было прочитать их истинные мысли, Христиан неожиданно почувствовал, что предпочел бы в этот час иметь рядом солдат из своего старого взвода, которые уже много месяцев лежат мертвыми в африканской пустыне. Он долгое время не вспоминал о своем взводе, но почему-то, глядя на этих двух пулеметчиков, оказавшихся

почти в таком же положении, но на другой высоте, он воскресил в памяти ту ночь, когда тридцать шесть солдат покорно и сосредоточенно копали одиночные окопы, ставшие вскоре их могилами.

Он смотрел на Геймса и Рихтера, и ему почему-то казалось, что вряд ли они так же добросовестно выполняют свою задачу. Они принадлежат к другой армии, постепенно и незаметно утратившей свои боевые качества, утратившей свою молодость, утратившей, несмотря на весь свой опыт, воинский дух, готовность идти на смерть. «Если покинуть этих двоих здесь,— подумал Христиан,— они не долго будут оставаться на своем посту.— Он тряхнул головой.— Глупости, вероятно, они хорошие солдаты. Бог знает, что они думают обо мне».

Оба солдата отдыхали, прислонившись к камням, и с опаской посматривали на Христиана, словно старались прочитать его мысли и узнать, предстоит ли им умереть в это утро.

— Установите его здесь,— приказал Христиан, указывая на ровную площадку между двумя валунами, соединявшимися в форме буквы V. Медленно, но уверенно солдаты установили пулемет.

Христиан улегся позади пулемета и начал его наводить. Он передвинул его немного вправо и посмотрел через ствол, затем установил прицел на нужную дальность с учетом поправки на превышение. Далеко внизу, в перекрестии тонких нитей прицела, лежал залитый солнцем мост, временами накрываемый тенью от проплывавших по небу облаков.

— Дайте им возможность скопиться перед мостом,— объяснял Христиан,— они не станут сразу переходить его, так как подумают, что он заминирован. Когда я подам команду открыть огонь, цельтесь по тем солдатам, что сзади, а не по тем, которые близко к мосту. Понятно?

— По тем, что сзади,— повторил Геймс,— а не по тем, которые близко к мосту.— Он стал медленно крутить подъемный механизм вверх и вниз, всасывая воздух сквозь зубы.— Вы хотите, чтобы они побежали не назад, не туда, откуда пришли, а вперед?

Христиан кивнул головой.

— Они не побегут через мост, потому что тогда они окажутся на открытом месте,— размышлял вслух Геймс.— Они побегут в овраг, под мост, потому что там не простреливается.

Христиан улыбнулся. «Может быть, я ошибался в Геймсе,— подумал он,— он хорошо понимает свою задачу».

— А там они попадут на мины,— спокойно добавил Геймс.— Понимаю.

Геймс и Рихтер кивнули друг другу, и было трудно понять, означал ли этот жест одобрение или порицание.

Христиан снял шинель, чтобы быть готовым подать сигнал сидящему под мостом Дену, как только появится противник. Затем он уселся на камень позади расprostертого за пулеметом Геймса. Рихтер, стоя на одном колене, держал наготове вторую ленту патронов. Христиан поднес к глазам бинокль, который накануне вечером он снял с убитого лейтенанта, направил его в разрыв между холмами и тщательно навел на резкость. Он заметил, что бинокль очень хороший.

Там, на просматривавшемся участке дороги, росли два темно-зеленых мрачных тополя, они качались на ветру, поблескивая листвой.

На открытом скате холма было холодно, и Христиан пожалел, что условился подать Дену сигнал шинелью. Она бы сейчас ему очень пригодилась, а для сигнала достаточно было бы и носового платка. От холода у него по коже забегали мурашки, и он напрасно старался согреться, съжившись в своей жесткой одежде.

— Разрешите закурить? — спросил Рихтер.

— Нет,— ответил Христиан, не отпуская бинокля.

Солдаты замолчали. «Сигареты,— вспомнил Христиан,— держу пари, у него целая пачка или даже две. Если его убьют или тяжело ранят, надо не забыть обшарить его карманы».

Они ждали. Дувший с долины ветер свистел в ушах, проникал в ноздри, резал глотку. У Христиана начала болеть голова, особенно над глазами, его сильно клонило ко сну, и ему казалось, что такое состояние длится уже года три.

Геймс пошевелился. Он лежал перед Христианом на камнях, вниз животом, широко раскинув руки. Христиан на секунду опустил бинокль. Он увидел зад Геймса в почерневших от грязи, неумело залатанных, широких и бесформенных брюках. «Вот так зрелище,— подумал Христиан, с трудом подавляя смех.— Какое уродство! Божественные формы человеческого тела!»

Голова его горела. Малярия. «Мало с нас англичан, французов, поляков, русских, американцев, так еще эти комары. Может быть,— лихорадочно пронеслась в его голове коварная мысль,— когда все это кончится, у меня будет настоящий приступ, такой, что никто не посмеет его отрицать, и им придется отправить меня в тыл». Он снова поднял би-

нокль к глазам и, ожидая очередного приступа озноба, пытался подчинить своей воле бушующие в крови микробы.

Вдруг он увидел маленькие грязно-серые фигурки, медленно двигавшиеся перед тополями.

— Тихо,— предупредил он, словно американцы могли услышать, если бы Геймсу или Рихтеру вздумалось заговорить. Грязно-серые фигурки — их было не меньше взвода — тихо ползли в поле зрения бинокля. Они шли двумя цепочками по обеим сторонам дороги, и даже на таком расстоянии было видно, как они устали.

— Тридцать семь, тридцать восемь, сорок два, сорок три...— считал Христиан. Потом они скрылись из виду. Все так же качались тополя, все так же выглядела дорога перед ними. Христиан опустил бинокль. Теперь он чувствовал себя совершенно бодрым и спокойным.

Он поднялся и начал размахивать над головой шинелью. Он представил себе, как американцы медленно и осторожно двигаются сейчас вдоль подножия высоты, опустив головы вниз, напряженно выискивая мины.

Вскоре он увидел, как Ден быстро выкарабкался из-под моста и тяжело побежал по дороге. Он бежал, все замедляя шаг, вздымая ботинками маленькие облачка пыли. Видно было, что он очень устал. Так он добрался до поворота и скрылся из виду.

Шнур был зажжен, оставалось только, чтобы противник вел себя так, как подобает солдатам.

Христиан надел шинель и сразу почувствовал, что согревается. Он засунул руки в карманы, и на душе у него стало спокойно и уютно.

Оба солдата застыли у пулемета.

Издали слышался гул моторов. Высоко в небе на юго-западе Христиан увидел медленнодвигающиеся маленькие точки — строй бомбардировщиков, направлявшихся к северу на бомбежку. Над обрывом щебечка пронеслась пара воробьев, промелькнув быстрыми коричневыми крылышками в прицеле пулемета.

Геймс рыгнул два раза подряд.

— Извиняюсь,— вежливо сказал он.

Они ждали. «Слишком долго,— волновался Христиан,— как долго они плетутся. Что они там делают? Мост может взорваться раньше, чем они доберутся до поворота. Тогда все пропало».

Геймс опять рыгнул.

— Желудок у меня,— огорченно сказал он Рихтеру, который, не отрывая глаз от магазинной коробки пулемета,

кинул в ответ с таким видом, словно слышал об этом уже много раз.

«Гарденбург,— размышлял Христиан,— сделал бы это лучше, он не стал бы так рисковать. Он устроил бы все как-нибудь понадежнее. Если динамит не взорвется и мост останется цел и об этом узнают в дивизии, а потом спросят этого несчастного унтер-офицера-сапера, и он расскажет обо мне...»

— О господи,— шепотом молил Христиан,— живей, живей, живей...

Он навел бинокль на подступ к мосту. Бинокль плясал в руках, и Христиан понял, что наступает озноб, хотя и не чувствовал его в этот момент. Вдруг совсем рядом кто-то зашуршал, и он невольно опустил бинокль. На вершине обрыва, в трех метрах от него, быстро сновала белка. Потом она уселась и уставилась своими маленькими, как бусинки, глазками на троих людей. Христиан вспомнил, как в другое время и в другом месте, на лесной дороге около Парижа, перед заграждением, устроенным французами из перевернутой крестьянской повозки и матрацев, важно расхаживала маленькая птичка. Звери и птицы, лишь на миг заинтересовавшись войной, возвращаются к своим более важным делам.

Христиан прищурился и опять приложил к глазам бинокль. Взвод противника уже вышел на дорогу; солдаты медленно и напряженно двигались вперед, пригнувшись, с ружьями наготове, и ясно было видно, что они всем своим существом чувствуют свою уязвимость, понимают, что представляют собой удобные мишени.

Американцы двигались невыносимо медленно. Они шли крошечными шажками, останавливаясь через каждые пять шагов. Лихая, безрассудная молодежь Нового света! Христиану приходилось видеть захваченные у американцев киножурналы, где показывали, как на учениях они смело прыгают с десантных барж в бурлящий прибой, устремляясь на берег со скоростью спринтеров. Сейчас они не бежали.

— Быстрее, быстрее,— сам того не замечая, шептал Христиан,— быстрее...— «Как лгут американскому народу о его солдатах!»

Геймс рыгнул. Это был противный, режущий ухо стариковский звук. Каждый реагирует на войну по-своему, реакция Геймса исходила из желудка. Как лгут нашему народу о Геймсе и его товарищах. «Что ты испытывал, когда зарабатывал свой «железный крест»? — «Я рыгал, мама». Только Геймс, он и Рихтер знали правду, только они да сорок

три солдата, осторожно приближающиеся к старому каменному мосту, построенному ленивыми итальянскими рабочими в безмятежный 1840 год. Они-то знали правду, пулеметчики, он да сорок три солдата, волочившие ноги в пыли, под прицелом пулемета, установленного в восьмистах метрах от них. Эта правда связывала их друг с другом гораздо крепче, чем с тем, кто не был здесь в это утро. Они все знали друг о друге: знали, что у каждого из них от страха начинаются спазмы в желудке, что к каждому мосту они приближаются с робостью и с чувством обреченности...

Христиан облизал губы. Из-за поворота вышел уже последний солдат; командующий взводом офицер, неизменный юноша-лейтенант, махнул рукой солдату с миноискателем, и тот неохотно направился в голову колонны. Солдаты медленно сбились в кучу, думая в своем заблуждении, что держаться ближе друг к другу безопаснее, и что если их до сих пор еще не убили, то и на этот раз все обойдется благополучно.

Солдат с миноискателем начал прочесывать дорогу в двадцати метрах от моста. Он действовал медленно и очень осторожно. Христиан видел, как лейтенант встал посреди дороги и, приложив к глазам бинокль, стал осматривать окружающую местность. «Конечно, цейссовский бинокль,— механически отметил Христиан,— изготовлен в Германии». Он видел, как бинокль поднялся кверху и застыл, направленный почти на их валуны, как будто в молодом лейтенанте говорил какой-то скрытый инстинкт военного человека, подсказавший ему, что если их и подстерегает впереди опасность, то она кроется где-то здесь. Христиан пригнулся еще ниже, хотя был уверен, что они надежно укрыты. Бинокль прошел над их головами, потом опустился вниз.

— Огонь! — шепотом скомандовал Христиан.— По задним, по задним!

Пулеметчик открыл огонь. Необычный, потрясающий грохот нарушил спокойствие холмов. Помимо воли Христиан заморгал глазами. Внизу двое упали на дорогу, остальные стояли ошеломленные, с удивлением глядя на упавших. Потом упали еще трое. Тогда остальные бросились вниз по склону оврага под прикрытие моста. «Вот сейчас они бегут как в кино,— подумал Христиан,— где же кинооператор?» Некоторые несли и волочили раненых, другие, спотыкаясь, скатывались вниз по склону, побросав винтовки, нелепо размахивая руками и ногами. Все казалось далеким и бессвязным, и Христиан вел наблюдение почти без интереса, словно следил за борьбой жука, затянутого в муравейник.

Тут взорвалась первая мина. Кувыркаясь, взлетела метров на двадцать в воздух каска, тускло сверкая на солнце; видно было, как развеваются ее ремешки.

Геймс прекратил огонь. Затем взрывы последовали один за другим, отражаясь многократным эхом среди холмов. Над мостом поднялось большое грязное облако пыли и дыма.

Грохот взрывов постепенно замер, словно звуки с трудом продвигались по лощинам и гребням, чтобы скопиться где-то в другом месте. Наступившая тишина казалась неестественной, таящей в себе опасность. Пара потревоженных воробьев, громко щебеча, носилась над пулеметом. Вдруг внизу из-под арки моста вышла одинокая фигура. Человек шел очень медленно, он был мрачен, как доктор, отходящий от смертного ложа. Он прошел метров пять-шесть и медленно опустился на камень. Христиан наблюдал за ним в бинокль. Из-под разорванной в клочья рубашки виднелось белое, как молоко, тело. Человек все еще держал в руке винтовку. Медленно и сосредоточенно, как помешанный, он поднял винтовку. «Да ведь он целится в нас!» — с удивлением заметил Христиан.

Выстрелы прозвучали уныло и одиноко, но пули просвистели удивительно близко, чуть не над самой головой. Христиан усмехнулся.

— Прикончите его, — приказал он.

Геймс нажал на спуск. В бинокль было видно, как недалеке от американца широкой дугой бешено запрыгали быстрые фонтанчики пыли, но он не двинулся с места. Медленным, неторопливым движением, словно плотник у верстака, он заправлял в винтовку новую обойму. Геймс повернул пулемет, и всплески пыли пододвинулись ближе к солдату, который по-прежнему отказывался замечать их. Он зарядил винтовку и снова поднял ее к обнаженному плечу. Было что-то безумное, наводящее ужас в поведении этого полуголого человека, с бледной кожей, выделявшегося, словно шарик из слоновой кости на зелено-коричневом фоне оврага, в том, как он, удобно усевшись на камне, окруженный мертвыми товарищами, медленно и расчетливо вел огонь по пулемету, которого он не мог видеть невооруженным глазом, не обращая внимания на непрерывные щелкающие удары пуль, хотя знал, что все равно через минуту или две он будет убит.

— Убей его, — с раздражением пробормотал Христиан, — живо, убей его.

Геймс на мгновение прекратил огонь и, тщательно при-

шурившись, покачал пулемет. Раздался резкий, пронзительный скрип. Из долины снова прозвучали выстрелы. Они казались бессмысленными и не таящими никакой угрозы, хотя над головой Христиана снова просвистела пуля, а другая гулко шлепнулась о твердую землю пониже его.

Геймс точно прицелился и дал одну короткую очередь. Солдат вяло опустил винтовку, медленно поднялся и, пройдя два-три шага в сторону моста, повалился на землю, словно от усталости.

В этот момент взорвался мост. На придорожные деревья посыпались камни, прорезая белые шрамы на стволах, сбивая ветви. Прошло немало времени, пока осела пыль, и тогда Христиан увидел изуродованные трупы в грязно-серой форме, торчавшие там и сям из груды обломков. Полуголый американец исчез, заваленный землей и камнями.

Христиан вздохнул и опустил бинокль. «Дилетанты,— подумал он,— чего они лезут на войну?»

Геймс сел и повернулся к Христиану.

— Теперь можно курить? — спросил он.

— Да,— ответил Христиан,— можете курить.

Он видел, как Геймс достал пачку сигарет и предложил одну Рихтеру. Тот молча взял ее. Христиану же пулеметчик закурить не предложил. «Жадюга»,— с обидой подумал Христиан и достал одну из двух оставшихся сигарет.

Он держал сигарету во рту и, прежде чем зажечь, долго смаковал ее. Приятно было ощущать губами ее круглую форму. Потом, вздохнув, он решил: «В конце концов, я заработал ее» — и зажег спичку. Глубоко затянувшись, он не выпускал дыма до тех пор, пока мог удерживать его в легких. Он почувствовал слабое головокружение, но ему стало легче. «Я должен написать об этом Гарденбургу,— подумал Христиан, еще раз затягиваясь сигаретой,— он будет доволен, лучше он и сам бы не смог сделать». Удобно откинувшись назад, он глубоко вздохнул и с улыбкой посмотрел на ярко-голубое небо и нежные, маленькие облачка, гонимые горным ветром, радуясь, что может отдохнуть, по крайней мере, минут десять, пока сюда доберется Ден. «Какое чудесное утро»,— подумал он.

Вдруг он почувствовал, как по телу пробежала мелкая сильная дрожь. «А,— с радостью подумал он,— малярия, и кажется, начинается сильный приступ, придется им отправить меня в тыл. Отличное утро». Его снова затрясло. Он затянулся сигаретой и с удовольствием оперся спиной о валун, ожидая возвращения Дена и надеясь, что, взбираясь на склон, тот не будет слишком торопиться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Рядовой Уайтэкр, встать! — скомандовал сержант. Майкл встал и последовал за сержантом. Они вошли в большую комнату с высокими темными дверями. Она была освещена длинными свечами, которые тысячею желтоватых отблесков отражались в бледно-зеленых зеркалах, украшавших стены.

В комнате стоял длинный полированный стол с одним стулом посередине. Майклу всегда представлялось, что это будет именно так. Он сел на стул, сержант встал позади. На столе перед ним стояла чернильница и лежала простая деревянная ручка.

Внезапно открылась другая дверь, и в комнату вошли два немецких генерала в великолепных мундирах. Ордена, сапоги, шпоры и монокли мягко поблескивали при свете свечей. Чекая шаг и строго держа равнение, они подошли к столу, остановились, щелкнув каблуками, и отдали честь.

Майкл мрачно ответил на приветствие, не вставая со стула. Один из генералов расстегнул мундир, медленно извлек из кармана жесткий, свернутый в трубочку пергамент и передал его сержанту. В тишине раздался сухой шорох: сержант развернул пергамент и положил его на стол перед Майклом.

— Документы о капитуляции, — сказал сержант. — Вас избрали для приема капитуляции от имени союзников.

Майкл с достоинством поклонился и небрежно взглянул на документы. Они были как будто в порядке. Он взял ручку, обмакнул ее в чернила и большими буквами, размашистым почерком расписался внизу под двумя немецкими подписями: «Майкл Уайтэкр, № 32403008, рядовой первого класса, Армия США». Скрип пера в полной тишине неприятно резал слух. Майкл отложил перо в сторону и поднялся.

— Все, господа, — резко сказал он.

Генералы отдали честь. Их руки дрожали. Майкл не ответил на приветствие. Он смотрел чуть поверх их голов на зеленоватые зеркала.

Генералы четко повернулись кругом и направились к выходу. В ритмичном стуке сапог по голому, блестящему паркету, в ироническом позвякивании шпор слышались шаги побежденной Пруссии. Тяжелая дверь отворилась, и генералы скрылись из виду. Дверь снова закрылась. Сержант исчез. Майкл остался один в освещенной свечами комнате с единственным стулом и длинным полированным столом, на ко-

тором стояла чернильница и желтел жесткий квадрат пергамента с его подписью.

— Пошевеливайся, надевай носки,— раздался зычный голос.— Подъем! Подъем!

Резкие, пронзительные свистки раздавались по всем этажам старого дома и доносились от соседних домов. Слышались тяжелые вздохи и стоны просыпающихся в темноте солдат.

Майкл открыл глаза. Он спал на нижней койке, и его взгляд упал на доски и соломенный матрац над головой. Солдат, занимавший верхнюю койку, спал спокойно, и каждую ночь на Майкла сыпались каскады пыли и соломенной трухи.

Майкл свесил с постели ноги и грузно уселся на край койки, ощущая какую-то горечь во рту и ужасный запах немытого, потного тела, исходивший от двадцати человек, помещенных в одну комнату. Было половина шестого утра. Окна казармы, которые никогда не открывались, все еще были плотно занавешены светомаскировочными шторами.

Дрожа от холода, Майкл оделся. Его притупленный мозг был глух к раздававшимся вокруг стонам, ругательствам и непристойным звукам, которыми солдаты встречали очередной день.

Щурясь от света, Майкл надел шинель и, спотыкаясь, спустился по шаткой лестнице ветхого дома, занятого под казарму. Он вышел на улицу, ощущая пронизывающий до костей холод лондонского утра. Вдоль всей улицы вяло строились для утренней проверки солдаты. Невдалеке был виден дом, на стене которого была прибита бронзовая мемориальная доска, возвещавшая о том, что в девятнадцатом веке здесь жил и работал Уильям Блейк¹. Как бы отнесся Уильям Блейк к утренней поверке? Что бы он подумал, если бы выглянул из окна и посмотрел на сбившихся в кучу, сквернословящих, истосковавшихся по кружке пива заокеанских солдат, дрожавших от холода под аэростатами воздушного ограждения, все еще не видными в поднявшемся высоко над землей редком темном тумане? Что сказал бы Уильям Блейк сержанту, который приветствовал каждое утро нового дня на долгом пути человечества к прогрессу любезным окриком: «Пошевеливайся, надевай носки!»?

— Галиани?

— Здесь.

— Эйбернати?

¹ Блейк, Уильям (1757—1827) — английский поэт и художник, представитель раннего романтизма.— *Прим. ред.*

- Здесь.
- Тэтнол?
- Здесь.
- Каммергард?
- Здесь.
- Уайтэкр?
- Здесь.

Я здесь, Уильям Блейк, я здесь, Джон Китс. Я здесь, Сэмюэл Тейлор Колридж. Я здесь, король Георг. Я здесь, генерал Веллингтон. Я здесь, леди Гамильтон¹. О, быть бы в Англии сейчас, когда Уайтэкр там!² Я здесь, Лоренс Стерн. Я здесь, принц Хэл. Я здесь, Оскар Уайлд³. Здесь, с каской на голове и с противогазом через плечо, с продуктовой карточкой в солдатскую лавку, с прививкой от столбняка, тифа, паратифа и оспы. Я знаю, как вести себя в английских домах (продуктов мало, и от добавки следует отказываться); знаю, что надо остерегаться сифилитичных саксонских нимф с Пиккадилли. Я начистил свои медные пуговицы так, чтобы не ударить лицом в грязь перед английской армией. Я здесь, Пэдди Финьюкейн, сбитый над Ла-Маншем на своем «Спит-файре», я здесь, Монтгомери, я здесь, Эйзенхауэр, я здесь, Роммель, в полной готовности за своей пишущей машинкой, вооруженный копировальной бумагой. Я здесь, здесь, здесь, Англия. Я проделал путь от Вашингтона и семнадцатой призывной комиссии, через Майами и Пуэрто-Рико, Тринидад и Гвиану, Бразилию и остров Вознесенья. Я пересек океан, где по ночам, словно акулы в страшном сне, всплывают на поверхность подводные лодки и ведут огонь по самолетам, летящим без огней в кромешной тьме на высоте десяти тысяч футов. Здесь история, здесь мое прошлое, здесь, среди руин, где в полночь на затемненных улицах слышатся голоса американцев со Среднего Запада, зовущих такси.

¹ Китс, Джон (1795—1821) — английский поэт-романтик. Колридж, Сэмюэл Тэйлор (1772—1834) — английский поэт, представитель реакционного романтизма. Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель. Командовал английскими войсками в битве при Ватерлоо (1815). Гамильтон, Эмма (1765—1815) — политическая авантюристка. Жена английского посланника в Неаполе и любовница адмирала Нельсона.— *Прим. ред.*

² Перефразировка стихотворения английского поэта Браунинга (1854—1926) «О, быть бы в Англии сейчас, в чудесный день апреля...» — *Прим. ред.*

³ Стерн, Лоренс (1713—1768) — английский писатель, один из основоположников сентиментализма. Принц Хэл — прозвище английского короля Генриха V. Уайлд, Оскар (1856—1900) — английский писатель и драматург, один из родоначальников декаданса. Ряд его пьес идет на советской сцене.— *Прим. ред.*

Здесь, сосед Уильям Блейк, здесь, америка ец, и да поможет нам бог!

— Разойдись!

Майкл вошел в дом и заправил свою койку. Потом он побрился, вымыл уборную, взял столовые принадлежности и, позвякивая котелком, медленно побрел по пробуждающимся серым лондонским улицам на завтрак в большой красный дом, где некогда жила семья какого-то пэра. Вверху был слышен равномерный гул тысячи моторов: «ланкастеры», возвращавшиеся из Берлина, пересекали Темзу. На завтрак дали овсяную кашу и омлет из яичного порошка с толстым куском недожаренного, плавающего в собственном жиру бекона. Почему, сидя за завтраком, думал Майкл, нельзя научить армейского повара сносно варить кофе? Как можно пить такую бурду?

— Летчики энской истребительной группы просят прислать комика и несколько танцоров,— докладывал Майкл своему начальнику, капитану Минси. Стены комнаты были увешаны фотографиями известных артистов, которые прошли через Лондон по линии объединения военно-зрелищных предприятий.— И требуют, чтобы мы не посылали больше пьяниц. В прошлом месяце у них был Джонни Саттер. Он оскорбил там какого-то летчика и был жестоко избит.

— Пошлите к ним Флэннера,— слабым голосом сказал Минси. У него была астма, и к тому же он слишком много пил. От сочетания виски с лондонским климатом ему по утрам всегда было не по себе.

— У Флэннера дизентерия, и он отказывается выезжать из Дорчестера.

Минси вздохнул.

— Ну, тогда пошлите эту аккордеонистку. Как ее фамилия, той, с голубыми волосами?

— Но ведь они просят комика.

— Скажите им, что у нас есть только аккордеонисты.— Минси поднес к носу склянку с лекарством.

— Слушаюсь, сэр,— ответил Майкл.— Мисс Роберта Финч не может ехать в Шотландию. С ней приключился нервный припадок в Солсбери. Она все порывается раздеться донага в солдатской столовой и пытается покончить с собой.

— Пошлите в Шотландию ту певичку,— со вздохом сказал Минси.— Подготовьте подробное донесение о Финч и отошлите его в штаб в Нью-Йорк, чтобы нас потом не обвиняли.

— Труппа Маклина сейчас находится в Ливерпульском

порту, — продолжал Майкл, — но на их судно наложен карантин. Один из матросов заболел менингитом, и всем запрещено сходить на берег в течение десяти дней.

— Это просто невыносимо, — проворчал капитан Минси.

— Получено секретное донесение из энской тяжелой бомбардировочной группы. В прошлую субботу у них играл оркестр Лэрри Крозета. В воскресенье вечером они затеяли с летчиками игру в покер и выставили их на одиннадцать тысяч долларов. Полковник Коукер утверждает, что у них были крапленые карты. Он требует, чтобы они вернули деньги, а в противном случае грозит привлечь их к ответственности.

Минси устало вздохнул и поднес склянку с лекарством к другой ноздре. До войны он содержал ночной клуб в Цинциннати, и теперь часто мечтал снова оказаться в Огайо среди комиков и танцоров.

— Сообщите полковнику Коукеру, что я расследую всю эту историю, — ответил он.

— Священник транспортно-десантного авиационного командования, — бесстрастно докладывал Майкл, — протестует против непристойностей в нашей программе «Ошибки молодости». Он говорит, что главный герой семь раз чертыхается, а инженеру во втором акте обзывает одного из действующих лиц сукиным сыном.

Минси удрученно покачал головой.

— Я же приказал этому олоху для представлений на этом театре военных действий выбросить из программы все непристойности, и он заверил меня, что все сделает. Ох, уж эти артисты, — простонал он. — Передайте священнику, что я с ним совершенно согласен и что все виновные будут наказаны.

— На сегодня пока все, капитан, — закончил Майкл.

Минси вздохнул и сунул склянку в карман. Майкл направился к выходу.

— Одну минуточку, — остановил его Минси.

Майкл повернулся к капитану. Минси хмуро оглядел Майкла воспаленными глазами астматика. Нос у него был красный от насморка.

— Ей богу, Уайтэкр, — сказал Минси, — у вас ужасный вид.

Майкл без всякого удивления посмотрел на свой измятый, не по росту большой китель и мешковатые брюки.

— Так точно, капитан.

— Мне лично на это наплевать. По мне вы могли бы являться сюда хоть в негритянском костюме, в одной тра-

вяной юбочке. Но ведь у нас бывают офицеры из других частей, и у них создается плохое впечатление.

— Да, сэр,— согласился Майкл.

— Заведение, подобное нашему,— продолжал Минси,— должно выглядеть даже более военным, чем подразделение парашютных войск. Мы должны блеснуть, мы должны сверкать. А вы выглядите, как рабочий по кухне.

— Так точно, сэр.

— Неужели вы не можете добыть себе другой китель?

— Я уже два месяца прошу об этом,— сказал Майкл.— Каптенармус и разговаривать со мной больше не станет.

— Вы бы хоть почистили пуговицы. Это ведь не так уж трудно, не правда ли?

— Да, сэр.

— Как мы можем знать,— сказал Минси,— что в один прекрасный день к нам не пожалует генерал Ли?

— Да, сэр.

— Кроме того, у вас на столе всегда слишком много бумаг. Это производит плохое впечатление. Засуньте их в ящики. На столе должна лежать только одна бумага.

— Слушаюсь, сэр.

— И еще один вопрос,— глухо проговорил Минси.— Я хотел спросить, если ли у вас при себе деньги. Вчера вечером я задолжал по счету в «Les Ambassadeurs», а суточные получу не раньше понедельника.

— Один фунт вас устроит?

— Это все, что у вас есть?

— Да, сэр.

— Хорошо,— сказал Минси, взяв бумажку у Майкла.— Спасибо. Я рад, что вы с нами, Уайтэкр. Здесь до вашего прихода творилось что-то невообразимое. Если бы только вы чуть побольше походили на солдата!

— Да, сэр.

— Пошлите ко мне сержанта Московица,— сказал Минси.— У этого сукина сына денег хоть отбавляй.

— Слушаюсь, сэр,— ответил Майкл. Он направился в другую комнату и послал сержанта Московица к капитану.

Вот так проходили дни в Лондоне зимой 1944 года.

— *О, мерзок грех мой,— произнес король после ухода Полония,— к небу он смердит;*

*На нем старейшее из всех проклятий —
Братоубийство!..¹*

¹ Здесь и далее цитаты из «Гамлета» даются в переводе М. Л. Лозинского.— Прим. ред.

На маленьких ящичках, специально установленных по обеим сторонам сцены, вспыхнул сигнал «Воздушная тревога», и несколькими секундами позже до слуха зрителей донесся вой сирен, а вслед за ним где-то далеко, в стороне побережья, заговорили зенитки.

— *...Не могу молиться,*— продолжал король

Хотя остра и склонность, как и воля:

Вина сильней, чем сильное желание...

Грохот зениток быстро приближался. Самолеты пронеслись уже над пригородами Лондона. Майкл поглядел вокруг себя. В театре шла премьера, и притом необычная, с новым артистом в роли Гамлета. Публика была разодета для военного времени шикарно. Среди зрителей было много престарелых дам, которые, казалось, не пропустили ни одной премьеры «Гамлета» со времен Генри Ирвинга¹. В ярком свете рампы поблескивали седые волосы и черные вуалетки. Престарелые леди, как и все остальные зрители, сидели тихо, не шевелясь, и не отрывали глаз от сцены, где встревоженный, охваченный отчаянием король шагал взад и вперед по темной комнате Эльсинорского замка.

— *Прости мне это гнусное убийство,*— громко говорил король.

Тому не быть, раз я владею всем.

Из-за чего я совершил убийство:

Венцом, и торжеством, и королевой.

Это была коронная сцена короля, и артист, очевидно, немало над ней поработал. Он был один на всей сцене, и ему предстояло произнести длинный и красноречивый монолог. И надо сказать, играл он очень хорошо. Взволнованный, страдающий, сознающий тяжесть совершенного преступления, он шагал по сцене, а за кулисой притаился Гамлет и думал, прикончить его или нет.

Грохот орудий становился все сильнее; в небе был слышен неровный гул немецких самолетов, приближавшихся к позолоченному куполу театра. Монолог короля звучал все громче и громче, казалось, его голосом говорит трехсотлетняя история английского театра, бросая вызов бомбам, самолетам, орудиям. Зал застыл. Зрители слушали с таким напряженным вниманием, как будто они присутствовали на первом представлении новой трагедии Шекспира в «Глобусе»².

¹ Ирвинг, Генри (1838—1905) — английский актер и режиссер. Ставил произведения Шекспира, играл роль Гамлета.— *Прим. ред.*

² «Г л о б ъ с» — театр, основанный в 1599 году в Лондоне. На его сцене шли произведения Шекспира. Сам Шекспир был актером, а впоследствии пайщиком этого театра.— *Прим. ред.*

— *В порочном мире золотой рукой,*— восклицал король,—

Неправда отстраняет правосудье,

И часто покупается закон

Ценой греха; но наверху не так:

Там кривды нет...

Как раз в этот момент открыла огонь зенитная батарея, расположенная прямо за задней стеной театра; где-то совсем рядом раздалась взрыва бомб. Театр чуть вздрогнул.

— *...Там дело предлежит во истине...*— громко произнес актер, продолжая играть свою роль. Он говорил с расстановкой, стараясь вместить фразы в промежутки между залпами орудий, и сопровождал свою речь изящными трагическими жестами.

— *И мы принуждены...*— сказал король, когда на какой-то момент наступило затишье: зенитчики за стеной театра перезаряжали свои орудия.— *На очной ставке с нашею виной свидетельствовать...*— Но в следующую же секунду где-то совсем рядом открыли огонь реактивные установки. Их ужасный свист всегда напоминал звук падающей бомбы. Король молча ходил взад и вперед, ожидая очередного затишья. Свист и грохот на мгновение ослабли и превратились в какой-то невнятный рокот.— *Что же остается?* — торопливо воскликнул король.— *Раскаянье. Оно так много может.*

Затем его голос снова потонул в общем грохоте. Здание театра сотрясало и дрожало под аккомпанемент нестройного хора орудий.

«Бедный малый,— подумал Майкл, вспоминая все премьеры, которые ему довелось видеть,— бедный малый. Наконец-то после стольких лет он дождался этого огромного события в своей жизни, и вот... Как же он должен ненавидеть немцев!»

— *...О, жалкий жребий!* — медленно выплыл голос актера из треска и шума.— *Грудь, чернее смерти!*

Гул самолетов пронесся над самым театром. Зенитная батарея, расположенная у театральной стены, послала им вдогонку в грохочущее небо последний залп возмездия. Его подхватили другие батареи, расположенные дальше, в северной части Лондона. Звуки стрельбы все больше и больше удалялись, напоминая теперь барабанную дробь, как будто на соседней улице хоронили генерала. Король снова заговорил медленно, уверенно и с таким царственным величием, какое доступно только актеру:

— *Увязший дух, который, вырываясь,*

*Лишь глубже взнет! Ангелы, спасите!
Гнисть, жестокое колено! Жилы сердца!
Смягчитесь, как у малого младенца!
Все может быть еще и хорошо.*

Он встал на колени перед алтарем; вошел Гамлет, изящный и мрачный, затянутый в черное трико. Майкл посмотрел вокруг себя. Лица были спокойны, зрители с интересом следили за тем, что происходит на сцене; и престарелые дамы, и военные сидели не шевелясь.

«Я люблю вас,— хотел сказать им Майкл,— я люблю вас всех. Вы самые лучшие, самые сильные и самые глупые люди на земле, и я с радостью отдал бы за вас свою жизнь».

Когда Майкл снова взглянул на сцену и увидел, как раздираемый сомнениями, Гамлет прячет меч в ножны, не желая убивать дядю во время молитвы, он почувствовал, что по его щекам покатились слезы.

Где-то далеко одинокая зенитка послала снаряд в теперь уже стихшее небо. «По-видимому,— подумал Майкл,— это одна из женских батарей. Они немного опоздали к моменту налета и теперь с чисто женской логикой хотят показать, что у них были самые лучшие намерения».

Когда Майкл вышел из театра и направился в сторону парка, Лондон был охвачен ярким заревом пожаров. Все небо мерцало, и то там, то тут высоко в облаках отражалось оранжевое зарево. К этому времени Гамлет был уже мертв. «*Почил высокий дух!* — воскликнул Горацио.— *Спи, милый принц! Спи, убаюкан пеньем херувимов*». Когда Горацио произносил свои заключительные слова о бесчеловечных и случайных карах, кровавых делах, негаданных убийствах, последние подбитые немецкие самолеты падали над Дувром, последние англичане, ставшие жертвами бомбардировки, умирали в своих горящих домах, а занавес медленно опускался, и театральные служащие уже бежали на сцену с цветами для Офелии и других артистов.

По Пиккадилли сновали целые батальоны проституток. Они освещали электрическими фонариками лица прохожих, громко хихикали и зазывали хриплыми голосами: «Эй, янки, два фунта, янки!»

Майкл, медленно пробираясь сквозь толпы проституток и солдат, мимо патрулей военной полиции, думал о словах Гамлета, обращенных к Фортинбрасу и его воинам.

*«Вот это войско, тяжкая громада,
Ведомая изящным, нежным принцем,*

*Чей дух, объятый дивным честолюбьем,
Смеется над невидимым исходом,
Обрекши то, что смертно и неверно,
Всему, что могут счастье, смерть, опасность,
Так, за скорлупку».*

«Вот как мы смеемся над невидимым исходом,— усмехнулся Майкл, всматриваясь в темноте в солдат, торгующихся с женщинами,— что за жалкая и полная сомнения усмешка! Мы жертвуем всем, что смертно и неверно, и не только за скорлупку; однако как все это не похоже на Фортинбраса и его двадцать тысяч солдат за сценой. Должно быть, Шекспир все же хватил через край. Вряд ли какая-либо армия, даже армия доброго старого Фортинбраса, возвращавшаяся с польской войны, могла выглядеть так воинственно и обладать такой бодростью духа, как это изображает драматург. Эти возвышенные слова выгодно оттечали душевные муки Гамлета, и Шекспир поэтому вложил их в его уста, хотя и знал, вероятно, что все это ложь. Мы не знаем, что думал рядовой первого класса пехоты Фортинбраса о своем изящном, нежном принце и о дивном честолюбии его духа. А могла бы получиться презабавная сценка... Двадцать тысяч, что ради прихоти и вздорной славы идут в могилу, как в постель, возможно ли это? Совсем неподалеку,— размышлял Майкл,— находятся могилы, уготованные для более чем двадцати тысяч окружавших его солдат, а быть может, и для него самого; но, возможно, за триста лет прихоти и вздорная слава до некоторой степени утратили свою притягательную силу. И все же мы идем, мы идем. У нас нет той величавой решимости, которой восхищался человек в черном трико, но мы идем. С нами разговаривают не белыми стихами, а какой-то искалеченной прозой, малопонятным юридическим языком, слишком тяжеловесным для обычного употребления. Безразличный к нашей судьбе суд присяжных, избранных большей частью не из нашей среды, разбирает дело, которое не совсем входит в его юрисдикцию, и выносит приговор чаще не в нашу пользу. Почти честный судья вручает нам повестку и говорит: «Иди на смерть. Так надо». Мы и верим и не верим, но все же идем. «Идите на смерть,— говорят нам.— Мир не изменится к лучшему после войны, но, может быть, он станет не намного хуже». Где же тот Фортинбрас, который взмахнув плюмажем и приняв благородную позу, переложит всю эту прозу на красивый, ласкающий слух язык? *N'existe pas*¹, как говорят французы. Весь вышел. Нет его в Америке,

¹ Не существует (франц.).

нет и в Англии, молчит он во Франции, хитро притаился в России. Фортинбрас исчез с лица земли. Такую попытку предпринял Черчилль, но на поверку оказалось, что в его голосе звучит тот же пустой, старомодный мотив, каким трубы призывали к бою сотни лет назад. Насмешка над невидимым исходом переродилась в наши дни в скептическую ухмылку, в кислую гримасу, и тем не менее в нынешней войне найдет свою смерть достаточно людей, чтобы удовлетворить вкус самого кровожадного посетителя «Глобуса» начала семнадцатого века».

Майкл медленно шел по Гайд-парку и думал о лебедях, устраивающихся на ночь на своем островке, об ораторах, которые снова появятся здесь в воскресенье, и о расчетах зенитных орудий, приготавливающих чай и отдыхающих после налета немецких самолетов. Он вспомнил, как отозвался о лондонских зенитчиках один ирландский капитан, приехавший в отпуск из Дувра, где его батарея сбила сорок вражеских самолетов.

— Они не сбили ни одного самолета,— слегка картавя, презрительно говорил ирландец.— Удивительно, что Лондон до сих пор еще не совсем разрушен. Они настолько поглощены посадкой рододендронов вокруг огневых позиций и так усердно надраивают стволы своих орудий, стремясь произвести хорошее впечатление на мисс Черчилль, когда ей случится проезжать мимо, что совсем разучились стрелять.

Над старыми деревьями и над избитыми осколками зданиями поднималась луна. Под ногами солдат, проходивших мимо со своими подругами, хрустели выбитые во время воздушного налета стекла.

«Совсем разучились стрелять»,— подумал Майкл, проходя мимо швейцара, на ливрее которого блестели награды времен прошлой войны, в вестибюль «Дорчестера». «Совсем разучились стрелять»,— повторил он: ему явно понравилось это выражение.

Сверху доносились звуки танцевальной музыки; пожилые серьезные дамы пили чай со своими племянниками; хорошенькие девушки, повиснув на руках американских офицеров, проплывали мимо в американский бар. Вся эта картина казалась Майклу очень знакомой, как будто обо всем этом он уже где-то читал; персонажи, декорация, действие — все было точно таким же, как во время прошлой войны; даже в костюмах разница была настолько незначительной, что ее едва можно было заметить. «Такова иро-

ния судьбы,— думал он,— что наши юношеские мечты всегда претворяются в жизнь слишком поздно, когда мы уже чужды всякой романтики».

Он поднялся наверх в большую комнату, где вечер был еще в полном разгаре. Луиза обещала ждать его там.

— Посмотри-ка,— сказала сидевшая у двери высокая черноволосая девушка,— рядовой явился.— Она повернулась к сидевшему рядом с ней полковнику.— Я ведь говорила тебе, что в Лондоне есть рядовые.— Она повернулась к Майклу.

— Придешь обедать во вторник вечером? — спросила она.— Ты будешь душой общества. Костяк армии!

Майкл улыбнулся ей. Полковник, видимо, был не очень-то обрадован появлением Майкла.

— Пойдем, моя дорогая,— сказал он, крепко подхватив девушку под руку.

— Я дам тебе лимон, если придешь,— сказала девушка, обернувшись через плечо. Шурша шелками, она ушла с полковником.— Настоящий, целый лимон,— повторила она.

Майкл обвел взглядом комнату. Насчитав шесть генералов, он почувствовал себя очень неловко. До этого ему никогда не приходилось встречаться с генералами. Он смущенно посмотрел на свой плохо сидящий китель и небрежно начищенные пуговицы. Он не удивился бы, если бы один из генералов подошел к нему и записал его фамилию, звание и личный номер за то, что у него плохо начищены пуговицы. Луизы нигде не было видно, и Майкл не осмеливался среди такого множества важных персон подойти к стойке и что-нибудь выпить. После того как ему исполнилось шестнадцать лет, он думал, что с чувством неловкости покончено навсегда. И действительно, с тех пор он везде чувствовал себя как дома, свободно высказывал свои мысли и сознавал, что может быть охотно принят, если не сказать больше, в любой компании. Но с того дня, как он попал в армию, в нем развилось какое-то новое чувство застенчивости, гораздо более сильное, чем в юности. Он робел в присутствии офицеров и уже побывавших в боях солдат, и даже в присутствии женщин, с которыми при всех иных обстоятельствах он чувствовал бы себя вполне свободно.

Он стоял в нерешительности, несколько отступив от двери, и во все глаза смотрел на генералов. Их лица ему не нравились. Они слишком походили на лица бизнесменов, провинциальных торговцев, фабрикантов, немного располневших и избалованных комфортом, все помыслы которых направлены на то, чтобы не прозевать какую-нибудь новую выгодную сделку. «У немецких генералов лица лучше,— думал

он, — не как лица людей, а именно как лица генералов: более суровые, более жестокие, более решительные. Генералам подходят только два типа лиц. Генерал должен быть похож или на призера-тяжеловеса, холодно, с отвагой бессловесного зверя взирающего на мир сквозь узкие щели глаз, или на какого-нибудь одержимого из романа Достоевского, злобного, почги сумасшедшего, с лицом, дышащим зловещим экстазом и отмеченным видениями смерти. Наши генералы, — думал он, — выглядят так, как будто они готовы продать вам участок под строительство или пылесос, но никак не похоже, что они могут повести вас на штурм крепостных стен. О Фортинбрас, Фортинбрас, неужели ты никогда не выезжал из Европы?»

— О чем ты думаешь? — спросила Луиза. Она стояла с ним рядом.

— О лицах наших генералов, — ответил Майкл. — Они мне не нравятся.

— Вся беда в том, — сказала Луиза, — что у тебя психология рядового солдата.

— Да, ты совершенно права, — согласился Майкл, внимательно разглядывая Луизу. На ней был костюм из серой шотландки и черная кофточка. Ее пышные ярко-рыжие волосы, украшавшие небольшую элегантную фигурку, сверкали среди военных мундиров. Он никак не мог решить, то ли он действительно любит Луизу, то ли она просто раздражает его. Где-то на Тихом океане у нее был муж, но она редко говорила о нем. Сама же она выполняла какую-то полусекретную работу для бюро военной информации и, казалось, была знакома со всеми важными персонами на Британских островах. Она ловко и искусно вела себя с мужчинами, и ее всегда приглашали на уикэнд в фешенебельные загородные дома, где словоохотливые высокопоставленные военные, вероятно, выбалтывали ей немало важных военных секретов. Майкл, например, был уверен, что она знает день открытия второго фронта, знает, какие объекты в Германии подлежат бомбардировке в следующем месяце и когда Рузвельт снова встретится со Сталиным и Черчиллем. Ей уже давно перевалило за тридцать, хотя выглядела она моложе. До войны она скромно жила в Сент-Луисе, где ее муж преподавал в колледже. Майкл был уверен, что после войны она или выставит свою кандидатуру в сенат или будет назначена куда-нибудь послом. Когда он думал об этом, ему было жаль ее мужа, застрявшего где-то на Бугенвиле или на Новой Каледонии и мечтавшего после войны вернуться в свой скромный домик, к тихой жизни в Сент-Луисе.

— Зачем,— спросил Майкл, спокойно глядя на нее и чувствуя на себе холодный взгляд двух-трех больших чинов,— зачем ты возишься со мной?

— Я хочу поддерживать контакт с войсками и чувствовать их дух,— ответила Луиза.— «Простой солдат и его карьера» — я могу написать статью на эту тему для «Лейдис хоум джорнэл».

— Кто платит за этот вечер? — спросил Майкл.

— Бюро военной информации,— ответила Луиза, крепко держа его за руку.— Все это делается ради поддержания наилучших отношений с вооруженными силами и с нашими славными союзниками — англичанами.

— Так вот куда идут наши деньги! На виски для генералов!

— Бедняги,— сказала Луиза.— Не завидуй им. Их тихие дни уже сочтены.

— Давай уйдем отсюда,— предложил Майкл.— Мне нечем дышать.

— Разве ты не хочешь выпить?

— Нет. Что скажет бюро военной информации?

— Единственно, чего я не выношу у рядовых,— сказала Луиза,— это когда они напускают на себя вид уязвленного морального превосходства.

— Пойдем отсюда.— Майкл увидел, что к ним приближается седой английский полковник, и хотел было повести Луизу к двери, но было уже слишком поздно.

— Луиза,— обратился к ней полковник,— мы идем обедать в клуб, и, если вы не заняты...

— Извините,— ответила Луиза, слегка опираясь на руку Майкла.— Но я занята. Познакомьтесь: полковник Тренор, рядовой первого класса Уайтэкр.

— Здравствуйте, сэр,— поздоровался Майкл, пожимая руку полковнику и почти машинально принимая стойку «смирно».

Полковник, как заметил Майкл, был красивым, стройным мужчиной с холодными тусклыми глазами и с красными петлицами генерального штаба на отворотах мундира. Он, однако, не снизошел до ответной улыбки Майклу.

— Это правда,— проговорил он грубо,— что вы заняты, Луиза?

Вплотную придвинувшись к ней, он пристально смотрел ей в лицо, покачиваясь на каблуках. Его лицо как-то странно побледнело. Тут Майкл вспомнил имя полковника. Он как-то давно слышал, что между ним и Луизой что-то было, и капитан Минси однажды, после того как увидел Майкла с

Луизой в баре, предупредил его, чтобы он был поосторожнее. Полковник теперь служил не в войсках, а в одном из отделов планирования штаба верховного командования союзных войск и, по словам Минси, был там влиятельной фигурой.

— Я ведь уже сказала вам, Чарльз,— решительно повторила Луиза,— что я занята.

— Понимаю,— проворчал полковник сдавленным и нетвердым голосом. Он круто повернулся и направился к стойке.

— Итак, все ясно,— тихо произнес Майкл,— рядовой Уайтэкр следует на десантной барже номер один.

— Не говори глупости,— резко сказала Луиза.

— Это шутка.

— Глупая шутка.

— Согласен. Глупая шутка. Давай мне мое «Пурпурное сердце»¹ сейчас.— Он улыбнулся ей, чтобы показать, что не принимает все это всерьез.— А теперь,— продолжал он,— после того как ты испортила мне карьеру в армии Соединенных Штатов, может, мы все-таки пойдем?

— А разве ты не хочешь познакомиться с кем-либо из генералов?

— Как-нибудь в другой раз,— уклонился Майкл.— Ну, скажем, в шестидесятом году. А пока походи возьми свое пальто.

— Хорошо,— сказала Луиза.— Только не уходи. Я не перенесу этого.

Майкл вопросительно посмотрел на нее. Она стояла совсем близко, забыв о других мужчинах, находившихся в баре. Слегка склонив голову набок, она очень серьезно смотрела на Майкла. «Она говорит это вполне серьезно,— подумал Майкл,— она действительно так думает». Он почувствовал прилив нежности, но в то же время ее слова встревожили его и заставили насторожиться. «Чего она хочет?» — мелькнуло у него в голове, когда он смотрел на ее яркие, искусно уложенные волосы и чувствовал на себе серьезный, откровенный взгляд ее глаз.

«Что ей нужно? Чего бы она ни хотела,— упрямо подумал он,— я, во всяком случае, этого не хочу».

— Почему ты не женишься на мне? — спросила она.

Майкл заморгал глазами и посмотрел вокруг: его ослепил яркий блеск множества офицерских звезд и галунов. «Ну разве здесь место для подобных вопросов!» — подумал он.

¹ Медаль за ранение в бою.— *Прим. ред.*

— Почему ты не женишься на мне? — тихо повторила она.

Майкл уклонился от ответа.

— Прошу тебя,— сказал он,— сходи за своим пальто.— Он внезапно почувствовал острую неприязнь к ней, ему вдруг стало жаль ее мужа, школьного учителя, облаченного в форму морской пехоты, затерявшегося где-то в далеких джунглях. «Должно быть,— подумал Майкл,— это добрый, простой, печальный человек, который погибнет в этой войне просто потому, что ему не везет».

— Не думай,— сказала Луиза,— что я пьяна. С той минуты, как ты вошел сюда, я знала, что задам тебе этот вопрос. Я наблюдала за тобой целых пять минут, прежде чем ты меня заметил. Я поняла, что это именно то, чего я хочу.

— Я подам рапорт по команде,— усмехнулся Майкл,— чтобы получить разрешение от моего командира...

— Не шути с этим, черт тебя побери,— сказала Луиза. Она резко повернулась и пошла за пальто.

Он смотрел ей вслед, когда она пересекала комнату. На пути в гардеробную ее перехватил полковник Тренор, и Майкл видел, как тот торопливым шепотом спорил о чем-то с Луизой, держа ее за руку. Она вырвала руку и пошла в гардеробную. Она шла легкой походкой, с гордой женственной грацией, ступая своими красивыми маленькими ножками. Майклу было не по себе. Ему очень хотелось набраться смелости, подойти к стойке и чего-нибудь выпить. Как все было легко и просто. Милые, дружеские отношения без забот и без ответственности — как раз то, что нужно для такого времени, когда в ожидании начала настоящей войны приходится как дураку сидеть в нелепой конторе Минси, сгорая от стыда. Все было просто, приятно, и Луиза сама искусно воздвигла тонкую ширму из чего-то меньшего и в то же время лучшего, чем любовь, чтобы защитить его от бесконечной мерзости армейской жизни. А теперь всему этому, по-видимому, пришел конец. «Женщины,— с возмущением подумал Майкл,— никак не могут постичь искусство легко менять предмет своего увлечения. В глубине души все они тяготеют к оседлости, инстинктивно, с тупой настойчивостью они создают семейные очаги во времена наводнений и войн, накануне вражеского вторжения и даже в моменты крушения государств. Нет, я на это не пойду. Хотя бы ради самозащиты я постараюсь пережить эти времена один. Да наплевать мне на все,— подумал Майкл,— есть тут генералы, нет ли их — все равно. Он решительно

и быстро пересек комнату и направился к стойке.

— Виски с содовой, пожалуйста,— бросил он буфетчику. С наслаждением он сделал первый большой глоток.

Рядом с Майклом какой-то английский полковник транспортной службы разговаривал с английским подполковником авиации. Они не обращали на него никакого внимания. Полковник был слегка пьян.

— Герберт, старина,— говорил полковник своему собеседнику,— я был в Африке и могу сказать тебе совершенно авторитетно. Американцы сильны лишь в одном деле. Нет, скажу больше, они просто великолепны. Я не стану этого отрицать. Они великолепны по части снабжения. Грузовики, склады горючего, служба движения — все это великолепно. Но давай говорить откровенно, Герберт,— воевать они не могут. Если бы Монтгомери трезво смотрел на вещи, он бы просто сказал им: «Ребята, мы передадим вам все свои грузовики, а вы передайте нам все свои танки и орудия. Вы, ребята, будете перевозить грузы, потому что в этом деле вы вне всякой конкуренции, а мы уж как-нибудь с божьей помощью будем воевать, и тогда все мы будем дома к рождеству».

Подполковник авиации торжественно поклонился в знак согласия, затем оба офицера армии его величества заказали еще по одной порции виски.

«Бюро военной информации,— подумал с горечью Майкл, глядя на розовый затылок полковника, просвечивающий через редкие седые волосы,— несомненно, бросает деньги налогоплательщиков на ветер, расходуя их на таких вот союзников».

Тут он увидел Луизу, входившую в комнату, в сером пальто свободного покроя. Он поставил свой стакан и поспешил ей навстречу. Ее лицо уже не было таким серьезным; на нем играла обычная слегка вопросительная улыбка, как будто она и наполовину не верила тому, что говорят ей окружающие. «Наверно, войдя в гардеробную,— подумал Майкл, беря ее под руку,— она взглянула на себя в зеркало и сказала себе, что на сегодня хватит, больше она ничем не выдаст себя, и после этого ее лицо автоматически приняло свое прежнее выражение, сделав это так же легко и плавно, как она сейчас натягивает перчатки».

— О боже,— засмеялся Майкл, ведя ее к выходу,— какая же мне угрожает опасность!

Луиза взглянула на него и, наполовину угадав, что он имел в виду, задумчиво улыбнулась.

— Да, не думай, что ты в безопасности,— сказала она.

— О господи, конечно, нет,— в тон ей ответил Майкл.

Они оба рассмеялись и вышли на улицу через холл «Дорчестера» мимо пожилых дам, пьющих чай со своими племянниками, мимо молодых капитанов-летчиков с их хорошенькими подругами, мимо ужасного английского джаза, который так много терял от того, что в Англии не было негров, чтобы вдохнуть в него жизнь и сказать саксофонистам и барабанщикам: «Эй, мистер, давай начинай! По слушай, мистер, это делается вот так! Обращайся с инструментом свободней, что ты вцепился в эту чертову трубу...» Майкл и Луиза шли, весело улыбаясь, взявшись за руки, снова вернувшись, быть может лишь на одно мгновение, к своей непрочной счастливой любви. За парком в свежем прохладном вечернем воздухе догорали после налета немецких самолетов пожары, отбрасывая в небо какой-то праздничный отблеск.

Они медленно направились в сторону Пиккадилли.

— Сегодня вечером я кое-что решила,— сказала Луиза

— Что именно? — спросил Майкл.

— Я должна добиться, чтобы тебя произвели в офицеры. Хотя бы в лейтенанты. Глупо оставаться всю жизнь рядовым. Я хочу поговорить кое с кем из моих друзей.

Майкл рассмеялся.

— Побереги свою энергию,— сказал он.

— А разве ты не хотел бы быть офицером?

— Может быть. Я как-то об этом не думал. Во всяком случае, не трать напрасну свои силы.

— Почему?

— Они не смогут этого сделать.

— Они смогут сделать абсолютно все,— сказала Луиза.—

И если я их попрошу...

— Ничего из этого не выйдет. Дело пойдет в Вашингтон, а там откажут.

— Почему?

— Потому что в Вашингтоне сидит человек, который утверждает, что я коммунист.

— Чепуха.

— Чепуха-то чепуха, но дело обстоит именно так.

— А ты в самом деле коммунист?

— Примерно такой же, как Рузвельт,— ответил Майкл.—

Его тоже они не произвели бы в офицеры.

— А ты пытался?

— Да.

— Ах, боже мой,— воскликнула Луиза,— какой глупый мир!

— Это, в конце концов, не так важно,— сказал Майкл.— Мы все равно выиграем войну.

— И тебя все это не взбесило, когда ты узнал? — спросила Луиза.

— Разве лишь самую малость,— ответил Майкл.— Я скорее был опечален, чем взбешен.

— Неужели тебе не хотелось бросить все к чертям?

— В течение первого часа или двух. Потом я решил, что это ребячество.

— Ты чертовски благоразумен.

— Возможно. Впрочем, это не совсем верно, не так уж я благоразумен,— возразил Майкл.— Все равно ведь я не ахти какой солдат. Армия не много теряет. Когда я пошел в армию, я решил, что отдаю себя в полное ее распоряжение. Я верю в войну. Это не означает, что я верю в армию. Я не верю ни в какую армию. Нельзя ждать справедливости от армии, и если ты здравомыслящий взрослый человек, то ждешь от нее только победы. И если уж вопрос стоит именно так, то наша армия, вероятно, самая справедливая из всех когда-либо существовавших. Я надеюсь, что армия позаботится обо мне настолько, насколько это возможно, что она не допустит, чтобы меня убили, если сумеет, и что в конце концов она победит настолько малой ценой, насколько предвидение и искусство человека могут это обеспечить. «Довольно для каждого дня своей победы»¹.

— Это цинизм,— сказала Луиза.— Бюро военной информации это не понравилось бы.

— Возможно,— сказал Майкл.— Я считал, что в армии царит коррупция, жестокость, расточительство, непроизводительная трата сил, и оказалось, что она действительно страдает всеми этими пороками, как и все другие армии, только в значительно меньшей мере, чем мне казалось. В ней нет, например, такой коррупции, как в немецкой армии. Тем лучше для нас. Победа, которую мы одержим, не будет такой блестящей, какой она могла бы быть, если бы армия была иной, но это будет наилучшая победа, на которую можно рассчитывать в наше время, и я благодарен ей за это.

— Что ты собираешься делать? — властно спросила Лу-

¹ Перефразировка библейского изречения: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». (Матфей, VI, 34) — Прим. ред.

иза.— Торчать в этой дурацкой конторе и всю войну хлопывать хористок по заду?

— Другие и не так еще живут во время войны,— усмехнулся Майкл.— Но я не думаю заниматься только этим. Так или иначе,— проговорил он задумчиво,— в конце концов меня переведут куда-нибудь в другое место, где я должен буду отрабатывать свой хлеб, где я должен буду убивать и где могут убить и меня.

— И как же ты смотришь на такую перспективу? — спросила Луиза.

— Мне страшно.

— Почему ты так уверен, что это случится?

— Не знаю,— ответил он.— Просто предчувствие. Какое-то мистическое чувство, что я должен выполнить свой долг и справедливость должна восторжествовать и по отношению ко мне. Еще с тридцать шестого года, со времени войны в Испании, у меня было такое чувство, что в один прекрасный день от меня потребуют расплаты. Год за годом я уклонялся от нее, и с каждым днем это чувство становилось все сильнее. Да! От меня непременно потребуют расплаты.

— Ты думаешь, что еще не расплатился?

— Только отчасти,— улыбнулся Майкл.— Проценты по задолженности. Основная же сумма долга остается нетронутой. В один прекрасный день с меня потребуют весь долг сполна, и платить придется, конечно, не в объединении зрелищных предприятий.

Они свернули на Сент-Джеймс-стрит. В конце улицы виднелась темная громада средневекового дворца с тускло освещенным циферблатом часов, мягким серым пятном вырисовывающимся на фоне зубчатых стен.

— Может быть,— проговорила Луиза, улыбаясь в темноту,— в конце концов из тебя офицера и не получилось бы.

— Вполне возможно,— мрачно согласился Майкл.

— Но ты мог бы по крайней мере стать сержантом. Майкл рассмеялся.

— Как измельчали времена: мадам Помпадур¹ в Париже добывает для своего фаворита маршальский жезл, а Луиза Маккимбер забирается в постель короля ради трех сержантских лычек для своего рядового.

— Не говори гадости,— с достоинством отрезала Луиза.— Ты ведь не в Голливуде.

Три подвыпивших английских матроса в обнимку пере-

¹ Маркиза де Помпадур, Жанна-Антуанетта (1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV, имевшая большое влияние на государственные дела.— *Прим. ред.*

секали по диагонали широкую улицу, распевая похабную песенку.

— Я вспоминал Достоевского перед нашей сегодняшней встречей,— начал Майкл.

— Ненавижу образованных людей,— решительно заявила Луиза.

— У Достоевского, кажется, князь Мышкин хотел жениться на проститутке, желая искупить свой грех и свою вину.

— Я читаю только «Дейли экспресс»,— отрезала Луиза.

— Теперь не такие суровые времена, — продолжал Майкл.— Я не женюсь ни на ком. За свою вину я только остаюсь рядовым. Это не так уж трудно. В конце концов, таких, как я, целых восемь миллионов...

Майкл и Луиза свернули в боковую улицу, где от бомб пострадал только один дом. Матросы, с трудом сохраняя равновесие и продолжая орать, удалялись в сторону дворца, и их молодые и приятные, несмотря на безобразное содержание песни, голоса звучали все более приглушенно.

Клуб-ресторан для союзных войск, несмотря на громкое название, представлял собой всего лишь полуподвальное помещение из трех небольших комнат, украшенных пыльными флагами. Длинная доска, прибитая к двум бочкам, служила стойкой. Иногда там можно было достать оленьи котлеты, шотландскую семгу и бутылку пива, которое хозяйка бара, угождая вкусам американцев, держала в жестяном наполненном льдом корыте. Французы почти всегда могли получить там бутылку алжирского вина по твердой цене. Это было место, где алкоголь делал братьями людей всех рангов, ибо они твердо знали, что холодный свет дня изгладит из памяти неблагоприятные поступки прошедшей ночи. Почти всякий мог пользоваться кредитом, если он в этом нуждался, и никого особенно не торопили с уплатой долга.

Когда Майкл и Луиза вошли в бар, в задней комнате кто-то играл на пианино. Два английских сержанта стояли у стойки и тихо напевали. Американская девушка-ефрейтор из вспомогательного женского корпуса спала, положив голову на плечо французского матроса. За большим столом пожилой американский подполковник по фамилии Пейвон, похожий на опереточного комика, держал речь перед четырьмя военными корреспондентами. Пейвон родился в Бруклине, в тридцатых годах содержал цирк во Франции, а в начале войны служил во французской кавалерии. Он

всегда курил длинные дорогие сигары. В углу, почти никем не замеченный, сидел огромного роста смуглый француз, которого, как говорили, по заданию английской разведки два-три раза в месяц сбрасывали на парашюте во Францию. Он был известен тем, что грыз стеклянные рюмки, когда напивался и впадал в минорное настроение. В маленькой кухне, расположенной за задней комнатой, высокий тучный старшина из американской военной полиции, который крутил любовь с одной из женщин, работавших в баре, стоял у плиты и жарил себе целую сковородку рыбы. За маленьким столиком около кухни шла игра в покер в две руки между военным корреспондентом и двадцатитрехлетним майором-летчиком, который только что вернулся после бомбежки Киля. Майкл услышал, как майор сказал: «Ставлю сто пятьдесят фунтов», и увидел, как он мрачно написал долговую расписку и положил ее на середину стола.

— Принимаю и ставлю сто пятьдесят,— ответил его противник, который носил форму американского военного корреспондента, но, судя по произношению, был венгром. Затем он тоже написал расписку на сто пятьдесят фунтов и бросил ее на середину стола поверх кучки бумажных денег.

— Два виски, пожалуйста,— сказал Майкл английскому младшему капралу, который всегда стоял за стойкой, когда приезжал в Лондон в отпуск.

— К сожалению, виски кончилось, полковник,— ответил капрал. У него совсем не было зубов, и Майкл решил, что от армейской пищи его десны должны быть в ужасном состоянии.

— В таком случае два джина.

Капрал, на котором поверх военного обмундирования был надет испачканный серый фартук, ловко и любовно налил две порции джина.

Из соседней комнаты, где играли на пианино, были слышны дребезжащие мужские голоса:

Отец торгует на базаре,
Мамаша гонит самогон,
Сестра гуляет на бульваре —
Деньжонки прут со всех сторон!

Майкл поднял свой стакан.

— Будем здоровы,— сказал он Луизе.

Они выпили.

— Шесть шиллингов, полковник,— нап. мнил капрал.

— Запиши в книгу,— сказал Майкл.— Сегодня я банкрот.

Жду крупную сумму из Австралии. У меня там младший

брат — майор военно-воздушных сил. Он получает летную надбавку и суточные.

Капрал тщательно нацарапал фамилию Майкла в замасленной книге, потом открыл две бутылки теплого пива для сержантов-летчиков, которые, услышав звуки мелодии, доносившиеся из соседней комнаты, направились туда со стаканами в руках.

— Я хочу обратиться к вам от имени генерала де Голля,— заговорил смуглый француз, который грыз рюмки, прервав на время это занятие.— Всех присутствующих покорнейше прошу встать в честь генерала Шарля де Голля, вождя Франции и французской армии.

Все с безразличным видом поднялись в честь генерала французской армии.

— Мои дорогие друзья,— громким голосом с сильным русским акцентом начал француз.— Я не верю тому, что пишут в газетах. Я ненавижу газеты и всех газетчиков.— Он гневно взглянул в сторону четырех корреспондентов, окруживших подполковника Пейвона.— Генерал Шарль де Голль — это демократ и человек чести.— Он сел и мрачно посмотрел на изгрызенную рюмку.

Все снова сели на свои места. Из задней комнаты доносилась печальная песня английских летчиков.

— Господа,— раздался вдруг голос пожилой блондинки, спавшей на стуле у стены. Ее очки висели на одном ухе. Она открыла глаза, улыбулась всем присутствующим и указала на американку из женского вспомогательного корпуса, которая в этот момент возвращалась из ванной комнаты.— Эта женщина украла у меня шарф,— пробормотала она и снова уснула. Через мгновение она уже громко храпела.

— Что мне нравится в этом баре,— сказал Майкл,— это дух старой сонной Англии, который чувствуется здесь особенно сильно. Крикет, чай в садике викария, музыка Делиуса.

В бар вошел тучный генерал-майор службы снабжения, который только утром возвратился из Вашингтона. На руке у него висела грузная молодая женщина с длинными зубами. Ее лицо было закрыто черной вуалью. За генералом неотступно следовал пьяный капитан с огромными усами.

— А, моя дорогая миссис Маккимбер! — воскликнул генерал-майор. Широко и приветливо улыбаясь, он направился прямо к Луизе и поцеловал ее. Женщина с длинными зубами расточала обольстительные улыбки всем окружающим. У нее что-то было не в порядке с глазами: она быстро, не переставая, моргала. Позже Майкл узнал, что ее звали миссис

Керни и что ее муж, английский летчик, был сбит над Лондоном в сорок первом году.

— Генерал Рокленд,— сказала Луиза,— разрешите познакомиться вас с рядовым Уайтэкротом. Он очень любит генералов.

Генерал так горячо пожал Майклу руку, что чуть было не раздавил ее. Майкл решил, что генерал, должно быть, играл в футбол, когда учился в Уэст-Пойнте¹

— Рад с вами познакомиться, молодой человек,— пробасил генерал.— Я видел вас на вечере, откуда вы улизили с этой очаровательной молодой дамой.

— Он непременно хочет оставаться рядовым,— улыбнулась Луиза.— Что с ним делать?

— Ненавижу профессиональных рядовых,— пробурчал генерал, а стоявший позади капитан серьезно кивнул головой.

— Я тоже,— сказал Майкл.— Я бы с радостью стал лейтенантом.

— Ненавижу профессиональных лейтенантов тоже.

— Ну что ж, сэр,— пошутил Майкл.— Если вам так угодно, можете сделать меня подполковником.

— Возможно, и сделаю,— серьезно сказал генерал,— возможно, и сделаю. Джимми, запиши его фамилию.

Капитан, пришедший с генералом, начал шарить в карманах и наконец извлек карточку-рекламу частных такси.

— Фамилия, звание и личный номер,— автоматически произнес он.

Майкл назвал свою фамилию, звание и личный номер. Капитан записал и бережно засунул карточку в один из внутренних карманов. Когда капитан распахнул китель, Майкл заметил, что он носит ярко-красные подтяжки.

Тем временем генерал отвел Луизу в уголок и, прижав ее к самой стене, близко склонился к ее лицу. Майкл направился было в их сторону, но длиннозубая дама загородила ему дорогу, приветливо улыбаясь и моргая глазами.

— Вот моя визитная карточка,— сказала она и вручила Майклу небольшую твердую белую карточку. «Миссис Оттилия Манселл Керни,— прочитал Майкл,— Риджент-стрит, 7».

— Позвоните мне. Каждое утро до одиннадцати я бываю дома,— проговорила она, недвусмысленно улыбнувшись. Потом повернулась и с развевающейся вуалью пошла от столика к столику, раздавая всем свои визитные карточки.

¹ Военное училище в США.— Прим. ред.

Майкл взял еще стаканчик джину и подошел к столу, за которым сидел подполковник Пейвон в окружении корреспондентов, двух из которых Майкл знал.

— ...После войны,— разглагольствовал подполковник,— Франция пойдет влево, и ни мы, ни Англия, ни Россия ничего не смогут с этим поделать. Присаживайтесь, Уайтэкр, у нас есть виски.

Майкл допил свой джин и присел к ним. Один из корреспондентов налил ему почти полный стакан виски.

— Я принадлежу к службе гражданской администрации,— продолжал Пейвон,— и не знаю, куда меня собираются послать. Но скажу вам прямо, если меня пошлют во Францию, это будет просто насмешка. Французы управляют своей страной уже сто пятьдесят лет, и они бы просто рассмеялись, если бы кто-либо из американцев вздумал, скажем, указывать им, как устанавливать водопроводные трубы в мэрии.

— Ставлю пятьсот фунтов,— объявил венгр-корреспондент за соседним столиком.

— Принимаю,— согласился майор авиации. Оба написали расписки.

— Что случилось, Уайтэкр? — спросил Пейвон.— Генерал увел вашу девушку?

— Я только сдал ее в краткосрочную аренду,— отпарировал Майкл, посмотрев в сторону стойки, где хрипло хохотал генерал, прижимаясь к Луизе.

— Право старшего по чину,— съязвил Пейвон.

— Генерал любит девочек,— вмешался один из корреспондентов.— Он пробыл в Каире всего две недели и за это время успел поменять четырех девушек из Красного Креста. Когда он вернулся в Вашингтон, его за боевые заслуги наградили орденом.

— А вам досталась такая штука? — спросил Пейвон, помахав визитной карточкой миссис Керни.

— Это один из самых дорогих для меня сувениров,— серьезно заметил Майкл, доставая карточку из кармана.

— Эта женщина,— сказал Пейвон,— должно быть, тратит уйму денег на типографские расходы.

— Ее отец — пивной король,— пояснил один из корреспондентов.— У них куча денег.

— «Не хочу я в авиацию,— запел английский летчик в соседней комнате,— не хочу я воевать. Лучше в Лондоне болтаться, с леди знатными встречаться и их деньги потихоньку прожи-в-а-ать...»

На улице завывали сирены, возвещая воздушную тревогу.

— Фриц становится слишком расточительным,— заметил один из корреспондентов.— Два налета за одну ночь.

— Я рассматриваю это как личное оскорбление,— отозвался другой.— Только вчера я написал статью, где убедительно доказал, что Люфтваффе¹ больше не существует. Я суммировал все опубликованные в печати данные об авиационных заводах противника, уничтоженных Восьмой и Девятой воздушными армиями совместно с английскими военно-воздушными силами, прибавил сюда все немецкие самолеты, сбитые во время налетов, и пришел к выводу, что у Люфтваффе осталось минус сто шестьдесят восемь процентов их прежней мощи. Статья получилась размером в три тысячи слов.

— Вы боитесь воздушных налетов? — спросил Майкла тучный низенький корреспондент по имени Эхерн. У него было очень серьезное круглое лицо, все в пятнах от чрезмерного употребления алкоголя.— Это не праздный вопрос. Я хочу написать большую статью о страхе для журнала «Кольерс» и сейчас собираю данные. Страх — это общий знаменатель для всех людей, участвующих в войне, на чьей бы стороне они ни находились, и было бы интересно исследовать его в чистом виде.

— Что ж,— начал Майкл,— дайте вспомнить, как я...

— Что касается меня,— перебил Эхерн, с серьезным видом наклонившись к Майклу и обдавая его крепким, как стена винного погреба запахом,— что касается меня, то я заметил, что, когда я испытываю страх, меня бросает в пот, и я начинаю видеть все окружающее значительно яснее и с большими подробностями. Как-то я находился на одном военном корабле, название которого не могу вспомнить по сей день. Это было недалеко от Гуадалканала. Вдруг над нами появился японский самолет, который шел на высоте каких-нибудь десяти футов прямо на оружейную башню, где я в тот момент стоял. Я повернул голову и увидел правое плечо стоявшего рядом матроса, которого я знал уже три недели и не раз видел его раздетым. Но именно в тот момент я заметил то, чего не замечал раньше. На его правом плече был вытатуирован фиолетовой тушью висячий замок, дужка его была обвита зелеными листьями винограда, а сверху алой тушью латинскими буквами было написано *Amor omnia vincit*¹. Я помню этот рисунок совершенно отчетливо и, если хотите, могу воспроизвести его во всех де-

¹ Военно-воздушные силы фашистской Германии.— *Прим. ред.*

² Любовь побеждает все (*лат.*).

талях, хотя бы вот на этой самой скатерти. Ну, а что происходит с вами? Видите ли вы окружающее яснее в минуты смертельной опасности или наоборот?

— По правде говоря,— признался Майкл,— мне не приходилось...

— Да, в такие моменты мне еще становится трудно дышать,— снова перебил Эхерн, пристально глядя в глаза Майклу.— У меня появляется такое ощущение, как будто я лечу в самолете на очень большой высоте в разреженном воздухе, и на мне нет кислородной маски.— Внезапно он отвернулся от Майкла.— Передайте, пожалуйста, виски,— обратился он к кому-то.

— Меня не очень-то интересует война,— продолжал рассуждать Пейвон. Где-то вдалеке закашлялись зенитки, провозглашая начало воздушного налета.— В душе я гражданский человек, хотя и ношу военную форму. Меня больше интересует мир после войны.

Самолеты шли уже над головой. Они подходили по одному и по два, и зенитки заговорили полным голосом. Миссис Керни вручила визитную карточку старшине военной полиции, выходявшему из кухни со своей рыбой.

— Исход войны,— убежденно заявил Пейвон,— предрешен. Поэтому она меня не интересует. С того момента, как я услышал о нападении японцев на Пирл-Харбор, я знал, что мы победим...

— «Что за чудесное утро,— пел у пианино американец,— славный денек настает! И на душе так чудесно — во всем мне сегодня везет».

— Америка не может проиграть войну,— продолжал Пейвон.— Это знаете вы, знаю я, а теперь даже японцы и немцы знают это. Повторяю,— он скроил шутовскую гримасу и глубоко затянулся дымом сигары,— меня не интересует война. Меня интересует мир, ибо этот вопрос все еще остается неясным.

В бар вошли два польских капитана в жестких остроконечных фуражках, которые всегда напоминали Майклу колючую проволоку и шпоры. С каменными, осуждающими лицами они направились к стойке.

— Мир,— продолжал Пейвон,— повернет влево. Весь мир, за исключением Америки. Не потому, что люди читают Карла Маркса, не потому, что придут агитаторы из России, нет — он повернет влево потому, что, когда окончится война, ему будет некуда больше деваться. Все другие пути к тому времени уже будут испробованы и окажутся негодными. И я боюсь, что Америка окажется изолированной, отста-

дой, всеми ненавидимой. Мы будем жить, как старые девы в одиноком доме среди леса, накрепко запирая двери, заглядывая под кровати, зашив свое состояние в матрац. Мы не сможем уснуть, потому что всякий раз, как подует ветер и заскрипит половица, мы будем думать, что к нам лезут убийцы, чтобы прикончить нас и завладеть нашим богатством...

Венгр-корреспондент подошел к столу наполнить свой стакан.

— У меня на этот счет своя теория,— сказал он.— Со временем я думаю опубликовать ее в журнале «Лайф». Представляете: «Ласло Шигли. Как сохранить капиталистическую систему в Америке».

Зенитная батарея, расположенная неподалеку, в Гринпарке, открыла интенсивный огонь. Венгр выпил виски и укоризненно посмотрел на потолок.

— Я называю это «управляемая система демократии»,— продолжал он, когда шум несколько затих.— Взгляните вокруг...— Он широко развел руки в стороны.— Что мы видим? Небывалое процветание. Каждый, кто хочет работать, имеет хорошую работу. Женщина, которой в обычные времена не доверили бы промывать резиновые соски, сейчас изготавливает точные инструменты и получает восемьдесят семь долларов в неделю. Полицейские из Миссисипи, в мирное время получавшие тысячу сто долларов в год, сейчас уже полковники, получающие от шестисот двадцати и более долларов в месяц. Студенты колледжей, являвшиеся бременем для своей семьи, сейчас — майоры военно-воздушных сил, получающие пятьсот семьдесят долларов в месяц. Заводы, работающие днем и ночью, отсутствие безработицы, каждый ест больше мяса, чаще ходит в кино... Все веселы, счастливы, в хорошем физическом состоянии. Где же источник всех этих благодеяний? Война. Но вы скажете, что война не может продолжаться вечно. Увы, это правда. Немцы в конце концов предадут нас, капитулируют, и мы снова вернемся к закрытым заводам и фабрикам, к безработице, низкой заработной плате, к разрухе. Есть два выхода из положения: или заставить немцев все время воевать, но в этом на них положиться нельзя... или...— Он сделал большой глоток из своего стакана и широко улыбнулся.— ...или сделать вид, что война все еще продолжается. Не останавливать заводы и фабрики, продолжать выпускать по пятидесяти тысяч самолетов в год, платить по два с половиной доллара в час всякому, кто может держать в руках гаечный ключ, продолжать выпускать танки по сто тысяч долларов

за штуку, продолжать строить авианосцы стоимостью в семь миллионов долларов каждый. Но, скажете вы, в таком случае мы столкнемся с проблемой перепроизводства. Но система Шигли предусматривает все. Сейчас, например, немцы и японцы поглощают нашу продукцию, не допускают заворачивания наших рынков. Они сбивают наши самолеты, они топят наши авианосцы, они рвут наше обмундирование. Решение тут очень простое. Мы должны стать своими собственными немцами, своими собственными японцами. Каждый месяц мы строим установленное количество самолетов, авианосцев, танков... и что же мы делаем с ними? — Он обвел гордым и пьяным взором свою аудиторию.— Мы топим все это в океане и немедленно заказываем новые.— Теперь,— продолжал он вполне серьезно,— возникает самая щекотливая проблема: как быть с людьми? Перепроизводство товаров, говорим мы, это не неразрешимая проблема. Но как быть с проблемой перепроизводства людей?

И тут мы заходим в тупик. В настоящее время мы каждый месяц избавляемся от ста, двухсот тысяч человек — я не знаю точных цифр. В мирное же время убийство людей в таких масштабах вызовет определенные возражения, даже в том случае, если это будет обеспечивать поддержание экономики на самом высоком уровне. Некоторые организации будут протестовать, церковь будет сопротивляться, и даже я сам предвижу известные трудности. Нет, говорю я, давайте будем человечны, будем помнить, что мы цивилизованные люди. Не надо их убивать. Просто-напросто держите их в армии. Платите им жалованье, повышайте их в чине, награждайте генералов, выдавайте пособие их женам, только не держите их в Америке. Перемещайте их по соответствующему плану большими партиями из одной страны в другую. Они будут насаждать дух доброй воли, будут нести с собой процветание, будут тратить за границей крупные суммы американских денег, они оплодотворят добрым демократическим семенем Нового света многих одиноких женщин по ту сторону океана и, что чрезвычайно важно, послужат примером энергии и целеустремленности для местного мужского населения. И, что самое главное, они не будут конкурировать с рабочей силой у себя дома, в своей стране. Время от времени можно разрешать значительным группам солдат демобилизоваться и отправляться на родину. Там они возвратятся к своей прежней жизни, к своим женам и тещам, к своим гражданским работодателям. Очень скоро они убедятся, что совершили глупость. Они будут просить, чтобы их снова взяли в армию.

Однако мы примем обратно только самых лучших. В конечном счете только десять или двенадцать миллионов лучших из лучших будут разъезжать по разным странам. В самой Америке мы оставим лишь более инертных, более глупых, которые не будут так отчаянно конкурировать друг с другом, и, таким образом, то нервное напряжение американской жизни, на которое так часто жалуются, постепенно ослабеет и со временем исчезнет совсем...

Снаружи откуда-то сверху, донесся пронзительный свист. Затем свист перешел в звенящий, душераздирающий, все нарастающий вой, рвущийся из темноты, как поезд, терпящий крушение в сильную бурю. С неумолимой силой он приближался к собравшимся в баре людям. Все мгновенно бросились на пол.

Взрыв ударил в барабанные перепонки. Пол заходил ходуном. Раздался звон тысячи выбитых оконных стекол. Свет начал мигать, и прежде, чем он погас, Майкл заметил в этом столпотворении, как пожилая блондинка как-то боком сползла на пол со стула, на котором спала; ее очки все еще болтались на одном ухе. Взрывы громыхали волна за волной, постепенно затухая, рушились здания, разваливались стены, кирпичи летели в комнаты и во дворы. Находившееся в задней комнате пианино загремело так, словно десять человек одновременно ударили по клавишам.

— Ставлю пятьсот,— услышался вдруг голос венгра откуда-то с пола. Майкл расхохотался: он понял, что остался жив, что бомба их миновала.

Свет снова замигал. Все встали на ноги. Кто-то поднял блондинку с пола и снова водворил ее, все еще спящую, на стул. Она открыла глаза и мрачно уставилась в пространство перед собой.

— Надо быть последним негодяем,— пробормотала она,— чтобы стащить шарф у старой женщины, пока она спит.— Она снова закрыла глаза.

— Черт побери, я разлил свое виски,— выругался венгр и тут же снова наполнил стакан.

— Вот видите,— сказал Эхерн, стоявший рядом с Майклом,— с меня сейчас градом льет пот.

Майкл посмотрел в другой конец бара. Генерал-майор успокаивал Луизу, обхватив ее руками и нежно похлопывая по ягодице.

— Ну, ну же, моя малютка,— ворковал он.

— Все в порядке, генерал,— холодно улыбнулась Луиза.— Битва окончилась. Отпустите меня.

— Поляки,— говорил венгр,— это дети природы. Но

нельзя отрицать, что они храбры как львы.— Венгр поклонился и довольно твердой походкой возвратился к столу, где его поджидал майор авиации. Он сел, написал расписку на тысячу фунтов и трижды перетасовал карты.

Раздался протяжный и длинный вой сирены, означавший отбой воздушной тревоги.

И тут Майкла начало трясти. Он ухватился руками за сиденье стула и сжал челюсти, но зубы его продолжали стучать. Он натынuto улыбнулся Пейвону, который зажигал погасшую сигару.

— Уйтэкэр,— обратился к нему Пейвон,— какого черта вы делаете в армии? Когда бы я вас ни встретил, вы непременно околачиваетесь где-нибудь около стойки.

— Так, пустяковая работа, подполковник,— ответил Майкл и тут же умолк, чувствуя, что, если он скажет еще хоть слово, его челюсть тут же начнет плясать.

— Вы можете говорить по-французски?

— Немного.

— А управлять автомашиной?

— Да, сэр.

— Хотели бы вы работать у меня?

— Да, сэр,— сказал Майкл, так как Пейвон был старший по чину.

— Что ж, посмотрим, посмотрим,— сказал Пейвон.— Парня, который работал у меня, передают военному суду и, видимо, признают виновным.

— Да, сэр.

— Позвоните-ка мне через пару недель, дело может оказаться интересным.

— Благодарю вас, сэр.

— Вы курите сигары?

— Да, сэр.

— Вот, возьмите.— Пейвон протянул Майклу три сигары.— Сам не знаю почему, но мне кажется, что у вас смысленный взгляд.

— Благодарю.

Пейвон посмотрел в сторону генерала Рокленда.

— Возвращайтесь-ка лучше туда, пока генерал не увел вашу девушку.

Майкл засунул сигары в карман. Он с трудом застегнул пуговицу: его пальцы дрожали, словно через них пропускали электрический ток.

— Я все еще продолжаю потеть,— поднимаясь из-за стола, услышал Майкл слова Эхерна,— но вижу все чрезвычайно ясно.

Майкл почтительно, но твердо остановился около генерала и осторожно кашлянул.

— Прошу прощения, сэр,— сказал он,— но я должен увести даму домой. Я обещал ее матери, что доставлю ее не позднее полуночи.

— Ваша мать в Лондоне? — обратился генерал к Луизе.

— Нет,— ответила Луиза.— Но рядовой Уайтэкр знал ее еще в Сент-Луисе.

Генерал громко и добродушно расхохотался.

— Понимаю, мне дают отставку. Мать! Это что-то новое,— сказал генерал и похлопал Майкла по плечу.— Желаю удачи, сынок, рад был с тобой познакомиться.— Он обвел взглядом комнату.— А где Оттилия? — рявкнул он.— Она и здесь раздает свои поганые карточки?

Он отправился искать миссис Керни, которая за несколько минут до того ушла из бара с одним из сержантов-летчиков. Капитан с усиками следовал за ним по пятам.

Луиза улыбнулась Майклу.

— Хорошо провела время? — спросил Майкл.

— Превосходно,— ответила Луиза.— Генерал ухитрился упасть как раз на меня, когда разорвалась бомба. Я думала, что он намерен провести в таком положении все лето. Пошли?

— Пошли,— кивнул Майкл.

Он взял ее за руку, и они вышли.

— Ставлю пятьсот,— донесся голос венгра, когда за ними закрывалась дверь.

В воздухе висел отвратительный зловещий запах дыма. Майкл остановился, чувствуя, что у него сдают нервы и снова начинают стучать зубы. Он чуть было не вбежал обратно в бар, но взял себя в руки и повел Луизу по темной, дымной улице.

Со стороны Сент-Джеймс-стрит доносился звон стекла, из столбов дыма вырывались оранжевые языки пламени и слышался какой-то странный булькающий звук. Они свернули за угол и взглянули в сторону дворца. Дрожащее оранжевое пламя миллионами искр отражалось в осколках разбитого стекла, усеявших улицу. Перед дворцом образовалась огромная лужа, в которой дрожал отблеск пожара. Булькающий звук производили кареты скорой помощи и пожарные машины, пробиравшиеся через воду на первой скорости. Не говоря друг другу ни слова, Майкл и Луиза поспешили к месту падения бомбы. Под ногами у них хрустели стекла, казалось, они идут по замерзшему лугу.

Как раз напротив дворца бомба разбила небольшой авто-

мобиль. Он валялся около стены, весь сплюснутый, как будто его пропустили через гигантский пресс. Не было видно ни водителя, ни пассажиров, только на другой стороне улицы пожилой мужчина осторожно сметал что-то в небольшую кучу: может быть, это и было все, что от них осталось. Невдалеке от машины лежал совсем целенький нарядный темно-голубой женский берет.

Дома напротив дворца все еще стояли, хотя их фасады обрушились на мостовую. В ночной темноте взору открылось знакомое печальное зрелище: обжитые комнаты, скатерти на столах, откиннутые одеяла на постелях, часы, все еще отсчитывающие время. Взрыв, как ножом, отсек передние стены зданий. «Это как раз то,— подумал Майкл,— чего стремятся достигнуть в театре — удалить четвертую стену и заглянуть, что делается внутри».

Из разрушенных зданий не доносилось ни звука, и Майкл почему-то подумал, что от бомбы пострадали лишь немногие. «Поблизости было много глубоких бомбоубежищ,— успокаивал он себя,— и, вероятно, обитатели этих домов были осторожными людьми».

Никто, казалось, не предпринимал каких-либо усилий для спасения людей, которые все еще могли находиться в разрушенных зданиях. Пожарные методически сновали взад и вперед, хлюпая по воде, хлеставшей из разрушенного водопровода. Рабочие спасательной команды равнодушно и спокойно толкались вокруг развалин. И это, собственно, было все.

У самой стены дворца, где когда-то стояли будки часовых, маршировавших вдоль здания и нелепо, как деревянные куклы, отдававших честь проходящим за полквартала офицерам, теперь не оставалось ничего. Майкл знал, что часовым не разрешается оставлять свой пост, и они, конечно, продолжали стоять — непреклонные, отлично вышколенные солдаты в пышных мундирах давно прошедших времен. Они слышали свист падающей бомбы, слышали взрыв и безропотно умерли на своем посту. Взрывной волной во дворце выбило окна, а сверху старинные часы на башне сорвались с петель и мрачно повисли, обнажив свои пружины. А Майкл в это время сидел за столом со стаканом в руке всего в какой-нибудь сотне шагов отсюда, улыбался и слушал рассуждения венгра об управляемой системе демократии. А там, в небе, какой-то малый съезился в мечущемся самолете, охваченный отчаянием, ослепленный светом прожекторов. Внизу бешено крутился сверкающий вулканами разрывов Лондон, вокруг угрожающе раскачивались

Темза, здание парламента, Гайд-парк и Мраморная арка, у самых крыльев вспыхивали разрывы зениток. Время от времени он боязливо поглядывал вниз и наконец нажал кнопку, которой пользовались немецкие летчики, чтобы убивать англичан, нажал — и бомба полетела вниз на автомобиль и на девушку в берете, на дома, простоявшие сто лет, на двух часовых, чье подразделение было освобождено от других обязанностей и удостоилось чести охранять дворец. А если бы этот малый нажал кнопку на полсекунды раньше или на полсекунды позже, если бы самолет в тот самый момент не качнулся от неожиданного взрыва, если бы в тот вечер прожекторы секундой раньше не ослепили пилота, если бы... если бы... если бы... то он, Майкл, лежал бы в луже собственной крови среди развалин бара для союзных войск, а часовые были бы живы, девушка в берете была бы жива, дома продолжали бы стоять, часы продолжали бы тикать...

Майкл понимал, насколько банальны все его рассуждения об этом фатальном «если бы», но нельзя было не думать о нем, нельзя было не думать о воле случая, который спасает нам жизнь, чтобы завтра снова поставить нас перед лицом следующего «если бы».

— Пойдем, дорогой,— сказала Луиза. Он с удивлением почувствовал, что она дрожит, ведь она всегда была такой хладнокровной, такой сдержанной.— Все равно мы ничем не можем помочь. Пойдем домой.

Они молча повернули назад. Пожарным, наконец, удалось отыскать какой-то вентиль, и струя, бившая из поврежденного водопровода сначала ослабла, а затем прекратилась совсем. Вода перед дворцом была спокойной и черной.

В тот день в Лондоне произошло множество других событий.

Генерал-майор, которому только что вручили план вторжения во Францию, запросил еще одну пехотную дивизию для высадки на берег в течение первых двух дней операции.

Летчик-истребитель, отслуживший два срока службы и сбивший шесть вражеских самолетов, был отстранен от полетов за пьянство и застрелился в спальне своей матери.

В театре начались репетиции нового балета, в котором исполнитель главной мужской роли должен был проползти на животе через всю сцену, изображая подсознательный порыв страсти.

На представлении музыкальной комедии девица в ци-

линдры и в длинных черных шелковых чулках пела: «Я напысь до потери сознания, когда снова зажгутся огни». Вместе с ней эту песенку подхватили все зрители, три четверти из которых были американцами.

Майор службы снабжения, который в течение двух лет работал без выходных дней, по шестнадцати часов в сутки, скончался в своем кабинете на Гросвенор-сквер от язвы желудка. Он только что прочитал лежавшее у него на столе донесение с грифом «секретно», в котором сообщалось, что пароход «Либерти», шедший в Саутгемптон, раскололся в океане на две части во время небольшого шторма, причем погибло сто двадцать тонн 105-миллиметровых снарядов.

Летчик с самолета Б-17 родом из штата Юта, которого три месяца назад объявили погибшим над Лорианом, явился в отель «Клэридж» с улыбкой до ушей и с запасом в сорок французских слов и потребовал лучший номер в гостинице. В течение двадцати минут он обзвонил шестнадцать друзей, пользуясь записной книжечкой, с которой никогда не расставался.

Двадцатилетний фермер из Канзаса пробыл восемь часов в холодной воде, учась нырять, чтобы в день вторжения взрывать подводные заграждения у побережья Европы.

В палате общин от министра внутренних дел потребовали объяснения, почему американские солдаты, обвиненные в изнасиловании, были судимы американским военным судом и приговорены к смертной казни через повешение, хотя английский закон такой меры наказания за изнасилование не предусматривает, и, кроме того, преступление, совершенное в отношении английских граждан на территории, находящейся под суверенитетом короля, подлежало юрисдикции гражданского суда.

Доктор философии Гейдельбергского университета, ныне рядовой инженерных войск армии его величества, провел день, покрывая брезент водонепроницаемым шеллаком. За обедом он цитировал на немецком языке Канта и Шпенглера другому солдату и сверял с одним из вновь прибывших свои записи о лагере Дахау.

В полдень горничная мебелированных комнат в Челси почувствовала запах газа, доносившийся из номера. Открыв дверь, она обнаружила на кровати обнаженные тела американского сержанта и молодой англичанки. Оба были мертвы. Ложась спать, они оставили зажженной газовую печку. Муж англичанки находился в Индии, а жена сержанта в штате Монтана. Командование американской армии

в конце концов сообщило жене сержанта, что он умер от сердечного приступа. Ему был двадцать один год.

Капитан береговой авиации позавтракал в клубе и отправился на свою базу. Там он сел в свой «либерейтор» и вылетел в обычный противолодочный дозор. Самолет поднялся в воздух, взял курс на юг в сторону Бискайского залива, и больше о нем ничего не слышали.

Солдат из спасательной группы откопал в погребке семилетнюю черноволосую девочку, которую засыпало во время воздушного налета восемь дней назад.

Капрал американской армии, проходя через Гросвенорсквер по пути в столовую, отдал честь сто одиннадцать раз.

Шотландец из подразделения по обезвреживанию неразорвавшихся бомб осторожно пробрался между двумя скрещенными балками и медленно вывернул взрыватель из двухтонной бомбы, которая упала, не разорвавшись, накануне вечером. Бомба в течение сорока пяти минут издавала странный тикающий звук.

Двадцатипятилетний американский поэт, ныне сержант инженерных войск, находясь в трехдневном отпуске в Лондоне, посетил Вестминстерское аббатство и заметил, что останкам ничем не прославившихся аристократов отведено больше места, чем целой компании поэтов во главе с Китсом, Байроном и Шелли. Он подумал, что если бы Вестминстерское аббатство находилось в Вашингтоне, то там тоже было бы больше Гаулдов и Гарриманов, чем Уитменов и Торо¹.

В течение дня тысячу двести раз повторялась шутка об американцах: «Чем вам не нравятся американцы?» — «Ничем. Просто им слишком много платят, их слишком жирно кормят, слишком хорошо одевают, их слишком балуют своим вниманием женщины, и их слишком долго держат в Англии».

Мать троих детей, отец которых в это время, припав к земле, лежал на дне окопа где-то южнее Анцио² под жестоким огнем немецких минометов, простояла час сорок пять минут в очереди и принесла домой только фунт костлявой рыбы. Посмотрев на своих детей, она решила их убить, но передумала и приготовила им тушеную рыбу с одной картошкой, добавив немного соевой муки.

¹ Гаулд, Джей (1836—1892) и Гарриман, Эдуард Генри (1848—1909) — крупные американские финансисты и железнодорожные магнаты. Торо, Генри Дэвид (1817—1862) — американский писатель, публицист, философ. Активный борец за освобождение негров. — *Прим. ред.*

² В районе Анцио (30 км юго-восточнее Рима) в январе 1944 года был высажен англо-американский десант в тылу гоотивника. — *Прим. ред.*

Состоялось заседание высокопоставленных офицеров обеих армий, на котором обсуждался вопрос о съемке кинофильма о вторжении в Европу. Основной темой фильма должно было быть взаимодействие всех участвующих в операции войск. Представитель английских военно-воздушных сил разругался с представителем сухопутных войск; представитель 8-й воздушной армии поссорился с представителем американского военно-морского флота; представитель американской службы снабжения поскандалил с английским офицером, представлявшим береговую авиацию. В конце концов было принято решение передать вопрос на рассмотрение вышестоящей инстанции.

В полдень можно было наблюдать, как среди бомбоубежищ и серых стволов засохших деревьев обучали штыковому бою отделение «нестроевых» — конторщиков с Беркли-сквер. Другие конторщики сидели на холодных скамейках под скудными лучами солнца и поглощали свой обед.

Английский специальный комитет закончил свой тщательно сформулированный доклад вышестоящему штабу, в котором доказывалось, что дневные бомбардировки американцев — неоправданное расточительство.

На углах улиц появились тележки с первыми нарциссами. Изнуренные, плохо одетые прохожие останавливались, с бьющимся от радости сердцем покупали букетики нежных цветов и уносили их в свои конторы и дома.

Во время утреннего концерта в здании Национальной галереи трио играло произведение Шуберта, Уолтона и Баха.

Около Уайтчепела был разобран на дрова забор, на котором в 1942 году огромными белыми буквами были написаны слова: «Немедленно открыть второй фронт!»

В устье Темзы, недалеко от Индийских доков, моряк торгового флота из Сизтла молил бога, чтобы в эту ночь был воздушный налет, потому что его жена через два месяца должна была родить еще одного ребенка, а за каждый налет, совершенный на судно во время стоянки в порту, выдавали денежную премию.

В этот же день четыре миллиона человек отправились в конторы, на заводы, на склады и упорно и методично трудились с перерывами на чашку чая в десять часов утра и в четыре часа дня. Они складывали и вычитали, чинили и полировали, монтировали и шили, переносили грузы и сортировали, печатали и подшивали бумаги, наживали деньги и теряли их. Они работали медленно, обдуманно, со знанием дела, что раздражало всех американцев, которые с ними соприкасались. Потом они шли домой, и некоторые

из них с тем же медлительным достоинством умирали во время ночных налетов.

Четыре дня спустя после премьеры «Гамлета» Майкла вызвали в канцелярию роты специальной службы, где он жил и стоял на довольствии, и приказали явиться на пункт пополнения пехоты в Личфилд. На сборы ему дали два часа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Десантная баржа монотонно двигалась по кругу. Брызги воды перелетали через борт и падали на скользкую палубу. Солдаты сидели, заботливо обхватив свое оружие, чтобы предохранить его от влаги. Баржи кружились в миле от берега с трех часов утра. Было уже половина восьмого, и всякие разговоры давно прекратились. Корабли завершали артиллерийскую подготовку. Закончился учебный налет авиации. Дымовая завеса, поставленная поперек бухточки с низколетящего самолета, все еще продолжала опускаться на край воды у самого берега. Все промокли и озябли; все, кроме тех, кого тошнило от качки, были голодны.

Ною все это нравилось. Присев на носу баржи, старательно прикрывая отданные на его попечение толовые заряды, ощущая, как соленые брызги Северного моря ударяют по каске, вдыхая резкий, свежий утренний воздух, Ной чувствовал себя на вершине блаженства.

Это было последнее учение его полка, генеральная репетиция высадки на побережье Европы при поддержке кораблей и авиации и с боевыми патронами. В течение трех недель они тренировались группами по тридцать человек — каждая группа на один дот — пулеметчики, стрелки, расчеты противотанковых ружей, огнеметчики, подрывники. Это была последняя репетиция перед настоящим делом. А в ротной канцелярии, как дар провидения, Ноя ожидало разрешение на трехдневный отпуск.

Лицо Бернекера было бледно-зеленым от морской болезни. Своими крестьянскими ручищами он конвульсивно сжимал винтовку, как будто в ней можно было обрести устойчивую, прочную опору в этом ходуном ходящем мире. Он беспомощно улыбнулся Ною.

— Черт меня побери, — выругался он. — Почему я такой слабый?

Ной улыбнулся в ответ. За последние три недели совместной службы он хорошо узнал Бернекера.

— Теперь уже осталось немного,— успокоил его Ной.

— А как ты себя чувствуешь? — спросил его Бернекер.

— Хорошо.

— Я бы отдал закладную на восемьдесят акров земли моего отца в обмен на твой желудок,— сказал Бернекер.

По воде разнесся смешанный гул усиленных рупорами голосов. Баржа резко повернула и, набрав скорость, устремилась к берегу. Ной прижался к мокрому стальному борту, готовый прыгнуть с баржи, как только опустят трап. Волны все сильнее били о корпус несущейся вперед баржи. «Может быть,— подумал Ной,— в лагере меня ждет телеграмма от Хоуп, извещающая, что все уже позади. Когда-нибудь потом я усядусь рядом с сыном и скажу ему: «В тот день, когда ты родился, я высаживался на берег Англии с двадцатью фунтами тола в руках».

Ной улыбнулся. «Было бы, конечно, лучше в это время быть рядом с Хоуп,— размышлял он,— но нет худа без добра. Здесь мы настолько заняты, что для тревожных мыслей почти не остается времени. Мне не придется нервно шагать по коридору, не вынимая изо рта сигареты, не придется прислушиваться к ее крикам. Пусть это эгоистично, но во всем этом есть несомненные преимущества».

Баржа зашуршала по гладкому дну, и секундой позже опустился трап. Ной прыгнул и, чувствуя, как снаряжение сильно хлопает по спине и по бокам, а поверх краг льется холодная вода, быстро выскочил на берег, добежал до небольшого холмика и залег под его укрытием. Другие солдаты, выбравшись из воды, быстро рассредоточились, ныряя в ямки или прячась за низкорослыми кустиками. Стрелки открыли огонь по доту, расположенному на небольшом утесе, нависшем над берегом шагах в ста. Солдаты подрывной команды осторожно подползли к колючей проволоке, заложили заряды и побежали обратно. Подрывные заряды взорвались, и острый запах тола смешался с ароматным, плотным запахом дыма поставленной самолетом завесы.

Ной быстро вскочил на ноги и под прикрытием Бернекера побежал к яме, находившейся вблизи проволочного ограждения. Бернекер свалился прямо на Ноя.

Бернекер тяжело дышал.

— Господи,— сказал он.— Сухая земля, разве это не замечательно?

Оба рассмеялись и осторожно высунули головы из ямы. Солдаты действовали точно, как футбольная команда. По

сигналу они перебежали вперед, продвигаясь, как их учили, к серому доту с разных сторон.

«Базука»¹ посылала гранату за гранатой, и среди шума и грохота разрывов было видно, как от дота взлетают в воздух большие куски бетона.

— В такие минуты,— сказал Бернекер,— я задаю себе только один вопрос: что же делают немцы, пока мы продельваем все это?

Ной выскочил из ямы и, согнувшись, держа в руках заряды, нырнул в разрыв, сделанный в проволоке. «Базука» заговорила снова; Ной упал в песок на случай, если осколки бетона полетят в его сторону. Бернекер лежал рядом, тяжело дыша.

— А я раньше думал, что пахать землю — тяжелая работа,— пропыхтел Бернекер.

— Давай, давай, деревенщина,— закричал Ной,— беги вперед! — Он вскочил на ноги. Бернекер со стоном поднялся вслед за ним.

Они побежали вправо и бросились на землю за песчаным холмиком футов в шесть высотой. Трава, росшая на его вершине, шелестела на влажном ветру.

Они наблюдали, как солдат с огнеметом осторожно полз к доту. Пули поддерживающих их стрелков все еще свистели над головами и рикошетом отлетали от бетонной поверхности дота.

«Если бы только Хоуп могла меня видеть в эту минуту!» — подумал Ной.

Огнеметчик уже занял позицию, и сопровождавший его солдат отвернул кран цилиндра, висевшего на его спине. Огромные тяжелые цилиндры таскал на себе Доннелли. Его избрали для выполнения этой задачи потому, что он был самым сильным во взводе. Донелли открыл затвор. Был сильный ветер, пламя отклонялось в сторону и вырывалось из огнемета неровными языками, издавая тяжелый маслянистый запах. Доннелли ожесточенно поливал огнем амбразуры дота.

— Все в порядке, Ной,— крикнул Бернекер.— Теперь дело за тобой.

Ной вскочил и легко и быстро побежал к доту с навстречной стороны от Доннелли. К этому времени люди, находившиеся внутри дота, теоретически должны были быть убиты или ранены, сожжены или оглушены. Ной бежал быстро, несмотря на глубокий песок. Он ясно видел об-

¹ «Базука» — противотанковый реактивный гранатомет.— *Прим. ред.*

ломки почерневшего бетона, грозные узкие амбразуры, темно-зеленый крутой холм, нависший над берегом на фоне серого неба. Он чувствовал себя сильным, способным нести тяжелые заряды целые мили. Он бежал, ровно и глубоко дыша, точно зная, куда надо бежать и что делать. Когда он добежал до дота, у него на лице играла улыбка. Быстро и ловко он прислонил сумку с зарядом к стене дота. Затем просунул еще один заряд, на длинном стержне, в вентиляционное отверстие. Он чувствовал, что глаза всех солдат взвода прикованы к нему, что все следят, как ловко и умело он исполняет последний акт всей церемонии. Зашипел подоженный бикфордов шнур, и Ной помчался к щели, расположенной в тридцати футах от дота. Он нырнул в щель и спрятал голову. На какое-то мгновение над берегом воцарилась тишина; был слышен лишь шелест ветра в разбросанных по берегу кучках морской травы. Затем один за другим раздались взрывы. Осколки бетона взлетели в воздух и глухо попадали в песок невдалеке от него. Он поднял голову и осмотрелся. Дот был разворочен, из него валил черный дым. Ной поднялся и не без гордости заулыбался.

Лейтенант, руководивший подготовкой взвода в лагере и теперь прибывший сюда в качестве наблюдателя, подошел к Ною.

— Молодец,— сказал лейтенант.— Отлично сработано.

Ной помахал Бернекеру, и Бернекер, стоявший, опершись на винтовку, помахал ему в ответ.

В лагере Ноя ждало письмо. Он медленно и торжественно распечатал его.

«Дорогой мой,— говорилось в письме,— пока еще ничего нет. Я стала похожа на бочку. Все думают, что ребенок будет весить сто пятьдесят фунтов. Я все время ем. Я люблю тебя».

Ной перечитал письмо три раза подряд, чувствуя себя повзрослевшим и полным отцовской нежности. Затем аккуратно сложил его, спрятал в карман и пошел в свою палатку готовиться к трехдневному отпуску.

Засунув руку в вещевой мешок, чтобы достать из него чистую рубашку, он потихоньку нащупал спрятанную там коробку. Она была на месте и по-прежнему лежала завернутая в шерстяные подштанники. В коробке было двадцать пять сигар. Он купил их еще в Соединенных Штатах, провез через океан и хранил для того дня, который теперь вот уже настанет. В его жизни было так мало торжественных событий и церемоний, что нехитрая и довольно-таки

глупая идея ознаменовать рождение наследника раздачей сигар приобретала в его мозгу значение огромного торжества. Он купил эти сигары в Ньюпорт-Ньюсе, в штате Виргиния, и заплатил за них очень дорого — восемь долларов и семьдесят пять центов. К тому же они занимали в его ранце много драгоценного места. Однако он никогда не сожалел об этом. Он как-то смутно сознавал, больше чувством, чем умом, что сам акт раздачи сигар, простой и нелепый символ торжества, даст ему возможность и за три тысячи миль реально и живо почувствовать присутствие ребенка, установит между ним и ребенком, как в его собственном сознании, так и в сознании окружающих его людей, нормальные, естественные отношения отца и сына или отца и дочери. Иначе в вечно движущемся потоке солдатской жизни этот день прошел бы, как всякий другой день, а он остался бы таким же солдатом, как и все другие... Но пока не перестанет клубиться дым от подаренных им сигар, он будет больше, чем солдат, больше, чем один из десяти миллионов, больше, чем изгнанник, он будет значить больше, чем ружье и отдание чести, больше, чем каска,— он станет отцом, олицетворением творческой силы, любви, связующим звеном между поколениями людей.

— Ого! — воскликнул Бернекер, валявшийся на койке без ботинок, но все еще в шинели.— Взгляните на Аккермана! Шикарный, как субботний вечер в мексиканском дансинге. Все лондонские девушки попадают, как только завидят эту прическу.

Ной улыбнулся, испытывая в душе благодарность к Бернекеру за эту бесцеремонную шутку. Как все изменилось со времен Флориды! С приближением дня вступления в бой разногласия все больше отходили на задний план и все сильнее становились сплоченность и дружба солдат: ведь в бою жизнь каждого из них будет зависеть от всех остальных.

— Я еду не в Лондон,— ответил Ной, тщательно поправляя галстук.

— У него герцогиня в Сассексе,— подмигнул Бернекер капралу Анджеру, который, сидя у печки, обрезал ногти на ногах.— Сугубо секретно.

— Никакой герцогини у меня нет,— сказал Ной, застегивая пуговицы кителя.

— Куда же ты направляешь свои стопы в таком случае?

— Еду в Дувр,— сказал Ной.

— В Дувр? — От удивления Бернекер даже присел на постели... — В Дувр в трехдневный отпуск?

— Угу.

— Немцы же все время его обстреливают,— сказал Бернекер.— Ты правда едешь в Дувр?

— Угу.— Ной помахал им и вышел из палатки.— Увидимся в понедельник...

Бернекер удивленно посмотрел ему вслед.

— Заботы помутили разум этого человека,— сказал он. Потом снова лег и через минуту уже крепко спал.

Ной вышел из чистенькой, старой, деревянной с кирпичным фундаментом гостиницы, когда со стороны Франции только что начинало восходить солнце.

По вымощенной камнем улице он спустился к Ла-Маншу. Ночь прошла спокойно, был легкий туман. Вечером Ной заходил в ресторан, расположенный в самом центре города, где играл оркестр из трех человек. В просторном зале английские солдаты танцевали со своими девушками. Ной не танцевал. Он сидел один, прихлебывая несладкий чай, и всякий раз, когда встречался с призывным взглядом какой-либо девушки, застенчиво улыбался и опускал голову. Он любил танцевать, однако твердо решил, что ему не подobaет кружиться в танце, обнявшись с девушкой, в тот самый момент, когда его жена, быть может, испытывает родовые муки и когда его ребенок первым криком возвещает о своем появлении на свет.

Он рано вернулся в гостиницу. Проходя мимо оркестра, он увидел плакат: «Во время обстрела танцы прекращаются».

Он запер дверь своей пустой, холодной комнаты и с наслаждением лег в постель, испытывая приятное чувство одиночества и свободы. Никто не мог им командовать до самого вечера понедельника. Он сел в постели и начал писать письмо Хоуп, вспоминая сотни писем, которые он написал ей с тех пор, как они познакомились.

«Я сижу в постели,— писал он,— в настоящей постели, в настоящей гостинице, сам себе хозяин на целых три дня, пишу тебе это письмо и думаю о тебе. Я не могу сказать тебе, где я нахожусь, так как это не понравилось бы цензору, но думаю, что без всякого риска могу сообщить тебе, что сегодня ночью здесь туман, что я только что вернулся из ресторана, где оркестр играл: «Среди моих сувениров» и где висел плакат: «Во время обстрела танцы прекращаются». Мне кажется, что я могу также сказать тебе, что я тебя люблю.

Я чувствую себя очень хорошо, и, хотя в течение по-

следних трех недель у нас была очень большая нагрузка, я прибавил целых четыре фунта. К тому времени, когда я вернусь домой, я, по-видимому, так растолстею, что ни ты, ни ребенок не узнаете меня.

Пожалуйста, не переживай, если будет девочка. Я буду очень рад и девочке. Честное слово. Я очень много думал о воспитании нашего ребенка, — с полной серьезностью писал он, согнувшись над блокнотом при тусклом мигающем свете, — и вот что я решил. Мне не нравятся современные модные системы воспитания... Я видел немало примеров того, как они уродуют несформировавшийся ум, и хотел бы оградить от них нашего ребенка. Идея, согласно которой ребёнку надо позволять делать все, что взбредет ему в голову, ради того, чтобы он мог свободно проявлять свои инстинкты, представляется мне абсолютной ерундой. При таком воспитании получаются испорченные, капризные, непослушные дети, — писал Ной, черпая мудрость из глубин своего двадцатитрехлетнего житейского опыта, — оно, несомненно, основывается на неправильном представлении. Общество, безусловно, не позволит ни одному ребенку, даже нашему, вести себя в полном соответствии с его желаниями, и внушать ребенку, что ему все дозволено, — значит жестоко обманывать его. Я против детских яслей и детских садов, и думаю, что в течение первых восьми лет жизни ребенка мы в состоянии лучше, чем кто-либо другой, научить его всему тому, что ему необходимо знать. Я также против того, чтобы слишком рано принуждать ребенка к чтению. Надеюсь, что мои слова не звучат слишком догматично, ведь у нас с тобой не было времени обсудить это со всех точек зрения, поспорить и прийти к единому мнению.

Пожалуйста, родная, не смейся надо мной за то, что я так торжественно говорю о бедной малютке, которая в момент, когда я пишу эти строки, возможно, еще не появилась на свет. Но, может быть, у меня теперь очень долго не будет отпуска, и возможно, сегодня в последний раз я могу в тихой и спокойной обстановке внимательно обдумать все это.

Я уверен, дорогая, — медленно и старательно писал Ной, — что у нас будет прекрасный ребенок, хорошо сложенный, сообразительный, и что мы будем очень любить его. Я обещаю вернуться к нему и к тебе целым и невредимым, с сердцем, полным любви.

Что бы ни случилось, я знаю, что вернусь. Я вернусь, чтобы помогать ему, чтобы рассказывать ему перед сном

сказки, чтобы кормить его шпинатом и учить пить молоко из стакана, чтобы по воскресеньям водить его в парк и говорить ему, как называются звери в зоологическом саду, чтобы объяснить ему, почему он не должен обижать маленьких девочек и почему он должен любить свою маму так же сильно, как ее любит его отец.

В своем последнем письме ты пишешь, что если родится сын, то надо назвать его именем моего отца. Пожалуйста, не делай этого. Я не очень любил своего отца и всю свою жизнь старался быть подальше от него, хотя, конечно, и у него были свои хорошие черты. Назови его, если хочешь, Джонатаном, по имени своего отца. Я немного побаиваюсь твоего отца, но никогда не переставал восхищаться им с того рождественского утра в Вермонте.

Я не беспокоюсь о тебе. Я знаю, что ты будешь молодой. Не беспокойся и ты обо мне. Теперь со мной ничего не случится. С любовью, Ной.

P. S. Сегодня перед обедом я написал стихотворение. Это мои первые стихи. Это запоздалая реакция на штурм укрепленных позиций. Вот оно. Не показывай его никому. Я стесняюсь.

Страшись сердечного волнения —
Сердца не терпят злых разлук...
Дверей окованных засовы
Коварный открывает стук.

Это первая строфа. Сегодня напишу еще две строфы и пошлю их тебе. Пиши мне, родная, пиши, пиши, пиши...»

Он аккуратно сложил письмо, встал с постели и положил его в карман кителя. Потом выключил свет и поспешно нырнул в теплую постель.

В эту ночь обстрела не было. В первом часу завывали было сирены: в десяти милях к западу от города пересекли побережье несколько немецких самолетов, возвращавшихся на базу после налета на Лондон. Зенитки не стреляли.

Выйдя на улицу, Ной потрогал оттопыренный карман, где лежало письмо. Ему хотелось узнать, нет ли в городе какой-либо американской части, где он мог бы отдать свое письмо на просмотр цензору. Ему всегда становилось противно при мысли, что офицеры его роты, которых он терпеть не мог, читают его письма к Хоуп.

Солнце уже поднялось, посылая свои горячие лучи сквозь

редкую дымку тумана, из которой выплывали бледно освещенные дома. Ной прошел мимо тщательно расчищенных фундаментов, где некогда стояли четыре дома, разрушенные при артиллерийском обстреле города. «Вот, наконец,— подумал он, проходя мимо развалин,— я попал в город, который воюет».

Внизу лежал Ла-Манш, серый и холодный. Через редкую дымку тумана нельзя было различить берег Франции. Три английских торпедных катера, маленькие и проворные, плавно скользили по поверхности воды, направляясь в порт к своим бетонным причалам. Всю ночь, вздымая белую, сверкающую пену, они рыскали у вражеского побережья среди лихорадочно мечущихся лучей прожекторов, потоков трассирующих пуль и подводных взрывов торпед, вздымающих черные фонтаны воды на триста футов вверх. А сейчас, солнечным воскресным утром, они мирно и неторопливо возвращались домой, игривые и праздничные, как быстроходные прогулочные катера на летнем курорте.

«Город, который воюет»,— повторил про себя Ной.

В конце улицы стоял бронзовый памятник, почерневший и побитый морскими ветрами. Ной прочитал надпись, торжественно гласившую о том, что монумент воздвигнут в память английских солдат, которые прошли через это место по пути во Францию в 1914—1918 годах и не вернулись обратно.

«И снова в тридцать девятом году,— подумал Ной,— а потом в сороковом, по пути из Дюнкерка. Какой памятник увидит солдат в Дувре через двадцать лет, какие бои воскресит он в его памяти?»

Ной пошел дальше. Весь город принадлежал ему. Дорога поднималась вверх по знаменитым скалам, затем шла через открытые ветрам луга, которые напоминали Ною — как и вся почти Англия — парк, где заботливый, любящий, хотя и не одаренный большим воображением садовник постоянно поддерживает порядок.

Он шагал быстро, широко размахивая руками. Сейчас, без винтовки, без вещевого мешка, без каски, без котелка и фляги, без штыка в ножнах, ходьба казалась легким, не требующим никакого усилия движением, радостным, стихийным проявлением физического здоровья.

Когда он достиг вершины скалы, туман уже рассеялся, и Ла-Манш игриво сверкал, переливаясь голубыми и золотистыми красками, на всем пространстве до самых берегов Франции. Вдалеке виднелись скалы Кале. Ной остановился и взглянул на противоположный берег. Франция казалась

поразительно близкой. Он даже мог разглядеть грузовик, медленно ползущий в гору, мимо церкви, шпиль которой поднимался в омытый морем воздух. По-видимому, это был военный грузовик и в нем сидели немецкие солдаты. Возможно, они ехали в церковь. Он испытывал какое-то странное чувство, глядя на вражескую территорию и сознавая, что противник, даже на таком расстоянии, может, вероятно, увидеть его в бинокль. Это рожденное расстоянием перемирие было похоже на сон. Всегда почему-то казалось, что на войне, как только ты увидишь противника или он тебя, один из вас немедленно будет убит. А это мирное обозревание друг друга выглядело неестественно, фальшиво; оставляло беспокойное чувство неудовлетворенности. «Как ни странно,— думал Ной,— но, возможно, впоследствии из-за этого их будет труднее убивать».

Он стоял на самой вершине скалы, глядя на загадочное, безмятежно чистое побережье Европы. Город Кале, с его доками и причалами, с крышами домов и голыми деревьями, устремленными в военное небо, лежал, как бы застыв в тишине воскресного утра, точно так же, как город Дувр, расстилавшийся под его ногами. Как ему хотелось, чтобы сегодня здесь рядом с ним был Роджер. У Роджера нашлось бы что сказать об этих двух тесно связанных друг с другом городах, близнецах истории, на протяжении множества лет посылавших друг другу рыболовные суда, туристов, послов, солдат, пиратов, ядра и снаряды. Он сказал бы что-нибудь туманное, но значительное. Как печально, что Роджера послали на Филиппины умирать среди пальмовых деревьев и мшистых зарослей. Было бы куда справедливее — раз уж ему суждено умереть,— чтобы пуля сразила его в момент штурма побережья Франции, которую он так любил, или чтобы он был убит при въезде в деревушку близ Парижа, улыбающийся, разыскивающий владельца кафе, где он как-то летом выпивал со всеми присутствовавшими, или чтобы смерть настигла его где-нибудь в Италии, сражающимся в той самой рыбацкой деревушке, через которую он проходил по пути из Неаполя в Рим осенью тридцать шестого года, и, падая, сраженный вражеской пулей, он узнал бы церковь, здание ратуши, лицо девушки... Смерть, решил Ной, имеет свои степени справедливости, и смерть Роджера лежит у самого основания этой скалы.

Веселиться и любить ты умеешь,
Любишь леденцами угощать.

Ну, а деньги ты, дружок, имеешь?
Это все, что я хочу узнать...

Когда-нибудь после войны, решил Ной, он приедет сюда вместе с Хоуп.

«Я стоял здесь,— скажет он,— вот на этом самом месте, вокруг была полная тишина, и вон там виднелась Франция — она выглядела точно также, как сейчас. Я до сих пор не могу точно сказать, почему я решил прожесті свой, может быть, последний отпуск именно в Дувре. Не знаю... может быть, просто любопытство, желание посмотреть, как выглядит город, который по-настоящему воюет, взглянуть на место, где находится враг... Я так много слышал о немцах, о том, как они воюют, об их оружии, о злодействах, которые они совершают,— словом, я хотел хотя бы мельком взглянуть на то место, где они находятся. Да, иногда стреляли, но я не слышал, чтобы стреляли со злостью, как нам обычно говорили в армии...»

«Нет,— решил Ной,— мы вообще не будем говорить о войне. Мы придем сюда в летний день, держась за руки, сядем рядышком на подстриженную траву и будем смотреть через Ла-Манш. И я скажу: «Смотри, можно разглядеть чуть ли не шпиль церкви на том берегу, во Франции. Какой прекрасный день, не правда ли?...»

Звук разрыва нарушил тишину. Ной посмотрел вниз, в сторону порта. Со стороны портовых складов, куда попал снаряд, медленно, лениво поднималось облачко дыма, на расстоянии казавшееся совсем маленьким, словно игрушечным. Затем разрывы последовали один за другим. Облачка дыма беспорядочно расцветали над крышами домов по всему городу. В одном месте медленно, беззвучно на таком большом расстоянии, стала падать труба, мягко оседая, подобно игрушечным стенам, сделанным из конфет. Семь раз прозвучали разрывы, и снова воцарилась тишина. Город, казалось, снова без всяких усилий погрузился в прерванный воскресный сон.

Немцы по ту сторону пролива, утолив этой военной демонстрацией свою злость и охладив свой гнев, будут теперь чистить орудия и ждать.

Ответные выстрелов с английской стороны не последовало. Поднятые разрывами клубы пыли рассеялись, и уже через пять минут трудно было поверить, что что-то произошло.

Стремясь точно запечатлеть в памяти вид и звук разрывов, Ной медленно начал спускаться в город. Обстрел

города казался таким ненужным, беспорядочным, таким по-детски злорадным... «Это и есть война? — спрашивал себя Ной, скользя вниз по крутому склону. — Вот как она выглядит!»

Город уже проснулся. Две пожилые дамы в шляпках с черными перьями, держа в обтянутых ажурными перчатками руках молитвенники, степенно шествовали в церковь. Высокий, с иголки одетый лейтенант в форме «командос»¹, с одной рукой на перевязи весело и быстро промчался на велосипеде. Совсем маленькая девочка, которую вела на поводке направляющаяся в церковь тетя, взглянула на Ноя и серьезно проговорила обычное для английских детей обращение к американским солдатам:

Солдат, дай жевательной резинки.

— Хэрриет! — сухо одернула ее тетка.

Ной улыбнулся и отрицательно покачал головой маленькому белокурому созданию, которое тянули к воскресной службе.

Из высокой черной двери на улицу вышла семейная группа: отец, мать и целая куча детворы в возрасте от четырех до десяти лет. Отец держал за руку самого младшего. Под строгим черным костюмом заметно вырисовывалось округлившееся брюшко; его лицо под старинной, безукоризненно вычищенной шляпой выглядело сонным и самодовольным. Шестие замыкала мать. Оберегая стайку детей, как шотландская овчарка, она вела их по улице в церковь.

Очень красивая девушка, в туфлях на босу ногу и в свободном пальто, рассеянно прошла мимо этой семейной группы, читая на ходу воскресную газету.

По другой стороне улицы чинно шагал под руку с женой военный со стандартным лицом английского сержанта, холодным, неподвижным, сдержанным, полным чувства собственного достоинства. Его жена была молода, и Ной мог с уверенностью сказать, что она изо всех сил старается подражать напыщенным манерам мужа. Однако всякий раз, когда она сбоку поглядывала на него, каменное выражение ее лица сменялось живой улыбкой. Это создавало очень милый контраст, словно маленькая девочка с цветными лентами в косичках, забравшаяся на шустрого косматого пони, случайно затесалась в колонну выступающих на параде бронированных машин.

— Доброе утро, доброе утро, — приветствовали друг друга жители города, встречаясь на разбитых снарядами ули-

¹ «Командос» — диверсионно-десантные отряды морской пехоты. — *Прим. ред.*

цах.— Чудесный день, не правда ли? Я слышала, что снаряд опять попал в рыбный рынок мистера Финчли. Как хорошо, что ваш Альберт приехал на уикэнд! Как хорошо, что рассеялся туман! Сегодня можно видеть Францию. После обеда мы собираемся подняться на скалу. Да, я получила весточку от Сиднея. Спасибо, все хорошо, очень хорошо, у него сняли последние швы три недели назад и теперь его посылают в Калькутту на поправку... В субботу к моей Роберте снова приходил американский сержант. Он принес большую жестянку этого чудесного фруктового салата и целую коробку сигарет «Честерфильд». Чудесный парень, очень, очень хороший; он говорит, что разрешение теперь уже должно прийти примерно через месяц,— вы ведь знаете, как медленно все делается в армии,— и они должны пожениться здесь, если успеют до вторжения. Я уже говорила с викарием. Доброе утро, доброе утро, доброе утро...

Ной остановился перед церковью. Это было приземистое каменное здание с тяжелой квадратной башней. Церковь выглядела так, будто бог, к которому обращались в ее стенах прихожане, был грозным богом из Ветхого завета, установившим твердые, суровые, непреклонные законы для многих поколений верующих, живущих на берегу Ла-Манша; богом побережья и скал, богом ледяной воды и штормов, строгим в ниспослании кары и сдержанным в милосердии. На газоне перед церковью находилось бомбоубежище, позади нее, около дома викария, расположенные зигзагом заграждения из колючей проволоки, а далее, на краю газона, угрожающе шетинились противотанковые бетонные пирамиды, предназначенные для того, чтобы остановить немцев, которым так и не удалось взобраться на скалы, как они обещали в 1940 году.

Служба уже началась, и прихожане пели гимн под аккомпанемент органа. Высокие женские и детские голоса на фоне глубоких звуков органа и низких мужских голосов казались удивительно нежными и легкомысленными и как бы исходящими из неровного серого камня церковных стен. Повинуясь какому-то непонятному порыву, Ной вошел в церковь.

Прихожан было немного, и Ной сел на одну из свободных задних скамеек. Многие окна были выбиты, некоторые были заделаны картоном, в других торчали лишь осколки стекла, задержавшиеся в тяжелых свинцовых рамах. Соленый ветер с Ла-Манша врвался в отверстия, шевеля вуали женщин, перелистывая страницы библии, развевая длинные седые волосы священника, который стоял в мечтательной

позе, мягко покачиваясь на каблуках в такт гимну. Своим тонким восковым лицом и развевающимися белыми волосами он напоминал средневекового пианиста, увлеченного фугами, или астронома, слишком глубоко погруженного в созерцание звезд, чтобы вспомнить о том, что надо сходить к парикмахеру.

Ной никогда не был в синагоге. Напыщенные речи отца, полные цитат из священных книг, рано затмили идею бога в сознании Ноя. Ему ни разу не приходилось даже разговаривать со священником, ни с еврейским, ни с христианским. Они всегда казались Ноем слишком резкими, слишком энергичными, слишком воинственными и земными, слишком похожими на строевых командиров, чтобы искать у них какого-либо духовного утешения. Ему всегда казалось, что подойди он к любому священнику и скажи: «Святой отец, я согрешил», или: «Святой отец, я боюсь ада», тот похлопает его по плечу, процитирует что-нибудь из армейского устава и отошлет чистить винтовку.

Ной почти не слушал службы. Он вместе со всеми вставал, вместе со всеми садился, ощущал, не вникая в смысл слов, волнующую, печальную и нежную мелодию гимнов и все время смотрел на усталое, тонкое лицо священника, слабо освещенное зимним солнцем, лучи которого проникали через разбитые окна над его головой.

Пение гимнов закончилось. По церкви прошел легкий шум: прихожане убирали молитвенники, шаркали ногами, шептались дети. Задумчиво склонившись над пюпитром и обхватив большими бледными руками полированное темное дерево, священник начал проповедь.

Сначала Ной не вникал в слова проповеди. Он часто слушал так музыку: не следя за мелодией и за развертыванием замысла композитора, он в то же время переносился с помощью абстрактных звуков музыки в какой-то особый мир образов, созданных его собственным воображением. У священника был низкий старческий голос, нежный и задушевный; порой он терялся в порыве врывающегося в разбитые окна ветра. Это был голос, лишенный профессиональной страсти проповедника, голос, который, казалось, шел к богу и к пастве из глубины души. В нем звучали не старые каноны, а только что возникшие размышления, в нем не было напыщенной торжественности, присущей служителям церкви. Это был голос поистине религиозного человека.

— Любовь,— говорил старик,— это слово Христово; оно имеет единый смысл, чуждо всякого расчета и не допус-

кает разных толкований. Нам советуют любить ближнего как самого себя и врага своего любить как брата, и значение этих слов не вызывает сомнений, как и гири на весах, на которых взвешиваются наши поступки.

Мы жители Ла-Манша, но мы не живем на берегах его; мы живем среди морской травы и отшлифованных водой обломков, среди раскачивающихся соленых папоротников и среди костей наших братьев, нашедших свою смерть в темной пучине моря, а над нами катятся глубокие потоки ненависти человека к людям и к богу. Сейчас поток идет с севера и питает нас ледяным соком отчаяния. Мы живем среди орудий, и их медные голоса заглушают тихий голос бога; в их грохоте можно услышать лишь дикие крики возмездия. Мы видим, как наши города рушатся от вражеских бомб, мы оплакиваем наших детей, погибших на заре своей жизни от пуль врага; движимые бездонным чувством ненависти, мы наносим ответные удары, жестокие и дикие, по его городам и по его детям. Враг злее тигра, прожорливее акулы, беспощаднее волка; защищая свою честь и свой скромный образ жизни, мы поднялись против него, мы боремся против него; но при этом мы превосходим врага в жестокости, прожорливости, беспощадности. Разве, когда все это окончится, мы сможем лгать себе, что победа осталась за нами? Наша победа несет гибель тому, что мы защищаем и что не могло бы погибнуть при нашем поражении. Можем ли мы сидеть здесь, с окаменевшими в подводной глубине сердцами, и думать, что наша воскресная молитва дойдет до бога, после того как всю неделю мы убивали невинных, сбрасывали бомбы на церкви и музеи, сжигали библиотеки и хоронили детей и матерей под обломками железа и бетона, этого самого отвратительного порождения нашего века?

Не хвастайте в ваших газетах о том, что вы без разбора сбросили тысячи бомб на несчастную страну Германию, ибо я скажу вам, что вы сбросили эти бомбы на меня, на вашу церковь, на самих себя, на вашего бога. Лучше скажите мне, как вы оплакивали того единственного немецкого солдата, которого вам пришлось убить, когда он стоял перед вами, угрожая оружием, и тогда я скажу: ты мой защитник, ты защитник моей церкви и моей Англии.

Здесь, среди прихожан, я вижу несколько солдат и знаю, что они имеют право спросить: «Что такое любовь для солдата? Как должен солдат повиноваться слову Христову? Как может солдат любить своего врага?» И я отвечу так: убивай, щадя, скорбя, чувствуя, что совершаешь грех, ко-

торый является в равной мере и грехом того кто падает от руки твоей. Ибо не твое ли преждее безразличие, слабость духа, жадность, глухота вооружили его и послали на поле брани убивать тебя? Он боролся, он плакал, он зывал к тебе, но ты ответил: «Я ничего не слышу. Через воду гóлоса не слышно». Тогда в отчаянии он взял винтовку, и лишь после этого ты, наконец, сказал: «Теперь я ясно слышу его. Давайте убьем его».

— Не считайте,— продолжал старик тихим, слабеющим голосом,— что вы поступили справедливо, таким жестоким образом обратив на него свое запоздалое внимание. Убивайте, если вы вынуждены это делать, ибо из-за нашей слабости и наших ошибок мы не смогли найти другого пути к миру, но убивайте, испытывая чувство раскаяния и печали, сожалея о бессмертных душах, павших в бою, несите в своем патронташе милосердие, а в своем ранце — прощение, убивайте не из мести, потому что право мести принадлежит не вам, а богу, убивайте, сознавая, что каждая загубленная вами жизнь делает вашу собственную жизнь намного беднее.

Воспряньте, дети, воспряньте со дна пролива, стряхните с себя обломки разбитых кораблей, вырвитесь из зарослей морского папоротника, пусть теплое течение согреет ваши души. Хотя мы и боремся против убийц, не будем обгарять в крови наши собственные руки. Не будем превращать наших врагов в бесплотных духов, лучше сделаем их нашими братьями. Если мы несем в своих руках меч господень, как мы хвастаемся, то будем помнить, что он сделан из благородной стали, не допустим, чтобы в руках англичан он превратился в кровавый нож мясника.

Старик вздохнул и поежился; ветер, врывавшийся в окна, шевелил его волосы. Он посмотрел отсутствующим взглядом через головы прихожан, словно, предавшись своим старческим мечтаниям, совсем забыл об их присутствии. Потом посмотрел вниз и мягко улыбнулся полупустым скамьям.

Вместе с паствой он прочитал молитву и пропел заключительный гимн, но Ной уже не слушал. Слова священника взволновали его, он почувствовал трепетную нежность к этому старику, к окружающим его людям, к солдатам, стоящим у орудий здесь и по ту сторону пролива, ко всему живущему и обреченному на смерть. Они вселили в него какую-то таинственную надежду. Логика не позволяла ему согласиться со словами старика. Обреченный убивать, будучи сам мишенью для врага, зная путаный характер войны, в

которой он участвовал, Ной понимал, что во время атаки нельзя так строго придерживаться норм христианской морали, как желал этот старик, понимал, что такая попытка легла бы слишком тяжелым бременем на плечи армии, дала бы врагу слишком легко добытое преимущество, за что в один прекрасный день он, Ной, мог поплатиться жизнью. И все же проповедь священника вселила в него надежду. Если в такое время, в таком месте, где едва рассеялся дым от последних семи посланных в бесцельной злобе снарядов, в церкви, уже пострадавшей от войны, среди солдат, уже раненных, и горожан, уже потерявших своих близких, если в такое время и в таком месте нашелся человек, способный так страстно призывать к братству и милосердию, не опасаясь кары, значит, мир еще не погиб. Ной знал, что по ту сторону Ла-Манша никто не осмелился бы говорить подобным образом, и именно там, по ту сторону Ла-Манша, находятся люди, которым суждено в конечном счете потерпеть поражение. Владеть миром будут не они, а те чуть сонные и туповатые люди, которые сидят сейчас, кивая головой, перед своим старым проповедником. До тех пор,— размышлял Ной,— пока такие голоса, суровые, нелогичные и любящие, могут раздаваться в этом мире, его собственное чадо может жить в атмосфере уверенности и надежды...

— Аминь,— сказал священник.

— Аминь,— хором повторили прихожане.

Ной медленно поднялся и вышел. Он остановился у двери и стал ждать. На улице какой-то мальчишка, вооруженный луком и стрелой, целился в один из противотанковых надолбов. Он выстрелил и промахнулся, подобрал стрелу и снова тщательно прицелился.

Священник, стоя в дверях, с серьезным лицом пожимал руки прихожанам, спешившим к воскресному обеду, приготовленному из нормированных продуктов. Порывистый ветер трепал его волосы, а руки его, как заметил Ной, сильно тряслись. Он выглядел очень старым и хрупким.

Ной ждал, пока не разошлись все прихожане. Затем, когда священник хотел уже повернуть в церковь, Ной подошел к нему.

— Сэр,— тихо проговорил он, не зная еще, что хочет сказать, не в состоянии выразить словами охватившее его смешанное чувство благодарности и надежды.— Сэр, я... я хотел подождать и... я извиняюсь, что не могу выразить это лучше... благодарю вас...

Старик спокойно взглянул на него. У него были темные,

окруженные морщинками пронизательные и скорбные глаза. Он медленно наклонил голову и пожал Нюю руку своей сухой и до прозрачности хрупкой рукой. Ной очень осторожно пожал руку священника.

— Хорошо,— сказал священник.— Благодарю вас. Это к вам, молодым, я обращал свои слова, потому что именно вам предстоит принимать решения... Благодарю вас.— Он стал внимательно разглядывать форму Нюи.— О,— вежливо воскликнул он,— канадец?

Ной не мог сдержать улыбку.

— Нет, сэр,— сказал он,— американец.

— Американец! — воскликнул старик, несколько озадаченный.— О да.

У Нюи было такое ощущение, словно старик не совсем усвоил тот факт, что Америка участвует в войне. Должно быть, ему десятки раз говорили об этом, но он успел уже позабыть. Казалось, все мундиры сливались в его глазах в однообразные тусклые пятна.

— Очень рад, очень рад,— тепло и едва слышно произнес старик.— Я действительно очень рад. Да,— неожиданно воскликнул он, взглянув вверх на окна церкви.— Надо достать новые стекла; там внутри, по-видимому, был ужасный сквозняк.

— Нет, сэр,— ответил Ной и снова не смог сдержать улыбку.— Я не заметил.

— Очень мило с вашей стороны,— сказал священник,— очень мило, что вы так говорите. Американец? — В его голосе снова послышалась слабая, вежливая нотка сомнения.— Да сохранит вас бог и да возвратит вас невредимым домой к вашим родным и близким после ужасных дней, что ждут вас впереди.— Он пошел было в церковь, но снова вернулся и почти сурово взглянул на Нюю.

— Скажите мне откровенно,— заговорил он живо и возбужденно, как молодой, энергичный человек,— скажите мне, ведь вы думаете, что я просто болтливый старый дурак? — Внезапно он твердо и с неожиданной силой схватил руки Нюи.

— Нет, сэр,— тихо сказал Ной.— Я думаю, что вы великий человек.

Старик пронизывающим взглядом посмотрел на Нюю, как будто искал на его лице какой-либо признак насмешки или снисхождения к его возрасту и устаревшему образу мыслей. Он, казалось, был удовлетворен тем, что увидел. Отпустив руки Нюи, он попытался улыбнуться, но лицо его задрожало, а глаза заволокло туманом.

Он покачал головой.

— Старый человек,— сказал он,— иногда не знает, в каком мире он живет, говорит он о прошлом или о будущем... Я смотрю на своих прихожан и вижу лица умерших пятьдесят лет назад и разговариваю с ними, пока, наконец, не очнусь и не вспомню, где я. Сколько вам лет?

— Двадцать три, сэр,— ответил Ной.

— Двадцать три,— задумчиво повторил священник,— двадцати три.— Он медленно поднял руку и потрогал лицо Ноя.

— Живое лицо. Живое лицо. Я буду молиться за ваше спасение.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Ной.

— «Сэр»,— повторил священник.— «Сэр». Наверно, вас учат в армии так обращаться.

— Да, сэр,— ответил Ной.

Он заморгал глазами и, казалось, на какое-то мгновение забыл, с кем разговаривает. Потом рассеянно посмотрел вокруг.

— Приходите как-нибудь еще в воскресенье,— сказал он очень усталым голосом,— возможно, к тому времени мы уже вставим стекла.— Он круто повернулся и исчез в темном отверстии двери.

В лагере Ноя ожидала телеграмма. Она была отправлена семь дней назад. Дрожащими руками он вскрыл ее, чувствуя учащенное биение крови в запястье и в кончиках пальцев. «Мальчик,— прочитал он,— шесть с половиной фунтов. Чувствую себя великолепно. Люблю тебя. Хоуп».

Ошеломленный, он вышел из канцелярии.

После ужина он раздал сигары. Он решил во что бы то ни стало наделить сигарами всех тех, с кем он дрался во Флориде. Брейлсфорда не было, так как его отправили обратно в Штаты. Все же остальные застенчиво, с чувством удивления и неловкости, взяли сигары. Они пожимали ему руку, неуклюже, но тепло поздравляли его, как будто здесь, вдали от дома, под аккомпанемент мелкого английского дождя, среди орудий разрушения, разделяли с ним радость отцовства.

— Мальчик,— пробасил Доннелли, тяжеловес из «Золотой перчатки» и огнеметчик, до боли сжимая руку Ноя в своей огромной, дружеской руке.— Мальчик. Что ты скажешь на это? Мальчик. Надеюсь, что несчастному чертенку никогда не придется носить военной формы, как приходится

его отцу. Спасибо,— сказал он, понюхав сигару.— Большое спасибо. Мировая сигара.

Однако в самый последний момент Ной никак не мог заставить себя предложить сигары сержанту Рикетту или капитану Колклафу. Вместо этого он отдал три штуки Бернекеру. Одну он выкурил сам. Это была первая сигара в его жизни, и он лег спать, чувствуя легкое, приятное головокружение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Дверь отворилась, и на пороге появилась закутанная в серый платок Гретхен Гарденбург.

— Да? — сказала она, выглядывая из-за приоткрытой двери.— Что вам угодно?

— Здравствуй,— улыбнулся Христиан.— Я только что приехал в Берлин.

Гретхен приоткрыла дверь немного шире и пристально посмотрела на него. Она довольно долго рассматривала его погоны, потом, наконец, узнала его.

— А, унтер-офицер,— воскликнула она.— Входи.— Она открыла дверь. Христиан потянулся было поцеловать ее, но она опередила его и подала руку. Они поздоровались. Рука у нее была костлявая и тряслась, словно ее слегка лихорадило.

— Такой плохой свет в прихожей...— начала она извиняться.— Да ты еще так изменился.— Она отступила назад и смерила его критическим взглядом.— Ты очень похудел. И цвет лица...

— У меня была желтуха,— резко сказал Христиан. Ему самому был противен этот цвет лица, и он не любил, когда другие напоминали ему об этом. Совсем не так представлял он себе первые минуты встречи с Гретхен — сначала заставила стоять у полузакрытой двери, потом пришлось выслушивать замечания о том, какой у него неприятный цвет лица.— Малярия и желтуха. Поэтому я и попал в Берлин: отпуск по болезни. Я только что с поезда и сразу же пришел сюда...

— Как лестно,— сказала Гретхен, машинально отбрасывая со лба непричесанные волосы.— Очень мило с твоей стороны.

— Не пригласишь ли ты меня войти? — спросил Христиан.— «Стоило мне ее увидеть,— с досадой подумал он,— и опять я выпрашиваю подачку».

— О, извини, пожалуйста,— сухо рассмеялась Гретхен.— Я спала и, наверно, еще не совсем пришла в себя. Конечно, конечно, входи...

Она закрыла за ним дверь, фамильярно взяла его за руку и крепко сжала ее. «Все еще, может быть, и обойдется»,— подумал Христиан, направляясь в хорошо знакомую комнату. Видно, вначале она очень удивилась, а теперь это проходит.

Войдя в гостиную, он было направился к ней, но она ускользнула, закурила сигарету и села.

— Садись,— сказала она.— Садись, мой милый. Я часто думала, что с тобой случилось.

— Я писал,— ответил Христиан, садясь.— Я послал тебе много писем, но ты ни разу не ответила.

— Письма...— Гретхен сделала гримасу и помахала сигаретой.— Иногда просто не находишь времени. Я все собираюсь написать... А потом, в конце концов, жгу их, потому что просто невозможно... Впрочем, мне очень нравились твои письма, правда. Просто ужас, что они сделали с тобой на Украине!

— Я был не на Украине,— холодно заметил Христиан.— Я был в Африке и в Италии.

— Ах да, конечно,— согласилась Гретхен, несколько не смущаясь.— В Италии у нас дела идут хорошо, не правда ли? Это единственное по-настоящему светлое пятнышко.

Христиан недоумевал, как можно, даже будучи крайним оптимистом, считать Италию светлым пятнышком, но промолчал. Он внимательно наблюдал за Гретхен. Она выглядела гораздо старше, особенно в этом неряшливом сером халате. Глаза подернулись желтизной, под глазами мешки; волосы потускнели, а некогда девически энергичные движения стали нервными, неестественными, расхлябанными.

— Я завидую тебе — ты живешь в Италии,— продолжала она.— В Берлине становится просто невыносимо. Ни согреться, ни уснуть: почти каждую ночь налеты, невозможно добраться из одного района в другой. Я просила, чтобы меня послали в Италию хотя бы только согреться...— Она засмеялась, и в ее смехе послышались какие-то жалобные нотки.— Мне так нужно отдохнуть,— тараторила она.— Ты не можешь себе представить, сколько нам приходится работать и в каких условиях. Я часто говорю своему начальнику, что если бы солдатам пришлось воевать в таких условиях, они объявили бы забастовку. Я так и говорю ему прямо в лицо...

«Чудесно,— подумал Христиан.— Она нагоняет на меня скуку».

— А! — воскликнула Гретхен, — теперь я все вспомнила. Ты из роты моего мужа. Черные кружева... Их украли прошлым летом. Ты не имеешь понятия, сколько в Берлине развелось жулья, приходится следить, как ястреб, за каждой уборщицей...

«Ко всему прочему она стала еще и болтлива», — отметил про себя Христиан, хладнокровно прибавляя этот грех к другим ее порокам.

— Не следовало бы говорить все это солдату, только что вернувшемуся с фронта, — спохватилась Гретхен. — Все газеты трубят о том, как мужественно ведут себя берлинцы, как безропотно они переносят страдания... Впрочем, нет смысла, что-либо скрывать от тебя: стоит тебе выйти на улицу, и ты услышишь жалобы со всех сторон. Ты привез что-нибудь из Италии?

— Что именно? — спросил озадаченный Христиан.

— Что-нибудь поесть, — сказала Гретхен. — Многие привозят сыр или эту чудесную итальянскую ветчину, и я думала, возможно, ты... — Она кокетливо улыбнулась ему и подалась вперед, ее халат приоткрылся, чуть обнажив грудь.

— Нет, — отрубил Христиан. — Я не привез ничего, кроме желтухи.

Он почувствовал себя уставшим и немного растерянным. Все его планы на эту неделю в Берлине связывались с Гретхен, и вот...

— Ты не подумай, что у нас нечего есть, — сказала Гретхен официальным тоном. — Просто хочется разнообразия...

«Бог мой, — с горечью подумал Христиан. — Не прошло и двух минут, а мы уже говорим о еде!»

— Скажи мне, — резко спросил он, — ты что-нибудь слышала о своем муже?

— Мой муж? — неохотно ответила Гретхен, словно сожалая, что приходится прекращать разговор о еде. — О, он покончил с собой.

— Что?

— Он покончил с собой, — без тени печали повторила она. — Зарезался перочинным ножом.

— Это невозможно! — воскликнул изумленный Христиан. У него не укладывалось в голове, как такая неистовая, целеустремленная энергия, такая сложная, хладнокровная, расчетливая сила могла сама себя уничтожить. — У него были такие большие планы..

— Я знаю о его планах, — огорченно проговорила Гретхен. — Он хотел вернуться сюда. Он прислал мне свою фотографию. Ей-богу, я до сих пор не пойму, как он смог

заставить кого-то снять такое лицо. Ему удалось восстано-
вить зрение на один глаз, и он тут же решил вернуться домой
и жить со мной. Ты не представляешь, на что он был похож.—
Ее даже передернуло.— Надо быть не в своем уме, чтобы
решиться послать жене такую фотографию. Я, мол, пойму
и найду в себе достаточно сил. Он всегда имел свои стран-
ности, но без лица... Есть, в конце концов, предел всему,
даже во время войны. Ужас — неотъемлемая черта жизни,
писал он, и все мы должны уметь его переносить...

— Да,— сказал Христиан.— Я помню.

— Наверно, он и тебе говорил что-нибудь такое.

— Да.

— Что ж,— раздраженно продолжала Гретхен.— Я по-
слала ему очень тактичное письмо. Я просидела над ним
целый вечер. Я написала, что здесь ему будет неудобно, что
лучше бы ему оставаться под присмотром в армейском гос-
питале, по крайней мере до тех пор, пока они сделают
что-нибудь с его лицом... Хотя, говоря по правде, тут нельзя
было ничего поделывать, это было уже не лицо, и, по сути дела,
нельзя разрешать нашим людям... Впрочем, письмо было
исключительно тактичным...

— У тебя сохранилась эта фотография? — внезапно спро-
сил Христиан.

Гретхен как-то странно взглянула на него и плотнее
закуталась в платок.

— Да,— сказала она,— фотография у меня. Не могу по-
нять,— продолжала она, вставая и направляясь к столу у
дальней стены,— что тебе за охота на нее смотреть.— Она
начала нервно ворошить содержимое двух ящиков стола,
пока, наконец, не извлекла небольшую карточку. Мельком
взглянув на нее, она передала ее Христиану.

— Вот она,— проговорила Гретхен.— Можно подумать,
что в наши дни и без того нечем напугать человека...

Христиан посмотрел на фотографию. Единственный пере-
кошенный светлый глаз холодно и властно выглядывал из
сплошной бесформенной раны поверх тугого воротника мун-
дира.

— Могу я взять ее? — спросил Христиан.

— В последнее время все вы становитесь все более и
более странными! — пронзительно прокричала Гретхен.—
Иногда у меня появляется такое чувство, что всех вас сле-
довало бы запереть под замок, да, да, именно так.

— Могу я взять ее? — повторил Христиан, глядя на фо-
тографию.

— Пожалуйста,— пожала плечами Гретхен,— она мне ни
к чему.

— Я был очень привязан к нему,— пояснил Христиан,— и многим ему обязан. Он помог мне узнать жизнь больше, чем кто-либо другой. Он был гигантом, истинным гигантом.

— Не думай,— быстро проговорила Гретхен,— что я не любила его. Я очень его любила. Но я предпочитаю помнить его вот таким...— Она взяла со стола фотографию Гарденбурга в серебряной рамке. Он выглядел красивым и строгим в своей офицерской фуражке. Она с наигранной нежностью погладила фотографию.— Это он снимался в первый месяц нашей семейной жизни, и я думаю, он хотел бы, чтобы я помнила его именно таким.

В двери повернулся ключ. Гретхен нервно задергалась и потуже затянула пояс халата.

— Боюсь,— торопливо зашептала она,— что тебе придется уйти. Я сейчас занята и...

В комнату вошла высокая, грузная женщина в черном пальто. У нее были серовато-стального цвета волосы, гладко зачесанные назад, и маленькие, холодные глаза, глядевшие из-за очков в стальной оправе. Она мимоходом взглянула на Христиана.

— Добрый вечер, Гретхен,— сказала она.— Ты еще не одета? Ты же знаешь, что пора обедать.

— А у меня гость,— сообщила Гретхен.— Это унтер-офицер из роты моего мужа.

— Да? — холодно произнесла женщина. Она тяжелым взглядом посмотрела на Христиана.

— Унтер-офицер... э-э...— Голос Гретхен звучал неуверенно.— Я очень извиняюсь, но я не помню твоей фамилии.

«Я бы с удовольствием убил ее»,— подумал Христиан, вставая и глядя на пожилую женщину. Он все еще продолжал держать в руке фотографию Гарденбурга.

— Дистль,— сказал он мрачно.— Христиан Дистль.

— Унтер-офицер Дистль, мадемуазель Жиге.

Христиан поклонился. Женщина ответила на приветствие, лишь слегка опустив веки.

— Мадемуазель Жиге приехала из Парижа,— нервно проговорила Гретхен.— Она работает у нас в министерстве. Она подыскивает себе квартиру и пока живет со мной. Она очень важная особа, не так ли, моя дорогая? — Закончив представление, Гретхен захихикала.

Женщина не обратила на ее слова никакого внимания: она начала стягивать перчатки со своих квадратных могучих рук.

— Простите меня,— сказала она,— мне надо принять ванну. Есть горячая вода?

— Так, тепловатая.

— Этого вполне достаточно.— Квадратная тучная фигура исчезла в спальне.

— Она очень умная,— сказала Гретхен, не глядя на Христиана.— Ты был бы поражен, если бы видел, как все в министерстве с ней советуются.

Христиан взял фуражку.

— Мне пора идти,— сказал он.— Благодарю за фотографию. До свидания.

— До свидания,— сказала Гретхен, нервно теребя воротник халата.— Просто хлопни дверь, замок автоматический..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Мне чудятся видения,— говорил Бэр, медленно шагая вдоль берега к тому месту, где они оставили свои сапоги. Их босые ноги утопали в холодном песке. Волны, тихо набегавшие со стороны далекой Америки, по-весеннему журчали в неподвижном воздухе.— Я вижу Германию, какой она будет через год.— Бэр остановился и закурил; его крепкие руки, руки рабочего, рядом с хрупкой сигареткой, казались огромными.— Руины. Везде руины. Двенадцатилетние подростки вооружаются гранатами, чтобы добыть кило муки. На улицах не видно молодежи, за исключением тех, кто ковыляет на костылях. Все остальные — в лагерях для военнопленных в России, Франции и Англии. Старые женщины тащатся по улицам, на них платья из мешковины, то одна, то другая вдруг падает и умирает от истощения. Фабрики не работают: все они до основания разрушены бомбардировками. Правительства не существует, действует только закон военного времени, введенный русскими и американцами. Нет ни школ, ни домов, нет будущего...

Бэр умолк и задумчиво посмотрел на море. День склонился к вечеру; погода для такой ранней поры на побережье Нормандии стояла изумительно теплая и мягкая. Большой оранжевый шар солнца мирно опускался в воды океана. Жесткая трава на дюнах еле шевелилась; дорога, вьющаяся узкой черной полоской вдоль берега, опустела, а крестьянские домики из белого камня, видневшиеся вдали, казалось, были давным-давно покинуты своими обитателями.

— Будущего нет,— задумчиво повторил Бэр, устремив взгляд в сторону моря, мимо колючей проволоки.— Будущего нет.

Бэр был унтер-офицером в новой роте Христиана. Это был тихий, могучего сложения человек лет тридцати. Его жена и двое детей были убиты в январе во время налета английской авиации на Берлин. Прошлой осенью он получил ранение на русском фронте, но говорить об этом не любил. Бэр прибыл во Францию за несколько недель до возвращения Христиана из отпуска, который он проводил в Берлине.

За месяц знакомства с Бэром Христиан очень привязался к нему. Христиан, видимо, тоже нравился Бэру, и они стали проводить все свободное время вместе, совершая большие прогулки по цветущим окрестностям и попивая местный кальвадос и крепкий сидр в кафе той деревни, где располагался их батальон. Они всегда носили с собой пистолеты, так как офицеры постоянно предупреждали о деятельности французов из банд маки¹. Однако пока что в этом районе не было никаких инцидентов, и Христиан с Бэром решили, что настойчивые предостережения были всего лишь симптомами растущей нервозности и неуверенности начальства. Поэтому они беспечно бродили по окрестностям деревни и по побережью моря, неизменно вежливые со встречными французами, которые казались вполне дружелюбно настроенными, хотя и были по-крестьянски серьезными и сдержанными.

Больше всего Христиану нравилась в Бэре его уравновешенность. Все остальные, с кем Христиану приходилось иметь дело с той ужасной ночи около Александрии, были измотанными, раздражительными, ожесточенными, истеричными и переутомленными... От Бэра веяло деревенским спокойствием; это был хладнокровный, уравновешенный, собранный, несколько замкнутый человек, редкого здоровья, и Христиан в его присутствии чувствовал, как успокаиваются его издерганные, истрепанные малярией и артиллерийским огнем нервы.

Вначале, когда его назначили в батальон в Нормандию, Христиану было очень горько. «С меня довольно,— думал он.— Я больше не могу». В Берлине он почувствовал себя больным и старым. Он проводил свой отпуск, лежа в постели по шестнадцать-восемнадцать часов в день, не вставая даже во время ночных налетов авиации. «Африка, Италия, израненная, так и не зажившая окончательно нога, то и дело повторяющиеся приступы малярии — нет, с меня довольно. Чего еще им от меня надо? Теперь, видно, они

¹ Маки — название французских партизан во время второй мировой войны.— *Прим. ред.*

хотят, чтобы я встретил американцев, когда они высадятся на берег. Это слишком,— думал он, охваченный чувством горькой жалости к себе,— они не имеют права требовать этого от меня. Ведь есть миллионы других, которых война едва затронула. Почему бы не использовать их?»

Но потом он познакомился с Бэр, и спокойная, уравновешенная сила этого человека постепенно излечила его. За один месяц тихой, здоровой жизни он прибавил в весе, к нему вернулся здоровый цвет лица. У него ни разу не было головной боли, и даже больная нога, казалось, окончательно приспособилась к своим поврежденным сухожилиям.

И вот теперь Бэр шел рядом с ним по холодному песку морского берега и смущал его покой своими речами.

— Нет будущего, нет будущего. Они все время твердят, что американцы никогда не высадятся в Европе. Чепуха. Они видят вокруг себя могилы и насвистывают, чтобы отогнать страх. Только это будут не их могилы, а наши. Американцы высадятся, потому что они решили высадиться. Я готов умереть,— сказал Бэр,— но не хочу умирать бесполезно. Они высадятся, что бы мы с тобой ни делали, они вступят в Германию и встретятся там с русскими, и тогда с Германией будет покончено раз и навсегда.

Некоторое время они шли молча. Песок, набившийся между пальцами босых ног, вдруг напомнил Христиану о прошлом, когда он в летнюю пору босоногим мальчишкой бегал по песку. Эти воспоминания, прекрасный берег, чудесный, радостный день совсем не располагали к серьезным рассуждениям, которые навязывал ему Бэр.

— Я слушал их по радио из Берлина,— говорил Бэр,— они безудержно хвастались, бросали вызов американцам, приглашая их высадиться, намекали на какое-то секретное оружие, предсказывали, что очень скоро русские будут сражаться против англичан и американцев. Когда я слушал этот вздор, мне хотелось биться головой о стенку и плакать. И знаешь почему? Не потому, что они лгут, но потому, что это такая жалкая, такая наглая, такая пренебрежительная ложь. Именно пренебрежительная. Они сидят в тылу и болтают все, что им взбредет в голову, потому что они презирают нас, презирают всех немцев, всех жителей Берлина; они знают, что мы дураки и верим всему, что нам скажут; они знают, что мы всегда готовы умереть ради любой ерунды, которую они состряпают в свободные пятнадцать минут между завтраком и очередной выпивкой.

— Послушай,— продолжал Бэр,— мой отец сражался

четыре года в прошлую войну. Он был в Польше, России, Италии, Франции. Он был ранен три раза и умер в двадцать шестом году от последствий отравления газом в восемнадцатом году в Аргоннском лесу. Боже мой, мы настолько глупы, что они даже заставляют нас снова и снова разыгрывать те же самые сражения, как будто несколько раз подряд крутят один и тот же фильм! Те же песни, та же форма, те же враги, те же поражения. Только могилы новые. Но на этот раз и конец будет иным. Немцы, может быть, никогда и ничему не научатся, но на этот раз научатся другие. На этот раз все будет по-иному, и поражение будет гораздо тяжелее. Прошлый раз это была славная, простая война в европейском стиле. Каждому она была понятна, каждый мог простить ее, потому что такого рода войны велись в течение тысячелетий. Это была война в рамках одной и той же культуры, когда одна группа цивилизованных христианских джентльменов сражалась против другой группы цивилизованных христианских джентльменов, с соблюдением одних и тех же общих, все предусматривающих правил. Прошлый раз, когда окончилась война, мой отец вернулся вместе со своим полком в Берлин, и на всем пути девушки бросали им цветы. Он снял военную форму, снова вернулся в свою юридическую контору и приступил к разбору дел в гражданских судах, словно ничего не случилось. На этот раз никто не будет бросать нам цветы, даже если кто-либо из нас и уцелеет, чтобы вернуться в Берлин.

— Нынешняя война,— говорил он,— это уже не та простая, понятная всем война в рамках одной и той же культуры. Это нападение зверей на дом человека. Я не знаю, что ты видел в Африке и Италии, но знаю, что я видел в России и Польше. Мы превратили в кладбище территорию в полторы тысячи километров длиной и в полторы тысячи километров шириной. Мужчины, женщины, дети, поляки, русские, евреи — мы не делали различия. В наших поступках не осталось ничего человеческого. Так делает только ласка, забравшаяся в курятник. Казалось, мы боимся, что если мы оставим на востоке хоть что-нибудь живое, оно когда-нибудь послужит свидетельством против нас и осудит нас. А теперь,— продолжал Бэр своим низким ровным голосом,— после всего этого мы совершаем последнюю ошибку. Мы проигрываем войну. Зверя медленно загоняют в угол, и человек готовится подвергнуть его последнему наказанию. А что, ты думаешь, будет с нами? Поверь мне, иногда по ночам я благодарю бога за то, что моя жена и двое детей погибли, и им не придется жить в Германии, когда

окончится эта война. Иногда,— сказал Бэр, глядя поверх воды,— я смотрю на море и говорю себе: «Прыгай! Постарайся уплыть! Плыви в Англию, плыви в Америку, проплыви восемь тысяч километров, чтобы убежать от всего этого ужаса».

Они дошли до того места, где лежали их сапоги, и остановились, глядя на свою тяжелую обувь, задумчиво рассматривая тусклую, черную кожу, как будто эти тупые подбитые гвоздями сапоги были символом их агонии.

— Но я не могу уплыть в Америку,— продолжал Бэр,— я не могу уплыть в Англию. Я должен оставаться здесь. Я немец, и то, что постигнет Германию, постигнет и меня. Вот почему я так говорю с тобой. Ты понимаешь,— сказал он,— что, если ты заикнешься кому-нибудь о нашем разговоре, меня возьмут в ту же ночь и расстреляют...

— Я никому не скажу ни слова,— обещал Христиан.

— Я наблюдал за тобой целый месяц,— сказал Бэр,— присматривался и все взвешивал. Если я в тебе ошибся, если ты не тот человек, за которого я тебя принимаю, это будет стоить мне жизни. Мне бы хотелось получше приглядеться к тебе, но у нас не так много времени.

— Насчет меня не беспокойся,— сказал Христиан.

— У нас осталась лишь одна надежда,— сказал Бэр, глядя на валявшиеся на песке сапоги.— Одна надежда для Германии. Мы должны показать миру, что в Германии есть еще человеческие существа, а не одни только звери. Мы должны показать, что эти человеческие существа еще могут действовать самостоятельно.— Бэр оторвал глаза от сапог и посмотрел своим спокойным, трезвым взглядом на Христиана, и Христиан понял, что процесс взвешивания все еще продолжается. Он ничего не сказал. Он был сбит с толку, он возмущался, что ему приходится выслушивать Бэра, и в то же время был зачарован его речью и знал, что должен слушать дальше.

— Никто,— сказал Бэр,— ни англичане, ни русские, ни американцы не подпишут мира с Германией, пока Гитлер и его подручные находятся у власти, потому что люди не заключают мир с тиграми. И если что-нибудь еще можно спасти в Германии, то мы должны подписать перемирие сейчас, немедленно. Что это значит? — подобно лектору, спросил Бэр.— Это значит, что сами немцы должны убрать тигров, сами немцы должны пойти на риск, должны пролить свою кровь за это дело. Мы не можем ждать, пока наши враги победят и дадут нам в дар правительство, потому что тогда уже нечем будет управлять, и не останется ни-

кого, кто бы обладал достаточной силой и волей, чтобы руководить государством. Это значит, что мы с тобой должны быть готовы убивать немцев, чтобы доказать остальному миру, что есть еще надежда для Германии.— Он снова посмотрел на Христиана. «Он пронизывает меня насквозь,— с негодованием подумал Христиан,— вбивает в мою душу один гвоздь за другим, чтобы укрепить свое доверие. Однако остановить Бэра он не мог.

— Не думай,— продолжал Бэр,— что я все это выдумал сам, что я одинок. Во всей армии, по всей Германии медленно готовится план и постепенно вербуются люди. Я не говорю, что это нам удастся. Я лишь говорю, что по одну сторону — неизбежная смерть, неизбежная гибель, по другую же сторону... небольшая надежда. Кроме того,— продолжал он,— лишь один тип правительства может нас спасти, и, если мы сами за это возьмемся, мы сможем создать такое правительство. Если же мы будем ожидать, пока это сделает противник, то у нас будет полдюжины марионеточных правительств, бесполезных, не имеющих никакого значения, и вообще это будут уже не правительства. Тогда двадцатый год по сравнению с пятидесятым покажется мечтой. Мы можем своими руками создать коммунистическое правительство, и Германия сразу же станет центром коммунистической Европы. Для нас нет иной формы правительства, что бы ни говорили англичане и американцы, потому что помешать немцам убивать друг друга в условиях, которые американцы именуют демократией, так же безнадежно, как, скажем, пытаться предотвратить нападение волков на стадо овец, положившись на их честное слово. Невозможно укрепить разрушающееся здание, наложив на фасад новый слой яркой краски; нужно заложить в стены и фундамент прочные железные балки. Американцы наивны, они слишком ожирели и поэтому могут позволить себе расточительную роскошь игры в демократию, но им никогда не приходило в голову, что их система покоится на толстом слое подкожного жира, а не на красивых словах, которые содержатся в их конституции...

«Кто это говорил? — пронеслось в голове Христиана смутное воспоминание.— Где я это слышал раньше?» Потом он вспомнил то далекое утро на лыжном склоне и Маргарет Фримэнтл. Тогда он сам произносил те же слова, но по другому поводу. «Как нелепо и утомительно,— думал он,— всякий раз перетасовывать одни и те же аргументы, чтобы получить нужный ответ».

— Мы здесь можем кое-чем помочь,— продолжал Бэр.—

Мы имеем связи со многими людьми во Франции, с французами, которые сейчас стремятся нас уничтожить. Но в мгновение ока они могут стать нашими самыми надежными союзниками. И то же самое можно сказать о Польше, России, Норвегии, Голландии и о всех других странах. В короткий срок мы могли бы противопоставить американцам объединенную Европу, с Германией в центре, и они были бы вынуждены признать ее, нравится им это или нет. Иначе... Иначе остается лишь молиться о том, чтобы тебя поскорее убили в этой игре. А теперь,— сказал Бэр,— о некоторых конкретных делах, которые нам предстоят. Могу ли я сказать моим товарищам, что ты готов действовать?

Бэр сел на песок и стал надевать носки, медленно и методично, тщательно разглаживая складки и счищая прижавший к ним песок.

Христиан смотрел на море. Он чувствовал себя утомленным и сбитым с толку. В нем бушевала глухая, колючая злоба на друга. «Какой выбор остается в наши дни! — негодующе подумал он.— Выбор между одной смертью и другой, между веревкой и пулей, ядом и кинжалом. Был бы я бодрым и здоровым, был бы у меня продолжительный, спокойный, здоровый отпуск, не был бы я ранен, не был бы болен, тогда можно было бы смотреть на вещи спокойно и разумно, найти верное слово, выбрать верное оружие...»

— Обувайся,— сказал Бэр.— Пора возвращаться. Ответ можешь сейчас не давать. Подумай.

«Подумать,— промелькнуло в голове Христиана,— больной думает о раке, разъедающем его желудок, осужденный думает о казни, солдат думает о пуле, которая вот-вот поразит его».

— Имей в виду,— Бэр серьезно взглянул на Христиана, держа в руке сапог,— если ты кому-нибудь скажешь об этом, то в одно прекрасное утро тебя найдут с ножом в спине, независимо от того, что случится со мной. Ты мне очень нравишься, честно говорю, но я должен был оградить себя от случайностей и сказал своим товарищам, что буду говорить с тобой...

Христиан посмотрел на спокойное, здоровое, простое лицо, обыкновенное, как лицо человека, приходившего к вам в довоенное время починить радио, или лицо полицейского, помогающего двум малышам, идущим в школу, перейти улицу.

— Я же сказал, что можешь не беспокоиться,— хрипло проговорил Христиан.— Мне нечего обдумывать. Могу сказать тебе сейчас, я...

Послышался какой-то звук, и Христиан автоматически бросился на песок. Пули засвистели над головой, глухо шлепаясь в песок, и он почувствовал странный, безболезненный удар металла, разрывающего его руку. Он поднял голову. В пятнадцати метрах над собой он увидел «спит-файр», взревший после долгого пикирования с выключенным мотором. В косых лучах солнца на крыльях сверкали круглые опознавательные знаки, хвостовое оперение отливало серебром. Самолет с ревом набирал высоту над морем и через мгновение превратился в маленькую изящную фигурку, не больше чайки. Он взлетел выше солнца, он летел выше, в сверкающий зелеными и пурпурными красками удивительно свежий весенний день, где его ожидал, описывая широкие сверкающие круги над океаном, другой самолет.

Тут Христиан посмотрел на Бэра. Тот сидел прямо, задумчиво глядя на свои руки, скрещенные на животе. Между пальцами медленно сочилась кровь. На секунду Бэр отнял руки от живота, и кровь полила неровными, пульсирующими струйками. Бэр снова прижал руки к животу, как будто был удовлетворен проделанным экспериментом.

Он взглянул на Христиана. Позже, вспоминая этот момент, Христиан был уверен, что Бэр тогда нежно улыбался.

— Чертовски больно,— сказал Бэр своим спокойным, ровным голосом.— Ты можешь доставить меня к доктору?

— Они спланировали,— как-то глупо сказал Христиан, глядя на две мерцающие, исчезающие в небе точки.— У этих негодяев оставалось несколько патронов, и они не могли вернуться домой, не расстреляв их...

Бэр попробовал было встать. Он поднялся на одно колено, но не смог удержаться и снова уселся на песок с тем же задумчивым и отсутствующим выражением на лице.

— Я не могу двигаться,— сказал он,— ты сможешь меня донести?

Христиан подошел и попробовал поднять его. Но тут он обнаружил, что его правая рука не действует. Он удивленно посмотрел на нее, вспомнив, что он тоже ранен. Рукав пропитался кровью, и рука онемела. Но рана, казалось, уже перестала кровоточить: присохшая к ней ткань рукава остановила кровь. Однако поднять Бэра одной здоровой рукой он не мог. Он приподнял его, но затем, задыхаясь, остановился, держа Бэра под мышки. Из горла Бэра исходили какие-то странные звуки, словно у него в груди что-то шелкало и булькало.

— Не могу,— сказал Христиан.

— Посади меня,— простонал Бэр.— Ради бога, посади меня

С величайшей осторожностью Христиан опустил раненого на песок. Бэр сел, вытянув ноги и прижав руки к ране, из которой продолжала сочиться кровь. Он по-прежнему издавал странные, булькающие звуки, как будто внутри у него взад и вперед ходил поршень.

— Я пойду за помощью,— сказал Христиан.— Найду кого-нибудь, чтобы унести тебя.

Бэр пытался что-то сказать, но не мог. Он кивнул головой. Он все еще выглядел спокойным, уравновешенным, здоровым, с копной светлых волос, возвышающейся над загорелым лицом. Христиан осторожно сел и начал надевать сапоги, однако ему никак не удавалось натянуть их одной левой рукой. В конце концов он отказался от этой попытки. Похлопав Бэра по плечу фальшивым подбадривающим жестом, он тяжелой, медленной походкой направился босиком в сторону дороги.

Не доходя метров пятьдесят до дороги, он увидел двух французов, ехавших на велосипедах. Они двигались с большой скоростью, легко, ритмично и неумоимо работая ногами и отбрасывая длинные фантастические тени на болотистые поля.

Христиан остановился и закричал им, махая здоровой рукой:

— Mes amis! Camarades! Arrêtez!¹

Велосипедисты сбавили ход, и Христиан мог видеть, как они недоверчиво уставились на него из-под козырьков своих кепок.

— 'Blessé! Blessé!² — закричал Христиан, показывая рукой в сторону Бэра, который сейчас походил на небольшой тюк, валяющийся на берегу сверкающего в лучах заката моря.— Aidez-moi! Aidez-moi!³

Велосипедисты почти совсем остановились, и Христиан увидел, как они вопросительно посмотрели друг на друга. Потом они еще ниже прильнули к рулю и стали быстро набирать скорость. Они проехали совсем близко, всего в каких-нибудь двадцати пяти-тридцати метрах от Христиана, и он успел хорошо их рассмотреть. Из-под темно-синих кепи виднелись усталые, коричневые от загара грубые лица, холодные и лишенные всякого выражения. Вскоре они скрылись из виду за высоким песчаным холмом, который закрывал дорогу почти на два километра вперед. Дорога и окружающая ее местность опустели и стали быстро тонуть в

¹ Друзья! Товарищи! Остановитесь! (франц.)

² Раненый, раненый (франц.)

³ Помогите! Помогите! (франц.)

голубых сумерках. Только берег океана все еще был освещен ярким красноватым светом.

Христиан поднял руку, словно пытаясь остановить тех двоих, все еще не веря, что их уже нет, надеясь, что это только игра больного воображения, что они не могли просто так умчаться прочь. Он тряхнул головой и побежал по направлению к группе домов, смутно видневшихся вдали.

Однако уже через минуту ему пришлось остановиться: он сильно запыхался, и раненая рука снова начала кровоточить. В ту же минуту он услышал крик. Он круто повернулся и стал напряженно вглядываться через сгущавшиеся сумерки в ту сторону, где он оставил Бэра. Над Бэром склонился какой-то человек. Медленными движениями умирающего Бэр пытался уползти прочь. Снова послышался крик Бэра, а склонившийся над ним человек, шагнув вперед, схватил его за воротник и перевернул лицом кверху. В руке человека на фоне серовато-серебристого моря ярко сверкнуло лезвие ножа. Бэр снова начал было кричать, но тут же замолк.

Левой рукой Христиан схватился за кобуру, однако выхватить пистолет ему удалось не сразу. Он видел, как человек убрал нож и обшарил Бэра в поисках пистолета. Взяв пистолет и засунув его в карман, он поднял валявшиеся тут же сапоги Христиана. Христиан, вынув пистолет, непослушными пальцами с трудом опустил предохранитель и выстрелил. Ему никогда не приходилось стрелять левой рукой, и выстрелы были неточными. Тем не менее француз побежал в сторону высокой дюны. Христиан нетвердой походкой двинулся к берегу, где лежало тело Бэра, время от времени останавливаясь, чтобы выстрелить по быстро убегавшему французу.

Когда он, наконец, добрался до места, где вытянувшись лицом кверху, с раскинутыми руками лежал Бэр, французы уже уносились на велосипедах по черной тряской дороге по ту сторону дюны. Христиан выпустил по ним последнюю пулю. По-видимому, пуля ударила где-то недалеко, потому что он увидел, как свисавшая с руля велосипедиста пара сапог упала на дорогу, как будто человек испугался свиста пули. Французы не остановились и скрылись в лиловой дымке, начавшей заволакивать дорогу, бледный песчаный берег, ряды колючей проволоки и желтые дощечки с изображением черепа и с надписью «Внимание, мины!»

Христиан взглянул на товарища.

Бэр лежал на спине, устремив взор в небо, с выражением предсмертного ужаса, застывшим на его лице. Из

горла, располозованного французом от уха до уха, сочилась еще не совсем запекшаяся кровь. Христиан тупо уставился на лежащего перед ним Бэра. «Нет, это невозможно,— думал он.— Каких-нибудь пять минут назад он сидел здесь, надевал сапоги и обсуждал, все равно как профессор социологии, будущее Германии... У английского летчика, злобно скользнувшего вниз на своем истребителе, и у французского крестьянина-велосипедиста, прячущего под одеждой нож, были свои взгляды на политику».

Христиан поднял глаза. Море с тихим рокотом спокойно катило свои пенистые волны на бледный и пустынный песчаный берег. На песке все еще отчетливо были видны следы ног. На какое-то мгновение в голове Христиана промелькнула дикая мысль, что еще можно что-то сделать, что если бы он предпринял один-единственный правильный шаг, те злополучные пять минут исчезли бы, самолет не спикировал бы, не встретились ему те двое на велосипедах, и мечтатель Бэр, целый и невредимый, встал бы с песка, предлагая Христиану принять решение.

Христиан тряхнул головой. «Глупости,— подумал он.— Те пять минут действительно были и прошли. Произошли нелепые, бессмысленные события. Светлоглазый юнец, выпивающий по вечерам свою кружку пива в кабачке где-нибудь в Девоне, возвращаясь с боевого вылета из Франции, заметил на песке две крошечные фигурки; морщинистый загорелый фермер нанес непоправимый удар ножом. Судьба Германии будет теперь решаться без дальнейших комментариев Антона Бэра, вдовца и философа. Не видать ему больше ни Германии, ни Ростока, не бродить по берегу моря».

Христиан наклонился и, тяжело дыша, снял сначала один, потом другой сапог с ног Бэра. «Негодяи,— рассуждал про себя Христиан,— во всяком случае, хоть эти сапоги им не достанутся».

Держа в руках сапоги, медленно волоча по песку ноги, он пошел в сторону дороги. На дороге он поднял свои сапоги, брошенные французом. Зажав под мышкой раненой руки обе пары сапог, он побрел босиком, чувствуя под ногами прохладу, по направлению к штабу батальона, расположенному в пяти километрах.

На следующий день Христиан присутствовал на похоронах Бэра. Рука его была на перевязи и не очень сильно болела. Вся рота была выстроена торжественно, как на па-

раде, сапоги вычищены, ружья смазаны. Капитан воспользовался случаем, чтобы произнести речь.

— Солдаты,— начал он, держась подчеркнуто прямо, подтянув живот и не обращая внимания на сильный дождь,— я даю вам обещание, что этот солдат будет отомщен.— У капитана был высокий, скрипучий голос. Большую часть времени он проводил в крестьянском доме, где жил с толстоногой француженкой, которую привез с собой в Нормандию из Дижона, где прежде располагалась его часть. Француженка была беременна и пользовалась этим предлогом, чтобы есть по пять раз в день с завидным аппетитом.

— Он будет отомщен,— повторил капитан,— отомщен.— Капли дождя стекали с козырька фуражки прямо ему на нос.— Население этого района узнает, что мы можем быть надежными друзьями и жестокими врагами, что ваша жизнь, солдаты, дорога для меня и для нашего фюрера. Мы уже напали на след убийцы...

Христиан мрачно думал об английском летчике: вероятно, в этот момент — по случаю дождливой погоды — он безмятежно сидит с девушкой в уютном уголке таверны, согревает руками холодное пиво и посмеивается с этим приводящим в ярость английским высокомерием, рассказывая, как ловко и удачно он спикировал накануне и поймал на прицел двух босоногих фрицев, совершавших променаж перед заходом солнца.

— Мы покажем этим людям,— бушевал капитан,— что такие гнусные варварские действия им даром не пройдут. Мы протянули руку дружбы, и, если нам отвечают ударом ножа, мы знаем, как отплатить за это. Акты предательства и насилия не возникают сами по себе. Людей, которые их осуществляют, толкают на это их хозяева, находящиеся по ту сторону Ла-Манша. Неоднократно битые на поле брани, эти дикари, которые называют себя английскими и американскими солдатами, нанимают других, чтобы те действовали исподтишка, как карманные воры и взломщики. История войн,— продолжал капитан, голос которого звучал все громче и громче под аккомпанемент дождя,— не знает примеров такого грубого нарушения законов человечности, какое допускают наши враги сегодня. В Германии они обрушивают бомбы на безвинных женщин и детей, а их наемники в Европе под покровом ночи вонзают кинжалы в горло наших солдат. Однако,— голос капитана возвысился до крика,— этим они ничего не добьются. Ничего. Я знаю, как это действует на меня и на любого другого немца: это придает нам силы, мы становимся еще беспощаднее, а наша решительность переходит в ярость!

Христиан посмотрел вокруг. Остальные солдаты печально стояли под дождем. Их лица не выражали ни решимости, ни ярости; на кротких, хитроватых физиономиях были написаны только страх и скука. Батальон был сформирован на скорую руку. В него вошло много солдат, получивших ранения на других фронтах, а также новобранцы последнего призыва: пожилые, не совсем пригодные к службе мужчины или восемнадцатилетние юнцы. Христиан почувствовал вдруг жалость к капитану; ведь он обращался к несуществующей армии, к армии, уничтоженной в сотнях предшествующих боев. Он обращался к призракам миллионов горящих яростью солдат, покоящихся ныне в могилах в Африке и России.

— Но в конце концов,— кричал капитан,— им придется вылезти из своих нор. Им придется вылезти из своих теплых постелей в Англии, они не смогут больше полагаться на наемных убийц и будут вынуждены встретиться с нами здесь, на поле брани, как солдаты. Я упиваюсь этой мыслью, я живу ради этого дня, я бросаю им вызов: «Выходи на бой, как подобает солдату, узнай, что значит сражаться с немцами!» Я жду этого дня с непоколебимой уверенностью в победе, исполненный любви и преданности отчизне. И я знаю, что в душе каждого из вас горит такой же священный огонь.

Христиан еще раз оглядел ряды солдат. Они стояли, мрачно понутив головы; дождь проникал через накидки из синтетической резины, сапоги медленно увязали во французской грязи.

— Тело этого унтер-офицера,— капитан сделал драматический жест в сторону открытой могилы,— не будет с нами в тот великий день, но с нами будет его дух, он будет поддерживать нас, призывать нас к твердости, если мы начнем колебаться.

Капитан вытер лицо и уступил место священнику, который пробормотал слова молитвы. Он был сильно простужен и норовил как можно скорее скрыться от дождя, пока его простуда не развилась в воспаление легких.

Затем подошли два солдата с лопатами и начали засыпать могилу мокрой, превратившейся в жижу землей.

Капитан подал команду и, выпятив грудь, стараясь не слишком вилять задом, вывел роту с маленького кладбища, на котором было всего восемь могил, и повел ее по вымощенной камнями главной улице деревни. На улице не было видно ни одного жителя, и ставни во всех домах были закрыты от дождя, от немцев и от войны.

Лейтенант войск СС был настроен весьма благодушно. Он приехал в большой штабной машине. Одну за другой он курил небольшие гаванские сигары; на его лице застыла широкая механическая улыбка, напоминавшая улыбку торговца пивом, спускающегося в Ratskeller¹, а изо рта сильно пахло коньяком. Он удобно развалился на заднем сиденье машины и усадил Христиана рядом с собой. Они мчались по прибрежной дороге, направляясь в соседнюю деревушку, где Христиан должен был опознать задержанного по подобию в убиистве Бэра человека.

— Ты хорошо разглядел тех двоих? — пристально глядя на Христиана, спросил лейтенант СС, со своей механической улыбкой покосывая кончик сигары. — Ты мог бы легко их опознать?

— Так точно, господин лейтенант, — ответил Христиан.

— Отлично, — просиял лейтенант. — Все будет очень просто. Я люблю простые дела. Кое-кто из наших, другие следователи, впадают в уныние, когда встречаются с простым делом. Им нравится разыгрывать из себя великих сыщиков. Они любят, когда все запутанно, неясно, чтобы можно было блеснуть своими талантами. Я совсем не такой. О нет, мне это не нужно. — Он тепло улыбнулся Христиану. — «Да или нет, это тот человек или не тот человек», — вот это в моем вкусе. А остальное оставим интеллигентам. До войны я работал за станком на фабрике кожаных изделий в Регенсбурге, и я не притворяюсь особенно проницательным. У меня простая философия, когда дело касается французов. Я с ними действую напрямик и ожидаю того же от них. — Он посмотрел на часы. — Сейчас половина четвертого. К пяти часам ты уже будешь в своей роте. Это я тебе обещаю. Я обделываю дела быстро. Да или нет. Так или иначе, и будь здоров. Хочешь сигару?

— Спасибо, не хочу, — ответил Христиан.

— Другие офицеры, — сказал лейтенант, — не стали бы садиться вот так, как я, рядом с унтер-офицером и угощать его сигарами. Но я не такой. Я никогда не забываю о том, что работал на фабрике кожаных изделий. Это одно из несчастий немецкой армии. Все они забывают, что когда-то были штатскими и что им снова придется быть штатскими. Все они мнят себя Цезарями и Бисмарками. Но я не таков. Я решаю дела просто, раз-два и баста! Относись ко мне по-деловому, и я буду так же относиться к тебе.

К тому времени, когда большая машина подъехала к

¹ Винный погребок (нем.).

зданию ратуши, в подвале которой был заперт подозреваемый, Христиан пришел к выводу, что лейтенант СС, фамилия которого была Райхбургер, законченный идиот. Христиан не доверил бы ему вести дело даже о пропаже авто ручки.

Лейтенант выпрыгнул из машины и бодро и весело зашагал к безобразному каменному зданию, улыбаясь своей улыбкой торговца пивом. Христиан вошел вслед за ним в пустую, с грязными стенами комнату, единственным украшением которой, не считая писаря и трех обшарпанных стульев, была карикатура на Уинстона Черчилля, на которой он был изображен нагишом. Она была наклеена на картон и использовалась офицерами местного отряда СС в качестве мишени.

— Садись, садись,— сказал лейтенант, указывая на стул.— Устраивайся поудобнее. Не забывай, что ты совсем недавно был ранен.

— Слушаюсь, господин лейтенант.— Христиан уселся. Он сожалел, что взялся опознать тех двух французов. Он ненавидел лейтенанта и не хотел иметь с ним ничего общего.

— Ты до этого имел ранения? — любезно улыбаясь, спросил лейтенант.

— Да,— ответил Христиан.— Одно. Или, вернее, два. Одно тяжелое в Африке. Кроме того, имел легкое ранение в голову в сороковом году под Парижем.

— Три раза ранен.— Лейтенант на минуту сделался серьезным.— Ты счастливый человек. Тебя ни за что не убьют. Видимо, что-то охраняет тебя. Я знаю, что по моему виду этого не скажешь, но я фаталист. Одним на роду написано быть только раненным, другим суждено быть убитым. Что касается меня, то пока что меня не задело. Но я знаю, что прежде чем кончится война, меня убьют.— Он пожал плечами и широко заулыбался.— Такова моя судьба. Поэтому я живу в свое удовольствие. Я живу с одной из лучших поварих Франции, а в придачу у нее есть еще две сестры.— Он подмигнул Христиану и самодовольно хихикнул.— Как видишь, пуля сразит человека, вполне довольного жизнью.

Дверь отворилась, и рядовой эсэсовец ввел высокого, загорелого мужчину в наручниках. Мужчина изо всех сил старался показать, что он нисколько не трусит. Он стоял у двери со связанными за спиной руками, и напрягая мускулы лица, пытался изобразить презрительную улыбку.

Лейтенант мило улыбнулся ему.

— Итак,— произнес он на плохом французском языке,— не будем тратить ваше время, месье.— Он повернулся к Христиану и спросил:— Это не один из тех людей, унтер-офицер?

Христиан уставился на француза. Тот глубоко вздохнул и в свою очередь уставился на Христиана. На его лице отразилось немое изумление и с трудом сдерживаемая ненависть. Христиан чувствовал, как в нем закипает гнев. В этом лице, тупом и вместе с тем отважном, как в зеркале, отражалась вся хитрость, злоба и упорство французов: насмешливое молчание, когда приходится ехать с ними в общем купе; иронический, едва сдерживаемый смех, когда вы выходите из кафе, где двое-трое французов где-нибудь в уголке потягивают вино; цифра 1918, нагло выведенная на церковной стене в первую же ночь после вступления в Париж... Француз хмуро посмотрел на Христиана, но даже в его кислой гримасе чувствовался беззвучный смех, таившийся в уголках рта. «С каким удовольствием,— подумал Христиан,— двинул бы я прикладом по этим гнилым, желтым зубам».— Он вспомнил о Бэре, таком разумном и порядочном, который собирался работать с такими вот людьми. И вот Бэр мертв, а этот человек все еще продолжает жить; он скалит зубы и торжествует.

— Да,— твердо сказал Христиан.— Это он.

— Что?!— воскликнул остолбеневший француз.— Что такое? Он сошел с ума.

С неожиданной для его довольно тучной и рыхлой комплекции быстротой лейтенант прыгнул вперед и ударил француза кулаком в зубы.

— Мой дорогой друг,— сказал он,— ты будешь говорить только тогда, когда тебя спросят.— Он стоял перед совсем обалдевшим французом, который, шевеля губами, старался слизнуть капельки крови, сочившейся из разбитого рта.— Итак,— сказал лейтенант по-французски,— установлено, что вчера во второй половине дня на берегу моря, в шести километрах от этой деревни, ты перерезал горло немецкому солдату.

— Позвольте,— начал было ошеломленный француз.

— Нам остается теперь услышать от тебя одну единственную деталь...— Тут лейтенант сделал паузу.— Имя человека, который был вместе с тобой.

— Позвольте,— возразил француз.— Я могу доказать, что после обеда я вообще не отлучался из деревни.

— О да,— любезно согласился лейтенант,— ты можешь доказать все, что угодно, и собрать сотню подписей в те-

чение одного часа, но нас это не интересует.

— Прошу вас...

— Нас интересует только одно,— сказал лейтенант.— Имя человека, который был вместе с тобой, когда ты слез с велосипеда, чтобы убить беспомощного немецкого солдата.

— Позвольте,—убеждал француз,— у меня нет никакого велосипеда.

Лейтенант кивнул эсэсовцу. Солдат не очень крепко привязал француза к одному из стульев.

— Мы действуем очень просто,— сказал лейтенант.— Я обещал унтер-офицеру, что он вернется в свою роту к обеду, и я намерен сдержать свое слово. Могу лишь пообещать тебе, что если ты сейчас же не ответишь, то скоро пожалеешь об этом. Итак...

— У меня даже нет велосипеда,— невнятно пробормотал француз.

Лейтенант подошел к письменному столу и выдвинул один из ящиков. Достав оттуда клещи, он пощелкал ими, медленно направился к французу и стал у него за спиной. Он быстро наклонился и схватил своей рукой правую руку француза. Затем очень ловко и небрежно, резким профессиональным движением он вырвал ноготь из большого пальца человека.

Раздался крик, какого Христиан не слышал никогда в жизни.

— Как я тебе говорил,— сказал лейтенант, стоя за спиной француза,— я действую очень просто. Нам предстоит вести долгую войну, и я не склонен зря тратить время.

— Послушайте...— простонал француз.

Лейтенант снова нагнулся над ним, и снова раздался крик. На лице лейтенанта было спокойное, почти скучающее выражение, как будто он стоял у машины на фабрике кожаных изделий в своем Регенсбурге.

Француз упал вперед на веревки, которыми он был привязан к стулу, однако сознания не потерял.

— Это самая обычная процедура, мой друг.— Лейтенант вышел из-за спинки стула и остановился перед французом.— Это я сделал лишь затем, чтобы ты убедился, как серьезно мы смотрим на это дело. Ну, а теперь будь любезен и назови мне имя своего друга.

— Я не знаю, я не знаю,— простонал француз. По его лицу градом катился пот, и оно не выражало ничего, кроме боли.

Наблюдая все это, Христиан чувствовал легкую слабость и головокружение, а крики казались совершенно невыно-

симыми в этой небольшой пустой комнате с карикатурой голого, похожего на свинью Уинстона Черчилля на стене.

— Я сейчас сделаю с тобой такое, чего ты и представить себе не можешь,— говорил лейтенант, повысив голос, словно муки воздвигли в сознании француза глухую стену, через которую с трудом проникали звуки.— Я говорил тебе, что я прямой человек, и докажу тебе это. У меня не хватает терпения для долгих допросов. Я перехожу от одной меры к другой очень быстро. Можешь мне не верить, как я уже сказал, но, если ты не назовешь имя человека, который был с тобой, я вырву у тебя правый глаз. Сейчас же, мой друг, сию же минуту, в этой самой комнате, своими собственными руками.

Француз инстинктивно закрыл глаза, и из его потрескавшихся губ вырвался низкий глубокий вздох.

— Нет,— прошептал он.— Это ужасная ошибка. Я не знаю.— Затем с логикой помешанного, он снова повторил: — У меня даже нет велосипеда.

— Унтер-офицер,— обратился лейтенант к Христиану,— вам нет необходимости здесь оставаться.

— Благодарю вас, лейтенант,— отозвался Христиан. Голос его дрожал. Он вышел в коридор, тщательно закрыл за собой дверь и прислонился к стене. У двери с безразличным видом стоял эсэсовец с винтовкой в руке.

Через тридцать секунд раздался крик, от которого у Христиана сжалось горло; этот крик, казалось, проникал в самые легкие. Он закрыл глаза и прижался затылком к стене.

Он знал, что подобные вещи бывают, но ему казалось невозможным, чтобы это могло случиться здесь, в солнечный день, в невзрачной пыльной комнате, в захудалой деревушке, прямо напротив бакалейной лавочки, в окнах которой висели связки сосисок, в комнате, где висит карикатура жирного человека с румяными голыми ягодицами...

Через некоторое время дверь отворилась, и на пороге появился лейтенант. Он улыбался.

— Подействовало,— сказал он.— Прямой путь — наилучший путь. Подожди здесь,— сказал он Христиану.— Я скоро вернусь.— С этими словами он исчез за дверью другой комнаты.

Христиан и солдат стояли, прислонившись к стене. Солдат закурил сигарету, не угостив Христиана. Он курил с закрытыми глазами, как будто пытался уснуть стоя, прислонившись к потрескавшейся каменной стене старой ратуши. Христиан увидел, как из комнаты, в которую вошел лей-

тенант, вышли два солдата и пошли по улице. Из-за двери, у которой он стоял, Христиан услышал то усиливающийся, то ослабевающий рыдающий шепот, словно кто-то молился без слов.

Пять минут спустя солдаты вернулись, ведя круглого лысого человека небольшого роста, без шляпы, с испуганными, бегающими из стороны в сторону глазами. Солдаты, держа его за локти, ввели в комнату, где ожидал лейтенант. Вскоре один из солдат вышел в коридор.

— Он просит вас войти,— сказал солдат Христиану.

Христиан медленно направился по коридору в другую комнату. Маленький толстый француз сидел на полу и плакал, обхватив голову руками. Вокруг него стояла темная лужа, свидетельствующая о том, что в минуту испытания мочевой пузырь подвел его. Лейтенант сидел за письменным столом и печатал на машинке письмо. В комнате, кроме лейтенанта, находился писарь, составлявший ведомость на выдачу денежного содержания, и еще один солдат, стоявший у окна и беспечно наблюдавший за молодой матерью, которая вела белокурого малыша в бакалейную лавочку.

Лейтенант взглянул на вошедшего Христиана и кивнул в сторону сидевшего на полу француза.

— Это второй? — спросил он.

Христиан посмотрел на француза, сидевшего посередине лужи на пыльном деревянном полу.

— Да,— подтвердил он.

— Уведите его,— приказал лейтенант.

Солдат отошел от окна и направился в сторону француза, который изумленно глядел на Христиана.

— Я никогда не видел его,— воскликнул француз, когда солдат схватил его за шиворот и медленно поставил на ноги.— Бог мне судья, я никогда в жизни не видел этого человека...

Солдат выволок его из комнаты.

— Итак,— сказал лейтенант, весело улыбаясь,— с этим покончено. Сейчас... через полчаса бумаги будут направлены полковнику, и я умываю руки. А теперь... хочешь вернуться в свою роту немедленно или переночуешь здесь? У нас хорошая унтер-офицерская столовая, а завтра можешь посмотреть казнь. Она состоится в шесть часов утра. Решай сам.

— Я бы хотел остаться,— сказал Христиан.

— Прекрасно,— согласился лейтенант.— Унтер-офицер Дехер находится в соседней комнате. Пойди к нему и скажи, что я приказал тебя устроить. Придешь сюда в пять сорок

пять завтра утром.— Он вернулся к своему письму, и Христиан вышел из комнаты.

Казнь происходила в подвале здания ратуши. Это было длинное сырое помещение, освещенное двумя яркими электрическими лампочками без абажуров. У одной из стен в земляной пол были вбиты два столба. Позади столбов стояли два низких гроба, сколоченных из некрашенных досок, которые тускло поблескивали в свете электрических лампочек. Этот подвал служил также тюрьмой, и на сырых стенах мелом и углем были написаны последние слова обреченных, обращенные к миру живых.

«Бога нет»,— прочитал Христиан, стоявший позади шести солдат, которые должны были привести приговор в исполнение...— «*Merde, Merde, Merde*»¹... «Меня зовут Жак. Моего отца зовут Рауль. Мою мать зовут Кларисса. Мою сестру зовут Симона. Моего дядю зовут Этьен. Моего сына зовут...» Этому человеку не удалось закончить перечень.

Ввели обоих осужденных. Они двигались так, как будто их ноги давно уже отвыкли от ходьбы: каждого из них тащили два солдата. Увидев столбы, маленький француз тихо заскулил, но человек с одним глазом, хотя он с трудом передвигал ноги, попытался придать своему лицу выражение презрения, и, как заметил Христиан, это ему почти удалось. Солдаты быстро привязали его к столбу.

Унтер-офицер, командовавший отделением, подал первую команду. Его голос прозвучал как-то странно, слишком парадно и слишком официально для такого невзрачного подвала.

— Никогда,— закричал одноглазый,— вы никогда...

Залп не дал ему закончить фразу. Пули перерезали веревки, которыми был привязан низенький француз, и он повалился вперед. Унтер-офицер быстро подбежал к ним и нанес *coup de grâce*², выстрелив в голову сначала одному, потом другому. Пороховой дым на время затмил запах сырости и разложения, господствовавший в подвале.

Лейтенант кивнул Христиану, и тот последовал за ним наверх и затем на улицу, затянутую серой утренней дымкой. У него все еще звенело в ушах от выстрелов.

Лейтенант слабо улыбнулся.

— Ну, как тебе все это понравилось? — спросил он.

— Ничего,— спокойно ответил Христиан.— Не могу пожаловаться.

¹ Дерьмо (франц.).

² Удар милосердия (франц.).

— Отлично! — воскликнул лейтенант.— Ты уже завтракал?

— Нет.

— Пойдем со мной. Меня уже ждет завтрак. Это совсем близко, всего несколько шагов отсюда.

Они зашагали рядом, и звуки их шагов тонули в жемчужном тумане, надвигавшемся с моря.

— Первый,— заметил лейтенант,— тот, что с одним глазом, терпеть не мог немецкую армию, правда?

— Да, господин лейтенант.

— Очень хорошо, что мы от него избавились.

— Да, господин лейтенант.

Лейтенант остановился и, улыбаясь, посмотрел на Христиана.

— А ведь это были совсем не те люди, да?

Христиан заколебался, но лишь на секунду.

— Откровенно говоря,— признался он,— я не уверен.

Лейтенант улыбнулся еще шире.

— Ты умный парень,— весело сказал он.— От этого дело не меняется. Мы доказали им, что шутить не любим.— Он похлопал Христиана по плечу.— Иди на кухню и скажи Рене, что я велел тебя хорошенько накормить; пусть подаст тот же завтрак, что и мне. Ты сумеешь объясниться с ней по-французски?

— Да, господин лейтенант.

— Очень хорошо.— Лейтенант еще раз похлопал Христиана по плечу и вошел через большую массивную дверь в серый дом с горшочками цветущей герани на окнах и в палисаднике. Христиан направился в дом через заднюю дверь. Ему подали обильный завтрак: яичницу с колбасой и кофе с настоящими сливками.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Дым от горящих сбитых планеров заволакивал сырое предрассветное небо с востока. Повсюду слышалась ружейная стрельба. Над головой проносились все новые и новые самолеты и планеры, и каждый стрелял по ним, из чего только мог: из зениток, пулеметов, винтовок... Христиан запомнил, как капитан Пеншвиц, стоя на заборе, стрелял из пистолета по планеру, который упал, зацепившись за верхушку тополя, прямо перед позициями роты. Планер загорелся, находившиеся в нем солдаты, охваченные пламенем, с криками прыгали через парусиновые стенки фюзеляжа на землю.

Вокруг царила неразбериха, все стреляли куда попало. Это длилось уже четыре часа. Пеншвиц в панике повел роту по дороге в сторону моря: пройдя три километра, они были обстреляны. Потеряв восемь человек, он повернул назад. На обратном пути в темноте рота потеряла еще несколько солдат, многие разбрелись по крестьянским домам. Позже, около семи часов утра, сам Пеншвиц был убит перепуганным часовым зенитной батареи. Рота продолжала таять на глазах, и, когда во время минутного затишья, укрывшись за стеной огромного старинного нормандского каменного сарая, среди стада жирных черно-белых коров, подозрительно оставшихся на солдат, Христиан сосчитал оставшихся, то оказалось всего двенадцать солдат и ни одного офицера.

«Здорово,— мрачно размышлял Христиан, глядя на людей.— Пять часов войны, и роты как не бывало. Если то же самое творится и в других частях, то война закончится к обеду».

Однако, судя по доносившимся звукам боя, другие части были в лучшем положении. Слышалась равномерная и как будто организованная ружейно-пулеметная стрельба, глухо рокотала артиллерия.

Христиан задумчиво посмотрел на уцелевших солдат роты. Он понимал, что они почти ни на что не годны. Один из солдат начал рыть для себя окоп, другие последовали его примеру. Они лихорадочно копали мягкую землю у стены сарая, пятеро или шестеро уже окопались по пояс, и вокруг окопов выросли холмики жирной темно-коричневой глины.

«Какой от них толк? — подумал Христиан.— Никакого».

За время войны ему приходилось видеть столько охваченных паникой людей, что у него не оставалось никаких иллюзий в отношении этих солдат. По сравнению с ними Геймс, Рихтер и Ден там, в Италии, были героями первой величины. Сначала у него мелькнула мысль ускользнуть одному, найти какую-нибудь роту, которая еще продолжает сражаться, и присоединиться к ней, предоставив этих скотов их собственной судьбе. Но потом он передумал. «Я еще заставлю их воевать,— решил он про себя,— даже если мне придется вести их через поле под дулом пулемета».

Он подошел к ближайшему солдату. Солдат, нагнувшись, возился с корнем, на который он наткнулся на полуметровой глубине. Христиан дал ему сильного пинка, так что солдат ничком упал в навоз.

— Вылезайте из своих нор! — закричал Христиан.— Вы что, собираетесь лежать здесь, пока не придут амери-

канцы и не расправятся с вами, как им заблагорассудится? А ну, вылезай — Он пнул ногой в ребра следующего солдата, который продолжал копать и, казалось, даже не слышал Христиана; он выкопал самый глубокий окоп. Солдат вздохнул и вылез из окопа. Он даже не взглянул на Христиана.

— Пойдешь со мной! — приказал ему Христиан. — Остальным оставаться здесь! Поешьте чего-нибудь. Другого случая поесть теперь долго не будет. Я скоро вернусь.

Он толкнул в плечо солдата, которому перед тем дал пинка, и направился к дому мимо молчаливых бледных солдат и подозрительно косивших глазом коров.

Задняя дверь дома была заперта. Христиан начал громко колотить в нее прикладом. Солдат, фамилия которого, как наконец вспомнил Христиан, была Бушфельдер, вздрогнул от этого стука. «На что он годен? — подумал Христиан, взглянув на него. — Абсолютно ни на что».

Христиан снова застучал в дверь, и на этот раз послышался звук открываемого запора. Наконец дверь отворилась, и на пороге появилась маленькая толстая старушка в вылинявшем зеленом фартуке. У нее совсем не было зубов, и она все время шевелила сухими сморщенными губами.

— Мы не виноваты... — начала было женщина.

Христиан прошел мимо нее на кухню, Бушфельдер последовал за ним и встал, прислонившись к печке и держа винтовку наготове. Это был огромного роста и могучего телосложения детина, и казалось, он заполнил собой всю кухню.

Христиан осмотрелся. Кухня почернела от дыма и времени. По холодной печке ползли два больших черных таракана. На подоконнике, завернутое в капустные листья, лежало масло, а на столе — большая буханка хлеба.

— Возьми масло и хлеб, — сказал Христиан Бушфельдеру. Затем он по-французски обратился к женщине: — Мамаша, тащи все спиртное, какое есть в доме: вино, кальвадос, выжимки — все, что есть. А если попытаешься утаить хотя бы каплю, мы сожжем дом и зарежем всех твоих коров.

Старуха молча смотрела, как Бушфельдер забирает масло, губы ее дрожали от негодования. Однако, когда Христиан обратился к ней, она заговорила.

— Это варварство, — сказала она. — Я сообщу о вас коменданту. Он хорошо знает нашу семью, моя дочь работает в его доме...

— Все спиртное, мамаша, — грубо повторил Христиан. — И быстро!

Он угрожающе помахал автоматом.

Женщина пошла в угол кухни и подняла дверцу подполья.

— Алуа! — закричала она вниз, и ее голос эхом разнесся по всему подполью. — Пришли солдаты. Они требуют кальявос. Принеси его сюда. Неси все, иначе они убьют коров.

Христиан усмехнулся. Он посмотрел в окно. Солдаты все еще были на месте. К ним прибавились двое чужих, без оружия. Они быстро говорили, энергично жестикулируя, и все солдаты собрались вокруг них.

На лестнице, ведущей в погреб, слышались шаги, и в кухне появился Алуа, неся в руках большую бутылку. Ему было за шестьдесят, и годы тяжелого труда нормандского фермера наложили отпечаток на его морщинистое лицо. Большие, узловатые, коричневые руки, сжимавшие бутылку, дрожали.

— Вот, — сказал он. — Это мое лучшее яблочное вино. Я вам ни в чем не отказываю.

— Очень хорошо, — сказал Христиан, забирая вино. — Спасибо.

— Он благодарит нас, — с горечью сказала старуха, — но ни слова не говорит о плате.

— Пошлите счет, — осклабился Христиан, забавляясь сценой, — вашему другу, коменданту. Идем, — подтолкнул он Бушфельдера.

Бушфельдер вышел. На улице была слышна ожесточенная стрельба, на этот раз значительно ближе; над самой головой с вибрирующим ревом пронеслись самолеты.

— Что это? — выглянув из-за двери, встревоженно спросил Алуа. — Вторжение?

— Нет, — ответил Христиан. — Это маневры.

— Что же теперь станет с нашими коровами? — крикнул вслед ему Алуа.

Христиан ничего не ответил старику. Он подошел к стене сарая и поставил бутылку на землю.

— Вот, принес, — сказал он солдатам, — подходите и пейте. Пейте сейчас, кто сколько может, и налейте по одной фляге на двоих. Через десять минут мы должны быть готовы отправиться на соединение с полком, — сказал он улыбаясь, однако никто не улыбнулся в ответ. Тем не менее один за другим они подходили к бутылке, пили и наполняли фляги.

— Не стесняйтесь, — сказал им Христиан. — Это за родину.

Двое приблудившихся солдат подошли последними. Они жадно начали пить. Их глаза налились кровью и беспokoйно бегали по сторонам, вино стекало по подбородку.

— Что с вами случилось? — спросил Христиан, когда они поставили бутылку на землю.

Солдаты переглянулись, но продолжали молчать.

— Они находились в двух километрах отсюда, — ответил за них солдат по фамилии Штаух, стоявший рядом с Христианом. Он жадно кусал от большого куска масла, которое держал в одной руке, запивая его вином из фляги. — Их батальон был застигнут врасплох, и только им двоим удалось спастись. На них напали американские парашютисты. Они не берут пленных и убивают всех подряд, и все они пьяные. У них танки и тяжелая артиллерия... — визгливым, неровным голосом продолжал Штаух, жуя масло и запивая его вином. — Их тысячи. Отсюда до самого побережья все забито войсками. Никакого организованного сопротивления нет.

Двое спасшихся в знак согласия энергично кивали головами, а их глаза беспokoйно перебегали от Христиана к Штауху.

— Они говорят, что мы отрезаны, — продолжал Штаух. — Связой, прорвавшийся из штаба дивизии, сказал, что там никого не осталось. Американцы застрелили генерала и закололи ножами двух полковников...

— Заткнись! — крикнул Христиан Штауху. Он повернулся в сторону двух беглецов. — Убирайтесь отсюда! — закричал он на них.

— Куда же мы пойдем?.. — взмолился один из них. — Везде парашютисты...

— Убирайтесь отсюда! — еще громче крикнул Христиан, проклиная судьбу, которая послала на его голову этих двух солдат и позволила им пять минут болтать с его людьми.

— Если я увижу вас здесь через минуту, я прикажу своим солдатам пристрелить вас. И если вы еще когда-либо попадетесь мне на глаза, я предам вас военному суду, и вас расстреляют за дезертирство.

— Господин унтер-офицер, пожалуйста...

— Даю вам одну минуту, — повторил Христиан.

Двое солдат дико оглянулись вокруг, повернулись и затрусил прочь. Затем их охватил панический страх, и они побежали что есть силы, пока не скрылись за изгородью соседнего крестьянского поля.

Христиан сделал несколько больших глотков из бутылки.

Вино было неразбавленное, очень крепкое и страшно обжигало горло. Но уже через минуту он почувствовал себя уверенным и сильным. Прищурился глазами и глядя на своих солдат оценивающим взглядом, он думал: «Я заставлю вас, негодяев, сражаться за целую роту отборных гвардейцев».

— Приложитесь еще разок к флягам!..— закричал он.— Приложитесь еще разок перед выступлением!..

Все солдаты сделали еще по несколько глотков. Потом они двинулись гуськом с Христианом во главе по дну канавы вдоль плотной изгороди, разделявшей крестьянские поля, навстречу звукам стрельбы, доносившимся с востока. Первые десять минут они шли быстро, делая небольшие остановки, лишь когда подходили к границе поля или когда их путь пересекала одна из узких, обнесенных изгородью дорожек. В таких случаях Христиан или один из солдат выглядывал из-за изгороди, убеждался, что путь впереди свободен, и затем звал остальных. Солдаты вели себя хорошо. Кальвадос, с мрачным удовлетворением заметил Христиан, пока что делал свое дело. Солдаты были бдительны, подтянуты, не поддавались панике; усталость как рукой сняло. Они быстро реагировали на слова команды, действовали четко и смело и не стреляли без толку, даже тогда, когда над их головами свистели пулеметные очереди.

«Только бы мне удалось за час добрататься с ними до штаба полка,— размышлял Христиан,— если, разумеется, штаб полка еще существует, и включить их в какую-нибудь организованную группу под командой офицера, имеющую определенную задачу, тогда они еще могли бы оправдать свой хлеб».

Но вскоре они попали в беду. По ним внезапно открыл огонь пулемет, укрытый в канаве за плотной изгородью в конце поля. Пока добрались до укрытия, двоих ранило. Одному из них, небольшого роста пожилому солдату с печальным взглядом, пулеметной очередью так разворотило челюсть, что вся нижняя часть его лица превратилась в сплошную кровавую массу; солдат громко стонал, делая отчаянные усилия, чтобы не захлебнуться в собственной крови. Христиан сделал ему перевязку, однако кровь из раны продолжала хлестать так, что ему едва ли можно было помочь.

— Оставайтесь здесь,— приказал Христиан двум раненым.— Вы здесь хорошо укрыты. Как только доберемся до полка, мы придем за вами.— Он заставил свой голос звучать резко и уверенно, хотя и был убежден, что больше не увидит ни одного из них живым.

Солдат с разбитой челюстью через пропитанную кровью повязку издавал какие-то умоляющие звуки, однако Христиан оставил его мольбу без внимания. Он подал знак остальным двигаться дальше, но никто не пошевелился.

— Давай, давай,— скомандовал Христиан.— Чем быстрее будете двигаться, тем больше шансов на то, что вы отсюда выберетесь. Если же будете стоять на месте, то работаете...

— Послушайте, унтер-офицер,— сказал Штаух, сгорбившийся в поросшей травой канаве,— какой смысл обманывать себя? Мы отрезаны, и у нас нет ни малейшей надежды. Вокруг нас, черт побери, целая американская дивизия, и мы находимся как раз в ее центре. Кроме того, эти двое умрут, если им не будет быстро оказана помощь. Я готов перебраться через изгородь с белым флагом на винтовке и договориться о сдаче в плен...— Он остановился на полуслове, стараясь не смотреть на Христиана.

Христиан обвел взглядом других солдат. Их бледные, изнуренные лица, выглядывающие из канавы, красноречиво говорили о том, что временный подъем духа, почерпнутый из бутылки, испарился окончательно и бесповоротно.

— Первого, кто осмелится перебраться через изгородь, я пристрелю своими руками,— тихо проговорил он.— Будет еще какие-нибудь предложения?

Все молчали.

— Мы должны разыскать полк,— сказал Христиан.— Штаух, ты пойдешь в голову. Я пойду замыкающим и буду следить за каждым из вас. Двигайтесь по канавам, по эту сторону изгороди. Пригибайтесь ниже и передвигайтесь быстро. Ну ладно, пошли.

Христиан, держа свой шмайсер¹ у бедра, следил, как десять человек, один за другим, поползли по канаве. Солдат, раненный в челюсть, все еще продолжал издавать булькающие, жалобные звуки, когда Христиан проходил мимо него, но они становились все слабее и раздавались уже не так регулярно.

Раза два они останавливались и наблюдали, как немецкие танки с грохотом, очертя голову, несутся по дороге к побережью, и это действовало ободряюще. Один раз они видели джип с сидевшими в нем тремя американцами, буксовавший около крестьянского дома. Христиан почувствовал, как шедших впереди него людей охватило жгучее желание побежать вперед, броситься на землю, заплакать, умереть и

¹ Автомат немецкого образца.— *Прим. ред.*

покончить, наконец, со всем этим ужасом. Они прошли мимо двух убитых коров с развороченными животами, лежавших, задрав вверх ноги, в углу поля; видели лошадь с ошалелыми глазами, бешено промчавшуюся по дороге. Лошадь вдруг остановилась, повернула и также бешено понеслась назад, мягко цокая копытами по мокрой глине. Повсюду, беспорядочно разбросанные небрежной рукой смерти, валялись трупы немцев и американцев, и было невозможно определить по их позам и по положению их оружия, где проходила оборона и как протекал бой. Иногда над головой с пронзительным свистом проносились снаряды. На одном поле, вытянувшись в почти геометрически правильную линию, лежали трупы пяти американских парашютистов, парашюты которых так и не раскрылись. Сила удара была такова, что их ноги ушли в землю, ремни полопались, и все снаряжение в беспорядке валялось вокруг, словно какая-то пьяная команда подготвила его к осмотру.

Потом в конце канавы, в тридцати метрах впереди, Христиан увидел Штауха, осторожно махавшего рукой. Христиан пригибаясь побежал вперед мимо остальных солдат. Он добежал до конца канавы и взглянул через узкую щель в изгороди. В каких-нибудь двадцати метрах от изгороди на открытом месте стояли два американских парашютиста, пытавшиеся освободить третьего, беспомощно повисшего на дереве в двух метрах от земли. Христиан дал две короткие очереди, и американцы, стоявшие на земле, сразу же упали. Один из них зашевелился и попытался было приподняться на локте. Христиан выстрелил снова, солдат упал навзничь и больше уже не двигался.

Солдат, висевший на дереве, яростно задергал стропы парашюта, однако никак не мог освободиться. Христиан слышал, как скорчившийся позади Штаух, шумно облизывает губы. Христиан сделал троим шедшим впереди солдатам знак следовать за ним, и они вчетвером осторожно подошли к парашютисту, висевшему на дереве над своими убитыми товарищами.

— Как тебе нравится Франция, Сэмми? — осклабился Христиан.

— Пошел ты к... — выругался в ответ парашютист. У него было суровое лицо атлета, со сломанным носом и холодными, колючими глазами. Он перестал возиться со стропами и теперь висел не шевелясь, уставившись на Христиана. — Вот что я вам скажу, фрицы, — сказал американец, — снимите-ка меня отсюда, и я приму от вас капитуляцию.

Христиан улыбнулся ему. «Эх, было бы у меня сейчас

несколько вот таких парней,— подумал он,— вместо этих слязняков...»

Он выстрелил в парашютиста.

Христиан похлопал убитого по ноге, сам не понимая, что должен выразить этот жест: то ли сожаление, то ли восхищение, то ли насмешку. Потом он пошел назад к остальным. «Да,— размышлял Христиан,— если они все такие, как этот, то наши дела не блестящи».

Около десяти часов утра они встретили полковника, который пробирался на восток с остатками штаба полка. До полудня им дважды пришлось принимать бой, но полковник знал свое дело, все они держались вместе и продолжали продвигаться вперед. Солдаты из группы Христиана сражались не хуже и не лучше других солдат, находившихся под командой полковника. К вечеру четверо из них были убиты. Что касается Штауха, то он сам прострелил себе голову после того, как пулеметная очередь раздробила ему ногу и ему сказали, что придется его оставить. Но они дрались неплохо, и никто не сделал даже попытки сдаться, хотя возможностей для этого в тот день было достаточно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— Там, в Талсе, когда я учился в средней школе,— говорил Фансток, лениво стуча молотком,— меня называли «студентом». С тринадцати лет меня больше всего интересовали девчонки. Если бы я мог подыскать себе здесь в городе английскую девку, я ничего не имел бы против этого места.

Он рассеянно выбил молотком гвоздь из старой доски, бросил его в стоявшую рядом жестянку и сплюнул, выпустив сквозь зубы длинную струю темного табачного сока. Казалось, рот его постоянно набит табаком.

Майкл вытащил из заднего кармана рабочих брюк поллитровую бутылку джина, сделал большой глоток и снова засунул ее в карман, не предложив Фанстоку выпить. Фансток, напивавшийся каждый субботний вечер, никогда не пил среди недели до отбоя, а сейчас было только десять часов утра. Да и, кроме того, Майкл устал от Фанстока. Вот уже более двух месяцев они служили в одной роте в центре подготовки пополнений. Один день они трудились над кучей старых досок, вытаскивая и выпрямляя гвозди, а следующий день работали на кухне. Сержант — заведующий кухней не взлюбил их обоих и последние пятнадцать раз поручал им

самую грязную работу: скрести огромные сальные котлы и чистить печи.

Насколько Майкл понимал, им обоим, ему и Фанстоку, который по своей глупости не был способен ни на что другое, предстояло провести остаток войны, а может быть, и остаток своей жизни, чередуя вытаскивание гвоздей с работой на кухне. Когда Майкл утвердился в этом мнении, он подумал было о побеге, но потом нашел утешение в джине. Это было очень опасно, потому что в лагере была дисциплина, как в колонии для уголовных преступников, и солдат то и дело приговаривали к долгим годам тюремного заключения за меньшие проступки, чем пьянство, при исполнении служебных обязанностей. Однако постоянный поток винных паров, отупляющий и иссушающий мозг, позволял Майклу продолжать существование, и он охотно шел на риск.

Вскоре после того, как его поставили на эту работу, он написал подполковнику Пейвону, прося о переводе, однако не получил никакого ответа. А теперь Майкл все время чувствовал себя слишком усталым, чтобы дать себе труд написать еще раз или же попытаться сбежать отсюда каким-либо другим путем.

— Лучшее время за всю мою службу,— тянул Фансток,— было в Джефферсонских казармах в Сент-Луисе. Там в баре я приглядел трех сестер. Они работали на пивоваренном заводе в городе в разные смены. Такие простушки с Озарского плоскогорья. Они не могли скопить себе даже на пару чулок, пока не проработали целых три месяца на этом заводе. До чего же было жалко, когда я получил приказ отправиться за океан.

— Послушай-ка,— сказал Майкл, медленно ударяя по гвоздю,— не можешь ли ты говорить о чем-нибудь другом?

— Да я просто стараюсь убить время,— обиделся Фансток.

— Придумай для этого другой способ,— отрезал Майкл, чувствуя, как джин приятно обжигает желудок.

Они молча застучали молотками по расщепленным доскам.

Мимо прошел солдат с ружьем, конвоируя двух заключенных, кативших тачку, доверху нагруженную обрезками досок. Заключенные сваливали их в кучу. Они вяло, с нарочитой медлительностью передвигали ноги, как будто впереди во всей их жизни не оставалось заслуживающего внимания дела.

— Ну, пошевеливайтесь,— вяло пробурчал конвоир, облокотившись на винтовку. Заключенные не обратили на него никакого внимания.

— Уайтэкэр,— сказал конвоир,— достань-ка свою бутылочку.

Майкл мрачно поглядел на конвоира. «Полиция,— подумал он,— везде одинакова: собирает дань за то, что смотрит сквозь пальцы на нарушения закона». Он вытащил бутылку и вытер горлышко, прежде чем передать ее конвоиру. Он ревниво следил, как тот большими глотками тянет джин.

— Я пью только по праздникам,— ухмыльнулся конвоир, возвращая бутылку.

Майкл спрятал бутылку.

— А что сегодня за праздник? — спросил он.— Рождество?

— А ты ничего не слышал?

— О чем?

— Сегодня мы высадили десант. Сегодня день вторжения, братец, разве ты не рад, что ты здесь?

— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Майкл.

— Сегодня по радио выступал Эйзенхауэр. Я слушал его речь. Он сказал, что мы освобождаем лягушатников.

— Я еще вчера почувствовал, что что-то случилось,— сказал один из заключенных, маленький, задумчивый человек, осужденный на тридцать лет за то, что в ротной канцелярии ударом кулака сбил с ног своего лейтенанта.— Вчера меня вдруг обещали помиловать и уволить из армии с хорошей характеристикой, если я вернусь в пехоту.

— Что же ты им ответил? — заинтересовался Фансток.

— Черта с два,— сказал я им,— с вашей хорошей характеристикой уволишься, пожалуй, прямо на военное кладбище.

— Заткни глотку,— лениво сказал конвоир,— и берись-ка за тачку. Уайтэкэр, еще один глоток ради праздничка.

— Мне нечего праздновать,— возразил Майкл, пытаюсь спасти свой джин.

— Не будь неблагодарным,— не отставал конвоир.— Ты здесь в целости и сохранности, а мог бы лежать где-нибудь на берегу с осколком в заднице. Тебе очень даже есть что праздновать.— Он протянул руку. Майкл подал ему бутылку.

— Этот джин,— сказал Майкл,— стоил мне два фунта за пинту.

Конвоир ухмыльнулся.

— Тебя надули,— сказал он. Он пил большими глотками. Оба заключенных смотрели на него жадными, горящими глазами. Наконец конвоир отдал Майклу бутылку. Майкл тоже выпил по случаю праздника и сразу почув-

ствовал, как его охватила сладкая волна жалости к самому себе. Он холодно взглянул на заключенных и убрал бутылку.

— Ну,— сказал Фансток,— надо думать, уж сегодня старина Рузвельт должен быть доволен: наконец-то он начал воевать и успел погубить немало американцев.

— Я готов держать пари,— сказал конвоир,— что на радостях он выскочил из своей коляски и пустился в пляс по Белому дому.

— Я слышал,— сказал Фансток,— что в день, когда он объявил войну Германии, он устроил в Белом доме большой банкет с индюшками и французским вином, а после банкета они раскладывали друг друга прямо на столах.

Майкл глубоко вздохнул.

— Германия первая объявила войну Соединенным Штатам,— сказал он,— мне на это наплевать, но дело было именно так.

— Уайтэкр — коммунист из Нью-Йорка,— сообщил Фансток конвоиру.— Он без ума от Рузвельта.

— Ни от кого я не без ума,— сказал Майкл,— но Германия первая объявила нам войну, и Италия тоже. Это было через два года после Пирл-Харбора¹.

— Пусть скажут ребятам,— сказал Фансток. Он повернулся к конвоиру и заключенным.— Ну-ка вправьте мозги моему приятелю.

— Мы начали войну,— сказал конвоир.— Мы объявили войну. Для меня это ясно, как день.

— А вы как думаете, ребята? — обратился Фансток к заключенным.

Оба утвердительно кивнули.

— Мы объявили им войну,— сказал солдат, которому предлагали увольнение с хорошей характеристикой, если он согласится пойти в пехоту.

— Точно,— сказал другой заключенный, который служил в военно-воздушных силах в Уэльсе, когда его уличили в подделке чеков.

— Ну посмотри,— сказал Фансток.— Четверо против одного, Уайтэкр. Решает большинство.

Майкл посмотрел на Фанстока пьяными глазами. И вдруг ему стало нестерпимо гадко это прыщавое, злобное, самодовольное лицо. «Только не сегодня,— как в тумане подумал Майкл,— только не в такой день, как сегодня».

¹ 7 декабря 1941 года внезапным нападением на американскую военно-морскую базу Пирл-Харбор (Гавайские острова) Япония начала военные действия против США.— *Прим. ред.*

— Ты невежественный, пустоголовый болван, — четко произнес Майкл вне себя от бешенства, — если ты еще раз раскроешь свою пасть, я убью тебя.

Фансток медленно пошевелил губами. Потом он с силой плюнул, и коричневая, мерзкая табачная жижа шлепнулась Майклу в лицо. Майкл бросился на Фанстока и два раза ударил его в лицо. Фансток упал, но тут же вскочил на ноги, держа в руке тяжелый обломок доски, на одном конце которого торчало три больших гвоздя. Он замахнулся на Майкла — Майкл бросился бежать. Конвоир и заключенные отступили в сторону, чтобы дать им место, и стали с интересом наблюдать.

Несмотря на свою полноту, Фансток бежал очень быстро и, догнав Майкла, ударил его по плечу. Майкл почувствовал, как острые гвозди вонзились ему в плечо, и рванулся в сторону. Потом он остановился, нагнулся и поднял с земли узкую доску. Но прежде чем он успел выпрямиться, Фансток нанес ему удар сбоку по голове. Майкл почувствовал, как гвозди, разрывая кожу, скользнули по скуле. Тогда он взмахнул доской и с силой ударил Фанстока по голове. Фансток, как-то странно склонившись набок, начал описывать круги вокруг Майкла. Он снова замахнулся, однако нерешительно, так что Майклу легко удалось вернуться, хотя ему становилось трудно рассчитывать расстояние, так как кровь застилала глаз. Он хладнокровно выждал, и, когда Фансток вновь поднял свою доску, Майкл шагнул ему навстречу и размахнулся доской, как бейсбольной битой. Удар пришелся Фанстоку по шее и челюсти. Он опустился на четвереньки и стоял в такой позе, тупо уставившись на тонкий слой пыли, покрывавший голую землю вокруг наваленных досок.

— Прекрасно, — сказал конвоир. — Это был замечательный бой. Эй, вы, — сказал он, обращаясь к заключенным, — посадите-ка эту скотину.

Заключенные подошли к Фанстоку и посадили его, прислонив спиной к ящику. Фансток тупо смотрел на залитую солнцем голую землю; его ноги были вытянуты вперед. Он тяжело дышал, но уже успокоился.

Майкл отбросил в сторону свою доску и вынул носовой платок. Он приложил его к лицу, а когда отнял, с удивлением заметил большое кровавое пятно, отпечатавшееся на платке.

«Ранен, — подумал он, усмехнувшись, — ранен в день вторжения».

Конвоир, заметив в ста шагах офицера, появившегося

из-за угла барака, быстро крикнул заключенным:

— Ну, ну, пошевеливайтесь.

— А вы лучше беритесь-ка за работу,— добавил он, обращаясь к Майклу и Фанстоку.— Сюда идет Веселый Джек.

Конвоир и заключенные быстро удалились, а Майкл смотрел на приближающегося офицера, прозванного Веселым Джеком за то, что он никогда не улыбался.

Майкл схватил Фанстока и поставил его на ноги. Потом вложил ему в руку молоток, и Фансток начал автоматически колотить по доскам. Майкл взял несколько досок, с деловым видом понес их на другой конец кучи и аккуратно сложил на землю. Затем он вернулся к Фанстоку и взял свой молоток. Когда подошел Веселый Джек, они громко и деловито стучали молотками. «Военный суд,— решил про себя Майкл,— военный суд, пять лет, пьянство на службе, драка, неповиновение и всякое такое».

— Что здесь происходит? — спросил Веселый Джек.

Майкл перестал стучать, прекратил работу и Фансток. Они повернулись и поглядели на лейтенанта.

— Ничего, сэр,— сказал Майкл, стараясь не раскрывать рот, чтобы лейтенант не почувствовал запаха вина.

— Вы что, дрались?

— Нет, сэр,— сказал Фансток, объединяясь с Майклом против общего врага.

— А откуда у тебя эта рана? — лейтенант указал на три свежие кровоточащие полосы на скуле Майкла.

— Я поскользнулся, сэр,— вежливо ответил Майкл.

Веселый Джек сердито скривил губы, и Майкл знал, что он думает: «Все они одинаковы, все они нас дурачат, нет такого солдата во всей этой проклятой армии, от которого можно услышать хоть слово правды».

— Фансток,— сказал Веселый Джек.

— Слушаю, сэр?

— Этот солдат говорит правду?

— Да, сэр. Он поскользнулся.

Веселый Джек с беспомощным бешенством огляделся вокруг.

— Если я узнаю, что вы врете...— Конец угрозы повис в воздухе.— Ладно, Уайтэкр, кончай. Там в канцелярии для тебя есть предписание. Тебя переводят. Пойди получи документы.

Он еще раз взглянул на стоявших навтыжку солдат, повернулся и важно зашагал прочь.

Майкл смотрел на его удаляющуюся, ссутулившуюся спину.

— Ну берегись, сволочь,— сказал Фансток,— если ты еще раз попадешься мне на глаза, я тебя полосну бритвой.

— Очень рад был с тобой познакомиться,— весело сказал Майкл.— Смотри, надраивай котлы, чтобы блестели.

Он отбросил свой молоток и весело направился в канцелярию, похлопывая по заднему карману, где находилась бутылка, чтобы убедиться, что ее не видно.

Потом, с приказом о новом назначении в кармане и с аккуратной повязкой на щеке, Майкл начал укладывать свой ранец. Подполковник Пейвон жив, и Майкл должен немедленно явиться в Лондон в его распоряжение. Возясь с ранцем, Майкл все время прикладывался к бутылке и думал о том, что отныне он будет вести себя благоразумно, не будет вылезать вперед, не будет рисковать, не будет ничего принимать близко к сердцу. «Выжить,— думал он,— выжить — вот единственный урок, который я пока что извлек из жизни».

На следующее утро Майкл отправился в Лондон на армейском грузовике. Жители деревень, через которые они проезжали; весело приветствовали их, показывая пальцами букву «V»¹. Они думали, что каждый грузовик теперь направляется во Францию; Майкл и другие солдаты, находившиеся в грузовике, цинично махали им в ответ, гримасничали и смеялись.

Недалеко от Лондона они обогнали колонну английских грузовиков, в которых сидели вооруженные пехотинцы. На грузовике, замыкавшем колонну, мелом были выведены слова: «Не радуйтесь, девушки, мы — англичане».

Английские пехотинцы даже не взглянули, когда их обгонял американский грузовик.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

На различных уровнях война воспринимается по-разному. На передовых позициях ее ощущают физически. В совершенно ином свете она предстает на уровне штаба верховного командования, расположенного, скажем, в восьмидесяти милях от линии фронта, где не слышно грохота орудий, где в кабинетах по утрам чисто вытирают пыль, где царит атмосфера спокойствия и деловитости, где несут

¹ V — начальная буква английского слова victory — победа.— *Прим. ред.*

свою службу солдаты, которые не сделали ни единого выстрела сами и в которых никогда не стреляли, где высокопоставленные генералы восседают в своих вытуженных мундирах и сочиняют заявления о том, что-де сделано все, что в человеческих силах, во всем же остальном приходится уповать на господа бога, который, как известно, всегда встает рано, чтобы совершить свою дневную работу. Пристрастным, критическим взором он смотрит на корабли, на тонущих в море людей, следит за полетом снарядов, за точностью работы наводчиков, за умелыми действиями морских офицеров, смотрит, как взлетают в воздух тела подорвавшихся на минах, как разбиваются волны о стальные надолбы, установленные у берега, как заряжают орудия на огневых позициях, как строят укрепления в тылу, далеко позади узкой бурлящей полосы, разделяющей две армии. А по ту сторону этой полосы по утрам так же вытирают пыль в кабинетах, где сидят вражеские генералы в иного покроя вытуженных мундирах, смотрят на очень похожие карты, читают очень похожие донесения, соревнуясь моральной силой и изобретательностью ума со своими коллегами и противниками, находящимися за сотню миль от них. Там, в кабинетах, стены которых увешаны огромными картами с тщательно нанесенной обстановкой и множеством красных и черных пометок карандашом, война принимает методичный и деловой характер. На картах непрерывно разрабатываются планы операций. Если проваливается план № 1, его заменяют планом № 2. Если план № 2 удастся осуществить лишь частично, вступает в силу заранее подготовленный план № 3. Все генералы учились по одним и тем же учебникам в Уэст-Пойнте, Шпандау или Сандхерсте, многие из них сами писали книги, они читали труды друг друга и хорошо знают, как поступил Цезарь в аналогичной ситуации, какую ошибку совершил Наполеон в Италии, как Людендорф не смог использовать прорыв фронта в 1915 году¹; все они, находясь по разные стороны Ла-Манша, надеются, что никогда не наступит тот решающий момент, когда придется сказать свое «да» или «нет», слово, от которого может зависеть судьба сражения, а возможно и нации, слово, которое лишает человека последней крупинки мужества, слово, которое может искалечить и погубить его на всю жизнь, лишить почета и репутации. Поэтому они пре-

¹ В мае—июне 1915 года австро-германские войска под командованием генерала Людендорфа прорвали фронт русской армии в Галиции и Польше, но окружить русские войска не сумели. Русские отошли, после чего к концу 1915 года установился сплошной позиционный фронт.— *Прим. ред.*

спокойно сидят в своих кабинетах, напоминающих контору «Дженерал моторс» или контору «И. Г. Фарбен индустри» во Франкфурте, со стенографистками и машинистками, флиртующими в коридорах, смотрят на карты, читают донесения и молят бога, чтобы осуществление планов № 1, 2 и 3 проходило так, как было предreshено на Гросвенор-сквер и на Вильгельмштрассе, лишь с незначительными, не очень существенными изменениями, которые могут быть внесены на местах теми, кто сражается на поле брани.

Но тем, кто сражается, все представляется иначе. Их не спрашивают о том, каким образом изолировать фронт противника от его тыла. С ними не советуются о продолжительности артиллерийской подготовки. Метеорологи не докладывают им о высоте приливов и отливов в июне или о вероятности штормов. Они не присутствуют на совещаниях, где обсуждается вопрос о том, сколько дивизий придется потерять, чтобы к 16.00 продвинуться на одну милю в глубь побережья. На десантных баржах нет ни кабинетов, ни стенографисток, с которыми можно было бы пофлиртовать, ни карт, на которых действия каждого солдата, умноженные на два миллиона, выливаются в ясную, стройную, понятную систему условных знаков, пригодную и для опубликования в сводках и для таблиц ученых-историков.

Они видят каски, блевотину, зеленую воду, разрывы снарядов, дым, сбитые самолеты, кровь, скрытые под водой захоронения, орудия, бледные, бессмысленные лица, беспорядочную, тонущую толпу, бегущих и падающих солдат, которые, кажется, совершенно позабыли все, чему их обучали с тех пор, как они оставили свою работу и своих жен и облачились в военную форму. Для склонившегося над картами где-то в восьмидесяти милях от фронта генерала, в мозгу которого проплывают образы Цезаря, Клаузевица и Наполеона, события разворачиваются строго по плану, или почти по плану, но солдату на поле боя представляется, что все идет не так, как надо.

«О господи»,— причитает солдат, когда снаряд попадает в десантную баржу через два часа после начала операции в какой-нибудь миле от берега и на скользкой палубе раздаются стоны раненых. «О господи, все погибло».

Для генералов, находящихся в восьмидесяти милях от фронта, донесения о потерях звучат ободряюще. Солдату на поле боя потери никогда не придают бодрости. Когда пуля попадает в него или в соседа, когда в пятидесяти футах взрывается корабль, когда мичман на мостике пронзительным, девичьим голосом взывает к своей матери, потому

что ему оторвало обе ноги, то солдату кажется лишь, что он попал в ужасную катастрофу; в такой момент просто невозможно представить себе, что где-то в восьмидесяти милях сидит человек, который предвидел эту катастрофу, способствовал ей, принимал необходимые меры, чтобы она произошла, а потом, когда она совершилась, спокойно докладывает, что все идет согласно плану, хотя он, должно быть, знает и о разрывах снарядов, и о подбитой десантной барже, и о скользких палубах, и о воплях мичмана.

«О господи»,— причитает солдат на поле боя, видя, как танки-амфибии навек скрываются под волнами со всем экипажем. Быть может, одному танкисту и удастся спастись через люк, и он выплывет на поверхность, неистово взывая о помощи, а быть может, погибнут все. «О господи»,— рыдает солдат, глядя на странную, оторванную от тела ногу, лежащую рядом, и вдруг обнаруживает, что это его нога. «О господи»,— восклицает он, когда опускают трап и все двенадцать человек, находившиеся только что перед ним, пронизанные пулеметной очередью, падают друг на друга в холодную, по пояс глубиною, воду. «О господи»,— всхлипывает он, отыскивая на берегу воронки, которые, как ему сказали, должна была сделать для него авиация, и, не найдя их, падает на землю и лежит вниз лицом, пока его не накроет бесшумно падающая мина. «О господи»,— стонет он, видя, как его друг, которого он полюбил еще в сороковом году, в Форт-Беннинге, в Джорджии, подрывается на мине и повисает на колючей проволоке с разорванной от шеи до поясницы спиной. «О господи»,— причитает солдат на поле боя.— Все кончено».

Десантная баржа болталась на волнах до четырех часов дня. В полдень другая баржа сняла с нее раненых, всем им сделали перевязку и переливание крови. Ной смотрел на забинтованных, закутанных в одеяла людей, покачивающихся на носилках, и думал с безнадежной завистью: «Они возвращаются домой. Они возвращаются домой... Через десять часов они будут в Англии, а через десять дней, наверное, уже в Америке... Какое счастье — им уже никогда не придется воевать».

А потом, когда баржа с ранеными была всего в ста футах от берега, в нее попал снаряд. Сначала что-то шлепнулось рядом с баржей, и казалось, что ничего не произошло. Потом она медленно опрокинулась, одеяла, бинты и носилки закуружились в водовороте зеленой воды, и через пару

минут все было кончено. Там среди раненых был и Доннелли, с застрявшим в черепе осколком, и Ной тщетно пытался разглядеть его в бурлящей, мутной воде. «Так и не пришлось ему воспользоваться огнеметом,— промелькнуло в сознании Ноя,— а сколько он тренировался».

Колклафа не было видно: он весь день сидел в трюме. Из офицеров на палубе были только двое: лейтенант Грин и лейтенант Соренсон. Лейтенант Грин был человек хрупкого сложения, похожий на девушку. Во время подготовительных учений все потешались над его семенящей походкой и тонким голосом. А теперь он ходил по палубе, ободрял раненых и больных и тех, кто был уверен, что его убьют. Он старался быть веселым, у него был готов ответ на все вопросы; он помогал перевязывать раны и делать переливание крови; он не переставая твердил всем, что судно ни за что не утонет, что моряки исправляют машины и что через пятнадцать минут все будут на берегу. Он двигался все той же нелепой, семенящей походкой, и его голос не стал ни ниже, ни мужественнее, но у Ноя было такое чувство, что если бы на палубе не было лейтенанта Грина, который до войны был владельцем мануфактурного магазина в Южной Каролине, то еще до обеда половина роты бросилась бы за борт.

Никто не знал, как разворачиваются события на берегу. Бернекер даже сострил по этому поводу. Все это бесконечно тянувшееся утро, всякий раз, когда снаряды падали в воду вблизи от их баржи, он судорожно сжимал руки Ноя и повторял странным, дребезжащим голосом: «Нам сегодня достанется. Нам сегодня достанется». Но к полудню он взял себя в руки. Его перестало рвать, он съел сухой паек и даже пожаловался на жесткий сыр. Видимо, он покорился своей участи или стал не так мрачно смотреть на будущее. Когда Ной, всматриваясь в берег, где рвались снаряды, бегали люди и взрывались мины, спросил Бернекера: «Как там дела?», Бернекер ответил: «Не знаю. Почтальон еще не принес мне «Нью-Йорк таймс». Это было не бог весть какая острова, но Ной хохотал над ней до упаду, а сам Бернекер ухмылялся, довольный произведенным эффектом. С тех пор, долго еще, когда они уже далеко продвинулись в глубь Германии, если кто-нибудь в роте спрашивал, как идут дела, ему обычно отвечали: «Почтальон не принес еще мне «Нью-Йорк таймс».

Все время, пока баржа болталась в море, Ной находился в каком-то тупом оцепенении. И когда позже, стараясь припомнить, что он ощущал, когда волны трепали беспомощ-

ное судно, а палуба была скользкой от крови и морской воды и когда шальные снаряды время от времени рвались совсем рядом, он мог вызвать в своей памяти лишь отрывочные, малозначащие воспоминания: шутку Бернекера; лейтенанта Грина, склонившегося над раненым, которого отчаянно рвало, и со стоическим терпением подставляющего ему свою каску; лицо морского офицера — командира десантной баржи, перегнувшегося через борт, чтобы осмотреть повреждение, — красное, злое, растерянное лицо, как у игрока в бейсбол, понапрасну оштрафованного близоруким судьей; лицо Доннелли после того, как ему перевязали голову, обычно грубое и жестокое, а сейчас, в беспомощности, спокойное и безмятежное, как лицо монахини из кинофильма. Ною врезались в память эти картины; помнил он и то, как десятки раз проверял, не подмокли ли в его сумке заряды, как снова и снова щупал, на месте ли предохранитель винтовки, а через две минуты забывал об этом и проверял снова...

Страх подкатывал волнами, и в эти минуты Ной весь съеживался, беспомощно вцепившись в поручни, крепко сжав губы и ни о чем не думая. Потом наступали периоды, когда он чувствовал себя выше всего этого ужаса и смотрел на происходящее глазами стороннего наблюдателя, как будто все это никогда его не касалось и не могло коснуться, а потому он останется цел и невредим — значит, нечего и бояться. Однажды он достал бумажник и долго, с серьезным видом разглядывал фотографию улыбающейся Хоуп с пухлым младенцем на руках; у малыша был широко открыт рот, он зевал.

В те моменты, когда Ной не испытывал страха, мысли его, казалось, бежали помимо его воли, как будто его мозг, утомленный дневной заботой, рад был развлечься воспоминаниями. Он чувствовал себя, как школьник, мечтающий за партой погожим июньским деньком, когда за окном светит солнышко и сонно жужжат мухи... Речь капитана Колклафа в районе сосредоточения десантных войск недалеко от Саутгемптона неделю тому назад... (Неужели это было всего неделю назад, в благоухающем майском лесу, когда их три раза в день кормили отборными блюдами, когда в палатке для отдыха к их услугам была бочка пива, когда над танками и пушками свисали цветущие ветви деревьев и когда два раза в день им показывали кинофильмы: «Мадам Кюри», где изысканно одетая Грир Гарсон открывает радий, или фильмы с голыми ножками Бетти Грейбл, выделяющими бог знает что для поднятия духа пехоты,— все это

мелькало на экране, трепетавшем под порывами врывающегося в палатку свежего ветра. Неужели все это было только неделю назад?... «Дело обстоит так, ребята... (Капитан Колклаф во время своей речи раз двадцать повторил слово «ребята»). Вы прошли такую подготовку, что можете тягаться с любыми солдатами в мире. Когда вы высадитесь на том берегу, вы будете лучше вооружены, лучше обучены, лучше подготовлены, чем эти жалкие ублюдки, против которых вы будете воевать. Все преимущества будут на вашей стороне. И все будет зависеть только от того, у кого окажется больше выдержки. Ребята, вы отправитесь на тот берег и будете бить фрицев. И с этой минуты вы должны думать только об одном: как лучше бить этих негодяев. Некоторые из вас будут ранены, ребята, некоторые будут убиты. Я не собираюсь скрывать это от вас и играть с вами в прятки. Может быть, многие из вас будут убиты...— Он говорил медленно, смакуя слова.— Ведь для этого вас и взяли в армию, ребята, для этого вы здесь и находитесь, для этого вас и высадят на побережье. Если вы еще не свыклись с этой мыслью, привыкайте к ней сейчас. Я не собираюсь произносить здесь патриотические речи. Некоторые из вас будут убиты, но и вы ухлопаете немало немцев. И если кто-нибудь из вас...— Тут он перевел взгляд на Ноя и холодно уставился на него.— И если кто-нибудь думает, что ему удастся смыться или как-нибудь увильнуть от выполнения своего долга, чтобы спасти свою шкуру, тот пусть помнит, что я буду всегда с вами и позабочусь о том, чтобы каждый из вас выполнил свой долг. Я так и порешил, ребята. Когда мы победим, я надеюсь получить чин майора. И вы, ребята, поможете мне этого добиться. Я для вас трудился, теперь вы потрудитесь для меня. Я думаю, что толстозадые чиновники из управления специальной службы и пропаганды, которые сидят там, в Вашингтоне, не понравилась бы моя речь. У них была возможность потолковать с вами, и я не вмешивался. Они пичкали вас всякими погаными книжонками, благородными идеями и шариками для игры в пинг-понг. Я стоял в стороне и дал им возможность позабавиться. Я дал им возможность поныть с вами, совать вам соску, присыпать ваши попки тальком и внушать вам, что вы будете жить вечно и что армия будет заботиться о вас, как родная мать. А сейчас с ними покончено, и вы будете слушать только меня и никого больше. Отныне для вас будет существовать только одна заповедь: наша рота должна убить больше фрицев, чем любая другая рота в дивизии, а я должен стать майором к четвертому июля. Если для этого нам придется

понести больше потерь, чем другим, — ничего не поделаешь. Вот все, что я могу вам сказать, ребята. Ведь вы приехали в Европу не для того, чтобы любоваться памятниками. Сержант, распустишь роту».

— Смир-но! Рота, разой-дись!

Капитана Колклафа не было видно весь день. Может быть, он сидел в трюме и готовил очередную речь по поводу прибытия во Францию, а может быть, был уже убит. А лейтенант Грин, который за всю свою жизнь не произнес ни одной речи, присыпал раны солдат сульфаниламидными препаратами, набрасывал одеяла на лица умерших, подтрунивал над живыми и напоминал им, что надо беречь стволы винтовок от морской воды, которая захлестывала судно...

Как и обещал лейтенант Грин, в половине пятого моряки, наконец, запустили машины, и через пятнадцать минут десантная баржа подошла к берегу. На берегу царил оживление и, казалось, не было никакой опасности. Сотни солдат сновали взад и вперед: тащили ящики с боеприпасами, складывали коробки с продуктами, тянули провода, выносили раненых, копали окопы, зарываясь на ночь между обгоревшими обломками барж, бульдозеров и разбитых орудий. Ружейная стрельба слышалась теперь довольно далеко, по ту сторону скал, нависших над берегом. Иногда взрывалась мина или пролетал шальной снаряд, подымая столб песка, но все же было ясно, что войска пока что закрепились на побережье.

Когда десантная баржа подошла к берегу, на палубе появился капитан Колклаф. На боку у него в разукрашенной кожаной кобуре висел пистолет с перламутровой рукояткой. Это был подарок жены. Он как-то проговорился об этом и сейчас рисовался, нося его низко на бедре, как шериф с обложки журнала.

Капрал-сапер знаками указывал барже место для причала у кишашего людьми берега. Он выглядел утомленным, но совершенно спокойным, словно всю свою жизнь провел на побережье Франции под огнем орудий и пулеметов. Опустили боковой трап, и Колклаф повел роту на берег. На барже остался только один трап, другой сорвало снарядами.

Колклаф подошел к концу трапа. Трап упирался в мягкий песок, и, когда набегала волна, он почти на три фута уходил под воду. Колклаф остановился, его нога повисла в воздухе. Потом он попятился назад.

— Сюда, капитан, — позвал капрал.

— Там внизу мина, — крикнул Колклаф. — Позовите этих

людей...— Он указал на группу саперов, которые с помощью бульдозера прокладывали дорогу через дюны.— Позовите их сюда и проверьте этот участок.

— Там нет мин, капитан,— усталым голосом сказал капрал.

— А я говорю, что видел мину, капрал! — заорал Колклаф.

Морской офицер, командовавший судном, сошел по трапу.

— Капитан,— раздраженно сказал он,— пожалуйста, дайте вашим людям команду высаживаться. Мне нужно уходить отсюда. Я не намерен торчать всю ночь на этом берегу. А если мы проканителемся еще десять минут, то можем остаться здесь навсегда.

— Там, у конца трапа, мина,— громко сказал Колклаф.

— Капитан,— возразил сапер,— уже три роты сошли на берег как раз в этом месте, и ни один человек не пострадал.

— Я приказываю вам,— крикнул Колклаф,— позовите своих людей и очистите этот участок.

— Слушаюсь, сэр,— буркнул сапер. Он направился к бульдозеру мимо аккуратно сложенных в ряд и прикрытых одеялами шестнадцати трупов.

— Если вы сейчас же не высадитесь,— заявил морской офицер,— то флот Соединенных Штатов потеряет одно дееспособное судно.

— Лейтенант,— холодно проговорил Колклаф,— занимайтесь своим делом, а я буду заниматься своим.

— Если вы не высадитесь за десять минут,— сказал лейтенант, снова поднимаясь на баржу,— я увезу и вас и вашу проклятую роту обратно в море, и вам тогда придется присоединиться к морской пехоте, чтобы снова попасть на берег.

— Обо всем этом, лейтенант,— сказал Колклаф,— я доложу по команде.

— Десять минут! — в бешенстве крикнул через плечо лейтенант, направляясь на свой полуразрушенный мостик.

— Капитан,— закричал своим высоким голосом лейтенант Грин с трапа, где выстроились солдаты, с сомнением взиравшие на грязную зеленую воду, на поверхности которой плавали выброшенные спасательные пояса, деревянные ящики из-под пулеметных лент, картонные коробки из-под продуктов.— Капитан,— закричал он,— я готов пойти первым, поскольку капрал говорит, что все в порядке... А ребята потом пройдут по моим следам и...

— Я не намерен терять ни одного солдата на этом

берегу, — ответил Колклаф. — Оставайтесь на своем месте. — Его рука решительно потянулась к инкрустированному перламутром пистолету — подарку жены. Ной заметил, что кобура была отделана бахромой из сыромятной кожи точно так же, как кобуры ковбойских костюмов, какие дарят мальчишкам на рождество.

На берегу показался капрал-сапер, возвращавшийся в сопровождении лейтенанта. Лейтенант, необычайно высокого роста, был без каски и без оружия. У него было обветренное, красное, вспотевшее лицо, из засученных рукавов рабочей одежды свисали огромные, черные от грязи руки. Он выглядел скорее десятником бригады дорожных рабочих, чем офицером.

— Давайте-ка, капитан, сходите на берег, — сказал лейтенант.

— Там мина, — упорствовал Колклаф. — Возьмите своих людей и очистите этот участок.

— Здесь нет мин, — сказал лейтенант.

— А я говорю, что видел мину.

Солдаты, стоявшие позади капитана, с беспокойством слушали эту перепалку. Теперь, когда они были так близко от берега, невыносимо было оставаться на судне, на котором они так пострадали за этот день и которое все еще являлось хорошей мишенью; а судно скрипело и стонало при каждом ударе волн, с шумом обрушивавшихся на него со стороны открытого моря. Берег с его дюнами, окопами, штабелями грузов выглядел надежным, прочным, даже домашним, — никакого сравнения с плавающими по морю посудинами. Солдаты стояли позади своего капитана, уставившись на его спину, и глубоко ненавидели его.

Лейтенант-сапер открыл было рот, чтобы что-то сказать Колклафу. Но в это время его взгляд упал на пояс капитана, где висел пистолет, инкрустированный перламутром. Он слегка улыбнулся и промолчал. Потом с бесстрастным выражением на лице, как был — в ботинках и крагах молча вошел в воду и начал тяжелыми шагами утюжить дно — туда и обратно, у самого трапа и вокруг него, не обращая никакого внимания на волны, бившие его по ногам. Так, топя взад и вперед с тем же бесстрастным выражением на лице, он проверил каждый дюйм берега, каждую точку, куда только могла ступить нога солдата. Потом, не сказав ни слова Колклафу, он вышел из воды и, слегка согорбившись от усталости, пошел, тяжело ступая, туда, где его люди пытались с помощью бульдозера сдвинуть с места огромную бетонную плиту с торчащими из нее железными рельсами.

Колклаф вдруг резко обернулся назад, однако никто из солдат не улыбался. Тогда он снова повернулся лицом к берегу и сошел на землю Франции осторожно, но с достоинством. И все солдаты роты, один за другим, шагая по холодной морской воде, проследовали за ним мимо плавающих обломков первого дня великой битвы на европейский континент.

В первый день высадки роте совсем не пришлось участвовать в боях. Солдаты окопались и съели свой вечерний паек, почистили винтовки и стали наблюдать, как высаживаются на берег новые роты. С превосходством ветеранов они подсмеивались над новичками, которые пугались случайно залетающих снарядов и ступали необыкновенно осторожно, боясь наткнуться на мину. Колклаф ушел разыскивать свой полк, который уже был на берегу, но где именно, никто не знал.

Ночь была темная, ветреная, сырая и холодная. Уже в сумерках прилетели немецкие самолеты. Орудия кораблей, стоявших на рейде недалеко от берега, и зенитная артиллерия на берегу перекрестили небо огненными трассами. Осколки мягко шлепались в песок рядом с Ноем; он беспомощно озирался, думая только об одном: настанет ли когда-нибудь такое время, когда ему не придется опасаться за свою жизнь.

Их разбудили на рассвете. К тому времени Колклаф уже вернулся из полка. Ночью он заблудился и бродил по берегу, разыскивая свою роту, пока какой-то часовой со страху не пальнул в него. Тогда он решил, что бродить ночью слишком опасно, вырыл себе окопчик и улегся там переждать до рассвета, чтобы его не подстрелили свои же солдаты. Он осунулся и выглядел усталым, но выкрикивал приказы со скоростью автомата и повел за собой роту вверх по крутому берегу.

Ной схватил насморк и без конца чихал и сморкался. На нем было надето шерстяное белье, две пары шерстяных носков, обмундирование цвета хаки, походная куртка, а поверх всего этого химически обработанная рабочая одежда, очень плотная и хорошо защищавшая от ветра. Но и в этом одеянии он все же чувствовал, что продрог до костей, когда тащился по сыпучему песку мимо почерневших от дыма разбитых немецких дотов, мимо трупов в серых шинелях, все еще не похороненных, мимо изуродованных немецких пушек, все еще злобно направленных в сторону берега.

Роту обгоняли грузовики и джипы, тащившие прицепы с боеприпасами, они сталкивались друг с другом и буксо-

вали. Только что прибывший танковый взвод отчаянно громыхал на подъеме, танки выглядели грозными и непобедимыми. Военная полиция регулировала движение; саперы строили дороги; бульдозеры выравнивали взлетную полосу для самолетов; санитарные машины с ранеными, уложенными на носилки, сползали по изрезанной колеями дороге, между минными полями, огороженными флажками, к эвакуационным пунктам, примостившимся у подножия скалы. На широком поле, изрытом снарядами, солдаты из похоронной команды хоронили убитых американцев. За всей этой суетой чувствовался порядок, словно невидимая энергичная рука направляла движение людей и машин. Эта картина напомнила Ною те времена, когда он еще маленьким мальчиком в Чикаго наблюдал, как артисты цирка натягивают тент, расставляют клетки и устанавливают свои жилые фургоны.

Достигнув вершины холма, Ной оглянулся на берег, пытаясь запечатлеть в своей памяти все увиденное. «Когда я вернусь, Хоуп, да и ее отец тоже, захотят узнать, как все это выглядело», — подумал он. Перебирая в уме все, что он расскажет им в тот далекий, прекрасный, мирный день, Ной чувствовал все большую уверенность, что этот день наступит и он останется жив, чтобы отпраздновать его. Он с усмешкой подумал о том, как в один прекрасный воскресный день, сидя за кружкой пива под кленом, в костюме из мягкой фланели и голубой рубашке, он будет изводить своих родственников бесконечными рассказами ветерана о Великой войне.

Берег, усеянный стальной продукцией американских заводов, выглядел, как захламленный подвал какого-то магазина для гигантов. Недалеко от берега, сразу за старыми грузовыми судами, которые затоплялись, чтобы служить волнорезами, стояли эскадренные миноносцы. Они вели огонь через голову пехоты по опорным пунктам противника на материке.

— Вот как надо воевать, — сказал Бернекер, шедший рядом с Ноем. — Настоящие кровати, в кают-компании подают кофе. Вы можете стрелять, сэр, когда будете готовы. Да, Аккерман, будь у нас хотя бы столько же ума, сколько у кроликов, мы пошли бы служить во флот.

— Давай, давай, пошевеливайся, — раздался позади голос Рикетта. Это был все тот же сердитый сержантский голос, который не в силах были изменить ни трудности перехода по морю, ни зрелище множества убитых людей.

— Вот на кого пал бы мой выбор, — сказал Бернекер, —

если бы мне пришлось остаться один на один с человеком на необитаемом острове.

Они повернулись и пошли в глубь материка, все более и более удаляясь от берега.

Так они шли с полчаса, пока не обнаружилось, что Колклаф снова заблудился. Он остановил роту на перекрестке, где два военных полицейских регулировали движение из вырытой ими на обочине дороги глубокой щели, откуда торчали только их каски да плечи. Ной видел, как Колклаф, сердито жестикулируя, в бешенстве орал на полицейских, которые лишь отрицательно качали головами. Затем Колклаф извлек карту и принялся орать на лейтенанта Грина, который пришел ему на помощь.

— Наше счастье,— сказал Бернекер, покачав головой,— что нам достался капитан, который не способен отыскать плуг в танцевальном зале.

— Убирайтесь отсюда,— услышали они голос Колклафа, оравшего на Грина,— убирайтесь на свое место! Я сам знаю, что мне делать!

Он свернул на узкую дорожку, окаймленную высокой блестящей на солнце живой изгородью, и рота медленно побрела за ним. Здесь было темнее и как-то спокойнее, хотя пушки все еще продолжали грохотать, и солдаты тревожно вглядывались в густую листву изгороди, как бы специально предназначенной для засады.

Никто не проронил ни слова. Солдаты устало тащились по обеим сторонам мокрой дороги, стараясь сквозь чавканье ботинок, тяжело месивших густую глину, уловить какой-либо посторонний шорох, щелканье ружейного затвора или голоса немцев.

Дорога вывела их в поле; из-за облаков выглянуло солнце, и они почувствовали некоторое облегчение. Посреди поля старая крестьянка с мрачным видом доила корову, ей помогала девушка с босыми ногами. Старуха сидела на табуретке, рядом с ней стояла выдавшая виды крестьянская телега, запряженная огромной мохнатой лошастью. Старуха медленно, с явным пренебрежением тянула соски упитанной и чистенькой коровы. Над головой пролетали и где-то рвались снаряды. Временами, казалось, совсем рядом взволнованно трещали пулеметы, однако старуха не обращала на все это никакого внимания. Девушке было не больше шестнадцати лет; на ней был старенький зеленый свитер, а в волосах — красная ленточка. Она явно заинтересовалась солдатами.

— Я думаю, не наняться ли мне в работники к этой ста-

руке, — сказал Бернекер, — а ты мне потом расскажешь; чем кончится война, Аккерман.

— Шагай, шагай, солдат, — ответил ему Ной. — В следующую войну мы все будем служить в обозе.

— Мне понравилась эта девчонка, — мечтательно произнес Бернекер. — Она напоминает мне родную Айову. Аккерман, ты что-нибудь знаешь по-французски?

— *A votre santé* — вот все, что я знаю, — сказал Ной.

— *A votre santé!* — крикнул Бернекер девушке, улыбаясь и размахивая ружьем. — *A votre santé*, крошка, то же самое и твоей старушке.

Девушка, улыбаясь, помахала ему в ответ рукой.

— Она в восторге от меня, — обрадовался Бернекер. — Что я ей сказал?

— За ваше здоровье.

— Черт! — воскликнул Бернекер. — Это больно официально. Мне хочется сказать ей что-нибудь душевное.

— *Je t'adore*, — произнес Ной, вспоминая случайно застрявшие в памяти французские слова.

— А это что означает?

— Я тебя обожаю.

— Вот это то, что надо, — обрадовался Бернекер. Когда они были уже на краю поля, он повернулся в сторону девушки, снял каску и низко поклонился, галантно размахивая этим большим металлическим горшком. — Эй, крошка, — заорал он громовым голосом, лихо размахивая каской, зажатой в огромной крестьянской руке; его мальчишеское, загорелое лицо было серьезно и источало любовь. — Эй, крошка, *je t'adore, je t'adore...*

Девушка улыбнулась и снова помахала рукой.

— *Je t'adore, mon Americain!* — крикнула она в ответ.

— Это самая великая страна на всей нашей планете, — сказал Бернекер.

— Ну, ну, пошли, кобели, — сказал Рикетт, ткнув его костлявым острым пальцем.

— Жди меня, крошка! — крикнул Бернекер через зеленые поля, через спины коров, так похожих на коров его родной Айовы. — Жди меня, крошка, я не знаю, как это сказать по-французски, жди меня, я вернусь...

Старуха на скамейке размахнулась и, не поднимая головы, сильно шлепнула девушку по задку. Резкий и звонкий звук удара донесся до самого конца поля. Девушка потупилась, заплакала и убежала за телегу, чтобы скрыть свои слезы.

Бернекер вздохнул. Он нахлобучил каску и перешел через разрыв в изгороди на соседнее поле.

Через три часа Колклаф отыскал полк, а еще через полчаса они вошли в соприкосновение с немецкой армией.

Шесть часов спустя Колклаф ухитрился попасть со своей ротой в окружение.

Крестьянский дом, в котором заняли оборону остатки роты, выглядел так, как будто он был специально построен в расчете на возможную осаду. У него были толстые каменные стены, узкие окна, крыша из шифера, которая не боялась огня, огромные, как бы вытесанные из камня балки, поддерживавшие потолок, водяная помпа на кухне и глубокий надежный подвал, куда можно было отнести раненых.

Дом вполне мог бы выдержать даже длительный артиллерийский обстрел. А поскольку немцы до сих пор использовали только минометы, то оборонявшие дом тридцать пять человек, оставшиеся от роты, чувствовали себя пока что довольно уверенно. Они вели беспорядочный огонь из окон по силуэтам, мелькавшим за изгородью и пристройками, которые окружали главное здание.

В освещенном свечой подвале между бочками с сидром лежало четверо раненых и один убитый. Семья француза, которому принадлежала эта ферма, спряталась в подвал при первом же выстреле. Сидя на ящиках, французы молча разглядывали раненых солдат, пришедших невесть откуда, чтобы умереть в их подвале. Здесь был хозяин — мужчина лет пятидесяти, прихрамывавший после ранения, полученного под Марной во время прошлой войны, его жена — худая, долговязая женщина его возраста и две дочери, двенадцати и шестнадцати лет, обе очень некрасивые. Оцепеневшие от страха, они старались укрыться под сомнительной защитой бочек.

Весь медицинский персонал был перебит еще в начале дня, и лейтенант Грин все время бегал вниз, как только у него находилась свободная минутка, чтобы хоть как-нибудь перевязать раны солдат.

Фермер был не в ладах со своей женой.

— Нет,— с горечью повторял он.— Нет, мадам не оставит свой будуар. Ей все равно, война сейчас или не война. О нет. Останемся здесь, говорит она. Я не оставлю свой дом солдатам. Может быть, мадам, вы предпочитаете вот это?

Мадам не отвечала. Она бесстрастно восседала на ящике, потягивая из чашки сидр, и с любопытством рассматривала лица раненых, на которых блестели при свете свечи бисеринки холодного пота.

Когда начинал трещать немецкий пулемет, наведенный

на окно комнаты во втором этаже, и вверху, над ее головой, слышался звон разбиваемого стекла и стук падающей мебели, она только немного быстрее цедила свой сидр.

— Ох, уж эти женщины,— сказал фермер, обращаясь к мертвому американцу, лежащему у его ног.— Никогда не слушайте женщин. Они не могут понять, что война — это серьезное дело.

На первом этаже солдаты свалили всю мебель к окнам и стреляли через щели, из-за подушек. Время от времени лейтенант Грин отдавал приказания, но никто не обращал на них внимания. Как только замечалось какое-либо движение за изгородью или в группе деревьев, в шестистах футах от дома, все солдаты, находившиеся с этой стороны, немедленно открывали огонь и тут же снова бросались на пол, спасаясь от пуль.

В столовой, за тяжелым дубовым столом, положив голову на руки, сидел капитан Колклаф. Он был в каске, сбоку в блестящей кожаной кобуре болтался украшенный перламутром пистолет. Капитан был бледен и, казалось, спал. Никто с ним не заговаривал, он тоже молчал. Только один раз, когда лейтенант Грин зашел проверить, жив ли еще капитан, он заговорил.

— Мне понадобится ваши письменные показания,— заявил он.— Я отдавал лейтенанту Соренсону поддерживать непрерывную связь с двенадцатой ротой на нашем фланге. Вы присутствовали, когда я отдавал ему этот приказ, вы были при этом, не так ли?

— Да, сэр,— ответил лейтенант Грин своим высоким голосом.— Я слышал, как вы отдавали приказ.

— Мы должны засвидетельствовать это на бумаге,— сказал Колклаф, глядя на старый дубовый стол,— и как можно скорее.

— Капитан,— сказал лейтенант Грин,— через час будет уже темно, и если мы намерены когда-либо выбраться отсюда, то сейчас самое время...

Однако капитан Колклаф уже погрузился в свои грезы, уткнув голову в крестьянский обеденный стол, и ничего не ответил. Он даже не взглянул на лейтенанта Грина, когда тот сплюнул на ковер у его ног и пошел в другую комнату, где капралу Файну только что прострелили легкие.

Наверху, в спальне хозяев, Рикетт, Бернекер и Ной держали под огнем проулок между амбаром и сараем, где хранились плуг и телега. На стене спальни висело маленькое деревянное распятие и фотография застывших в напряженных позах фермера и его жены, снятых в день свадьбы.

На другой стене в рамке висел плакат французской паровой компании с изображением лайнера «Нормандия», пересекающего воды спокойного ярко-синего моря. Массивная кровать с пологом была накрыта белым вышитым покрывалом, на комодке были разбросаны кружевные салфеточки, а на камине стояла фарфоровая кошка.

«Хорошенькое местечко для первого боя!» — подумал Ной, вставляя в винтовку очередную обойму.

Снаружи послышалась длинная очередь. Рикетт, стоявший около одного из двух окон с автоматической винтовкой Браунинга в руках, прижался к оклеенной цветастыми обоями стене. Стекло, покрывавшее «Нормандию», разлетелось на тысячу осколков. Картина закачалась, но продолжала висеть на стене; на ватерлинии огромного корабля зияла большая пробоина.

Ной взглянул на большую, опрятно убранную кровать. Он испытывал почти непреодолимое желание нырнуть под нее. Он даже сделал было шаг от окна, где стоял согнувшись в три погибели. Ной весь дрожал. Когда он пытался двигать руками, они ему не повиновались и описывали нелепые широкие круги. Он задел и сшиб на пол маленькую голубую вазочку с накрытого скатертью стола, стоявшего посреди комнаты.

Только бы забраться под кровать, и он был бы спасен. Он бы тогда не погиб. Ной был готов зарыться в пыль, покрывавшую потрескавшийся деревянный пол. Все происходившее казалось ему бессмысленным. Какой смысл стоять во весь рост в этой маленькой, оклеенной обоями комнатке и ждать своего конца, когда вокруг него чуть не половина всей немецкой армии? Ведь он оказался здесь не по своей вине. Ведь это не он повел роту по дороге между изгородями, не он потерял связь с двенадцатой ротой. Ведь, когда полагалось, он останавливался и окапывался. Так почему же он должен стоять здесь у окна рядом с Рикеттом и ждать, пока пуля размозжит ему голову?

— Переходи к тому окну! — крикнул Рикетт, свирепо указывая на другое окно. — Быстрее, черт тебя побери! Фрицы приближаются...

Не думая об опасности, Рикетт встал во весь рост и, оперев винтовку в бедро, стрелял короткими очередями; его руки и плечи дрожали в такт стрельбе.

«Сейчас, — хитро подумал Ной, — он не смотрит. Я заберусь под кровать, и никто меня не найдет».

Бернекер находился у другого окна, он стрелял и громко звал Ноя.

Ной бросил последний взгляд на кровать. Она была такая прохладная и опрятная, совсем как дома. Распятие, висевшее над кроватью, неожиданно сорвалось со стены, изображение Христа разлетелось на кусочки, рассыпавшиеся по покрывалу.

Ной перебежал к окну и пригнулся рядом с Бернекером. Не целясь, он дважды выстрелил в окно. Потом он присмотрелся. Серые фигурки небольшими группами, пригибаясь, с бешеной скоростью неслись по направлению к дому.

«Эх, разве так атакуют, разве можно сбиваться всем в одну кучу...» — подумал Ной, прицеливаясь (помни: целиться в середину мишени, держать ровную мушку, и тогда даже слепой ревматик не промахнется) и стреляя в сгрудившиеся фигурки. Он стрелял и стрелял. Рикетт стрелял из другого окна. Рядом с Ноем стрелял Бернекер; тщательно прицеливаясь и затаив дыхание, он спокойно нажимал на спусковой крючок. Ной услышал резкий скулящий крик. «Кто бы это мог кричать?» — мелькнуло у него в голове. Прошло некоторое время, пока он понял, что кричит сам. Тогда он замолчал.

Снизу, с первого этажа, тоже слышалась интенсивная стрельба. Серые фигуры падали и поднимались, ползли и снова падали. Три немца подползли совсем близко и пустили в ход ручные гранаты, однако они не долетели до окна и разорвались у стены дома, не причинив никакого вреда. Рикетт подстрелил всех троих одной очередью.

Остальные серые фигурки, казалось, застыли на месте. На мгновение наступила тишина, неподвижные, как бы задумавшиеся над чем-то фигуры замерли посреди двора. Потом они повернули и побежали прочь.

Ной с удивлением наблюдал за ними. Ему никогда не приходило в голову, что они могут не добежать до дома.

— Давай, давай! — кричал Рикетт, судорожно перезаряжая винтовку. — Бей фрицев! Бей их!

Ной взял себя в руки и тщательно прицелился в одного из вражеских солдат, бежавшего как-то странно, неуклюже прихрамывая. Сумка с противогазом была его по бедру, винтовку он отбросил в сторону. Ной зажмурился и в тот момент, когда солдат заворачивал за сарай, мягко нажал на спусковой крючок, чувствуя тепло металла под пальцем. Солдат неуклюже взмахнул руками и упал. Он больше не двигался.

— Так их, Аккерман, так их! — радостно закричал Рикетт. Он был снова у окна. — Вот как надо действовать!

Проход между сараями опустел, если не считать серых фигур, которые больше уже не двигались.

— Они отступили, — тупо сказал Ной. — Их больше там

нет.— Тут он почувствовал, как что-то мокрое прильнуло к его щеке. Это Бернекер целовал его. Он плакал, смеялся и целовал Ноя.

— Ложись! — закричал Рикетт.— Прочь от окна!

Они нырнули вниз. Через какую-то долю секунды над их головами послышался свист. Пули застучали по стене, ниже «Нормандии».

«Очень мило со стороны Рикетта,— спокойно подумал Ной,— просто удивительно».

Открылась дверь, и вошел лейтенант Грин. У него были воспаленные, красные глаза, а челюсть, казалось, отвисла от усталости. Он медленно, со вздохом сел на кровать и положил руки между колен. Грин медленно раскачивался взад и вперед, и Ной боялся, что он вот-вот упадет на кровать и заснет.

— Мы остановили их, лейтенант,— радостно закричал Рикетт.— Мы здорово им всыпали. Так им, собакам, и надо.

— Да,— сказал лейтенант Грин своим пискливым голосом,— мы хорошо поработали. У вас никого здесь не задело?

— Нет, в этой комнате никого,— ухмыльнулся Рикетт.— Здесь у нас бывалые ребята!

— А в другой комнате Моррисон и Сили,— устало сказал Грин.— А там, внизу, Файну прострелили грудь.

Ной вспомнил, как Файн, огромный детина с бычьей шеей, говорил ему в госпитальной палате во Флориде: «Война не будет длиться вечно, и потом ты сможешь подобрать себе друзей по вкусу...»

— Однако...— Грин внезапно оживился, словно готовясь произнести ремень.— Однако...— Он мутными глазами обвел комнату.— Ведь это «Нормандия»? — спросил он.

— Да, «Нормандия»,— ответил Ной.

Грин глупо улыбнулся.

— Я, пожалуй, закажу на нее билет,— сострил он.

Никто, однако, не засмеялся.

— Между прочим,— сказал Грин, протирая глаза,— когда стемнеет, попытаемся отсюда прорваться. Внизу почти не осталось патронов, и, если они опять полезут, мы погибли. Они сделают из нас жаркое с подливкой,— добавил он тихо.— Как стемнеет, действуйте самостоятельно. По два, по три, по два, по три,— визгливо пропел он,— рота будет выходить группами по два-три человека.

— Лейтенант, это приказ капитана Колклафа? — спросил Рикетт, все еще стоявший у окна, откуда он, чуть высунувшись, вел наблюдение.

— Это приказ лейтенанта Грина,— ответил лейтенант.

Он хихикнул, но тут же опомнился и снова придал своему лицу строгое выражение.— Я принял командование,— объявил он официальным тоном.

— Разве капитан убит? — спросил Рикетт.

— Не совсем так,— ответил Грин. Он вдруг повалился на белое покрывало и закрыл глаза, но продолжал говорить.— Капитан временно ушел в отставку. Он будет готов к вторжению в будущем году.— Грин снова хихикнул. Он продолжал лежать с закрытыми глазами на неровной пемине. Затем он внезапно вскочил на ноги.— Вы что-нибудь слышали? — спросил он возбужденно.

— Нет,— ответил Рикетт.

— Танки,— сказал Грин.— Если до наступления темноты они пустят в ход танки, жаркое с подливкой обеспечено.

— У нас есть «базука» и два снаряда,— сказал Рикетт.

— Не смей меня.— Грин отвернулся и стал глядеть на «Нормандию».— Один мой приятель как-то плавал на «Нормандии»,— сказал он.— Он был страховым агентом из Нового Орлеана в Луизиане. Между Шербуром и Амбросским маяком его по очереди обработали три бабы... Обязательно,— серьезно добавил он,— пустите в ход «базуку». Ведь она именно для этого и предназначена, не так ли? — Он опустил на четвереньки и пополз к окну. Потом осторожно приподнялся и выглянул наружу.— Я вижу четырнадцать убитых фрицев. Как вы думаете, что затевают оставшиеся в живых? — Он горестно покачал головой и отполз от окна. Ухватившись за ногу Ноя, лейтенант медленно поднялся.— Целая рота,— сказал он, и в его голосе прозвучало удивление,— целая рота погибла за один день. За один день боя. Невероятно, а? Вы, конечно, думаете, что это можно было предотвратить, да? Помните же, как только стемнеет, действуйте самостоятельно и постарайтесь прорваться к своим. Желаю удачи.

Он пошел вниз. Оставшиеся в комнате переглянулись.

— Ну что ж, хорошо,— угрюмо сказал Рикетт.— Мы еще пока не ранены. Вставайте к окнам.

Внизу, в столовой, Джеймисон стоял перед капитаном Колклафом и кричал на него. Джеймисон находился рядом с Сили, когда того ранило в глаз. Они были земляками из небольшого городка в штате Кентукки, дружили с детства и вместе вступили в армию.

— Я не позволю тебе этого, проклятый гробовщик! — бешено кричал Джеймисон на капитана, который сидел за темным столом в прежней позе, безнадежно опустив го-

лову на руки. Джеймисон только что услышал, что если ночью они попытаются вырваться из окружения, Сили придется оставить в подвале вместе с другими ранеными.— Ты завел нас сюда, ты и выводи отсюда! Всех до единого!

В комнате было еще трое солдат. Они тупо смотрели на Джеймисона и капитана, но не вмешивались.

— Да вставай же ты, сукин сын, полировщик гробов! — орал Джеймисон, медленно раскачиваясь взад и вперед над столом.— Какого черта ты здесь уселся? Вставай, скажи что-нибудь. Ведь ты здорово разглагольствовал в Англии! На словах-то ты был герой, когда никто в тебя не стрелял, паршивый бальзамировщик трупов! А еще собирался стать майором к четвертому июля! Эх ты, майор с пугачом!.. Да сними ты эту чертову игрушку. Видеть не могу твоего разукрашенного пистолета!

Не помня себя от гнева, Джеймисон перегнулся через стол, выхватил из кобуры капитана украшенный перламутром пистолет и швырнул его в угол. Он попытался сорвать и кобуру, но она не поддавалась. Тогда он выхватил штык и свирепыми, неровными ударами отрезал ее от ремня. Он бросил блестящую кобуру на пол и стал ее топтать. Капитан Колклаф не пошевелился. Остальные солдаты продолжали безучастно стоять у резного дубового буфета.

— Мы должны укокошить больше фрицев, чем кто-либо другой в дивизии, ведь так ты нам говорил, кладбищенская собака? Ведь за этим мы и прибыли в Европу? Ты ведь собирался заставить всех нас внести свой вклад, не так ли? А сколько немцев ты сам убил сегодня, сукин ты сын? А ну, давай, давай, поднимайся, поднимайся! — Джеймисон схватил Колклафа за плечи и поставил на ноги. Капитан продолжал оцепенело смотреть вниз, на стол. Когда Джеймисон отступил назад, Колклаф медленно соскользнул на пол.— Вставай, капитан! — в исступлении кричал Джеймисон, стоя над Колклафом и изо всех сил пиная его ногой.— Произнеси речь. Прочитай нам лекцию о том, как можно потерять целую роту за один день боя. Произнеси речь о том, как оставлять раненых немцам. Расскажи, как надо читать карту, поболтай о воинской вежливости. До смерти хочется тебя послушать. Иди-ка в подвал и прочти Сили лекцию о первой помощи, а заодно посоветуй ему обратиться к священнику насчет осколка в глазу. А ну, давай говори, расскажи нам, как обеспечивать фланги в наступлении, расскажи нам, как мы хорошо подготовлены, расскажи нам, что мы экипированы лучше всех в мире!

В комнату вошел лейтенант Грин.

— Убирайся отсюда, Джеймисон,— сказал он спокойно.— Возвращайтесь все на свои места.

— Я хочу, чтобы капитан произнес речь,— упрямо твердил Джеймисон.— Одну небольшую речь для меня и для ребят, что там, внизу.

— Джеймисон,— повторил лейтенант Грин пискливым, но властным голосом,— возвращайся на свое место. Это приказ.

В комнате воцарилась тишина. Снаружи застрочил немецкий пулемет, и было слышно, как пули с жалобным свистом застучали о стены. Джеймисон ощупал предохранитель своей винтовки...

— Ведите себя как подобает,— сказал Грин тоном школьного учителя, обращающегося к ученикам.— Идите и ведите себя прилично.

Джеймисон медленно повернулся и вышел. Трое других последовали за ним. Лейтенант равнодушно взглянул на неподвижно лежавшего на полу капитана Колклафа. Он не помог капитану подняться с пола.

Уже почти стемнело, когда Ной увидел танк. Он грозно двинулся по проулку, слепо тыча выставленным вперед длинным стволом орудия.

— Ну вот, ползут,— сказал Ной, выглядывая из-за подоконника и стараясь не двигаться.

Танк вдруг замер, словно его пригвоздили к земле. Гусеницы начали медленно разворачиваться, зарываясь в мягкую глину, стволы пулеметов бестолково заходили в стороны. Ной никогда раньше не видел немецких танков, и этот первый танк словно загипнотизировал его. Танк был такой огромный, такой непроницаемый, такой злобный... «Теперь все,— думал Ной,— ничего не поделаешь». Он был в отчаянии и в то же время испытывал чувство облегчения. Теперь уже все равно ничем не поможешь. Танк освободил его от всего: от необходимости принимать решения, от ответственности.

— Иди сюда,— позвал Рикетт.— Я тебе говорю, Аккерман.

Ной бросился к окну, где стоял Рикетт с «базукой» в руках.

— Сейчас попробую,— сказал Рикетт,— стоит ли чего-нибудь эта чертова штука.

Ной пригнулся около окна, а Рикетт положил ствол «базуки» на его плечо. Голова и плечи Ноя возвышались над подоконником, но у него возникло какое-то странное чувство легкости, теперь ему было на все наплевать. Когда танк был так близко от дома, все его защитники были в

одинаковой опасности. Ной ровно дышал, терпеливо перенося все манипуляции, которые проделывал Рикетт, устанавливая «базуку» на его плече.

— За танком спрячутся несколько пехотинцев,— спокойно сказал Ной.— Их там человек пятнадцать.

— Сейчас мы им сделаем небольшой сюрприз,— сказал Рикетт.— Стой спокойно.

— А я и стою спокойно,— с раздражением ответил Ной.

Рикетт продолжал возиться с механизмом «базуки». До танка было около восьмидесяти ярдов, и Рикетт тщательно прицеливался.

— Не стреляй,— сказал он Бернекеру, стоявшему у другого окна.— Пусть думают, что здесь никого нет.— Он захихикал, однако Ноя не очень удивил его смех.

Танк снова начал двигаться. Он грозно полз вперед, не считая нужным стрелять, словно был уверен в своей силе, парализующей дух вражеских солдат, и знал, что достигнет своей цели и не стреляя. Пройдя несколько ярдов, танк снова остановился. Немцы, наступавшие под его прикрытием, прижались к нему вплотную, чуть не к самым гусеницам.

Позади танка застрочил пулемет, беспорядочно поливая огнем весь фасад здания.

— Ради бога, стой спокойно,— сказал Рикетт Нюю.

Ной с силой уперся в оконную раму. Он был уверен, что его сейчас непременно подстрелят. Вся верхняя часть его тела по пояс виднелась из окна, ничем не защищенная. Он смотрел вниз, на качающиеся стволы пулеметов танка, который неясно вырисовывался в сгущающихся сумерках.

Наконец Рикетт выстрелил. Медленно рассекая воздух, снаряд полетел в цель. Раздался взрыв. Ной наблюдал из окна, забыв даже пригнуться. Сначала казалось, что ничего не произошло. Потом пушка начала медленно опускаться и замерла, уставившись в землю. В танке раздался взрыв, глухой и глубокий. Несколько струек дыма прорвалось через смотровые щели и люк. Затем послышалось еще несколько взрывов. Танк качнулся и задрожал. Наступила тишина. Танк все еще выглядел злобным и грозным, но больше не двигался. Ной видел, как прятавшиеся за танком пехотинцы побежали назад. Они бежали по проулку; никто по ним не стрелял, и они успели скрыться за углом сарая.

— Пожалуй, эта штука неплохо работает,— сказал Рикетт.— Думаю, мы-таки подбили танк.— Он снял «базуку» с плеча Ноя и прислонил ее к стене.

Ной продолжал смотреть в проулок между сараями. Ка-

зальсь, что ничего не произошло и танк уже много лет был неотъемлемой частью пейзажа.

— Ради бога, Ной,— кричал Бернекер. Тут Ной понял, что Бернекер уже давно зовет его.— Ради бога, отойди, наконец, от окна.

Внезапно осознав страшную опасность, Ной отпрянул от окна.

Его место занял Рикетт, снова с автоматической винтовкой в руках.

— Чепуха,— сердито сказал Рикетт,— совершенно незачем оставлять эту ферму. Мы бы могли здесь продержаться до рождества. У этого паршивого торговца пеленками Грина мужества, как у клопа.— Он выстрелил с бедра в сторону проулка.— Эй, вы там, убирайтесь вон,— бормотал он про себя.— Держитесь подальше от моего танка.

В комнату вошел лейтенант Грин.

— Спускайтесь вниз,— сказал он.— Уже темнеет. Через пару минут начнем выходить.

— Я останусь здесь ненадолго,— пренебрежительно заявил Рикетт,— чтобы держать фрицев на расстоянии.— Он помахал Ную и Бернекеру.— А вы все двигайте вперед и, если они вас заметят, драпайте как толстозадые птицы.

Ной и Бернекер переглянулись. Им хотелось что-нибудь сказать Рикетту, который стоял у окна с презрительной гримасой на лице, держа винтовку в своих огромных ручищах, но они так и не нашли слов. Рикетт даже не взглянул на них, когда они пошли вслед за лейтенантом Грином вниз, в большую комнату.

В комнате пахло потом и порохом, на полу валялись сотни стреляных гильз, раздавленных ногами осажденных. В этой комнате боевая обстановка чувствовалась сильнее, чем в спальне, там, наверху. Мебель была свалена перед окнами, деревянные стулья поломаны и разнесены в щепки, а люди стояли на коленях на полу вдоль стен. В полутьме наступающих сумерек Ной заметил Колклафа, лежавшего на полу в столовой. Он лежал на спине, с вытянутыми по швам руками, уставившись немигающим взглядом в потолок. Из носа у него текло, и время от времени он резко шмыгал — и это был единственный звук, который он издавал. Этот звук напомнил Ною, что и у него самого насморк; он вытащил из заднего кармана пропитанный потом платок цвета хаки и высморкался.

В комнате было очень тихо, только назойливо жужжала одинокая муха. Райкер дважды пытался пристукнуть ее каской, но всякий раз промахивался.

Ной сел на пол, снял с правой ноги крагу и ботинок и тщательно расправил носок. До чего же приятно было почесать пятку и снова натянуть гладкий носок! Солдаты, находившиеся в комнате, с интересом наблюдали за ним, как будто он разыгрывал перед ними какую-то замысловатую и чрезвычайно забавную сценку. Ной надел ботинок, потом крагу, аккуратно зашнуровал ее и натянул поверх нее штанину. Он два раза чихнул так громко, что Райкер даже подскочил от неожиданности.

— Будь здоров,— сказал Бернекер, улыбнувшись Ною. Ной улыбнулся ему в ответ и подумал: «Какой чудесный парень!»

— Я не могу вам, братцы, посоветовать, как действовать,— сказал вдруг лейтенант Грин. Он стоял сгорбившись у входа в столовую и говорил так, словно заранее подготовил длинную речь, а теперь с удивлением прислушивался к своим коротким, отрывистым фразам.— Я не могу сказать вам, как лучше всего выбраться отсюда. Вы сами сообразите не хуже меня. Ночью вы будете видеть вспышки орудий, а днем будете слышать стрельбу, так что у вас будет общее представление о том, где находятся наши. Карта вам мало чем поможет, и лучше держитесь как можно дальше от дорог. Чем меньше будут группы, тем больше шансов пробраться к своим. Мне очень жаль, что так получилось, но, право, если мы будем сидеть здесь и ждать, то все очутимся в мешке. Если же мы будем действовать мелкими группами, некоторые из нас смогут все-таки прорваться к своим.— Он вздохнул.— А может быть, прорвется не некоторые, а многие из нас... И даже большинство,— добавил он с напускной бодростью.— Мы сделали все для удобства наших раненых; за ними там, внизу, будут присматривать французы. Если кто-нибудь сомневается,— сказал он, как бы оправдываясь,— можете сойти вниз и убедиться сами.

Однако никто не двинулся с места. Сверху доносились короткие очереди. «Это Рикетт,— подумал Ной,— там, у окна».

— И все же...— невнятно проговорил лейтенант Грин.— И все же... Конечно, все это очень плохо. Но вы должны были быть готовы и к этому. На войне такие случаи всегда возможны. Капитана я попытаюсь взять с собой. С собой,— повторил он усталым голосом.— Если хотите что-нибудь сказать, говорите сейчас...

Все продолжали молчать. У Ноя вдруг защемило сердце.

— Ну что ж,— сказал лейтенант Грин,— уже стемнело.— Он поднялся, подошел к окну и выглянул наружу.— Да,— повторил он,— уже стемнело.— Он повернулся к находив-

шимся в комнате солдатам. Многие сидели на полу, прислонившись к стене, низко опустив головы. Они напоминали Ною игроков проигрывающей матч футбольной команды в перерыве между таймами.

— Итак,— сказал лейтенант Грин,— нет смысла больше откладывать. Кто хочет пойти первым?

Никто не пошевелился, никто даже не поднял головы.

— Будьте осторожны,— продолжал лейтенант Грин,— когда доберетесь до наших линий. Не обнаруживайте себя, пока не убедитесь абсолютно точно, что они знают, что вы американцы. Кому охота получить пулю от своих? Так кто пойдет первым?

Опять никто не пошевелился.

— Мой совет,— снова начал лейтенант Грин,— выходить через кухню. Там есть сарайчик, который может служить прикрытием, а до изгороди оттуда не больше тридцати ярдов. Вы, надеюсь, понимаете, что я больше не приказываю вам. Решайте сами. А сейчас кому-то надо идти...

По-прежнему никто не двигался с места. «Это невыносимо,— думал Ной, сидя на полу,— просто невыносимо». Он поднялся.

— Хорошо,— сказал он, потому что ведь кто-то должен был это сказать.— Я пойду.— Он чихнул.

Встал и Бернекер.

— Я тоже иду,— сказал он.

Встал и Райкер.

— А, черт с ним, пойду и я.

Встали Каули и Демут. По каменному полу зашаркали ботинки.

— Где эта проклятая кухня? — спросил Каули.

«Райкер, Каули, Демут,— подумал Ной.— Памятные имена... Ну что ж, сейчас мы можем начинать бой сначала».

— Хватит,— сказал Грин.— Для первой группы достаточно.

Все пятеро вышли в кухню. Никто из оставшихся даже не посмотрел им вслед, никто не сказал ни слова. Люк в кухонном полу, ведущий в подвал, был открыт. Из подвала сквозь пыльный воздух пробивался слабый свет свечи. Оттуда доносились kloкочущие звуки и хриплые стоны умирающего Файна. Ной решил не смотреть в подвал. Лейтенант Грин очень осторожно приоткрыл кухонную дверь. Она издала резкий скрип, и солдаты замерли. Сверху все еще доносились автоматные очереди. «Это Рикетт,— подумал Ной.— Он ведет войну на свой страх и риск».

Ночной воздух был насыщен сыростью и запахами де-

ревни; из полуоткрытой двери доносился терпкий, тяжелый запах коровника.

Ной тихо чихнул в кулак. Он оглянулся, как бы извиняясь.

— Желаю удачи,— сказал лейтенант Грин.— Итак, кто идет?

Люди, собравшиеся на кухне среди медных кастрюль и больших молочных бидонов, глядели в приоткрытую дверь на бледную полоску ночного неба. «Это невыносимо,— снова подумал Ной,— просто невыносимо. Нельзя больше так стоять». Он решительно шагнул к двери мимо Райкера.

Ной глубоко вздохнул, говоря себе: «Только не чихать, только не чихать». Потом пригнулся и шмыгнул за дверь.

Осторожными шагами, сжимая обеими руками винтовку, чтобы, не дай бог, она не стукнулась о что-нибудь, Ной начал красться к сараю. Он не прикасался к спусковому крючку, так как не мог вспомнить, спущен предохранитель или нет. Он надеялся, что идущие за ним позаботились поставить свои винтовки на предохранитель, так что они не подстрелят его, если даже споткнутся.

Ботинки Ноя хлюпали по жидкой грязи, расстегнутые ремешки каски били по щекам у самого уха, и этот слабый звук казался ему невыносимо громким. Когда Ной в непроглядной тьме добрался до сарая и прислонился к пахнущим коровами бревнам, он первым делом застегнул ремешки каски под подбородком. Темные тени одна за другой отделялись от кухонной двери и двигались через двор. Дыхание подходивших солдат казалось Ноем необыкновенно громким и тяжелым. Из подвала дома послышался протяжный крик, и эхо его далеко разнеслось в вечернем безветренном воздухе. Ной плотно прижался к стене сарая, но все было тихо...

Потом он лег на живот и пополз по направлению к изгороди, смутно выделявшейся на фоне неба. Где-то очень далеко были видны слабые вспышки артиллерийских выстрелов.

Вдоль изгороди тянулась канава. Ной соскользнул в нее и замер. Он старался дышать легко и ровно. Шум, который производили двигавшиеся за ним люди, казался очень громким, но не было никакой возможности сделать им знак быть потише. Один за другим все доползли до канавы и, скользнув в нее, залегли рядом с Ноем. Сбившись в кучу на мокрой траве на дне канавы, они так громко дышали, что казалось, противник сразу обнаружит их местонахождение. Они лежали, не двигаясь, навалившись друг на друга, и Ной понял, что каждый ждет, чтобы кто-то другой пошел первым.

«Они хотят, чтобы это сделал я,— с негодованием подумал Ной.— А с какой стати?»

Однако он все-таки поднялся и посмотрел через изгородь в сторону артиллерийских вспышек. По другую сторону изгороди было открытое поле. В темноте Ной смутно различал какие-то движущиеся тени, но не мог сказать, люди это или коровы. Одно было ясно: бесшумно пробраться через изгородь невозможно. Ной дотронулся до ноги ближайшего солдата, давая ему знать, что он двинулся дальше, и пополз по дну канавы, вдоль изгороди, все больше удаляясь от фермы. Один за другим остальные солдаты ползли за ним. Ной полз медленно, останавливаясь через каждые пять ярдов и внимательно прислушиваясь; он чувствовал, что обливается потом. Кустарники, образовавшие живую изгородь, росли вплотную друг к другу. Их листья тихонько шептались в порывах ветра, шелестевшего над головой. Иногда он слышал шорох: какой-то маленький зверек в страхе убегал в сторону; однажды раздался глухой звук хлопающих крыльев: потревоженная птица вспорхнула с ветки. Никаких признаков немцев пока не было.

«Быть может,— думал Ной, пока полз, вдыхая затхлый запах глины со дна сырой канавы,— быть может, нам все-таки удастся прорваться».

Его рука натолкнулась на что-то твердое. Он напрягся и замер. Лишь правая рука медленно ощупывала предмет. «Что-то круглое,— размышлял он,— что-то металлическое — это...» Тут его рука наткнулась на что-то мокрое и липкое, и Ной понял, что перед ним лежит мертвец. Ощупав каску и затем лицо, он понял, что пуля попала прямо в лоб.

Ной чуть подался назад и обернулся.

— Бернекер,— прошептал он.

— Что? — Голос Бернекера слышался откуда-то издалека, и Ною казалось, что он задыхается.

— Впереди меня мертвец.

— Что? Я тебя не слышу.

— Здесь труп. Мертвец.

— А кто он?

— А черт его знает,— раздраженно прошептал Ной, возмущаясь тупостью Бернекера.— Откуда, черт возьми, я знаю? — Он чуть не рассмеялся, вдруг осознав всю нелепость этого разговора.— Передай об этом по цепочке,— еще раз прошептал он.

— Что?

В этот момент Ной ненавидел Бернекера всеми фибрами своей души.

— Передай по цепочке, чтобы они не наделали каких-нибудь глупостей,— сказал Ной несколько громче.

— Ладно,— сказал Бернекер.— Сейчас передам.

Затем Ной услышал позади отрывистый шепот.

— Все в порядке,— сообщил наконец Бернекер.— Все поняли.

Ной медленно переполз через мертвое тело. Его руки задержались на сапогах убитого, и он сразу понял, что это немец, так как американцы не носят сапог. Он чуть было не остановился, чтобы сообщить об этом открытии другим. Стало как-то легче на душе от сознания, что труп был чужой. Потом он вспомнил, что американские парашютисты тоже носят сапоги, и подумал, что это мог быть один из них. Продолжая ползти, он ломал голову над этой загадкой, и умственное напряжение помогало ему забыть усталость и страх. «Нет,— решил он,— у парашютистов сапоги со шнурками, а эти были без шнурков. Нет, это был немец. В канаве лежал мертвый фриц». Он должен был понять это по форме каски, хотя, продолжал рассуждать он, все каски очень похожи одна на другую, а ему никогда раньше не приходилось притрагиваться к немецкой каске.

Он дополз до конца поляны. Канавы и изгородь изгибались под прямым углом и тянулись по краю поля. Ной осторожно пошарил рукой впереди себя. В изгороди было небольшое отверстие, а там, по другую сторону ее, проходила узкая дорога. «Все равно придется пересекать эту дорогу, почему же не сделать это сейчас?» — размышлял Ной.

Он повернулся к Бернекеру.

— Послушай,— прошептал он,— сейчас я перелезу через изгородь.

— Хорошо,— ответил шепотом Бернекер.

— Там с другой стороны есть дорога.

— Хорошо.

В эту минуту они услышали шаги людей и металлическое позвякивание снаряжения. Кто-то осторожно шел по дороге. Ной зажал рукой рот Бернекера. Они прислушались. Насколько можно было судить по звукам, по дороге шли три или четыре человека. Переговариваясь друг с другом, они медленно прошли мимо. Это были немцы. Хотя Ной не знал ни слова по-немецки, он слушал, в напряжении поднимая голову, как будто все, что ему удастся услышать, будет иметь для него величайшее значение.

Немцы прошли неторопливой спокойной походкой, как ходят часовые, которые скоро снова вернутся назад. Голоса постепенно затерялись в шорохах ночи, однако Ной еще долго слышал звук шагов.

Райкер, Демут и Каули подползли к тому месту, где, привалившись к стенке канавы, их поджидал Ной.

— Давайте пересечем дорогу,— прошептал Ной.

— К черту,— услышал Ной голос Демута, хриплый и дрожащий.— Если хочешь идти — иди. А я остаюсь здесь. Вот в этой самой канаве.

— Они сцапают тебя утром, как только станет светло...— настаивал Ной, вопреки всякой логике чувствуя себя ответственным за то, чтобы провести Демута и остальных через дорогу, лишь потому, что он вел их за собой до сих пор.— Здесь нельзя оставаться.

— Нельзя? — спросил Демут.— Послушай-ка: кто хочет, чтобы ему оторвало задницу, тот пусть идет. Только без меня.

Тут Ной понял, что Демут сдался, как только услышал голоса немцев, уверенных в себе и ни от кого не прячущихся. Для Демута война окончилась. Отчаяние или храбрость, которые помогли ему преодолеть первые двести ярдов от крестьянского дома, покинули его. «Возможно, он и прав,— подумал Ной,— быть может, это самый разумный выход...»

— Ной...— Это был голос Бернекера, в нем звучала с трудом сдерживаемая тревога.— Что ты думаешь делать?

— Я? — спросил Ной. Потом, зная, что Бернекер полагается на него, шепотом ответил: — Я перелезу через изгородь. Думаю, что Демуту не стоит оставаться здесь.— Он замолчал, ожидая, что кто-нибудь передаст это Демуту. Но все молчали.

— Ну ладно,— сказал Ной. Он осторожно полез через изгородь. Капли воды с мокрых веток падали на его лицо. Дорога неожиданно оказалась довольно широкой. Она была сильно разбита. Он поскользнулся на своих резиновых подошвах и чуть было не упал. Когда он качнулся в сторону, чтобы удержать равновесие, что-то мягко звякнуло, но ему ничего не оставалось, как идти вперед. По другую сторону дороги, шагах в двадцати, он заметил разрыв в изгороди, проделанный танком, придавившим к земле гибкие сучья. Он шел, согнувшись, держась поближе к кромке дороги, чувствуя себя беззащитным и словно обнаженным. Позади он слышал шаги остальных. Он подумал о Демуте, который лежал теперь один по другую сторону дороги. Интересно, что он чувствует в этот момент, одинокий, готовый с первыми лучами солнца сдать в плен первому немцу в надежде, что этот немец что-нибудь слышал о Женевской конвенции¹?

¹ Международное соглашение об обращении с военнопленными, заключенное в Женеве в 1929 году.— *Прим. ред.*

Далеко позади он услышал треск автоматической винтовки. Это Рикетт, который никогда ни перед чем не отступал, и теперь, сыпля отборной бранью, стрелял из окна спальни со второго этажа.

Потом открыл огонь автомат. Казалось, стреляют не далее чем в тридцати шагах; впереди были хорошо видны яркие вспышки выстрелов. Послышались крики на немецком языке и выстрелы из винтовок. Ной шумно и быстро бежал к брешу в изгороди, и, пока не ринулся в нее, все время над его головой капризно и жалобно посвистывали пули. Он слышал топот бежавших за ним товарищей, их ботинки звонко хлопали по глине и с хрустом давили упрямые сучья поваленной изгороди. Стрельба усиливалась, следы трассирующих пуль были видны над дорогой в ста ярдах впереди, однако пули проносились высоко над их головами. Видя, как трассирующие пули без толку бьют по верхушкам деревьев, Ной испытывал некоторое облегчение и чувство безопасности.

Перебравшись через изгородь, Ной побежал прямо через поле. Остальные бежали за ним. Слева слышались громкие удивленные крики на немецком языке, впереди беспорядочно перекрещивались трассы: видимо, стреляли просто наугад. Ной чувствовал, что задыхается, в груди у него жгло, и ему казалось, что он бежит ужасно медленно. «Мины,— вдруг смутно вспомнил он,— ведь мины расставлены по всей Нормандии». Тут он увидел впереди себя маячившие в темноте неясные силуэты и чуть было не выстрелил на бегу. Но силуэты издавали какие-то нечеловеческие низкие звуки, и он различил рога, торчащие на фоне неба. Потом он бежал вместе с четырьмя или пятью коровами, стараясь уйти подальше от стрельбы, то и дело натываясь на их мокрые, пахнущие молоком бока. Одна из коров упала, сбита пулей. Ной споткнулся о нее и тоже упал. Корова конвульсивно била ногами и пыталась встать, но не могла и тут же падала снова. Остальные солдаты пронесли мимо. Ной вскочил и побежал вслед за ними.

В легких у него kloкотало, и казалось, он уже не может сделать ни шагу больше. Но он продолжал бежать, выпрямившись во весь рост, не обращая внимания на пули, потому что пронизывающая, жгучая боль где-то посередине туловища не позволяла ему согнуться. Он обогнал еще одну бегущую фигуру, затем другую, третью... Он слышал тяжелое, хриплое дыхание солдат и удивлялся, что может так быстро бежать, обгоняя других.

Важно было пересечь поле и добежать до следующей

изгороди, до следующей канавы, пока немцы не направили на них прожекторы.

Но в ту ночь у немцев не было настроения освещать местность, и стрельба постепенно почти прекратилась. Ной пробежал последние тридцать шагов до изгороди, черной тенью вырисовывавшейся на фоне неба. Из густой листвы высились деревья, посаженные вдоль изгороди с равными интервалами. Ной бросился на землю. Он лежал, тяжело дыша, воздух со свистом врвался в его легкие. Остальные, один за другим попадали рядом с ним. Они лежали лицом вниз, вцепившись в мокрую землю, с трудом переводя дыхание, не в состоянии вымолвить ни слова. Над их головами со свистом пролетали трассирующие пули. Вдруг направление трасс изменилось, стрельба переместилась в другой конец поля. Оттуда послышалось неистовое мычание, топот копыт и сердитый, заглушенный расстоянием окрик на немецком языке. Пулеметчик услышал и перестал расстреливать коров.

Наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием четырех человек.

Прошло много времени, прежде чем Ной сел. «Смотрика, опять я первый,— отметила какая-то отдаленная, сохранившая еще способность рассуждать частица его мозга.— Райкер, Каули,— подумал он с ребяческой радостью, которая совершенно не вязалась с потным, задыхающимся человеком, сидевшим согнувшись на темной земле,— Райкер, Каули, Демут, Рикетт — всем им придется просить у меня прощения за то, что они делали во Флориде...»

— Ну что ж,— спокойно сказал Ной,— пошли дальше, а то опоздаем к завтраку.

Один за другим все сели. Они огляделись. В темноте не было слышно никаких звуков, не заметно было никакого движения. Со стороны фермы доносились очереди автоматической винтовки: Рикетт все еще огрызался, бросая вызов врагу. Впрочем, все это теперь не имело к ним никакого отношения. Где-то далеко шла бомбежка. Яркие трассы снарядов на фоне черного неба и короткие вспышки разрывов напоминали фейерверк в старом немом фильме. «Немецкие самолеты бомбят побережье,— подумал Ной.— Конечно, это немцы: ведь наши не летают ночью в том районе».— Он был доволен, что его мозг так трезво и четко воспринимает и анализирует впечатления. «Нам остается,— рассуждал он про себя,— лишь двигаться в этом направлении, продолжать двигаться — вот и все...»

— Бернекер,— решительно прошептал Ной, вставай на ноги,— возьми за мой ремень, а ты, Каули, держись за

ремень Бернекера, а Райкер пусть держится за Каули, чтобы нам не потеряться.

Все послушно встали и взяли друг друга за ремни. Потом, цепочкой, с Ноем во главе, они пошли в темноту по направлению к длинным огненным линиям, бороздившим горизонт.

На рассвете они увидели пленных. Было достаточно светло, и уже не было необходимости держаться за ремень соседа. Они лежали за изгородью, готовясь пересечь узкую мощеную дорогу, когда отчетливо услышали размеренное шарканье ног приближающихся людей.

Через некоторое время показалась колонна американцев человек в шестьдесят. Они шли медленно, вразвалку, еле волоча ноги. Их сопровождали шесть немцев, вооруженных автоматами. Они прошли в десяти шагах от Ноя. Он внимательно вглядывался в лица, на которых прочел смешанное чувство стыда и облегчения и то ли произвольное, то ли нарочитое выражение тупого безразличия. Пленные не смотрели ни друг на друга, ни на конвоиров, ни на окружающую природу. Окутанные сырой предрассветной дымкой, они медленно плелись в каком-то тупом раздумье, и негромкое, нестройное шарканье ботинок было единственным звуком, сопровождавшим их шествие. Пленным идти было значительно легче, чем конвоирам, так как у них не было ни винтовок, ни ранцев, ни снаряжения. Колонна прошла совсем рядом, и Ной не мог отделаться от какого-то странного чувства при виде шестидесяти американских солдат, шагающих в некоем подобии строя по дороге, засунув руки в карманы, безоружных, не обремененных никакой ношей.

Они прошли по дороге и исчезли из виду, звук их шагов постепенно замирал среди покрытых росой живых изгородей.

Ной повернулся и поглядел на своих товарищей. Приподняв головы, они все еще смотрели туда, где скрылись пленные. Лица Бернекера и Каули не выражали ничего, кроме какой-то неясной зачарованности и любопытства. Но у Райкера было какое-то странное выражение лица. Ной взглянул на него и тут же понял, что на лице Райкера, покрытом грязной щетиной, в его покрасневших и опухших глазах было то же смешанное выражение стыда и облегчения, которое он видел на лицах только что прошедших солдат.

— Я хочу вам что-то сказать, ребята,— сказал Райкер каким-то изменившимся, сильным голосом.— Мы действуем неправильно.— Он не смотрел ни на Ноя, ни на других; его взгляд был устремлен на дорогу.— Нам никогда не про-

рваться к своим, если мы будем держаться все вместе, вчетвером. Единственный выход — разделиться и пробираться поодиночке.— Он замолчал. Никто не проронил ни слова.

Райкер пристально смотрел на дорогу. В его ушах, в его памяти все еще звучало мерное шарканье ног пленных американцев.

— Надо же понимать,— хрипло сказал Райкер.— Четыре парня вместе — слишком уж большая мишень, а один всегда может хорошо спрятаться. Не знаю, как вы, а я пойду своей дорогой.— Райкер ждал какого-нибудь ответа, но все молчали. Они лежали на мокрой траве у самой изгороди, на их лицах было написано безразличие.

— Ну что ж, другого такого случая не будет,— проговорил Райкер. Он встал и после короткого колебания полез через изгородь. Все еще полусогнувшись, он остановился на обочине дороги, огромный, похожий на медведя. Его толстые, сильные руки с черными от грязи ладонями неуклюже свисали, доставая почти до колен. Затем он зашагал по дороге в ту сторону, куда ушли пленные.

Ной и остальные двое наблюдали за Райкером. По мере того как он удалялся, его фигура распрямлялась. Было в ней что-то необычное, но Ной никак не мог понять, что именно. Потом, когда Райкер был уже шагах в пятидесяти и зашагал быстро и энергично, Ной, наконец, понял, в чем дело. Райкер был без оружия. Ной посмотрел на то место, где только что лежал Райкер. Его винтовка валялась на траве, ствол был забит грязью.

Ной снова взглянул на Райкера. Большая неуклюжая фигура с каской на голове над широченными плечами двигалась теперь очень быстро, почти бегом. Когда он дошел до первого поворота дороги, его руки нерешительно поднялись вверх и застыли над головой. Так он и скрылся с глаз Ноя — бегущий рысцой с высоко поднятыми над головой руками.

— Одного солдата можно вычеркнуть,— сказал Бернекер. Он дотянулся до брошенной винтовки, машинально вынул из нее обойму, отвел назад затвор, достал из патронника патрон и положил его вместе с обоймой себе в карман.

Ной встал, за ним поднялся Бернекер. Каули колебался. Потом, тяжело вздохнув, он тоже поднялся.

Ной полез через изгородь и пересек дорогу. Двое других быстро последовали за ним.

Откуда-то издалека, со стороны побережья, был слышен непрекращающийся грохот орудий. «Во всяком случае,— подумал Ной, медленно и осторожно пробираясь вдоль изгороди,— во всяком случае, наша армия все еще во Франции».

Дом и прилегающий к нему коровник казались необитаемыми. Во дворе, задрав ноги, лежали две дохлые коровы, начинавшие уже раздуваться. Однако большое серое каменное здание, на которое они смотрели через край канавы, где лежали, выглядело мирным и безопасным.

Они уже совсем обессилели и шли как одурманенные, в каком-то тупом оцепенении, медленно передвигая ноги и то и дело припадая к земле. Ной был уверен, что, если бы сейчас потребовалось бежать, он не смог бы сделать ни шагу. Несколько раз они видели немцев, часто слышали их голоса, а однажды — Ной не сомневался в этом — два немца на мотоцикле заметили их как раз в тот момент, когда они бросились ничком на землю. Однако немцы только немного сбавили скорость, посмотрели в их сторону и продолжали путь. Трудно было понять, что именно — страх или высокомерное безразличие удержало немцев от того, чтобы преследовать их.

Каули двигался с трудом, он тяжело дышал, из его ноздрей с шумом вырывался воздух. Перелезая через изгородь, он дважды падал. Он тоже пытался бросить свою винтовку, и Ноею с Бернекером пришлось целых десять минут уговаривать его не делать этого. С полчаса Бернекер тащил винтовку Каули вместе со своей, пока тот не попросил ее обратно.

Надо было отдохнуть. Они не спали уже два дня и со вчерашнего дня ничего не ели, а коровник и дом выглядели такими надежными.

— Снимите каски и оставьте их здесь, — сказал Ной. — Станьте во весь рост и идите не спеша.

Чтобы достигнуть коровника, надо было пройти шагов семьдесят по открытому полю. Если идти непринужденно, то, пусть даже их и заметят, их могут принять за немцев. К тому времени уже стало обычным, что Ной принимал решения и отдавал приказания. Остальные беспрекословно подчинялись.

Они встали и с винтовками на ремень двинулись по направлению к коровнику, стараясь идти как можно непринужденнее. Атмосферу безмолвия и необитаемости, царившую вокруг зданий, подчеркивали доносившиеся издали звуки канонады. Дверь в коровник была открыта. Они прошли мимо начавших разлагаться трупов коров и вошли внутрь. Ной огляделся. Он заметил лестницу, которая вела сквозь пыльный мрак вверх, на сеновал.

— Полззли навверх, — сказал Ной.

Первым медленно полез Каули. За ним молча начал карабкаться Бернекер. Ной ухватился за перекладину лестницы и глубоко вздохнул. Потом посмотрел вверх. Он насчитал двенадцать перекладин. Ной покачал головой: это казалось ему непреодолимым препятствием. Но он все же полез, отдыхая на каждой перекладине. Лестница была рассохшаяся и старая, запах коровника становился все тяжелее, пыль все сгущалась по мере того, как он поднимался наверх. Ной чихнул и чуть не упал. На последней перекладине он долго отдышал, собираясь с силами, чтобы сделать последний бросок на чердак. Бернекер встал на колени и, подхватив его под мышки, с силой подтянул кверху. Ной, наконец, взобрался на сеновал и повалился на пол, благодарный Бернекеру и удивленный его силой. Он сел, потом подполз к маленькому окошку в дальней стороне чердака и выглянул наружу. Ярдах в пятистах заметно было какое-то оживление: двигались грузовики, шныряли маленькие фигурки. Впрочем, сверху все это выглядело таким далеким и совсем не опасным.

В полумиле виднелось зарево пожара: медленно догорал крестьянский дом, но и это казалось обыденным и не имеющим значения. Ной отвернулся от окна и замигал глазами. Бернекер и Каули вопросительно смотрели на него.

— Вот мы и нашли себе дом,— сказал Ной. Он глупо, заулыбался, считая, что сказал что-то умное и ободряющее.— Не знаю, как вы, а я думаю вздремнуть.

Ной осторожно положил винтовку и растянулся на полу. Он закрыл глаза, прислушиваясь, как устраиваются Каули и Бернекер. Он заснул, но через десять секунд проснулся, почувствовав, что солома щекочет ему шею. Ной дернул головой, как будто разучился управлять своим телом. Где-то поблизости упали два снаряда, и ему пришла в голову неприятная мысль, что одному из них надо сторожить, пока спят другие. Он решил, что надо немедленно обсудить это с Каули и Бернекером, но тут же снова заснул.

Когда он проснулся, было почти темно. Странный тяжелый грохот наполнял коровник, сотрясая стены и пол. Ной долго лежал не шевелясь. Какое наслаждение растянуться на ворохе соломы, вдыхая сухой аромат старых злаков и запах дохлой скотины, не двигаться, не думать, не стремиться узнать причину шума, не беспокоиться о том, что ты голоден и страдаешь от жажды, что находишься далеко от дома. Он осмотрелся. Бернекер и Каули все еще спали. Каули громко храпел, Бернекер спал тихо. В сумеречном свете сеновала его лицо казалось детским, черты его смяг-

чились. Ной поймал себя на том, что с нежной улыбкой смотрит на спокойно и безмятежно спящего Бернекера. Потом он вспомнил, где они находятся, и шум снаружи окончательно привел его в себя. Мимо их убежища двигались тяжелые грузовики, множество лошадей тащили поскрипывающие повозки.

Ной медленно сел. Он подполз к окну и выглянул. Мимо шли немецкие грузовики, в кузовах безмолвно сидели солдаты. Они направлялись через пролом в изгороди на соседнее поле, где другие машины и повозки грузились снарядами. Ной понял, что перед ним большой склад боеприпасов и что сейчас, в сгущающихся сумерках, когда не угрожает опасность налета авиации, немецкие артиллерийские части подвозят боеприпасы для завтрашнего боя. Сощурившись, чтобы лучше видеть сквозь дымку в наступающей темноте, он наблюдал, как солдаты поспешно и молчаливо таскают длинные, похожие на корзины с провизией для пикника, плетенки с 88-миллиметровыми снарядами и грузят их на машины и повозки. Было странно видеть такое скопление лошадей: они казались пришельцами из прежних войн. Эти большие, грузные, терпеливые животные и люди, стоящие рядом, держа их за поводья, выглядели старомодными и неопасными.

«Да-а,— невольно подумал Ной,— там, в дивизионной артиллерии дорого бы дали, чтобы узнать об этом складе». Он пошарил в карманах и нашел огрызок карандаша. Последний раз он писал им на десантном судне письмо Хоуп... Сколько дней назад это было? Тогда ему казалось, что он нашел отличный способ забыть, где он находится, забыть о снарядах, искавших его в волнах океана. Но он так и не закончил письма. «Моя дорогая, я думаю о тебе все время... (Обычные, банальные слова: казалось бы, в такие минуты надо писать о чем-то более важном, о чем-нибудь, ранее скрытом в тайниках души.) Очень скоро мы пойдем в бой, правда, и сейчас мы уже, можно сказать, в бою, хотя и трудно поверить, что во время боя можно сидеть вот так и писать письмо жене...» Он не закончил тогда письма: рука начала прыгать, и пришлось отложить в сторону и карандаш и письмо. Он обшарил все карманы, но письма так и не нашел. Тогда он достал бумажник и вытащил из него фотографию Хоуп с малышом. На обратной стороне фотокарточки рукой Хоуп были написаны слова: «Несчастливая мать и беззаботное дитя».

Ной снова выглянул в окно. Примерно в полумиле от артиллерийского склада, в створе с ним, виднелся шпиль церкви. Ной тщательно нанес на обратную сторону карточки

церковь и отметил расстояние. Ярдах в пятистах к западу виднелось четыре домика — их он тоже нанес на схему и критически посмотрел на нее. «Сойдет», — подумал он. Если ему удастся когда-нибудь добраться до своих, она пригодится. Он взглянул на солдат, аккуратно складывавших плетенки под прикрытием деревьев примерно в восьмистах ярдах от церкви и в пятистах ярдах от четырех домиков. По другую сторону поля, где находился склад, проходила асфальтированная дорога, которую он тоже нанес на схему, тщательно отметив все ее изгибы. Потом сунул фотографию обратно в бумажник. Он с новым интересом обозревал местность. Некоторые повозки и грузовики свернули на проселочную дорогу, которая пересекала шоссе ярдах в шестистах от места, где он находился, потом они скрылись из виду за небольшой рощицей, но по другую сторону ее больше не появлялись. «В этой рощице должна быть батарея», — подумал Ной. — Позднее можно будет пойти и проверить самому. Это тоже может представить интерес для дивизии».

Теперь он почувствовал нетерпение и жажду деятельности. Было невыносимо сидеть здесь, держа все эти сведения в кармане, и знать, что, может быть, в каких-нибудь пяти милях отсюда дивизионные пушки бьют вслепую по пустому полю. Он отошел от окна, приблизился к спящим товарищам и наклонился было, чтобы разбудить Бернекера, но передумал. Пусть отдохнут еще минут пятнадцать, пока совсем стемнеет и можно будет выбраться из коровника.

Ной вернулся к окну. Как раз под ним проезжала тяжело груженная повозка. Солдат медленно вел под уздцы лошадей, усердно мотавших головами. Два других солдата шли по бокам поскрипывающей повозки; они были похожи на крестьян, возвращающихся с поля после трудового дня. Они шли, не поднимая головы, в раздумье уставившись в землю, прямо перед собой. Один солдат опирался рукой о край повозки.

Повозка проскрипела по направлению к складу. Ной тряхнул головой, отошел от окна и разбудил Бернекера и Каули.

Они находились на берегу канала. Канал был не очень широким, но трудно было определить, насколько он глубок, а маслянистая поверхность воды зловеще блестела в лунном свете. Они лежали шагах в десяти от берега за низкими кустиками, с опаской поглядывая на покрытую мелкой рябью воду. Было время отлива, и противоположный берег канала темной массой возвышался над поверх-

ностью воды. Насколько можно было судить, ночь была на исходе, и скоро должен был наступить рассвет.

Каули все время ворчал, когда Ной вел их мимо замаскированной батареи, но не отставал от товарищей.

— Черт побери,— раздраженно шептал он,— нашли время гоняться за медалями.— Но Бернекер поддержал Ноя, и Каули пришлось покориться.

Однако сейчас, когда они лежали в мокрой траве, глядя на неподвижную полоску воды, Каули неожиданно заявил:

— Это не для меня. Я не умею плавать.

— Я тоже не умею плавать,— сказал Бернекер.

Откуда-то с другой стороны канала застрочил пулемет, и несколько трассирующих пуль пролетело над их головами.

Ной вздохнул и закрыл глаза. Ведь это был американский пулемет, потому что он стрелял по ним, значит, в сторону противника. Он был так близко, их разделяло каких-нибудь двадцать ярдов воды, не больше, и они не могли переплыть... Его жгла спрятанная в бумажнике фотография, на обратной стороне которой, поверх надписи Хоуп, была нарисована схема с аккуратно помеченным складом боеприпасов, батареей и небольшим танковым резервом, мимо которого они прошли. Двадцать ярдов воды! Сколько времени он пробирался к своим, каких это стоило трудов! Если он не переправится через канал сейчас, то к своим ему уже никогда не попасть. Можно разорвать фотографию и сдать в плен.

— Может быть, здесь не очень глубоко,— сказал Ной.— Вода-то ведь спала.

— Я не умею плавать,— повторил Каули упрямым и испуганным голосом.

— Ну, а ты, Бернекер? — сказал Ной.

— Я попробую,— медленно произнес Бернекер.

— Каули, а ты?..

— Я утону,— прошептал Каули.— Перед вторжением во Францию мне приснился сон, что я утонул.

— Я буду тебя поддерживать,— сказал Ной.— Я умею плавать.

— Я утонул,— твердил Каули.— Я ушел под воду и утонул.

— Наши ведь совсем рядом, по ту сторону канала,— уговаривал его Ной.

— Нас застрелят,— сказал Каули.— Никто не станет задавать вопросов, ни свои, ни чужие. Нас увидят в воде и откроют огонь. Да к тому же я все равно не умею плавать.

Ною хотелось кричать. Ему хотелось уйти от Каули, уйти

от Бернекера, от блестящего в свете луны канала, уйти от шальных пуль и закричать что есть силы.

Пулемет заработал снова. Все трое наблюдали за пролетающими над головами трассирующими пулями.

— Этот сукин сын нервничает,— сказал Каули.— Такой не будет задавать вопросов.

— Раздевайтесь,— сказал Ной спокойным голосом.— Снимайте все на случай, если там глубоко.— Он начал расшнуровывать ботинки. По шороху справа он понял, что Бернекер тоже начал раздеваться.

— Я не буду раздеваться,— сказал Каули.— С меня хватит.

— Каули...— начал было Ной.

— Я с тобой больше не разговариваю. Достаточно я тебя наслушался. Я не знаю, черт возьми, что вы думаете делать, но мне с вами не по пути.— В голосе Каули зазвучали истерические нотки.— Еще там, во Флориде, я считал тебя сумасшедшим, а сейчас, я думаю, ты еще больше сумасшедший, чем тогда. Я же сказал, что не умею плавать, я не умею плавать...— Он уже почти кричал.

— Тихо ты,— резко прикрикнул Ной. Он готов был пристрелить Каули, если бы можно было сделать это без шума.

Каули замолчал. Ной слышал, как он тяжело дышит в темноте.

Ной раздевался не спеша. Он снял краги, ботинки, куртку и штаны, длинные шерстяные кальсоны, стянул сорочку и шерстяную нательную рубашку с длинными рукавами. Потом снова надел сорочку и аккуратно застегнул ее, так как в ней находился бумажник со схемой.

Холодный ночной воздух охватил его голые ноги. Он начал сильно дрожать.

— Каули,— прошептал он.

— Убирайся к черту,— огрызнулся тот в ответ.

— Я готов,— сказал Бернекер ровным, бесстрастным голосом.

Ной поднялся и начал спускаться вниз к каналу. Позади себя он слышал осторожные шаги Бернекера. Трава под босыми ногами казалась очень холодной и скользкой. Он пригнулся и пошел быстрее. Дойдя до берега, он не стал дожидаться Бернекера, а сразу же вошел в воду, стараясь производить как можно меньше шума. Но, входя в воду, он поскользнулся, голова его сразу ушла под воду и он порядком наглотался. Плотная, соленая вода попала в нос, он задыхался, болела голова. Ной отчаянно барахтался, пытаясь встать на ноги, и, когда, наконец, ему это удалось, оказалось, что голова его остается над водой. У берега,

во всяком случае, глубина была не более пяти футов.

Он посмотрел вверх и увидел бледное пятно — лицо Бернекера, глядевшего на него. Затем Бернекер соскользнул в воду рядом с Ноем.

— Держись за мое плечо,— сказал Ной и тут же почувствовал через мокрую ткань рубашки, как пальцы Бернекера судорожно вцепились ему в плечо.

Они медленно двинулись по дну. Оно было вязким, и Ной ужасно боялся водяных змей. Под ноги то и дело падались раковины, и Ной еле удержался, чтобы не вскрикнуть от боли, когда порезал палец об острый край. Они упорно шли вперед, ощупывая ногами каждую ямку, каждое углубление. Вода доходила Ною до плеч, и он уже чувствовал слабое течение морского прилива.

Снова застрочил пулемет, и они остановились. Однако пули пролетали высоко над головами и значительно правее: вероятно, пулеметчик стрелял наобум, просто в сторону немцев. Шаг за шагом они приближались к другому берегу канала. Ной надеялся, что Каули следит за ними и видит, что можно пройти по дну, что ему не придется плыть... Потом стало глубже. Ной почти совсем ушел под воду, но у Бернекера, который был на голову выше Ноя, рот и нос были пока еще над водой, и он помогал Ною, крепко держа его под мышки. Противоположный берег становился все ближе и ближе. Уже можно было чувствовать горьковатый запах соли и гниющих моллюсков — совсем как на рыболовецкой пристани в далекой Америке. Осторожно продвигаясь вперед, поддерживая друг друга, они высматривали на берегу место, где бы можно было быстро и бесшумно вылезти из воды. Берег был крутой и скользкий.

— Не здесь,— прошептал Ной,— не здесь.

Добравшись до берега, они остановились и прислонились к нему, чтобы немного передохнуть.

— Черт бы побрал этого сукина сына Каули,— выругался Бернекер.

Ной кивнул, однако в этот момент он не думал о Каули. Поворачивая голову вправо и влево, он оглядывал берег. Прилив становился все сильнее, у плеч журчала вода. Ной тронул рукой Бернекера, и они осторожно двинулись вдоль берега, по направлению прилива. Приступы озноба становились все сильнее и сильнее. Ной попытался стиснуть зубы, чтобы унять дрожь.

— Июнь,— тупо повторял он про себя,— июньские купанья на французском побережье при свете луны, в июне при лунном свете...— Никогда в жизни ему не было так холодно. Берег был крутой и скользкий от покрывавших

его морских водорослей и слизи, и казалось, им до рассвета не найти подходящего места, где бы можно было выбраться из воды. У Ноя вдруг мелькнула мысль снять руку с плеча Бернекера, доплыть до середины канала и утонуть там тихо и мирно, раз и навсегда...

— Здесь,— прошептал Бернекер.

Ной взглянул вверх. Берег в этом месте обвалился. Неровные выступы заросли травой, из темной глины торчали закругленные камни. Но все же кое-где можно было поставить ногу.

Бернекер нагнулся и подставил свои руки так, чтобы Ной мог встать на них. С громким шумом и плеском Ной удалось с помощью Бернекера взобраться на берег. Он на секунду прилег на берегу, весь дрожа и с трудом переводя дыхание, потом быстро повернулся и в свою очередь помог Бернекеру выбраться на берег. Где-то совсем рядом застрочил ручной пулемет; пули просвистели мимо. Они побежали, отступаясь и скользя босыми ногами, навстречу полоске кустов, видневшихся шагах в сорока перед ними. Открыли огонь еще несколько автоматов, и Ной стал кричать: «Остановитесь! Прекратите огонь! Мы американцы. Из третьей роты! — кричал он.— Из третьей роты!»

Они добежали до кустов и залегли под их прикрытием. Теперь и немцы открыли огонь с другой стороны канала. Вспышки следовали одна за другой; Ной с Бернекером, казалось, были забыты в этой, ими же вызванной перестрелке.

Через пять минут огонь внезапно прекратился.

— Я буду кричать,— прошептал Ной.— Лежи тихо.

— Хорошо,— шепотом ответил Бернекер.

— Не стреляйте,— крикнул Ной, не очень громко, стараясь, чтобы его голос не дрожал.— Не стреляйте. Здесь нас двое. Мы американцы. Из третьей роты. Третья рота. Не стреляйте!

Он затих. Они лежали, крепко прижавшись к земле, дрожа и прислушиваясь.

Наконец послышался голос.

— Эй, вы, вылезайте оттуда.— Произношение кричавшего выдавало в нем уроженца Джорджии.— Поднимите руки вверх и идите сюда. Шагайте быстро и не делайте резких движений...

Ной тронул Бернекера. Они встали, подняли руки и двинулись по направлению голоса, звучавшего из глубины штата Джорджия.

— Господи Иисусе! — послышался удивленный голос.— Да на них не больше одежды, чем на оципанной утке.

Теперь Ной знал, что они спасены.

Из окопа показалась фигура человека с направленным на них ружьем.

— Подойди сюда, солдат,— сказал человек.

Ной и Бернекер пошли, держа руки над головой, на встречу выросшему из-под земли солдату и остановились в пяти шагах от него.

В окопе сидел еще один солдат; не вставая, он направил на них дуло своей винтовки.

— Что тут, черт побери, происходит? — подозрительно спросил он.

— Нас отрезали,— ответил Ной.— Мы из третьей роты. Вот уже три дня пробираемся к своим. Можно нам опустить руки?

— Проверь-ка их личные знаки, Вернон,— сказал солдат из окопа.

Солдат, говоривший с южным акцентом, осторожно опустил винтовку.

— Стойте на месте и бросьте мне свои личные знаки.

Сначала Ной, а потом и Бернекер бросили свои личные знаки, с легким звоном упавшие на землю.

— Давай-ка их сюда, Вернон,— сказал солдат, сидевший в окопе.— Я сам посмотрю.

— Ты ничего не увидишь,— отозвался Вернон.— У тебя там темно, как у мула в...

— Давай их сюда,— повторил солдат, протягивая из окопа руку. Потом что-то щелкнуло: солдат нагнулся и зажег зажигалку, тщательно заслонив ее рукой, так что Ной совсем не было видно света.

Ветер усиливался, и мокрая рубашка хлестала по озябшему телу. Ной обхватил себя руками, чтобы как-то согреться. Солдат в окопе невероятно долго возился с личными знаками. Наконец он поднял голову и взглянул на них.

— Фамилия? — спросил он, указывая на Ноя.

Ной назвал свою фамилию.

— Личный номер?

Ной быстро назвал свой личный номер, стараясь не запинаться, хотя челюсти плохо повиновались ему.

— А что это за «И» стоит здесь на номере? — подозрительно спросил солдат.

— Иудей,— ответил Ной.

— Иудей? — спросил солдат из Джорджии.— А что это такое, черт возьми?

— Еврей,— ответил Ной.

— А почему же так прямо и не пишут? — обиженно спросил солдат.

— Послушайте,— сказал Ной,— вы что, собираетесь

продержат нас здесь до конца войны? Мы же замерзаем.

— Ну идите сюда,— смиростивился солдат.— Будьте как дома. Минут через пятнадцать рассветет, и я вас отправлю на ротный командный пункт. Тут позади есть траншея, можете там укрыться.

Ной и Бернекер прошли мимо окопа. Солдат бросил им личные знаки и с любопытством посмотрел на них.

— Ну, как там было? — спросил он.

— Великолепно,— ответил Ной.

— Веселее, чем на дамской вечеринке,— добавил Бернекер.

— Да, уж надо думать,— сказал солдат из Джорджии.

— Послушай,— обратился Ной к Бернекеру, — возьми-ка вот это.— Он передал Бернекеру свой бумажник.— На обратной стороне фотографии моей жены — схема. Если я не вернусь через пятнадцать минут, позаботься, чтобы она попала к начальнику разведки.

— А ты куда? — спросил Бернекер.

— Пойду за Каули.— Ной сам удивился, услышав свои слова. До сих пор у него не было и мысли об этом. За последние три дня он привык как-то автоматически принимать решения, беря на себя ответственность за всех остальных, и сейчас, когда он сам был уже в безопасности, он мысленно представил себе Каули, притаившегося под кустом по ту сторону канала, оставленного ими, потому что он боялся, что канал слишком глубокий.

— А где он, этот Каули? — спросил солдат из Джорджии.

— На другой стороне канала,— ответил Бернекер.

— Ты, наверное, здорово любишь этого мистера Каули,— сказал солдат, взглядываясь сквозь серую ночь в противоположный берег.

— Без ума от него,— сказал Ной. Ему хотелось, чтобы другие не пустили его, но никто не сказал ни слова.

— Сколько, ты думаешь, тебе понадобится времени? — спросил солдат из окопа.

— Минут пятнадцать.

— Вот выпей. Это придаст тебе на пятнадцать минут храбрости.— Солдат протянул Ною бутылку. Дно ее было испачкано холодной, липкой грязью, в которой всю ночь простояли солдаты. Ной вытащил пробку и сделал большой глоток. На глазах у него выступили слезы, горло и грудь нестерпимо жгло, а желудок горел так, как будто туда вставили электрическую грелку.

— Что это за чертовщина? — спросил он, отдавая назад бутылку.

— Местный напиток,— ответил солдат из окопа.— Яблочная водка, я думаю. Хорошо отхлебнуть перед тем, как полезешь в воду.— Он передал бутылку Бернекеру, который стал медленно и осторожно пить.

Бернекер, наконец, поставил бутылку.

— Знаешь что,— обратился он к Ною,— ты вовсе не должен идти за Каули. У него была такая же возможность, как и у нас. Ты ничем не обязан этому сукину сыну. Я бы не пошел. Если бы я считал, что за ним стоит идти, я бы пошел с тобой. Но он не стоит этого, Ной.

— Если я не вернусь через пятнадцать минут,— сказал Ной, восхищаясь тем, с каким спокойствием, логикой и хладнокровием работает мозг Бернекера,— позаботься о том, чтобы схема попала в разведывательное отделение.

— Будь спокоен,— ответил Бернекер.

— Я пойду по линии,— сказал солдат из Джорджии,— и скажу этим воякам, чтобы они не стреляли, если увидят тебя.

— Спасибо,— сказал Ной и пошел обратно, к каналу; подол мокрой рубашки бил его по голым бедрам, выпитая водка уже начинала действовать. На самом берегу канала он остановился. Прилив стал сильнее, и холодная вода бурлила у берега. Если он повернет сейчас назад, то через полчаса будет на командном пункте, а может быть в госпитале, на койке под теплым одеялом, ему дадут выпить чего-нибудь горячего, ничего не надо будет делать, только спать, спать целыми днями, целыми месяцами... Он сделал все, что мог, и даже больше, и никто не может обвинить его в каком-нибудь упущении. Он перебрался через канал и перетащил с собой Бернекера, он сделал схему, он не сдался, когда это было так легко сделать, он не упустил ни малейшей возможности. В конце концов, все, чего требовал от них лейтенант Грин,— это добраться до своих любимым способом. И даже, если он найдет Каули, тот может снова отказаться переправиться через канал, а ведь канал стал сейчас глубже, потому что прилив все усиливается...

Ной медлил, встав на колени и глядя в проплывавший мимо поток. Потом решительно вошел в воду.

Он забыл, что вода такая холодная. Она, казалось, вдавливала грудь. Глубоко вздохнув, он быстро двинулся вперед, иногда теряя под ногами почву, к противоположному берегу. Он достиг другого берега и пошел вдоль него, против течения, стараясь припомнить, как далеко они прошли с Бернекером по воде и как выглядело то место на берегу, откуда они прыгнули в воду. Он медленно продвигался вперед, чувствуя, как холодная вода обжигает ему грудь, вре-

менами останавливаясь и прислушиваясь. Где-то далеко в небе был слышен шум одинокого мотора и отрывочные выстрелы зениток, преследующих последний немецкий самолет, пересекающий перед рассветом линию фронта. Но поблизости все было тихо.

Ной добрался до места, которое показалось ему знакомым, и стал медленно, с трудом взбираться на берег. Он направился прямо к маячившему в темноте кустарнику. Остановившись в пяти футах от кустов, он прошептал:

— Каули, Каули.

Ответа не последовало. Однако Ной был уверен, что находится именно там, где они оставили Каули. Он пополз ближе.

— Каули,— позвал он громче.— Каули...

В кустах послышался какой-то шорох.

— Оставь меня в покое,— сказал Каули.

Ной пополз на его голос. Наконец на фоне темной листвы он увидел неясное очертание головы Каули.

— Я пришел за тобой,— прошептал Ной.— Пошли.

— Оставь меня в покое,— повторил Каули.

— Там неглубоко,— сказал Ной, теряя терпение.— Там же совсем неглубоко, черт тебя подери. Тебе не придется плыть.

— Ты обманываешь меня?

— Бернекер уже там. Ну, пошли же. Они ждут нас. Все посты предупреждены и следят за нами. Пошли, пока не рассвело.

— Ты уверен? — В голосе Каули слышалось подозрение.

— Уверен.

— Пошли вы ко всем чертям,— сказал Каули,— я не пойду.

Не сказав больше ни слова, Ной направился обратно к берегу. Через некоторое время он услышал за собой какой-то шорох и понял, что Каули идет вслед за ним. У самого канала Каули чуть было снова не изменил своего решения. Ной не стал его уговаривать, а просто соскользнул в воду. На этот раз вода показалась совсем не холодной. «Наверно, я уже перестал чувствовать»,— подумал он. Каули с плеском свалился в воду. Ной схватил его, чтобы он не барахтался. Через тяжелую намокшую одежду, он почувствовал, как сильно дрожит Каули.

— Держись за меня и не шуми,— сказал Ной.

Они двинулись через канал. На этот раз переправляться было проще. Все было знакомым и привычным, и Ной быстро, даже почти беспечно, двигался к противоположному берегу.

— Ой, мама, мамочка,— все время причитал дрожащим, взволнованным голосом Каули.— Ой, мама, мама, мама.— Впрочем, он не отставал от Ноя и даже на глубоких местах продолжал уверенно идти вперед. Когда они достигли противоположного берега, Ной не остановился. Он повернул и, идя вдоль берега, начал искать тот обвалившийся участок, где они выбирались с Бернекером.

Он отыскал это место гораздо быстрее, чем ожидал.

— Здесь,— сказал он, поворачиваясь к Каули.— Давай-ка я помогу тебе взобраться.

— Мама,— простонал Каули,— ой, мамочка.

Подталкивая и подсаживая Каули, Ной помог ему взобраться на берег. Каули был тяжелым и неуклюжим. Он задел какой-то камень, который с громким всплеском упал в воду. Наконец Каули подтянулся и одним коленом встал на край крутого берега, пытаясь поставить и другую ногу. И в это мгновение раздалась короткая очередь.

Каули как безумный встал во весь рост и начал размахивать руками. Он подался было вперед, но закружился и упал назад. Его ботинок сильно ударил Ноя по голове. Каули успел лишь один раз вскрикнуть. Он шлепнулся в воду и больше уже не вынырнул. Ной стоял у берега, тупо глядя на место, где скрылся Каули. Он сделал шаг в том же направлении, но ничего не мог увидеть. Он почувствовал, как у него начали дрожать колени, и, шатаясь, пошел к берегу. Потом медленно, в каком-то оцепенении выбрался наверх. «Ему снилось, что он утонул»,— тупо подумал Ной.

Когда он взобрался наверх, его било как в лихорадке. Он продолжал дрожать и тогда, когда Бернекер и солдат из Джорджии подхватили его под руки и побежали с ним прочь от канала.

Полчаса спустя облаченный в форму на три номера больше его размера, снятую с какого-то убитого, Ной предстал перед начальником разведывательного отделения дивизии. Это был седой, тучный, низкого роста подполковник. Его лицо и седая борода были вымазаны какой-то багровой краской, при помощи которой он пытался избавиться от прыщей, без отрыва от исполнения своих служебных обязанностей.

Дивизионный командный пункт находился в защищенном мешками с песком сарае, на грязном полу которого спали солдаты. Еще не совсем рассвело, и начальнику разведки пришлось рассматривать начерченную Ноем схему при свете свечи, так как все генераторы и прочее электрооборудование штаба утонуло при высадке на побережье.

Полусонный Бернекер стоял рядом с Ноем, его глаза слипались.

— Хорошо,— говорил полковник, кивая головой,— хорошо, очень хорошо.— Но Ной едва мог припомнить, о чем говорил этот человек. Он знал только, что ему было очень грустно, но почему, вспомнить было трудно.

— Очень хорошо, ребята,— любезно сказал человек с багровым лицом. Казалось, он улыбался им.— Помимо всего прочего... вы получите за это медали. Я сейчас же передам эту схему в штаб корпусной артиллерии. Заходите сегодня после обеда, и я скажу вам, что из этого вышло.

Ной был как в тумане и все силился понять, почему у этого человека такое багровое лицо и о чем он, собственно, говорит.

— Я бы хотел получить назад фотографию,— произнес он.— Это моя жена и сын.

— Конечно, конечно,— подполковник еще шире заулыбался, показав старые желтые зубы над седой в багровых пятнах бородой.— Ты сможешь получить ее обратно, когда зайдешь после обеда. Третья рота переформируется. Считаю вас двоих, в роте осталось около сорока человек.— Ивенс,— приказал он солдату, который дремал, прислонившись к стене сарая, — проводи-ка их в третью роту. Не пугайтесь,— сказал он, улыбнувшись Ною,— это не далеко, на соседнем поле.— Он снова склонился над схемой, покачивая головой и повторяя: — Хорошо, очень хорошо.— Ивенс вывел их из сарая и повел сквозь утреннюю дымку на соседнее поле.

Первым человеком, которого они встретили, был лейтенант Грин, который, едва взглянув на них, сказал:

— Там есть одеяла. Завернитесь в них и ложитесь спать. Я поговорю с вами потом.

По пути они увидели Шилдса, ротного писаря. Он уже успел устроить себе маленький письменный стол, приспособив для этого два пустых ящика из-под продуктов, которые примостил в канаве под деревьями, на краю поля.

— Эй, вы,— крикнул Шилдс,— тут у меня есть почта для вас. Первая весточка. Я чуть было не отослал ее обратно. Я думал, вы пропали без вести.

Он порылся в вещевом мешке и вытащил несколько конвертов. Среди них был коричневый конверт из оберточной бумаги для Ноя, подписанный рукой Хоуп. Ной спрятал его в карман своей рубашки, снятой с убитого, потом взял три одеяла. Вместе с Бернекером они не спеша выбрали место под деревом и расстелили одеяла. Тяжело опустившись на землю, они стащили с ног выданные им ботинки. Ной вскрыл конверт. Оттуда выпал маленький журнальчик.

Не обратив на него внимания, он принялся читать письмо Хоуп.

«Мой любимый,— писала она.— Я должна сразу объяснить, почему я посылаю тебе этот журнал. Те стихи, которые ты написал в Англии и послал мне, показались мне такими прекрасными, что я не могла держать их только для себя и взяла на себя смелость послать их...»

Ной взял журнал. На обложке он увидел свое имя. Он раскрыл журнал и стал перелистывать страницы. Потом снова увидел свое имя и под ним четкие, мелкие строчки стихов.

«Страшись сердечного волнения,— читал он,— сердца не терпят злых разлук...»

— Эй,— позвал он,— послушай-ка, Бернекер.

— Что? — Бернекер попытался было прочитать свои письма, но бросил и, лежа на спине под одеялами, бездумно глядел в небо.— Чего тебе?

— Знаешь что, Бернекер,— сказал Ной,— ведь мои стихи напечатали в журнале. Хочешь прочитать?

После долгой паузы Бернекер приподнялся и сел.

— Конечно,— сказал он,— давай его сюда.

Ной передал журнал Бернекеру, перегнув его на той странице, где были напечатаны его стихи. Он внимательно следил за лицом своего друга, пока тот читал. Бернекер читал медленно, беззвучно шевеля губами. Раз или два его глаза закрывались, и голова начинала мерно покачиваться, но он все-таки дочитал до конца.

— Здорово,— похвалил Бернекер. Он отдал журнал Ною, сидевшему рядом на одеяле.

— Честно? — спросил Ной.

— Чудесные стихи,— серьезно подтвердил Бернекер и кивнул головой в подтверждение своих слов. Потом снова улегся.

Ной взглянул на свое имя, напечатанное в журнале, но все остальное было набрано слишком мелким для его утомленных глаз шрифтом. Он убрал журнал в карман рубашки и забрался под теплые одеяла.

Перед тем как закрыть глаза, Ной увидел Рикетта. Рикетт стоял над ним, он был чисто выбрит, и на нем была новая форма.

— О господи,— донесся откуда-то сверху голос Рикетта,— этот еврей все еще с нами.

Ной закрыл глаза. Он знал, что только что сказанное Рикеттом будет иметь большое значение в его жизни, но сейчас у него было единственное желание — уснуть.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

На обочине дороги стоял щит с надписью: «Следующая тысяча ярдов просматривается противником и обстреливается артиллерийским огнем. Держите интервал в семьдесят пять ярдов».

Майкл искоса посмотрел на полковника Пейвона. Но Пейвон, сидевший на переднем сиденье джипа, был занят чтением какого-то обернутого в газету детективного романа, который он добыл еще в Англии, в районе сосредоточения, когда они ждали переправы через Ла-Манш. Кроме Пейвона, Майкл никогда не встречал человека, который мог бы читать в машине на ходу.

Майкл нажал на акселератор, и джип стремительно понесся по пустой дороге. По правую руку был виден разбитый бомбами аэродром, где валялись остовы сожженных немецких самолетов. Далеко впереди виднелась полоса дыма, нависшая над пшеничными полями в сверкающем летнем послеполуденном воздухе. Джип, прыгая по ухабистой, покрытой щебнем дороге, мчался под защиту группы деревьев. Он преодолел небольшой подъем — и опасная тысяча ярдов осталась позади.

Майкл вздохнул про себя и поехал тише. Со стороны города Кана, занятого накануне англичанами, время от времени доносилось громкое уханье тяжелых орудий. Что, собственно, собирался делать полковник Пейвон в этом городе, Майкл не знал. Будучи кочующим офицером управления гражданской администрации, Пейвон по роду своей службы имел право разъезжать по всему фронту и вместе с Майклом исколесил всю Нормандию. Он был похож на добродушного туриста, который с любопытством осматривает все, что попадаетея по дороге, если только в это время не занят чтением, повсюду приветливо кивает головой солдатам, ведущим бой, бегло разговаривает на парижском диалекте с местными жителями и делает иногда какие-то пометки на клочках бумаги. По вечерам Пейвон обычно удалялся в прочное, глубокое убежище около Карантана, сам отстукивал на машинке свои донесения и куда-то их отсылал; впрочем, Майкл их никогда не видел, да и не знал точно, куда они отправлялись.

— До чего паскудная книга,— сказал Пейвон и закинул ее в задний угол джипа.— Только идиот может читать детективные романы,— добавил он, оглядевшись с веселой шутовской усмешкой.— Мы уже близко?

Батарея, скрытая за группой крестьянских домов, открыла огонь. Грохот раздался так близко, что даже за-

дрожило ветровое стекло, и Майкл опять почувствовал какую-то щекочущую дрожь на самом дне желудка, которая появлялась у него всякий раз, когда рядом раздавался орудинный выстрел.

— Совсем близко,— мрачно ответил Майкл.

Пейвон усмехнулся.

— Первые сто ранений бывают самыми тяжелыми,— сказал он.

«Вот сволочь,— подумал Майкл,— в один прекрасный день он меня погубит».

Навстречу, жестоко подпрыгивая на ухабах, промчалась в тыл тяжело нагруженная английская санитарная машина. Майкл подумал о раненых, которые, задыхаясь, перекатывались на носилках.

На обочине дороги стоял сожженный английский танк, закопченный, с зияющими люками, из которых веяло трупным запахом. От каждого вновь захваченного города, который на картах и в передачах Би-би-си олицетворял собою очередную победу, веяло одним и тем же сладковатым запахом гниения, никак не вязавшимся с представлением о победе. Сидя за рулем машины, шурясь сквозь запыленные шоферские очки и чувствуя, как обгорает под палящим солнцем нос, Майкл ощущал неясное желание снова оказаться в рабочем батальоне в Англии.

Они взобрались на вершину холма. Перед ним лежал город Кан. Англичане целый месяц бились за этот город, и теперь, глядя на него, становилось непонятно, зачем они так старались. Стены сохранились, но домов почти не осталось. Каменные дома, вплотную прижавшиеся друг к другу, квартал за кварталом, подвергались полному разрушению, и насколько мог охватить глаз, всюду была одна и та же картина. «Tigre à la mode de Caen»¹ — это название Майкл помнил по меню французских ресторанов в Нью-Йорке, а Канский университет — из курса истории средних веков. А теперь из перевернутой вверх дном университетской библиотеки вели огонь английские тяжелые минометы, а в тех кухнях, где в былое время с таким искусством приготавливали tigre, припали к пулеметам канадские солдаты.

Они уже были на окраине города и ехали по извилистым вымощенным булыжником улицам. Пейвон сделал Майклу знак остановиться. Майкл подъехал к массивной каменной монастырской стене, тянувшейся вдоль придорожной канавы. В канаве сидели несколько канадцев, ко-

¹ Рубец по-кански (франц.).

торые с любопытством разглядывали подъехавших американцев.

«Нам бы следовало носить английские каски,— опасно подумал Майкл.— Ведь англичане из-за этих дурацких касок могут принять нас за немцев. Сначала они подстрелят нас, а потом уж будут проверять документы».

— Ну, как дела? — выйдя из машины, спросил Пейвон у солдат, сидевших на краю канавы.

— Хуже некуда,— ответил один из канадцев, маленький, смуглый, похожий на итальянца солдат. Он стоял в канаве и улыбался.

— Вы едете в город, полковник?

— Может быть.

— Здесь повсюду снайперы,— сказал канадец. Послышался свист летящего снаряда, и канадцы снова нырнули в канаву. Поскольку Майкл все равно не успел бы выскочить из джипа, он лишь пригнулся и закрыл лицо руками. Но взрыва не последовало. «Неразрыв,— механически отметил Майкл,— привет от отважных рабочих Варшавы и Праги, которые заполняют корпуса снарядов песком и вкладывают в них героические записки: «Привет от антифашистов — рабочих военных заводов Шкода». А может быть, это просто романтическая история, почерпнутая со страниц газет и из сводок бюро военной информации, и снаряд взорвется часов через шесть, когда все о нем забудут?»

— И вот так каждые три минуты,— с досадой произнес канадец, поднимаясь со дна канавы.— Мы здесь на отдыхе, а каждые три минуты приходится бросаться на землю. Вот как в английской армии понимают отдых солдата,— добавил он и сплюнул.

— А тут есть мины? — спросил Пейвон.

— Конечно, есть,— раздраженно ответил канадец.— А почему бы им не быть? Где, вы думаете, находитесь — на американском стадионе, что ли?

Он говорил с акцентом, характерным для жителей Бруклина.

— Ты откуда, солдат? — спросил Пейвон.

— Из Торонто,— ответил тот.— Тот, кто еще раз попытается вытащить меня из Торонто, получит гаечным ключом по уху.

Опять раздался свист, и опять Майкл не успел выбраться из джипа. Канадец исчез с ловкостью циркача. Пейвон только небрежно оперся о кузов джипа. На этот раз снаряд взорвался, но, вероятно, ярдов за сто, так как никаких осколков до них не долетело. Две пушки, находившиеся по ту сторону монастырской стены, открыли беглый ответный огонь.

Канадец снова поднялся из канавы.

— Район отдыха,— сказал он с едким сарказмом.— Лучше бы я вступил в эту чертову американскую армию. Ведь вы не увидите здесь ни одного англичанина.— Он поглядел на разбитую улицу, на разрушенные дома, и в его затуманенных глазах сверкнула ненависть.— Одни канадцы. Где дела плохи, бросай туда канадцев. Ни один англичанин не побывал дальше борделя в Байё.

— Послушай...— начал было Пейвон, поражаясь такой дикой лжи.

— Не спорьте со мной, полковник, не спорьте,— громко сказал солдат из Торонто.— Я нервный.

— Ну хорошо, хорошо,— улыбнулся Пейвон и сдвинул каску назад так, что она стала похожа на мирный ночной горшок, возвышающийся над его густыми, карикатурными бровями.— Я и не собираюсь с тобой спорить. До свидания, встретимся в другой раз.

— Встретимся, если вас тем временем не подстрелят и если я не дезертирую,— проворчал канадец.

Пейвон помахал ему рукой.

— Ну, Майкл, теперь давайте я сяду за руль,— сказал он.— А вы садитесь на заднее сиденье и смотрите в оба.

Майкл забрался в кузов и уселся на опущенный верх джипа, чтобы удобно было стрелять во всех направлениях. Пейвон сел за руль. В подобные моменты Пейвон всегда брал на себя самую ответственную и опасную роль.

Он еще раз помахал канадцу, но тот не ответил. Джип загромыхал по дороге в город.

Майкл выдул пыль из патронника карабина и снял его с предохранителя. Он положил карабин на колени и стал внимательно смотреть вперед. Пейвон медленно лавировал по разбитым мостовым среди развалин города.

Снова одна за другой заговорили английские батареи, укрытые среди развалин. Пейвон вел машину зигзагами, стараясь объехать нагромождения кирпича и камня на дороге.

Майкл пристально вглядывался в окна уцелевших домов. Вдруг ему представилось, что город Кан состоит из одних окон, занавешенных светомаскировочными шторами, которые каким-то чудом пережили бомбардировки, танковые атаки и артиллерийский обстрел и немцев, и англичан. Возвышаясь в кузове машины, пробирающейся по пустынной, разрушенной улице, среди всех этих окон, Майкл вдруг почувствовал себя совершенно нагим и страшно уязвимым. Ведь за каждым окном мог притаиться немецкий снайпер, призраивающий свою винтовку с прекрасным оптическим прицелом и со спокойной улыбкой поджидающий, пока

этот глупый открытый джип подъедет немного ближе...

«Пусть меня убьют,— невесело размышлял Майкл, внешне сжимаясь, так как ему послышалось, что позади раскрылось окно,— пусть меня убьют в бою, где я буду сражаться с оружием в руках, но я не хочу быть убитым из-за угла на дурацкой экскурсии, затеянной этим идиотом, этим проходивцем из цирка...» Но он тут же понял, что лжет себе. Он не хотел быть убитым никоим образом. Какой в этом смысл? Война идет своим медленным, размеренным темпом, и если уж его убьют, то никому нет дела, как это случится, кроме него самого, и возможно, его семьи. Убьют ли его, или не убьют — все равно армии будут продолжать движение, машины, которые, в конечном счете, являются главным орудием войны, будут уничтожать друг друга, капитуляция будет подписана... «Выжить,— подумал он с отчаянием, вспоминая свое пребывание в рабочем батальоне,— выжить, выжить...»

Вокруг гроыхали орудия. Трудно было представить себе, что существует какая-то организация, что люди по телефону, наносят данные на карты, корректируют огонь, берутся с огромными, сложными механизмами, которые могут поднять ствол пушки так, что она выстрелит в данную минуту на пять миль, в следующую — на семь миль, что все это происходит невидимо для глаза, среди подвалов старого города Кана, за старинными оградами парков, в гостиных французов, бывших совсем недавно водопроводчиками или мясниками, а сейчас уже мертвых. Как велик был Кан, какое имел население, был ли он похож на Буффало, Джерси-Сити, Пасадену?

Джип медленно продвигался вперед, Пейвон с интересом оглядывался вокруг, а Майкл все острее сознавал, что со спины он совсем незащищен.

Они свернули за угол и выехали на улицу трехэтажных, страшно искалеченных домов. Каскады камней и кирпича обрушились со стен домов прямо на улицу, мужчины и женщины копались в развалинах, как сборщики фруктов, извлекая из руин, бывших когда-то жилищами, то ковер, то лампу, то пару чулок, то кастрюлю. Они не замечали ни английских пушек, ни снайперов, ни огня немецких батарей, находившихся по ту сторону реки и обстреливавших город,— не замечали ничего, кроме того, что здесь были их дома и что под этими горами камня и дерева похоронено все их имущество, которое они медленно накапливали в течение всей своей жизни.

На улице стояло множество тачек и детских колясок. Люди разыскивали наверху, среди развалин, свои пожитки

и, прижимая к груди пыльные сокровища, балансируя, спускались вниз и аккуратно складывали их на маленькие повозки. Потом, не глядя ни на проезжающих мимо американцев, ни на случайно остановившиеся поблизости джип или санитарную машину канадцев, они методично лезли на вершину застывшего каменного потока и снова начинали откапывать какое-нибудь искалеченное сокровище.

Проезжая мимо этих людей, похожих на старательных сборщиков урожая, Майкл на некоторое время забыл свои опасения. Он уже не думал о том, что может получить между лопаток или в пульсирующую нежную ткань прямо под грудной клеткой (он знал, что если в него будут стрелять спереди, то непременно попадут в это место). Ему захотелось встать и обратиться с речью к этим французам, обшаривающим руины своих домов. «Уходите,— хотел он крикнуть.— Бегите из города. Чтобы вы ни нашли здесь, погибать из-за этого не стоит. Звуки, которые вы слышите,— это разрывы снарядов. А когда снаряд разрывается, сталь не различает, что перед ней — воинская форма или человеческое тело, штатский или военный. Приходите потом, когда война уйдет отсюда. Ваши сокровища останутся в целости, они никому не нужны, и никто не воспользуется ими».

Но он ничего не сказал, и джип продолжал медленно катиться по улице, где жители, охваченные лихорадкой стяжательства, откапывали оправленные в серебряные рамы портреты бабушек, дуршлаги и кухонные ножи, вышитые покрывала, которые были белыми до того, как в дом угодил снаряд.

Они выехали на широкую площадь, теперь пустынную и с одной стороны совершенно открытую, потому что все здания там были стерты с лица земли. По другую сторону площади текла река Орн. На том берегу, как было известно Майклу, находились позиции немцев; он знал, что из-за реки враг тщательно наблюдает за медленнодвигающимся джипом. Он знал, что и Пейвон понимает это, но почему-то не прибавляет скорость. «Чего ему надо, этому бездельнику,— подумал Майкл,— ехал бы, черт его подери, один да показывал свою храбрость».

Впрочем, никто не стал по ним стрелять, и они продолжали свой путь.

Кругом, казалось, царил покойствие, хотя орудия продолжали вести методический огонь. Шум мотора машины, ставший таким привычным после многодневных скитаний по пыльным дорогам среди движущихся колонн, под разрывами снарядов, не мешал Майклу, проезжая по мертвым,

разрушенным улицам старого города, внимательно прислушиваться к каждому шороху, каждому скрипу, повороту дверной ручки, к щелчку ружейного затвора. Он был уверен, что услышал бы эти звуки даже в том случае, если бы целый артиллерийский полк открыл огонь в сотне ярдов от него.

Пейвон медленно кружил по улицам города то под палящими лучами летнего солнца, то в пурпурной тени, знакомой Майклу по картинам Сезанна, Ренуара и Писсаро еще задолго до того, как он ступил на землю Франции. Пейвон остановил джип, чтобы посмотреть на чудом сохранившуюся табличку с названием двух уже не существующих улиц. Он медленно, с интересом оглядывался по сторонам, а Майкл коротал время, либо разглядывая толстую, здоровую, коричневую шею под каской, либо смотря на зияющие дыры в стенах серых каменных зданий, откуда в любой момент его могла настичь смерть.

Пейвон снова тронулся в путь, и джип поехал по тому месту, которое когда-то было главной артерией города.

— Я приезжал сюда как-то на уикэнд в тридцать восьмом году,— сказал Пейвон, обернувшись назад,— с моим другом, кинопродюсером, и двумя девушками с одной из его студий.— Он в раздумье покачал головой.— Мы очень мило провели время. Мой друг, его звали Жюль, был убит еще в сороковом году.— Пейвон поглядел на разбитые витрины магазинов.— Я не узнаю ни одной улицы.

«Непостижимо,— подумал Майкл,— он рискует моей жизнью ради воспоминаний о времени, проведенном здесь шесть лет назад с парой актрис и ныне покойным продюсером».

Они свернули на улицу, где было заметно значительное оживление. У церковной стены стояло несколько грузовиков; вдоль железной ограды церкви патрулировало трое или четверо молодых французов с нарукавными повязками бойцов Сопrotивления; несколько канадцев помогали раненым горожанам забраться в грузовик. Пейвон остановил джип на небольшой площади перед церковью. На тротуаре лежали сложенные в кучи вещи: старые чемоданы, плетеные корзинки, саквояжи, базарные сетки, набитые бельем, простыни и одеяла, в которые были завязаны различные предметы домашнего обихода.

Мимо проехала на велосипеде молоденькая девушка в светло-голубом платье, очень чистеньком и накрахмаленном. Она была хорошенькая, с красивыми иссиня-черными волосами. Майкл с любопытством поглядел на нее. Она ответила ему холодным взглядом, ее лицо выражало нескры-

ваемую ненависть и презрение. «Она считает меня виноватым в том, что их город бомбили, в том, что ее дом разрушен, отец убит, а возлюбленный бог знает где», — подумал Майкл. Развевающаяся красивая юбка промелькнула мимо санитарной машины, затем мимо каменной плиты, разбитой снарядом. Майклу захотелось побежать за ней, остановить ее, убедить... Убедить в чем? В том, что он не бессердечный, истосковавшийся по девочкам солдат, восхищающийся стройными ножками даже в мертвом городе, что он понимает ее трагедию, что она не должна судить о нем слишком поспешно, с первого взгляда, что в ее сердце должно найтись место для сострадания и сочувствия к нему, так же как и она вправе рассчитывать на сострадание и сочувствие по отношению к себе...

Девушка исчезла.

— Давайте войдем, — предложил Пейвон.

После ослепительного солнечного дня в церкви казалось очень темно. Майкл сначала ощутил только запах: к тонкому, пряному аромату свечей и сжигавшегося столетиями ладана примешивался запах скотного двора и тошнотворный дух старости, лекарств и смерти.

Остановившись у самой двери, он моргал глазами и прислушивался к топоту детских ножек по массивному каменному полу, устланному соломой. Высоко под куполом виднелась огромная, зияющая дыра, проделанная снарядом. Сквозь отверстие, как мощный янтарный прожектор, прорвавший религиозный мрак, в церковь врвался поток солнечного света.

Когда глаза Майкла привыкли к темноте, он увидел, что церковь полна людей. Жители города, вернее, те, кто не успел убежать или кого еще не убили, собрались здесь, в оцепенении ожидая от бога защиты, надеясь, что их вывезут в тыл. Сначала Майклу показалось, что он попал в огромную богадельню. На полу на носилках, на одеялах, на охапках соломы лежали десятки морщинистых, еле живых, желтолицых, хрупких восьмидесятилетних стариков. Одни терли полупрозрачными руками горло, другие слабо натягивали на себя одеяла; они что-то бормотали, издавая пискливые нечеловеческие звуки. Горящими глазами умирающих они глядели на стоящих над ними людей; они мочились прямо на пол, потому что были слишком стары, чтобы двигаться, и слишком безразличны ко всему окружающему; они скребли заскорузлые повязки, покрывавшие раны, полученные ими на войне молодого поколения, которая бушевала в городе уже целый месяц; они умирали от рака, туберкулеза, склероза сосудов, нефрита, гангрены, недоедания.

старческой дряхлости. Такое скопление больных беспомощных стариков в пробитой снарядом церкви заставило Майкла содрогнуться, особенно когда он начал внимательнее всматриваться в их обреченные, дышащие испепеляющей ненавистью лица, которые то тут, то там освещал яркий сноп солнечного света, полный танцующих пылинок. Среди этого сборища, между соломенными тюфяками и запятнанными кровью подстилками, между стариками с раздробленными бедрами и больными раком, которые были прикованы к постели уже многие годы, задолго до прихода в город англичан, между старухами, правнуки которых уже погибли под Седаном, в боях у озера Чад и под Ораном, — среди всего этого сборища бегали дети, играя, снуя взад и вперед. Они то весело мелькали в золотых лучах, проникавших через отверстие, пробитое немецким снарядом, то снова исчезали в пурпурной тени, подобно сверкающим водяным жучкам. Высокие, звонкие голоса детей, их смех неслись над головами обреченных старцев, лежавших на каменном полу.

«Вот она, война, — думал Майкл, — вот настоящая война». Здесь не было командиров, охрипшими голосами выкрикивающих команды под гром орудий, не было солдат, бросающихся на штыки во имя великой цели, не было оперативных сводок и приказов о награждении — здесь были только очень старые, с хрупкими костями, седые, беззубые, глухие, страдающие, бесполое старики, собранные из смердящих углов разрушенных зданий и небрежно брошенные на каменный пол, чтобы мочиться под себя и умирать под веселый топот играющих детей. А в это время там, за стенами церкви, грохотали орудия, и в их неумолчной пустой болтовне звучали хвастливые лозунги, казавшиеся там, за три тысячи миль отсюда, великими истинами. Но лозунги не доходили до ушей стариков. Издавая глухие нечеловеческие стоны, они лежали на полу среди развлекающихся детишек, ожидая, когда какой-нибудь офицер службы тыла даст указание снять на пару дней с перевозки боеприпасов три грузовика, чтобы вывезти их всех со всеми их болезнями в какой-нибудь другой разрушенный город, сгрузить их там и забыть о них: ведь там они, по крайней мере, не будут мешать боевым действиям.

— Ну, полковник, — сказал Майкл, — что может сказать по этому поводу служба гражданской администрации?

Пейвон мягко улыбнулся Майклу и тихонько коснулся его руки, как будто он, старший по годам и более опытный человек, понял, что Майкл чувствует себя как бы виновным во всем этом, а потому можно простить его резкость.

— Я думаю,— начал он,— что нам лучше убраться отсюда. Взяли город англичане, пусть они и расхлебывают...

Двое ребятишек подошли к Пейвону и остановились перед ним. Крошечная, болезненного вида четырехлетняя девочка с большими робкими глазами держалась за руку брата, года на два-три постарше, но еще более застенчивого.

— Будьте добры,— сказала девочка по-французски,— дайте нам немножко сардин.

— Нет, нет! — Мальчик сердито выдернул руку и сильно ударил девочку по ручонке.— Не сардин. Не от этих. У этих галеты. Это другие давали сардины.

Пейвон с усмешкой посмотрел на Майкла, потом наклонился и крепко прижал к себе маленькую девочку, для которой вся разница между фашизмом и демократией заключалась в том, что от одних можно было ожидать сардин, а от других галет. Малышка подавила слезы.

— Конечно,— сказал Пейвон по-французски.— Конечно.— Он повернулся к Майклу.

— Майкл,— сказал он,— достаньте-ка наш сухой паек.

Майкл вышел на улицу, радуясь солнечному свету и свежему воздуху, и достал из джипа коробку с продуктами. Возвратившись в церковь, он остановился, ища глазами Пейвона. Пока он стоял, держа в руках картонную коробку, к нему подбежал мальчик лет семи с нечесаной копной волос и, застенчиво улыбаясь, заговорил просящим и в то же время дерзким голосом:

— Сигарет, сигарет для папы.

Майкл полез в карман. Но тут подбежала коренастая женщина лет шестидесяти, и схватила мальчика за плечи.

— Нет, не надо,— сказала она Майклу.— Не надо. Не давайте ему сигарет.— Она повернулась к мальчишке и сердито, как это делают все бабушки, начала его журить: — Ты что, хочешь совсем зачахнуть и перестать расти?

В эту минуту на соседней улице разорвался снаряд, и Майкл не расслышал ответа мальчишки. Тот вырвался из цепких рук бабушки и вприпрыжку побежал между рядами лежащих на полу стариков и старух.

Бабушка покачала головой.

— Сумасшедшие,— сказала она Майклу.— За эти дни они совсем одичали.

Она степенно поклонилась и отошла прочь.

Майкл увидел Пейвона: сидя на корточках, он разговаривал с девочкой и ее братом. Майкл улыбаясь направился к ним. Пейвон отдал девочке коробку с сухим пайком и нежно поцеловал ее в лоб. Двое ребятишек с серьезным видом удалились и скользнули в нишу на другой стороне

церкви, чтобы открыть свое сокровище и спокойно насладиться им.

Майкл и Пейвон вышли на улицу. В дверях Майкл, не удержавшись, обернулся и последним взглядом окинул тонувшие в лиловом сумраке высокие своды смрадной церкви. Какой-то старик, лежавший около двери, слабо размахивал рукой, но никто не обращал на него внимания; а в дальнем конце церкви двое ребятишек, мальчик и девочка, такие маленькие и хрупкие, склонились над коробкой с продуктами и по очереди откусывали от найденной там плитки шоколада.

Они молча залезли в джип. Пейвон снова сел за руль. Рядом с джипом стоял приземистый француз лет шестидесяти, одетый в синюю куртку из грубой бумажной ткани и потрепанные, мешковатые штаны со множеством заплат. Он по-военному отдал честь Пейвону и Майклу. Пейвон откозырял в ответ. Старик немного походил на Клемансо¹: у него была большая голова, из-под рабочей кепки глядело свирепое лицо с ошетинившимися, пожелтевшими усами.

Француз подошел к Пейвону и пожал руку ему, а потом Майклу.

— Американцы,— медленно сказал он по-английски.— Свобода, братство, равенство.

«О боже мой,— с раздражением подумал Майкл,— это патриот». После церкви он не был расположен выслушивать патриотов.

— Я семь раз был в Америке,— продолжал старик по-французски.— Раньше я говорил по-английски, как на родном языке, но теперь все забыл.

Где-то совсем близко разорвался снаряд. Майклу очень хотелось, чтобы Пейвон ехал, наконец, дальше, но тот, слегка наклонившись над рулем, продолжал слушать французского.

— Я был матросом,— говорил француз.— Матросом торгового флота. Мне пришлось побывать в Нью-Йорке, Бруклине, Новом Орлеане, Балтиморе, Сан-Франциско, Сизэле, Северной Каролине. Я все еще хорошо читаю по-английски.

Он говорил, слегка раскачиваясь взад и вперед, и Майкл решил, что он пьян. В глазах у него был какой-то странный желтоватый блеск, а губы под мокрыми поникшими усами мелко дрожали.

— Во время первой мировой войны нас торпедировали

¹ Клемансо, Жорж (1841—1929) — французский государственный деятель. В 1917—1920 гг. — председатель совета министров и военный министр. Реакционер и империалист. Один из главных организаторов интервенции против Советской России.— *Прим. ред.*

у Бордо,— продолжал француз,— и я шесть часов провел в воде в Атлантическом океане.— Он оживленно закивал головой и еще больше показался Майклу пьяным.

Майкл нетерпеливо задвигал ногами, стараясь дать понять Пейвону, что пора поскорей выбираться отсюда. Однако Пейвон не двигался с места. Он с интересом слушал француза, который нежно похлопывал по джипу, как будто это была прекрасная, гордая лошадь.

— В последнюю войну,— продолжал француз,— я опять было пошел добровольцем в торговый флот.— Майкл уже раньше слышал, что французы, описывая сражения 1940 года, падение Франции, говорят о войне, как о прошлой войне. «А эта, значит, уже третья по счету,— автоматически отметил про себя Майкл.— Пожалуй, слишком много, даже для европейцев.— Но на приемном пункте мне сказали, что я слишком стар.— Француз сердито ударил кулаком по капоту машины.— Сказали, что возьмут меня, когда дела будут совсем уж плохи.— Он сардонически рассмеялся.— Но для этих молокососов из приемного пункта дела так и не стали достаточно плохими. Они не призвали меня.— Старик поглядел вокруг себя мутными глазами, взглянул на освещенную солнцем церковь и на кучу нищенских пожитков перед ней, на забросанную камнями площадь и разрушенные бомбами дома.— Но мой сын служил на флоте. Он был убит под Ораном англичанами. Оран — это в Африке. Но я их не виню. Война есть война.

Пейвон сочувственно коснулся руки француза.

— Это был мой единственный сын,— тихо продолжал француз.— Когда он был маленьким мальчиком, я, бывало, рассказывал ему о Сан-Франциско и Нью-Йорке.— Француз вдруг закатал рукав куртки на левой руке. На предплечье было что-то вытатуировано.— Посмотрите,— сказал он. Майкл наклонился вперед. На сильной руке старика поверх вздувшихся мускулов виднелась зеленая татуировка, изображавшая Вулворт-билдинг, парящий над романтическими облаками.— Это здание — Вулворт-билдинг в Нью-Йорке,— с гордостью пояснил бывший моряк.— На меня оно произвело огромное впечатление.

Майкл откинулся назад и тихонько постучал ботинком, стараясь заставить Пейвона тронуться с места. Но Пейвон все не двигался.

— Прекрасное изображение,— с теплотой в голосе сказал он французу.

Француз кивнул головой и опустил рукав.

— Я очень рад, что вы, американцы, в конце концов пришли к нам.

— Благодарю вас,— любезно ответил Пейвон.

— Когда над нами пролетали первые американские самолеты, я стоял на крыше своего дома и махал им рукой, хотя они и бросали на нас бомбы. И вот вы теперь сами здесь. Я ведь тоже понимаю,— заметил он деликатно,— почему вы так долго не приходили.

— Благодарю вас,— повторил Пейвон.

— Ведь война не минутное дело, что бы там ни говорили. И каждая новая война длится дольше, чем предыдущая. Это же простая арифметика истории.— Француз для большей убедительности энергично кивнул головой.— Я не отрицаю — не очень-то приятно было ждаться. Вы даже и понятия не имеете, каково день за днем жить под господством немцев.— Француз вытащил старый, ободранный кожаный бумажник и открыл его.— С первого дня оккупации я носил с собой вот это.— Он показал кошелек Пейвону и Майклу, нагнувшемуся вперед, чтобы взглянуть в него. Там лежал поблекший кусочек трехцветной материи, оторванной от копеечного флажка, в желтой целлулоидной оболочке.— Если бы у меня нашли это,— сказал француз, глядя на кусочек тонкого миткаля,— они бы убили меня. Но все-таки я носил его, носил четыре года.

Он вздохнул и убрал бумажник.

— Я только что вернулся с передовой,— объявил он.— Мне сказали, что на мосту^{*} через реку, как раз посредине между англичанами и немцами, лежит какая-то старуха. «Пойди посмотри, не твоя ли это жена»,— сказали мне. Вот я и ходил смотреть.— Он умолк и взглянул на разрушенную колокольню.— Это была моя жена.

Он стоял молча, поглаживая капот джипа. Ни Пейвон, ни Майкл не произнесли ни слова.

— Сорок лет,— сказал француз.— Мы были женаты сорок лет. У нас были свои радости и горести. Мы жили на той стороне реки. Я думаю, она не досчиталась дома попугая или курицы и решила пойти поискать их, а немцы застрелили ее из пулемета. Шестидесятилетнюю женщину— из пулемета! Нормальный человек никогда не сможет их понять, этих немцев. Она все еще лежит там, платье задралось, голова свесилась вниз. Канадцы не разрешили мне взять ее. Они сказали, что придется подождать, когда кончится бой. На ней было надето хорошее платье.— Тут он заплакал. Слезы капали ему на усы, и он слизывал их языком.— Сорок лет. Я видел ее всего полчаса назад.— Он снова, плача, вытащил бумажник.— Но все равно,— горестно всхлипывал он,— все равно...— Он открыл бумажник и поцеловал через целлулоид трехцветную полоску ма-

тери, он целовал ее страстно, как безумный.— Все равно...

Старик покачал головой и убрал бумажник. Он еще раз похлопал рукой по джипу, потом медленно побрел по улице, мимо разорванных вывесок магазинов, мимо небрежно наваленных камней. Ушел, не простившись, не сказав даже «до свидания».

Майкл глядел ему вслед, чувствуя, как от боли сжимается сердце.

Пейвон вздохнул и нажал на стартер. Они медленно двинулись к выезду из города. Майкл все еще следил за окнами, но уже без страха, почему-то уверенный, что теперь не будет больше снайперов.

Они проехали мимо монастырской стены, но парня из Торонто уже не было. Пейвон с силой нажал на акселератор, и они на большой скорости выехали из города. Им повезло, что они не остановились около монастыря, так как, не успели они проехать и трехсот ярдов, как услышали позади взрыв. Клубы дыма поднимались с дороги как раз в том месте, где они только что проезжали!

Пейвон и Майкл одновременно обернулись назад. Их глаза встретились. Они не улыбнулись, не сказали ни слова. Пейвон отвернулся и сторбился над рулем.

Машина без происшествий проскочила тысячу ярдов, простреливающих прицельным артиллерийским огнем. Пейвон остановил джип и сделал знак Майклу, чтобы тот сел за руль.

Переступая через переднее сиденье, Майкл оглянулся назад. Ничто не говорило о том, что там, за линией горизонта, лежит разрушенный город.

Они тронулись, и, сидя за рулем, Майкл почувствовал себя лучше. Не перебросившись ни единым словом, они медленно поехали сквозь желтое сияние полуденного солнца к американским позициям.

Примерно через полмили на дороге показались солдаты. Растянувшись цепочкой, они шли по обочинам дороги. Пылались странные звуки волынки. Это был пехотный батальон, состоявший из шотландских стрелков. Впереди каждой роты шел волычник. Батальон медленно приближался к дороге, уходявшей влево, в пшеничное поле. Вдали, едва виднеясь над колосьями пшеницы, колыхались головы и штыки других частей, медленно двигавшиеся по направлению к реке.

Было как-то дико и смешно и вместе с тем печально слышать в этой открытой пустынной равнине голоса волынок. Майкл медленно вел джип навстречу приближавшемуся батальону. Увешанные гранатами, патронташами и ко-

робками с пулеметными лентами, солдаты шли тяжелым шагом. Их грубые походные куртки потемнели от пота. Во главе первой роты, за волынщиком, шагал командир — краснолицый молодой капитан со свисающими вниз рыжими усами. Он держал в руке маленький изящный стек и твердо чеканил шаг, словно жалобный голос волынки был бравурным маршем.

Увидев джип, офицер заулыбался и помахал стеклом. Скользя по лицу офицера, взгляд Майкла остановился на солдатах. Вспотевшие лица выражали усталость, никто не улыбался. Все они были в новом обмундировании, снаряжение тоже было новое и чистенькое. Майкл понял, что солдаты идут в свой первый бой. Они шли молча, уже усталые, уже перегруженные, с бессмысленным, тоскливым выражением на раскрасневшихся лицах. Казалось, они прислушиваются не к звуку волынок, не к отдаленному грохоту орудий, не к усталому шарканью ботинок по дороге, а к каким-то внутренним голосам, ведущим спор где-то в глубине их душ, к голосам, которые едва достигали их слуха, и потому надо было сосредоточить все внимание, чтобы понять смысл этого спора.

Когда джип поравнялся с офицером, двадцатилетним атлетом с белозубой улыбкой под нелепыми и прелестными усами, тот еще шире заулыбался и заговорил голосом, который можно было услышать и за сотню ярдов, хотя джип находился в нескольких шагах.

— Хороший денек, не правда ли?

— Желаю удачи,— отозвался Пейвон, просто и не громко, как человек, который возвращается из боя и теперь уже в состоянии управлять своим голосом,— желаю вам всем удачи, капитан.

Капитан еще раз дружески помахал стеклом, и джип медленно покатился навстречу солдатам. Замыкающим шел ротный фельдшер со знаками Красного Креста на каске. Его мальчишеское лицо было задумчиво, в руках он нес санитарную сумку.

Рота свернула с дороги в пшеничное поле, и по мере того как она все дальше уходила по извилистой тропинке, звуки волынок постепенно замирали, напоминая отдаленные крики чаек. Казалось, солдаты, верные долгу, с грустью погружаются в глубь шелестящего, золотого моря.

Майкл проснулся, прислушиваясь к нарастающему гулу орудий. На душе у него было тоскливо. Он вдыхал сырой, пахнущий глиной воздух окопа, где он спал, и кислый, пыльный запах растянутой над ним палатки. Под одеялами

было тепло, и он лежал, не двигаясь, в полной темноте, слишком усталый, чтобы шевелиться, прислушиваясь к треску зениток, приближавшемуся с каждым мгновением. «Очередной ночной налет,— с ненавистью подумал он,— каждую ночь, черт их поberi».

Орудия гремели теперь очень близко, где-то совсем рядом слышались смертоносный свист и мягкие глухие шлепки падающих на землю осколков стали. Майкл потянулся за каской, лежавшей сзади, и положил ее на низ живота. Подтянув вещевой мешок — он лежал рядом в щели, набитый запасными кальсонами, нательными фуфайками и рубашками,— он прикрывал им живот и грудь. Потом закрыл голову руками, вдыхая теплый запах собственного тела и пота, исходивший от длинных рукавов шерстяного белья. «Теперь,— подумал он,— когда эта ночная процедура, разработанная им за несколько недель, проведенных в Нормандии, была завершена,— теперь пусть стреляют». Он еще раньше определил, какие части тела наиболее уязвимы и представляют наибольшую ценность, и старался защитить их в первую очередь. Если его ранит в ноги или руки, это не так уж страшно.

Майкл лежал в абсолютной темноте, прислушиваясь к грому и свисту над головой. Глубокая щель, где он спал, стала казаться уютной и надежной. Внутри она была обтянута жестким брезентом, содранным с разбившегося планера, а вниз он постелил блестящее, шелковое сигнальное полотнище, которое придавало этому чистенькому подземному сооружению какую-то восточную роскошь.

Майкл хотел взглянуть на часы, но был слишком утомлен, чтобы искать свой электрический фонарик. С трех до пяти утра ему надо было стоять в карауле, и он гадал, стоит ли пытаться снова заснуть.

Воздушный налет продолжался. «Самолеты, по-видимому, летят очень низко,— подумал он,— потому что по ним строчат из пулеметов». Он слышал пулеметные очереди и назойливый гул самолетов над головой. Сколько воздушных налетов он пережил? Двадцать? Тридцать? Да... немецкая авиация уже тридцать раз пыталась уничтожить его, частичку общей безликой массы солдат, и всякий раз терпела фиаско.

Он забавлялся мыслью о возможности ранения. Этакая симпатичная глубокая рана длиной в восемь дюймов в мягкой части ноги, с симпатичным, маленьким переломчиком берцовой кости. Он представлял себя бодро прыгающим на костылях по лестнице вокзала Грэнд-Сентрал в Нью-Йорке

с «Пурпурным сердцем» на груди и с документами об увольнении из армии в кармане.

Майкл пошевелился под одеялами, и мешок, теплый, словно живой, подвинулся, будто это был не мешок, а девушка. И вдруг ему бешено, неудержимо захотелось близости с женщиной. Он стал думать о женщинах, с которыми встречался, вспоминал места, где это происходило.

Его первую девушку звали Луиза. Это произошло в один воскресный вечер, когда ее родителей не было дома. Они ушли к знакомым играть в бридж. Она тревожно вслушивалась, не щелкнет ли ключ в замочной скважине входной двери. Вспомнились и другие девушки по имени Луиза. Оказалось, что у него было много девушек, носивших это имя: голливудская «звездочка» из компании «Братья Уорнер», жившая с тремя другими девушками в Вэлли; кассирша из ресторана на 60-й улице в Нью-Йорке; Луиза в Лондоне во времена воздушных налетов — в ее комнате стояла электрическая печка, отбрасывавшая теплый, красноватый отблеск на стены. Сейчас ему нравились все Луизы, все Мэри и все Маргарет. Раздираемый воспоминаниями, он ворочался на жесткой земле, воскрешая в памяти своих девушек, нежную кожу их ног и плеч, припоминая, как они смеялись и что говорили, когда лежали с ним в постели.

Он вспомнил всех девушек, с которыми мог быть близок, но по той или иной причине уклонился от этого. Это было десять лет назад. Они сидели втроем в ресторане. Эллен, высокая блондинка, в тот момент, когда ее муж отошел к стойке купить сигару, многозначительно коснулась коленями Майкла и что-то шепнула. Но муж Эллен был его лучшим другом в колледже, и Майкл, несколько шокированный, проявил благородство и не принял намека. Теперь, вспомнив высокую пышнотелую жену друга, он мучительно заерзал в темноте. Затем он вспомнил Флоренс. Она пришла к нему с письмом от матери; ей так хотелось поступить на сцену. Флоренс была совсем юная и до смешного наивная. Майкл узнал, что она девственница, и в приливе сентиментальности решил, что было бы несправедливо заставлять невинную девушку отдаваться так просто первому встречному, который не любил ее и никогда не полюбит. Он вспомнил о хрупкой, чуточку неуклюжей девочке из своего родного города и в тоске снова заерзал под вещевым мешком.

Потом он вспомнил молоденькую танцовщицу, жену пианиста, которая на одной из вечеринок на 23-й улице притворилась пьяной и плюхнулась ему на колени. Но Майкл в то время был занят школьной учительницей из Нью-Рошеля. Припомнилась и девушка из Луизианы — у нее

было три здоровенных брата, которых Майкл откровенно побаивался; женщина, которая в зимний вечер в Вилладже бросила на него манящий взгляд, и молоденькая сиделка с широкими бедрами из Галифакса, в те дни, когда его брат сломал ногу, и...

Майкл в отчаянии вспоминал всех предлагавших себя и отвергнутых им представительниц прекрасного пола и от досады скрежетал зубами, сожалея о своей нелепой привередливости в давно ушедшие дни. Эх, ты, глупый, надутый осел! Легкомысленно утраченные дорогие часы, которых уже никогда не вернуть! Он жалобно застонал и в жестоком гневе вцепился руками в вещевой мешок.

И все же, утешал он себя, оставалось немало женщин, которых он не отверг. И в самом деле, когда оглядываешься назад, становится стыдно за то, что упущено так много возможностей, но в то же время радуешься, что тогда этого не приходилось стыдиться и чувство стыда не стояло на твоём пути.

Когда он вернется домой, если он вообще вернется, он изменит свое отношение к женщинам. С прошлым покончено навсегда. Теперь ему хочется спокойной, скромной, хорошо устроенной, основанной на доверии, достойной жизни... Маргарет. Он долгое время избегал мысли о ней. И вот сейчас, в этой сырой, неуютной норе, осыпаемый сверху осколками, он не мог заставить себя не думать о ней. «Завтра,— решил он,— я напишу ей. Мне наплевать, чем она там занимается. Когда я вернусь, мы должны пожениться». Он быстро убедил себя в том, что в душе Маргарет снова вспыхнет старая привязанность к нему, что она выйдет за него замуж, что у них будет солнечная квартира в деловой части города, будут дети и он будет много работать и не станет больше прожигать жизнь. Может быть, даже порвет с театром. Вряд ли можно надеяться теперь на большой успех в театре, если его не было раньше. Может быть, он займется политикой. Вдруг у него откроется призвание к политике. Да наконец, может же он заняться чем-нибудь полезным, полезным для себя, для этих бедняг, умирающих сегодня на передовых позициях, для стариков и старух, лежащих на соломе в церкви города Кана, для отчаявшегося канадца, для усатого капитана, шагавшего за волынщиком и крикнувшего им: «Хороший денек, не правда ли?», для маленькой девочки, просившей сардин... Разве невозможен мир, в котором смерть не стала еще полновластной царицей, мир, где не приходится жить среди все разрастающихся кладбищ, мир, которым управляет не только похоронная служба?

Но, если хочешь, чтобы к твоему мнению стали прислушиваться, ты должен заслужить это право. Не дело прослужить всю войну шофером полковника из службы гражданской администрации. Только солдаты, испытавшие отвратительные ужасы передовых позиций, смогут говорить авторитетно, с сознанием того, что они по-настоящему заплатили за свое мнение, что они утвердились в нем раз и навсегда...

«Надо будет завтра попросить Пейвона,— подумал Майкл, засыпая,— чтобы он меня перевел... И надо написать Маргарет, она должна знать, должна подготовиться...»

Орудия смолкли. Самолеты ушли в направлении немецких позиций. Майкл сбросил с груди вещевой мешок и столкнул с живота каску. «Боже мой,— подумал он,— боже мой, скоро ли это кончится?»

Часовой, которого он должен был сменить, просунул голову под палатку и схватил Майкла за ногу поверх одеяла.

— Подъем, Уайтэкр,— сказал солдат.— Собирайся на прогулку.

— Да, да,— отозвался Майкл, сбрасывая с себя одеяло. Дрожа от холода, он торопливо натягивал ботинки. Он надел куртку, взял карабин и, не переставая дрожать, шагнул навстречу ночи. Все небо было затянато тучами, моросил мелкий дождь. Майкл вернулся в палатку, нашел дождевик и надел его. Потом подошел к часовому, который, прислонившись к джипу, разговаривал с другим часовым, и сказал ему:

— Все в порядке, можешь идти спать.

Он стоял, прислонившись к джипу, рядом с другим часовым, весь дрожа и чувствуя, как мелкие капли стекают по лицу и проникают за воротник, стоял и вглядывался в холодную сырую тьму, вспоминая всех женщин, о которых думал во время воздушного налета, вспоминая Маргарет, пытаясь сочинить ей письмо, такое трогательное, такое нежное, сердечное, правдивое, исполненное любви, что она сразу поймет, как они нужны друг другу, и будет ждать его, когда он вернется после войны в печальный и беспорядочный мир Америки.

— Эй, Уайтэкр,— окликнул его другой часовой, рядовой Лерой Кин, который уже целый час стоял на посту,— нет ли у тебя чего-нибудь выпить?

— К сожалению, нет,— ответил Майкл, отходя в сторону. Он недолюбливал Кина, болтуна и попрошайку. К тому же солдаты считали, что Кин приносит несчастье, так как в первый же раз, как только он выехал из лагеря в Нормандии, его джип был обстрелян с самолета. Двое были

ранены, один — убит, а Кин остался цел и невредим.

— А нет ли у тебя аспирина? — спросил Кин.— Ужасно болит голова.

— Подожди минутку,— сказал Майкл. Он сходил к себе в палатку, принес коробочку аспирина и передал ее Кину. Тот вынул шесть таблеток и запихнул их в рот. Майкл наблюдал за ним, чувствуя, как его рот сводит гримаса отвращения.

— Без воды? — удивился Майкл.

— А зачем она? — спросил Кин. Это был большой, костлявый мужчина лет тридцати. Его старший брат получил в прошлую войну «Почетную медаль конгресса»¹, и Кин, желая быть достойным семейной славы, держал себя как заправский вояка.

Кин вернул Майклу коробочку с аспирином.

— Ужасно болит голова,— сказал он.— Это от запора. Я уже пять дней не могу пошевелить кишками.

«Я не слышал этого выражения с самого Форт-Дикса»,— подумал Майкл. Он медленно пошел по краю поля вдоль линии палаток в надежде, что Кин не пойдет за ним. Но рядом слышалось медленное шарканье ботинок по траве, и Майкл понял, что ему не отделаться от этого человека.

— Раньше у меня желудок работал прекрасно,— мрачно жаловался Кин.— А потом я женился.

Они молча дошли до последних палаток и офицерской уборной, потом повернули и тронулись в обратный путь.

— Моя жена подавляла меня,— сказал Кин.— А потом она настояла на том, чтобы сразу завести троих ребят. Ты, конечно, не поверишь, что женщина, которая так хотела иметь детей, могла быть холодной, но моя жена была очень холодна. Она не выносила, когда я дотрагивался до нее. Через шесть недель после свадьбы у меня начался запор, и с тех пор я все время мучаюсь животом. Ты женат, Уайтэкэр?

— Разведен.

— Если б только я мог,— сетовал Кин,— я бы обязательно развелся. Она разбила мою жизнь. Я хотел стать писателем. Ты знаешь много писателей?

— Так, нескольких.

— Но уж, конечно, ни у кого из них нет троих детей.— В голосе Кина звучала горькая обида.— Она сразу поймала меня в ловушку. А когда началась война, ты даже представить себе не можешь, что мне пришлось вынести, прежде чем она согласилась, чтобы я пошел служить. Это я, человек

¹ Высший орден в США.— *Прим. ред.*

из такой семьи, у которого брат имеет такие заслуги... Я тебе рассказывал, как он получил орден?

— Да,— сказал Майкл.

— За одно утро убил одиннадцать немцев. Одиннадцать немцев,— повторил Кин, и в его голосе прозвучало сожаление и восхищение.— Я хотел записаться в парашютные войска, но с моей женой сразу приключилась истерика. Все идет одно к одному: безразличие, неуважение, страх, истерики. А теперь посмотри, во что я превратился. Пейвон ненавидит меня, он никогда не берет меня с собой в поездки. Вот вы сегодня были на фронте, так ведь?

— Да.

— А ты знаешь, что я делал? — с горечью спросил брат кавалера «Почетной медали». — Сидел и переписывал всякие бумажки. В пяти экземплярах. Представления на присвоение званий, медицинские заключения, денежные ведомости. Хорошо, что брата уже нет в живых.

Они медленно шли под дождем, опустив стволы карабинов вниз, чтобы уберечь их от влаги. С касок стекала вода.

— Я хочу тебе что-то сказать,— снова начал Кин.— Помнишь тот случай, недели две назад, когда немцы чуть не прорвали нашу оборону и пошли разговоры о том, что нас поставят в строй. Так вот признаюсь тебе, я молил бога, чтобы они прорвались. Да, молил бога. Ведь тогда бы нам пришлось драться.

— Ты просто круглый дурак,— сказал Майкл.

— Я мог бы стать замечательным солдатом,— прохрипел Кин и рыгнул.— Да, да, замечательным солдатом. Я знаю. Погляди на моего брата. А мы были настоящими братьями, несмотря на то, что он был на двадцать лет старше меня. Пейвон знает об этом. Вот почему ему доставляет особое удовольствие держать меня здесь в качестве машинистки, а с собой он берет других ребят.

— Если когда-нибудь пуля пробьет твою дурацкую башку, то так тебе и надо,— сказал Майкл.

— А я не имею ничего против,— решительно ответил Кин.— Наплевать. Если меня убьют, не передавай никому от меня приветов.

Майкл пытался рассмотреть лицо Кина, но было слишком темно. Он почувствовал какую-то жалость к этому страдающему от запоров человеку, одержимому мыслью о германских подвигах, которого дома ждет холодная жена.

— Надо бы мне поступить в офицерскую школу,— продолжал Кин.— Я бы стал замечательным офицером. У меня

была бы уже своя рота, и могу тебя заверить, что я бы уже носил на груди «Серебряную звезду»¹.

Они шли рядом под мокрыми деревьями, с которых стекали капли дождя, и Майкла все время преследовал скрипучий, нудный голос этого безумца.

— Я знаю себя, я был бы доблестным офицером.

Майкл не мог не улыбнуться, услышав эту фразу. Ведь в эту войну такой эпитет можно было встретить только в газетных сводках и приказах о награждении. Слово «доблестный» не подходило для этой войны, и только люди, подобные Кину, могли употреблять его с такой теплотой, верить в него, верить, что оно имеет какой-то реальный смысл.

— Да, доблестным,— твердо повторил Кин.— Я бы показал своей жене. Я вернулся бы в Лондон с орденоскими ленточками и проложил бы себе дорогу в милю шириной к тамошним женщинам. До сих пор я не пользовался успехом, потому что я всего лишь рядовой.

Майкл усмехнулся, подумав о всех тех рядовых, которые пользовались большим успехом среди английских дам. Он знал, что, где бы Кин ни появился, пусть даже с грудью, увешанной всеми орденами мира и со звездами на погонах, все равно он встретил бы во всех барах и спальнях только холодных женщин.

— Моя жена знала это,— продолжал жаловаться Кин.— Вот почему она не хотела, чтобы я стал офицером. Она все продумала, а когда я понял, что она со мной натворила, было уже слишком поздно, я был уже за океаном.

Майкла стала забавлять вся эта история, и у него возникло какое-то жестокое чувство благодарности к человеку, шедшему рядом с ним, за то, что тот отвлек его от собственных мыслей.

— Как выглядит твоя жена? — злорадно поинтересовался он.

— Завтра я покажу тебе ее карточку. Она хорошенькая, у нее прекрасная фигура. На первый взгляд это самая привлекательная женщина в мире. В присутствии других она всегда улыбается, всегда оживлена. Но как только закрывается дверь и мы остаемся одни, она превращается в айсберг. Они обманывают нас,— сокрушался Кин, шагая в сырой мгле,— они успевают надуть нас, прежде чем мы пойдем, в чем дело... Да к тому же,— продолжал он изливать свою душу,— она отбирала у меня все деньги. Это ужасно обидно, особенно когда сидишь здесь и вспоминаешь все ее штучки.

¹ Знак, выдаваемый за участие в пяти сражениях.— *Прим. ред.*

С ума можно сойти. Будь я на фронте, я мог бы все забыть. Послушай-ка, Уайтэкэр,— с жаром попросил Кин,— ты же в хороших отношениях с Пейвоном, он любит тебя, замолви за меня словечко, а?

— Что же ему сказать?

— Пусть он или переведет меня в пехоту,— решительно заявил Кин,— или берет с собой в поездки.— «Этот тоже, но по каким причинам!» — промелькнуло в мозгу Майкла.— Я как раз такой человек, какой ему нужен,— продолжал Кин.— Я не боюсь, что меня убьют, у меня стальные нервы. Когда обстреляли наш джип и все остальные были убиты или ранены, я смотрел на них так хладнокровно, как будто сидел в кино и видел все это на экране. Как раз такой человек и нужен Пейвону...

«Сомневаюсь»,— подумал Майкл.

— Так поговоришь с ним? — приставал Кин.— Ну как, поговоришь? Всякий раз, когда я пытаюсь с ним заговорить, он спрашивает: «Рядовой Кин, а те списки уже отпечатаны?» Он просто смеется надо мной, я вижу, что он смеется,— в бешенстве крикнул Кин.— Ему доставляет какое-то злорадное удовольствие видеть, что по его милости брат Гордона Кина сидит в тылу, в зоне коммуникаций и перепечатывает всякие списки. Уайтэкэр, ты должен поговорить с ним обо мне. Кончится война, а я так и не побываю ни в одном бою, если мне никто не поможет!

— Хорошо,— сказал Майкл,— я поговорю.— И тут же с грубостью и жестокостью, которую вызывают у собеседника такие люди, как Кин, добавил: — Однако должен тебе сказать, что если ты когда-нибудь и попадешь в бой, то я буду молить бога, чтобы тебя не было рядом со мной.

— Спасибо, друг, большое спасибо,— сердечно благодарил Кин.— Ей богу, это очень великодушно с твоей стороны. Никогда не забуду этого, дружище. Я всегда буду помнить об этом.

Майкл зашагал быстрее; Кин, поняв намек, несколько поотстал, и в течение некоторого времени они шли молча. Но к исходу часа, за несколько минут до смены, Кин снова догнал Майкла и мечтательно произнес, как будто думал об этом долгое время:

— Завтра пойду в санитарную часть и приму английской соли. Нужно, чтобы хоть раз хорошо сработал желудок, и дело пойдет на лад, и тогда я стану другим человеком.

— Могу лишь выразить тебе мои наилучшие пожелания,— серьезно проговорил Майкл.

— Так ты не забудешь поговорить с Пейвоном?

— Не забуду. Со своей стороны, я предложу, чтобы тебя сбросили на парашюте прямо на штаб генерала Ромеля.

— Тебе, может быть, смешно,— обиделся Кин,— но если бы ты вышел из такой семьи, как моя, и у тебя были бы какие-то идеалы...

— Я поговорю с Пейвоном,— перебил Майкл.— Разбуди Стеллевато и отправляйся спать. Увидимся утром.

— Для меня было большим облегчением поговорить вот так с кем-нибудь. Спасибо, приятель.

Майкл проводил взглядом брата покойного кавалера «Почетной медали», направившегося тяжелой походкой к палатке, где спал Стеллевато.

Стеллевато был коротеньким, тщедушным итальянцем, лет девятнадцати, с мягким, смуглым лицом, похожим на плюшевую диванную подушку. Он пришел в армию из Бостона, где работал развозчиком льда. Его речь представляла собой причудливую смесь плавных итальянских звуков и резких, тягучих «а», типичных для кварталов, примыкающих к реке Чарльз. Когда ему приходилось бывать в карауле, он часами стоял, прислонившись к капоту джипа, и ничто не могло сдвинуть его с места. В Штатах он служил в пехоте, и у него развилось такое глубокое отвращение к ходьбе, что теперь он всякий раз залезал в свой джип, чтобы проехать каких-нибудь пятьдесят шагов до уборной. Уже будучи в Англии, он успешно выдержал упорную баталию с военными врачами и сумел убедить их в том, что у него сильно развито плоскостопие и что он больше не может служить в пехоте. Это была его великая победа в войне, победа, которую он запомнил лучше всех событий, случившихся со времени Пирл-Харбора, и которая увенчалась в конце концов прикомандированием его к Пейвону в качестве шофера. Майкл любил его, и, когда им случалось вести охрану вместе, как сегодня, они стояли, привалившись к капоту джипа, потихоньку покуривая и поверяя друг другу свои тайны. Майкл копался в памяти, сиюсья припомнить свои случайные встречи с кинозвездами, которых так обожал Стеллевато. Стеллевато, в свою очередь, подробно рассказывал, как он развозил лед по Бостону, и описывал жизнь всей семьи Стеллевато — отца, матери и трех сыновей в их квартире на Салем-стрит.

— Мне как раз снился сон,— начал рассказывать Стеллевато. Сгорбившись в своем дождевике без единой пуговицы, приземистый, с небрежно свисающей с плеча винтовкой, он являл собою совсем не военную фигуру.— Мне

как раз снился сон о Соединенных Штатах, когда этот сукин сын Кин разбудил меня. А этот Кин,— сердито добавил он,— видно, не того. Он всегда подойдет и так стукнет по ногам, словно полицейский, сгоняющий бродягу с садовой скамейки, да еще поднимет такой шум, орет так, что можно разбудить целую армию: «Эй, ты, вставай! На улице дождь, а тебе придется прогуляться, вставай, вставай, пойди прогуляйся под холодным дождичком». — Стеллевато обиженно покачал головой. — Нечего мне говорить такие вещи. Я сам вижу, идет или не идет дождь. Этому парню просто нравится доставлять людям неприятности. А этот сон, мне так не хотелось обрывать его на середине...

Голос Стеллевато стал далеким и мягким.

— Мне снилось, что я еду на грузовике со своим стариком. Был солнечный летний день; мой старик сидел в кабине рядом со мной. Он дремал и курил этакую кривую черную сигарку «Итало Бальбо». Знаешь такие?

— Знаю,— серьезно ответил Майкл.— Пять штук за десять центов.

— Итало Бальбо¹,— сказал Стеллевато,— это тот, что улетел из Италии. Когда-то в давние времена он был великим героем в глазах итальянцев, вот они и называли сигары его именем.

— Я слышал о нем,— сказал Майкл.— Он был убит в Африке.

— Его убили? Я должен написать об этом моему старiku. Сам-то он не может читать, но к нам заходит моя девушка, Анджелина, она читает письма ему и моей старушке. Так вот, он дремал и курил одну из тех самых сигар,— мечтательно продолжал Стеллевато.— Мы ехали тихо, потому что приходилось останавливаться почти у каждого дома. Потом он проснулся и говорит мне: «Никки, возьми на двадцать пять центов льда и отнеси миссис Шварц, но только скажи ей, чтобы денежки на бочку». Я и сейчас слышу его голос, как будто опять сижу в грузовике за баранкой. Я вылез из машины, взял лед и направился в дом миссис Шварц, а отец крикнул мне вслед: «Никки, возвращайся немедленно. Не задерживайся там у этой миссис Шварц». Он всегда кричал мне что-нибудь в этом роде, а потом тут же снова засыпал и так и не знал, оставался ли я там на утренний концерт или на вечерний спектакль. Миссис Шварц открыла дверь. В этом районе у нас были всякие

¹ Бальбо, Итало (1896—1940) — итальянский авиатор и государственный деятель фашистского режима. Был губернатором Ливии. Погиб при авиационной катастрофе.— *Прим. ред.*

клиенты: итальянцы, ирландцы, поляки, евреи, и все меня любили. Ты не поверишь, сколько на мою долю перепадало за день виски, кофейных пирожных, лапши. Миссис Шварц была хорошенькая полная блондиночка. Она отворила дверь, потрепала меня по щеке и так это ласково защebetала: «Никки, сегодня такой жаркий день, присядь-ка, я сейчас принесу тебе стаканчик пива». — «Отец ждет внизу, — говорю я, — и сейчас он как раз не спит». — «Ну что ж, — говорит она, — тогда приходи в четыре». Миссис Шварц дала мне двадцать пять центов, и я отправился к машине. Отец сидит хмурый, как туча. «Никки, — говорит он, — пора уже, наконец, решить, кто ты: деловой человек или племенной бык?» — Но он тут же рассмеялся: «Ну ладно, раз ты все-таки принес двадцать пять центов, то все в порядке».

— Потом мне приснилось, что все, вся семья в полном составе оказалась в машине — точь-в-точь, как бывало когда-то по воскресеньям. В грузовике были все, даже Анджелина и ее мать. Мы возвращались с пляжа. Я держал руку Анджелины в своей руке, большего она мне никогда не позволяла, потому что мы собирались пожениться. Совсем другое дело ее мамаша... Потом все мы сидели за столом — оба мои брата тоже: и тот, что на Гуадалканале, и тот, что в Исландии. Мой старик разливал вино собственного производства, а мать принесла огромную миску макарон... И вот как раз тут, на этом месте этот сукин сын Кин стукнул меня по ноге...

— Мне так хотелось досмотреть до конца этот сон, — продолжал он. Майкл заметил, что юноша плачет, но тактично промолчал.

— У нас было два желтых грузовика фирмы «Дженерал моторс», — продолжал Стеллеватто, и в его голосе слышалась тоска по желтым машинам, по старику-отцу, по улицам Бостона, по климату Массачусетса, по телу миссис Шварц и по нежному прикосновению руки невесты, по домашнему вину и по болтовне братьев за миской макарон в воскресный вечер. — Дело наше все расширялось, — продолжал Стеллеватто. — Когда отец прибыл из Италии, у него была одна старая, восемнадцатилетняя кляча да разбитая телега, а к началу войны у нас было уже два грузовика, и мы подумывали о том, чтобы прикупить третий и нанять шофера. Но все вышло иначе: меня и братьев забрали в армию; грузовики пришлось продать, а наш старик отправился на базар и опять обзавелся конякой, так как он совсем неграмотный и не умеет водить машину. Моя невеста пишет, что он очень полюбил свою лошадку. А лошадка и прямо, видать, неплохая, вся в яблоках и совсем молодая. Но хоть

отроду ей всего семь лет, лошадь остается лошадью, и это совсем не то, что грузовик фирмы «Дженерал моторс». А у нас и впрямь дела шли хорошо.

— Вот вернусь домой,— спокойно сказал Стеллевато,— и женюсь на Анджелине или на другой девушке, если Анджелина передумает; у меня будет несколько ребят и только одна женщина. Но если я замечу, что жена меня обманывает, я проткну ей череп вилами для льда...

Майкл услышал, как кто-то вылез из его палатки, и увидел неясный силуэт приближающегося человека.

— Кто идет? — окликнул он.

— Пейвон,— прозвучал в темноте голос и торопливо до-
бавил: — полковник Пейвон.

Пейвон подошел к Майклу и Стеллевато.

— Кто на посту? — спросил он.

— Стеллевато и Уайтэкр,— ответил Майкл.

— Привет, Никки,— сказал Пейвон.— Как дела?

— Прекрасно, полковник,— голос Стеллевато звучал тепло и радостно. Он очень любил Пейвона, который смотрел на него скорее как на человека, приносящего счастье, чем как на солдата, и изредка обменивался с ним солеными шуточками на итальянском языке и разными историями из прежней жизни.

— А у вас, Уайтэкр, все в порядке?

— Лучше быть не может,— ответил Майкл. В темную дождливую ночь их слова звучали непринужденно, по-товарищески. Полковник никогда не беседовал бы так с солдатами при полном свете дня.

— Хорошо,— сказал Пейвон, прислонившись к капоту джипа рядом с ними. Его голос звучал устало и задумчиво. Он небрежно, не закрывая огонь спички, зажег сигарету, и из мрака выглянули на мгновение его темные густые брови.

— Вы пришли, чтобы сменить меня, полковник? — спросил Стеллевато.

— Не совсем так, Никки. Ты и так слишком много спишь. Ты ничего не достигнешь в жизни, если будешь все время спать.

— А я ничего и не добиваюсь,— ответил Стеллевато,— я только хочу вернуться домой и опять развозить лед.

— Была бы у меня такая работа,— съязвил Майкл,— я бы тоже хотел к ней вернуться.

— Он и вам успел наврать? — спросил Пейвон.

— Клянусь богом! — воскликнул Стеллевато.

— Я не знал ни одного итальянца, который говорил бы правду о женщинах,— сказал Пейвон.— Если хотите знать, Никки еще девственник.

— Я покажу вам письма,— сказал Стеллевато. Его голос дрожал от обиды.

— Полковник,— решил Майкл, ободренный темнотой и шутивым тоном беседы.— Я бы хотел поговорить с вами, если вы, конечно, не идете спать.

— Я не могу спать,— сказал Пейвон.— Совсем не спится. Пойдемте, пройдемся немного.— Они сделали было несколько шагов, но Пейвон остановился и обратился к Стеллевато:— Следи за парашютистами и остерегайся мужей, Никки.

Он коснулся руки Майкла, и они пошли прочь от джипа.

— А знаете что? — тихо сказал он.— Я верю, что все рассказы Никки — совершенная правда.— Довольный, он рассмеялся и уже более серьезным голосом спросил:— Ну, выкладывайте, что у вас на уме, Майкл.

— Я хочу попросить вас об одном одолжении.— Майкл замялся. «Опять надо принимать решение»,— подумал он с раздражением.— Переведите меня в строевую часть.

Пейвон некоторое время шел молча.

— А что случилось? — спросил он.— Угрызения совести?

— Может быть,— ответил Майкл,— может быть. Эта церковь сегодня, канадцы... Я, право, не знаю. Я начал понимать, зачем я пошел на войну.

— Вы знаете, зачем вы на войне? — сухо рассмеялся Пейвон.— Счастливый человек.— Они прошли несколько шагов в молчании.— Когда я был в возрасте Никки,— неожиданно сказал он,— я пережил самые худшие дни в моей жизни из-за одной женщины.

Майкл кусал губы, его злило, что Пейвон игнорирует его просьбу.

— Сегодня вечером,— мечтательно сказал Пейвон,— лежа в своей палатке во время воздушного налета, я все вспоминал об этом. Вот почему я никак не мог уснуть.

Пейвон замолчал и задумчиво потянул за край брезента, свесившийся со стоявшего под деревом бронетранспортера.

— Полковник,— снова начал Майкл,— я просил вас об одолжении.

— Что? — Пейвон остановился и повернулся к Майклу.

— Я прошу вас перевести меня в строевую часть,— сказал Майкл, чувствуя неловкость своего положения: ведь Пейвон может подумать, что он просто хочет прослыть героем.

Полковник кисло улыбнулся.

— А вам-то какая женщина насолила? — спросил он.

— Дело совсем не в этом,— объяснил Майкл, ободрен-

ный темнотой.— Просто я считаю, что должен приносить какую-то пользу...

— Какое самомнение! — воскликнул Пейвон, и Майкл был поражен, с каким отвращением это было сказано.— Клянусь богом, ненавижу умничающих солдат. Вы думаете, армии сейчас больше нечего делать, как обеспечивать вам возможность принести достойную жертву, чтобы успокоить вашу мелкую совесть? Вы не довольны своей службой? — резко спросил он.— Вы думаете, что водить джип недостойно человека с дипломом? И вы не успокоитесь, пока не заработаете пулю в живот. Армии нет дела до ваших проблем, мистер Уайтэкр. Армия использует вас, когда сочтет нужным, будьте спокойны. Может быть, всего на одну минуту за все четыре года, но обязательно использует. И может быть, вам придется умереть в эту минуту, а пока что не приставайте ко мне со своими интеллигентскими угрызениями совести и не просите, чтобы я поставил вам мученический крест, на который вы могли бы взобраться. Я занят делом, я руковожу частью и не могу тратить ни времени, ни сил, чтобы воздвигать кресты для полоумных рядовых из Гарвардского университета.

— Я не учился в Гарварде,— глупо возразил Майкл.

— И больше не обращайтесь с такими просьбами, солдат! — сказал в заключение Пейвон.— До свидания...

— Слушаюсь, сэр! — отчеканил Майкл.— Благодарю вас.

Пейвон повернулся и, шлепая ботинками по мокрой траве, исчез в темноте.

«Сволочь! — выругался про себя Майкл.— Доверяй после этого офицерам!»

Подавленный и уязвленный, он медленно побрел вдоль палаток, вырисовывавшихся бледными пятнами во мраке ненастной ночи. Все в этой войне оказалось совсем не таким, как представлялось раньше... Дойдя до своей палатки, он сунул руку под парусину и вытащил припрятанную бутылку кальвадоса. Сделав большой глоток, он почувствовал, как алкоголь обжег все внутри. «Вероятно, я умру от язвы двенадцатиперстной кишки,— подумал Майкл,— где-нибудь в полевом госпитале под Шербуром. Похоронят меня вместе с солдатами первой дивизии и двадцать девятого полка, которые штурмовали доты и брали старинные города. А в воскресенье придут благодарные французы и, скорбя, возложат цветы на мою могилу...» Отхлебнув еще и, наконец, опорожнив бутылку он сунул ее обратно в палатку.

В мрачном раздумье Майкл зашагал вдоль линейки. Вино начало действовать. «Все бегут,— думал он.— Бегут от своих родителей, итальянцев и евреев, бегут от холодных жен.

от братьев, удостоенных «Почетной медали конгресса», бегут из пехоты, бегут от сожалений, бегут от совести, от зря прожитой жизни!.. А немцы в пяти милях отсюда; интересно, от кого бегут немцы? Две армии в отчаянии бегут навстречу друг другу, бегут от мрачных воспоминаний о днях мира...

«Господи,— подумал Майкл, глядя на первые проблески зари, окрасившие небо над немецкими позициями,— хорошо бы меня сегодня убили...»

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В девять часов появились самолеты: Б-17, Б-24, «митчелы», «мародеры». Столько самолетов Ной еще не видел ни разу в жизни. Воздушная армада величаво, четким строем — совсем как на плакатах, завлекающих молодежь в авиацию,— плыла в безоблачной синеве неба, и алюминий сверкал под лучами яркого летнего солнца во славу неистощимой энергии и мастерства тружеников американских заводов. Ной стоял в щели, которая вот уже неделю служила укрытием ему и Бернекеру, и с интересом наблюдал за стройными рядами машин.

— Давно бы пора,— проворчал Бернекер.— Тоже мне летчики. Дрянь паршивая! Еще три дня назад их ждали.

Ной промолчал, продолжая наблюдать за самолетами, в серебристых рядах которых то тут, то там стали появляться черные клубочки разрывов: заработали немецкие зенитки. Время от времени снаряды достигали цели, выбивая из строя очередную жертву. Некоторые подбитые самолеты поворачивали назад и, волоча за собой густой черный шлейф дыма, пытались дотянуть до линии фронта, к своим, другие же взрывались сразу, и их обломки, объятые пламенем, неестественно тусклым на фоне яркого неба, валились вниз с высоты в несколько тысяч футов. Над полем боя повисли белые куполы парашютов, словно зонтики, защищающие кого-то от слепящего летнего солнца Франции.

Бернекер говорил правду. Наступление должно было начаться три дня тому назад, но не состоялось из-за плохой погоды. Вчера начальство попыталось было выпустить часть самолетов, но тучи снова сгустились, и летчики вернулись, едва успев начать бомбежку, а пехота так и не вылезала из окопов. Но сегодня утром никто уже не сомневался, что наступление начнется.

— Погода такая,— заметил Бернекер,— что можно разбомбить всю немецкую армию с тридцати тысяч футов.

В одиннадцать часов — к этому времени авиация, по замыслу, должна подавить или дезорганизовать немецкую оборону перед войсками, сосредоточенными для наступления, — в атаку идет пехота с задачей пробить брешь в обороне для бронетанковых войск и обеспечить ввод в прорыв свежих дивизий, которые, развивая успех, проникнут глубоко в тыл немцев. Все это солдатам подробно растолковал лейтенант Грин, который теперь командовал ротой. Хотя внешне солдаты относились к этому хитроумному плану весьма скептически, сейчас, когда все увидели, с какой убийственной точностью делают свое дело громадные бомбардировщики, никто уже не сомневался, что наступление пойдет гладко.

«Прекрасно, — подумал Ной, — все будет, как на параде». После возвращения из вражеского тыла он замкнулся в себе, стал сдержанным и в дни, предоставляемые для отдыха, или в часы относительного затишья на передовой все время размышлял, пытаясь переосмыслить свое отношение к окружающим, проникнуться философией равнодушия и отрешенности, чтобы раз и навсегда оградить себя от ненависти Рикетта и тех солдат роты, которые относились к нему так же, как сержант. Глядя на самолеты, с ревом пролетающие над головой, прислушиваясь к взрывам бомб где-то впереди, он думал, что в известном смысле должен быть благодарен Рикетту. Ведь именно Рикетт избавил его от необходимости искать способ отличиться, дав понять, что, какой бы подвиг ни совершил Ной — пусть даже один взял бы Париж или за день перебил целую эсэсовскую бригаду — он не будет к нему благосклоннее.

«Хватит, — решил Ной. — Теперь мне на все наплевать. Буду плыть по течению. Ни быстрее, ни медленнее, ни лучше других, ни хуже. Все пойдут вперед, пойду и я, будут драпать — я тоже...» Ной принял это решение, стоя в сырой щели за неизменной живой изгородью, прислушиваясь к разрывам бомб и вою пролетающих над головой снарядов, и вдруг сразу обрел какое-то странное ощущение покоя. Правда, покой этот был безрадостный, безнадежный, означавший крушение самых светлых чаяний, но все же это был покой. Он расслаблял натянутые нервы, успокаивал и, как он ни был горек, сулил возможность сохранить жизнь.

Он с интересом наблюдал за самолетами.

Рассеянно поглядывая сквозь изгородь в сторону окопов противника, то и дело встряхивая головой, когда от грохота мощных разрывов закладывало уши, Ной испытывал чувство жалости к немцам, которые были там, за воображаемым рубежом, где летчики сбрасывали бомбы. Воюя

здесь, на земле, с оружием, способным послать всего несколько граммов металла на какие-то жалкие сотни ярдов, он не мог не питать ненависти к равнодушным убийцам, летающим высоко в небе, и вдвойне сочувствовал забившимся в окопы беспомощным людям, на которых безжалостный век машин обрушивал тонны взрывчатки. Посмотрев на Бернекера, он заметил на его худом юношеском лице болезненную гримасу и понял, что друга угнетают те же мысли.

— Господи,— пробормотал тот,— почему они не перестанут? Довольно уже, хватит... Фарш они из них хотят сделать, что ли?

Немецкие зенитные батареи были уже подавлены, и самолеты шли спокойно, как на маневрах.

Вдруг совсем близко что-то засвистело, раздался чудовищный взрыв, земля взметнулась вверх. Бернекер схватил Ноя и потянул его вниз. Скрючившись, прижавшись друг к другу, они старались как можно глубже забиться в щель. Ноги у них сплелись, каски соприкасались. Вокруг одна за другой с оглушающим треском рвались бомбы. В щель сыпалась земля, падали камни, обломки сучьев.

— Ах, сволочи! — ругался Бернекер.— Не летчики, а гнусные убийцы!

Вокруг раздавались душераздирающие крики, вопли раненых. Но вылезти из щели было нельзя, так как бомбы все падали и падали. Ной слышал монотонное деловитое жужжание самолетов, которые спокойно и методично продолжали делать свое дело, недостигаемые на своей спасительной высоте. В самолетах сидели люди, уверенные в собственном мастерстве, бесспорно довольные достигнутыми результатами.

— Жалкие бездельники! — продолжал Бернекер.— А еще такие надбавки получают... Убийцы! Ведь так никого из нас в живых не останется!

«Это будет последняя гадость, которую сделает мне армия,— думал Ной.— Она убьет меня сама, не доверив этого немцам. Хоуп не должна знать, что это сделали американцы. Ей не должны сообщать, как все произошло...»

— Летающие мешки с деньгами! — выкрикивал Бернекер в промежутках между взрывами диким, полным ненависти голосом.— Чинов нахватили! Сержанты, полковники! Вот тебе и хваленые бомбардировочные прицелы! Вот тебе и чудо техники! Чего еще от них ждать? Они как-то умудрились бомбить даже Швейцарию! Прицельное бомбометание! Эти ублюдки не могут даже отличить одну страну от другой! Где уж им разобраться, какие войска свои, какие чужие!

Он орал прямо Ною в лицо, брызжа от ярости слюной. Ной знал, что Бернекер кричит просто для того, чтобы они оба не лишились рассудка, чтобы заставить себя еще глубже врасти в щель, чтобы не дать угаснуть последней искорке надежды на спасение.

— А им хоть бы что! — кричал Бернекер. — Им все равно, кого бомбить! Положено сбрасывать по сотне тонн бомб в день, а на кого — не важно, хоть на родную мать! Какой-нибудь паршивый штурманишка хватил вчера лишнего, а сегодня его мутит, и он только и думает, как бы поскорее добратся до кабака подлечиться. Вот он и решил сбросить бомбы на пару минут раньше, а куда — наплевать! Задание выполнено. Еще пяток таких вылетов, а там, глядишь, можно и домой на родину собираться... Клянусь богом, собственными руками задушу первого попавшегося молодчика в летной форме! Ей-богу...

Вдруг бомбежка, словно чудом, прекратилась. Самолеты еще жужжали над головой, но очевидно, летчики в ошибке все-таки разобрались и теперь летели к другим объектам.

Бернекер медленно встал и выглянул из щели.

— Бог ты мой! — только и смог вымолвить он.

Преодолевая дрожь в коленях, Ной тоже стал подниматься, но Бернекер толчком усадил его на место.

— Сиди! — резко сказал он. — Пусть санитары убирают. Все равно, там больше новички из пополнения... Сиди на месте. Бьюсь об заклад, эти чертовы олухи снова вернутся и начнут бросать на нас бомбы. Нельзя вылезать из укрытия. Ной... — Бернекер нагнулся к Ною и лихорадочно сжал его руки в своих сильных лапах. — Ной, нам нужно держаться друг друга. Тебе и мне. Всегда. Мы приносим друг другу счастье. Будем заботиться друг о друге. Если мы будем вместе, с нами ничего не случится. Погибнет вся проклятая Германия, а мы уцелеем... Мы будем жить...

Он неистово тряс Ноя. Глаза у него стала дикими, губы дрожали, а в хриплом голосе звучала твердая вера в то, что он говорил, вера, окрепшая после многих испытаний, через которые они вместе прошли, на волнах Ла-Манша, в осажденной ферме, на скользком дне канала в ту ночь, когда утонул Каули.

— Ты должен обещать мне, Ной, — прошептал Бернекер, — что мы никому не дадим разлучить нас. Никогда! Как бы они ни старались... Обещай мне!

Ной заплакал, по его щекам тихо покатались беспомощные слезы: его растрогала и эта фанатическая вера, и то, что он так нужен своему другу.

— Ну конечно же, Джонни, конечно, обещаю, — прого-

ворил Ной, и на какой-то миг ему показалось, будто он вместе с Бернекером верит в их счастливое знамение, верит, что они пройдут невредимыми через все беды, если будут держаться друг друга...

Двадцать минут спустя все, кто уцелел после бомбежки, вылезли из укрытий и заняли прежний рубеж, с которого рота отошла, чтобы не попасть под удар собственной авиации. Затем, перебравшись через изгородь, солдаты двинулись по изрытому воронками зеленому пастбищу туда, где, по замыслу начальства, все немцы были либо уничтожены, либо деморализованы.

Угрюмо-сосредоточенные солдаты редкой цепью медленно шли по сочной траве, держа наготове винтовки и автоматы. «И это все, что осталось от роты? — с мрачным удивлением подумал Ной. — А пополнение, прибывшее в роту неделю назад, — новобранцы, которые не успели сделать ни единого выстрела? Неужели все погибли?»

На соседнем поле тоже виднелась редкая цепочка таких же изможденных, угрюмо-сосредоточенных солдат, которые медленно продвигались ко рву перед насыпью, резко выделявшейся на ровном зеленом лугу. Над головой по-прежнему с воем проносились снаряды, но ружейно-пулеметного огня пока слышно не было. Самолеты улетели в Англию, усеяв поле серебристыми блестящими фольги, сброшенными ими, чтобы сбить с толку радиолокаторчиков противника. Под яркими солнечными лучами блестя искрились в густой зеленой траве, и Ной, шагая рядом с Джонни Бернекером, то и дело жмурился от их ослепительного блеска.

Путь до насыпи показался долгим, но, наконец, они добрались до желанного укрытия. Не дожидаясь команды, солдаты бросились в неглубокий ров у поросшей травой насыпи, инстинктивно ища укрытия, хотя по ним еще никто не стрелял. У всех был такой вид, словно они только что захватили важный объект, за который упорно сражались несколько дней.

— А ну, живо! Шевелись! — заорал Рикетт. Так он орал на людей всегда, были ли они заняты чисткой уборных в лагере во Флориде или штурмовали пулеметные гнезда в Нормандии. Тот же голос, тот же тон, те же выражения. — Война еще не кончилась! А ну, вылезай из канавы!

Ной и Бернекер продолжали лежать, отвернув головы и уткнувшись в мягкую траву, делая вид, будто ничего не слышат, будто Рикетта здесь нет, будто Рикетт вообще больше не существует.

Трое или четверо новобранцев поднялись и, позвякивая

солдатским снаряжением, стали нерешительно взбираться на насыпь. Рикетт последовал за ними и, встав во весь рост на вершине насыпи, заорал на остальных:

— А ну, давай! Хватит отсиживаться! Живо!

Ной и Бернекер неохотно поднялись и вместе с другими медленно полезли на скользкую насыпь в шесть футов высотой. Бернекер забрался первым и протянул Ною руку. Впереди расстилался луг, на котором валялись убитые коровы, а дальше тянулись изгороди с посаженными на равных промежутках друг от друга деревьями. Противник по-прежнему молчал. Новобранцы, которые поднялись первыми, робко двинулись вперед, а Рикетт не переставал кричать.

Следуя за другими, Ной сделал первые несколько шагов. В этот момент он ненавидел Рикетта больше, чем когда бы то ни было.

И вдруг застрочили пулеметы. Вокруг засвистели пули и многие попадали, так и не успев услышать отдаленной трескотни пулеметов.

Цепь на мгновение замерла, люди в замешательстве устались на загадочную изгородь, извергавшую огонь.

— Вперед! — заорал Рикетт диким голосом, стараясь перекричать треск пулеметов.— Бегом!

Но половина солдат уже залегла. Ной схватил Бернекера за руку, и оба, низко пригнувшись, бросились назад за насыпь и, тяжело дыша, сползли вниз, в спасительную зелень рва. Один за другим в ров скатывались запыхавшиеся солдаты. На гребне насыпи показался Рикетт. Шатаясь и отчаянно жестикулируя, он что-то хрипло выкрикивал, а из горла у него хлестала кровь. Потом, скошенный новой очередью, он упал ничком и соскользнул вниз прямо на Ноя. Ной почувствовал на своем лице теплую кровь сержанта. Он отшатнулся, но Рикетт словно прирос к нему, обхватив его за плечи, и крепко вцепившись руками в ремни вещевого мешка.

— Сволочи! — четко произнес Рикетт.— Эх, вы, сволочи...

Потом его тело обмякло, и он повалился к ногам Ноя.

— Готов,— сказал Бернекер,— наконец-то этот сукин сын подох...

Бернекер оттащил убитого в сторону, а Ной стал неторопливо стирать со своего лица кровь.

Стрельба прекратилась, и опять стало тихо, только с поля доносились вопли и стоны раненых. Но стоило кому-нибудь выглянуть из-за насыпи, чтобы посмотреть, чем им помочь, как противник снова открывал огонь, и в ров летела трава, скошенная пулями. Оставшиеся от роты солдаты, вконец изнуренные, улеглись вдоль рва.

— Проклятая авиация! — ругался Бернекер. — «Всякое сопротивление будет сломлено; все будет уничтожено или подавлено». Подавили, нечего сказать! Как только увижу первого летуна, клянусь богом...

Люди уже немного отдышались и теперь тихо лежали во рву, предоставляя возможность повоевать другим.

Вскоре появился лейтенант Грин. Ной слышал, как, шагая вдоль рва, он уговаривал солдат своим тоненьким, девичьим голоском.

— Нельзя же так! — визжал лейтенант. — Вставайте! Надо идти вперед. Вперед! Сколько можно сидеть здесь? Второй взвод посылает группу, она обойдет пулеметы слева, а мы должны сковать их отсюда. Вставайте же, ну поднимайтесь!

В голосе лейтенанта звучало отчаяние, но солдаты даже не смотрели на него. Они прятали лица в густой мягкой траве, не обращая ни малейшего внимания на его уговоры.

Грин неожиданно вскарабкался на насыпь и, встав во весь рост, продолжал уговаривать и умолять, но никто так и не двинулся с места. Ной с интересом следил за лейтенантом и ждал, что вот-вот его убьют. Снова застрочили пулеметы, но Грин все метался как одержимый, выкрикивая бессвязные слова:

— Это же просто. Ничего особенного. Давайте же...

Наконец он снова прыгнул вниз, отошел ото рва и зашагал назад по открытому полю. Пулеметы смолкли. Все были очень довольны, что лейтенант ушел.

«Вот она, моя система, — хитро усмехнулся про себя Ной, — так я проживу целый век. Просто нужно делать то же, что и все. Возьму и останусь здесь, ну и что мне могут сделать?»

Справа и слева гремел бой, но они ничего не видели и не знали, что творится вокруг. Здесь во рву было тихо и безопасно. Немцы им здесь ничего не могли сделать, а они в свою очередь не собирались причинять вред немцам. Всех это вполне устраивало, ощущение прочной безопасности приятно согрело душу. Вот когда немцы отойдут или их окружат, можно будет подумать о том, чтобы двинуться дальше, а пока — рано.

Бернекер вытащил коробку с сухим пайком и вскрыл ее.

— Опять телячья колбаса, — недовольно пробурчал он, отправляя ломтики в рот прямо с ножа. — И какой дурак придумал это блюдо? А эту дрянь, — продолжал он, с презрением отбрасывая пакетик с порошком искусственного лимонада, — я в рот не возьму, даже если буду подыхать от жажды!

Ноя есть не хотелось. Он то и дело поглядывал на труп Рикетта, лежавший в трех шагах от него. Глаза убитого были широко раскрыты, на окровавленном лице застыла гневная начальственная гримаса, в горле зияла огромная рана. Сколькo Ной ни пытался внушить себе, что ему приятно видеть своего врага мертвым, это не удавалось. Смерть превратила Рикетта из злобного хулигана, грубияна, сквернословa и убийцы в еще одного павшего американца, погибшего товарища, утраченного союзника...

Ной тряхнул головой и отвернулся.

К насыпи снова приближался лейтенант Грин, а с ним неторопливо шагал какой-то высокий человек, задумчиво разглядывая упрямецв, развалившихся во рву. Когда они подошли ближе, Бернекер тихо воскликнул:

— Господи, генерал! Две звезды...

Ной приподнялся и удивленно уставился на подошедшего: за все время пребывания в армии он ни разу не видел генерала так близко.

— Генерал-майор Эмерсон! — испуганно прошептал Бернекер. — Какого черта ему здесь надо? Сидел бы уж у себя...

Но тут генерал с неожиданным проворством вскочил на насыпь и встал во весь рост на виду у немцев. Затем он медленно пошел вдоль рва, обращаясь к застывшим от изумления солдатам. Сбоку у него висел пистолет, а под мышкой торчал стек.

«Невероятно,— подумал Ной,— это, должно быть, кто-то просто прицепил себе генеральские звезды. Грин пытается надуть нас».

Застучали пулеметы, но генерал продолжал идти все так же медленно, легким, спокойным шагом, как тренированный спортсмен, обращаясь к солдатам, мимо которых он проходил.

— Ну, хватит, ребята,— расслышал Ной негромкий, спокойный, дружелюбный голос, когда генерал стал приближаться к нему,— хватит, пошли. Не сидеть же здесь целый день. Пошли вперед. Мы держим всех остальных, пора двигаться. Вот что, друзья, только вон до тех изгородей, и хватит. Больше я вас ни о чем не прошу. Вперед, ребята! Сколько можно здесь торчать?

Ной заметил, что левая рука генерала вдруг вздрогнула, и из кисти начала сочиться кровь. Но тот только недовольно поморщился и, плотнее сжав стек под мышкой, продолжал разговаривать с солдатами все тем же ровным проникновенным голосом. Дойдя до Ноя и Бернекера, он остановился.

— Ну что ж, ребята, пойдем? — ласково продолжал он. — Только до изгородей...

Теперь Ной мог лучше разглядеть генерала. Длинное, худощавое лицо его со спокойными печальными глазами, красивое и интеллигентное, скорее напоминало лицо ученого или врача. Это открытие настолько смутило Ноя, что ему стало казаться, будто до настоящего момента армия все время дурачила его. Грустное выражение на мужественном лице словно подхлестнуло Ноя, и он вдруг понял, что не в силах отказать такому человеку ни в чем.

Он поднялся и тут же почувствовал, что Бернекер следует его примеру. На лице генерала на мгновение промелькнула скупая, едва заметная благодарная улыбка.

— Ну вот, молодцы, — сказал он и похлопал Ноя по плечу. Ной с Бернекером пробежали метров пятнадцать и укрылись в воронке.

Ной оглянулся. Хотя противник вел ожесточенный огонь, генерал все еще стоял на насыпи, а по всему участку солдаты выпрыгивали из рва и короткими перебежками продвигались вперед по полю.

«А ведь до сих пор, — мелькнула в голове у Ноя смутная мысль, когда он снова повернулся в сторону противника, — я и не знал, для чего вообще нужны генералы...»

Ной с Бернекером выскочили из воронки, как раз когда в нее спрыгнули еще двое солдат. Наконец-то рота или, вернее, ее уцелевшая половина пошла в атаку.

Через двадцать минут они уже были у изгороди, из-за которой их не так давно обстреливали пулеметы противника. Минометчики в конце концов пристрелялись и уничтожили одно из пулеметных гнезд в углу поля, а остальные немцы отступили еще до того, как Ной и другие солдаты роты добрались до изгороди.

Ной в изнеможении опустился на колени около хитроумно замаскированного пулеметного гнезда, тщательно укрепленного мешками с песком. Теперь гнездо было разворочено, и около разбитого пулемета виднелось трое убитых немцев, один из которых как бы застыл, склонившись над пулеметом. Бернекер пнул убитого, и тот свалился на бок.

Ной отвернулся, достал фляжку и выпил немного воды: у него пересохло в горле. Хотя он за весь день не сделал ни единого выстрела, плечи у него ныли, словно от отдачи после продолжительной стрельбы.

Он выглянул из-за изгороди. В трехстах ярдах, в конце поля, точно так же изрытого воронками, между которыми валялись убитые коровы, тянулась другая плотная изгородь,

и оттуда немцы вели пулеметный огонь. Ной вздохнул, увидев, что к ним приближается Грин, призывая солдат сделать еще один бросок. «А что же случилось с генералом?» — подумал он. Затем Ной и Бернекер снова двинулись вперед.

Не успели они сделать несколько шагов, как Ноя ранило. Бернекер оттащил его в безопасное место за изгородью.

Санитар появился удивительно быстро, но Ной уже успел потерять много крови, и теперь его знобило, все окружающее отодвинулось куда-то далеко-далеко, а лицо санитара расплывалось, как во сне. Санитар был щупленький косоглазый грек со щегольскими усиками. Когда он с помощью Бернекера делал Ною переливание крови, тому казалось, что странные черные глаза и тоненькие усики как бы парят в воздухе. «Шок», — пронеслось в голове у Ноя. Во время прошлой войны человека, бывало, ранит, но вначале он чувствует себя совсем хорошо и даже просит закурить — где-то в журнале писали об этом, — а потом, через каких-нибудь десять минут, умирает. Но сейчас все по-другому. Эта война ведется первоклассными, самыми современными средствами, и крови для переливания сколько угодно. Косоглазый грек сделал ему также укол морфия, и это было очень любезно с его стороны, так как он вовсе не был обязан давать морфий... Странно, что ему так понравился этот косоглазый человек, который раньше был поваром закуской где-то в Пенсильвании и готовил примитивные блюда: яичницу с ветчиной, бифштекс, консервированный бульон. Теперь он вливает консервированную кровь. Аккерман из Одессы и Маркос из Афин сидят в летний день где-то близ разрушенного города Сен-Ло в Нормандии, связанные трубочкой, по которой течет консервированная кровь, а рядом склонился Бернекер, фермер из Айовы, и плачет, плачет...

— Ной, а Ной, — всхлипывал парень из Айовы, — как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?

Ною казалось, что он улыбается Джонни Бернекеру, но в действительности даже подобия улыбки не получилось, несмотря на все его усилия, и вскоре он понял это. К тому же, ему стало страшно холодно — слишком холодно для лета, слишком холодно для солнечного полдня, слишком холодно для Франции, слишком холодно для июля и для его лет...

— Джонни, — с трудом прошептал он, — не беспокойся. Джонни. Береги себя. Я вернусь, Джонни, честное слово вернусь...

Война вдруг стала какой-то забавной. Не было больше ни окриков, ни брани. Не было Рикетта: он погиб, обagrив

Ноя своей сержантской кровью. Теперь был маленький добрый грек с мягким голосом, заботливыми руками, косыми глазами — щупленький человечек с тонкими усиками и странным греческим именем; теперь было худощавое, грустное лицо генерала, который зарабатывал свое жалованье, прогуливаясь под огнем со стеклом под мышкой, — трагичное и властное лицо человека, которому ни в чем нельзя отказать; теперь были горячие братские слезы Джонни Бернекера, которого он поклялся не покидать никогда, потому что они приносят друг другу счастье и должны выжить, пусть даже погибнет вся рота, и обязательно выживут, раз здесь столько полей, столько изгородей, которые еще предстоит брать! Армия изменилась, армия продолжает быстро меняться на глазах, чувствовал Ной сквозь крутящуюся паутину трубок и зажимов, сквозь пелену морфия и слез.

Ноя положили на носилки и понесли. Он приподнял голову. Сняв каску, Джонни Бернекер сидел на земле и, одинокий в своем горе, оплакивал друга. Ной попытался окликнуть Джонни, заверить его, что все обойдется, но не смог издать ни звука. Он снова уронил голову и закрыл глаза, потому что было невыносимо горько смотреть на покинутого друга.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Под жаркими солнечными лучами конские трупы вздувались и смердели. К этой вони примешивался резкий больничный запах, исходивший от разбитого санитарного обоза: исковерканных, перевернутых повозок с бесполезными теперь красными крестами, рассыпанных остро пахнущих порошков, ворохов всяких бумажек. Убитых и раненых убрали, а обломки обоза по-прежнему валялись вдоль извиляющейся в гору дороги в том самом виде, в каком их оставили пикирующие бомбардировщики.

Христиан, все еще не расставшийся со своим автоматом, медленно шагал мимо разбитого обоза вместе с другими потерявшими свои части солдатами, которых набралось человек двадцать. Никого из них он не знал. Он примкнул к этой разношерстной группе только сегодня утром, отстав от наспех сформированного взвода, куда его назначили три дня назад. Он не сомневался, что ночью взвод сдался противнику, и испытывал мрачное чувство облегчения от того, что больше не приходится отвечать за поступки других.

При виде разбитого обоза с красными крестами, которые так никому и не помогли, его охватили отчаяние и гнев, гнев на тех молодчиков, которые со скоростью шестисот

километров в час ринулись на едва тащившиеся в гору повозки, до отказа набитые искалеченными, умирающими людьми, и с бессмысленной жестокостью обрушили на них бомбы и град пулеметных очередей.

Поглядывая на своих спутников, он видел, что те не разделяют его гнева. В глазах у них было лишь отчаяние. Они потеряли способность гнеться и брели, вконец измученные, согнувшись под тяжестью ранцев, некоторые даже без оружия, не обращая внимания ни на разбитый обоз, ни на смердящие конские трупы. Они медленно брели на восток, то и дело тревожно окидывая взором ясное, но грозное небо, брели без цели, без надежды, как затравленные звери, жаждущие лишь добраться до тихого, укромного местечка, где можно лечь и спокойно умереть. Некоторые, охваченные безумной жаждой стяжательства, не желали расставаться с награбленным добром даже в сумятице отступления и смерти. Один нес в руке скрипку, отнятую у какого-то безвестного любителя музыки, у другого торчала из ранца пара серебряных подсвечников — немое свидетельство того, что он даже в этой предсмертной агонии не терял веры в будущее, в торжественные обеды при мягком свете свечей. Здоровенный красноглазый детина, без каски, с копной насквозь пропылившись рыжих волос, нес в ранце с десятком деревянных ящичков камамберского сыра. Он упрямо шагал вперед, обгоняя других. Когда он поравнялся с Христианом, тот, несмотря на и без того невыносимую вонь, почувствовал острый, кислый запах размякшего сыра.

В голове разбитой колонны стояла повозка с установленной на ней 88-миллиметровой зенитной пушкой. Лошади в постромах застыли в диких позах, словно, насмерть перепуганные, рвались в галоп. Ствол и лафет были забрызганы кровью. «И это немецкая армия, — мрачно подумал Христиан, проходя мимо, — лошади против самолетов...» Правда, в Африке тоже отступали, но там, по крайней мере, отступали на машинах. Ему вспомнился мотоцикл и Гарденбург, итальянский штабной автомобиль, санитарный самолет, перенесший его через Средиземное море в Италию. Такова уж, видно, судьба немецкой армии: чем дальше она воюет, тем примитивнее становятся средства ведения войны. Кругом одни эрзацы: эрзац-бензин, эрзац-кофе, эрзац-кровь, эрзац-солдаты...

Казалось, он всю жизнь отстывает. Даже трудно было припомнить, наступал ли он когда-нибудь. Отступление стало обычным явлением, неотъемлемым условием существования. Назад, все назад, вечно побитые, измотанные, вечно среди смердящих трупов — трупов убитых немцев, вечно пресле-

двумя вражескими самолетами с пулеметами, изрыгающими из крыльев буйно пляшущие язычки пламени, с летчиками, которые довольно ухмыляются, убивая без всякого риска для себя сотни людей в одну минуту.

Сзади раздался громкий гудок автомобиля, и Христиан, посторонившись, сошел на обочину. Мимо промчалась маленькая закрытая машина, обдав его клубами пыли. Перед глазами Христиана промелькнули гладко выбритые лица пассажиров, у одного во рту торчала сигара.

Вдруг кто-то предостерегающе закричал, в небе послышался рев моторов. Христиан метнулся в сторону и прыгнул в ближайшую щель. Подобные щели немецкая армия предусмотрительно отрыла вдоль многих дорог Франции специально для этой цели. Он пригнулся к сырой земле и, не смея поднять головы, прислушивался к завыванию моторов, к дикой трескотне пулеметов. Сделав два захода, самолеты улетели. Христиан встал и выбрался из щели. Никто из его спутников не пострадал, но маленькая машина перевернулась, уткнувшись в придорожное дерево, и горела. Двух пассажиров выбросило на середину дороги, и они лежали там неподвижные. Двое других остались в объятый пламенем машине, где горели вместе с обивкой, обильно политой расплескавшимся бензином.

Христиан медленно подошел к тем двум, которые ничком лежали на дороге. С первого взгляда было ясно, что оба мертвы.

— Офицеры, — проворчал кто-то сзади. — Отъездились. — Говоривший сплюнул.

Остальные равнодушно прошли мимо. Христиан секунду колебался, подумав, что, может быть, следует попросить кого-нибудь помочь ему убрать трупы, но ведь тогда неизбежно последуют пререкания, а какая теперь разница, останутся трупы на дороге или их оттащат на обочину...

Христиан медленно пошел дальше, чувствуя дрожь в больной ноге. Во рту был противный привкус, словно все там пропиталось запахом конской падали и лекарств из разбитых склянок. Стараясь отделаться от него, Христиан высморкался, прокашлялся и несколько раз сплюнул.

На другой день Христиану повезло. Ночью он покинул остальных и, медленно шагая по дороге, подошел к окраине города, казавшегося при лунном свете мрачным, пустынным и безжизненным. Один входить в город ночью он не решался, так как жители, заметив на темной улице одинокого солдата, могли схватить его, отобрать оружие, раздеть и, прикончив, бросить где-нибудь под забором. Поэтому, пристроившись под деревом, он немного поел, экономно

расходуя свой сухой паек, прилег и проспал до рассвета.

Стремясь как можно быстрее миновать город, он чуть не бежал по булыжной мостовой мимо серой церкви, мимо неизменного памятника победы с пальмовыми ветвями и штыками перед зданием городской ратуши, мимо запертых магазинов и лавок. Кругом было безлюдно. Там, где проходили отступающие немцы, французы словно исчезали с лица земли. Казалось, даже кошки и собаки понимали, что безопаснее всего укрыться где-нибудь и переждать, пока не схлынет поток озлобленных солдат разгромленной армии.

Счастье свалилось в руки Христиану, когда он уже выходил из города. Последние ряды городских строений еще не исчезли из виду, но он, тяжело дыша, продолжал идти, не сбавляя шаг, когда на дороге показался велосипедист, выскочивший из-за поворота.

Христиан замер. Велосипедист явно торопился: низко пригнувшись к рулю и энергично работая ногами, он мчался прямо на Христиана.

Христиан вышел на середину дороги и стал ждать. Это был мальчик лет пятнадцати-шестнадцати на вид, с непокрытой головой, в синей рубашке и форменных брюках времен старой французской армии. Он мчался по тряскому булыжнику в холодной утренней дымке между рядами тополей, выстроившихся по обеим сторонам дороги, а перед ним скользила бледная, сильно вытянутая тень от колес и быстро вращающихся педалей.

Мальчик заметил Христиана, когда уже был в каких-нибудь тридцати метрах от него, и, резко затормозив, остановился.

— Иди сюда! — хрипло закричал Христиан по-немецки, так как все французские слова вдруг вылетели у него из головы. — Подойди сюда... Ну?

Он направился к мальчику. Несколько мгновений оба пристально смотрели друг на друга. Лицо мальчика, обрамленное темными вьющимися волосами, побледнело, в черных глазах был страх. Затем, встрепенувшись, словно перепуганный зверь, он быстрым движением развернул велосипед, разбежался, вскочил в седло и, прежде чем Христиан успел снять автомат, уже мчался обратно, отчаянно нажимая на педали. Его синяя рубашка пузырилась на спине от встречного ветра.

Христиан, не задумываясь, открыл огонь. Он сразил мальчика со второй очереди. Тот повалился на дорогу, а велосипед скатился в придорожную канаву.

Христиан неуклюже побежал по неровной дороге. Стук его кованых ботинок громко отдавался в утренней тишине.

Осмотрев велосипед и убедившись, что он невредим, Христиан мельком взглянул на мальчика. Тот лежал ничком, черная кудрявая голова была повернута на бок лицом к Христиану. На верхней губе под тонким изящным носом пробивался едва заметный пушок. На спине на синей выцветшей ткани рубашки медленно расплывалось красное пятно. Христиан хотел было подойти к мальчику, но раздумал. В городе, очевидно, слышали выстрелы, и если его обнаружат здесь, то ему, конечно, не сдобровать.

Вскочив на велосипед, Христиан покатил на восток. После многодневной утомительной ходьбы ему казалось, что земля проносится под ним с удивительной быстротой. Ногам было легко, встречный ветер, ласковый и свежий, приятно обдувал лицо, а взгляд радовала зеленая, покрытая легкой росой листва на деревьях, посаженных по обеим сторонам дороги. «Ну вот,— подумал он,— не одним офицерам ездить».

Дороги Франции, ровные, без утомительных крутых подъемов, как бы специально построены для велосипедистов. По таким дорогам можно легко делать километров по двести за день.

Христиан вновь почувствовал себя молодым, сильным, и впервые с тех пор, как он увидел первый планер, опускавшийся на побережье в то далекое недоброе утро, у него появилась уверенность, что для него не все еще потеряно. Через полчаса, когда велосипед мягко катился по дороге, отлого спускавшейся между полями полусозревшей пшеницы, отливающей бледной желтизной в лучах утреннего солнца, он вдруг поймал себя на том, что насвистывает какую-то мелодию, которая сама собой зародилась где-то в глубине души, насвистывает весело, непринужденно, совсем как на воскресной загородной прогулке.

Весь день он ехал на восток, к Парижу. Он обгонял солдат, которые группами брели пешком или медленно тащились на крестьянских повозках, до отказа забитых картинами, мебелью, бочками с сидром. Беженцев он видел во Франции и раньше, давным-давно. Тогда все казалось вполне естественным: это были, главным образом, женщины, дети, старики, и у них, конечно, имелись основания держаться за свои перины, горшки и иную утварь, так как они надеялись основать домашний очаг где-нибудь в другом месте. Но было просто нелепо, когда в таком виде предстала немецкая армия — вооруженные, одетые в военную форму молодые мужчины, которые могли надеяться лишь на то, что их либо в конце концов переформируют на одном из рубежей и каким-нибудь чудом снова заставят идти в бой,

либо они попадут в руки противника, наступающего, по слухам, со всех сторон. В любом случае картины в рамках из старинных нормандских замков и эмалированные светильники вряд ли им понадобятся. С каменными лицами солдаты разгромленной армии медленным потоком слепо тянулись к Парижу по залитым солнцем дорогам, без офицеров, без дисциплины, без организации, брошенные на произвол судьбы, на милость американцев, чьи самолеты и танки преследовали их по пятам. Изредка попадались французские автобусы с газогенераторными топками, битком набитые запыленными солдатами, которым на каждом подъеме приходилось вылезать и подталкивать свои колымаги. Иногда можно было видеть офицера, но и офицеры теперь предпочитали помалкивать и выглядели такими же растерянными и покинутыми, как и солдаты.

А лето во Франции было в самом разгаре. Стояла чудесная погода, ярко светило солнце, у крестьянских домиков пышно цвели красным и розовым цветом высокие кусты герани.

К вечеру Христиан совсем выбился из сил. Он уже много лет не садился на велосипед и первые пару часов переусердствовал. К тому же дважды по нему стреляли — он слышал, как над головой просвистели пули, и, стремясь уйти от опасности, гнал как безумный. Когда на закате он медленно въехал на центральную площадь какого-то довольно большого города, велосипед у него вилял, почти не слушаясь руля. Он с удовлетворением отметил, что на площади полно солдат. Одни сидели в кафе, другие, сломленные усталостью, спали на каменных скамьях перед ратушей, какие-то оптимисты возились с допотопным «ситроем», рассчитывая «выжать» из него еще несколько километров. Здесь, хотя бы ненадолго, он будет в безопасности.

Он слез с велосипеда, давно превратившегося для него в увертливую коварную врага, хитрую французскую штучку себе на уме, которая, упорствуя в своих кровожадных замыслах, отняла у него последние силы и уже раз пять пыталась сбросить его наземь то на поворотах, то на незаметных выбоинах.

Он вел велосипед, с трудом переставляя ослабевшие, негнущиеся ноги. Солдаты, сидевшие и лежавшие на площади, окидывали его тупым безразличным взглядом и тотчас же с холодным равнодушным видом отводили глаза. Он крепко держал велосипед, понимая, что любой из этих изнуренных людей с холодными, отчужденными глазами при малейшей возможности с радостью убил бы его за

эту пару колес и порядком потертые сиденье.

Он давно бы прилег где-нибудь и поспал несколько часов, но не решался. После тех выстрелов на дороге он не желал рисковать и не останавливался один даже в самых тихих и укромных местечках. Единственным спасением от засевших в засаде французов была либо быстрота, либо численность. Но здесь, в городе, среди других солдат, он тоже не мог прилечь, так как знал, что проснувшись, не найдет велосипеда. Он бы тоже не упустил случая и стащил велосипед у любого заснувшего товарища, и даже у самого генерала Роммеля, и поэтому не имел ни малейших оснований полагать, что все эти ожесточенные, со стертymi ногами люди, расположившиеся на площади, окажутся более разборчивыми в средствах.

«Нужно выпить,— подумал он.— Это подбодрит, придаст мне новые силы...»

Он вошел в открытую дверь кафе, катя рядом велосипед. В зале сидело несколько солдат, но они посмотрели на вошедшего без малейшего удивления, словно для них было вполне обычным явлением, что немецкие унтер-офицеры входят в кафе с велосипедами, вводят туда лошадей или въезжают прямо на броневиках. Христиан поставил велосипед к стенке, приперев заднее колесо стулом, на который уселся сам. Жестом подозвав старика буфетчика и заказав двойную порцию коньяку, он оглядел темный зал.

На стене висели обычные таблички на французском и немецком языках, знакомившие посетителей с правилами продажи спиртного и гласившие, что по вторникам и четвергам подается только аперитив. «Сегодня как раз четверг,— вспомнил Христиан.— Но, может быть, поскольку этот четверг особенный, теряют силу даже правила, утвержденные самим министром правительства Виши. Во всяком случае, министр, издавший эти правила, в данный момент, несомненно, драпает со всех ног и, пожалуй, сам бы не прочь пропустить рюмочку коньяку». Единственным законом, который действовал в этот летний вечер, был закон бегства, а реальной властью обладали лишь пушки 1-й и 3-й американских армий, гула которых в этой части страны пока еще не было слышно, но страшная власть которых уже царила и здесь.

Шаркая дряхлыми ногами, подошел буфетчик с рюмкой коньяку. У него была жиденькая, как у иудейского пророка, борода, а изо рта пахло гнилыми зубами. «Неужели даже здесь, в этом прохладном, темном зале,— с раздражением подумал Христиан,— нельзя избавиться от

этого мерзкого запаха разложения и смерти, запаха гнили и тлена?»

— Пятьдесят франков,— сказал старик, наклоняясь к брезгливо поморщившемуся Христиану и на всякий случай придерживая рукой рюмку.

Христиан хотел было поспорить со старым мошенником, заломившим такую непомерно высокую цену, но передумал. Французы, размышлял он, извлекают выгоду и из победы и из поражения, и из наступления и из отступления, и из дружбы и из вражды. Пусть теперь американцы немного поживут с ними. Посмотрим, как им это понравится! Он бросил на стол измятую пятидесятифранковую бумажку, отпечатанную в немецкой военной типографии. Все равно скоро от этих франков будет мало толку, подумал он, представив себе, как француз пытается получить что-нибудь с новых завоевателей за эти жалкие немецкие бумажки.

Старик неторопливо спрятал деньги и, обходя вытянутые ноги солдат, прошаркал к себе за стойку. Христиан вертел рюмку в руках, не торопясь приняться за коньяк, радуясь, что наконец сидит, что усталые ноги отдыхают, что плечи удобно опираются о спинку стула. Он стал неторопливо рассматривать сидящих в кафе. В полумраке нельзя было как следует разглядеть лица, но позы говорили о крайней усталости. Люди сидели молчаливые, задумчивые, медленно потягивая из своих рюмок, словно опасаясь, что больше им уже не придется пить, желая растянуть удовольствие и навсегда запомнить вкус напитка и то приятное ощущение, которое он вызывает.

В памяти возникло другое кафе, в Ренне. Это было давно. Солдаты сидели в расстегнутых кителях, шумные, буйновеселые, и пили дешевое шампанское. Сейчас шампанского никто не пил, никто не шумел, а если кто и разговаривал, то вполголоса. На короткие вопросы следовали односложные «да» и «нет». Проживем ли до завтра? Что с нами сделают американцы? Свободна ли дорога на Ренн? Не слышно ли, что с танковой дивизией Лера? Что говорит Биби-си? Конец это или еще нет? Откинувшись на велосипед, стоявший за стулом, Христиан сидел и в раздумье вертел рюмку. Интересно, что случилось с солдатом-сапером, на которого он донес? Месяц неувольнения из казармы за недостойное поведение? Хорошо бы сейчас целый месяц не выходить из казармы. Или запереть на месяц в казармах за недостойное поведение всю американскую 1-ю армию, всю 8-ю воздушную армию, всех австрийцев, которые служат в немецкой армии...

Христиан пригубил коньяк. Жидкость отдавала сырцом и, скорее всего, это вообще был не коньяк, а какое-то пойло, приготовленное из обычного спирта всего дня три назад. Ох, эти жалкие французишки! Он с ненавистью посмотрел на буфетчика за стойкой. Он знал, что дряхлого, доживающего свой век старика лишь недавно послали сюда поработать с недельку. Заведение, очевидно, принадлежало какому-нибудь здоровому, жирному торгашу, который до этого и хозяйничал здесь со своей пухлой потной женушкой. Но учуяв, к чему все клонится, и увидев первых удирающих через город немцев, он вытащил на свет божий этого жалкого старикана и поставил за стойку, зная, что даже немцам не придет в голову срывать на нем зло. Сам же хозяин с женой, наверное, прячутся сейчас где-нибудь на чердаке и преспокойно жрут телячью отбивную с салатом, запивая крепким вином, или лезут вдвоем в постель. (Помнишь Коринну из Ренна, с ее пышными формами, руками молочницы, жесткими, как пакля, крашеными волосами!) Нежась в теплых пуховых перинах, хозяин с хозяйкой, должно быть, посмеиваются при мысли о том, как папаша орудует в этом грязном кабаке, заламывая фантастические цены с обедневших солдат, радуются, что вдоль дорог всюду валяются убитые немцы, что к городу рвутся американцы, готовые платить еще более высокие цены за эту поганую сивуху.

Христиан задумчиво уставился на старика, а тот в ответ уставился на него; и черные бусинки-глаза на сморщенном лице глядели спокойно, нагло, вызывающе. Дряхлый старик с тысячами бесполезных бумажных франков в кармане, дряхлый старик с гнилыми зубами — он знал, что переживет половину молодых парней, которые собрались в заведении его дочери, и в душе хохотал при мысли о том, какая ужасная участь ждет всех этих почти пленных, почти мертвых чужеземцев, безмолвно сидящих в полумраке за грязными столиками.

— Месье угодно что-нибудь еще? — рассеянно спросил старик тонким и сиплым голосом астматика, с таким выражением, будто он внимательно слушает забавную шутку, которой никто другой в этом зале не слышит.

— Месье ничего не угодно,— отрезал Христиан.

Вся беда в том, что они были слишком снисходительны к французам. Есть друзья и есть враги — среднего не бывает. Одних любят, других убивают. Любое иное отношение — это политика, коррупция, слабость, и за все это в конце концов приходится расплачиваться. Гарденбург с его обезображенным лицом там, на Капри, в одной палате

с обожженным танкистом, это прекрасно понимал, а вот политические дельцы так и не поняли.

Старик прикрыл глаза. Черные насмешливые бусинки скрылись за желтыми, морщинистыми, словно измятый грязный пергамент, веками. Он отвел взгляд, но Христиан признал, что старик все-таки взял над ним верх.

Он снова отпил из рюмки. Алкоголь уже начал действовать. Христиана клонило ко сну, и в то же время тело его наливалось силой, он чувствовал себя гигантом, какого иногда видишь во сне, способным наносить чудовищные удары, страшным в своих медлительных полусознательных движениях.

— Допивайте коньяк, унтер-офицер, — раздался негромкий знакомый голос. Подняв голову, Христиан искоса взглянул на человека, неожиданно появившегося перед столиком.

— Что? — с глупым видом спросил он.

— Мне нужно с вами поговорить.

Незнакомец улыбался. Христиан, тряхнув головой, широко открыл глаза и вдруг узнал подошедшего. Перед ним стоял Брандт — в офицерской форме, худой, запыленный, без фуражки, но все такой же улыбающийся Брандт.

— Брандт!

— Тише! — сказал тот и предостерегающе положил ему на плечо руку. — Допивай и выходи на улицу.

Брандт повернулся и вышел из кафе. Через окно Христиан видел, как он остановился на улице, спиной к кафе, а мимо проходила нестройная колонна какой-то рабочей части. Христиан одним глотком допил коньяк и встал. Старик снова пристально глядел на него. Отодвинув стул, Христиан взялся за руль велосипеда и покатил его к выходу. Уже в дверях он, не удержавшись, снова повернулся к стойке и встретил взгляд насмешливых бусинок-глаз, помнивших 1870 год, Верден, Марну, 1918 год. Старик стоял перед плакатом, отпечатанным немцами на французском языке. На плакате была изображена улитка, которую вместо рогов украшали американский и английский флаги. Она медленно ползла вверх по Апеннинскому полуострову, а надпись иронически гласила, что даже улитка за такое время давно добралась бы до Рима... «Какая наглость», — подумал Христиан. Старикан, скорее всего, вывесил плакат только на этой неделе, явно желая поиздеваться над отступающими немцами.

— Надеюсь, — просипел старик с таким оттенком в голосе, который в приюте для престарелых означал бы смех, — месье понравился коньяк?

«Эти французы,— в бешенстве подумал Христиан,— готовы нас всех перебить».

Он вышел на улицу и присоединился к Брандту.

— Пойдем,— тихо сказал Брандт.— Прогуляемся немного по площади, чтобы нас никто не подслушал...

Они зашагали по узкому тротуару мимо закрытых ставнями витрин. Христиан с удивлением отметил, что с тех пор, как они виделись последний раз, Брандт сильно похудел и постарел, на висках у фотографа появилось много седины, у глаз и рта залегли глубокие морщины.

— Я увидел, как ты вошел,— начал Брандт,— и сначала даже не поверил собственным глазам. Минут пять присматривался — все никак не мог убедиться, что это действительно ты. Боже мой, что с тобой стало!

Христиан пожал плечами. Его задело слова Брандта, который, вообще-то говоря, и сам выглядел далеко не блестяще.

— Да, жизнь потрепала меня немного. А ты что здесь делаешь?

— Меня послали в Нормандию запечатлеть вторжение, сдачу в плен американских войск, а также сцены зверств: трупы французских женщин и детей, погибших от американских бомб. В общем, как обычно... Только не останавливайся, иди. Стоит где-нибудь остановиться, обязательно появится какой-нибудь чертов офицер, потребует документы и постарается определить тебя в какую-нибудь часть. Много здесь таких.

Оба деловито зашагали по тротуару, словно выполняли какое-то задание. Закат обгарял серые стены каменных зданий. Слоняющиеся по площади солдаты выглядели на фоне плотно закрытых ставень расплывчатой серой массой.

— Что ты намерен делать? — спросил Брандт.

Христиан рассмеялся и сам удивился, услышав свой сухой смешок. После многодневного панического бегства, когда им, как и всеми другими, управлял лишь страх перед рвущимся вперед противником, сама мысль о том, что он еще может что-то предпринять по своей инициативе, почему-то показалась ему нелепой.

— Ты чего смеешься? — подозрительно покосился на него Брандт, и Христиан тотчас же стал серьезным, так как понимал, что, если вызовет неудовольствие Брандта, тот не поделится с ним своими ценными сведениями.

— Ничего, просто так,— ответил он.— Устал немного. Я только что выиграл девятидневную велогонку по Европе, и мне немного не по себе. Пройдет.

— Ну, а все-таки,— раздраженно переспросил Брандт,—

каковы же твои намерения? — По голосу фотографа Христиан понял, что нервы Брандта вот-вот готовы сдать.

— Собираюсь сесть на велосипед и гнать в Берлин. Думаю, что мне удастся повторить существующий рекорд.

— Ради бога, брось острить! — резко крикнул Брандт.

— Почему же? Мне нравятся велосипедные прогулки по историческим местам Франции, беседы с местными жителями в туземных украшениях из ручных гранат и английских автоматов. Но если подвернется что-нибудь более интересное, можно подумать...

— Слушай. В полутора километрах отсюда в одном амбаре у меня спрятана двухместная английская машина...

Христиан замер на месте, и у него сразу же пропало всякое желание шутить.

— Не останавливайся! — прошипел Брандт. — Я же предупреждал тебя... Я хочу вернуться в Париж. Но прошлой ночью мой болван-шофер сбежал. Вчера нас обстрелял самолет, и этот идиот так перепугался, что в полночь ушел навстречу американцам.

— Вон оно что, — заметил Христиан, стараясь изобразить сочувствие. — Ну, а почему ты весь день здесь околичиваешься?

— Не умею водить машину, — с досадой ответил Брандт. — Представь себе, я так и не научился водить!

На этот раз Христиан не мог удержаться от смеха.

— О господи! — расхохотался он. — Герой нашей индустриальной эры.

— Ничего смешного здесь нет. Я такой нервный... Однажды, в тридцать пятом году, я попробовал и чуть не разбился насмерть.

«В наше-то время! — удивлялся про себя Христиан, радуясь, что у него неожиданно оказались преимущества перед человеком, который до сих пор умел так ловко устраиваться на войне. — Разве в наш век можно быть таким нервным?!»

— А почему ты не предложил отвезти тебя одному из них? — спросил Христиан, кивнув в сторону солдат, развалившихся на ступенях перед ратушей.

— Им нельзя доверять, — угрюмо ответил Брандт, оглядевшись вокруг. — Если бы только я рассказал тебе половину того, что слышал о случаях убийства офицеров собственными солдатами за последние дни... Я торчу уже почти сутки в этом проклятом городишке, и все стараюсь придумать, что же мне делать, кому можно довериться. Но ведь все идут группами, у всех есть друзья, а в машине только два места... А кто знает, может быть, завтра противник будет уже здесь или перережет дорогу на Париж...

Признаюсь, Христиан, когда я увидел тебя в кафе, я едва сдержался. Скажи,— Брандт с беспокойством схватил его за локоть,— ты один? С тобой никого нет?

— Не беспокойся. Я один.

Вдруг Брандт остановился и нервным движением вытер пот с лица.

— Я забыл спросить,— тревожно зашептал он,— а ты-то водишь машину?

Душевная боль, отразившаяся на лице Брандта, когда он задал свой простой, глупый вопрос, который в данный момент, в период крушения немецкой армии, стал для него вопросом жизни или смерти, вызвала у Христиана какую-то преувеличенную жалость к этому бывшему художнику, исхудавшему и постаревшему.

— Не волнуйся, дружище,— ответил Христиан, успокаивающе похлопывая его по плечу,— конечно, вожу.

— Слава богу! — с облегчением вздохнул Брандт.— Так едешь со мной?

Христиан почувствовал слабость, у него слегка закружилась голова. Ему предлагали спасительную скорость, дом, жизнь!

— Да меня никакая сила не удержит! — воскликнул он.

Оба слабо улыбнулись, словно утопающие, которым удалось каким-то чудом помочь друг другу добраться до берега.

— Тогда сейчас же отправляемся.

— Подожди,— сказал Христиан.— Хочу отдать кому-нибудь велосипед, пусть еще кто-то получит шансы на спасение...

Он вглядывался в неясные фигуры людей, сновавших у ратуши, придумывая, как бы, не вызывая подозрений, избрать счастливица и даровать ему право на жизнь.

— Зачем? — остановил его Брандт.— Велосипед нам самим пригодится. Француз — хозяин фермы даст нам за него столько продуктов, сколько мы сумеем увезти.

Христиан заколебался, но тут же согласился.

— Конечно,— спокойно сказал он.— Как только я сам об этом не подумал?

Они двинулись в путь. Брандт то и дело беспокойно оглядывался, опасаясь, что за ними следят. Христиан шагал рядом и вел велосипед. Так они вышли из города на дорогу, которую Христиан пересек всего полчаса тому назад. Вскоре они поравнялись с зарослями цветущего боярышника, наполнявшего вечерний воздух терпким ароматом, и свернули на пыльный проселок. Еще через четверть часа они подошли к уютному, обсаженному кустами герани домику, непода-

леку от которого был большой кирпичный амбар, где, прикрытая ворохом сена, стояла двухместная машина Брандта.

Велосипед, как и предсказывал Брандт, действительно очень пригодился. Когда с первыми вечерними звездами они выехали с фермы на узкий проселок, у них был окорок, большой бидон с молоком, полголовы сыра, литр кальвадоса, два литра сидра, полдюжины увесистых буханок серого хлеба и целая корзина яиц, которые фермерша сварила вкрутую, пока они разгребали сено и выводили машину.

Удобно устроившись за рулем маленькой машины, Христиан, сытый и довольный, спокойно улыбался, прислушиваясь к ровному, едва слышному урчанию заботливо отрегулированного двигателя. Когда в бледном свете вечерней луны показались кусты боярышника, а за ними лента шоссе, Христиану вспомнилась пустынная дорога на рассвете и мальчик-велосипедист в синей рубашке, встреча с которым оказалась гораздо полезнее, чем можно было думать тогда.

По городу промчались не останавливаясь. На площади им вдогонку раздался какой-то крик. Был ли это приказ остановиться или просьба подвезти или кто-нибудь просто выругал их за то, что они гнали, не заботясь о безопасности пешеходов, друзья так и не узнали. Христиан в ответ только прибавил газу. Через минуту перед ними уже растилался залитый лунным светом сельский ландшафт. Они неслись по дороге на Париж, лежавший в двухстах километрах.

— С Германией покончено,— говорил Брандт усталым тонким голосом, но достаточно громко, чтобы Христиан мог слышать его сквозь рокот мотора и свист встречного ветра.— Только безумцы не понимают этого. Посмотри, что творится кругом! Полный крах. И всем наплевать. Целый миллион солдат брошен на произвол судьбы. Они бредут безо всякой цели, сами не зная куда, без офицеров, без продовольствия, без боеприпасов. Противник в любой момент может взять их голыми руками или перебить всех до одного, если они сдуру вздумают сопротивляться. Германия не в состоянии больше обеспечивать армию. Может быть, еще удастся собрать кой-какие силы и организовать подобие обороны, но это будет лишь жест, оттяжка времени ценой бессмысленного кровопролития. Дешевая романтика! Похороны викинга вместе с Клаузевицем и Вагнером, с гене-

ральным штабом и Зигфридом¹ для большего театрального эффекта! Я такой же патриот, как и все другие и, видит бог, я служил Германии, как только мог, служил в Италии, в России, здесь во Франции... Но я цивилизованный человек и не могу примириться с судьбой, которую нам уготовили. Я не верю в викингов и не собираюсь гореть на погребальном костре, который разожжет Геббельс. Разница между цивилизованным человеком и диким зверем в том и состоит, что человек, когда он побежден, понимает это и принимает меры к спасению... Слушай, Христиан. Перед самой войной я ходатайствовал о переходе во французское гражданство, но потом взял заявление обратно. Германия нуждалась во мне,— серьезно продолжал Брандт, пытаясь убедить не только сидящего рядом человека, но и самого себя в своей честности, прямоте и добрых намерениях,— и я предложил себя родине. Я старался изо всех сил. Боже, какие снимки я делал! Чего только я не натерпелся, чтобы все это снять! Но снимать больше нечего, помещать снимки некому, и, если даже их напечатают, никто им не поверит, никого они не тронут. Я выменял свой аппарат у того фермера на десять литров бензина. Война больше не объект для съемки, потому что войны уже нет. Просто победитель добывает побежденного. Это пусть снимают его собственные фотографии. Глупо самому запечатлеть на пленку, как тебя добивают, никто и не ждет этого от меня. Когда солдат вступает в армию, в любую армию, с ним заключают своего рода контракт. По этому контракту армия вправе потребовать, чтобы солдат отдал свою жизнь, но она не вправе требовать, чтобы он отдавал жизнь, заведомо зная, что это бесполезно. Если правительство в данный момент не просит мира,— а никаких признаков этого нет — значит, оно уже нарушает контракт со мной, как и с любым другим солдатом, находящимся во Франции. Значит, мы перед ним никаких обязательств не несем. Никаких...

— К чему ты мне все это говоришь? — спросил Христиан, не отрывая глаз от серой ленты дороги, а про себя подумал: «У него есть какой-то план, но я пока ничего определенного говорить не буду».

— А к тому,— чеканя слова, ответил Брандт,— что, когда приедем в Париж, я намерен дезертировать.

С минуту ехали молча.

— Пожалуй, я неточно выразился,— нарушил молчание

¹ Зигфрид — герой немецкой эпической поэмы «Песнь о нибелунгах» (ок. 1200 года), использованной композитором Р. Вагнером в оперной тетралогии «Кольцо нибелунгов». — *Прим. ред.*

Брандт.— Не я бросаю армию, армия первая бросила меня. Я хочу лишь оформить наши отношения.

Дезертировать... Это слово звучало в ушах Христиана. Противник давно уже сбрасывал листовки с пропусками, убеждая немцев, что война проиграна, призывая их сдаться в плен, обещая хорошее обращение... Он не раз слышал о случаях, когда люди пытались дезертировать, но их ловили и вешали на деревьях сразу по несколько человек, а их близких в Германии расстреливали... У Брандта близких нет, ему проще. Конечно, при такой неразберихе вряд ли удастся выяснить, кто дезертировал, кого убили, кто попал в плен, героически сражаясь с противником. Может быть, потом, лет через пятнадцать, и дойдут какие-нибудь слухи, а может быть и никогда. Но стоит ли беспокоиться об этом сейчас?

— Зачем же тебе ехать в Париж, чтобы дезертировать? — спросил Христиан, вспомнив о листовках.— Почему бы не выбрать другой способ: найди первую попавшуюся американскую часть и сдайся в плен.

— Я думал об этом. Не годится: слишком опасно. На фронтовиков полагаться нельзя. Могут сгоряча прикончить. Кто знает, а вдруг всего несколько минут назад снайпер убил их товарища? Вдруг им недосуг возиться с пленными? Или попадется еврей, у которого родственники в Бухенвальде? Всякое бывает. А потом здесь, в этой проклятой стране, можно так и не попасть ни к американцам, ни к англичанам. У каждого паршивого француза отсюда и до Шербурга есть теперь оружие, и каждый из них только и думает, как бы подстрелить немца, пока не поздно. Нет, дорогой, я собираюсь дезертировать, а не умирать.

«Предусмотрительный малый,— с восхищением подумал Христиан.— Все обдумал заранее. Неудивительно, что такой и в армии жил припеваючи. Щелкал себе фотоаппаратом, делал как раз такие снимки, какие нравились министерству пропаганды, имел тепленькое местечко в журнале, квартиру в Париже...»

— Ты помнишь мою Симоу? — спросил Брандт.

— Ты все еще с ней? — удивился Христиан.

Брандт жил с Симоной еще в сороковом году. Христиан познакомился с ней, когда первый раз приехал в Париж в отпуск. Они вместе развлекались, Симона даже приводила с собой приятельницу... Как же ее звали? Кажется, Франсуаза... Но Франсуаза была холодна как лед и вообще не скрывала своей неприязни к немцам... Да, Брандту в войне повезло. Надев мундир победоносной армии, он оставался почти что гражданином Франции и умело извлекал выгоду

из преимуществ такого двойственного положения.

— Ну конечно, я по-прежнему с Симоной,— ответил Брандт.— Что же в этом странного?

— Сам не знаю,— улыбнулся Христиан.— Ты только не сердись. Просто все было так давно... Прошло целых четыре года... Четыре года войны...

Хотя Симона была весьма недурна собой, Христиану почему-то казалось, что Брандт при таких возможностях должен был все эти годы порхать от одной красотки к другой.

— Мы решили пожениться, как только кончится вся эта чертовщина,— решительно объявил Брандт.

— Правильно,— согласился Христиан, сбавляя скорость, так как они обгоняли вереницу солдат, устало шагавших по обочине. За спиной у них поблескивали при свете луны автоматы.— Что вам мешает?

«Брандт во всем благоразумен,— с завистью подумал Христиан.— Счастливчик. Не получил ни единой царапины. Позади — легкая война, впереди — благоустроенная жизнь. Все у него предусмотрено».

— Сейчас прямо к ней,— продолжал Брандт.— Сниму форму, оденусь в штатское и буду ждать американцев. Когда суматоха уляжется, Симона пойдет в американскую военную полицию и сообщит обо мне. Скажет, что я немецкий офицер и желаю сдаться. А там кончится война, меня выпустят, я женюсь на Симоне и снова буду писать картины...

«Да, везет человеку,— думал Христиан.— Умеет устраиваться. Жена, карьера, словом, все...»

— Христиан,— искренне предложил Брандт,— ведь и ты можешь поступить так же!

— Как? — усмехнулся Христиан.— Что, Симона и за меня пойдет?

— Не смейся!.. Квартира у Симоны большая: целых две спальни. Ты тоже можешь пожить у нее. Ты хороший парень, и незачем тебе тонуть в этом болоте...— Брандт взмахнул рукой, и этот скупой жест, казалось, охватывал все: и спотыкающихся солдат, шагавших по дороге, и грозное небо, и рушащиеся государства.— Хватит с тебя. Ты свое дело сделал. Сделал даже больше, чем требовалось. Теперь пора каждому, кто не глуп, подумать о себе...

— Знаешь,— продолжал уговаривать Брандт, ласково положив руку на плечо Христиану,— с того первого дня на парижской дороге я все время справлялся о тебе, беспокоился, чувствуя, что если смогу помочь кому-нибудь выбраться живым и невредимым из этой заварухи, то выбор мой падет на тебя. Когда все кончится, нам будут нужны

такие люди, как ты. Если даже ты считаешь, что не вправе поступать так ради себя, то ты обязан сделать это ради своей страны... Ну, так как же, останешься со мной?

— Может быть,— не сразу ответил Христиан.— Может быть.— Он тряхнул головой, чтобы прогнать усталость и сон, и осторожно объехал группу солдат, которые при слабом свете затемненных карманных фонариков суетились около броневика, лежавшего поперек дороги.— Может быть, и останусь... Только прежде нужно добраться до Парижа, а потом уже думать, что делать дальше...

— Доберемся,— спокойно сказал Брандт.— Обязательно доберемся. Теперь я в этом абсолютно уверен.

На другой вечер они въехали в Париж. Машин на улицах было очень мало. Город был погружен в темноту, но ничто, как будто, не изменилось по сравнению с тем, что Христиан видел раньше, когда он бывал здесь до вторжения. По улицам по-прежнему проносились немецкие штабные автомобили, то и дело отворялись двери затемненных кафе, на мгновение озаряя улицу слабым отблеском света, раздавался громкий хохот солдат, прогуливающих по тротуару. Когда они проезжали площадь Оперы, Христиан успел заметить девиц, которые, как и прежде, зазывали прохожих мужчин, особенно в военной форме. «Да, мир коммерции живет своей обычной жизнью,— мрачно подумал Христиан.— Ему все равно, где противник: в тысяче километров или на подступах к городу, в Алжире или в Алансоне...»

Возбужденный Брандт нетерпеливо ерзал на краешке сиденья, направляя Христиана в путаном лабиринте затемненных улиц. Христиану вспомнились другие времена. Они с Брандтом разъезжали по этим же бульварам вместе с Гарденбургом и унтер-офицером Гиммлером, который с видом профессионального гида показывал им местные достопримечательности. Весельчака Гиммлера больше нет: кости его тлеют где-то в песках пустыни. Гарденбург покончил самоубийством в Италии... А вот они с Брандтом живы и снова едут по тем же улицам, вдыхают тот же древний аромат старинного города, проезжают мимо тех же памятников, мимо вечной реки...

— Приехали,— прошептал Брандт.— Остановись здесь.

Христиан затормозил и выключил зажигание. Он очень устал. Перед ним был гараж, к массивным воротам которого вел крутой бетонированный спуск.

— Жди меня здесь,— сказал Брандт, торопливо вылезая из машины. Он подошел к боковой двери гаража и

постучал. Дверь почти тотчас же отворилась, и Брандт исчез за ней. (Христиан вспомнил, как точно так же исчез Гиммлер за дверью публичного дома, вспомнил мавританские портьеры, шампанское и улыбку на красных губах брюнетки. «Странный вкус,— насмешливо говорили красные губы,— очень странный, не правда ли?») И отрывисто-грубый ответ Брандта: «Мы вообще странные люди. Еще узнаете. А пока занимайся своим делом!» А потом — зеленое шелковое платье в руках у Гиммлера и надпись на стене «1918».) Где-то в глубине сознания у Христиана снова зашевелилась мрачная мысль: «Эти французы нас всех перебьют...»

Массивные ворота гаража медленно, со скрипом распахнулись, и в глубине строения тускло замерцало бледно-желтое пятно света. Появился Брандт и, быстрым взглядом окинув улицу, торопливо зашептал:

— Загоняй сюда... Быстрее!

Христиан завел мотор и, развернув машину, направил ее по спуску туда, где мерцал свет. Он слышал, как ворота гаража, пропустив машину, снова закрылись. Осторожно двигаясь по узкому проходу, Христиан отвел машину в дальний угол и, остановившись, осмотрелся кругом. В полутьме гаража он разглядел еще три-четыре машины, накрытые брезентом.

— Все в порядке! — услышал он голос Брандта. — Здесь и поставь.

Христиан заглушил мотор и вылез из машины. К нему подошел Брандт с каким-то толстым коротышкой в мягкой фетровой шляпе, которая при столь скудном освещении делала его похожим на нечто среднее между театральным комиком и злодеем.

Коротышка медленно обошел вокруг машины, что-то ошупывая и осматривая.

— Пойдет,— сказал он по-французски, а затем исчез в маленькой каморке, откуда и светила затемненная лампочка.

— Машину я продал. Мне дали за нее семьдесят пять тысяч франков,— сказал Брандт, помахав перед лицом Христиана пачкой банкнот. Банкнот Христиан, конечно, не разглядел, но слышал сухой шелест бумажек. — В ближайшие несколько недель деньги нам будут очень кстати. Теперь давай заберем все из машины. Дальше пойдем пешком.

«Семьдесят пять тысяч! — подумал восхищенный Христиан, помогая Брандту выгружать из машины окорок, сыр, кальвадос. — Этот человек нигде не пропадет! Всюду у него друзья, деловые знакомства, и ему в любой момент охотно придут на выручку».

Коротышка вернулся с двумя парусиновыми мешками,

и Христиан с Брандтом стали складывать в них продукты. Француз безучастно стоял поодаль, не изъявляя ни малейшего желания помочь им. Когда они покончили со своим делом, он проводил их к выходу и отпер дверь.

— До свидания, месье Брандт. Желаю хорошо провести время в Париже,— сказал он с такой хитрой, едва уловимой насмешкой в голосе, что Христиану захотелось схватить его за шиворот и вытащить на улицу, чтобы разглядеть как следует его лицо. Он даже приостановился, но Брандт нетерпеливо потянул его за руку. Христиан покорно вышел на улицу. Дверь за ними захлопнулась, негромко лязгнув засов.

— Сюда,— сказал Брандт и пошел впереди, взвалив на плечо мешок с добычей.— Тут недалеко.

Христиан зашагал за ним по темной улице. Он решил, что потом расспросит, что за птица этот француз и зачем ему машина. Сейчас же он слишком устал, да и Брандту не терпелось добраться до своей возлюбленной.

Минуты через две Брандт остановился у подъезда трехэтажного дома и позвонил. По пути им никто не встретился.

Ждали долго, но, наконец, дверь чуть приоткрылась. Брандт прошептал что-то в щелочку, откуда послышался старушечий голос, вначале ворчливый, а потом, когда Брандта узнали, теплый и приветливый. Тихо звякнула цепочка, и дверь отворилась. Христиан проследовал за Брандтом наверх мимо закутанной консержки. «Брандт знает, куда стучать,— подумал Христиан,— и что сказать, чтобы отворились двери».

Щелкнул выключатель, и перед Христианом предстала мраморная лестница чистого, вполне респектабельного буржуазного дома.

Через двадцать секунд свет погас, и они продолжали подниматься в темноте. Автомат, висевший на плече Христиана, то и дело с металлическим лязгом стучался о стену.

— Тише! — прошипел Брандт.— Осторожней.

На следующей площадке Брандт нажал на автоматический выключатель и свет загорелся еще на двадцать секунд, покорный французской бережливости.

Поднялись на третий этаж, и Брандт осторожно постучал. Дверь сразу же отворили, словно хозяйка квартиры с нетерпением ждала их. На лестницу брызнул яркий сноп света, и в дверях показалась женщина в длинном халате. Она бросилась в объятия Брандта и, всхлипывая, твердила:

— Господи, наконец-то... Ты дома, дорогой! Наконец-то...

Христиан смущенно прижался к стене, придерживая рукой приклад, и наблюдал, как обнимаются те двое. Обнялись они по-домашнему, как муж с женой, в их объятии была не столько страсть, сколько радостное чувство облегчения, простое, будничное, трогательное, исполненное слез и глубоко интимное.

Наконец, смеясь сквозь слезы, Симона освободилась из объятий и, откинув одной рукой прядь длинных, прямых волос, а другой все еще держась за Брандта, словно тот, как призрак, мог в любой момент исчезнуть, приветливо промолвила, повернувшись к Христиану:

— А теперь пора отдать долг вежливости...

— Ты ведь помнишь Дистля? — спросил Брандт.

— Конечно, помню! — И она быстро протянула руку Христиану. — Я так рада вас видеть. Мы так часто о вас вспоминали... Проходите... Не стоять же вам всю ночь на лестнице!

Они вошли в квартиру, и Симона захлопнула дверь. По-домашнему щелкнул замок, суля отдых и покой. Брандт и Христиан вошли вслед за Симоной в гостиную. Там у окна, задернутого занавесками, стояла женщина в стеганом халате. Свет единственной лампы, стоявшей на столике рядом с кушеткой, не позволял разглядеть черты ее лица.

— Кладите все здесь. Вам нужно умыться! Вы, наверно, проголодались до смерти? — хлопотала Симона. — Есть вино... откроем бутылочку, чтобы отметить... Франсуаза, смотри, кто пришел!

«Так вот это кто! — вспомнил Христиан. — Та самая Франсуаза, которая терпеть не могла немцев». Он пристально посмотрел на нее, когда она отошла от окна, чтобы поздороваться с Брандтом.

— Очень рада вас видеть, — сказала Франсуаза.

Сейчас она выглядела даже красивее, чем ее помнил Христиан, — высокая, стройная, с каштановыми волосами, тонким изящным носом и упрямым ртом. Она с улыбкой протянула Христиану руку.

— Добро пожаловать, унтер-офицер Дистль, — сказала Франсуаза, тепло пожимая Христиану руку.

— Так вы меня еще помните? — удивился Христиан.

— Конечно! — ответила Франсуаза, пристально глядя ему в глаза. — Я все время о вас думала!

«Что кроется в глубине этих зеленых глаз? — подумал Христиан. — Чему она улыбается, на что намекает, уверяя, будто все время думала обо мне?»

— Франсуаза переехала ко мне месяц назад, дорогой, —

сказала Симона Брандту с милой гримаской.— Ее квартиру реквизировала ваша армия.

Брандт засмеялся и поцеловал ее. Симона не торопилась высвободиться из его объятий. Христиан заметил, что она сильно постарела. Выглядела она по-прежнему хрупкой и изящной, но у глаз появились морщинки, кожа лица казалась высушенной и безжизненной.

— Долго собираетесь пробыть здесь? — поинтересовалась Франсуаза.

— Сейчас пока трудно сказать...— начал было Христиан после минутного колебания, но его слова пресек хохот Брандта, хохот почти истерический, хохот человека, которому все кажется странным после пережитых опасностей.

— Христиан, брось эти проклятые условности! Ты же знаешь, мы будем дожидаться здесь конца войны!

Симона разрыдалась, и Брандт принялся утешать ее, усадив на кушетку. Христиан подметил холодный удивленный взгляд, который бросила на них Франсуаза. Потом она вежливо отвернулась и снова отошла к окну.

— Ну идите же! — всхлипывала Симона.— Просто глупо. Сама не знаю, почему плачу. Совсем как моя мама: она плакала от счастья, плакала, когда грустно, плакала, радуясь солнечной погоде, плакала, когда лил дождь. Идите, приведите себя в порядок с дороги, а когда вернетесь, я уже стану умницей и накормлю вас отличным ужином. Да хватит вам смотреть на мои заплаканные глаза! Идите.

Брандт глупо ухмыльнулся, словно блудный сын, возвратившийся домой, и это так не шло к его худощавому интеллигентному лицу, в которое въелась пыль всех дорог от самой Нормандии.

— Пошли, Христиан,— сказал Брандт.— Смоем хоть немного с себя грязь.

Они пошли в ванную. Франсуаза, как заметил Христиан, даже на них не взглянула.

В ванной под шум воды (холодной из-за нехватки топлива), пока Христиан старался причесать мокрые черные волосы чьей-то расческой, Брандт разоткровенничался.

— В этой женщине есть что-то особенное, нечто такое, чего я никогда не встречал у других. Все мне в ней нравится. Странно, к другим женщинам я всегда был придирчив. Та слишком худа, та глуповата, та тщеславна... Две-три недели, больше я не мог с ними выдержать. Но Симона — другое дело... Я понимаю, что она немного сентиментальна, знаю, что стареет, вижу морщинки, но люблю все это. Она не блещет умом, но и это не беда, она плаксива, но и это мне нравится. Единственная ценность, которую я приобрел

рел за время войны,— это она,— закончил он очень серьезно.

Затем, словно устыдившись излишней откровенности, Брандт открыл кран на всю мощь и стал энергично смывать мыло с лица и шеи. Он разделся по пояс, и Христиан с насмешливой жалостью смотрел на торчащие, словно у подростка, кости и слабые, худые руки приятеля. «Тоже мне любовник,— подумал Христиан.— Солдат называется! И как он умудрился остаться живым за четыре года войны?»

Брандт выпрямился и стал вытирать лицо.

— Христиан,— серьезно спросил он, не отрывая мохнатого полотенца от лица,— значит, ты остаешься со мной?

— Прежде всего,— начал Христиан, стараясь говорить потише,— как насчет этой подружки Симоны?

— Франсуазы? — Брандт махнул рукой.— Не беспокойся. Места хватит. Ты можешь спать на кушетке... Или же,— усмехнулся он,— найдешь с ней общий язык, и тогда не придется спать на кушетке...

— Я не о том, что не хватит места...

Брандт протянул руку к крану, собираясь закрыть его, но Христиан резко схватил его за руку.

— Пусть течет.

— В чем дело? — спросил озадаченный Брандт.

— Она, эта подружка, не любит немцев,— пояснил Христиан.— И может натворить беды.

— Ерунда,— прервал его Брандт и резким движением закрыл кран.— Я знаю ее. Ты ей понравишься. Так что ж, обещаешь остаться?

— Ладно, останусь,— неторопливо ответил Христиан и заметил, что у Брандта тотчас же заблестели глаза, а рука, которую он положил на плечо Христиана, слегка задрожала.

— Мы в безопасности, Христиан,— прошептал Брандт.— Наконец-то мы в безопасности...

Он отвернулся, торопливо надел рубашку и вышел. Христиан медленно оделся, тщательно застегнул все пуговицы и посмотрелся в зеркало. С осунувшегося, изможденного лица на него глядели усталые глаза, тут и там залегли глубокие морщины — следы пережитых ужасов и отчаяния. Он еще ближе наклонился к зеркалу, чтобы рассмотреть волосы. На висках белела седина, да и выше волосы тоже начинали серебриться. «Господи! — подумал он.— А я и не замечал! Ведь старею, старею...» Подавив ненавистное чувство жалости к себе, которому он на миг поддался, Христиан вышел и твердым шагом направился в гостиную.

Лампа под розовым абажуром бросала ровный мягкий

свет на уютную обстановку гостиной, на мягкую кушетку, где, полулежа на подушках, устроилась Франсуаза.

Брандт и Симона ушли спать. Из гостиной они выходили по-домашнему, рука в руке. Путанно рассказав о злоключениях последних дней, Брандт сразу же после ужина едва не заснул за столом, и Симона нежно подняла его за руки со стула и увела за собой. Христиану и Франсуазе, которые оставались вдвоем в розовом полумраке гостиной, она на прощание улыбнулась почти материнской улыбкой.

— Война кончена,— бормотал Брандт, выходя из гостиной.— Да, братцы, кончена! И я иду спать. Прощай Брандт, лейтенант армии Третьей империи! — продолжал разглагольствовать он сонным голосом.— Прощай, солдат! Завтра художник-декадент снова проснется в штатской постели рядом со своей женой! — Посмотрев на Франсуазу, он обратился к ней с добродушной фамильярностью: — Будьте поласковой с моим другом. Любите его. Он — лучший из лучших! Сильный, испытанный в боях — надежда новой Европы, если вообще будет новая Европа, если вообще есть надежда... Крепко любите его!

Симона с ласковым укором покачала головой.

— Вино в голову ударило. Сам не знает, что болтает,— сказала она, увлекая Брандта в спальню.

— Спокойной ночи,— на прощанье крикнул им Брандт уже из коридора,— спокойной ночи, дорогие друзья!

Дверь закрылась, и в гостиной воцарилась тишина. Взгляд Христиана бесцельно блуждал по маленькой комнате, обставленной в типично женском вкусе, задерживаясь то на полированной глади дерева, то на темных в полумраке зеркалах, то на расшитых в мягких тонах подушках, то на оправленной в серебряную рамку довоенной фотографии Брандта в берете и бакской рубашке.

Наконец Христиан взглянул на Франсуазу. Закинув руки за голову, она задумчиво уставилась в потолок. Лицо ее наполовину скрывала тень, тело в голубом стеганом халате покоилось на подушках. Изредка она ленивым, едва заметным движением шевелила носком атласной комнатной туфельки, дотрагиваясь ею до края кушетки, потом отодвигала ногу назад. В памяти Христиана смутно возник такой же стеганный халат, только густого темно-красного цвета, на Гретхен Гарденбург, когда он впервые увидел ее в дверях просторной берлинской квартиры. Интересно, что она делает теперь? Цел ли дом, жива ли она сама? Живет ли все с той же седовласой француженкой?

— Устал солдат,— донесся до него приглушенный голос с кушетки.— Очень устал наш лейтенант Брандт.

— Да, устал,— согласился Христиан, внимательно посмотрев на нее.

— Должно быть, туго ему пришлось? — поинтересовалась она, снова пошевелив носком туфельки.— Кажется, последние несколько недель были не из приятных?

— Да, не очень.

— А что американцы? — с невинным видом расспрашивала она, сохраняя скучающий тон.— Наверное, у них большие силы и совсем свежие?

— Пожалуй, так.

Франсуаза чуть повернулась, и складки шелкового халата по-новому обрисовали стройную фигуру.

— А в газетах пишут, что все развивается согласно плану. Противника успешно сдерживают, и готовится внезапное контрнаступление. Это звучит очень успокаивающе,— продолжала она с явной издевкой.— Месье Брандту следовало бы почаще читать газеты.

Франсуаза тихо рассмеялась, и Христиан подумал, что если бы разговор шел о чем-нибудь другом, то этот смех показался бы чувственным и манящим.

— Месье Брандт,— продолжала Франсуаза,— не думает, что противника удастся сдержать, а «внезапное наступление» было бы полной неожиданностью для него. Как вы думаете?

— Думаю, что так,— согласился Христиан, начиная злиться, а про себя подумал: «И чего только ей надо?»

— Ну, а вы сами как считаете? — рассеянно спросила она, глядя куда-то в пространство, мимо Христиана.

— Пожалуй, я разделяю мнение Брандта.

— Вы, наверное, тоже очень устали.— Франсуаза села и пристально посмотрела на него. На губах ее играла полная искреннего сочувствия улыбка, но в прищуренных зеленых глазах Христиан уловил какую-то скрытую насмешку.— Наверное, вам тоже хочется спать?

— Пока нет,— ответил Христиан. Ему вдруг показалось невыносимой мысль о том, что эта стройная зеленоглазая насмешливая женщина может оставить его одного.— А уставать приходилось куда больше...

— О, настоящий солдат! — заметила Франсуаза, снова откидываясь на подушки.— Стойкий, неутомимый. Разве может армия проиграть войну, когда все еще есть такие солдаты!

Христиан впился в нее взглядом. Он ее ненавидел. Сонным движением она повернула голову на подушке, чтобы было удобнее смотреть на него. Длинные мышцы натянулись под бледной кожей, тень легла по-другому, еще больше

подчеркивая изящные линии шеи. Глядя на нее во все глаза, Христиан знал, что в конце концов обязательно поцелует то местечко, где белоснежная кожа образует нежный, плавный переход от шеи к полуприкрытому халатом плечу...

— Когда-то давно я знала одного молодого человека вроде вас,— сказала Франсуаза, погасив улыбку и глядя прямо на него.— Только он был француз. Сильный, терпеливый, убежденный патриот Франции. Признаюсь, он мне очень нравился. Он погиб в сороковом году во время отступления. Того, другого отступления... А вы собираетесь умереть?

— Нет,— в раздумье ответил Христиан.— Умирать я не собираюсь.

— Прекрасно.— На пухлых губах Франсуазы показалось подобие улыбки.— Лучший из лучших, как сказал ваш друг. Надежда новой Европы. Вы действительно считаете себя надеждой новой Европы?

— Брандт был пьян.

— Разве? Возможно. Вы уверены, что вам не хочется спать?

— Уверен.

— А выглядите вы усталым.

— Но спать не хочу.

Франсуаза слегка кивнула.

— Унтер-офицер, который всегда начеку. Он не желает спать. Предпочитает бодрствовать и, жертвуя собой, развлекать одинокую француженку, которой нечего делать, пока в Париж не пришли американцы.— Тыльной стороной кисти она прикрыла глаза, просторный рукав халата соскользнул, обнажив тонкую изящную руку.— Завтра вас представят к ордену «Почетного легиона» второй степени за услуги, оказанные французской нации.

— Перестаньте,— сказал Христиан.— Довольно насмехаться надо мной.

— Да мне и мысли такой в голову не приходило,— возразила Франсуаза.— Скажите мне, унтер-офицер, как военный человек, когда, по-вашему, здесь будут американцы?

— Недели через две или через месяц...

— Интересные наступают времена, не правда ли?

— Да.

— Знаете что, унтер-офицер?

— Что?

— Я все вспоминаю тот вечер, когда встретилась с вами. Когда это было: в сороковом или в сорок первом?

— В сороковом.

— Я, помню, надела белое платье. Вы были очень кра-

сивы. Высокий, стройный, умный — прямо покоритель сердец. В своем блестящем мундире вы выглядели настоящим богом механизированной войны.

Франсуаза рассмеялась.

— Вы снова насмехаетесь надо мной,— прервал ее Христиан.— Не думайте, что это очень приятно.

— Вы просто очаровали меня,— жестом остановила его Франсуаза.— Честное слово, очаровали. Но я была холодна к вам, правда? — Снова этот запоминающийся смехок.— Вы даже не представляете, каких трудов мне стоило сохранить холодность. Ведь мне далеко не безразлично привлекательные молодые мужчины. А вы были так красивы...

Ее полусонный шепот гипнотизировал Христиана, он звучал, как какая-то отдаленная, нереальная музыка в уютном полумраке этой со вкусом обставленной комнаты.

— ...Вы так покоряли своей самоуверенностью, силой, красотой. Мне пришлось приложить все силы, чтобы не потерять власти над собой... Сейчас ведь вы уже не такой самоуверенный, унтер-офицер?

— Не такой,— в полусне отвечал Христиан. Ему казалось, что он ритмично покачивается на нежных, ароматных, чуть-чуть опасных волнах прибоя.— Совсем не самоуверенный...

— Вы очень устали,— тихо говорила женщина.— Посидели... Немного хромаете, я заметила. В сороковом я не думала, что вы когда-нибудь можете устать. Тогда мне казалось, будто вы могли только умереть, умереть славной смертью под пулями, но устать — никогда... Сейчас вы выглядите иначе, совсем иначе. Подходя к вам с обычной меркой, теперь никто не назвал бы вас красивым с этой хромотой, с сединой, с осунувшимся лицом... Но я, знаете ли, женщина со странными вкусами. Мундир больше не блестит, лицо серое, и в вас не осталось ничего похожего на молодого бога механизированной войны...— В ее голосе снова зазвучала насмешка.— Но для меня сегодня вы намного привлекательнее, унтер-офицер, бесконечно привлекательнее...

Она умолкла, и ее пьянящий, как опиум, голос замер, словно приглушенный мягкими подушками.

Христиан встал, шагнул к кушетке и пристально посмотрел ей в глаза. Она ответила прямой, откровенной улыбкой.

Христиан быстро наклонился и поцеловал ее.

Он лежал рядом с ней на темной кровати. Летний ночной ветерок колыхал занавески раскрытого окна. Бледный, се-

ребристый свет луны, смягчая контуры, озарял туалетный столик, стулья с брошенной на них одеждой.

Для Христиана эти пылкие, изощренные, всепоглощающие объятия были новой вехой в его отношениях с женщинами. Безудержная волна страсти захлестнула воспоминания о бегстве, о зловонии санитарного обоза, об изнурительных переходах, о мертвом мальчишке-французе, о проклятом велосипеде, о слепящей глаза пыли во время гонки на краденом автомобиле по забитой отступающими дорогах. На мягкой постели в залитой лунным светом комнате войны не существовало. Христиан вдруг осознал, что наконец-то, впервые с тех пор, как он много лет назад попал во Францию, осуществилась его давно забытая мечта обладать великолепной, совершенной женщиной.

Ненавистница немцев... Христиан с улыбкой повернулся к Франсуазе, которая лежала рядом, изредка дотрагиваясь пальцами до его тела. Ее темные, ароматные волосы разметались по подушке, глаза загадочно блестели в темноте.

Она улыбнулась в ответ.

— А ты, я вижу, не очень-то устал.

Оба рассмеялись. Он пододвинулся к ней и поцеловал гладкую, отливающую матовым блеском кожу между шеей и плечом. Полусонный, он уткнулся в мягкую теплоту ее тела и щекочущие волосы, вдыхая их смешанный животворный аромат.

— Можно найти оправдание всякому отступлению, — прошептала Франсуаза.

Через открытое окно доносились шаги солдат, их кованые сапоги ритмично, как на строевых учениях, топали по мостовой. Здесь, в этой укромной комнатке, сквозь пряди спутанных, ароматных волос его любовницы эти звуки казались Христиану приятными и не имеющими никакого значения.

— Я знала, что так будет, еще давно, когда впервые увидела тебя. Знала, что этого нельзя преодолеть.

— Зачем же было столько ждать? — спросил Христиан, слегка приподняв голову и разглядывая замысловатый рисунок, которым луна, отразившись от зеркала, украсила потолок. — Господи, сколько времени мы потеряли! Почему же ты тогда не решилась на это?

— Тогда я отвергала ухаживания немцев, — невозмутимо ответила Франсуаза. — Считала, что нам нельзя уступать победителям во всем. Хочешь верь, хочешь нет — мне безразлично — но ты первый немец, которому я позволила дотронуться до себя.

— Верю, — сказал Христиан, и он действительно верил

ей, ибо, каковы бы ни были ее пороки, в лживости упрекнуть ее было нельзя.

— Не думай, что это было так легко. Ведь я не монашка.

— О нет! Уж в этом-то я готов поклясться.

Но Франсуаза оставалась серьезной.

— На тебе, конечно, свет клином не сошелся,— продолжала она.— Разве мало замечательных парней, приятных, молодых... Выбор был неплохой... Но ни один из них, ни один... Победители не получили ничего... Вплоть до этой ночи...

Ощущая какую-то смутную тревогу, Христиан после некоторого колебания спросил:

— А почему же теперь... Почему ты теперь передумала?

— О, теперь можно! — рассмеялась Франсуаза, и в ее сонном голосе чувствовалось лукавство довольной собой женщины.— Теперь другое дело! Ты ведь больше не победитель, дорогой мой. Ты — беглец... А сейчас пора спать...

Она повернулась, поцеловала его, отодвинулась на свой край кровати и улеглась на спину, целомудренно вытянув руки. Под белой простыней мягко вырисовывались формы ее стройного тела. Вскоре она заснула, и в тишине комнаты послышалось ровное, спокойное дыхание.

Христиан не спал. Ему было не по себе. Он лежал вытянувшись, прислушиваясь к дыханию спящей женщины, рассматривая лунный узор на потолке. С безмолвной улицы снова донесся приближающийся стук кованых каблучков патруля. Патруль прошел мимо, шаги стихли и, наконец, замерли совсем. Эти звуки не казались больше Христиану отдаленными, приятными, не имеющими значения.

«Беглец»,— вспомнил Христиан, и в его ушах снова зазвучал тихий насмешливый голос. Повернув голову, он посмотрел на Франсуазу. Ему показалось, что даже во сне в уголках ее крупного, чувственного рта сохранилась самодовольная, торжествующая улыбка. Христиан Дистль, уже не победитель, а только беглец, получил, наконец, доступ в постель этой парижанки. «Французы,— снова пришло ему в голову,— нас всех перебьют, и хуже всего то, что они уже знают об этом».

С нарастающим гневом он смотрел на красивое женское лицо на соседней подушке. Он понял, что его соблазнили, использовали, чтобы показать свое превосходство, да еще так высокомерно насмеялись! А в соседней комнате спит пьяным сном измученный, но полный радужных надежд Брандт, которого тоже поймали в западню с точно такой же маркой «сделано во Франции».

Теперь он уже ненавидел и Брандта, который с такой готовностью полез в западню. Христиан стал припоминать всех, с кем он соприкасался за время войны и кто теперь мертв. Гарденбург, Краус, Бэр, бесстрашный маленький француз на парижской дороге, мальчик на велосипеде, фермер в погребке ратуши рядом с открытым желтым гробом, солдаты из его взвода в Нормандии, отчаянно храбрый голый американец, который стрелял с заминированного моста в Италии. Разве справедливо, думал он, что неженки выживают, а стойкие гибнут? Брандт со своей чисто штатской хитростью, который сладко спит сейчас в роскошной шелковой постели парижанки, оскверняет память всех этих людей. Много ли таких, которые знают, в какую дверь постучать и что сказать, когда она откроется. Сильные погибли, почему же слабые должны наслаждаться роскошью? Смерть — вот лучшее средство против роскоши, и им так легко воспользоваться. За четыре года на его глазах погибли товарищи куда лучше, чем Брандт; почему же Брандт должен жить и процветать на костях Гарденбурга? Цель оправдывает средства, но разве цель этой колоссальной бойни в том, чтобы гражданин Брандт, отсидев три-четыре месяца в благоустроенном лагере для военнопленных, возвратился к своей нежной французской женошке, принялся малевать дурацкие картины и еще лет двадцать извинялся перед победителями за погибших мужественных людей, которых он предал? С самого начала Христиан шагал бок о бок со смертью. Так неужели теперь из-за какого-то сентиментального чувства дружбы он пощадит того, кто меньше всего этого заслужил! Неужели четыре года непрерывных убийств его ничему не научили?

Вдруг ему стала невыносима мысль о Брандте, спокойно похрапывающем в соседней спальне, невыносимо стало оставаться в постели рядом с этой красивой женщиной, которая воспользовалась им с таким безжалостным цинизмом. Он бесшумно соскользнул с кровати и голый, босиком подошел к окну. Он смотрел на крыши спящего города, на сверкающие в лунном свете трубы, на бледно освещенные узкие, извилистые улицы, хранящие в своей памяти события далекого прошлого, на серебристую ленту реки, перерезанную многочисленными мостами. Откуда-то издалека, из темноты улиц до него донеслись гулкие шаги патруля, и ему даже удалось разглядеть силуэты людей, когда те вышли на перекресток. Пятеро солдат неторопливо и настороженно шагали по ночным улицам вражеского города, подавленные сознанием своей уязвимости, такие трогательно-жалкие, товарищи Христиана...

Стараясь не шуметь, Христиан быстро оделся. Франсуаза пошевелилась, томно откинула руку, но не проснулась. Белая, похожая на змею рука безжизненно упала в теплую пустоту. Держа ботинки в руке, Христиан на цыпочках двинулся к выходу. Дверь бесшумно открылась, и он бросил прощальный взгляд на постель. Пресыщенная ласками, Франсуаза спала все в той же позе, и ее протянутая рука словно манила покоренного любовника. Ему показалось, что на ее чувственных губах застыла довольная, торжествующая улыбка победителя.

Христиан осторожно прикрыл за собой дверь.

Через пятнадцать минут он уже стоял перед эсэсовским полковником. Спал город, но не спали эсэсовцы. Во всех кабинетах горел яркий свет, деловито сновали люди, трещали пишущие машинки и телетайпы. Вся эта лихорадочная обстановка чем-то напоминала сверхурочную ночную смену на заваленном заказами заводе.

Полковник, сидевший за письменным столом, выглядел совсем бодрым. Он был низкого роста и носил очки в толстой роговой оправе, но ничем не напоминал канцелярскую крысу. Бесцветные глаза, увеличенные очками, смотрели на посетителя холодным, испытующим взглядом, тонкие губы были сжаты. Он держал себя как человек, готовый в любую секунду нанести удар.

— Хорошо, сивевший за письменным столом, — сказал он. — Поедете с лейтенантом фон Шлайном, покажете дом и подтвердите личность дезертира и укрывающих его женщин.

— Слушаюсь.

— Вы правы. Вашей воинской части больше не существует. Она уничтожена противником пять дней тому назад. Вы проявили исключительную храбрость и находчивость, спасая свою жизнь... — продолжал он бесстрастным голосом.

Христиан смутился, так как не мог понять, серьезно это сказано или с иронией. Он понимал, что смущать людей — обычная тактика полковника, но, кто знает, может, на этот раз в его словах кроется какой-нибудь особый смысл.

— Я скажу, чтобы вам выписали командировочное предписание в Германию. Там получите небольшой отпуск, а затем отправитесь в новую часть. В недалеком будущем нам потребуются такие люди, как вы, на нашей родной земле, — добавил он все тем же тоном. — Можете идти. Хайль Гитлер!

Христиан козырнул и вместе с лейтенантом фон Шлайном, который был тоже в очках, вышел из кабинета.

Уже по пути к дому, сидя в маленьком автомобиле, за которым следовал открытый грузовик с солдатами, Христиан спросил лейтенанта:

— А что с ним сделают?

— С ним? — зевнул лейтенант, сняв очки. — Завтра расстреляют. Мы каждый день расстреливаем десятки дезертиров, а сейчас, при отступлении, работы еще прибавится. — Снова надев очки, он спросил, взглядываясь в темноту: — Эта улица?

— Эта, — ответил Христиан. — Вот здесь.

Маленькая машина остановилась у знакомой двери. Грузовик затормозил вслед за ней, и солдаты выпрыгнули из кузова.

— Вам незачем с нами идти, — сказал фон Шлайн. — Это не так уж приятно. Только скажите, какой этаж и какая квартира, и мы вмиг все устроим.

— Верхний этаж, первая дверь справа от лестницы.

— Ладно, — бросил фон Шлайн. Он говорил высокомерным, пренебрежительным тоном, как будто хотел поведать всему миру, что в армии явно недооценивают всех его талантов. Со скучающим видом он небрежно махнул четвертым солдатам, которые приехали на грузовике, подошел к двери и нажал кнопку звонка.

Христиан стоял у края тротуара, облокотившись на машину, доставившую его сюда из эсэсовского штаба, и прислушивался к зловещему дребезжанию звонка, разносившемуся по спящему дому из комнаты консьержки. Фон Шлайн не отрывал пальца от кнопки, и непрерывный раздраженный звон, казалось, становился все сильнее. Христиан закурил и глубоко затянулся. «Ведь услышат же там наверху, — подумал он. — Этот фон Шлайн просто идиот!»

Наконец звякнула цепочка, и Христиан услышал сонный, раздраженный голос консьержки. Фон Шлайн рявкнул что-то по-французски, и дверь тотчас же настезь распахнулась. Лейтенант с солдатами ворвался в дом, и дверь за ними затворилась.

Христиан медленно шагал около машины и курил. Светало. Жемчужно-матовый свет, смешиваясь с таинственно-синими и серебристо-лиловыми тонами уходящей ночи, постепенно заливал улицы и дома Парижа. Рассвет был прекрасен, но Христиан ненавидел его. Скоро, может быть даже сегодня, он уедет из Парижа и, пожалуй, никогда в жизни больше его не увидит. Ну и хорошо. Пусть Париж остается французам, этим льстивым обманщикам, которые всегда побеждают... С него хватит. То, что он принимал за прелестную лужайку, оказалось трясиной. Манящая красота

города была лишь умело поставленной приманкой, которая завлекала в коварные тенета, гибельные для мужской чести и достоинства. Обманчивая нежность обезоруживала, обманчивая веселость низвергала завоевателей в бездну печали. Медики со свойственным им цинизмом еще тогда все предвидели, выдав каждому по три ампулы сальварсана,— единственное оружие, пригодное для покорения Парижа...

В раскрытых дверях показался Брандт в штатском пальто накинутом поверх пижамы. Его конвоировали двое солдат. Позади шли Франсуаза и Симона, в халатах и комнатных туфлях. Симона, вся в слезах, по-детски всхлипывала, но Франсуаза лишь посматривала на солдат с холодной насмешкой.

Христиан пристально посмотрел Брандту в глаза, но прочел в ответном взгляде только муку. Внезапно вырванный из глубокого, беззаботного сна, он шел с тупым похоронным видом. Христиан с ненавистью посмотрел на это прорезанное морщинами, изнеженное, безвольное, потерянное лицо. «Да ведь этот тип даже не похож на немца!» — удивленно подумал он.

— Он самый,— сказал Христиан, обращаясь к фон Шлайну.— А это те две женщины.

Солдаты втолкнули Брандта в кузов и довольно деликатно посадили Симону, которая так и заливалась слезами. Оказавшись в кузове, она беспомощно протянула руку Брандту. Христиан с презрением наблюдал, как тот с трагическим видом нежно взял протянутую руку и приложил к своей щеке, ничуть не стесняясь своих товарищей — солдат, которых собирался бросить, дезертировав из армии.

Франсуаза отказалась от помощи солдат. Смерив Христиана суровым напряженным взглядом, она с немим изумлением покачала головой и сама полезла в кузов грузовика.

«Вот так-то! — подумал Христиан, провожая ее взглядом.— Как видишь, не все еще кончено. Даже сейчас мы умеем одерживать некоторые победы...»

Грузовик тронулся. Христиан сел в автомобиль рядом с фон Шлайном, и они поехали вслед за грузовиком по улицам пробуждающегося Парижа к эсэсовскому штабу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Город выглядел как-то странно. Из окон не свешивались флаги, не было импровизированных плакатов, приветствующих освободителей, как в других городах на всем пути от самого Кутанса, а двое французов, которых окликнул

Майкл, нырнули в ближайший дом, едва завидев джип.

— Стой! — сказал Майкл, обращаясь к Стеллевато. — Что-то здесь неладно.

Они выехали на окраину города и остановились на перекрестке двух дорог, пустынных и неприветливых в это серое хмурое утро. С безлюдных улиц на них смотрели закрытые ставнями окна каменных домов. Целый месяц они ехали по дорогам, забитым танками, транспортерами, бензовозами, артиллерией и пехотой, и в каждом городе их встречали толпы ликующих, празднично одетых французов и французенок, которые размахивали флагами, извлеченными из тайников, где они хранились все годы оккупации, распевали «Марсельезу». Поэтому царившая здесь мертвая тишина казалась угрожающей и злобшей.

— В чем дело, братцы? — спросил Кин с заднего сиденья. — Что, не туда попали?

— Не знаю, — ответил Майкл, которого теперь раздражало каждое слово Кина. Три дня тому назад Пейвон велел ему захватить с собой Кина, и все эти три дня тот не переставая ныл: то война больно медленно идет, то жена в письмах жалуется, что получаемых денег при возросших ценах не хватает на жизнь, то еще что-нибудь не так. Благодаря Кину, цены на мясо, на масло, на хлеб, на детскую обувь неизгладимо запечатлелись в памяти Майкла. «Если в девятьсот семидесятом году меня спросят, почему был фарш летом сорок четвертого года, — раздраженно подумал Майкл, — я не задумываясь отвечу: шестьдесят пять центов фунт».

Он достал карту и развернул ее на коленях. Сзади раздался шелчок: Кин снял карабин с предохранителя. «Деревенщина, — подумал Майкл, всматриваясь в карту, — безмозглый, кровожадный ковбой...»

Стеллевато ссутулился рядом, сдвинув каску на затылок, и дымил сигаретой.

— Знаешь, чего мне сейчас хочется? — сказал он. — Бутылочку вина и французенку.

Стеллевато был либо слишком молод, либо слишком храбр, либо слишком глуп для того, чтобы почувствовать опасность, которую таило в себе это хмурое осеннее утро, и обратить внимание на необычный облик города.

— Попали мы куда надо, — наконец проговорил Майкл. — Но все равно мне не нравится это место.

Четыре дня тому назад Пейвон послал его в штаб 12-й группы армий с кучей всевозможных донесений о состоянии коммунального хозяйства и продовольственном положении в десятке городов, которые они успели обследовать, а также

об облачающих показаниях, данных местными жителями о некоторых должностных лицах. После этого Майклу надлежало вернуться в штаб пехотной дивизии. Но когда он вернулся, ему сказали в оперативном отделении, что Пейвон днем раньше уехал и просил передать Майклу, чтобы тот ждал его на следующее утро в этом самом городе. В десять ноль-ноль в город должны были вступить передовые подразделения оперативной группы из бронетанковых и механизированных войск, с которыми и собирался приехать сюда Пейвон.

Было уже одиннадцать, но никаких признаков того, что здесь после 1919 года побывали люди, говорящие на английском языке, не наблюдалось, если не считать маленькой указки с надписью: «Пункт водоснабжения».

— Поехали, что ли,— начал Кин.— Чего мы ждем? Мне Париж посмотреть хочется.

— Париж пока не у нас,— сказал Майкл, складывая карту и усиленно стараясь сообразить, что может означать эта пустота на улицах.

— Сегодня утром я слушал в передаче Би-би-си,— продолжал Кин,— будто немцы в Париже попросили о перемирии.

— Лично меня они не просили,— ответил Майкл, сожалея, что с ними сейчас нет Пейвона, который принял бы на себя всю ответственность. Последние три дня он наслаждался, разъезжая по праздничной Франции: сам себе хозяин, и никто им не командует. Но в это утро обстановка была явно не праздничной, и его угнетала мысль, что, если он сейчас примет опрометчивое решение, они могут не дожить до полудня.

— Черт с ним, поехали,— решил он и подтолкнул локтем Стеллеватю.— Посмотрим, что делается на пункте водоснабжения.

Стеллеватю завел мотор, и они, свернув в переулок, медленно поехали к виднеющемуся вдаль мостику, перекинутому через небольшую речушку. Там висел еще один указатель, неподалеку стояла огромная брезентовая цистерна с насосом. Сначала Майклу показалось, что на пункте водоснабжения, как и во всем городе, нет ни души, но вскоре он заметил каску, торчащую из окопа, замаскированного ветками.

— Мы услышали, что кто-то подъезжает,— раздался голос из-под каски. Говоривший был молодой парень, бледный, с усталыми глазами, в которых Майкл заметил испуг. Показался еще один солдат и направился к джипу.

— Что здесь творится? — спросил Майкл.

— Это вы нам скажите,— ответил первый солдат.

— В десять часов здесь не проходили войска?

— Никто здесь не проходил,— ответил с легким шведским акцентом другой солдат — маленький толстячок лет сорока, уже давно не бритый.— Вчера вечером проходил штаб Четвертой бронетанковой; нас ссадили здесь, а колонна свернула на юг. С тех пор никто не проходил. На рассвете откуда-то из центра города слышалась стрельба...

— Что там произошло?

— А почему ты меня спрашиваешь, приятель? Нас здесь поставили воду качать из этой вот лужи, а не заниматься расследованиями. В лесу полно фрицев. Они стреляют в лягушатников, а лягушатники — в них. А мы ждем подкрепления...

— Поедем в центр города и посмотрим,— нетерпеливо сказал Кин.

— А ты заткнись! — грубо бросил Майкл, круто повернувшись к Кину. Тот смущенно замигал глазами за толстыми стеклами очков.

— Мы с дружкой,— снова заговорил толстяк,— как раз толковали о том, не лучше ли нам вообще отсюда убраться. Кому нужно, чтобы мы сидели здесь, словно утки на пруду? Утром приходил какой-то лягушатник, он немного говорит по-английски, и сказал, будто по ту сторону города восемьсот фрицев с тремя танками. Собираются сегодня занять город...

— Ну и дела,— заметил Майкл.— Так вот почему нет флагов.

— Восемьсот фрицев! — воскликнул Стеллевато.— Давайте-ка лучше смываться...

— Как ты думаешь, здесь не опасно? — спросил Майкла молодой солдат.

— Как дома в гостиной! — злобно ответил тот.— Тут сам черт не разберется!

— Я просто спросил...— укоризненно сказал солдат.

— Что до меня,— заключил толстяк со шведским акцентом, поглядывая на улицу,— мне все это не нравится. Совсем не нравится. Никто не имеет права заставлять нас сидеть одних у этого проклятого ручья!

— Никки,— сказал Майкл, обращаясь к Стеллевато.— Разверни машину и поставь на шоссе, чтобы в случае чего сразу убраться.

— Что, струхнул? — съехидничал Кин, повернувшись к Майклу.

— Слушай, ты, генерал Паттон¹,— ответил тот, стараясь скрыть раздражение.— Когда потребуется совершить героический подвиг, тебя вызовут. Никки, разворачивай машину!

— Хотел бы я сейчас сидеть дома,— пробормотал Стеллевато, но влез в машину и развернул ее. Потом вытащил автомат из зажимов под ветровым стеклом и сдул с него пыль.

— Так что будем делать, ребята? — спросил Кин, нетерпеливо перебирая грязными руками по карабину. Майкл неприязненно посмотрел на него. «Неужели,— подумал он,— его брат получил «Почетную медаль конгресса» только за свою непроходимую тупость?»

— Пока будем сидеть здесь и ждать.

— Чего ждать? — настаивал Кин.

— Ждать полковника Пейвона.

— А если он не приедет? — не унимался Кин.

— Тогда примем новое решение. Везет мне сегодня! — проворчал Майкл.— Бьюсь об заклад, до вечера еще раза три придется решать...

— Я думаю, нам нужно послать Пейвона ко всем чертям,— заявил Кин,— и ехать прямо в Париж. По радио говорят...

— Я знаю, что говорят по радио,— перебил его Майкл,— и знаю, что скажешь ты. А я говорю, что мы будем сидеть и ждать!

Он отошел от Кина и уселся на траву, прислонившись к низкой каменной ограде, которая тянулась вдоль речушки. Двое солдат из бронетанковой дивизии нерешительно посмотрели на него, а затем вернулись в окоп и снова закрылись ветками. Стеллевато поставил автомат к ограде и прилег на траву вздремнуть. Он вытянулся, прикрыл руками глаза и уснул как убитый.

Кин уселся на камень, достал блокнот с карандашом и стал писать письмо жене. Он посылал ей подробные отчеты обо всем, что делал и видел, включая самые ужасные описания убитых и раненых. «Хочу, чтобы она знала, что творится на белом свете,— трезво рассуждал он.— Если она поймет, что нам приходится испытывать, может, она станет смотреть на жизнь по-другому».

Майкл смотрел поверх каски Кина, который пытался на расстоянии в три тысячи миль исправить взгляды на жизнь своей равнодушной супруги. Древние стены города и зага-

¹ Паттон, Джордж Смит (1885—1945) — американский генерал. Во время боевых действий в Западной Европе в 1944—1945 гг. командовал 3-й армией.— *Прим. ред.*

дочные, закрытые ставнями окна, не украшенные флагами, упрямо хранили свою тайну.

Майкл закрыл глаза. Хоть бы мне кто-нибудь написал, думал он, и объяснил, что со мной происходит. За последний месяц накопилось столько противоречивых впечатлений, что казалось, потребуются целые годы, чтобы отсеять их друг от друга, разобрать по полочкам и докопаться до их подлинного смысла. Он чувствовал, что во всей этой пальбе, в захвате городов, в бомбардировках, в переходах по раскаленным пыльным дорогам летней Франции, в приветствиях толпы, в поцелуях девушек, в стрельбе снайперов, в пожарах — во всем этом кроется какой-то общий глубокий смысл. Этот месяц ликования, хаоса и смерти, казалось, должен был бы дать человеку какой-то ключ к пониманию войн и насилия, к пониманию роли Европы и Америки.

С тех пор как Пейвон грубо поставил его на место тогда в карауле в Нормандии, Майкл почти совсем потерял надежду принести какую-нибудь пользу в войне, но зато он должен теперь, по крайней мере, понять ее, думал он.

Однако никакие обобщения в голову не приходили. Он не мог, например, сказать, что «американцы такие-то и такие-то, поэтому они побеждают» или что «французы ведут себя так-то и так-то в силу таких-то особенностей своего характера», а «беда немцев в том, что они не понимают того-то и того-то...»

Стремительный натиск и ликующие крики, смешавшись в его сознании, представлялись одной многогранной бурной драмой. Эта драма не переставая будоражила его мозг, мешала ему спать даже тогда, когда он изнемогал от жары и усталости. Он никак не мог отделаться от своих мыслей даже в такие моменты, как сейчас, когда его жизни, быть может, угрожала опасность в этом притихшем, сером, безжизненном городке на дороге в Париж.

К тихому журчанию воды в речушке примешивалось деловитое шуршание карандаша Кина. Опершись спиной о каменную ограду, Майкл сидел с закрытыми глазами; после долгого недосыпания его клонило ко сну, но он не поддавался и, чтобы не уснуть, перебирал в памяти бурные события прошедшего месяца..

Названия залитых солнцем городов, словно сошедшие со страниц сочинений Пруста¹: Мариньи, Кутанс, Сен-Жан-

¹ Пруст, Марсель (1871—1922) — французский писатель-декадент. Автор многотомного романа «В поисках утраченного времени», построенного на личных переживаниях героя.— *Прим. ред.*

ле-Тома, Авранш, Понторсон... Приморское лето в волшебной стране, где в серебристо-зеленой манящей дымке сливаются овеянные легендами Нормандия и Бретань. Что бы сказал этот болезненный француз, отгородившийся от мира в обитой пробкой комнате, о дорогих его сердцу приморских провинциях теперь, в суровом августе 1944 года? Какие замечания сделал бы он своим неровным, дрожащим голосом по поводу тех изменений, которые внесли в архитектуру церквей XIV века 105-миллиметровые орудия и пикирующие бомбардировщики? Как бы на него подействовали трупы лошадей, валяющиеся в канавах под кустами боярышника, и сожженные танки, издающие странный, смешианный запах металла и горелого мяса? Какими изысканными, утонченными фразами выразили бы свое отчаяние месье де Шарлюс и мадам де Германт при виде новых путешественников, шагающих по старым дорогам мимо Мон-Сен-Мишеля?..

...«Шагаю уже целых пять дней,— раздается неподалеку молодой голос со среднезападным акцентом,— и еще ни разу не выстрелил! Но не подумайте, что я жалуясь. Я, черт возьми, могу загнать их до смерти, если это то, чего от меня требуют...»

...В Шартре пожилой капитан с кислой физиономией рассуждает, облокотившись на танк «Шерман», остановившийся на площади перед собором: «Не пойму, и чего только люди грызлись столько лет из-за этой страны? Клянусь богом, здесь же нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать, и гораздо лучше, у нас в Калифорнии!..»

...На перекрестке, окруженный саперами с миноискателями в руках и танкистами, танцует чернокожий карлик в красной фреске. Его награждают аплодисментами и спивают кальвадосом, только сегодня преподнесенным солдатам местными жителями...

...На разрушенной улице к Пейвону и Майклу подходят два пьяных старика с букетиками анютиных глазок и герани. Они приветствуют в их лице американскую армию, хотя вправе были бы спросить, почему четвертого июля, когда в деревне уже не было ни одного немца, американцы сочли нужным обрушить на нее бомбы и за тридцать минут превратить деревню в груду развалин.

...Немецкий лейтенант, захваченный в плен 1-й дивизией, за пару чистых носков указывает на карте точное расположение своей 88-миллиметровой батареи еврейю — беженцу из Дрездена, ныне сержанту военной полиции.

...Степенный французский фермер целое утро трудится, выкладывая у обочины громадную надпись из роз «Добро

пожаловать, США!» в знак приветствия проходящим солдатам; другие фермеры со своими женами устраивают прямо у дороги ложе из цветов убитому американцу, усыпают его розами, флоксами, пионами, ирисами из своих садов, и смерть в это летнее утро на мгновение кажется радостным, чарующим, трогательным событием, и проходящие солдаты осторожно огибают яркую цветущую клумбу.

...Бредут тысячи пленных немцев, и, когда смотришь на них, в душу начинает закрадываться неприятное чувство: судя по их лицам, никак нельзя сказать, что именно эти люди перевернули Европу вверх дном, отняли тридцать миллионов жизней, жгли население в газовых печах, вешали, калечили, пытали. Теперь их лица выражают лишь усталость и страх. Если бы их всех одеть в американскую форму, то они бы, честно говоря, выглядели так как будто прибыли сюда из Цинциннати.

...В каком-то городишке недалеко от Сен-Мало хоронят бойца Сопrotивления, и артиллерия огибает похоронную процессию, которая тянется в гору за лошадьми в черных плюмажах, впряженными в ветхий катафалк; жители городка, одетые в свое лучшее платье, шаркают по пыльной дороге, чтобы пожать руки родственникам убитого, торжественно выстроившимся у ворот кладбища. Майкл спрашивает у молодого священника, помогающего при богослужении в кладбищенской церкви: «Кого хоронят?», а тот отвечает: «Не знаю, брат мой. Я из другого города...»

...Плотник из Гранвиля, уроженец Канады, который работал на строительстве немецких береговых укреплений, говорит, покачивая головой: «Теперь все равно, приятель. Вы пришли слишком поздно. В сорок втором, в сорок третьем году я бы с радостью приветствовал вас, тряс вам руки. А теперь,— он пожал плечами,— теперь поздно, приятель, слишком поздно...»

...В Шербуре пятнадцатилетний юноша с возмущением говорит об американцах: «Дураки они,— горячится он,— развлекаются с теми же девками, которые жили с немцами! Тоже мне, демократы! Плевал я на этих демократов! Я сам,— хвастал он,— наголо обрил пять таких девок, чтобы не путались с немцами, и сделал это тогда, когда было опасно, еще задолго до вторжения! И дальше буду брить, обязательно буду...»

Храпел Стеллеват, карандаш Кина не переставая шуршал по бумаге. Из города по-прежнему не доносилось ни звука. Майкл встал, подошел к мостику и уставился на темную коричневатую воду, тихо бурлившую вниз. Если эти восемьсот немцев собираются атаковать город, размыш-

лял он, то хоть скорее бы. А еще лучше, чтобы подошли свои, и с ними Пейвон. Война переносится куда легче, когда вокруг тебя сотни других солдат, когда ни за что не отвечаешь, когда знаешь, что за тебя решают люди, которых специально этому учили. А здесь, на обросшем мхом мостике через безымянную речушку, в безмолвном, забытом городишке, чувствуешь себя всеми покинутым. Никому нет дела, что эти восемьсот немцев могут войти в город и пристрелить тебя. Никому нет дела, будешь ли ты сопротивляться или сдашься в плен, или просто удерешь... Почти как в гражданской жизни: всем наплевать, живешь ты или уже умер...

«Подождем Пейвона еще тридцать минут,— решил наконец Майкл,— а потом поедем назад разыскивать какую-нибудь американскую часть».

Майкл беспокойно взглянул на небо. В густых, свинцовых, низко нависших тучах было что-то угрожающее и зловещее. Жаль! А ведь все эти дни стояла ясная, солнечная погода. В солнечный день как-то особенно веришь в свое счастье... Свистит над головой пуля снайпера, и ты считаешь вполне естественным, что он промахнулся; попадаешь под обстрел с самолета, прыгаешь в канаву прямо на труп капрала-танкиста и чувствуешь, что тебя не заденет,— и не задевает... Майклу вспомнилось, как под Сен-Мало командный пункт полка попал под артиллерийский обстрел. Оказавшийся там какой-то генерал из верхов орал на утомленных, с покрасневшими глазами людей, склонившихся у телефонных аппаратов: «Какого черта делает корректировщик? Трудно, что ли, найти эту проклятую пушечку! Передайте, чтобы немедленно отыскал негодницу!» Дом сотрясался от разрывов, люди кругом забились в щели, но даже тогда Майкл верил, что останется цел и невредим...

Сегодня же — совсем другое дело. Солнца нет, и в счастье не верится...

Веселый солнечный марш, кажется, кончился. Девочка, поющая «Марсельезу» в баре Сен-Жана; стихийно возникший парад местных жителей в маленьком городке Миньяк, когда его проходили первые пехотинцы; бесплатный коньяк в Ренне; монахини и дети, выстроившиеся вдоль дороги под Ле-Маном; отряд бойскаутов, марширующих с серьезными лицами на своем воскресном параде под Алансоном рядом с танковой колонной; семейные группы, рассевшиеся на залитых солнцем берегах реки Вилен; знаки победы в виде буквы V; знамена; бойцы Сопротивления, с гордым видом конвоирующие своих пленников,— все куда-то вдруг исчезло; казалось, будто это было в прошлом веке, а те-

перь наступают новые времена, серые, мрачные, несчастливые...

Майкл подошел к Кину.

— Поедем в центр города — посмотрим, что там делается.

— Ладно,— сказал Кин, пряча блокнот и карандаш,— ты меня знаешь, я готов хоть куда.

«Знаю»,— подумал Майкл и, наклонившись к Стеллевато, похлопал его по каске. Тот издал жалобный стон: видно, ему снилось что-то приятное и непристойное, связанное с прошлыми похождениями.

— Оставь меня в покое,— пробормотал он.

— Ну хватит. Вставай! — Майкл настойчивее похлопал по каске.— Поедем кончать войну...

Двое танкистов вылезли из окопа.

— А нам, выходит, одним оставаться? — укоризненно спросил толстяк.

— Вас же учат, кормят и вооружают лучше всех солдат в мире. Что вам стоит задержать каких-то восемьсот фрицев?

— Ты, я вижу, остряк! — обиделся толстяк. — Значит, бросаете нас одних?

Майкл забрался в джип.

— Не беспокойся. Мы только взглянем на город. Будет что интересное — позовем.

— Все острит,— сказал толстяк и с унылым видом посмотрел на своего приятеля.

Стеллевато медленно переехал по мосту на другой берег.

На городскую площадь въезжали медленно, осторожно, держа карабины в руках. На площади не было ни души. Витрины лавок были плотно закрыты железными ставнями, двери церкви — на замке, гостиница выглядела так, словно уже несколько недель в нее никто не входил. Оглядываясь вокруг, Майкл чувствовал, что у него нервно подергивается щека. Даже Кин на заднем сиденье настороженно притих.

— Ну, а дальше куда? — прошептал Стеллевато.

— Стой здесь.

Стеллевато затормозил и остановился посреди вымощенной булыжником площади.

Вдруг раздался какой-то грохот — Майкл резко повернулся и вскинул карабин. Двери гостиницы распахнулись, и оттуда хлынул народ. Многие были вооружены — кто автоматом, кто ручными гранатами, заткнутыми за пояс. Были среди них и женщины, их шарфики яркими пятнами выделялись на фоне кепок и черных волос мужчин.

— Лягушатники,— промолвил Кин с заднего сиденья.— Несут ключи от города.

Через мгновение джип окружили, но привычных изъявлений радости не было. Люди выглядели серьезными и напуганными. У одного мужчины в коротких, до колен, брюках, с повязкой Красного Креста на рукаве была забинтована голова.

— Что здесь происходит? — спросил по-французски Майкл.

— Немцев поджидаем,— ответила низенькая, круглолицая, полная женщина средних лет в мужском свитере и мужских сапогах. Говорила она по-английски с ирландским акцентом, и на секунду Майклу показалось, будто с ним пытаются сыграть какую-то ловкую, злую шутку.— А вы как сюда прорвались?

— Просто взяли и приехали в город,— раздраженно ответил Майкл, досадуя на столь сдержанную встречу.— А в чем дело?

— На той окраине восемьсот немцев,— начал мужчина с повязкой Красного Креста.

— И три танка,— добавил Майкл.— Знаем. А американские войска сегодня не проходили?

— Утром здесь был немецкий грузовик,— сказала женщина в свитере.— Расстреляли Андре Фуре. Это случилось в половине восьмого. После этого никого не было.

— А вы в Париж? — поинтересовался человек с повязкой. Он был без фуражки, из-под окровавленного бинта выбивались длинные черные волосы. Голые ноги в коротких носках нелепо торчали из-под помятых коротеньких брюк. «У этого парня что-то на уме,— подумал Майкл.— Уж больно необычная одежда».

— Скажите,— настойчиво допытывался тот,— вы в Париж?

— Со временем,— уклончиво ответил Майкл.

— Тогда давайте за мной,— быстро предложил человек с повязкой.— У меня мотоцикл. Я только что оттуда. Через час будем там.

— А восемьсот немцев и три танка? — заметил Майкл, уверенный, что его пытаются заманить в ловушку.

— Проскочим в объезд. В меня всего два раза выстрелили. Я знаю, где расставлены мины. Вас трое с карабинами и автоматом. В Париже все это наперечет. Мы сражаемся уже три дня, и нам нужна помощь...

Остальные стояли, окружив джип, и в знак согласия кивали головами, перебрасываясь замечаниями на французском языке, слишком беглом, чтобы Майкл мог понять.

— Постоите.— Майкл прикоснулся к локтю женщины, которая говорила по-английски.— Давайте разберемся во всем. Скажите, мадам...

— Меня зовут Дюмулен. Я ирландка,— громко и вызывающе ответила женщина,— но уже тридцать лет живу здесь. А теперь скажите, молодой человек, вы намерены нас защищать?

Майкл неопределенно покачал головой.

— Сделаю все, что в моих силах, мадам, — заверил он, подумав про себя: «Невозможно разобраться в этой войне».

— У вас есть и боеприпасы,— продолжал парижанин, жадно заглядывая в кузов, где были навалены коробки и свернутые постели.— Прекрасно. Если поедете за мной, доберетесь без всяких неприятностей. Только наденьте такие же повязки, и, даю голову на отсечение, вас никто не обстреляет.

— Пусть Париж сам о себе заботится! — перебила мадам Дюмулен.— У нас здесь свои дела — восемьсот немцев.

— Пожалуйста, не говорите все сразу! — взмолился Майкл, подняв руки, а сам подумал: «В Форт-Беннинге нас не учили, как действовать в подобной обстановке!»

— Прежде всего, скажите мне,— продолжал он,— кто-нибудь из вас видел этих немцев?

— Жаклина! — громко позвала мадам Дюмулен.— Расскажи все этому молодому человеку!

— Только помедленнее, пожалуйста, — предупредил Майкл.— Мой французский оставляет желать много лучшего.

— Я живу в километре от города,— начала Жаклина, коренастая девица, у которой не хватало нескольких передних зубов.— Вчера вечером подъехал немецкий танк, и из него вылез лейтенант. Он потребовал масла, сыру и хлеба, а потом сказал, чтобы мы не выходили встречать американцев, так как американцы пройдут через город, а потом оставят нас одних. А немцы вернутся и расстреляют каждого, кто встречал американцев. С ним, говорит, восемьсот человек. И он был прав,— возбужденно заключила Жаклина.— Американцы появились, а через час исчезли. Хорошо, если к вечеру немцы не сожгут город дотла...

— Позор! — жестко добавила мадам Дюмулен.— Как только американцам не стыдно? Если они пришли, так пусть остаются, или уж не приходят совсем. Я требую защиты.

— Это преступление,— снова принялся за свое человек с повязкой.— Парижских рабочих оставляют без боеприпасов, чтобы их расстреляли как собак, а они сидят здесь с тремя ружьями и сотнями патронов!

— Дамы и господа! — заговорил Майкл голосом заправского оратора, стоя в машине.— Я заявляю вам...

— Берегись! — прервал его пронзительный женский крик.

Майкл обернулся. На площадь выехала на довольно большой скорости открытая машина. В ней стояли, подняв руки, двое в серой военной форме.

Толпа, окружавшая джип, на мгновение в удивлении смолкла.

— Боши! — закричал кто-то.— Они сдаются!

Но когда машина почти поравнялась с джипом, немцы, стоявшие в ней с поднятыми вверх руками, вдруг нырнули в кузов, и машина, резко прибавив скорость, устремилась вперед. Сзади, из кузова, на мгновение показалась фигура с автоматом. Брызнула очередь, и в толпе послышались вопли. Майкл тупо уставился на мчавшуюся прочь машину, потом стал шарить в ногах в поисках карабина. Казалось, пройдут часы, пока он снимет карабин с предохранителя, но в этот момент у него из-за спины ритмично застучали выстрелы. Шофер немецкой машины вскинул руки, машина ткнулась в каменный край тротуара, отскочила, повернулась и врезалась в бакалейную лавку на углу. Лязгнула железная ставня, зазвенело разбитое вдребезги стекло, машина медленно опрокинулась набок, и из нее вывалились двое.

Майкл, наконец, снял карабин с предохранителя. Стеллевато, застыв от изумления, продолжал сидеть за рулем и только сердито прошептал:

— В чем дело? Что за чертовщина?

Майкл обернулся. Сзади стоял Кин с карабином в руке, о мрачной улыбкой уставившись на распростертых немцев. Пахло порохом.

— Пусть знают,— довольно буркнул он и ухмыльнулся, показав желтые зубы.

Майкл вздохнул и оглядел толпу. Французы зашевелились и стали медленно подниматься на ноги, не сводя глаз с разбитой машины. На булыжнике среди толпы неподвижно лежали две фигуры. В одной из них Майкл узнал Жаклину. Ее юбка задралась выше колен, обнажив толстые желтоватые бедра. Над ней склонилась мадам Дюмулен. Где-то заплакала женщина.

Майкл вылез из джипа, за ним последовал Кин. С карабинами наготове они осторожно пересекли площадь и подошли к опрокинутой машине.

«Кин,— с досадой подумал Майкл, не отрывая глаз от двух серых фигур, распростертых вниз лицом на тротуаре,— надо же, чтобы это сделал именно Кин. Он оказался про-

ворнее и надежнее меня, а я провозился с предохранителем. Немцы домчались бы до самого Парижа, пока я собирался выстрелить...»

Всего в машине, как увидел Майкл, было четверо, трое из них — офицеры. Водитель-солдат был еще жив. Из рта у него неровной струйкой сочилась кровь. Когда подошел Майкл, он упрямо пытался уползти на четвереньках, но, увидев ботинки Майкла, застыл на месте.

Кин оглядел троих офицеров.

— Мертвые,— сообщил он с обычной вялой, невеселой улыбкой.— Все трое. Мы должны получить, по крайней мере, по «Бронзовой звезде»¹. Скажи Пейвону, чтоб написал репортаж. А что с этим? — Кин указал на водителя носком ботинка.

— Плох,— ответил Майкл. Он нагнулся и осторожно дотронулся до плеча солдата.— Говоришь по-французски?

Солдат поднял на него глаза. Ему было не больше семнадцати или девятнадцати лет. На пухлых губах пенилась кровь, лицо исказилось от боли, в нем было что-то животное, жалкое. Он кивнул, с трудом приподняв голову, и губы его конвульсивно дрогнули от боли. На ботинок Майкла брызнула кровь.

— Не шевелись,— тихо сказал Майкл, наклонившись к самому уху раненого.— Постараемся помочь.

Юноша распрямился и вытянулся на мостовой, а затем перевернулся на бок. Дикими от боли глазами он смотрел на Майкла.

Тем временем около машины собрались французы. Человек с повязкой держал в руках два автомата.

— Превосходно! — радовался он.— Чудесно! Это в Париже очень пригодится.

Он подошел к раненому и выдернул у него из кобуры пистолет.

— Тоже пригодится. У нас найдутся к нему патроны.

Раненый безмолвно уставился на повязку с красным крестом на руке француз, а затем едва слышно проговорил:

— Доктор... Доктор, помогите...

— Да нет же,— весело рассмеялся француз, показывая на повязку,— это просто для маскировки. Чтобы пробраться мимо твоих друзей там, на дороге. Никакой я не доктор, и пусть тебе помогают другие...

Он отнес драгоценное оружие в сторону и стал осматривать, нет ли каких повреждений.

— Не стоит зря тратить время на эту свинью,— про-

¹ Награда за участие в одном сражении.— *Прим. ред.*

звучал твердый холодный голос мадам Дюмулен.— Прикончить его надо.

Майкл посмотрел на нее, не веря своим ушам. Она стояла у самой головы раненого водителя, скрестив руки на груди. По суровому выражению, застывшему на лицах стоявших рядом мужчин и женщины, было видно, что она высказала и их мнение.

— Нет,— сказал Майкл,— этот человек — наш пленный, а пленных мы в армии не расстреливаем.

— Доктор! — зывал немец с мостовой...

— Прикончить его,— настаивал кто-то за спиной мадам Дюмулен.

— Если американцы жалеют патроны,— раздался другой голос,— я прикончу его камнем.

— Да что с вами? — закричал Майкл.— Ведь вы же не звери!

Чтобы все поняли, он говорил по-французски, и ему было трудно с помощью почерпнутых в школе знаний выразить весь свой гнев и отвращение. Майкл снова взглянул на мадам Дюмулен. «Непостижимо,— подумал он,— маленькая, толстая домохозяйка, ирландка, оказавшаяся почему-то среди воюющих французов, жаждущая крови и не испытывающая ни малейшего сострадания».

— Он же ранен и не может причинить вам вреда! — продолжал Майкл, злясь, что так медленно подбирает нужные слова.— Какой в этом смысл?

— Пойдите и взгляните на Жаклину,— холодно ответила мадам Дюмулен.— Взгляните на месье Александра, вот он лежит с простреленным легким, тогда вы лучше поймете...

— Но ведь трое из них мертвы,— зывал Майкл к мадам Дюмулен.— Разве этого не достаточно?

— Нет, не достаточно! — Лицо женщины побелело от гнева, темные глаза сверкали безумным огнем.— Может быть, для вас и достаточно, молодой человек. Вы не жили при них целых четыре года! Ваших сыновей не угоняли и не убивали! Жаклина — не ваша соседка. Вы — американец. Вам легко быть гуманным! А нам это далеко не так легко! — Теперь она кричала диким, пронзительным голосом, размахивая кулаками у Майкла под носом.— Мы не американцы и не хотим быть гуманными. Мы хотим убить его. А если вы такой жалостливый — отвернитесь. Без вас делаем. Пусть ваша американская совесть будет чиста...

— Доктора...— стонал раненый на мостовой.

— Но послушайте, нельзя же так,— продолжал Майкл, просительно глядя в непроницаемые лица горожан,

толпившихся позади мадам Дюмулен, чувствуя себя виноватым в том, что он, посторонний человек, иностранец, который любит их, уважает их мужество, сочувствует их страданиям, любит их страну, осмеливается мешать им в таком важном деле на улице их собственного города. Может быть, она права, может быть, в нем говорит свойственная ему мягкотелость, нерешительность, которые и заставляют его возражать.— Нельзя так расправляться с ранеными, каковы бы...

Сзади раздался выстрел. Майкл, вздрогнув, обернулся. Кин стоял над немцем, все еще держа палец на спусковом крючке карабина, и криво ухмылялся. Немец затих. Горожане взирали теперь на обоих американцев спокойно и даже чуть смущенно.

— Ну его к чертям,— проговорил Кин, вешая карабин на плечо,— все равно подход бы. Почему бы заодно не доставить удовольствие даме?

— Вот и хорошо,— решительно сказала мадам Дюмулен.— Хорошо. Большое спасибо.

Она повернулась, и стоявшие сзади расступились, пропуская ее. Майкл посмотрел вслед этой маленькой, полной, почти комической фигурке, на которую наложили свою печать частые роды, стирка, бесконечные часы, проведенные на кухне. Степенно, переваливаясь с ноги на ногу, она направилась через площадь туда, где лежала некрасивая крестьянская девушка, которая навсегда избавилась и от своего безобразия и от тяжелого труда на ферме.

Один за другим отошли и другие французы. Американцы остались у трупа немца вдвоем. Майкл наблюдал, как подняли и унесли в гостиницу человека с простреленным легким, потом повернулся к Кину. Тот нагнулся над трупом и шарил по карманам. Когда он выпрямился, в руках у него был бумажник. Раскрыв его, он вытащил сложенную вдвое карточку.

— Расчетная книжка,— сказал он.— Иоахим Риттер, девятнадцати лет. Денежного содержания ему не выплачивали три месяца.— Кин усмехнулся.— Совсем как в американской армии.

Затем он обнаружил фотографию.

— Иоахим со своей кралей,— сказал он, протягивая фотографию Майклу.— Погляди-ка, аппетитная малышка.

Майкл молча посмотрел на карточку. С фотографии, сделанной в каком-то парке, на него смотрели интересный худощавый юноша и пухленькая блондинка в задорно наведенной на короткие белокурые волосы форменной фуражке

своего молодого человека. На лицевой стороне фотографии было что-то нацарапано чернилами по-немецки.

— «Вечно в твоих объятиях. Эльза», — прочитал Кин. — Вот что она написала. Пошлю своей жене, пусть хранит. Будет интересный сувенир.

Руки у Майкла дрожали. Он чуть не разорвал фотографию. Он ненавидел Кина, с отвращением думал о том, что когда-нибудь, через много лет, у себя дома в Соединенных Штатах этот длиннолицый человек с желтыми зубами, разглядывая фотографию, будет с удовольствием вспоминать это утро. Но Майкл не имел никакого права врать фотографию. При всей своей ненависти к Кину он сознавал, что тот заслужил свой сувенир. В то время как он, Майкл, медлил и колебался, Кин поступил как настоящий солдат. Без колебания и страха он быстро оценил обстановку и уничтожил противника, тогда как все другие, застигнутые врасплох, растерялись. И может быть, убив раненого, он тоже поступил правильно. Возиться с раненым они не могли, его пришлось бы оставить местным жителям, а те все равно размозжили бы ему голову, стоило Майклу скрыться из вида. Кин, этот унылый садист, в конце концов выполнял волю народа, служить которому их, собственно говоря, и послали сюда в Европу. Своим единственным выстрелом Кин дал возможность почувствовать угнетенному, запуганному населению города, что правосудие свершилось, что в это утро они, наконец, сполна расплатились с врагом за все то зло, которое он причинял им целых четыре года. Ему, Майклу, нужно радоваться, что с ним оказался Кин. Вероятно, все равно пришлось бы убивать, а сам Майкл ни за что бы не решился...

Майкл направился к Стеллеато, который оставался у джипа. Чувствовал он себя прескверно. «Для этого нас сюда и послали, — мрачно размышлял он, — для этого все и затевалось — убивать немцев. И надо бы быть веселым, радоваться успеху...»

Но он не радовался. Неполноценный человек, с горечью в душе размышлял он, да, он, Майкл Уайтэкр, неполноценный человек, сомнительная штатская личность, солдат, который не способен убивать. Поцелуй девушки на дороге, украшенные розами изгороди, бесплатный коньяк — все это не для него, он этого не заслужил... Кин, который ухмыляется, всадив пулю в голову умирающему, который бережно прячет в бумажник чужую фотографию как сувенир, — вот тот человек, которого приветствовали европейцы на солнечных дорогах на всем пути от побережья... Кин, победоносный, полноценный американец-освободитель, самый под-

ходящий человек для этого месяца расплаты...

Мимо промчался на своем мотоцикле француз с повязкой Красного Креста. Он весело махнул им, так как стал обладателем пары новых автоматов и сотни патронов, которые вез своим друзьям, сражающимся на баррикадах Парижа. Этот человек с голыми ногами, в нелепых коротких брюках, с окровавленной повязкой на голове, объехав опрокинувшуюся машину, скрылся за поворотом и умчался туда, где были восемьсот немцев, заминированные дорожные перекрестки, столица Франции. Майкл даже не обернулся.

— Господи! — воскликнул Стеллевато своим по-итальянски мягким голосом, все еще слегка сиплым от пережитого волнения. — Что за утро! Как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно, — ответил Майкл. — Прекрасно...

— Никки, — сказал Кин, — не хочешь взглянуть на фрицев?

— Нет, — ответил тот, — предоставим это похоронной команде.

— Мог бы взять какой-нибудь интересный сувенир, — сказал Кин, — и послать своим родным.

— Моим родным сувениры не нужны, — ответил итальянец. — Единственный сувенир, который они желают получить из Франции, — это я сам.

— Посмотри-ка на эту штуку, — сказал Кин, вытащив фотографию и сунув ее под нос Стеллевато. — Его звали Иоахим Риттер.

Стеллевато неторопливо взял фотографию и стал разглядывать.

— Бедная девочка, — грустно сказал он. — Бедная блондиночка...

Майклу захотелось обнять Стеллевато.

Стеллевато отдал фотографию Кину.

— Пожалуй, надо вернуться на пункт водоснабжения и рассказать ребятам, что здесь произошло, — сказал он. — Они, наверно, слышали выстрелы и перепугались до смерти.

Майкл полез было в машину, но остановился. По главной улице медленно ехал какой-то джип. Кин щелкнул затвором карабина.

— погоди, — резко сказал Майкл, — это наши.

Джип медленно подкатил к ним, и Майкл узнал Крамера и Морисона, которые три дня назад были с Пейвоном. Горожане, собравшиеся у ступенек гостиницы, уставились на вновь прибывших.

— Привет, ребята! — воскликнул Морисон. — Развлекаетесь?

— Славное было дело, — охотно откликнулся Кин.

— А что произошло? — спросил Крамер, скептически кивнув в сторону мертвых немцев и опрокинутой машины.— Несчастный случай?

— Я их пристрелил,— громко сказал Кин, ухмыляясь.— Недурной счет для одного дня!

— Он что, шутит? — спросил Крамер у Майкла.

— Вовсе нет,— ответил тот.— Всех убил он.

— Вот это да-а! — воскликнул Крамер, по-новому, с уважением посмотрев на Кина, который с первых дней прибытия в Нормандию был предметом насмешек для всего подразделения.— Ай да Кин! Ай да старый хвостун... Кто бы мог подумать!

— Служба гражданской администрации,— поддержал его Морисон,— и вдруг попасть в такую переделку!

— Где Пейвон? — спросил Майкл.— Он приедет сюда сегодня?

Морисон и Крамер во все глаза смотрели на убитых немцев. Как и большинство других солдат из их подразделения, они не видели ни одного боя с момента прибытия во Францию и не скрывали теперь, что этот случай произвел на них огромное впечатление.

— Обстановка изменилась,— сказал Крамер.— Войска здесь не пойдут. Пейвон послал нас за вами. Он в Рамбуе — всего час езды отсюда. Все ждут дивизию лягушатников, которая должна возглавить победный марш в Париж. Дорогу мы знаем. Никки, поедешь за нами.

Стеллевато вопросительно посмотрел на Майкла. Майкл словно онемел, почувствовав некоторое облегчение от того, что ему больше не надо самому принимать решения.

— Поехали, Никки,— сказал он наконец,— заводи.

— Беспокойный городишко,— сказал Крамер.— Может быть, нас здесь накромят?

— Умираю с голоду,— поддержал его Морисон.— Сейчас бы бифштекс с жареной картошкой по-французски...

Мысль о том, что придется еще задержаться в этом городишке под холодными испытующими взглядами местных жителей рядом с трупами немцев перед бакалейной лавкой, показала Майклу просто невыносимой.

— Поедем к Пейвону,— сказал он,— мы можем ему понадобиться.

— Хуже нет начальства из рядовых,— проворчал Морисон.— Уайтэкр, чин рядового первого класса слишком велик для тебя.

Все же он развернул джип. Стеллевато тоже развернулся и двинулся вслед за Морисоном. Майкл неподвижно сидел на переднем сиденье, уставившись прямо перед собой,

стараясь не смотреть в сторону гостиницы, где, окруженная соседями, стояла мадам Дюмулен.

— Месье! — раздался голос мадам Дюмулен, громкий и властный.— Месье!

Майкл тяжело вздохнул.

— Стой! — приказал он.

Стеллевато затормозил и посигналил Морисону. Тот тоже остановился.

Мадам Дюмулен, в сопровождении всей группы, двинулась к джипу. Она подошла к Майклу, а за ее спиной стали усталые, изнуренные трудом фермеры и лавочники в мешковатой поношенной одежде.

— Месье,— обратилась к нему мадам Дюмулен, скрестив руки на своей полной бесформенной груди. Порванный свитер, вытянувшийся на широких бедрах, слегка трепетал на ветру.— Вы собираетесь уезжать?

— Да, мадам,— спокойно ответил Майкл.— Таков приказ.

— А восемьсот немцев? — спросила она, с трудом сдерживая бешенство.

— Я сомневаюсь, что они здесь появятся.

— Сомневаетесь? — передразнила мадам Дюмулен.— А что, если они не знают о ваших сомнениях, месье? Что, если они все-таки появятся?

— К сожалению, мадам,— устало сказал Майкл,— нам нужно ехать. И если даже они войдут в город, какую пользу принесут вам пять американцев?

— Значит, бросаете нас? — закричала она.— А немцы придут, увидят вон те четыре трупа и перебьют всех мужчин, всех женщин и детей в городе! Не выйдет! Вы обязаны остаться и защищать нас!

Майкл окинул усталым взглядом солдат на двух джипах. Их всего пятеро на этой проклятой площади: Стеллевато, Кин, Морисон, Крамер и он сам. Из пятерых только один Кин стрелял по людям, и можно считать, что он сделал достаточно для одного дня. «Господи! — подумал Майкл, бросив полный сожаления взгляд на мадам Дюмулен. Эта приземистая женщина, грозная в своей ярости, как бы олицетворяла собой долг.— Если появится этот призрачный немецкий батальон, какой помощи можно ожидать от этих пятерых воинов!»

— Мадам,— сказал он,— мы ничего не можем поделать. Мы — это еще не американская армия. Мы следуем туда, куда прикажут, и делаем, что нам велят.

Он окинул взглядом встревоженные, осуждающие лица жителей, надеясь, что они поймут и оценят его добрые

намерения, его сожаление, его беспомощность. Но тщетно. Ни в одном взоре не засветилось ответного огонька; перепуганные мужчины и женщины смотрели угрюмо, уверенные, что их оставляют одних на верную гибель, что уже сегодня их трупы будут валяться среди развалин города.

— Простите меня, мадам,— сказал Майкл, чуть не плача,— я решительно ничего не могу поделать...

— Раз вы не собирались здесь оставаться,— сказала мадам Дюмулен неожиданно спокойным голосом,— вы не имели права сюда приезжать. Вчера танкисты, сегодня вы... Хоть и война, но вы не вправе так обращаться с людьми...

— Ники,— сказал Майкл хриплым голосом.— Едем отсюда. И быстрее!

— Это низко! — крикнула мадам Дюмулен от имени всех измученных людей, стоявших рядом, когда Стеллеватто нажал на газ.— Подло, бесчеловечно и...

Конец фразы Майкл не расслышал. Они, не оглядываясь, быстро выехали из города и вслед за машиной Крамера и Морисона направились туда, где их ждал полковник Пейвон.

Стол был уставлен бутылками с шампанским. Вино искрилось в бокалах, отражая свет сотен восковых свечей, которыми освещался ночной клуб. Зал был полон. Мундиры десятка наций смешались с веселыми пестрыми туалетами, обнаженными руками, пышными прическами. Казалось, все говорили сразу. Освобождение Парижа накануне, сегодняшней парад, сопровождавшийся выстрелами снайперов с крыш,— все это служило темой для оживленных бесед. Приходилось до предела напрягать голос, чтобы перекричать громкие звуки, издаваемые тремя музыкантами в углу, которые наигрывали модную американскую песенку.

Пейвон сидел против Майкла и широко улыбался, зажав сигару в зубах. Одной рукой он полуобнимал поблекшую даму с длинными накладными ресницами, а другой время от времени вынимал изо рта сигару и приветственно помахивал ею Майклу, рядом с которым сидели корреспондент Эхерн, изучающий проблему страха, чтобы написать статью в «Кольерс», и элегантно одетый французский летчик средних лет. Неподалеку сидели два американских корреспондента, уже порядком захмелевшие. Они с серьезным видом беседовали между собой.

— Генерал,— говорил первый,— мои люди вышли к реке. Что прикажете делать дальше?

— Форсируйте проклятую реку!

— Не могу, сэр. На другом берегу восемь бронетанковых дивизий.

— Отстраняю вас от командования. Вы не можете — назначим того, кто сможет.

— Ты откуда, приятель? — спросил первый корреспондент.

— Из Ист-Сент-Луиса.

— Руку.

Они пожали друг другу руки, и второй корреспондент продолжал:

— Отстраняю вас...

Затем оба снова выпили и уставились на танцующих.

— Да! — говорил французский летчик, который отслужил три срока в английской авиации и прибыл в Париж для какого-то туманного взаимодействия со штабом 2-й французской бронетанковой дивизии. — Славное было время! — Он имел в виду 1928 год в Нью-Йорке, куда ездил по делам в одну маклерскую контору на Уолл-стрит. — У меня была квартира на Парк-авеню, — продолжал летчик, любезно улыбаясь. — По четвергам я устраивал для друзей коктейли. У нас было правило: каждый обязательно приводит девушку, которая никогда не была у меня прежде. Бог мой, так я перезнакомился с сотнями девушек! — Он покачал головой, вспоминая прекрасные дни молодости. — А поздно вечером мы, бывало, ездили в Гарлем. О, эти черные красавицы, эта музыка! Как вспомнишь — душа замирает!..

Он потянул шампанское и улыбнулся Майклу.

— Сто тридцать пятую улицу я знал лучше, чем Вандомскую площадь. После войны снова поеду в Нью-Йорк и, возможно, — задумчиво закончил он, — сниму квартиру на Сто тридцать пятой улице.

От другого столика отделилась брюнетка в накинутой на плечи черной кружевной шали. Она подошла к ним и поцеловала летчика.

— Дорогой лейтенант! Я так рада видеть французского офицера!..

Летчик встал, степенно поклонился и пригласил брюнетку на танец. Они слились в объятии и маленькими шажками заскользили по переполненному танцующему залу. Музыканты играли румбу, и летчик в своем элегантном голубом мундире танцевал, как кубинец, покачивая корпусом и сохраняя серьезное, одухотворенное выражение на лице.

— Уайтэкр, — сказал Пейвон Майклу, — вы будете просто дураком, если когда-нибудь уедете из этого города!

— Согласен с вами, полковник, — ответил Майкл. — Ког-

да кончится война, я попрошу, чтобы мне выдали увольнительные документы прямо на Елисейские поля!

И в этот момент он сам искренне верил в то, что говорит. С той самой минуты, когда, двигаясь среди грузовиков с пехотой, он увидел шпиль Эйфелевой башни, возвышавшийся над крышами Парижа, им овладело ощущение, что наконец-то он по-настоящему у себя дома. Бурная волна поцелуев, рукопожатий, изъявлений благодарности захлестнула его, он жадно вчитывался в знакомые с детства названия улиц: «Рю де Риволи», «Площадь Оперы», «Бульвар Капуцинов», и чувствовал себя очистившимся от всех грехов, избавившимся от всех разочарований. Даже стычки, изредка вспыхивавшие в парках и среди памятников, когда немцы спешили израсходовать боеприпасы, прежде чем сдать в плен, казались ему вполне естественным и даже приятным вступлением к знакомству с великим городом. Забрызганные кровью мостовые, раненые и умирающие, которых торопливо уносили на окровавленных носилках санитарки Сопротивления, в его глазах придавали лишь необходимую драматическую остроту великому акту освобождения.

Он никогда бы не смог точно воспроизвести, как все это выглядело в действительности. Он помнил лишь быстрые поцелуи, губную помаду на куртке, слезы, объятия и то, что чувствовал себя сильным, неуязвимым, любимым...

— Эй, вы! — воскликнул первый корреспондент.

— Слушаю, сэр, — ответил второй.

— Где штаб Второй бронетанковой дивизии?

— Не могу знать, сэр. Я только что из Камп-Шанкса.

— Отстраняю вас от должности.

— Слушаюсь, сэр.

Оба с важным видом выпили.

— Помню, — услышал он рядом голос Эхерна, — когда мы виделись прошлый раз, я спрашивал вас о страхе.

— Да, спрашивали, — ответил Майкл, приветливо посмотрев на красное, загорелое лицо и серьезные серые глаза. — Как котируется сейчас страх на издательском рынке?

— Решил бросить эту тему, — откровенно признался Эхерн. — И так слишком перестарались. А виноваты творения писателей о предыдущей войне, да еще психоанализ. К страху стали относиться с почтением и звонят о нем до тошноты. Но это взгляд людей штатских, а солдат страх беспокоит куда меньше, чем пытаются внушить нам писатели. На самом же деле картина, изображающая войну как нечто невыносимое, фальшива от начала до конца. Я внимательно наблюдал, много думал. Война приятна, и приятна

вообще говоря, почти всем, кто участвует в ней. Это нормальное, вполне приемлемое явление. Что вас больше всего поразило за этот месяц во Франции?

— Как сказать,— начал было Майкл,— пожалуй...

— Веселье,— перебил Эхерн,— какой-то буйный праздник. Смех. Волна смеха несла нас триста миль через позиции противника. Собираюсь написать об этом в «Кольерс».

— Прекрасно,— серьезно сказал Майкл.— С нетерпением буду ждать эту статью.

— Единственный человек, который правильно описал сражение,— это Стендаль.— Эхерн наклонился и почти вплотную придвинул лицо к Майклу.— Да и вообще, второй раз перечитывать стоит только трех писателей, вошедших в историю литературы,— Стендаля, Вийона и Флобера...

— Через месяц война кончится,— рассуждал какой-то английский корреспондент по ту сторону стола.— А жаль. Еще много немцев нужно перебить. Пока идет война, мы будем убивать сгоряча, а когда война кончится, все равно придется убивать, но убивать хладнокровно. Боюсь, что мы, англичане и американцы, постараемся уклониться от этого неприятного дела, и в центре Европы останется могущественное поколение врагов. Лично я, как это ни ужасно, молю, чтобы фортуна нам изменила...

«О милая, любимая,— напевал музыкант по-английски с сильным акцентом,— будь нежна со мной...»

— Стендаль тонко подметил в войне что-то необычное, безумное, смешное,— продолжал Эхерн.— Помните, он описывает в своем дневнике, как один полковник во время русской кампании собирал своих солдат?

— Боюсь, что не помню,— ответил Майкл.

— Как обстановка? — допытывался первый корреспондент.

— Мы окружены двумя дивизиями.

— Отстраняю вас от командования. Раз не можете форсировать реку, назначим того, кто может.

Оба выпили.

К столику подошла высокая брюнетка в цветастом платье, которой Майкл улыбнулся через весь зал минут пятнадцать назад.

— Вам, вероятно, очень скучно, милый солдат,— сказала девушка, наклонившись к Майклу, и нежно положила ладонь ему на руку. Перед его глазами мелькнули красиво очерченные крепкие оливковые груди, которые открылись в глубоком вырезе платья.— Не хотите ли потанцевать с благодарной дамой?

Майкл улыбнулся ей.

— Через пять минут,— сказал он,— когда проветрится в голове.

— Хорошо,— кивнула девушка, призывно улыбнувшись.— Вы знаете, где я сижу...

— Конечно, знаю,— заверил ее Майкл. Он смотрел, как она ловко скользит между танцующими, как колышется цветастые волны ее платья.

«Хороша. Очень хороша,— подумал Майкл.— Надо же поухаживать за парижанкой, чтобы официально отметить вступление в Париж».

— ...Об отношениях между мужчинами и женщинами в военное время,— сказал Эхерн,— можно написать целые тома.

— Совершенно верно,— подтвердил Майкл.

Девушка уселась за свой столик и улыбнулась ему.

— Здоровые и свободные отношения с романтическим оттенком спешки и трагичности,— продолжал Эхерн.— Взять хотя бы меня. У меня в Детройте жена и двое детей. Я обожаю свою жену, но, честно говоря, при мысли о ней мне становится скучно. Это простая маленькая женщина, волосы у нее уже редеют. А в Лондоне у меня такая чувственная девятнадцатилетняя девица, которая работает в каком-то министерстве. Она пережила войну, понимает, что мне пришлось испытать, и я счастлив с ней... Разве можно, не кривя душой, уверять, что мне хочется вернуться в Детройт?

— Да,— вежливо посочувствовал Майкл,— у каждого свои заботы.

В конце зала послышались крики, и показались четверо молодых французов с нарукавными повязками Сопrotивления, вооруженных винтовками. Проталкиваясь сквозь толпу танцующих, они тащили молодого парня, по лицу которого из глубокой раны на лбу текла кровь.

— Врете! — кричал парень с окровавленным лицом.— Врете вы все! Я такой же коллаборационист, как любой из здесь присутствующих!

Один из вооруженных французов сильно ударил парня по шее, голова у того сразу сникла, и он притих. Его потащили вверх по лестнице мимо стеклянных канделябров. Оркестр заиграл еще громче.

— Варвары! — сказала по-английски дама лет сорока с длинными темно-красными ногтями, усевшаяся рядом с Майклом на стул, который освободил французский летчик. На ней было простое, но элегантное черное платье, и она все еще выглядела очень красивой.— Всех их нужно аресто-

вать! Только и ищут повода затеять ссору. Я собираюсь внести предложение, чтобы американцы их разоружили.

Говорила она с типичным американским акцентом. Эхерн и Майкл в недоумении уставились на нее. Она энергично кивнула Эхерну, а затем, более холодно, Майклу, сразу заметив, что тот не офицер.

— Мейбл Каспер, — представилась она, — и не смотрите так удивленно. Я из Скенектади.

— Очень приятно, Мейбл, — вежливо сказал Эхерн и поклонился, не поднимаясь со стула.

— Я знаю, что говорю, — затараторила дама из Скенектади, явно хватившая лишнего. — Я живу в Париже уже двенадцать лет, и сколько же я выстрадала! Вы корреспондент, и у меня есть что рассказать вам о том, как жилось при немцах...

— Рад выслушать...

— Продовольственные затруднения, карточки, — продолжала Мейбл Каспер, налив полный бокал шампанского и одним глотком отпив добрую половину. — Немцы реквизировали мою квартиру, а на вывоз мебели дали всего две недели. К счастью, я подыскала другую квартиру, принадлежавшую еврейской чете. Мужа уже нет в живых, а сегодня, представьте себе, на другой день после освобождения, приходит эта женщина и требует, чтобы я освободила квартиру. В квартире не было никакой мебели, когда я въезжала. Но я была чертовски предусмотрительна и запаслась письменными показаниями свидетелей. Я знала, что так случится. Я уже говорила с полковником Харви из нашей армии, и он успокоил меня. Вы знаете полковника Харви?

— Боюсь, что нет, — ответил Эхерн.

— Нам во Франции предстоят трудные дни. — Мейбл Каспер допила шампанское. — Всякие подонки подняли голову, хулиганы бродят с оружием.

— Вы имеете в виду бойцов Соппротивления? — спросил Майкл.

— Да, я имею в виду их.

— Но ведь они вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы в подполье, — заметил Майкл, стараясь понять, куда клонит эта женщина.

— В подполье! — презрительно фыркнула дама! — Надоело мне это подполье. Кто туда шел? Всякие бездельники, агитаторы, голытьба, которой не нужно заботиться ни о семьях, ни о собственности, ни о работе... Порядочные люди были для этого слишком заняты, и теперь нам придется расплачиваться, если вы не заступитесь. Вы освободили нас от немцев, а теперь освобождайте от этих французов и

русских.— Осушив бокал, она поднялась.— Совет для умных,— добавила она серьезно, кивнув на прощанье.

Майкл посмотрел ей вслед. Она пробиравалась между рядами беспорядочно расставленных столиков в своем простом красивом черном платье.

— Господи,— тихо сказал Майкл,— а еще из Скенектади...

— Война,— продолжал Эхерн ровным голосом,— как я уже сказал, это беспорядочное нагромождение противоречивых элементов...

— Доложите обстановку,— твердил первый корреспондент.

— Меня обошли с левого фланга,— отвечал второй,— правый фланг разбит, центр отброшен. Я буду атаковать...

— Сдайте командование.

— После войны,— продолжал английский корреспондент,— я собираюсь купить домик под Биаррицем и поселиться там. Не выношу английской пищи. А если мне придется бывать в Лондоне, я полечу на самолете с полной корзиной провизии и буду есть у себя в номере...

— Это вино недостаточно выдержано,— объяснял офицер службы общественной информации с новенькой блестящей кобурой на перекинутом через плечо ремне.

— Если вообще можно надеяться на будущее,— донесся до Майкла голос Пейвона, поучавшего двух молоденьких американских пехотных офицеров, которые явно удрали на ночь в самовольную отлучку из своей дивизии,— то это будущее принадлежит Франции. Американцам мало сражаться за Францию, они должны понять ее, помочь ей стать на ноги, проявлять к ней максимум терпимости. А это нелегко, потому что французы самый беспокойный народ в мире. Они досаждают своим шовинизмом, своим презрительным отношением, своим благоразумием, своим независимым нравом, своим высокомерием. На месте президента Соединенных Штатов я бы посылал американскую молодежь вместо колледжа на два года во Францию. Юноши научились бы разбираться в пище и искусстве, а девушки — в проблемах пола, и лет через пятьдесят на берегах Миссисипи выросла бы настоящая Утопия...

Девушка в цветастом платье все время напряженно следила за Майклом, а когда их взгляды встречались, кивала и широко улыбалась.

— Именно иррациональные начала, заключенные в войне,— продолжал Эхерн,— как раз и обходит вся наша литература. Позвольте еще раз напомнить вам того полковника у Стендаля...

— А чем примечателен этот полковник у Стендаля? — рассеянно спросил Майкл, мысли которого мечтательно плыли в парах шампанского, табачном дыме, аромате духов, запахе свеч и волнах вожделения.

— Когда его солдаты пали духом,— принялся рассказывать Эхерн строгим, внушительным голосом, в котором зазвучали воинственные нотки,— и были готовы бежать под натиском противника, полковник осыпал их отборной бранью, взмахнул шпагой и заорал: «На мою ж... равняйся! За мной!» Солдаты бросились за ним и разгромили противника. Полная бессмыслица, но это затронуло какую-то патриотическую струнку, укрепило волю к победе в сердцах солдат — и победа осталась за ними.

— Эх,— с сожалением вздохнул Майкл,— нет больше таких полковников.

Какой-то пьяный английский капитан запел во весь голос, заглушая оркестр: «На линии Зигфрида¹ развешаем белье!» Песню сразу же подхватили другие. Оркестр прервал танцевальную мелодию и стал аккомпанировать. Пьяный капитан, здоровый, краснолицый детина, схватил какую-то девицу и пустился танцевать между столиками. Вскочили другие пары, пристроились к ним и, вытянувшись в линию, пустились в пляс, лавируя между бумажными скатертями и ведерками с шампанским. Через минуту набралось уже пар двадцать. Они громко пели, откинув головы, каждый держал обеими руками впереди идущего за талию. Это напоминало торжественный танец змеи, который танцуют студенты колледжа после победы своей футбольной команды. Разница была только в том, что танцевали в освещенном свечами закрытом зале с низкими потолками и песня звучала особенно оглушительно.

— Недурно,— сказал Эхерн,— но слишком обычно, чтобы представлять интерес с литературной точки зрения. В конце концов, вполне естественно, что после такой победы освободители и освобожденные поют и танцуют. А вот побывать бы в Севастополе в царском дворце, когда кадеты, наполнив плавательный бассейн шампанским из царских подвалов, купали в нем голых балерин в ожидании подхода Красной Армии, которая всех их перестреляет!.. Извините,— с серьезным лицом закончил Эхерн, поднимаясь,— я должен принять участие.

Он пробрался между столиками и положил руки на та-

¹ Линия Зигфрида — укрепленная оборонительная полоса, построенная гитлеровцами в 1936—1939 гг. на западной границе Германии.— *Прим. ред.*

лию Мейбл Каспер из Скенектади, которая как раз построилась в хвост танцующим и, покачивая обтянутыми тафтой бедрами, громко пела.

Девушка в цветастом платье подошла к Майклу и, улыbnувшись, протянула руку.

— Танцуем?

— Танцуем!

Он поднялся и взял протянутую руку. Они встали в ряд, девушка пошла впереди, и ее стройные бедра ожили под тонким шелком платья.

Теперь уже танцевали все. Длинная вереница танцующих пар, пестреющая шелком и военными мундирами, извивалась по залу, перед завывающим оркестром, между столиками. Зал содрогался от песни.

Нет ли грязных тряпок, мамаша дорогая?
На линии Зигфрида развешаем белье!

Майкл усердно старался перекричать остальных охрипшим от счастья голосом, цепко держась за хрупкую талию желанной девушки, которая из всех молодых людей в этом праздничном городе выбрала именно его. Захваченный волнами пронзительной музыки, выкрикивая грубые, торжествующие слова песни, над которыми так жестоко потешались немцы, когда впервые слышали их от англичан в 1939 году, Майкл испытывал такое ощущение, будто в этот вечер все мужчины его друзья, все женщины любят только его, все города принадлежат ему одному, все победы одержаны лично им, а жизнь будет длиться вечно...

— «На линии Зигфрида развешаем белье,— вместе со всеми выкрикивал он,— если от нее что-нибудь останется!»

И Майкл верил, что ради этой минуты он жил, ради нее пересек океан, ради нее шел с винтовкой, ради нее ускользнул от смерти.

Песня кончилась. Девушка в цветастом платье повернулась, поцеловала его и прижалась, растаяв в его объятиях. Винные пары, духи, пахнущие гелиотропом, кружили голову, а люди вокруг запели «В доброе, старое время»,— сентиментальную, трогательную песню, словно радостные, веселые гуляки на новогоднем вечере.

Пожилой французский летчик, который в 1928 году жил на Парк-авеню, устраивал необычные коктейли и по ночам посещал Гарлем, а теперь, отслужив три полных срока в эскадрилье «Лотарингия» и потеряв за эти годы почти всех друзей, наконец снова вернулся в Париж, пел, не стыдясь слез, градом катившихся по его постаревшему но все еще красивому лицу.

— «Разве забудем старых друзей? — пел он, обняв за плечи Пейвона. В этот веселый радостный вечер вырвалась, наконец, наружу вся накопившаяся в его сердце тоска по родине.— Разве не вспомним о них?..»

Девушка снова крепко поцеловала Майкла. Он закрыл глаза и тихо покачивался, заключив в объятия этот безымянный подарок освобожденного города...

Через четверть часа, когда Майкл с карабином в руках вел девушку в цветастом платье рядом с Пейвоном и его поблекшей дамой по темным Елисейским полям, направляясь к Триумфальной арке, неподалеку от которой жила девушка, немцы начали бомбить город. Под деревом стоял какой-то грузовик, и Майкл с Пейвоном решили переждать бомбежку здесь. Они уселись на буфер грузовика под символическим укрытием зеленой листвы.

Через две минуты Пейвон был мертв, а Майкл лежал на пахнувшей асфальтом мостовой в полном сознании, но чувствуя, что не в состоянии даже пошевелить ногами.

Где-то вдалеке послышались голоса, и Майклу захотелось узнать, что же с девушкой в шелковом платье. Он старался понять, как все это произошло: бомбили ведь как будто другой берег реки, он даже не слышал свиста падающей бомбы...

Потом он вспомнил, как из-за поворота на них с ревом устремилась какая-то огромная тень... «А, автомобильная катастрофа»,— подумал он и улыбнулся, вспомнив, как друзья всегда предупреждали его: «Берегись французских шоферов».

Ноги по-прежнему не двигались, и в свете зажженного кем-то карманного фонарика лицо Пейвона казалось бледным-бледным, словно он вечно был мертвецом. Потом послышался голос американца:

— Эй, посмотри-ка! Это американец, мертвый... Да это полковник! Погляди!.. А похож на простого солдата...

Майкл попытался сказать им о своем друге полковнике Пейвоне, но язык не слушался. Когда они подняли Майкла со всей осторожностью, какую только позволяли темнота, неразбериха и женские вопли, он тут же потерял сознание.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Лагерь, где готовилось пополнение, располагался на сырой равнине близ Парижа. Солдаты размещались в палатках и старых немецких бараках, стены которых все еще были ярко размазаны изображениями рослых немецких парней, улыбающихся пожилых мужчин, пьющих пиво из больших кружек, и голоногих деревенских девушек, тяжеловесных, как першероны¹. В верхней части каждой картины неизменно красовался орел со свастикой. Многие американцы увековечили свое пребывание в этом памятном месте, оставив на расписанных стенах свои имена: повсюду пестрели надписи «Сержант Джо Захари, Канзас-Сити, штат Миссури», «Мейер Гринберг, рядовой первого класса, Бруклин, США»... Тысячи людей, ожидающих отправки в дивизии для восполнения боевых потерь, неторопливо месили ноябрьскую грязь. Сдержанные и молчаливые, они резко отличались от шумливых, вечно жалующихся американских солдат, каких обычно приходилось встречать Майклу. Он стоял у входа в свою палатку, всматривался в уныло морозящий дождь и мысленно сравнивал этот лагерь, где солдаты в мокрых дождевиках бесцельно и беспокояно двигались взад и вперед по длинным, туманным линейкам, с чикагскими скотопригонными дворами, где втиснутый в загоны скот с тревогой ожидает своей неизбежной участи, чуя запах близкой бойни.

— Пехота! — горько жаловался молодой Спир, сидевший в палатке. — Меня послали на два года в Гарвард, и я должен был выйти оттуда офицером, а потом все это отменили, черт бы их побрал! И вот я после двух лет учебы в Гарвардском университете рядовой пехоты. Что за армия!

— Да, это свинство, — сочувственно отозвался Кренек с соседней койки. — В армии у нас ужасный кавардак. Все делается по знакомству.

— У меня масса знакомых, — резко сказал Спир. — Иначе как бы я мог попасть в Гарвард? Но они ничего не могли поделать, когда пришел приказ о переводе. Моя мать чуть было не умерла, когда узнала об этом.

— Да, — вежливо заметил Кренек, — вот, наверно, был удар для всех твоих близких!

Майкл обернулся посмотреть, не смеется ли Кренек над юношей из Гарварда. Кренек служил пулеметчиком в 1-й дивизии, был ранен в Сицилии, а затем еще раз в день высадки в Нормандии и теперь в третий раз возвращался в

¹ Першероны — порода тяжелых упряжных лошадей. Впервые выведена во Франции, в провинции Перш. — *Прим. ред.*

часть. Но Кренек, крепкий, приземистый паренек из трущоб Чикаго, искренне жалел молодого барчука из Бостона.

— А что, ребята,— сказал Майкл,— может быть, война завтра окончится?

— Ты что, получил секретное донесение? — спросил Кренек.

— Нет, — спокойно ответил Майкл,— но в «Старз энд Страйпс»¹ пишут, что русские продвигаются по пятьдесят миль в день...

— Ох, эти русские,— покачал головой Кренек,— я бы не стал слишком надеяться на то, что русские выиграют для нас войну. В конце концов, придется послать на Берлин Первую дивизию, и она-то уж разделается с немцами.

— Ты постарайся снова попасть в Первую дивизию? — спросил Майкл.

— К чертям,— ответил Кренек, покачав, головой, и поднял глаза от винтовки, которую он чистил, сидя на койке.— Я хочу выйти из войны живым. Все знают, что Первая дивизия самая лучшая в нашей армии. Это прославленная дивизия, о ней столько писали. Где самый трудный для высадки участок берега, где нужно взять укрепленную высоту, где нужно возглавить наступление — там всегда вспоминают о Первой дивизии. Уж лучше здесь на месте пустить себе пулю между глаз, чем идти в Первую дивизию. Я хочу попасть в самую заурядную дивизию, о которой никто никогда не слышал и которая не взяла ни одного города с самого начала войны. Если попадешь в Первую дивизию, самое лучшее, на что можно рассчитывать,— это еще одно ранение. Два раза мне давали «Пурпурное сердце», и каждый раз все ребята во взводе поздравляли меня. Командование всегда направляет в Первую дивизию самых лучших генералов нашей армии, самых боевых и бесстрашных, а это значит — прощай, солдатское счастье. С меня всего этого хватит, нужно дать и другим парням прославиться.— Он снова наклонился над винтовкой и принялся тщательно протирать металлические части.

— Ну, а как там? — озабоченно спросил Спир. Это был красивый блондин с волнистыми волосами и мягкими голубыми глазами. При взгляде на него в воображении невольно вставал длинный ряд гувернанток и тетушек, водивших его в субботние вечера на концерты Кусевецкого².— Как там вообще в пехоте?

¹ Газета, издававшаяся для американских войск в Европе во время второй мировой войны.— *Прим. ред.*

² Кусевецкий, Сергей Александрович (1874—1951) — русский дирижер и музыкальный деятель. Выдающийся солист-контрабасист. В 1920 году эмигрировал за границу. Возглавлял Бостонский симфонический оркестр в США.— *Прим. ред.*

— Как в пехоте? — сказал Кренек нараспев. — Ножками, ножками, топ, топ...

— Нет, я серьезно спрашиваю, — настаивал Спир, — как это делается? Просто берут тебя за шиворот, кидают, куда им вздумается, и тут же заставляют воевать?

— А ты что, думаешь, все делается постепенно? — сказал Кренек. — Ничего подобного. Во всяком случае, не в Первой дивизии.

— А ты? — спросил Спир Майкла. — В какой дивизии ты служил?

Майкл направился к своей койке и тяжело опустился на нее.

— Я не был ни в какой дивизии. Я был в службе гражданской администрации.

— Служба гражданской администрации, — сказал Спир, — вот куда меня должны бы послать.

— Ты был в службе гражданской администрации? — удивился Кренек. — А как же ты ухитрился получить там «Пурпурное сердце»?

— Меня сшибло французское такси в Париже. У меня была сломана левая нога.

— В Первой дивизии ты никогда не получил бы «Пурпурное сердце» за такую чепуху, — с гордостью сказал Кренек.

— Нас было в палате двадцать человек, — объяснил Майкл. — Однажды утром пришел какой-то полковник и всем вручил медали.

— Пять очков?!¹ — воскликнул Кренек. — Это неплохо. Когда-нибудь ты будешь благодарить бога за то, что тебе покалечили ногу.

— Боже мой! — воскликнул Спир. — Что у нас творится: человека со сломанной ногой направляют в пехоту.

— Она уже не сломана, — сказал Майкл. — Она работает. Хотя внешне моя нога выглядит плохо, но доктора гарантируют, что она будет действовать, особенно в сухую погоду.

— Пусть даже так, — продолжал Спир, — почему бы тебе не вернуться в свою гражданскую администрацию?

— Если ты в звании сержанта и ниже, — монотонно проговорил Кренек, — никто не станет беспокоиться, чтобы послать тебя обратно в свою часть. От сержанта и ниже — это все взаимозаменяемые детали.

— Спасибо, Кренек, — спокойно ответил Майкл. — Это самое приятное из того, что говорили обо мне за последние месяцы.

¹ В американской армии существовал порядок, согласно которому по окончании войны из армии увольнялись в первую очередь те военнослужащие, которые имели большое количество так называемых очков. Награжденным медалью «Пурпурное сердце» прибавлялось пять очков. — *Прим. ред.*

— Какая твоя военно-учетная специальность? — спросил Кренек.

— Семьсот сорок пять.

— Семьсот сорок пять. Стрелок. Вот это действительно специальность. Взаимозаменяемая часть. Все мы взаимозаменяемые части.

Майкл заметил, как мягкий, приятный рот Спира исказила нервная гримаса отвращения. Спиру явно пришлось не по вкусу, что он тоже взаимозаменяемая часть. Это определение никак не совпадало с тем образом, который создало его воображение в безмятежные годы, проведенные в обществе гувернанток и в аудиториях Гарвардского университета.

— Должны же быть дивизии, в которых служить легче, чем в других,— настаивал Спир, озабоченный своей будущей судьбой.

— Убить могут в любой дивизии американской армии,— резонно заметил Кренек.

— Я имею в виду,— пояснил Спир,— дивизию, где превращают человека в солдата постепенно, не сразу.

— Видно, тебя, братец, крепко учили в Гарвардском университете,— сказал Кренек, наклоняясь над винтовкой.— Тебе там наговорили кучу всякой ерунды о службе в армии.

— Папуга! — Спир повернулся к другому солдату, который молча лежал на своей койке и, не моргая, смотрел вверх на сырой брезент.— Папуга, а ты в какой дивизии служил?

— Я был в зенитной артиллерии,— не поворачивая головы, отозвался Папуга ровным слабым голосом.

Это был толстый человек лет тридцати пяти с болезненно-желтым рябоватым лицом и сухими черными волосами. Он целыми днями лежал на койке, мрачно уставившись куда-то вдаль, и Майкл заметил, что он часто пропускает время приема пищи. На рукавах его одежды были видны следы сорванных сержантских нашивок. Папуга никогда не принимал участия в разговорах, которые велись в палатке, и во всем его поведении было что-то загадочное.

— Зенитная артиллерия,— сказал Кренек, рассудительно кивнув головой.— Это неплохая служба.

— Что же ты здесь делаешь? — допытывался Спир. В дождливые ноябрьские дни, в сыром лагере, где в воздухе носился запах бойни, он готов был искать утешения у любого из окружавших его ветеранов.— Почему ты не остался в зенитной артиллерии?

— Однажды,— сказал Папуга, не глядя на Спира,— я сбил три наших самолета П-47.

В палатке стало тихо. Майклу стало не по себе, ему хотелось, чтобы Папуга больше ничего не рассказывал.

— Я был в расчете 40-миллиметровой пушки,— продолжал Папуга после небольшой паузы своим ровным, бесстрастным голосом.— Наша батарея охраняла аэродром, на котором базировались П-47. Было уже почти темно, а немцы имели привычку прилетать как раз в это время и обстреливать из пулеметов наш аэродром. У меня не было свободного дня в течение двух месяцев, ни одной ночи я не спал спокойно. А тут, как раз перед этим, я получил письмо от жены, она писала, что у нее скоро будет ребенок, а я ведь не был дома два года...

Майкл закрыл глаза, надеясь, что Папуга замолчит. Но в душе Папуги накопилось столько страдания, что, раз начав говорить, он не в состоянии был остановиться.

— У меня было скверное настроение,— продолжал Папуга,— и мой дружок дал мне полбутылки французской самогонки. Она крепкая, как чистый спирт, и хватает за горло, как капкан. Я выпил всю ее один, и, когда над аэродромом появилось несколько снижающихся самолетов и кто-то стал кричать, я, должно быть, обезумел. Было уже почти темно, понимаешь, а немцы имели привычку...— Он остановился, вздохнул и медленно провел ладонью по глазам.— Я повернул свою пушку на них. Я хороший стрелок... А потом и другие орудия открыли по ним огонь. Должен вам сказать, что на третьем самолете я увидел наши опознавательные знаки: полосы на крыльях и звезду, но почему-то не мог остановиться. Он летел как раз надо мной, очень тихо, с опущенными закрылками, пытаюсь сесть... не понимаю, как это я не смог остановиться...— Папуга оторвал руку от глаз.— Два из них сгорели, а третий при посадке перевернулся и разбился. Десять минут спустя ко мне подошел полковник, командир группы. Это был молодой парень, знаете этих авиационных полковников? Он получил за что-то «Почетную медаль конгресса», когда мы еще были в Англии. Полковник подошел ко мне и сразу учуял запах водки. Я думал, он застрелит меня на месте и, по правде говоря, ничуть его не обвиняю и ничего против него не имею.

Кренек резким движением вставил затвор в винтовку.

— Но он не застрелил меня,— мрачно продолжал Папуга.— Он повел меня в поле, где упали самолеты, и показал мне, что осталось от двух сгоревших летчиков. Он приказал мне помочь нести третьего, того, что перевернулся, на медпункт, только он все равно умер.

Спир нервно щелкал языком, и Майкл пожалел, что парню пришлось все это услышать. Вряд ли это пойдет ему на пользу, когда его пошлют на фронт (сразу, а не постепенно) штурмовать укрепления линии Зигфрида.

— Меня арестовали и собирались судить, и полковник сказал, что сделает все, чтобы меня повесили,— продолжал Папуга,— но как я уже сказал, я ни в чем не виню полковника, он ведь просто молодой парень. Но вскоре мне сказали: «Папуга, мы дадим тебе возможность загладить свою вину, мы не станем судить тебя, а пошлем тебя в пехоту». И я сказал: «Как вам угодно». С меня сорвали сержантские нашивки, а за день до моего отъезда сюда полковник сказал мне: «Надеюсь, что там, в пехоте, тебе оторвут голову в первый же день».

Папуга замолчал и снова спокойным, безразличным взглядом уставился вверх на брезент палатки.

— Надеюсь,— сказал Кренек,— что тебя не пошлют в Первую дивизию.

— Пусть направляют, куда хотят. Мне все равно.

Снаружи раздался свисток. Все встали, надели плащи и подшлемники и вышли строиться на вечернюю поверку.

Из-за океана только что прибыла большая партия пополнения. Разбухшая сверх штата рота выстроилась на линейке. Солдаты стояли в липкой грязи под мелким дождем и отзывались, когда выкликали их фамилии. Сержант, закончив переключку, доложил командиру роты:

— Сэр, в двенадцатой роте во время переключки все люди оказались налицо...

Капитан отдал честь и отправился в столовую ужинать.

Сержант не стал распускать роту. Он прохаживался взад и вперед вдоль первой шеренги, всматриваясь в дрожавших от холода солдат, стоявших в грязи. Ходили слухи, что до войны сержант танцевал в кордебалете. Это был стройный, атлетически сложенный мужчина, с бледным, с резкими чертами, лицом. У него были нашивки «За примерное поведение и службу», «Американской медали за оборону» и «За участие в боевых действиях на Европейском театре», правда, без звездочек за участие в боях.

— Я хочу сказать вам пару слов, ребята,— начал сержант,— прежде чем вы побежите на ужин.

Легкий, еле слышный вздох прошелестел по рядам солдат. На этом этапе войны каждый знал, что от сержанта не услышишь ничего приятного.

— Несколько дней назад у нас тут была небольшая неприятность,— гадко улыбаясь, сказал сержант.— Мы находимся недалеко от Парижа, и некоторым из парней взбрело в голову улизнуть на пару ночей и побаловаться с девками. Если кто-нибудь из вас замышляет нечто подобное, могу вам сообщить, что эти солдаты не добрались до Парижа и не получили удовольствия. Скажу вам больше: они уже на

пути в Германию, на фронт, и ставлю пять против одного, что оттуда они уже не вернутся.

Сержант задумчиво прошелся вдоль строя, опустив взгляд в землю и держа руки в карманах. «Он ходит грациозно, как настоящий танцор,— подумал Майкл,— и вообще выглядит очень хорошим солдатом: всегда чистый, аккуратный, даже франтоватый...»

— К вашему сведению,— опять заговорил сержант низким мягким голосом,— солдатам из этого лагеря появляться в Париже запрещено. На всех дорогах и у всех въездов в город установлены посты военной полиции, которые проверяют документы очень внимательно. Очень, очень внимательно.

Майкл вспомнил двух солдат, медленно марширующих с полной выкладкой взад и вперед перед канцелярией роты в Форт-Диксе за то что самовольно уехали в Трентон выпить пару кружек пива. В армии идет вечная, непрерывная борьба: загнанные в клетку животные упорно стремятся вырваться на свободу, хоть на день, на час, ради кружки пива, ради девушки, и в ответ следует жестокое наказание.

— Командование здесь очень снисходительное,— продолжал сержант.— Здесь не отдают под суд за самовольную отлучку, как в Штатах. В ваше личное дело ничего не заносится. Ничто не помешает вам с честью уволиться из армии, если вы доживете до этого дня. Мы только ловим вас, потом смотрим, какие есть заявки на пополнение, и видим: «Ага, Двадцать девятая дивизия понесла самые тяжелые потери за этот месяц». Тогда я лично оформляю приказ и направляю вас в эту дивизию.

— Этот сукин сын — перуанец,— зашептал кто-то позади Майкла.— Я слышал о нем. Подумайте, даже не гражданин США, перуанец, а так с нами разговаривает.

Майкл посмотрел на сержанта с новым интересом. Действительно, он был смугл и походил на иностранца. Майкл никогда не видел перуанцев, и ему показалось забавным, что он стоит здесь под французским дождем и выслушивает наставления перуанского сержанта, бывшего танцора кордебалета. «Демократия,— подумал он,— пути твои неисповедимы!»

— Я уже давно работаю с пополнениями,— говорил сержант.— На моих глазах через этот лагерь прошли пятьдесят, может быть семьдесят тысяч солдат, и я знаю все, что у вас на уме. Вы читаете газеты, слушаете разные речи, и все повторяют: «Ах, наши храбрые солдаты, наши герои в защитной форме!» И вы думаете, что раз вы герои, то можете, черт побери, делать все, что вам взбредет в башку: ходить в самовольные отлучки в Париж, напиваться пьяными, за пятьсот фран-

ков подцепить триппер от французской проститутки у клуба Красного Креста. Вот что я вам скажу, ребята. Забудьте то, что вы читали в газетах. Это пишется для штатских, а не для вас. Для тех, кто зарабатывает по четыре доллара в час на авиационных заводах, для уполномоченных местной противовоздушной обороны, которые сидят где-нибудь в Миннеаполисе, хлещут вино и обнимают любимую жену какого-нибудь пехотинца. Вы не герои, ребята. Вы забракованная скотина. Вот почему вы здесь. Вы никому больше не нужны. Вы не умеете печатать, не можете починить радио или сложить колонку цифр. Вас никто не захочет держать в канцелярии, вас негде использовать на работе в Штатах. Вы подонки армии, я-то очень хорошо знаю это, хоть и не читаю газет. Там, в Вашингтоне, вздохнули с облегчением, когда вас погрузили на пароход, и им наплевать, вернетесь вы домой или нет. Вы — пополнение. И нет ничего ниже в армии, чем пополнение, кроме, разве следующего пополнения. Каждый день хоронят тысячи таких, как вы, а такие парни, как я, просматривают списки и посылают на фронт новые тысячи подобных вам. Вот как обстоит дело в этом лагере, ребята, и я говорю все это в ваших же интересах, чтобы вы знали, где находитесь и что из себя представляете. Сейчас в лагере много новых парней, у которых еще не высохло пиво на губах, и я хочу сказать им прямо: выбросьте из головы всякую мысль о Париже, ничего не выйдет, ребятаки. Расходитесь по палаткам, вычистите хорошенько винтовочки и напишите последние указания домой своим близким. И так, забудьте о Париже, ребята. Возвращайтесь в пятидесятом году. Может быть, тогда солдатам не будет запрещено появляться в городе.

Солдаты стояли неподвижно, в полном молчании. Сержант остановился перед строем. На нем была мягкая армейская фуражка с наброшенной поверх целлофановой накидкой, какую носят офицеры. Рот его растянулся в узкую, как бритва, зловещую улыбку.

— Спасибо за внимание, ребята,— сказал сержант. — Теперь все мы знаем, где находимся и что из себя представляем. Разойдись!

Он повернулся и упругой походкой пошел прочь по ротной линейке. Солдаты стали расходиться.

— Я напишу своей матери,— сердито говорил Спир рядом с Майклом, когда они шли к палатке за котелками.— У нее есть знакомый сенатор от штата Массачусетс.

— Конечно,— вежливо сказал Майкл.— Обязательно напиши.

— Уайтэкр...

Майкл обернулся. Неподалеку стояла маленькая фигурка,

утопающая в огромном дождевике. Что-то в ней показалось Майклу знакомым. Он подошел ближе. В надвигающейся темноте он смог разглядеть лицо, хранившее следы жестоких драк, рассеченную бровь, широкий рот с полными, растянутыми в легкой улыбке губами.

— Аккерман! — воскликнул Майкл. Они обменялись рукопожатием.

— Я не был уверен, что ты все еще помнишь меня, — сказал Ной. У него был ровный и низкий голос, значительно возмужавший по сравнению с тем, каким его помнил Майкл. Лицо Ноя в полумраке казалось очень худым и выражало какое-то новое, зрелое чувство покоя.

— Боже мой! — воскликнул Майкл, обрадованный тем, что в этой огромной массе незнакомых людей ему пришлось увидеть лицо, которое он видел раньше, встретить человека, с которым он когда-то дружил. Он испытывал такое чувство, как будто по счастливой случайности в мире врагов нашел союзника. — Ей-богу, я рад тебя видеть.

— Идешь жевать? — спросил Аккерман. В руке у него был котелок.

— Да, — Майкл взял Аккермана за руку. Под скользким материалом дождевика она показалась удивительно тонкой и хрупкой. — Только забегу за котелком. Пойдем со мной.

— Пошли. — Печально улыбаясь, он двинулся рядом с Майклом к его палатке. — Превосходная речь, — сказал Ной, — не правда ли?

— Чудесно поднимает боевой дух, — согласился Майкл. — Я чувствую себя после этой речи так, как будто перед ужином мне удалось уничтожить немецкое пулеметное гнездо. Ной мягко улыбнулся.

— Армия... Ничего не поделаешь. Здесь так любят пичкать речами.

— Какое-то непреодолимое искушение, — сказал Майкл. — Пятьсот человек стоят в строю и не имеют права уйти или сказать что-нибудь в ответ... При таких условиях я бы сам не удержался.

— А что бы ты сказал? — спросил Ной.

— Я бы сказал: «Господи, помоги нам, — твердо ответил Майкл после минутного раздумья. — Господи, помоги всем ныне живущим: мужчинам, женщинам и детям».

Он нырнул в палатку и вышел с котелком в руках. Затем они медленно направились к длинной очереди, стоявшей у столовой.

Когда в столовой Ной снял дождевик, Майкл увидел над его нагрудным карманом «Серебряную звезду» и вновь

почувствовал острый укол совести. «Он, конечно, получил ее не за то, что его сбило такси,— подумал Майкл.— Маленький Ной Аккерман, который начал службу вместе со мной; у него было столько причин наплевать на армию, и все же он, очевидно, не стал...»

-- Сам генерал Монтгомери прицепил ее,— сказал Ной, заметив, что Майкл смотрит на медаль.— В Нормандии, мне и моему другу Джонни Бернекеру. Нам выдали со склада новое, с иголки обмундирование. Там были Паттон и Эйзенхауэр. В штабе дивизии у нас был очень хороший начальник разведки, и он быстро протолкнул все это дело. Это было четвертого июля. Что-то вроде демонстрации англо-американской дружбы,— засмеялся Ной.— Генерал Монтгомери проявил свою добрую волю, приколов к моему кителю «Серебряную звезду». Что ж, на пять очков ближе к увольнению в запас.

Войдя в столовую, они сели за стол, где сидело уже около дюжины солдат, уплетающих за обе щеки подогретые консервы из рубленых овощей с мясом и жидкий кофе.

— И как не стыдно,— сказал Кренек, сидевший в дальнем конце стола,— отбирать у населения самые лучшие куски мяса для армии?

Никто не засмеялся на старую шутку, служившую Кренеку для застольной беседы в Луизиане, Фериане, Палермо...

Майкл ел с аппетитом. Друзья вспомнили все, что случилось за годы, отделяющие Флориду от лагеря пополнений. Майкл печально посмотрел на фотографию сына Ноя («Двенадцать очков,— сказал Ной.— У него уже семь зубов»), услышал о смерти Каули, Доннелли, Рикетта, о том, как оскандалился капитан Колклаф. Он чувствовал прилив тоски по старой, ставшей вдруг родной роте, которую он с такой радостью покинул во Флориде.

Ной держался совсем иначе. Он, казалось, был совершенно спокоен. Хотя он очень исхудал и сильно кашлял, но создавалось такое впечатление, будто он достиг какого-то внутреннего равновесия, мудрой, спокойной зрелости, и Майклу начинало казаться, что Ной гораздо старше его. Ной говорил спокойно, без горечи, от прежнего едва сдерживаемого бурного гнева не осталось и следа, и Майкл верил, что, если Ной останется в живых, он будет гораздо лучше подготовлен для послевоенной жизни, чем сам Майкл.

Помыв котелки и с удовольствием закулив сигары из своего пайка, они побрели в темноте к палатке Ноя, сопровождаемые музыкальным позвякиванием прицепленных сбоку котелков.

В лагере шел цветной фильм «Девушка с обложки жур-

нала» с участием Риты Хейуорт, и все солдаты, жившие в одной палатке с Ноем, привлеченные прелестями голливудской звезды, отправились в кино. Друзья присели на койку Ноя, дымя сигарами и наблюдая, как голубой дым спиралью поднимается вверх.

— Завтра меня здесь уже не будет,— сказал Ной.

— Да ну! — воскликнул Майкл, внезапно ощутив горечь утраты. «Как несправедливо со стороны армии,— подумал он,— соединить вот таким образом друзей только за тем, чтобы через двенадцать часов снова разбросать их в разные стороны!» — Тебя включили в списки?

— Нет,— тихо сказал Ной.— Я просто смоюсь, и все. Майкл медленно затянулся сигарой.

— В самовольную отлучку?

— Да.

«Боже мой,— подумал Майкл, вспоминая, что Ной сидел уже один раз в тюрьме,— разве этого ему было мало?»

— В Париж?

— Нет. Париж меня не интересует.— Ной наклонился и достал из вещевого мешка две пачки писем, аккуратно перевязанных шпагатом. Он положил одну пачку на кровать. Адреса на конвертах были написаны, несомненно, женским почерком.— Это от моей жены,— пояснил Ной.— Она пишет мне каждый день. А вот эта пачка... — он нежно помахал другой пачкой писем,— от Джонни Бернекера. Он пишет мне всякий раз, когда у него выдается свободная минута. И каждое письмо заканчивается словами: «Ты должен вернуться к нам».

— А! — сказал Майкл, пытаясь вспомнить Джонни Бернекера. Он смутно представлял себе высокого, худощавого, светловолосого парня с нежным, девичьим цветом лица.

— Джонни вбил себе в голову, что если я вернусь в роту и буду рядом с ним, то мы выйдем из войны живыми. Он замечательный парень. Это лучший человек, какого я когда-либо встречал в своей жизни. Я должен вернуться к нему.

— Зачем же уходить самовольно? — спросил Майкл.— Почему бы тебе не пойти в канцелярию и не попросить их направить тебя обратно в свою роту?

— Я ходил,— сказал Ной.— Этот перуанец сказал, чтобы я убирался к чертовой матери. Он, мол, слишком занят. Здесь не биржа труда, и я пойду туда, куда меня пошлют.— Ной медленно перебирал пальцами письма Бернекера, издававшие сухой, шуршащий звук.— А ведь я побрился, погладил обмундирование и нацепил свою «Серебряную звезду». Но она не произвела на него никакого впечатления. Поэтому я ухожу завтра после завтрака.

— Ты наживешь кучу неприятностей,— старался удержать его Майкл.

— Нет.— Ной покачал головой.— Люди уходят каждый день. Вот, например, вчера один капитан ушел. Ему надоело здесь болтаться. Он взял с собой только сумку с продуктами. Ребята забрали все, что осталось, и продали французам. Если ты идешь не в Париж, а к фронту, военная полиция не станет тебя беспокоить. Третьей ротой командует теперь лейтенант Грин (я слышал, что он стал уже капитаном), а он прекрасный парень. Он оформит все как полагается. Он будет рад меня видеть.

— А ты знаешь, где они сейчас? — спросил Майкл.

— Узнаю. Это не так уж трудно.

— Ты не боишься снова попасть в беду после всей этой истории в Штатах?

Ной мягко улыбнулся.

— Дружище,— сказал он,— после Нормандии все, что может сделать со мной армия США, уже не кажется страшным.

— Ты лезешь на рожон.

Ной пожал плечами.

— Как только я узнал в госпитале, что мне не суждено умереть, я написал Джоэни Бернекеру, что вернусь. Он ждет меня.— В его голосе прозвучала спокойная решимость, не допускающая дальнейших уговоров.

— Ну что ж, счастливого пути,— сказал Майкл.— Передай от меня привет ребятам.

— А почему бы тебе не пойти со мной?

— Что, что?

— Пойдем вместе,— повторил Ной.— У тебя будет гораздо больше шансов выйти из войны живым, если ты попадешь в роту, где у тебя есть друзья. Ты, конечно, не возражаешь выйти из войны живым?

— Нет,— слабо улыбнулся Майкл,— конечно, нет.

Он не сказал Ною о тех днях, когда ему было почти все равно, останется ли он в живых или нет, о тех дождливых, томительных ночах в Нормандии, когда он считал себя таким бесполезным, когда война представлялась ему только все разрастающимся кладбищем, огромной фабрикой смерти. Он не стал рассказывать об унылых днях, проведенных в английском госпитале в окружении искалеченных людей, поставляемых полями сражений Францией, во власти умелых, но бессердечных докторов и сиделок, которые не разрешили ему даже на сутки съездить в Лондон. Они смотрели на него не как на человеческое существо, нуждающееся в утешении и помощи, а как на плохо заживающую ногу, которую нужно кое-как починить, чтобы как можно скорее отправить ее хозяина обратно на фронт.

— Нет,— сказал Майкл.— Я, конечно, не против того,

чтобы остаться в живых к концу войны. Хотя, скажу тебе по правде, я предчувствую, что через пять лет после окончания войны все мы, возможно, будем с сожалением вспоминать каждую пулю, которая нас миновала.

— Только не я,— сердито буркнул Ной.— Только не я. У меня никогда не будет такого дурацкого чувства.

— Конечно,— виновато проговорил Майкл.— Извини меня за эти слова.

— Ты попадешь на фронт как пополнение,— сказал Ной,— и твое положение будет ужасным. Все старые солдаты — друзья, они чувствуют ответственность друг за друга и сделают все возможное, чтобы спасти товарища. Это означает, что всю грязную, опасную работу поручают пополнению. Сержанты даже не удосуживаются запомнить твою фамилию. Они ничего не хотят о тебе знать. Они просто выжимают из тебя все, что возможно, ради своих друзей, а потом ждут следующего пополнения. Ты пойдешь в новую роту один, без друзей, и тебя будут посылать в каждый патруль, совать в каждую дырку. Если ты попадешь в какой-нибудь переплет и встанет вопрос, спасать ли тебя или одного из старых солдат, как ты думаешь, что они станут делать?

Ной говорил страстно, не отрывая черных, настойчивых глаз от лица Майкла, и тот был тронут заботливостью парня. «Черт возьми, ведь я сделал так мало для него, когда ему пришлось туго во Флориде,— вспомнил Майкл,— и не очень-то помог его жене там, в Нью-Йорке. Имеет ли представление эта хрупкая, смуглая женщина о том, что говорит сейчас ее муж здесь, на сыром поле около Парижа? Знает ли она, какую огромную скрытую работу в поисках нужных решений проделал его мозг в эту холодную, дождливую осень, вдали от родины, для того чтобы он мог когда-нибудь вернуться домой, погладить ее руку, взять на руки своего сына?.. Что они знают о войне там, в Америке? Что пишут корреспонденты о лагерях для пополнения на первых полосах газет?»

— Ты должен иметь друзей,— горячо убеждал Ной.— Ты не должен допустить, чтобы тебя послали туда, где нет друзей, которые сумеют тебя защитить...

— Хорошо,— тихо сказал Майкл, взяв Ноя за руку,— я пойду с тобой.

Но сказал он это не потому, что считал себя человеком, который нуждается в друзьях.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Какой-то военный священник, ехавший на джипе, подобрал их по другую сторону Шато-Тьерри. День был пасмурный, и в старых памятниках на кладбищах, в поржавевших проволочных ограждениях времен прошлой войны чувствовался мрачный дух запустения.

Священник, еще молодой человек с южным акцентом, оказался очень разговорчивым. Он был прикомандирован к истребительной группе и теперь направлялся в Реймс, чтобы выступить в качестве свидетеля по делу одного пилота, которого должен был судить военный суд.

— Бедный мальчик, — говорил священник, — трудно представить себе лучшего парня. Имеет прекрасный послужной список, двадцать два боевых вылета, сбил один немецкий самолет наверняка и два предположительно, и, несмотря на все это, полковник лично просил меня не выступать в качестве свидетеля. Но я считаю своим христианским долгом быть там и сказать свое слово в суде.

— Что же он натворил? — спросил Майкл.

— Нарушил общественный порядок на вечере, устроенном Красным Крестом: помочился на пол во время танцев. Майкл ухмыльнулся.

— Поведение, недостойное офицера, говорит полковник, — раздраженно сказал священник. — Парень был немного выпивши, и я не знаю, что ему взбрело в голову. Я лично заинтересован в этом деле: я имел длительную переписку с офицером, который ведет защиту. Он очень ловкий парень, прихожанин епископальной церкви, до войны был адвокатом в Портленде. Да, сэр. И полковнику не удастся помешать мне сказать то, что я должен сказать, и он хорошо знает об этом. Да ведь полковник Баттон, — с негодованием воскликнул священник, — меньше чем кто-либо другой, имеет право отдавать под суд человека по такому обвинению. Я намерен рассказать суду о проделках полковника на танцах в Далласе, в самом сердце Соединенных Штатов Америки, в присутствии американских женщин. Можете мне не верить, но полковник Баттон, в полной парадной форме, помочился в кадку с пальмой в танцевальном зале одной из гостиниц в центре города. Я видел это собственными глазами. Но ведь у него большой чин, и это дело замяли. Но теперь все это выплывет наружу. Я этого так не оставляю.

Пошел сильный дождь. Вода лила ручьем на старые земельные сооружения и прогнившие деревянные столбы, на которых в 1917 году была натянута проволока. Священник сбавил скорость, всматриваясь в дорогу через затуманенное

ветровое стекло. Ной, сидевший впереди рядом со священником, действовал ручным стеклоочистителем. Они проезжали мимо небольшого кладбища, расположенного возле дороги, где были похоронены французы, погибшие при отступлении в 1940 году. На некоторых могилах были поблекшие искусственные цветы, а посередине стояла небольшая статуя святого в застекленном ящике, установленная на сером деревянном пьедестале. Майкл отвернулся от священника, думая о том, как переплетаются события разных войн. Священник резко затормозил и задом подвел машину к маленькому французскому кладбищу.

— Это будет очень интересный снимок для моего альбома,— сказал священник.— Не встанете ли вы, ребята, вот здесь, перед этим кладбищем?

Майкл и Ной вышли из машины и стали перед оградой: «Pierre Sorel,— прочитал Майкл на одном из крестов.— Soldat première classe, né 1921, mort 1940»¹. Искусственные лавровые листья, обвитые черными траурными лентами, пролежали под проливными дождями и жарким солнцем вот уже больше четырех лет.

— С начала войны у меня накопилось больше тысячи фотографий,— сказал священник, деловито орудуя блестящей «лейкой».— Это будет ценнейшая коллекция. Чуть левее, пожалуйста, ребята. Вот так.— Щелкнул затвор.— Прекрасный аппаратик,— с гордостью сказал священник.— Можно снимать при любом освещении. Я выменял его у пленного фрица за двадцать пачек сигарет. Только фрицы умеют делать хорошие фотоаппараты. У них есть терпение, которого не хватает нам. Теперь, ребята, дайте мне адреса ваших родных в Штатах, я отпечатаю две лишних карточки и pošлю им: пусть посмотрят, как хорошо вы выглядите.

Ной назвал священнику адрес Плаумена в Вермонте для передачи Хоуп. Священник аккуратно записал адрес в блокнот в черном кожаном переплете с крестом.

— Насчет меня не беспокойтесь,— сказал Майкл. Ему не хотелось, чтобы мать и отец увидели на фотографии своего сына, такого худого, изможденного, в плохо подогнанном обмундировании, стоящего под дождем на обочине дороги перед кладбищем, где похоронены десять молодых французов.— Мне не хочется доставлять вам хлопоты, сэр.

— Чепуха, мой мальчик. Есть же у тебя такой человек, которому будет приятно получить твою фотографию. Не поверите, сколько теплых писем я получаю от родителей,

¹ Пьер Сорель, рядовой первого класса, родился в 1921 году, умер в 1940 году (франц.).

которым я посылал фотографии их сыновей. Ты такой симпатичный, даже красивый парень, наверное, у тебя есть девушка, которой хотелось бы иметь твою карточку на столике возле кровати.

Майкл задумался.

— Мисс Маргарет Фримэнтл, — сказал он, — Нью-Йорк, Десятая улица, дом двадцать шесть. Это как раз то, чего ей не хватает на столике у кровати.

Пока священник записывал адрес в свой блокнот, Майкл думал, о том, как Маргарет получит его фотографию с запиской священника в своей уютной квартирке на тихой улице Нью-Йорка. «Может быть, теперь она напишет... Впрочем, ей-богу, не знаю, что она может мне написать и что бы я ей ответил. Люблю. Привет из Франции. До встречи через миллион лет. Затем подпись: твой взаимозаменяемый возлюбленный Майкл Уайтэкр, военно-учетная специальность номер семьсот сорок пять, у могилы Пьера Сореля, родившегося в тысяча девятьсот двадцать первом году, умершего в тысяча девятьсот сороковом году, во время дождя. Прекрасно провожу время, желаю, чтобы ты...»

Они сели в джип, и священник осторожно повел машину по узкой и скользкой дороге со следами танковых гусениц и колеями, оставленными тысячами прошедших по ней тяжелых армейских машин.

— Вермонт, — любезно обратился священник к Ною, — довольно скучное место для молодого человека, а?

— Я не собираюсь там жить после войны, — ответил Ной. — Думаю переселиться в Айову.

— Почему бы тебе не переехать в Техас? — гостеприимно предложил священник. — Вот там есть где развернуться человеку! У тебя есть кто-нибудь в Айове?

— Да, конечно, — кивнул Ной. — Дружок мой оттуда, Джонни Бернекер. Его мать нашла нам дом, который можно снять за сорок долларов в месяц, а дядя, владелец газеты, обещал взять меня к себе, как только я вернусь. Обо всем уже договорено.

— Газетчиком, значит, будешь? — понимающе кивнул священник. — Веселая жизнь. Да и денег куры не клюют.

— Нет, это не такая газета, — возразил Ной. — Она выходит раз в неделю, а тираж — восемь тысяч двести экземпляров.

— Ничего, для начала и это неплохо. Трамплин для будущих больших дел.

— Мне не нужны никакие трамплины, — тихо проговорил Ной. — Я не хочу жить в большом городе и не стремлюсь сделать карьеру. Я просто хочу поселиться в малень-

ком городишке в Айове и жить там до конца дней с женой и сыном и с моим другом Джонни Бернекером. А когда мне захочется путешествовать, я пройду до почтамта.

— О, тебе надоест такая жизнь,— сказал священник.— Теперь, когда ты увидел свет, маленький городишко покажется тебе слишком скучным.

— Думаю, что нет,— твердо сказал Ной, энергично вода стеклоочистителем.— Такая жизнь мне не надоест.

— Ну, значит, мы с тобой разные люди.— Священник засмеялся.— Я родился и жил в небольшом городке, и он мне уже надоел. Впрочем, сказать вам правду, не думаю, что меня особенно ждут дома. Детей у меня нет, а когда началась война и я понял, что мой долг вступить в армию, жена сказала мне: «Эштон, выбирай: или служба военных священников, или твоя жена. Я не собираюсь пять лет сидеть одна дома и думать, как ты порхаешь по всему свету, свободный как птица, и путаешься бог знает с какими женщинами. Эштон,— сказала она,— и не пытайся меня одурачить». Я пытался ее разубедить, но она упрямая женщина. Ручаюсь, как только я вернусь домой, она начнет дело о разводе. Как видите, мне пришлось принять довольно-таки серьезное решение. Ну что ж,— покорно вздохнул он,— в общем, получилось не так уж плохо. В Двенадцатом госпитале есть очень симпатичная сестрица, и она помогает мне сносить все горести и печали.— Он ухмыльнулся.— Я так увлечен этой сестрой и фотографией, что совсем не остаюсь времени подумать о жене. Пока есть женщина, способная утешить меня в часы отчаяния, и достаточно фотопленки, я могу смело смотреть в лицо судьбе...

— Где вы достаете столько пленки? — поинтересовался Майкл, вспомнив тысячу фотографий для альбома и зная, как трудно достать даже одну катушку пленки в месяц в военной лавке.

Священник хитро прищурился и приложил палец к носу.

— Вначале были трудности, но теперь все наладилось. Да, теперь все в порядке. Я достаю лучшую пленку в мире. Когда ребята возвращаются с задания, я прошу у инженера группы разрешения отрезать незасвеченные концы пленки на фотопулеметах. Вы не представляете себе, сколько пленки можно накопить таким образом. Последний инженер группы стал проявлять недовольство по этому поводу и вот-вот уже собирался доложить полковнику, что я ворую государственное имущество. Я никак не мог с ним договориться.— Священник задумчиво улыбнулся.— Но теперь все неприятности кончились,— заключил он.

— Как же вам удалось это устроить? — спросил Майкл.

— Инженер улетел на задание. Он был хорошим летчиком, настоящий талант,— с восхищением сказал священник.— Он сбил «мессершмитта» и, когда возвращался на свой аэродром, ради бахвальства спикировал на радиомачту. Да... бедняга не рассчитал на каких-нибудь два фута, и пришлось по кускам собирать его тело по всему аэродрому. Но зато, ребята, я устроил этому парню такие пышные похороны, каких еще не видела американская армия. Настоящие похороны по первому разряду, с речами и всем прочим... — Священник хитро ухмыльнулся.— Теперь я получаю столько пленки, сколько мне нужно.

Майкл изумленно взглянул на священника, думая, уж не пьян ли он, но тот вел машину легко и уверенно и был трезв, как судья. «Ох уж эта армия! — подивился Майкл.— Каждый старается извлечь для себя какую-нибудь пользу».

Из-за дерева, стоявшего у обочины, вышел на дорогу человек и помахал рукой. Священник остановил машину. Это был лейтенант авиации, одетый в насквозь промокшую морскую куртку. В руках он держал автомат со складным стволом.

— Вы в Реймс? — спросил лейтенант.

— Лезь в джип, парень,— добродушно сказал священник,— садись на заднее сиденье. Машина священника останавливается по просьбе каждого на всех дорогах.

Лейтенант занял место рядом с Майклом, и джип помчался дальше сквозь плотную пелену дождя. Майкл искоса взглянул на лейтенанта. Он был очень молод, еле двигался от усталости, а одежда была ему явно не по росту. Лейтенант заметил пристальный взгляд Майкла.

— Вас, наверно, интересует, что я здесь делаю,— сказал лейтенант.

— Нет, что вы,— поспешно ответил Майкл, не желая касаться этой скользкой темы.— Нисколько.

— Ох, и достается же мне,— проговорил лейтенант,— никак не могу найти свою планерную группу.

Майкл недоумевал, как это можно потерять целую группу планеров, да еще на земле, но расспрашивать дальше не стал.

— Я участвовал в этой Арнемской истории в Голландии¹,— продолжал лейтенант,— и меня сбили в самой гуще немецких позиций.

— Англичане, как обычно, испортили все дело,— вмешался священник.

¹ Речь идет о неудачной воздушнодесантной операции, проведенной англо-американским командованием в сентябре 1944 года в Голландии, в районе г. Арнема.— *Прим. ред.*

— Да? — устало спросил лейтенант. — Я не читал газет.

— Что же случилось? — спросил Майкл. Как-то не верилось, что этот бледный юноша, с таким нежным лицом, мог быть сбит на планере в тылу немцев.

— Это был мой третий боевой вылет: высадка в Сицилии, высадка в Нормандии и эта, третья по счету. Нам обещали, что это будет последняя. — Он слабо ухмыльнулся. — Что касается меня, они, черт возьми, были близки к истине. — Он пожал плечами. — Хотя все равно не верю. Нас еще высадят и в Японии. — Он дрожал в своей мокрой, не по росту одежде. — А меня это мало радует, и даже совсем не радует. Я раньше считал себя чертовски смелым летчиком, из тех, что насчитывают по сотне боевых вылетов, но теперь понял, что я не из того теста. Когда я в первый раз увидел разрыв зенитного снаряда возле крыла, я потерял способность наблюдать. Я отвернулся и полетел вслепую. Вот тогда я и сказал себе: «Фрэнсис О'Брайен, война — не твое призвание».

— Фрэнсис О'Брайен, — спросил священник, — вы католик?

— Да, сэр.

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение по одному вопросу, — сказал священник, сгорбившись над рулем. — В одной нормандской церкви, которую немножко поковыряла наша артиллерия, я обнаружил маленький орган с ножной педалью и перевез его на аэродром для своих воскресных служб, а потом дал объявление, что требуется органист. Единственным органистом в группе оказался техник-сержант, оружейный мастер. Он был итальянец, католик, но играл на органе, как Горовиц¹ на рояле. Я взял одного цветного парня нагнетать воздух в орган, и в первое же воскресенье мы провели самую удачную службу за всю мою практику. Даже полковник почтил нас своим присутствием и пел гимны, как лягушка весной, и все были довольны этим новшеством. Но в следующее воскресенье итальянец не явился, и, когда я, наконец, нашел его и спросил, в чем дело, он сказал, что совесть не позволяет ему играть на органе песни для языческого ритуала. Теперь скажите, Фрэнсис О'Брайен, как католик и офицер, считаете ли вы, что техник-сержант проявил истинный христианский дух?

Пилот тихо вздохнул. Было ясно, что в данный момент он не в состоянии высказать разумные суждения по такому важному вопросу.

— Видите ли, сэр, — сказал он, — это дело совести каждого...

¹ Горовиц, Владимир (р. 1904) — американский пианист-виртуоз, уроженец России. — *Прим. ред.*

— А вы бы стали играть для меня на органе? — вызывающе спросил священник.

— Да, сэр.

— А вы умеете играть?

— Нет, сэр.

— Спасибо, — мрачно сказал священник. — Да, кроме этого макаронника, никто в группе не умел играть. С тех пор я отправляю службу без музыки.

Долгое время они ехали молча под морозящим холодным дождем мимо виноградников и следов прошлых войн.

— Лейтенант О'Брайен, — сказал Майкл, почувствовав симпатию к бледному, нежному юноше, — если не хотите, можете не говорить, но как вам удалось вырваться из Голландии?

— Я могу рассказать, — ответил О'Брайен. — Правое крыло планера начало отрываться, и я сообщил на буксирующий самолет, что вынужден отцепиться. Я с трудом сел на поле, и, пока вылезал из кабины, все солдаты, которых я вез, разбежались в разные стороны, так как нас стал обстреливать пулемет из группы домиков, расположенных примерно в тысяче ярдов. Я старался убежать как можно дальше и по пути сорвал и выбросил свои крылышки, потому что люди становятся бешеными, когда поймают летчиков противника. Вы знаете, что при бомбардировке военных объектов бывают ошибки, из-за которых страдают местные жители. Бывают среди них и убитые. Так что, если попадешься с крылышками, хорошего не жди. Я три дня пролежал в канаве, потом пришел крестьянин и дал мне поесть. В ту же ночь он провел меня через линию фронта в расположение английского разведывательного подразделения. Они направили меня в тыл. Вскоре я попал на американский эсминец. Вот откуда у меня эта куртка. Эсминец две недели слонялся в Ла-Манше. Боже мой, никогда в жизни меня так не рвало. Наконец, меня высадили в Саутгемптоне, и мне удалось доехать на попутных машинах туда, где раньше стояла наша группа. Но неделю назад они выехали во Францию. Меня объявили пропавшим без вести, и бог знает, что теперь делается с моей матерью, а все мои вещи отослали в Штаты. Никто мною не интересовался. Пилот планера, видимо, причиняет всем одни только неприятности, когда не намечается выброска воздушного десанта, и никто, очевидно, не имеет полномочий выplatить мне жалование, отдать мне распоряжения. Всем на меня наплевать. — О'Брайен беззлобно усмехнулся. — Я слышал, что моя группа где-то здесь, возле Реймса, вот я и добрался в Шербур на грузовом пароходе, который вез боеприпасы и продовольствие. Погулял два дня в Париже

на свой страх и риск. Правда, лейтенанту, которому не платили жалование в течение двух месяцев, в Париже делать нечего... и вот я здесь...

— Война,— официальным тоном сказал священник,— очень сложная проблема.

— Я не жалею, сэр,— поспешил оправдаться О'Брайен,— честное слово, нет. Пока не приходится участвовать в высадке, я самый счастливый человек. Раз я знаю, что в конце концов вернусь к своему бизнесу — я торгую пеленками в Грин-Бей,— пусть делают со мной, что хотят.

— Что у вас за бизнес, вы сказали? — удивленно спросил Майкл.

— Торговля пеленками,— смущенно улыбаясь, повторил О'Брайен.— У нас с братом небольшое, но выгодное дело, два грузовика. Теперь его ведет мой брат. Только он пишет, что становится невозможно достать хоть какой-нибудь хлопчатобумажной ткани. Перед высадкой в Голландии я написал пять писем текстильным фабрикантам в Штатах с просьбой оказать брату помощь.

«Всекие бывают герои»,— подумал Майкл.

Машина въехала на окраину Реймса. На углах стояла военная полиция, а возле собора столпилось множество машин. Майкл видел, как Ной весь напрягся на своем переднем сиденье, видимо боясь, что им придется выходить здесь, в самой гуще тыловой суеты. А Майкл не мог оторвать глаз от забаррикадированного мешками с песком собора, цветные стекла которого были вынуты для сохранности. Он смутно помнил, что, еще будучи учеником начальной школы в Огайо, он пожертвовал десять центов на восстановление этого собора, так сильно пострадавшего в прошлую войну. Смотря теперь из машины священника на возвышающуюся перед его глазами громаду, он был рад, что его вклад не пропал зря.

Джип остановился перед штабом зоны коммуникаций.

— Выходите здесь, лейтенант,— сказал священник,— идите в штаб и требуйте, чтобы вас доставили в вашу группу, где бы она ни находилась. Будьте посмелее и не бойтесь повысить голос. А если ничего не добьетесь, ждите меня здесь. Я вернусь через пятнадцать минут и пойду тогда в штаб сам и пригрожу написать в Вашингтон, если они вас на устроят.

О'Брайен вышел. Он стоял, озадаченный и испуганный, глядя на невзрачные здания, явно растерянный и утративший веру в армейский аппарат.

— А лучше сделаем так,— сказал священник.— Мы проехали кафе, два квартала назад. Вы промокли и озябли. Идите в кафе, выпейте пару рюмок коньяку и укрепите свои нервы.

Там и встретимся. Я помню название кафе... «Для добрых друзей».

— Спасибо,— неуверенно сказал О'Брайен.— Но если вам все равно, я подожду вас здесь.

Священник в недоумении посмотрел на лейтенанта. Потом засунул руку в карман и вытащил бумажку в пятьсот франков.

— Держите,— сказал он, вручая ее О'Брайену.— Я забыл, что вам давно не платили.

О'Брайен со смущенной улыбкой принял деньги.

— Спасибо,— сказал он и, помахав рукой, направился в кафе.

— Теперь,— весело сказал священник, заводя мотор,— нужно отвезти вас, двоих преступников, подальше от военной полиции.

— Что, что? — глупо спросил Майкл.

— Самовольная отлучка,— засмеялся священник.— Да это же ясно написано на ваших лицах. Давай-ка, парень, протри ветровое стекло.

Ухмыляясь, Ной и Майкл ехали через мрачный старый городок. На своем пути они миновали шесть патрулей военной полиции, один из которых даже отдал честь проскользнувшему по мокрой улице джипу. Майкл с важным видом ответил на приветствие.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Майкл заметил, что по мере приближения к фронту люди становились все лучше. Когда стал слышен нарастающий гул орудий, все отчетливее доносившийся с осенних немецких полей, каждый, казалось, старался говорить тихо, быть внимательным к другим, каждый был рад накормить, устроить на ночлег, поделиться вином, показать фотографию своей жены и вежливо спросить карточку вашей семьи. Казалось, что, входя в эту грохочущую полосу, люди оставляли позади эгоизм, раздражительность, недоверчивость, плохие манеры двадцатого века, которые до сих пор составляли неотъемлемую часть их существования и считались извечно присущими человечеству нормами поведения.

Каждый охотно давал им место в машине. Лейтенант похоронной службы с профессиональным знанием дела объяснял, как его команда обшаривает карманы убитых и делит собранные вещи на две кучи. В первой куче — письма из дома, карманные библии, награды — все, что подлежит отправке убитым горем семьям. Во второй — обычные предметы солдатского обихода: игральные кости, карты, презервативы, а также фотографии голых женщин и откровен-

ные письма от английских девушек со ссылками на прекрасные ночи, проведенные на пахнущих сеном лугах близ Солсбери или в Лондоне. Вещи во второй куче подлежат уничтожению, так как они могут осквернить память погибших героев. Лейтенант, который до войны был продавцом в дамском обувном магазине в Сан-Франциско, говорил также о трудностях, с которыми встречается его команда при сборе и опознании останков людей, которых разорвало на части.

— Я дам вам один совет, ребята,— сказал лейтенант похоронной службы,— носите личные знаки в кармашке для часов. При взрыве голова часто отрывается от туловища, и цепочка с личным знаком летит черт знает куда. Но в девяти случаях из десяти брюки остаются на месте, и мы всегда найдем личный знак и сумеем правильно опознать личность.

— Спасибо,— сказал Майкл.

Потом их подобрал капитан военной полиции, который сразу же понял, что они в самовольной отлучке, и предложил взять их к себе в роту, поскольку она была неукомплектована, обещав уладить все формальности, связанные с их зачислением.

Пришлось им ехать даже в машине генерал-майора, чья дивизия была выведена в тыл на пятидневный отдых. У генерала заметно выделялось брюшко, а его добродушно-отеческое лицо имело такой цвет, будто он только что вышел из палаты для новорожденных: в современных родильных домах там поддерживается температура, близкая к температуре тела. Он задавал вопросы любезно, но с хитрецой.

— Откуда вы, ребята? В какую часть держите путь?

Майкл, который издавна питал недоверие к высоким чинам, лихорадочно искал какой-нибудь невинный ответ, но Ной ответил сразу:

— Мы дезертиры, сэр. Мы убежали из лагеря для пополнения и направляемся в свою старую часть. Нам нужно попасть в свою роту.

Генерал понимающе кивнул и одобрительно посмотрел на медаль Ноя.

— Вот что я скажу вам, ребята,— сказал он тоном продавца мебели, рекламирующего свой товар,— в моей дивизии есть небольшой комплект. Почему бы вам не остановиться у нас и не посмотреть, может быть, вам понравится? Я лично оформлю необходимые документы.

Майкл усмехнулся. Как изменилась армия, какой она стала гибкой, как научилась приспосабливаться к обстановке.

— Нет, спасибо, сэр,— твердо сказал Ной.— Я дал торжественное обещание своим ребятам, что вернусь к ним.

Генерал снова кивнул.

— Понимаю ваши чувства,— сказал он.— В восемнадцатом году я служил в дивизии «Рейнбоу». Так я перевернул весь свет, чтобы вернуться туда после ранения. Во всяком случае, вы можете пообедать у нас. Сегодня воскресенье, и я уверен, что в штабной столовой подадут на обед курятину.

Грохот орудий на дальних хребтах становился все слышнее и слышнее, и Майкл чувствовал, что теперь, наконец, он найдет благородный дух равенства, открытые сердца, молчаливое согласие миллионов людей — все, о чем он мечтал, уходя в армию, и чего до сих пор ему не приходилось встречать. Ему чудилось, что где-то впереди, в непрерывном гуле артиллерии среди холмов, он найдет ту Америку, которую никогда не знал на континенте, пусть замученную и умирающую, но Америку друзей и близких, ту Америку, где человек может отбросить, наконец, свои интеллигентские сомнения, свой почерпнутый из книг цинизм, свое неподдельное отчаяние и смиренно и благодарно забыть себя... Ной, возвращающийся к своему другу Джонни Бернекеру, уже нашел такую страну; это видно по тому, как спокойно и уверенно он говорил и с сержантами и с генералами. Изгнанники, живущие в грязи и в страхе перед смертью, по крайней мере в одном отношении нашли лучший дом, чем тот, из которого их заставили уйти. Здесь, на краю немецкой земли, выросла кровью омытая Утопия, где нет ни богатых, ни бедных, рожденная в разрывах снарядов демократия, где средства существования принадлежат обществу, где пища распределяется по потребности, а не по карману, где освещение, отопление, квартира, транспорт, медицинское обслуживание и похороны оплачиваются государством и одинаково доступны белым и черным, евреям и не евреям, рабочим и хозяевам, где средства производства — винтовки, пулеметы, минометы, орудия, находятся в руках масс. Вот конечный христианский социализм, где все работают для общего блага и единственный праздный класс — мертвые.

Командный пункт капитана Грина находился в небольшом крестьянском домике с крутой крышей, который выглядел словно сказочное средневековое здание в цветном мультипликационном фильме. В него попал только один снаряд, и отверстие было закрыто дверью, сорванной в спальне. Возле стены, обращенной в противоположную от противника сторону, стояли два джипа. В них спали, завернувшись в одеяла и надвинув каски на носы, два обросших бородами солдата. Грохот орудий здесь был значительно сильнее. То и дело

с резким, постепенно замирающим свистом пронеслись ряды. Холодный ветер, голые деревья, непролазная грязь на дорогах и полях, и ни души кругом, кроме двух спящих в машинах солдат. «Так выглядит любая ферма в ноябре,— размышлял Майкл,— когда земля отдана на волю стихии, а погруженному в долгую спячку крестьянину снится приближение весны».

Странно было после того, как они, нарушив армейские порядки, пересекли половину Франции и проделали долгий путь по забитым войсками, орудиями, груженными машинами дорогам, очутиться в этом тихом, заброшенном, как будто совсем безопасном месте. Штаб армии, корпуса, дивизии, полка, батальона, командный пункт третьей роты — все ниже и ниже спускались они по командным инстанциям, словно матросы по узловатой веревке, и теперь когда они, наконец, достигли цели, Майкл, глядя на дверь, заколебался: может быть, они поступили глупо, может быть, их ждут здесь еще большие беды... Он вдруг с тревогой осознал, что они легкомысленно нарушили законы армии — самого бюрократического из всех учреждений, а в военном законодательстве, безусловно, предусмотренно наказание за подобные проступки.

Но Ноя, казалось, нисколько не тревожили такие мысли. Последние три мили он шел широким, бодрым шагом, не обращая внимания на грязь. С напряженной улыбкой, трепетавшей на губах, он открыл дверь и вошел в дом. Майкл медленно последовал за ним.

Капитан Грин, стоя спиной к двери, говорил по телефону:

— Район обороны моей роты — это одна насмешка, сэр. Фронт настолько растянут, что в любом месте можно незаметно провести молочный фургон. Нам требуется, по крайней мере, сорок человек пополнения, сейчас же. Перехожу на прием.

Майкл услышал тонкий, сердитый и резкий голос командира батальона, доносившийся с другого конца провода. Грин переключил рычаг аппарата и снова заговорил.

— Да, сэр, я понимаю, что мы получим пополнение, когда штаб корпуса, черт бы их побрал, сочтет нужным. А тем временем, если немцы перейдут в наступление, они пройдут сквозь наши боевые порядки, как английская соль через угря. Что мне делать, если они атакуют? Перехожу на прием.— Он снова стал слушать. Майкл услышал в трубке два резких слова.

— Слушаю, сэр,— сказал Грин,— понимаю. У меня все, сэр.

Он повесил трубку и повернулся к капралу, который сидел за импровизированным столом.

— Знаете, что сказал майор? — удрученно спросил он. — Он сказал, что если нас атакуют, я должен немедленно поставить его в известность. Юморист! Мы теперь новый род войск — подразделение оповещения! — Он устало повернулся к Ною и Майклу. — Да, слушаю вас?

Ной ничего не сказал. Грин пристально посмотрел на него, затем с усталой улыбкой протянул ему руку.

— Аккерман, — сказал он, пожимая руку Ноя. — Я думал, вы уже стали штатским человеком.

— Нет, сэр, — ответил Ной, — я не штатский. Вы, наверное, помните Уайтэкра?

Грин перевел взгляд на Майкла.

— Конечно, помню, — сказал он почти женским, высоким, приятным голосом. — По Флориде. Чем вы провинились, что вас вернули в третью роту? — Он пожал руку и Майклу.

— Нас не вернули, сэр, — вмешался Ной. — Мы дезертировали из лагеря пополнений.

— Прекрасно, — сказал Грин, улыбаясь. — Можете больше не беспокоиться. Вы очень хорошо поступили. Молодцы! Я оформлю вас в два счета. Не стану допытываться, что вас заставило стремиться в эту несчастную роту. Теперь, ребята, вы мое подкрепление на эту неделю... — Видно было, что он тронут и обрадован. Он тепло, почти по-матерински гладил руку Ноя.

— Сэр, — спросил Ной, — Джонни Бернекер здесь? — Ной старался говорить ровным безразличным голосом, но все же не сумел скрыть волнения.

Грин отвернулся, а капрал медленно забарабанил пальцами по столу. Сейчас произойдет нечто ужасное, понял Майкл.

— Я как-то забыл, — спокойно сказал Грин, — что вы дружили с Бернекером.

— Да, сэр.

— Его произвели в сержанты, в штаб-сержанты, и назначили командиром взвода. Это было в сентябре. Он прекрасный солдат, этот Джонни Бернекер.

— Да, сэр.

— Вчера вечером его ранили, Ной. Шальной снаряд. Единственный раненый в роте за последние пять дней.

— Он умер, сэр? — спросил Ной.

— Нет.

Майкл видел, как руки Ноя, сжатые в кулаки, медленно разжались.

— Нет, — повторил Грин, — он не умер. Мы отправили его

в тыл сразу же, как только это случилось.

— Сэр,— страстно сказал Ной,— могу ли я попросить вас об одолжении, о большом одолжении?

— Что за одолжение?

— Не можете ли вы дать мне пропуск для проезда в тыл? Я попытаюсь поговорить с ним.

— Но его могли уже перевезти в полевой госпиталь,— мягко сказал Грин.

— Я должен видеть его, капитан,— быстро заговорил Ной.— Это очень важно. Вы не знаете, как это важно. До полевого госпиталя только пятнадцать миль. Мы видели его. Мы проезжали мимо. Это займет не больше пары часов. Я не стану торчать там долго. Честное слово, не стану. Я сразу же вернусь назад. К вечеру я буду здесь. Я хочу только поговорить с ним минут пятнадцать. Для него это будет значить очень много, капитан...

— Хорошо,— сказал Грин. Он сел за стол и что-то написал на листе бумаги.— Вот вам пропуск. Найдите Беренсона и скажите ему, что я приказал отвезти вас в госпиталь.

— Спасибо,— сказал Ной. Его голос был еле слышен в пустой комнате.— Спасибо, капитан.

— Никуда не заезжайте,— сказал Грин, глядя на висевшую на стене покрытую целлофаном карту, исчерченную цветными карандашами.— Машина понадобится вечером.

— Только туда и обратно,— сказал Ной.— Я обещаю.— Он направился было к двери, но остановился.— Капитан...

— Да?

— Он ранен тяжело?

— Очень тяжело, Ной,— вздохнул Грин.— Очень, очень тяжело.

Через минуту Майкл услышал, как джип сначала заурчал, а затем рванулся вперед и помчался по грязной дороге, пыхтя, как моторная лодка.

— Уайтэкр,— сказал Грин,— можете оставаться здесь, пока он возвратится.

— Спасибо, сэр.

Грин пристально посмотрел на него.

— Ну, что за солдат из вас вышел, Уайтэкр? — спросил он.

— Никудышный, сэр, — немного подумав, ответил Майкл.

Грин слегка улыбнулся. В эту минуту он, как никогда, был похож на продавца, склонившегося над прилавком после утомительного, предпраздничного рабочего дня.

— Буду иметь в виду,— сказал Грин. Он закурил, подошел к двери, открыл ее. Его силуэт вырисовывался на фоне серого,

бесцветного осеннего пейзажа. Издалека через открытую дверь доносилось слабое урчание мотора.

— Эх,— сказал Грин,— не надо было его пускать. Со всем незачем солдату смотреть, как умирают его друзья.

Он закрыл дверь, вернулся на прежнее место и сел на стул. Зазвенел телефон, и он лениво поднял трубку. Майкл услышал резкий голос командира батальона.

— Нет, сэр,— отвечал Грин таким голосом, словно он вот-вот заснет.— На моем участке не было ружейно-пулеметного огня с семи часов. Я буду докладывать.— Он повесил трубку и сидел не шевелясь, наблюдая, как кольца дыма от сигареты расплываются на фоне висящей на стене карты.

Ной вернулся поздно ночью. День прошел спокойно, даже не высылали патрулей. Порой над головой проносились снаряды, но это, казалось, не имело отношения к солдатам третьей роты, которые время от времени приходили на командный пункт для доклада капитану Грину. Майкл весь день продремал в углу, думая об этой новой для него, вялой, спокойной войне, так резко отличающейся от непрерывных боев в Нормандии и стремительного преследования противника после прорыва. «Жизнь здесь течет медленно, под аккомпанемент совсем иной музыки,— размышлял он, засыпая.— Главные проблемы — это тепло, чистота и сытость». Основную заботу капитана Грина в этот день составляло растущее число заболевания окопной стопой¹ в его подразделении.

Майкл с удивлением вспомнил необычайную суету, которую он видел на пути к фронту: непрерывное движение людей и машин, тысячи солдат, занятые по горло офицеры, джипы, грузовики, поезда, деловито снующие по дорогам только для того, чтобы обеспечивать кучку несчастных, полусонных, медлительных солдат, надежно окопавшихся на забытой полоске фронта. «Повсюду в армии,— подумал Майкл, вспомнив, как Грин требовал сорок человек пополнения,— на каждой должности сидит по два-три человека; на складах, в канцеляриях, в службе организации отдыха и развлечений, в госпиталях, в обозах. Только здесь, в непосредственной близости от противника, не хватает людей. Только здесь в тоскливую осеннюю погоду в сырых узких траншеях кажется, будто эта армия принадлежит обескровленной, истощенной обнищавшей стране. Одна треть населения, смутно припомнились ему слова, сказанные когда-то давно президентом, живет в отвратительных условиях и плохо питается. Армия, сидящая в окопах, по какому-то непонятному капризу системы распределения,

¹ Окопная стопа — ревматическое заболевание ног, вызываемое продолжительным пребыванием в окопах.— *Прим. ред.*

стала, видимо, представлять собой именно эту злосчастную треть Америки...»

Майкл слышал, как в темноте подъехал джип. Окна были завешены одеялами для светомаскировки. На дверях тоже висело одеяло. Дверь широко раскрылась, и в комнату медленно вошел Ной в сопровождении Беренсона. В свете электрического фонарика заколебалось одеяло, и в комнату ворвался сырой ночной воздух.

Ной закрыл за собой дверь и устало прислонился к стене. Грин посмотрел на него.

— Ну что? — ласково спросил он. — Вы видели его, Ной?

— Да, видел, — ответил Ной упавшим хриплым голосом.

— Где вы его нашли?

— В полевом госпитале.

— Собираются ли эвакуировать его в тыл?

— Нет, сэр. Его будут эвакуировать дальше.

Беренсон протопал в угол комнаты и достал из вещевого мешка сухой паек. Он с шумом разорвал картон, а затем бумагу и, громко хрустя, принялся грызть жесткие галеты.

— Он еще жив? — тихо и неуверенно проговорил Грин.

— Да, сэр, еще жив.

Грин вздохнул, видя, что Ной не расположен к дальнейшему разговору.

— Ну ничего. Не надо так переживать, — сказал он. — Завтра утром я pošлю вас и Уайтэкра во второй взвод. Постарайтесь хорошо отдохнуть за ночь.

— Спасибо, сэр. Спасибо за машину.

— Ладно. — Грин склонился над донесением, которое он отложил в сторону при появлении Ноя.

Ной растерянно посмотрел вокруг, потом направился к двери и вышел на улицу. Майкл встал. Ной ни разу даже не взглянул на него после возвращения. Майкл вышел вслед за Ноем в сырую мглу ночи. Он скорее чувствовал, чем видел Ноя, прислонившегося к стене дома; его одежда слегка шелестела под порывами ветра.

— Ной...

— Да? — Ровный, бесстрастный голос Ноя не выдавал его чувств. В нем слышалась только усталость. — Майкл...

Они стояли молча, вглядываясь в яркие, далекие вспышки на горизонте, где грохотали орудия, напоминая ночную смену на заводе.

— Он выглядел хорошо, — прошептал наконец Ной. — Во всяком случае, лицо выглядело нормально. Кто-то побрил его сегодня утром. Он попросил, чтобы его побрили. Его ранило в спину. Доктор предупредил меня, что от него можно ожидать странных поступков, но когда он увидел меня, то

сразу узнал. Он улыбнулся, потом заплакал... Он плакал однажды раньше, знаешь, когда меня ранило...

— Знаю,— сказал Майкл.— Ты говорил мне.

— Он задавал мне всевозможные вопросы: как меня лечили в госпитале, дали ли мне отпуск после выздоровления, был ли я в Париже, есть ли у меня новые фотографии сына. Я показал ему карточку, которую получил от Хоуп месяц назад, ту, где он снят на лужайке. Джонни сказал, что сынишка выглядит прекрасно и совсем не похож на меня. Потом он сказал, что получил письмо от матери. На счет того дома в его городе, за сорок долларов в месяц, все устроено. И его мать узнала, где можно будет достать подержанный холодильник... Джонни мог двигать только головой. Он полностью парализован — от плеч до ног.

Они стояли молча, глядя на вспышки орудий, прислушиваясь к неровному грохотанью, доносимому порывистым ноябрьским ветром.

— Госпиталь переполнен,— сказал Ной.— Рядом с ним лежал лейтенант из Кентукки. Ему миной оторвало ступню. Он был очень доволен, этот лейтенант. Ему надоело первому подставлять свою голову под пули на каждой высоте во Франции и Германии.

Опять наступила тишина.

— У меня за всю жизнь было только два друга,— сказал Ной.— Два настоящих друга. Один — парень по имени Роджер Кэннон. У него была любимая песенка: «Веселиться и любить ты умеешь, любишь леденцами угощать. Ну а деньги ты, дружок, имеешь? Это все, что я хочу узнать...» — Ной медленно переступил ногами в холодной грязи и потерял спиной о стену.— Он был убит на Филиппинах. Другим моим другом был Джонни Бернекер. Многие люди имеют десятки друзей. Они заводят их легко и держатся за них. Я не такой. Я сам виноват и хорошо это понимаю. Во мне нет ничего такого, что привлекало бы людей...

Вдалеке ярко вспыхнуло пламя: что-то загорелось, осветив темную местность. Было странно и необычно видеть такой яркий свет на передовой, где свои же солдаты могут открыть по тебе огонь, если чиркнешь спичкой после наступления темноты, потому что это обнаруживает свои позиции.

— Я сидел и держал в своих руках руку Джонни Бернекера,— ровным голосом продолжал Ной.— Потом, минут через пятнадцать, я заметил, что он смотрит на меня каким-то странным взглядом. «Уходи отсюда,— вдруг сказал он,— я не позволю тебе убить меня». Я пытался успокоить его, но он продолжал кричать, что меня подослали убить его, что меня не было рядом с ним, когда он был здоров и мог сам поза-

ботиться о себе, а теперь, когда он парализован, я пришел, чтобы задушить его, когда никого не будет поблизости. Он сказал, что знает обо мне все, что он следит за мной с самого начала, что я бросил его одного, когда он нуждался в моей помощи, и теперь собираюсь его убить. Он кричал, что у меня есть нож. И другой раненый тоже стал кричать, и я не мог его успокоить. В конце концов пришел доктор и приказал мне выйти. Когда я выходил из палатки, я слышал, как Джонни Бернекер кричал, чтобы меня близко не подпускали к нему с моим ножом.

Ной замолчал. Майкл смотрел на яркое пламя. Видимо, горела ферма какого-то немца. Он мысленно представил себе, как беспощадный огонь пожирает пуховые перины, скатерти, посуду, альбомы с фотографиями, экземпляр книги Гитлера «Mein Kampf», кухонные столы, пивные кружки.

— Доктор был очень любезен,— снова заговорил Ной.— Это довольно пожилой человек из Таксона. Он сказал мне, что до войны работал в туберкулезной клинике. Он объяснил мне, что с Джонни, и просил не принимать близко к сердцу слова моего друга. У Джонни перебит осколком позвоночник, и его нервная система перерождается, сказал доктор, и тут ничем помочь нельзя. Нервная система перерождается,— повторил Ной, словно зачарованный этим словом,— и ему будет становиться все хуже и хуже, пока он не умрет. Паранойя, сказал доктор. В один день нормальный парень превратился в прогрессирующего параноика. Мания величия и мания преследования. В конце концов он станет совсем ненормальным и протянет каких-нибудь три дня... Вот почему его даже не стали отправлять в стационарный госпиталь. Перед отъездом я опять заглянул в палатку, я думал, может, у него наступил тихий период. Доктор сказал, что это еще возможно. Но когда Джонни увидел меня, он опять стал кричать, что я пытаюсь его убить...

Майкл и Ной стояли рядом, прислонившись к шершавой, сырой, холодной стене каменного дома, за которой сидел капитан Грин, обеспокоенный ростом заболеваний среди солдат. Вдалеке пламя пожара разгоралось все ярче: видимо, огонь подобрался к деревянным балкам и пожирал мебель немецкого фермера.

— Я говорил тебе о предчувствии Джонни Бернекера? — спросил Ной.— О том, что, если мы будем всегда вместе, с нами ничего не случится?..

— Да.

— Мы столько пережили вместе,— вспоминал Ной.— Нас отрезали, знаешь, и все же мы выбрались к своим, а ког-

да в день высадки в нашу баржу попал снаряд, нас даже не ранило...

— Да.

— Если бы я не тянул, если бы я приехал сюда на один день раньше, Джонни Бернекер вышел бы из войны живым.

— Не говори глупостей,— резко оборвал Майкл, чувствуя, что это уж слишком, что нельзя так тяжело переживать.

— Это не глупости,— спокойно возразил Ной.— Я действовал недостаточно быстро. Все выжидал. Пять дней я окопывался в лагере. Еще ходил разговаривать с этим перуанцем. Я знал, что он не сделает, что мне надо, но я обленился и все торчал в этом лагере.

— Ной, что ты говоришь?

— И мы слишком долго добирались сюда,— продолжал Ной, не обращая внимания на Майкла.— Мы остановились на ночлег, полдня потратили на обед с курятиной, которым нас покормил генерал. Я променял Джонни Бернекера на обед с курятиной.

— Замолчи! — громко закричал Майкл. Он схватил Ноя за воротник и сильно встряхнул его.— Замолчи! Ты болтаешь как одержимый! Чтобы я от тебя никогда больше не слышал подобной ерунды!

— Пусти меня,— спокойно сказал Ной.— Убери свои руки. Извини меня. Конечно, к чему тебе выслушивать мои жалобы? Я понимаю.

Майкл медленно разжал пальцы. Опять он не сумел помочь этому несчастному парню...

Ной поежился.

— Холодно здесь,— примирительно сказал он.— Пошли в дом.

Майкл молча последовал за ним.

На следующее утро Грин направил их во второй взвод, в котором они вместе служили во Флориде. Во взводе все еще оставалось три старых солдата из сорока, которые тепло и сердечно приветствовали Майкла и Ноя. Они были очень сдержанны, когда в присутствии Ноя заходил разговор о Джонни Бернекере.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— Так вот, спрашивают этого солдата: «Что бы ты сделал, если бы тебя отпустили домой?»,— говорил Пфейфер. Он Ной и Майкл сидели на бревне, наполовину вросшем в землю, возле низкой каменной ограды и ели из котелков котлеты с макаронами и консервированные персики. Впервые за три дня им выдали горячую пищу, и все радовались, что

повара сумели подвезти полевую кухню так близко к передовой. Солдаты стояли в очереди на расстоянии тридцати футов друг от друга, так, чтобы одним снарядом задело поменьше людей. Цепочка солдат извивалась по голому, иссеченному осколками кустарнику на берегу реки. Повара спешили скорее раздать пищу, и очередь двигалась быстро.

— «Так что бы ты сделал, если бы тебя отправили домой? — повторил Пфейфер, набив полный рот. — Солдат задумался... Слышали этот анекдот?

— Нет, — вежливо ответил Майкл.

Пфейфер удовлетворенно кивнул головой.

— Во-первых, — сказал солдат, — я сниму ботинки. Вторых, побалуюсь с женой. В-третьих, сниму с плеч вещевой мешок. — Пфейфер захохотал во все горло, довольный своей шуткой, но вдруг оборвал смех. — А правда, вы не слышали этого раньше?

— Честное слово, — ответил Майкл.

«Остроумная застольная беседа в центре европейской культуры, — подумал он. — В числе гостей несколько представителей искусства и армии на кратковременном отдыхе после тяжелых дней на передовой. Рядовой первого класса Пфейфер, хорошо известный в кругу букмекеров Канзаса, местная знаменитость, знакомая всем судьям в округе, развлекается размышлениями о послевоенных проблемах. Один из гостей, представляющий наш театр в Западной Европе, поедая местный деликатес — консервированные персики, — замечает про себя, что подобный анекдот, несомненно, слышал еще рядовой Анакреонт где-нибудь под Багдадом во время персидского похода Филиппа Македонского¹; что Кай Публий, центурион в армии Цезаря, рассказывал примерно такую же поучительную историю через два дня после высадки в Британии; что Жюльену Сен-Крику, адъютанту в корпусе Мюрата, удалось вызвать громкий смех своих товарищей точным переводом этого анекдота накануне Аустерлица. Этот анекдот был не безызвестен, — размышлял сей вдумчивый историк, с сомнением разглядывая свои закапанные грязью ботинки и думая, не начали ли уже гнить его пальцы, — уорент-офицеру Робинсону из Уэльского саперного

¹ Анакреонт (570? — 478 до н. э.) — древнегреческий поэт, воспевавший праздную жизнь и чувственную любовь. Филипп II (ок. 382 — 336 до н. э.) — царь Македонии, видный полководец и государственный деятель. Значительно расширил владения Македонии, установил гегемонию над Грецией. Создал мощную регулярную армию. Майкл путает исторические события. Анакреонт не мог участвовать в персидских походах, так как жил значительно раньше. Филипп II готовил поход против Персии, но осуществил его Александр Македонский, сын Филиппа, уже после смерти отца. — *Прим. ред.*

полка, сражавшегося под Ипром, или фельдфебелю Фугельхеймеру, участнику сражения под Танненбергом, или сержанту Винсенту О'Флехерти из первого полка морской пехоты, услышавшему его на коротком привале у дороги, ведущей в Аргонский лес».

— Чертовски забавная история,— сказал Майкл.

— Я так и знал, что тебе понравится,— с удовлетворением заметил Пфейфер, вычерпывая из котелка оставшуюся на дне подливку.— Да, но какого же черта ты не смеешься?

Пфейфер усиленно скреб свой котелок камнем и куском туалетной бумаги, которую всегда носил в кармане. Закончив, он встал и направился к группе солдат, игравших в кости за почерневшей печкой,— это было все, что осталось от дома, пережившего до того три войны. Кроме трех солдат роты, там были лейтенант и два сержанта из штаба зоны коммуникаций, которые каким-то образом заехали сюда на джипе просто посмотреть, что делается. Видимо, у них было много денег, которые принесли бы большѐ пользы, если бы находились в карманах пехотинцев.

Майкл закурил сигарету и блаженно затаился. Он пошевелил пальцами ног, чтобы удостовериться, что еще может их чувствовать и у него стало приятно на душе от сытного обеда и от сознания, что целый час он будет вне опасности.

— Когда мы вернемся в Штаты,— сказал он Нюю,— я приглашу тебя и твою жену на превосходный бифштекс. Я знаю одно местечко на Третьей авеню, на втором этаже. Ты ешь и смотришь в окно, как на уровне столиков пробегают поезда надземной дороги. Бифштексы там с толщиной с кулак, мы закажем их с кровью.

— Хоуп не любит недожаренный бифштекс,— серьезно сказал Ной.

— Ей подадут такой, какой она захочет. Сначала остренькую закуску для аппетита, потом бифштексы, хорошо поджаренные снаружи, и, когда их тронешь ножом, они вздыхают как живые, затем спагетти, зеленый салат и красное калифорнийское вино, а в заключение пирожное, пропитанное ромом, и safe expresso — это очень черный кофе с лимонными корками. В первый же вечер, как приедем домой. За мой счет. Если хотите, можете взять с собой сынишку, мы посадим его на высокий стул.

Ной улыбнулся.

— Мы лучше оставим его дома.

Майкла обрадовала его улыбка. За последние три месяца, с тех пор, как они возвратились в роту, Ной улыбался очень редко. Он мало говорил и мало смеялся. Он не выражал вслух своих чувств, но по-своему привязался к Майклу, следил за

ним критическим взглядом ветерана, защищал его словом и делом даже тогда, когда ему хватало забот о сохранении своей собственной жизни, даже в декабре, когда обстановка на фронте была очень напряженной. Роту тогда посадили на грузовики и спешно бросили против немецких танков, которые внезапно появились у, казалось, совсем обескровленного противника. Теперь это сражение называют «битва за Арденнский выступ»¹. Все это осталось позади. Но один случай Майкл запомнил на всю жизнь. Он притаился в окопе, который Ной заставил его вырыть на два фута глубже, хотя Майкл ужасно устал и злился на мелочную, как ему казалось, требовательность Ноя... Немецкий танк выполз на голое поле и пошел прямо на них. Боеприпасы к «базуке» кончились, позади горела самоходная противотанковая пушка. Оставалось только прижаться к самому дну окопа и ждать, что будет... Водитель танка видел, как Майкл нырнул в окоп, и повел танк прямо на него, стараясь раздавить его гусеницами, потому что нельзя было достать его из пулемета. Томительно долгая минута, ревущая семидесятитонная машина над головой, вращающиеся гусеницы, обрушившие град тяжелых комьев грязи и камней на каску и на спину, и собственный крик, утонувший в этой гробовой темноте... Когда оглядываешься назад, все это представляется страшным кошмаром.

Казалось невероятным, что это могло случиться с тобой, с человеком уже за тридцать, который имел комфортабельную квартиру в Нью-Йорке, обедал в стольких хороших ресторанах, имел в гардеробе пять прекрасных мягких шерстяных костюмов и любил медленно ездить по Пятой авеню в автомобиле с откинутым верхом, чтобы солнце светило в лицо... А когда все кончилось, просто не верилось, что можно пережить такой кошмар, что стальные гусеницы, с бешеным лязгом крутившиеся на расстоянии одного фута над головой, позволили тебе выжить, что наступил такой момент, когда человек, испытавший весь этот ужас, снова будет способен думать о таких вещах, как бифштексы и вино и Пятая авеню. Безликий танк, стремившийся вырвать из него жизнь, когда он лежал на дне окопа, который по настоянию своего друга он вырыл достаточно глубоким, чтобы спасти себя, казалось, разрушил последний мост, связывавший его с прежней, гражданской жизнью. Теперь на том месте была темная, зияющая пропасть, заполненная одними галлюцинациями.

¹ 16 декабря 1944 года немецко-фашистские войска предприняли внезапное наступление в районе Арденн. Прорвав оборону 1-й американской армии, они продвинулись на глубину до 90 км. Начавшееся 12 января 1945 года мощное наступление советских войск сорвало наступательные планы гитлеровского командования на Западном фронте.— *Прим. ред.*

Мысленно возвращаясь к тому дню, вспоминая, как танк неуклюже громыхал назад через поле, а вокруг него разрывы снарядов вздымали фонтаны грязи, он понял, что в тот момент он стал, наконец, настоящим солдатом. А до этого он был просто человеком в военной форме, пришедшим из другой жизни и выполнявшим здесь только временную обязанность.

«Битва за Арденнский выступ», так теперь называют это сражение газета «Старз энд страйпс». Много людей было убито тогда, страшная угроза, нависла над Льежем и Антверпеном, газеты печатали сообщения о блестящем сопротивлении, оказанном армией наступающим немцам, и кой-какие неприятные вещи о Монтгомери. Теперь он уже не был олицетворением англо-американской дружбы, как четвертого июля, когда он приколот «Серебряную звезду» к куртке Ноя... Битва за Арденнский выступ, еще одна бронзовая звездочка — на пять очков ближе к демобилизации. Он только помнил, как Ной стоял перед ним и говорил резким, неприятным голосом: «Мне наплевать, что ты устал, копай на два фута глубже», да еще быстро вращающиеся грохочущие гусеницы над забрызганной грязью каской...

Майкл посмотрел на Ноя. Ной спал сидя, прислонившись к каменной ограде. Только во сне его лицо выглядело молодым. Редкая белокурая бородка казалась совсем жидкой по сравнению с густой, черной щетиной Майкла, делавшей его похожим на бродягу, прошедшего все дороги от Ванкувера до Майами. Глаза Ноя, которые обычно смотрели с мрачным упорством познавшего жизнь человека, теперь были закрыты. В первый раз Майкл заметил, что у его друга были мягкие, загнутые вверх ресницы, светлые на концах, придававшие верхней части лица нежное выражение. Майкл почувствовал прилив благодарности и жалости к этому спящему парню, закутанному в тяжелую, грязную шинель и чуть сжимавшему пальцами затянутой в шерстяную перчатку руки ствол винтовки... Глядя сейчас на спящего Ноя, Майкл понял, чего стоило этому хрупкому юноше сохранять спокойную уверенность, принимать умные, рискованные солдатские решения, воевать упорно и осторожно, соблюдая все пункты уставов и наставлений, для того чтобы остаться в живых в то время, как смерть так и косила в этой стране окружавших его людей. Светлые кончики ресниц дрогнули на разбитом кулаками лице, и Майкл представил себе, с какой грустной нежностью и изумлением смотрела, должно быть, жена Ноя на это неуместное девичье украшение. Сколько ему лет? Двадцать два, двадцать четыре? Муж, отец, солдат... Имел двух друзей и обоих потерял.. Ему нужны друзья так же, как другим нужен воздух, и поэтому, забывая о собственных

страданиях, он отчаянно старается сохранить жизнь неловкого, стареющего солдата по фамилии Уайтэкр, который, будучи предоставлен самому себе, по своей неопытности и беззаботности непременно набрел бы на мину или, высунувшись из-за гребня, попал бы под пулю немецкого снайпера, или же из-за своей лени был бы раздавлен танком в слишком мелком окопе... Бифштексы и красное калифорнийское вино по ту сторону пропасти, где жизнь кажется галлюцинацией; в первый же вечер, за мой счет... Невероятно, и все же это должно осуществиться. Майкл закрыл глаза, чувствуя на себе огромную и скорбную ответственность.

Со стороны играющих в кости доносились отдельные возгласы:

— Ставлю тысячу франков. На девять!

Майкл открыл глаза, тихо встал и с винтовкой в руке пошел к играющим посмотреть.

Бросал кости Пфейфер. Ему везло. В руке у него была зажата пачка измятых банкнот. Лейтенант из службы снабжения не принимал участия в игре, но оба сержанта играли. На лейтенанте была нарядная со светлыми прожилками офицерская шинель. Когда Майкл последний раз был в Нью-Йорке, он видел такую шинель на витрине у «Эйберкромби и Фитча». Все трое приезжих носили сапоги парашютистов, хотя было ясно, что никому из них никогда не доводилось прыгать, разве что с высокого стула в баре. Это были крупные, высокие парни, гладко выбритые, свежие и хорошо одетые. Рядом с ними бородатые пехотинцы, их партнеры, выглядели неряшливыми и слабыми представителями низшей расы.

Гости из тыла говорили громко и уверенно, а их энергичные движения составляли резкий контраст с поведением усталых, скупых на слова солдат, которые вырвались на несколько часов с передовой, чтобы впервые за три дня съесть горячий обед. «Если бы понадобилось укомплектовать отборный полк, которому предстояло бы захватывать города, удерживать плацдармы и отражать танки, выбор, несомненно, пал был на этих трех красивых жизнерадостных парней», — подумал Майкл. Но в армии, конечно, вопрос решается по-другому. Эти самодовольные, уверенные в себе мускулистые парни служили в уютных канцеляриях в пятидесяти милях от передовой, перепечатавали разные формы и время от времени подбрасывали уголь в докрасна раскаленную железную печку, установленную посередине комнаты. Майкл вспомнил слова сержанта Хулигена из 2-го взвода, которыми тот всегда

приветствовал новое пополнение. «Эх,— говорил Хулиген,— почему в пехоту всегда посылают таких замухрышек? Почему в тылы всегда попадают тяжелоатлеты, толкатели ядра и футболисты из сборной США? Скажите мне, ребята, кто из вас весит больше ста тридцати фунтов?» Это была, конечно, выдумка, и у Хулигена был свой расчет: он знал, что такая речь развеселит новичков, поможет ему завоевать их расположение; но была в этих словах и доля горькой правды.

Следя за игрой, Майкл увидел, как лейтенант вынул из кармана бутылку и сделал несколько глотков. Пфейфер пристально наблюдал за лейтенантом, медленно перебирая кости в своей покрытой засохшей грязью руке.

— Лейтенант,— спросил он,— что я вижу в вашем кармане?

Лейтенант засмеялся.

— Коньяк, это коньяк.

— Я вижу, что коньяк,— сказал Пфейфер.— Сколько вы за него хотите?

Лейтенант посмотрел на банкноты в руке Пфейфера.

— Сколько у тебя там?

Пфейфер посчитал.

— Две тысячи франков,— сказал он.— Это сорок долларов. Я бы не прочь купить бутылочку хорошего коньяка, погреть свои старые кости.

— Четыре тысячи франков,— спокойно сказал лейтенант.— Можешь получить бутылку за четыре тысячи.

Пфейфер пристально посмотрел на лейтенанта и медленно сплюнул. Потом заговорил, обращаясь к зажатым в руке костям:

— Милые косточки! Папа хочет выпить. Папе очень хочется выпить.

Он положил свои две тысячи франков на землю. Два сержанта с яркими звездочками на плечах сделали ставку.

— Косточки,— сказал Пфейфер,— сегодня так холодно, а папу мучает жажда.— Он нежно покатил по земле кости, словно выпустил из рук лепестки цветов.— Сколько? — спросил он, перестав улыбаться.— Семь? — Он снова плюнул и протянул руку.— Забирай деньги, лейтенант, и давай бутылку.

— С удовольствием,— сказал лейтенант. Он отдал Пфейферу бутылку и собрал деньги.— Я рад, что мы сюда приехали.

Пфейфер пил долго. Солдаты наблюдали за ним, не говоря ни слова, и радуясь, и досадуя на его расточительность. Пфейфер тщательно закупорил бутылку и сунул ее в карман шинели.

— Сегодня вечером будет атака,— воинственно заявил он.— На кой черт мне нужно форсировать эту проклятую реку с четырьмя тысячами франков в кармане? Если уж фрицы ухлопают меня сегодня вечером, то они, по крайней мере, убьют солдата с брюхом, полным хорошего коньяка.— Вскинув винтовку на ремень, он с самодовольным видом пошел прочь.

— Служба снабжения,— сказал один из пехотинцев, наблюдавший за игрой.— Теперь я буду знать, почему они так называются.

Лейтенант добродушно засмеялся. Критика его не трогала. Майкл давно уже не видел, чтобы люди смеялись так чистосердечно без особой причины, просто от избытка хорошего настроения. Он подумал, что так смеяться могут только люди, которые живут за пятьдесят миль от передовой. Во всяком случае, никто из солдат не засмеялся вслед за лейтенантом.

— Я скажу вам, зачем мы сюда приехали, ребята,— сказал лейтенант.

— Легко догадаться,— сказал Крейн, солдат из взвода Майкла— Вы из службы информации и привезли с собой вопросник. Счастливы ли мы здесь на фронте? Нравится ли нам служба? Болели ли мы гонореей больше трех раз за последний год?..

Лейтенант снова засмеялся. «Да он, оказывается, весельчак»,— подумал Майкл, угрюмо посмотрев на лейтенанта.

— Нет,— сказал лейтенант,— мы здесь по делу. Мы слышали, что в этих лесах можно набрать неплохих трофеев. Два раза в месяц я бываю в Париже, а там можно хорошо продать пистолеты системы «Люгер», фотоаппараты, бинокли и прочую дребедень. Мы готовы платить за такой товар хорошие деньги. Ну как, ребята, у вас есть что-нибудь для продажи?

Солдаты, окружавшие лейтенанта, молча переглянулись.

— У меня есть прекрасная винтовка Гаранда,— сказал Крейн,— я готов расстаться с ней за пять тысяч франков. А то еще есть добротная телогрейка,— с невинным видом продолжал Крейн.— Немножко поношена, но дорога как память.

Лейтенант усмехнулся. Ему явно нравилось проводить свой выходной день на фронте. Он наверняка напишет своей девушке в Висконсин об этих чудаках из пехоты, хоть и грубоватых, но в общем потешных ребятах.

— Хорошо,— сказал лейтенант.— Поищу сам. Я слы-

шал, на прошлой неделе здесь были бои, наверно, кругом валяется много всякого барахла.

Пехотинцы равнодушно глядели друг на друга.

— Много, очень много,— вежливо сообщил Крейн,— можно навалить полную машину. Вы будете самым богатым человеком в Париже.

— А как проехать на фронт? — оживился лейтенант.— Мы заглянем туда.

Снова наступило обманчиво равнодушное молчание.

— Ах, на фронт,— с тем же невинным видом сказал Крейн,— вы хотите заглянуть на фронт?

— Да, солдат.— Голос лейтенанта звучал теперь уже не так добродушно.

— Поезжайте по этой дороге,— указал рукой Крейн.— Так я говорю, ребята?

— Так, так, лейтенант,— подтвердили солдаты.

— Мимо не проедете,— сказал Крейн.

Лейтенант теперь понял, что над ним смеются. Он повернулся к Майклу, который все время молчал.

— Послушайте, вы можете сказать нам, как проехать на фронт?

— Так вот... — начал было Майкл.

— Поезжайте по этой дороге, лейтенант,— перебил Крейн.— Проедете мили полторы, потом будет небольшой подъем и лесок. Взберетесь на вершину холма и увидите внизу реку. Это и есть фронт, лейтенант.

— Он правду говорит? — недоверчиво спросил лейтенант.

— Да, сэр,— подтвердил Майкл.

— Хорошо! — Лейтенант повернулся к одному из сержантов.— Льюис, джип оставим здесь. Пойдем пешком. Сделай что нужно, чтобы его не угнали.

— Да, сэр.— Льюис подошел к джипу, поднял капот, вытащил ротор из распределителя и вырвал несколько проводов. Лейтенант тоже подошел к машине, взял пустой мешок и перекинул его через плечо.

— Майкл! — раздался голос Ноя. Он махал Майклу.— Пошли, пора возвращаться...

Майкл кивнул головой. Он чуть было не подошел к лейтенанту и не сказал ему, чтобы тот убирался отсюда в свою уютную канцелярию, к теплой печке, но передумал. Он догнал Ноя, который, устал передвигая ноги по вязкой грязи, шел по дороге к позициям роты, находившимся в полутора милях отсюда.

Взвод Майкла располагался под седловиной, откуда хорошо проглядывалась река. Гребень высоты так густо порос молодыми деревьями и кустарниками, что даже

сейчас, когда опали листья, они давали хорошее укрытие, и солдаты могли свободно передвигаться. С вершины можно было видеть мокрый склон, местами поросший кустарником, а у самой подошвы холма — узкую поляну, упиравшуюся в реку, за которой возвышался такой же гребень. За ним лежали немцы. Над зимним ландшафтом нависло безмолвие. Черная река катила свои мутные воды между обледеневшими берегами. Там и тут у берега гнили в воде стволы деревьев; маслянистые волны, бурля, обтекали их и катились дальше. Над противоположными склонами, испещренными серыми пятнами снега, стояла тишина. По ночам вспыхивала иногда короткая, жаркая перестрелка, но дном слишком открытая местность ограничивала действия патрулей, и между воюющими сторонами устанавливалось своеобразное молчаливое перемирие. Расстояние между позициями противников, насколько было известно, составляло около тысячи двухсот ярдов; во всяком случае, так они были помечены на картах в том далеком, сказочном, безопасном месте, которое именуется штабом дивизии.

Взвод Майкла находился здесь уже две недели, и если не считать редкой ночной перестрелки (последний раз это было три ночи назад), то противник ничем не обнаруживал своего присутствия. Можно было подумать, что немцы упаковали свои вещи и отправились по домам.

Но Хулиген так не думал. У него был хороший нюх на немцев. Некоторые по запаху краски могут определить подлинность картин голландских художников, другие, попробовав вино, сразу скажут, что оно урожая 1937 года, и назовут никому неизвестный виноградник около Дижона. «Специальностью» Хулигена были немцы. У Хулигена было узкое, с высоким лбом, интеллигентное лицо ирландского ученого. При взгляде на него вспоминались однокашники Джойса¹ из Дублинского университета. Он подолгу вглядывался через кустарник в противоположный гребень и говорил, с сомнением качая усталой головой:

— Там где-то есть пулеметное гнездо. Они установили пулемет и ждут, когда мы пойдем в атаку.

До сих пор это не имело особого значения. Взвод оставался на месте, река представляла собой слишком большое препятствие для патрулей, и пулемет, если он там действительно был, не мог достать укрывшихся за гребнем солдат. Если же у немцев позади были минометы,

¹ Джойс, Джеймс (1882—1941) — английский реакционный писатель-декадент, ирландец по происхождению. — *Прим. ред.*

то они старались их не обнаруживать. Но, как стало известно, на рассвете придет саперная рота и попытается навести через реку понтонный мост. Рота Майкла должна переправиться по мосту и войти в соприкосновение с немцами, обороняющими высоту на противоположном берегу. После этого, на следующее утро, свежая рота пройдет через их боевые порядки и будет продвигаться дальше... В штабе дивизии такой план действий, несомненно, выглядел отлично. Но он не нравился Хулигену, пристально вглядывавшемуся в черную реку с обледенелыми берегами и в безмолвный, покрытый кустарником и пятнами снега склон на той стороне.

Когда Ной, Майкл, Пфейфер и Крейн подошли к позиции взвода, Хулиген разговаривал с капитаном Грином по полевому телефону, привязанному ремнем к дереву.

— Капитан,— говорил он.— Не нравится мне все это. Что-то они слишком притихли. Где-то на гребне есть замаскированный пулемет. Я чувствую, что есть. Сегодня ночью в нужный момент они осветят местность ракетами и зададут нам жару. Ведь перед ними пятьсот ярдов открытого пространства, да еще мост. Перехожу на прием.

Он слушал. Голос капитана тихо потрескивал в трубке.

— Слушаю, сэр,— сказал Хулиген,— я позвоню вам, когда выясню.— Он вздохнул, повесил трубку и снова навел бинокль на тот берег реки, задумчиво чмокая губами. Он был похож на ученого, решающего трудную задачу.— Капитан приказал выслать сегодня днем дозор,— сказал Хулиген.— Нужно пройти на виду у противника, если потребуется, до самой реки, чтобы вызвать на себя огонь. Тогда мы установим место, откуда стреляют, вызовем огонь минометов, и от немецкого пулемета останутся рожки да ножки.— Хулиген поднес к глазам бинокль и снова стал вглядываться сквозь легкую дымку в невинно выглядевший гребень по другую сторону реки.— Охотники есть? — небрежно бросил он.

Майкл посмотрел вокруг. Семь человек слышали Хулигена. Они согнулись в своих мелких окопчиках под самым гребнем, проявив вдруг повышенный интерес к винтовкам, к строению земли на стенках окопов, к кустам, стоявшим перед их глазами. Три месяца назад, подумал Майкл, он, вероятно, по глупости вызвался бы охотником, чтобы искупить свою вину. Но теперь Ной кое-чему научил его. В наступившей тишине он продолжал внимательно разглядывать свои ногти.

Хулиген тихо вздохнул. Прошла минута, и каждый напряженно думал о том моменте, когда идущий впереди солдат

этого дозора вызовет на себя огонь немецкого пулемета.

— Сержант,— вдруг раздался вежливый голос.— Вы не возражаете, если мы присоединимся к вам?

Майкл поднял глаза. Лейтенант из службы снабжения и его два спутника неуклюже поднимались по скользкому склону. Просьба лейтенанта повисла в воздухе над солдатами, скорчившимися в ячейках, безумно-легкомысленная, как реплика веселого чудака из венгерской оперетты.

Хулиген удивленно обернулся; его глаза сузились.

— Сержант,— сказал Крейн,— лейтенант прибыл сюда за трофеями, он хочет увезти их в Париж.

Мимолетное, необъяснимое выражение промелькнуло на тонком длинном лице сержанта, заросшем иссиня-черной щетиной.

— Сделайте одолжение, лейтенант.— Хулиген говорил приветливо и даже с необычным для него оттенком подострастия.— Это для нас большая честь.

После подъема в гору лейтенант часто дышал. «Он не такой уж здоровый, как кажется,— подумал Майкл.— Наверно, там, в тылу, ему не приходится сейчас играть в поло».

— Я слышал, что это и есть фронт,— сказал лейтенант, хватаясь за протянутую Хулигеном руку.— Это правда?

— Да, сэр, в известном смысле,— уклончиво ответил Хулиген. Никто из солдат не проронил ни слова.

— Здесь совсем тихо,— сказал лейтенант, с изумлением посмотрев вокруг.— За два часа я не слышал ни одного выстрела. Вы уверены, что это фронт?

Хулиген вежливо засмеялся.

— Вот что я вам скажу, сэр,— проговорил он доверительным шепотом.— Я думаю, что немцы отошли неделю тому назад. По-моему, вы можете спокойно пройтись отсюда до самого Рейна.

Майкл не спускал глаз с Хулигена. Лицо сержанта было открытым и детски наивным. До войны Хулиген был кондуктором автобуса, курсировавшего по Пятой авеню. «Откуда у него такое артистическое дарование?» — недоумевал Майкл.

— Хорошо,— сказал лейтенант, улыбаясь.— Должен сказать, что здесь гораздо спокойнее, чем у нас на пункте сбора донесений. Правда, Льюис?

— Да, сэр,— подтвердил Льюис.

— Никаких тебе полковников, спящих взад и вперед и не дающих ни минуты покоя,— дружелюбно сказал лейтенант,— и не надо бриться каждый день.

— Да, сэр,— согласился Хулиген,— бриться каждый день нам не нужно.

— Я слышал,— сказал лейтенант доверительным тоном, глядя вниз, по направлению к реке,— что там можно набрать кой-каких немецких трофеев.

— Да, сэр, конечно. На этом поле полно касок, люгеров и дорогих фотоаппаратов.

«Он зашел слишком далеко,— думал Майкл,— теперь он зашел слишком далеко». Он бросил взгляд на лейтенанта, интересуясь, как тот воспринимает все это, но на его здоровом, румяном лице было только выражение страстной алчности. «Боже мой,— с отвращением подумал Майкл,— кто только произвел его в офицеры?»

— Льюис, Стив,— сказал лейтенант,— давайте спустимся вниз и посмотрим, что там делается.

— Подождите, лейтенант,— с сомнением в голосе сказал Льюис.— Спросите его, нет ли там мин?

— Что вы? — ответил Хулиген.— Гарантирую, что никаких мин там нет.

Семеро солдат взвода неподвижно сидели на корточках в своих окопах и смотрели в землю.

— Вы не возражаете, сержант,— спросил лейтенант,— если мы спустимся вниз и немного попасемся?

— Чувствуйте себя как дома, сэр.

«Теперь,— думал Майкл,— теперь он им скажет, что все это шутка, покажет им, какие они ослы, и выводит их отсюда...»

Но Хулиген стоял, не двигаясь.

— Вы пожалуйста, не упускайте нас из виду, хорошо, сержант? — сказал лейтенант.

— Конечно.

— Ладно. Пошли, ребята,— лейтенант неуклюже пролез через кустарник и стал спускаться вниз по склону. Оба сержанта последовали за ним.

Майкл обернулся и взглянул на Ноя. Ной наблюдал за ним, его черные стариковские глаза смотрели твердо и угрожающе. Майкл понял, что Ной своим молчаливым пристальным взглядом подает ему знак не говорить ни слова. «Ну что же,— решил Майкл в свое оправдание,— это его взвод, он знает этих людей лучше, чем я...»

Он обернулся назад и посмотрел вниз.

Лейтенант в своей нарядной шинели и два сержанта медленно спускались вниз по холодному, скользкому склону, то и дело хватаясь за кустарники и стволы деревьев. «Нет,— подумал Майкл,— мне наплевать, что они обо мне подумают, но я не могу допустить, чтобы это случилось...»

— Хулиген! — Он подскочил к сержанту, который пристально, с жестоким выражением на лице смотрел через реку

на противоположный гребень. — Хулиген, вы не сделаете этого! Вы не должны их пускать туда! Хулиген!

— Замолчи! — свирепо зашептал Хулиген. — Не учи меня. Я командую взводом.

— Их же убьют, — настаивал Майкл, глядя на трех человек, скользивших по грязному снегу.

— Ну и что? — сказал Хулиген, и Майкла испугало выражение отвращения и ненависти на его тонком, умном лице. — Чего ты хочешь? Почему бы некоторым из этих негодяев в виде исключения не быть убитыми? Ведь они же в армии, в конце концов. Трофеи!

— Вы должны остановить их! — прохрипел Майкл. — Если вы их не остановите, я напишу рапорт, клянусь богом, напишу...

— Заткнись, Уайтэкр, — вмешался Ной.

— Напишешь рапорт, да? — Хулиген ни на секунду не отрывал глаз от противоположного гребня. — Ты что, хочешь сам пойти туда? Хочешь, чтобы тебя убили там сегодня, хочешь, чтобы убили Аккермана, Крейна, Пфейфера? Ты хочешь, чтобы лучше убили твоих друзей, чем этих трех жирных тыловых свиней? Что они за цацы такие? — Его голос, вначале дрожавший от злобы, внезапно стал спокойным и деловым, когда он обратился к другим солдатам. — Не смотрите вниз на этих троих, — приказал он. — Все внимание на гребень. Будет всего лишь две-три коротких очереди, надо смотреть очень зорко. Не отводите глаз от того места, откуда будут стрелять, и докладывайте мне... Все еще хочешь, чтобы я отозвал их назад, Уайтэкр?

— Я... — начал было Майкл, но тут же услышал выстрелы и понял, что слишком поздно.

Там внизу, недалеко от реки, нарядная, со светлыми прожилками шинель медленно покачнулась и осела в грязь. Льюис и другой сержант пустились бежать, но их тут же настигли немецкие пули.

— Сержант! — Это был спокойный и ровный голос Ноя. — Я вижу, откуда стреляют. Правее вон того большого дерева, двадцать ярдов, прямо перед теми двумя кустиками, которые чуть повыше других... Вы видите?

— Вижу, — отозвался Хулиген.

— Вот там. Два или три ярда от первого куста.

— Ты уверен? Я не заметил.

— Уверен, — ответил Ной.

«Боже мой, — устало подумал Майкл, восхищаясь Ноем и в то же время ненавидя его, — как многому этот парень научился со времен Флориды».

— Ну, — Хулиген, наконец, обернулся к Майклу, — ты все еще хочешь написать рапорт?

— Нет,— сказал Майкл.— Я не стану писать никакого рапорта.

— Конечно, нет.— Хулиген дружески похлопал его по руке.— Я знал, что ты не станешь этого делать.— Он подошел к полевому телефону и позвонил на командный пункт роты. Майкл слышал, как Хулиген докладывал точное местоположение немецкого пулемета для передачи минометчикам.

Снова воцарилась тишина. Трудно было себе представить, что какую-нибудь минуту назад пулемет разорвал тишину и три человека были убиты.

Майкл обернулся и посмотрел на Ноя. Ной опустил на одно колено, уперев приклад винтовки в грязь и прижав ствол к щеке. Он напоминал одну из старых картинок, изображавших первых поселенцев в Америке в войнах с индейцами, где-нибудь в Кентукки или в Нью-Мексико. Он смотрел на Майкла дикими, горящими глазами, в которых не было ни стыда, ни раскаяния. Майкл медленно опустился на землю, избегая его взгляда. Он понял, наконец, весь смысл слов Ноя, сказанных в лагере для пополнения, о том, что в армии надо стараться попасть туда, где у тебя есть друзья.

Перед самым заходом солнца заработали минометы. Первые две мины не долетели до цели, и Хулиген по телефону передал поправку. Третья мина разорвалась именно там, куда он указывал. Туда же полетела и четвертая. В том месте, где разорвались две последние мины, можно было заметить необычное, легкое движение: внезапно затряслись голые перепутавшиеся ветви, словно человек хотел пролезть через них, но не смог и упал. Потом опять стало тихо, и Хулиген сказал в телефон:

— Все в порядке, сэр. Еще одну в то же место на всякий случай.

Миномет послал еще одну мину, но на гребне не было никакого движения.

Как только стемнело, прибыла саперная рота с понтонами и досками для настила. Майкл и еще несколько солдат помогали переносить громоздкие материалы к берегу реки. Они прошли мимо какого-то бледного пятна. Майкл знал, что это та самая нарядная шинель, но не стал смотреть в ту сторону. Саперы, работая в ледяной воде, уже навели почти половину моста, когда над рекой повисла первая осветительная ракета. Затем с обеих сторон заработала артиллерия. Слышалась и ружейная стрельба, но разрозненная и неорганизованная. Сразу же по немецким окопам ударили минометы. Немецкие снаряды ложились неточно и беспорядочно: то ли немцам незачем было экономить боеприпасы, то ли их пере-

довые наблюдатели нервничали под сосредоточенным огнем, который велся по гребню. Ни один из снарядов не попал в мост. Три сапера, находившиеся на дальнем конце моста, были ранены, а все остальные вымокли до нитки от всплесков падавших рядом в воду снарядов.

Ракеты, повисшие над рекой, освещали переправу ярким, таинственно-голубым светом, и работавшие на реке люди казались прозрачными, как бумага, и похожими на насекомых. Несколько человек из взвода, который должен был первым форсировать реку, перебрались по мосту на другой берег, но Лоусон был убит и упал в реку, и Муковский тоже.

Майкл притаился возле Ноя, который, положив руку ему на плечо, удерживал его на месте. Они видели, как один солдат, затем второй бросились по скользкому узкому настилу вперед, на другой берег. Кто-то упал поперек моста и остался лежать, и другим солдатам пришлось прыгать через него.

«Нет,— думал Майкл, чувствуя, как дрожит его плечо под рукою Ноя,— это невозможно, нельзя от меня требовать такого, я просто не могу...»

— Беги,— прошептал Ной.— Теперь беги!

Майкл не двинулся с места. Снаряд разорвался в реке в десяти футах от моста, выбросив кверху темный столб воды, который накрыл солдата, лежавшего на ходуном ходившем мостике.

Майкл почувствовал жесткий удар кулаком по шее.

— Беги,— громко кричал Ной.— Беги сейчас же, сукин ты сын!

Майкл вскочил и побежал. Не успел он пробежать десяти шагов по скользким доскам, как у другого конца моста разорвался снаряд, и, не зная, цел ли еще мост, Майкл все же продолжал бежать.

Через несколько секунд он уже был на том берегу. Кто-то кричал в темноте: «Сюда, сюда...», и он послушно побежал на голос. Он споткнулся и упал в яму, где уже кто-то был.

— Хорошо,— услышал он над самым ухом хриплый голос.— Лежи здесь, пока не переправится вся рота.

Майкл прислонился щекой к сырой, холодной земле, приятно освежавшей разгоряченную, потную кожу. Его дыхание медленно успокаивалось. Он поднял голову и посмотрел назад на темные фигуры, бежавшие по мосту между фонтанами воды. Он глубоко вздохнул. «Я совершил это,— с гордостью подумал он.— Я наступал под огнем. Значит, я могу сделать все, что делают другие». Он с удивлением заметил, что улыбается. «Наконец-то,— сказал он себе, повернувшись в сторону немцев,— я становлюсь настоящим солдатом».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Лагерь, живописно расположенный посреди широкого зеленого поля, на фоне крутых, покрытых лесом холмов, на расстоянии имел довольно приятный вид, почти как обычный военный лагерь. Настораживали, правда, барачного типа здания, стоящие слишком тесно друг к другу, двойная изгородь из колючей проволоки со сторожевыми вышками по углам, да еще этот запах. Он отравлял воздух на двести метров вокруг, стоял густой и плотный, словно газ, который путем мудреной химической реакции вот-вот должен превратиться в твердое тело.

Христиан, однако не остановился. Он торопливо заковылял в ярких лучах весеннего солнца по дороге к главному входу. Он должен достать что-нибудь поесть и узнать свежие новости. Может быть, в лагере поддерживали телефонную связь с каким-нибудь действующим штабом или слушали радио... «Может быть,— с надеждой подумал он, вспоминая отступление во Франции,— может быть, удастся найти велосипед...»

Подходя к лагерю, он поморщился. «Я стал специалистом,— думал он,— по тактике одиночного отступления. Ценное качество для весны сорок пятого года. Я ведущий нордический специалист по тактике отрыва от разваливающихся военных частей. Я могу учуять, что полковник сдастся в плен за два дня до того, как он сам поймет, что у него на уме».

Христиан не хотел сдаваться в плен, хотя это вдруг стало обычным делом, и миллионы солдат, казалось, только и были заняты тем, что искали наилучший способ сдачи. За последний месяц все разговоры вертелись вокруг этой темы... В разрушенных городах, в отдельных обреченных на гибель островках сопротивления, созданных на главных дорогах и на подступах к городам, всегда возникали одни и те же разговоры. Никакой ненависти к авиации, разрушившей города, которые стояли нетронутыми тысячу лет, никакого стремления отомстить за тысячи женщин и детей, похороненных под обломками. Только и слышно: «Лучше всего, конечно, сдать америкам. Потом англичанам, затем французам, хотя это лишь в самом крайнем случае. Ну, а если уж попадешь к русским, то не миновать тебе Сибири...» И так говорят люди с железными крестами первой степени, с гитлеровскими медалями, воевавшие в Африке и под Ленинградом, и в течение всего отступления от самого Сен-Мер-Эглиза... Отвратительно!

Христиан не разделял уверенности большинства в великодушии американцев. Это был миф, выдуманный легковверными людьми для самоуспокоения. Христиан вспомнил мертвого

парашютиста, висевшего на дереве там, в Нормандии, его лицо, суровое и непреклонное даже в то время... Он вспомнил санитарный обоз с его жалкими лошадьми, уничтоженный пулеметным огнем истребителей. Летчики, конечно, видели красные кресты, понимали, что они означают, и все же их рука не дрогнула. Американцы не проявили особого великодушия и над Берлином, Мюнхеном и Дрезденом. Нет, теперь Христиан уже не верил мифам. Да американцы ничего хорошего и не обещали. Они снова и снова объявляли по радио, что каждый провинившийся немец или немка заплатит за свои преступления. В лучшем случае — несколько лет в концентрационных лагерях или на каторжных работах, пока будут рассматривать объяснительные материалы, поступающие со всех концов Европы. А что если некоторые французы помнят фамилию Христиана по Нормандии, помнят, как он оклеветал двух французов, после того как там на берегу был убит Бэр, и как их пытали в соседней комнате? Кто знает, какие данные собирали подпольщики, много ли им известно? И бог знает, чего только не наговорит эта Франсуаза. Наверно, она сейчас в Париже, живет с американским генералом и нашептывает ему всякие гадости. И пусть даже тебя специально не разыскивали, но раз уж ты попал к ним в лапы, любому полумному французу, случайно увидевшему тебя, может взбрести в голову обвинить тебя в преступлении, которого ты никогда не совершал. И кто поверит тебе, кто поможет тебе доказать, что ты невиновен? Ничто не помешает американцам передать миллион с лишним пленных французов для восстановления разрушенных городов и разминирования. Все что угодно, только бы не попасть в лапы к французам. Будешь мучиться долгие годы и так и не вырвешься оттуда живым.

Умирать Христиан отнюдь не собирался. За последние пять лет он слишком многому научился. Он еще пригодится после войны, и нет смысла бросать все на произвол судьбы. Года три-четыре придется, конечно, жить ниже травы и тише воды, быть любезным и угождать победителям. Видимо, в его городишко опять станут приезжать туристы покататься на лыжах, может быть, американцы построят поблизости большие дома отдыха, и он получит работу, будет учить американских лейтенантов, как делать «плуг» на лыжах... А потом... Ну что ж, потом будет видно. Человек, который научился так искусно убивать и справляться с такими горячими головами, обязательно пригодится через пять лет после войны, если только он сумеет сохранить свою жизнь...

Он не знал, как обстоят дела в его родном городе, но, если ему удастся добраться туда до прихода войск, он мог бы надеть гражданскую одежду, а отец постарался бы придумать

какую-нибудь историю... До дому было не так уж далеко. Он находился в самом сердце Баварии, и на горизонте уже виднелись горы. «Наконец-то мы стали воевать с удобствами,— подумал он с мрачным юмором.— Свой последний бой солдат теперь может вести в собственном палисаднике».

У ворот стоял только один часовой. Это был толстый маленький человек лет пятидесяти пяти. С винтовкой в руке и с фольксштурмовской повязкой на рукаве, он выглядел несчастным и чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Фольксштурм!¹ — с пренебрежением подумал Христиан.— Блестящая идея!» «Гитлеровская богадельня», как горько шутили в народе. Газеты и радио трубили и том, что каждый мужчина, сколько бы лет ему не было — пятнадцать или семьдесят, теперь, когда противник грозит его дому, будет драться с захватчиками как разъяренный лев. Эти привыкшие к сидячему образу жизни, склеротические господа из фольксштурма явно не знали, что они должны воевать как львы. Достаточно было им услышать один выстрел, и целый батальон таких вояк с бегающими глазами и поднятыми вверх руками можно было брать в плен. Еще один миф — будто можно оторвать пожилых немцев от канцелярских столов и подростков от школьной скамьи и за две недели сделать из них солдат. «Пышные фразы,— думал Христиан, глядя на терзаемого страхом толстого человечка в плохо подогнанной форме,— свели нас всех с ума. Пышные фразы и мифы — против танковых дивизий, тысяч самолетов и орудий, которых снабжают горючим и боеприпасами заводы всего мира. Гарденбург давно все понял, но Гарденбург закончил жизнь самоубийством. Да, после войны выиграют те, кто очистится от напыщенного красноречия и раз и навсегда сделает себе прививку против всяких мифов».

— Хайль Гитлер,— сказал часовой, неуклюже козыряя.

«Хайль Гитлер». Еще одна шутка. Христиан не потрудился ответить на приветствие.

— Что здесь происходит? — спросил он.

— Ждем.— Часовой пожал плечами.

— Чего?

Часовой опять пожал плечами и смущенно улыбнулся.

— Какие новости? — спросил он.

— Только что капитулировали американцы,— сказал Христиан.— Завтра сдаются русские.

На мгновение часовой почти поверил ему. Доверчивая радостная улыбка пробежала по его лицу. Потом он по-

¹ Фольксштурм — так называемое ополчение, сформированное гитлеровцами из стариков и юношей допризывного возраста на последнем этапе войны.— *Прим. ред.*

нял, что Христиан шутит.

— Вы, видно, в хорошем настроении,— печально сказал он.

— Да, я в прекрасном настроении,— сказал Христиан.— Я только что вернулся из весеннего отпуска.

— Как вы думаете, будут американцы здесь сегодня? — с тревогой спросил часовой.

— Они могут прийти через десять минут или через десять дней, или через десять недель. Кто знает, что станут делать американцы?

— Надеюсь, они придут скоро,— сказал часовой.— Уж лучше они, чем...

«И этот тоже»,— подумал Христиан.

— Знаю,— резко оборвал он.— Они лучше русских и лучше французов.

— Так говорят все,— уныло сказал часовой.

— Боже мой,— потянул носом Христиан.— Как вы можете выносить такую вонь?

Часовой кивнул головой.

— Да, вонь ужасная, но я уже неделю здесь и больше ее не замечаю.

— Только неделю? — удивился Христиан.

— Здесь стоял целый эсэсовский батальон, но неделю назад их сняли, а нас прислали взамен. Только одну роту,— удрученно сказал часовой.— Мы рады, что пока хоть живы.

— Что у вас там? — Христиан кивнул головой в ту сторону, откуда шло зловоние.

— Обычная история. Евреи, русские, несколько политических, много людей из Югославии, Греции и еще откуда-то. Два дня назад мы их всех заперли в бараках. Они догадываются о том, что творится вокруг, и становятся опасными. А у нас только одна рота. При желании они могли бы расправиться с нами за пятнадцать минут. Их здесь тысячи. Час назад они подняли невероятный шум.— Он повернулся назад и с тревогой стал вглядываться в закрытые на замок бараки.— Смотрите-ка, ни звука. Один бог знает, что они там готовят.

— Зачем же вы здесь остаетесь? — удивился Христиан. Часовой пожал плечами, на губах его появилась все та же болезненная, глуповатая улыбка.

— Не знаю. Ждем.

— Откройте ворота,— сказал Христиан.— Я хочу войти во двор.

— Вы хотите войти во двор? — недоверчиво спросил часовой.

— Зачем?

— Я составляю список домов отдыха для штаба орга-

низации «В веселье сила», в Берлине, — ответил Христиан, — и мне посоветовали включить этот лагерь. Откройте же. Мне надо чего-нибудь поесть и посмотреть, нельзя ли здесь позаимствовать велосипед.

Часовой дал знак другому часовому на вышке, который внимательно следил за Христианом. Ворота медленно открылись.

— Велосипеда вы здесь не найдете, — сказал фольксштурмовец. — Эсэсовцы, когда уходили отсюда на прошлой неделе, взяли с собой все, что имеет колеса.

— Посмотрим, — сказал Христиан.

Пройдя через двойные ворота, он направился к административному корпусу, симпатичному, свежeweыбеленному каменному домику в тирольском стиле, с зеленой лужайкой и с высоким флагштоком, на котором трепетал под свежим утренним ветерком флаг. Чем дальше Христиан шел, тем сильнее становился запах. Из бараков слышался низкий, приглушенный шум голосов, звучащих как-то не по-человечески. Казалось, этот шум производит какой-то диковинный музыкальный инструмент, потому что звуки были слишком бесформенны и неприятны, чтобы принадлежать человеческому голосу. Все окна были заколочены досками, кругом не было видно ни души.

Христиан поднялся по тщательно вымытым каменным ступеням и вошел в дом.

Он обнаружил кухню. Повар в военной форме, мрачный шестидесятилетний старик, дал ему колбасы и эрзац-кофе, ободряюще сказав при этом:

— Наедайся как следует, парень. Кто знает, когда снова удастся поесть?

В коридорах беспокойно толкались несколько мешковатых фольксштурмовцев, одетых в форму с чужого плеча. У них было оружие, но держали они его робко и с выражением явного отвращения. Они тоже, как и часовой у ворот, чего-то ждали. Они пристально вглядывались в Христиана печальными глазами, когда он проходил мимо, и он слышал шепот неодобрения, осуждающий его за то, что он молод и проигрывает войну... Гитлер всегда хвастливо говорил, что его сила в молодежи, и теперь эти эрзац-солдаты, оторванные от родных домов в самом конце войны, скривив свои старые лица в пренебрежительной гримасе, показывали, что они думают об этом отступающем поколении, которое довело их до такого положения.

Выпрямившись, слегка придерживая автомат, с холодным, застывшим лицом, Христиан шел по коридорам мимо этих растерянных людей. Подойдя к кабинету коменданта, он постучал и вошел. Заключение в полосатой одежде

шваброй мыл пол, в приемной за столом сидел ефрейтор. Дверь в кабинет была открыта, и человек, сидевший там за столом, сделал Христиану знак войти, как только услышал, что тот сказал: «Я хотел бы поговорить с комендантом».

Такого старого лейтенанта Христиану еще не приходилось видеть. На вид ему было далеко за шестьдесят, лицо его казалось вылепленным из слоистого сыра.

— У меня нет ни одного велосипеда, — сказал он надтреснутым голосом в ответ на просьбу Христиана. — У меня ничего нет. Даже продуктов. Эсэсовцы не оставили нам ничего. Только приказ продолжать управление лагерем. Вчера я связывался с Берлином, и какой-то идиот по телефону велел мне немедленно уничтожить всех заключенных. — Лейтенант невесело засмеялся. — Одиннадцать тысяч человек. Легко сказать! И с тех пор я ни с кем не могу связаться. — Он пристально посмотрел на Христиана. — Вы с фронта?

Христиан улыбнулся.

— Фронт — это не совсем то слово.

Лейтенант вздохнул. Его лицо было бледно и измято.

— В прошлой войне все было иначе. Мы отступали в полном порядке. Вся моя рота вступила в Мюнхен все еще с оружием в руках. Тогда было гораздо больше порядка, — сказал он, и в его тоне явственно прозвучало обвинение новому поколению Германии, которое не умело проигрывать войну, как их отцы, сохраняя полный порядок.

— Ну что ж, лейтенант, — сказал Христиан. — Я вижу, вы не можете мне помочь. Я должен идти.

— Скажите мне, — произнес старый лейтенант, стараясь задержать Христиана еще на минуту, словно он чувствовал себя одиноко в этом опрятном, чисто вымытом кабинете, с портьерами на окнах, с диваном, обитым грубой материей, и с висящей на обшитой панелями стене ярко-голубой картиной, изображающей Альпы зимой. — Скажите, как вы думаете, американцы, могут появиться здесь сегодня?

— Не могу сказать, сударь, — ответил Христиан. — Разве вы не слушаете радио?

— Радио, — вздохнул лейтенант. — Ему трудно верить. Сегодня утром из Берлина передавали слухи, будто на Эльбе идут бои между русскими и американцами. Как вы думаете, это возможно? — с нетерпением спросил он. — В конце концов, мы все знаем, что рано или поздно это неизбежно должно случиться...

«Миф, — подумал Христиан, — все тот же самоубийственный миф». Вслух он сказал:

— Конечно, сударь, я нисколько не был бы удивлен.— Он направился к двери, но, услышав шум, остановился.

Сквозь открытые окна в комнату врвался быстро нарастающий гул, напоминавший шум приближающегося наводнения. Затем гул резко оборвался и послышались выстрелы. Христиан подбежал к окну и выглянул на улицу. К административному корпусу тяжело бежали два человека в военной форме. Христиан видел, как они на ходу побросали винтовки. Оба они были полные, как будто сошли с рекламы мюнхенской пивной, бежать им было трудно. Из-за угла одного из барачков появился человек в арестантской одежде, потом еще три, потом, казалось, высыпали сотни, и вот за двумя охранниками бежала уже целая толпа. Вот откуда исходил гул. Заключенный, бежавший первым, на секунду остановился и поднял одну из брошенных винтовок. Он не выстрелил, а продолжал преследовать охранников, держа ее в руках. Это был высокий длинноногий человек, и он с ужасающей быстротой настигал бегущих. Он взмахнул винтовкой, как дубинкой, и один из охранников упал. Другой, видя, что до спасительного административного корпуса еще слишком далеко и его догонят раньше, чем он сумеет добежать, просто лег на землю. Он ложился медленно, как слон в цирке, сначала опустившись на колени, а потом, все еще не опуская бедер, прижал голову к земле, как будто стараясь зарыться в нее. Заключенный снова взмахнул винтовкой и прикладом размозил охраннику голову.

— О боже мой,— прошептал лейтенант у окна.

Толпа сомкнулась вокруг двух мертвецов. Почти бесшумно заключенные топтали два трупа, снова и снова тяжело наступая на них, и каждый отталкивал другого, выскивая хотя бы маленький участок на мертвом теле, чтобы ударить его ногой.

Лейтенант от кочил от окна и, дрожа, прислонился к стене.

— Их одиннадцать тысяч,— сказал он.— Через десять минут все они будут на свободе.

От ворот раздалось несколько выстрелов, и трое или четверо заключенных упали. На них не обратили особого внимания. Часть толпы устремилась в сторону ворот с тем же неясным, монотонным, дрожащим гулом.

Со стороны других барачков появились новые толпы, быстро пробегая перед глазами, как стада быков в испанских кинофильмах. То тут, то там они настигали охранника и сообща убивали его.

Снаружи из коридора послышались вопли. Лейтенант,

на ходу ощупывая пистолет и с горечью вспоминая организованное поражение в прошлой войне, пошел собирать своих людей.

Христиан отошел от окна и, проклиная себя за то, что так попался, лихорадочно старался что-нибудь придумать. После того, что он прошел, после стольких боев, когда приходилось лицом к лицу встречать столько танков, орудий, опытных солдат, попасть по собственной воле в такую историю...

Христиан вышел в другую комнату. Заключенный, который мыл пол, стоял у окна. В комнате больше никого не было.

— Поди сюда,— сказал Христиан. Тот неприязненно посмотрел на него и медленно вошел в кабинет. Христиан закрыл дверь и внимательно оглядел заключенного. К счастью, у него был хороший рост.— Раздевайся,— приказал Христиан.

Методично, не говоря ни слова, заключенный снял обвисшую полосатую бумажную куртку и принялся за штаны. Шум снаружи усиливался, порой раздавались выстрелы.

— Быстрее! — крикнул Христиан.

Человек уже снял штаны. Он был очень худ, на нем оставалось сероватое холщовое белье.

— Подойди сюда,— сказал Христиан.

Заключенный медленно приблизился и остановился перед Христианом. Христиан взмахнул автоматом. Удар пришелся повыше глаз. Человек сделал шаг назад и рухнул на пол. Удар не оставил почти никакого следа. Христиан обеими руками схватил его за горло и поволок к шкафу, стоявшему у противоположной стены. Он открыл дверцы и затолкал потерявшего сознание заключенного в шкаф. Там висела шинель и два парадных кителя.

Христиан закрыл шкаф и подошел к лежавшей на полу одежде заключенного. Он начал быстро расстегивать китель, но шум снаружи становился все громче, и беспорядочные крики слышались уже в коридоре. Он сообразил, что не хватит времени, торопливо натянул штаны заключенного поверх своих и с трудом влез в куртку, застегнув ее до самого верха. Потом посмотрел в зеркало на дверце шкафа. Форма нигде не выглядывала. Он быстро обвел глазами комнату, ища, куда бы спрятать автомат, потом нагнулся и забросил его под кушетку. Пусть пока полежит там. У него еще оставался кинжал в чехле, спрятанный под полосатой курткой. Куртка сильно пропахла хлором и потом.

Христиан подошел к окну. Новые группы заключенных разбив двери барачков, растеклись по площади и кишели

внизу. Они все еще продолжали отыскивать охранников и убивать их на месте. Выстрелы были слышны и по другую сторону административного корпуса. В ста метрах от здания группа заключенных пыталась выбить двойную дверь похожего на сарай строения. Дверь рухнула, и множество заключенных хлынуло в сарай. Они выходили оттуда, жуя сырой картофель и муку, покрывшую их руки и лица белой пудрой. Христиан видел, как один из заключенных, детина огромного роста, склонился над зажатым между коленями охранником и душил его. Внезапно он бросил еще живого охранника и стал пробиваться в склад. Христиан видел, как через минуту он вышел оттуда с полными руками картофеля.

Христиан выбил ногой стекло и, не колеблясь, вылез наружу. Он повис, держась руками за подоконник и, тут же спрыгнул вниз. Он упал на колени, но сразу вскочил. Вокруг были сотни людей, одетых как он, стояла невообразимая вонь и шум.

Христиан обогнул угол дома и направился к воротам. Изможденный человек с пустой глазницей стоял, прислонившись к стене. Он тяжелым взглядом посмотрел на Христиана и последовал за ним. Христиан был уверен, что этот человек заподозрил его, и постарался ускорить шаг, не привлекая к себе внимания. Но толпа перед административным корпусом была очень плотная, и одноглазый неотступно следовал за Христианом.

Охранники, находившиеся в здании, уже сдались и парами выходили на улицу. Освобожденные узники странно притихли, глядя на своих бывших тюремщиков. Потом высокий лысый мужчина вытащил ржавый карманный нож. Он сказал что-то по-польски, сгреб ближайшего охранника и принялся пилить ему горло. Нож был тупой, и ему пришлось долго возиться. Охранник, которого убивали, не боролся и не кричал. Казалось, муки и смерть были здесь настолько обычным явлением, что даже жертвы, кто бы они ни были, считали это вполне естественным. Тщетность мольбы о милосердии давно уже стала здесь настолько очевидной, что никто не пытался попусту тратить силы. Пойманный в капкан охранник, мужчина лет сорока пяти, с внешностью конторщика, только плотно прижался к своему убийце и изумленно глядел ему в глаза — их лица почти соприкасались, — пока, наконец, ржавый нож не вошел в вену, и тогда он тихо сполз на траву.

Это послужило сигналом для всеобщей экзекуции. Поскольку не хватало оружия, многие охранники были затоптаны насмерть. Христиан смотрел, не смея избра-

зить на лице какое-либо чувство, не смея вырваться из толпы, потому что одноглазый все время стоял сзади, прижавшись к его спине.

— Ты... — сказал одноглазый. Христиан почувствовал как его рука ухватилась за куртку, прошупывая под ней ткань кителя.— Я хочу поговорить с...

Христиан внезапно подался вперед. Престарелый комендант стоял, прислонившись к стене, около входной двери — заключенные еще до него не добрались. Он стоял, слабо жестикулируя руками, как бы пытаясь вызвать к себе сострадание. Окружавшие его худые, изможденные люди были так изнурены, что не имели силы убить его. Христиан проскользнул через кольцо людей и схватил коменданта за горло.

— О боже! — закричал комендант очень громко. Этот возглас прозвучал необычно, потому что все остальные умирали так тихо.

Христиан достал нож. Прижав одной рукой коменданта к стене, он перерезал ему горло. Старик издал какой-то клокочущий звук и завизжал. Христиан вытер руки о его китель и отпустил его. Старик упал на землю. Христиан обернулся — посмотреть, не следит ли за ним одноглазый. Но тот уже ушел, удовлетворенный.

Христиан облегченно вздохнул и, все еще держа в руке нож, прошел через вестибюль административного корпуса и поднялся в кабинет коменданта. На лестнице валялись трупы, а освобожденные узники повсюду переворачивали столы и разбрасывали бумаги.

В кабинете коменданта было три-четыре человека. Дверь шкафа была открыта. Полураздетый человек, убитый Христианом, все еще лежал там в прежней позе. Заключенные по очереди пили коньяк из графина, стоявшего на столе коменданта. Когда графин опустел, один из них швырнул его в висевшую на стене яркую голубую картину, изображавшую Альпы зимой.

Никто не обращал внимания на Христиана. Он нагнулся и достал из-под кушетки свой автомат.

Христиан вернулся в вестибюль и прошел мимо бесцельно слонявшихся заключенных к выходу. У многих уже было оружие, и Христиан не боялся открыто нести свой автомат. Он шел медленно, все время держась среди людей, стараясь не выделяться из толпы, чтобы какой-нибудь наблюдательный заключенный не заметил, что у него были длинные волосы и значительно больше мяса на костях, чем у большинства узников.

Он подошел к воротам. Пожилой часовой, который приветствовал его и впустил в лагерь, лежал на колючей

проволоке, и на его мертвом лице застыло подобие улыбки. У ворот толпилось много заключенных, но мало кто выходил наружу. Казалось, они исполнили все, что в силах сделать человек за один день. Освобождение из барачков исчерпало их понятие о свободе. Они просто стояли у открытых ворот, глядя на расстилающийся перед ними зеленый ландшафт и на дорогу, по которой скоро придут американцы и скажут, что делать дальше. А может быть, их самые глубокие чувства были настолько связаны с этим лагерем, что теперь, в момент избавления, они были не в силах покинуть его, а должны были остаться и осмотреть место, где они страдали и где свершилось отмщение.

Христиан протолкнулся через кучку людей, толпившихся около убитого фольксштурмовца. С автоматом в руках он быстро пошел по дороге навстречу наступающим американцам. Он не осмелился пойти в другом направлении, в глубь Германии, потому что кто-нибудь из стоявших у ворот мог это заметить и окликнуть его.

Христиан шел быстро, чуть прихрамывая и глубоко вдыхая свежий весенний воздух, чтобы поскорее избавиться от запаха лагеря. Он очень устал, но не убавлял шаг. Когда он оказался на безопасном расстоянии от лагеря, и его уже не могли заметить, он свернул с дороги. Он сделал большой крюк по полям и благополучно обогнул лагерь. Пройдя через рощу, где на деревьях уже набухли почки, а под ногами росли маленькие розовые и фиолетовые лесные цветы и запах сосны щекотал ноздри, он увидел впереди дорогу, безлюдную и всю в солнечных бликах. Но он так устал, что не мог идти дальше. Сняв пропахшую хлором и потом одежду заключенного, он свернул ее в узел и бросил под куст. Потом лег, воспользовавшись вместо подушки корнем дерева. Молодая травка, пробивавшаяся сквозь толщу прошлогодних листьев и хвои, была такой свежей и зеленой. В ветвях над его головой две птички пели друг другу, и, когда они прыгали с ветки на ветку, сквозь листву трепетало сине-золотое небо. Христиан вздохнул, вытянулся и тут же уснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Подъехав к раскрытым воротам, солдаты, сидевшие в грузовиках, притихли. Достаточно было одного этого запаха, чтобы заставить их замолчать, а тут еще вид мертвых тел, лежавших в нелепых позах у ворот и за проволокой, и медленно движущаяся масса похожих на пугала людей

в полосатых лохмотьях, чудовищным потоком окружавшая грузовики и джип капитана Грина.

Толпа шла почти молча. Многие плакали, другие пытались улыбаться. Впрочем, по выражению их похожих на черепа лиц и широко раскрытых впалых глаз трудно было понять, улыбаются они или плачут. Казалось, пережитая этими существами глубокая трагедия лишила их способности выражать свои чувства по-человечески, оставив им лишь чувство животного отчаяния, а более сложные проявления горя и радости лежали пока что за пределами их примитивного сознания. Вглядываясь в неподвижные, безжизненные маски, Майкл мог различить то тут, то там людей, которым казалось, что они улыбаются, но об этом можно было только догадываться.

Они почти не пытались говорить и только касались кончиками пальцев до металла машин, до одежды солдат, до стволов винтовок, как будто это робкое ощупывание открывало единственный путь к познанию новой, ослепительной действительности.

Грин распорядился оставить машины на месте, выставил охрану и, медленно пробираясь через кишашую как муравейник толпу бывших заключенных, повел роту в лагерь.

Майкл и Ной вслед за Грином вошли в первый барак. Дверь была сорвана, и большая часть оконных рам выбита, но, несмотря на это, в бараке стояло невыносимое зловоние. В полумраке, который там и сям тщетно пытались пробить пыльные лучи весеннего солнца, Майкл мог различить очертания каких-то костлявых груд. Самое страшное было в том, что кое-где в этих грудях было заметно движение: вяло помахивала рука, медленно поднималась пара горящих глаз, слабо кривились губы на изможденных лицах, которые, казалось, встретили смерть много дней назад. В глубине барака от кучи тряпья и костей отделилась какая-то фигура и медленно на четвереньках стала продвигаться к двери. Придвинувшись ближе, человек встал на ноги и, как робот с примитивным приспособлением для ходьбы, направился к Грину. Майкл мог видеть, как человек пытался изобразить на лице улыбку и вытянул вперед руку в нелепом и банальном жесте приветствия. Человек так и не дошел до Грина. Он опустился на липкий пол со все еще протянутой рукой. Когда Майкл склонился над ним, он увидел, что человек мертв.

«Центр вселенной», — настойчиво звучал какой-то безумный голос в голове Майкла, когда он стоял на коленях над человеком, так легко и тихо умершим на его глазах. — Я в центре вселенной, в центре вселенной».

Мертвец, лежавший с протянутой рукой, был шести футов ростом. Он лежал нагой, и из-под его кожи ясно выступали все кости. Он весил не больше семидесяти пяти фунтов и потому, что у него не хватало обычного придающего ширину мышечного покрова, казался как бы вытянутым в длину, неестественно высоким и лишенным объема.

Во дворе раздались выстрелы, и Майкл с Ноем вслед за Грином вышли из барака. Тридцать два солдата из лагерной охраны, забаррикадировавшиеся в кирпичном здании, где находились печи, в которых немцы сжигали заключенных, увидев американцев, сложили оружие, и Крейн попытался их расстрелять. Ему удалось ранить двух охранников, прежде чем Хулиген вырвал у него винтовку. Один из раненых, сидя на земле, плакал, держась за живот, и тонкие струйки крови сочились по его рукам. Он был необычайно толст, со складками жира на затылке, и походил на розовощекого избалованного ребенка, который, усевшись на землю, жалуется няне.

Крейн тяжело дышал, как безумный вращая глазами; два товарища крепко держали его за руки. Когда Грин приказал для безопасности отнести охранников в административный корпус, Крейн внезапно лягнул раненного им толстяка. Тот громко зарыдал. Четыре солдата с трудом унесли толстяка в дом.

Грин мало что мог сделать. Тем не менее он разместил свой штаб в комнате коменданта в административном корпусе и отдал ряд четких, простых распоряжений, как будто для пехотного капитана американской армии было самым обычным, повседневным делом, оказавшись в центре вселенной, наводить порядок в этом хаосе. Он отправил свой джип с требованием прислать медико-санитарную команду и машину с продовольственными пакетами. Он приказал выгрузить весь ротный запас продовольствия и поместить его под охраной в административном корпусе, разрешив выдавать понемногу только самым истощенным из заключенных, которых обнаружили команды, обследовавшие бараки. Он отвел место немецким охранникам в одном конце зала, смежного с его комнатой, где им не угрожала опасность.

Майкл, который вместе с Ноем исполнял обязанности посыльного при Грине, слышал, как один из охранников на хорошем английском языке жаловался на ужасную несправедливость Пфейферу, с винтовкой в руках охранявшему немцев. Он говорил, что фольксштурмовцы несли службу в лагере только неделю, что они не сделали

заключенным никакого зла, тогда как солдаты батальона СС, которые находились здесь несколько лет и несли ответственность за все муки и лишения, причиненные узникам лагеря, ушли безнаказанными и теперь, вероятно, попивают в американском концлагере апельсиновый сок. Жалоба несчастного фольксштурмовца была довольно справедливой, но Пфейфер только сказал:

— Заткни свою глотку, пока я не заткнул ее сапогом.

Освобожденные заключенные имели свой рабочий комитет, тайно созданный неделю тому назад для управления лагерем. Грин вызвал председателя комитета, невысокого сухопарого мужчину лет пятидесяти, который очень правильно говорил по-английски, но со странным акцентом. Этого человека звали Золум, до войны он находился на дипломатической службе в Албании. Он рассказал Грину, что провел в заключении три с половиной года. Албанец был совершенно лыс, на его лице, каким-то образом хранившем полноту, сидели маленькие, черные, как агат, глаза. У него был властный вид, и он оказал большую помощь Грину в формировании рабочих команд из более крепких заключенных, которым вменялось в обязанность вынести умерших из бараков, собрать всех больных и разбить их на три категории: умирающих, находящихся в угрожающем состоянии и находящихся вне опасности. По распоряжению Грина питание из небольших ротных запасов и почти пустых лагерных складов должно было выдаваться только тем, кто находился в угрожаемом состоянии. Умирающих просто уложили в ряд вдоль бараков, предоставив им возможность мирно умирать. Видеть солнце и ощущать освежающее прикосновение весеннего воздуха было их последним утешением.

Медленно тянулся этот первый день, и Майкл, видя, как Грин просто, спокойно, как бы чего-то стесняясь, начинает наводить порядок, почувствовал огромное уважение к этому сухому маленькому капитану с высоким, девичьим голосом. Майкл внезапно ощутил, что, в представлении Грина, наладить можно все. Все, даже глубокую развращенность и бесконечное отчаяние, оставшиеся от немецкого «золотого века», можно исцелить здравым смыслом и энергией честных тружеников. Глядя, как капитан отдает краткие, дельные распоряжения албанцу, сержанту Хулигену, полякам и русским, евреям и немецким коммунистам, Майкл видел, что Грин далек от мысли, будто он делает что-то особенное, чего не сделал бы на его месте всякий питомец школы младших офицеров в Форт-Беннинге.

Наблюдая Грина за работой, такого спокойного и деловитого, как будто он сидел в своей ротной канцелярии в Джорджии, составляя расписание нарядов, Майкл радовался, что не

пошел учиться в офицерскую школу. «Я бы так не мог, — думал он, — я положил бы голову на руки и плакал до тех пор, пока бы не увели их». Грин не плакал. Напротив, с приближением вечера его голос, в котором и до того не было заметно сочувствия к кому бы то ни было, становился все жестче, резче и бесстрастнее, все больше звучал по-военному.

Майкл внимательно следил и за Ноем. Но его лицо по-прежнему было задумчиво и сохраняло холодную сдержанность. Ной не мог расстаться с этим выражением, как человек, который льнет к дорогому платью, купленному им на последние сбережения, не может расстаться с ним даже в самых крайних обстоятельствах. Только раз, когда выполняя поручение капитана, Майклу и Ною пришлось проходить мимо людей, признанных безнадежными, которые длинными рядами лежали на пыльной земле, Ной на минуту остановился. «Ну вот, — подумал Майкл, искоса наблюдая за ним, — сейчас начнется». Ной пристально смотрел на истощенных, покрытых язвами, похожих на скелеты людей, полураздетых и умирающих, которых уже не трогала ни лобода, ни освобождение. По его лицу пробежала дрожь, прежнее выражение почти исчезло... Но он взял себя в руки. Он на мгновение закрыл глаза, вытер рот тыльной стороной руки и, двинувшись вперед, сказал:

— Пошли. Чего мы встали?

Когда они вернулись в кабинет коменданта, к капитану привели какого-то старика. По крайней мере, он выглядел стариком. Он весь сгорбился, длинные желтые руки были так худы, что казались полупрозрачными. Трудно было, конечно, судить о его летах, потому что почти все в лагере выглядели стариками или не имеющими возраста.

— Меня зовут, — медленно говорил старик по-английски, — Джозеф Силверсон. Я раввин. Я единственный раввин в лагере...

— Так, — отозвался капитан Грин, не отрывая глаз от бумаги, на которой он писал заявку на медикаменты.

— Я не хочу беспокоить господина офицера, — сказал раввин, — но позвольте мне обратиться с просьбой.

— Да? — Капитан Грин так и не взглянул на раввина. Он сидел, сняв каску и китель. Ремень висел на спинке стула. Он был похож на клерка товарного склада, занятого проверкой накладных.

— Многие тысячи евреев, — продолжал раввин, медленно и тщательно выговаривая слова, — умерли в этом лагере, и еще несколько сот, лежавших там... — он сделал легкий взмах своей прозрачной рукой в направлении окна, — умрут не сегодня-завтра...

— Мне очень жаль, рабби,— сказал капитан Грин.— Я сделаю все, что могу.

— Разумеется.— Раввин поспешно закивал головой.— Я знаю. Им ничем нельзя помочь. Нельзя помочь физически. Я понимаю. Мы все понимаем. Даже они это понимают. Они на втором плане, и надо сосредоточить все усилия на тех, кто будет жить. Нельзя даже сказать, что они несчастны. Они умирают свободными, в этом большая радость. Я прошу позволить нам одну роскошь.— Майкл понял, что раввин пытается улыбнуться. У него были огромные впалые зеленые глаза, горевшие ровным пламенем на тонком лице, под высоким, изрезанным морщинами лбом.— Я прошу разрешения собрать всех нас, живых и тех, кто лежит там,— снова взмах рукой,— без надежды на выздоровление, и совершить молебствие. Помолиться за тех, кто нашел здесь свой конец.

Майкл пристально посмотрел на Ноя. Ной смотрел на капитана Грина холодным, безучастным взглядом, лицо его было спокойно и хранило какое-то отсутствующее выражение.

Капитан Грин все еще не поднимал глаз. Он кончил писать, но продолжал сидеть, устало склонив голову. Казалось, он уснул.

— Здесь еще ни разу не было богослужения для нас,— мягко сказал раввин,— и столько тысяч ушло...

— Разрешите мне.— Это был албанский дипломат, проявивший такое рвение в выполнении распоряжений Грина. Он стал рядом с раввином и, склонившись над столом капитана, быстро заговорил четким языком дипломата.— Я не люблю вмешиваться, капитан. Я понимаю, почему раввин обращается с такой просьбой. Но сейчас не время для этого. Я европеец. Я провел здесь много лет и понимаю то, что может быть, непонятно капитану. Повторяю, я не люблю вмешиваться, но считаю нежелательным давать разрешение на проведение публичного еврейского богослужения в этом месте.— Албанец замолчал в ожидании ответа Грина. Но Грин ничего не ответил. Он сидел за столом, слегка кивая головой, как человек, который вот-вот должен проснуться.

— Капитан, возможно, не учитывает настроений,— торпливо продолжал албанец.— Настроений, существующих в Европе, в таком лагере, как этот. Каковы бы ни были причины,— плавно текла его речь,— будь они справедливы или нет, но такие настроения существуют. Это факт. Если вы позволите этому господину отправлять свои религиозные обряды, я не ручаюсь за последствия. Я считаю своим долгом вас предупредить: будут беспорядки, будет насилие, кровопролитие. Другие заключенные не потерпят этого...

— Другие заключенные не потерпят этого,— тихо повторил Грин без всякого выражения в голосе.

— Да, сэр,— живо откликнулся албанец,— я готов поручиться, что другие заключенные этого не потерпят.

Майкл взглянул на Ноя. Задумчивое выражение, медленно тая, сходило с его лица, постепенно искажавшегося гримасой ужаса и отчаяния.

Грин встал.

— Я тоже хочу кое в чем поручиться,— сказал он, обращаясь к раввину,— Я хочу поручиться, что вы проведете свое молебствие через час, здесь, на этой площади. Я хочу также заверить вас, что на крыше этого здания будут установлены пулеметы. Далее, я ручаюсь, что по каждому, кто попытается помешать вашему молебствию, эти пулеметы откроют огонь.— Он повернулся к албанцу.— И, наконец, я ручаюсь, что если вы когда-либо осмелитесь еще раз перешагнуть порог моей комнаты, я посажу вас под арест. Вот и все.

Албанец, пятясь задом, быстро ретировался. Майкл слышал, как в коридоре замирали его шаги. Раввин степенно поклонился.

— Очень вам благодарен, сэр,— сказал он Грину.

Грин протянул ему руку. Раввин пожал ее, повернулся и вышел вслед за албанцем. Грин стоял, глядя в окно. Потом он взглянул на Ноя. Прежнее выражение сдержанного, сурового спокойствия снова расплывалось по лицу солдата.

— Аккерман,— жестким голосом произнес Грин,— пожалуйста, вы мне пока не понадобится. Почему бы вам с Уайтэкром не погулять пару часов за воротами? Это будет вам полезно.

— Спасибо, сэр,— ответил Ной и вышел из комнаты.

— Уайтэкр! — Грин все еще глядел в окно, и голос его звучал устало.— Уайтэкр, посмотрите за ним.

— Слушаюсь, сэр,— сказал Майкл и вышел вслед за Ноем.

Они шли молча. Солнце стояло низко, и длинные багряные полосы пересекали холмы на севере. Они миновали крестьянский дом, стоявший в стороне от дороги, но там не было видно никакого движения. Опрятный, беленький и безжизненный, дом спал в лучах заходящего солнца. Он был свежеевыкрашен, а каменная стена перед домом — побелена. Под уходящими лучами солнца она казалась бледно-голубой. Высоко в ясном небе над их головами прошла, блестя на солнце крыльями, эскадрилья истребителей, возвращающаяся на свою базу.

По одну сторону дороги тянулся лес. Темные стволы мощных сосен и вязов казались почти черными рядом с молочной зеленью свежей листвы. Солнце маленькими яркими пятнами искрилось на листьях, падало на цветы, растущие на лужайке между деревьями. Лагерь остался позади, и в ароматном, на-

гретом за день солнцем воздухе пахло сосной. Их солдатские ботинки на резиновых подошвах мягко, не по-военному ступали по узкой асфальтированной дороге с кюветами по обеим сторонам. Они молча миновали еще один крестьянский дом. Он тоже был заперт на замок, окна были закрыты ставнями, но у Майкла было такое ощущение, будто сквозь щели в него всматриваются чьи-то глаза. Ему не было страшно. В Германии, казалось, остались только дети — миллионы детей, старухи да калеки-солдаты. Это были вежливые и совсем не воинственные люди. Они одинаково бесстрастно махали руками как американским джипам и танкам, так и грузовикам, на которых увозили в лагеря немецких военнопленных.

Три гуся вперевалку пересекали пыльный двор. «Вот рождественский обед,— лениво подумал Майкл,— с вареньем из логановых ягод¹ и с начинкой из устриц». Он вспомнил ресторан Лухова на 14-й улице в Нью-Йорке с его дубовыми панелями и с росписью на стенах, изображающей сцены из вагнеровских опер.

Дом остался позади. Теперь по обеим сторонам дороги был густой лес; высокие деревья стояли на ковре из прошлогодних листьев и издавали чистый, тонкий весенний аромат.

С тех пор как они вышли из кабинета Грина, Ной не проронил ни слова. и Майкл удивился, когда сквозь шарканье сапог по асфальту услышал голос товарища.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Ной.

Майкл на мгновение задумался.

— Я убит,— ответил он.— «Убит, ранен, пропал без вести».

Они прошли еще шагов двадцать.

— Невеселая картина, правда? — сказал Ной.

— Невеселая.

— Мы знали, что здесь плохо, но не представляли себе ничего похожего.

— Да,— согласился Майкл.

Люди...

Они шли весенним днем по немецкой дороге между рядами прелестных деревьев с набухшими почками, вслушиваясь в мягкие звуки своих шагов.

— Мой дядя,— снова заговорил Ной,— брат моего отца, попал в одно из этих мест. Ты видел печи?

— Да.

— Правда, я никогда не видел дядю,— продолжал Ной. Он придерживал рукой ремень винтовки и был похож на мальчика, возвращающегося с охоты на кроликов.— У него были какие-то нелады с отцом. В тысяча девятьсот пятом году,

¹ Гибрид малины с ежевикой.— *Прим. ред.*

в Одессе. Отец был дурак, но он знал, что здесь творится. Ведь он выходец из Европы. Я тебе рассказывал когда-нибудь об отце?

— Нет.

— «Убит, ранен, пропал без вести»,— тихо сказал Ной. Они шли не спеша, размеренным, но не быстрым солдатским шагом — тридцать дюймов шаг.— Помнишь,— спросил Ной,— что ты говорил там, в лагере пополнения: «Через пять лет после окончания войны все мы, возможно, будем с сожалением вспоминать каждую пулю, которая нас миновала».

— Помню.

— А что ты чувствуешь теперь?

Майкл не знал, что ответить.

— Не знаю,— честно признался он.

— Сегодня,— сказал Ной, ступая все тем же неторопливым ровным шагом,— когда этот албанец начал говорить, я был готов с тобой согласиться. Не потому, что я еврей. Во всяком случае, не думаю, чтобы в этом была причина. Просто как человек... Когда этот албанец начал говорить, я был готов выйти в коридор и прострелить себе голову.

— Понимаю,— мягко сказал Майкл.— Я испытывал то же самое.

— А потом Грин сказал то, что надо было сказать.— Ной остановился и взглянул вверх на кроны деревьев, золотисто-зеленые в догорающих лучах солнца.— «Я ручаюсь... Я ручаюсь...» — Он вздохнул.— Не знаю, как ты, а я очень надеюсь на капитана Грина.

— Я тоже.

— Когда кончится война, миром будут править люди! — Голос Ноя возвысился до крика. Стоя посреди тенистой дороги, он кричал, обращаясь к освещенным лучами догорающего солнца ветвям немецкого леса.— Да, люди! Есть еще много таких капитанов Гринов! Он не исключение! Таких миллионы!— Ной стоял выпрямившись, закинув назад голову, и кричал как безумный, словно все чувства, которые он столько месяцев таил под маской хладнокровия в глубине своей души и всеми силами старался подавить, теперь прорвались, наконец, наружу.— Люди! — хрипло выкрикивал он, как будто это слово было каким-то магическим заклинанием против смерти и горя, чудодейственным непроницаемым щитом для его сына и жены, достойным возмездием за мучения последних лет, надеждой и залогом будущего...— Мир полон людей!

Как раз в это время и прозвучали выстрелы.

Христиан проснулся за пять-шесть минут до того, как услышал голоса. Он спал крепким сном и, когда проснулся,

сразу же понял по тому, как ложатся в лесу тени, что день клонится к вечеру. Но он слишком устал, чтобы тут же двинуться дальше. Он лежал на спине, глядя вверх на нежно-зеленый купол над головой, прислушиваясь к звукам леса: к весеннему жужжанию пробуждающихся насекомых, к крикам птиц на вершинах деревьев, к легкому шелесту листьев на ветру. Он слышал, как над лесом прошло звено самолетов, хотя и не мог их видеть через деревья. Звук летящих самолетов заставил его, уже в который раз, с горечью вспомнить, с какой расточительной роскошью противник вел войну. «Неудивительно, что они победили. Правда, их солдаты не идут ни в какое сравнение с нашими, но какое это имеет значение? С таким количеством самолетов и танков могла бы победить даже армия из старух и ветеранов франко-прусской войны. Была бы у нас хотя бы третья часть этого вооружения, — подумал он с сожалением, — и мы победили бы три года назад. Бедняга лейтенант там в лагере жаловался, что мы проигрываем войну неорганизованно, не как люди его поколения! Если бы он поменьше жаловался и чуть побольше работал, может быть, дела не обернулись бы таким образом. Увеличить бы на несколько часов рабочий день на заводах и не разбазаривать время на массовые митинги и партийные праздники, и тогда там наверху гудели бы немецкие самолеты; лейтенант, быть может, не лежал бы теперь мертвый перед своей канцелярией, а ему, Христиану, вероятно, не пришлось бы скрываться здесь прятаясь в норе, как лиса от собак».

Потом он услышал приближающиеся шаги. Он лежал всего в десяти метрах от дороги, хорошо замаскировавшись, что, впрочем, не мешало ему просматривать направление на лагерь. Поэтому ему удалось заметить подходивших американцев на порядочном расстоянии. С минуту он с любопытством следил за ними, не испытывая никакого чувства. Они шли твердым шагом, и у них были винтовки. Один из них, повыше, нес винтовку в руке, у другого винтовка была надета на ремень. Оба были в этих нелепых касках, хотя до следующей войны нечего было опасаться осколков, и не смотрели ни налево, ни направо. Они довольно громко разговаривали между собой, и было ясно, что они чувствуют себя в полной безопасности, как дома. Казалось, им и в голову не приходила мысль, что в этих местах какой-нибудь немец осмелится причинить им зло.

Если они и дальше пойдут этим путем, то пройдут в десяти метрах от Христиана. Он осторожно поднял автомат. Но тут же подумал, что теперь здесь, наверно, сотни американцев, они сбегутся на выстрелы, и тогда ему не сдобровать. Великодушные американцы едва ли станут распространять свое великодушие на вражеских снайперов.

Вдруг американцы остановились в каких-нибудь шести-десяти метрах у изгиба дороги, как раз напротив небольшого холмика, за которым скрывался Христиан. Они разговаривали очень громко. Один из американцев просто кричал, и Христиан мог даже разобрать его слова.

— Люди! — кричал он, непонятно зачем снова и снова повторяя это слово.

Христиан хладнокровно наблюдал за американцами. Чувствуют себя в Германии как дома. Разгуливают одни по лесу. Разглагольствуют по-английски в центре Баварии. Предвкушают, как они проведут лето в Альпах, как будут ночевать в туристских отелях с местными девушками, а уж охотниц до этого найдется достаточно. Ох, эти откормленные американцы — им не нужен никакой фольксштурм, все они молоды, все здоровы, у них исправная обувь и одежда, научно разработанное питание, самолеты, санитарные машины на бензине, перед ними не стоит вопрос, кому лучше сдать... А когда все кончится, они вернутся в свою ожиревшую страну, нагруженные сувенирами: касками убитых немцев, «железными крестами», сорванными с мертвых тел, снимками, сделанными со стен разбитых бомбами домов, фотографиями возлюбленных погибших солдат... Вернутся в страну, не слышавшую ни единого выстрела, в страну, где никогда не дрожали стены, где не было выбито ни одного стекла в окне...

Ожиревшая страна, нетронутая, неуязвимая...

Христиан почувствовал, как его рот сводит резкая гримаса отвращения. Он медленно поднял автомат. «Еще два,— подумал он,— и то дело». Он тихонько замурлыкал, беря на мушку того, что был поближе, что кричал. «Сейчас ты перестанешь так громко орать, приятель», — подумал он и, продолжая мурлыкать, спокойно положил палец на спусковой крючок. Внезапно он вспомнил, что так же мурлыкал Гарденбург, в очень похожий на теперешний момент, когда в Африке, лежа на гребне холма, он готовился открыть огонь по расположившейся на завтрак английской колонне... Забавно, что он вспомнил об этом. Прежде чем нажать на спусковой крючок, он еще раз подумал о том, что поблизости могут оказаться другие американцы, которые услышат выстрелы, найдут его и убьют. На секунду он заколебался. Потом тряхнул головой и прищурил глаз. «Черт с ним,— подумал он,— пропадать — так с музыкой...» — и нажал на спуск.

После двух выстрелов автомат заело. Он знал, что попал в одного из негодяев. Но когда, лихорадочно работая пальцами, он вытащил, наконец, застрявший патрон и снова поднял глаза, оба солдата исчезли. Он видел, как один из них стал падать, но теперь на дороге не было ничего, кроме винтовки, вы-

битой из рук одного из американцев. Винтовка лежала посреди дороги, в одной точке ее, около дула, сверкал отраженный луч солнца.

— «Да,— с досадой подумал Христиан,— испортил все дело». Он внимательно прислушивался, но ни на дороге, ни в лесу не было слышно никаких звуков. Американцев было всего двое, решил он... А теперь, он был уверен, остался только один. Ну, а если другой, которого он подстрелил, еще жив, то, во всяком случае, он не в состоянии идти...

Однако ему-то надо уходить. Нераненому солдату нетрудно будет определить общее направление, откуда стреляли. Может быть, он станет искать Христиана, а может быть, и нет... Христиан полагал, что, скорее всего, не станет: американцы не проявляли особой горячности в подобных случаях. Они ждали авиации, танков, артиллерии. Но на сей раз, в этом тихом лесу, когда осталось полчаса до наступления темноты, нечего и думать о вызове танков или артиллерии. Остается один солдат с винтовкой... Христиан был убежден, что он не станет рисковать, особенно теперь, когда война уже почти окончена: он должен понимать, как это нелепо. Если солдат, которого он подстрелил, уже умер, рассуждал Христиан, то оставшийся в живых, вероятно, побежал в свое подразделение за помощью. Но если тот солдат только ранен, его товарищ, наверно, остался ему помочь, и, связанный своей ношей, не способный двигаться быстро и бесшумно, представляет собой отличную мишень...

Христиан ухмыльнулся. «Еще один,— подумал он,— и я выхожу из войны». Он осторожно выглянул на дорогу, где лежала винтовка, пристально осмотрел лежащую перед ним слегка повышающуюся местность, заслоненную кустами и стволами деревьев, тускло поблескивающими в свете угасающего дня. «Никаких признаков, ничего подозрительного».

Припадая к земле и петляя, Христиан осторожно двинулся в глубину леса...

Правая рука у Майкла онемела. Он не ощущал этого, пока не наклонился, чтобы опустить Ноя на землю. Одна пуля ударила по прикладу винтовки, которую нес Майкл, и вывернула ее из руки. Теперь рука болела до самого плеча, как от удара молотком. В горячке, когда он схватил Ноя и потащил его в лес, он этого не заметил, но сейчас, склонившись над раненым другом, он понял, что онемевшая рука усложняет и без того опасное положение.

Ной был ранен в нижнюю часть шеи, пуля пробила горло. Он истекал кровью, но еще дышал, неглубоко и прерывисто

глотаю воздух. Он был без сознания. Майкл присел рядом и наложил повязку, но остановить кровотечение, по-видимому, не удалось. Ной лежал на спине, его каска покоилась на ложе из бледно-розовых цветов, растущих у самой земли. На его лице появилось отсутствующее выражение, глаза были закрыты, и выгоревшие на концах, загнутые кверху ресницы над покрытыми светлым пушком щеками придавали верхней части лица прежнее нежное, девическое выражение.

Майкл не долго смотрел на него. Мысли тяжело ворочались в его мозгу. «Я не могу оставить его здесь, — думал он, — но не могу и унести. Если я потащусь с ним через лес, мы вместе будем прекрасной мишенью для снайпера».

Что-то дрогнуло в ветвях над его головой. Майкл быстро откинул голову назад, сразу вспомнив, где он, и сообразив, что человек, стрелявший в Ноя, в этот момент, вероятно, подкрадывается к нему. На сей раз это оказалась только птичка, которая, раскачиваясь на конце ветки, бросала вниз в остывающий под деревьями воздух похожие на брань крики. Но в следующий раз это будет вооруженный человек, горящий желанием его убить.

Майкл нагнулся. Он осторожно приподнял Ноя и снял с его плеча винтовку. Потом еще раз взглянул на него и медленно пошел в лес. Пройдя несколько шагов, он все еще мог слышать поверхностное, прерывистое дыхание раненого. Как ни печально, но на некоторое время Ноя придется оставить без присмотра.

«Тут, наверно, я и схвачу пулю», — подумал Майкл. Но это был единственный выход. Найти человека, который сделал эти два выстрела, прежде, чем тот найдет его. Единственный выход для Ноя и для него, Майкла.

Он слышал, как сильно стучит в груди сердце, им овладела сухая, нервная зевота. У него было предчувствие, что его убьют.

Майкл шел медленно и осторожно, пригибаясь и часто останавливаясь за толстыми стволами, чтобы прислушаться. Он слышал свое дыхание, пение птиц, жужжание насекомых, кваканье лягушки в соседней луже, легкий шелест ветвей под слабым ветерком. Но не было слышно ни шагов, ни позвякивания снаряжения, ни звука оттягиваемого затвора винтовки.

Он уходил от дороги в глубь леса, уходил от того места, где остался Ной с простреленным горлом, со сползшей с головы каской, лежащей на ложе из розовых цветов. Майкл не продумал заранее свой маневр. Он просто чувствовал, почти инстинктивно что держаться вблизи дороги опасно: он был бы

прижат к открытому месту и лучше виден противнику, потому что лес у дороги был реже.

Под его тяжелыми сапогами хрустели лежавшие толстым слоем жесткие прошлогодние листья и трещали скрытые под ними сухие ветки. Его раздражала собственная неловкость. Но как бы медленно он ни пробирался сквозь густые заросли, казалось, невозможно было двигаться бесшумно.

Он часто останавливался и прислушивался, но ничего не было слышно, кроме обычных предвечерних лесных звуков.

Он попытался представить себе этого фрица. Каков он из себя?

Возможно, фриц после того, как выстрелил, собрал свои манатки и двинулся прямо к австрийской границе. Два выстрела — один американец. Не такая уж плохая добыча за один день в самом конце проигранной войны. Гитлер не мог бы потребовать большего. А может быть, это вовсе и не солдат, а один из этих сумасшедших десятилетних мальчишек, которыми забили голову чепухой о «вервольфах»¹, вытащивший с чердака старую винтовку, оставшуюся с прошлой войны. Майкл мог натолкнуться на мальчика с копной светлых волос, босоногого, с испуганным детским выражением лица, с ружьем в три раза больше его... Как бы он тогда поступил? Застрелил его? Или отшлепал?

Майкл надеялся, что это все же окажется солдат. Медленно пробираясь по буро-зеленому лесу, раздвигая на своем пути густые ветви, Майкл обнаружил, что шепчет молитву о том, чтобы тот, кого он преследует, оказался не ребенком, а взрослым мужчиной, одетым в форму, взрослым мужчиной, который ищет его, вооруженным и жаждущим схватки...

Он перекинул винтовку в левую руку и согнул пальцы онемевшей правой руки. Пальцы отходили медленно, волнами, их покалывало, и они болели, и он боялся, что, когда настанет время, они будут действовать слишком медленно... Его никогда не учили, как поступать в подобных случаях. Обучение сводилось к тому, как действовать в составе отделения, взвода, каким должен быть боевой порядок в наступлении, как использовать естественные укрытия, как не следует обнаруживать себя на фоне неба, как преодолевать проводочные заграждения... Он продолжал двигаться вперед, общаривая глазами кусты и группы молодых деревьев и лова малейшее подозрительное движение, и все думал, удастся ли ему остаться в живых. Неполноценный американец, кото-

¹ Wer wolf — оборотень, способный превращаться в волка (нем.). В конце войны Гитлер призвал солдат и офицеров своей разгромленной армии продолжать вооруженную борьбу в одиночку, скрываясь в лесах, подобно «вервольфам». — *Прим. ред.*

рого готовили для всего, чего угодно, только не для этого: учили отдавать честь, учили действиям в сомкнутом строю и движению в колонне, учили самым новейшим способам предупреждения венерических заболеваний. И вот на вершине своей военной карьеры ему приходится ощупью импровизировать, встретившись с обстановкой, не предусмотренной армейскими уставами... Как обнаружить и убить одного немца, который только что застрелил твоего лучшего друга? А может быть, он был не один? Ведь было два выстрела. Может быть, их было двое, шестеро, дюжина, и теперь они поджидают его, ухмыляясь, в построенных правильной линией окопах, прислушиваясь к его тяжелым, все приближающимся шагам...

Майкл остановился. Мелькнула было мысль вернуться назад, но он отрицательно покачал головой. Он не пытался себя разубеждать. В его голове не было связных мыслей. Он просто перекинул винтовку в правую руку, хотя ее слегка покалывало, и продолжал осторожно, шурша сухими листьями, двигаться вперед.

Бревно, упавшее поперек канавы, казалось достаточно крепким. Местами оно подгнило, и древесина была мягкой, но бревно было толстое. Канавка была, по крайней мере, шести футов шириной и довольно глубокой: четыре или пять футов в глубину. На дне ее лежали заросшие мхом камни, полуприкрытые сломанными ветками и сухими листьями. Прежде чем ступить на бревно, Майкл прислушался. Ветер прекратился, и в лесу стало очень тихо. У него было такое чувство, будто здесь много лет не ступала нога человека. Человека... Нет, об этом потом...

Майкл ступил на бревно. Он дошел до середины, когда оно прогнулось, затрещало и, поворачиваясь, заскользил под ногами. Помня, что нельзя шуметь, Майкл отчаянно замахал руками, стараясь сохранить равновесие, потом свалился в канаву. Его руки скользнули по камням, и он больно ушибся скулой об острый край. Он тихо выругался. Бревно сломалось с громким треском. Его тело при падении глухо ударилось о землю, затрещали сухие ветки, а каска, соскочив с головы, громко застучала о камни. «А винтовка, — с унынием подумал он, — где же может быть винтовка?..» Ползая на четвереньках, он ощупью стал искать ее, как вдруг услышал быстрые, торопливые, громкие шаги. Кто-то бежал, бежал прямо на него.

Он вскочил. В каких-нибудь пятидесяти футах человек с треском пробивался через кусты, глядя прямо на него. У бедра он держал автомат, направленный на Майкла. На фоне бледно-зеленой листвы человек был похож на темную, быстро

расплывающуюся кляксу. Майкл стоял неподвижно, уставившись на бегущего человека, когда тот, не целясь, дал очередь с бедра. Майкл слышал, как прямо перед ним застучали пули, разбрасывая острые комочки земли, больно жалившие кожу. Человек продолжал бежать.

Майкл нырнул вниз. Машинально он сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и поднялся. Человек был уже гораздо ближе, совсем близко. Майкл сосчитал до трех, метнул гранату и снова нырнул, плотно прижавшись к стене оврага и спрятав голову. «Слава богу,— подумал он, прижимаясь лицом к мягкой сырой земле.— Я все же не забыл сосчитать!»

Казалось, до взрыва прошло очень много времени. Майкл слышал, как стальные осколки свистят над головой и впадают в окружающие деревья. В воздухе кружились сорванные листья, с шелестом опускаясь на землю.

Майкл не был уверен, но ему казалось, что сквозь грохот разрыва, все еще стоявший в его ушах, он слышал крик.

Он выждал пять секунд, потом выглянул из оврага. Навверху не было никого. Под нависшими ветвями медленно поднимался дымок, и виделось бурое влажное пятно развороченной земли, там, где взрывом разбросало дерн и листья,— и больше ничего. Потом Майкл заметил по ту сторону полянки куст, верхушка которого раскачивалась в каком-то необычном, медленно замирающем ритме. Майкл наблюдал за кустом, сообразив, что человек, уходя, прошел именно здесь. Он нагнулся и поднял винтовку, которая спокойно лежала между двух круглых камней. Взглянув на дуло, он убедился, что ствол не забит землей. Он с удивлением заметил, что его руки в крови, а когда дотронулся до ноющей скулы, вся рука оказалась измазанной грязью и кровью.

Майкл медленно вылез из канавы. Правая рука сильно болела, а винтовка в разодранной кисти стала скользкой от крови. Он пошел, не пытаясь скрываться, через лужайку, мимо того места, где разорвалась граната. Пройдя футов пятнадцать, он увидел на молодом деревце нечто похожее на старую тряпку. Это был обрывок обмундирования, мокрый от крови.

Майкл медленно направился к тому кусту, который раскачивался. Листья были обильно забрызганы кровью. Далеко уйти он не мог, подумал Майкл. Теперь даже городскому жителю не трудно было проследить путь убегающего через лес немца. Майкл даже определил по измятым листьям и кровавым пятнам, где человек упал и потом снова встал, чтобы бежать дальше, вырвав при этом с корнем маленькое деревце.

Медленно и упорно Майкл настигал Христиана Дистля.

Христиан осторожно уселся, опершись на ствол большого дерева, лицом в ту сторону, откуда он пришел. Под деревом была тень и прохлада, но лучи солнца, пробиваясь через листву других деревьев, освещали косыми золотыми лучами верхушки кустов, через которые пробирался Христиан. Он ощущал спиной шершавую твердую кору дерева. Он попытался поднять руку с автоматом, но такой вес был ей не под силу. Христиан с раздражением оттолкнул автомат в сторону. Он сидел, не отрывая глаз от прогалины в кустах, откуда, он знал, должен появиться американец.

«Граната,— думал Христиан,— кто бы мог подумать? Неуклюжий американец, как бык свалившийся в канаву... А потом из канавы граната».

Он тяжело дышал. Как далеко, думал он, сколько пришлось бежать! Ну, теперь бежать больше не придется. Его мысли перескакивали с одного предмета на другой, как зубья сломанной шестерни. Весенняя роща под Парижем и убитый парень из Силезии с окрашенными вишневым соком губами... Гарденбург на мотоцикле, Гарденбург с начисто снесенным лицом, глупый полуголый американец, стрелявший с заминированного моста в Италии, пока его не срезал пулемет.. Гретхен, Коринна, Франсуаза — французы еще всех нас... Водка в спальне у Гретхен, коньяк и вино в буфете, черные кружева и гранатовая булавка... Француз, вытаскивающий пистолет у мертвого Бэра на берегу после обстрела с самолета, все время эти самолеты... «Видишь ли, когда солдат вступает в армию, в любую армию, с ним заключают своего рода контракт...» Кто это говорил, и убит ли он тоже? Пятьдесят франков за рюмку коньяка, поданную стариком с гнилыми зубами. «Главная проблема — это Австрия». И «цель оправдывает средства»... Вот и конец, а какие средства оправдались? Еще воспоминания... Американская девушка на снежном холме. Еще один, и я выхожу из войны... Неловкий, безрассудно храбрый американец, оставшийся в живых благодаря удаче, случаю, божьей милости... «1918» на церковной стене мелом, французы знали, они знали все время...

Два выстрела, и автомат заело. В конце концов его, конечно, должно было заесть. «Моя рота вступила в Мюнхен все еще с оружием в руках. Тогда было гораздо больше порядка». «Важно захватить велосипед... Сколько же времени, по их мнению, человек может бежать?» — думал он, полный жалости к себе.

Тут он увидел американца. Американец больше не прятался. Он шел прямо на Христиана сквозь тонкие зеленые лучи солнца. Он выглядел уже не молодым и не походил на солдата. Американец остановился над ним.

Христиан ухмыльнулся.

— Добро пожаловать в Германию,— сказал он, вспоминая английские слова.

Он смотрел, как американец поднимает винтовку и нажимает на спусковой крючок.

Майкл вернулся туда, где он оставил Ноя. Дыхание остановилось. Ной тихо лежал среди цветов. С минуту Майкл сухими глазами смотрел на него. Потом поднял его тело, взвалил на плечи и пошел в сгущающихся сумерках, не останавливаясь, назад в лагерь. Он не позволил никому из солдат роты помочь нести тело, ибо знал, что должен лично оставить Ноя капитану Грину.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	3
Глава вторая	25
Глава третья	45
Глава четвертая	63
Глава пятая	98
Глава шестая	116
Глава седьмая	146
Глава восьмая	186
Глава девятая	191
Глава десятая	209
Глава одиннадцатая	221
Глава двенадцатая	230
Глава тринадцатая	235
Глава четырнадцатая	242
Глава пятнадцатая	265
Глава шестнадцатая	268
Глава семнадцатая	295
Глава восемнадцатая	309
Глава девятнадцатая	354
Глава двадцатая	363
Глава двадцать первая	366
Глава двадцать вторая	382
Глава двадцать третья	419
Глава двадцать четвертая	438
Глава двадцать пятая	443
Глава двадцать шестая	463
Глава двадцать седьмая	471
Глава двадцать восьмая	477
Глава двадцать девятая	526
Глава тридцатая	555
Глава тридцать первая	565
Глава тридцать вторая	597
Глава тридцать третья	627
Глава тридцать четвертая	640
Глава тридцать пятая	648
Глава тридцать шестая	658
Глава тридцать седьмая	674
Глава тридцать восьмая	684

ИРВИН ШОУ

МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ

Редактор *Д. Склифос.*

Художник *Г. Зыков.*

Художественный редактор *П. Пивченко.*

Технический редактор *Л. Мокану.*

Корректоры *Э. Кукина, Е. Подрухина.*

ИБ № 4814.

Подписано к печати 09.12.88.

Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂.

Бумага тип. № 2.

Гарнитура «Таймс».

Высокая печать с ФПФ.

Усл. печ. листов 36,96.

Усл. кр.-отт. 37,80.

Уч.-изд. листов 43,95.

Тираж 100 000 (2-й з-д 50 001—100 000).

Цена на бумвиниле 4 р. 70 к., на коленкоре 4 р. 80 к.

Заказ № 431.

Издательство «Лумина», 277004, Кишинев, пр. Ленина, 180.

Центральная типография,

277068, Кишинев, ул. Флорилор, 1.

Государственный комитет Молдавской ССР

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Ирвин Шоу

Ш 81 Молодые львы: Роман/Пер. с англ. А. Громов и др.;
Худож. Г. М. Зыков.— Кишинев: Лумина, 1988.— 704 с.:
ил.

ISBN 5—372—00212—3

Роман «Молодые львы» современного американского писателя Ирвина Шоу — крупное произведение, посвященное событиям второй мировой войны. В центре внимания автора судьбы трех героев — двух американцев и одного немца, жизненные пути которых скрещиваются на дорогах войны. Роман проникнут гуманизмом, горячей любовью к людям, ненавистью к фашизму.

Ш $\frac{4703000000-261}{M752(10)-88}$ Издат. новинки № 17-2-87

ISBN 5—372—00212—3

ББК 84.7 США-44



